Каждый пишет, как он слышит,
Каждый слышит, как он дышит...

Булат Окуджава

ОБРАЗЫ ЖИЗНИ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

LIFE IMAGES
LITERARY ALMANAC

Ответственный редактор: **Алла Ходос**

Безответственный редактор: **Марина Золотаревская**

Технический редактор: **Любовь Шапиро**

Фотография на обложке: **Юрий Золотаревский**
На воздушном океане

Заставки: **Алла Ходос**

Взгляды редакции не всегда совпадают со взглядами авторов.

Редакция не несёт ответственности за неточности и непроверенные факты в опубликованных материалах.

При перепечатке ссылка на альманах «Образы жизни» обязательна.

Альманах издаётся на средства авторов, проживающих в Америке и Израиле.

Редакция благодарит за сотрудничество
международный интернет-журнал «Интерлит» и российский журнал «День и ночь».

ISBN: 978-0-9832503-5-7
ISSN: 2167-0765

Сан-Франциско

ОБРАЗЫ ЖИЗНИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

2014

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Екатерина Короткова
Москва. Судейский розыск 4

Мария Перцова
В этой хрупкой
прозрачной сфере. *Стихи* 22

Вячеслав Новиков
Служение идеалам в условиях
кунсткамеры 24

Владимир Гандельсман
Элегии. *Стихи* 41

Вадим Жук
Родная речь.
Сплошная горечь. *Стихи* 44

Инна Мельницкая
Как это всё начиналось 46
Попутчица 55
Кастелло, или моё
отвергнутое будущее 57

Елена Макарова
По дороге в Шереметьево 62

Сергей Потимков
Разбудите слова! *Стихи* 71

Валерий Дашевский
Город на заре 73

Вячеслав Тюрин
Лето в городе. *Стихи* 91
Неотправленное письмо 94

Валерий Черешня
Так улыбается спасенный. *Стихи* 97

Алексей Коротков
Истории из жизни 99

Ася Гликсон
Мой город. *Стихи* 105

Рада Полищук
Непрошеная благодарность 107

Лев Бертин
Веселый электрик – солнце. *Стихи* 116

Николай Сундеев
Прозрачный побег на лозе виноградной...
Стихи 117

Елена Попова
Три дамы в поисках любви и смерти 120

Алина Талыбова
Улицы нашего города. *Стихи* 123

Анна Кононова
Израильский дневник 126

Саша Немировский
Два белых шарика взлетают
над сансетом. *Стихи* 129

Александр Зевелёв
Какая прелесть эти роды. *Стихи* 131

Алла Никитина
Баркеса 133

Игорь Рабин
Выйти с миром
из порочного круга. *Стихи* 141

Алексей Нестеров
Не моя вина. Не мое вино. *Стихи* 143

Алла Ходос
Деревянная ода. *Стихи* 144
Лужа 146

ПЕРЕВОДЫ

Генри Эпштейн
Билет на один сезон 149
Перевод Марины Золотаревской

ОБРАЗЫ ЖИЗНИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

2014

Сол Арис
Холистический метод расследования 153
Перевод Лины Марковой

Переводы Игоря Ильина
Из английской эпитафии
XVII-XX веков 155

Роберт Бенчли
Пародийные либретто 157
Перевод Игоря Ильина

ОТПЕЧАТКИ ВРЕМЕНИ

Борис Бернштейн
Вечером накануне
Девятого мая 2015-го года 162

Мартин Мелодьев
На сопках Манчжурии, или опыт
практической генеалогии 170
Сабля Гарибальди 173

Борис Туберман
Когда б не вы, мои родные предки... 184

Виталий Шрайбер
Невыдуманные истории,
сюжеты и сюжетики 189

Исаак Бабушкин
Если мне ЦК прикажет 195

Галина Курляндчик
Московские каникулы 199

Памяти Светланы
Бабушкиной 209

ЧИК-ЧИРИК

Огден Нэш
Зооуголок 210
Перевод Игоря Ильина

Семен Абрамович
Зооминиатюры 211

ЧЕМОДАН ЭМИГРАНТА

Инна Трегуб
«Черное» и «белое» не говорите 212

Галина Курляндчик
Кэрол 219

КОЛЮЧИЙ ОЖик

Тихон Енькин
Палата безмерности и невесомости 222

Александр Трегуб
Раввинатская система и ранние
еврейские секты 224

Виталий Шрайбер
Здравствуй, Ж... – Новый год! 229

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Юрий Золотаревский
Образы мира. Греческий альбом 230

ИСКУССТВО

Виктор Фет
«Сперва казнь, а потом уж приговор!»:
О набоковском переводе
Льюиса Кэрролла 234

Любовь Качан
Воннегут называл ее гением.
Воспоминания о Рите Райт-Ковалевой 240

Анатолий Заславский
Три художницы 248

Картинки с выставки
Надежда Виноградова,
Марина Можаева, Инна Талантова
Живопись 250

Борис Бернштейн
Явление нового зрителя 252

Сведения об авторах 283

Екатерина Короткова

МОСКВА

Судейский розыск
(Дело Ксюшки Соколовой)[1]

Дело о владелице собственного дома, вдове стрелецкого десятника Ксюшке Соколовой и проживающих в оном доме постояльцах, нигде не упомянутых и не записанных, казалось столь запутанным и сложным, что занялось им сразу несколько приказов. И Разбойный, и Тайных дел, и Холопий, и Церковное ведомство, все – чем дальше, тем больше.

Дело это было столь необычно, что о нем заговорила вся Москва – от простых горожан до боярских теремов и даже царских палат. Очень уж неожиданные лица упоминались по мере разбора этого таинственного дела.

Началось с того, что Мишка Каширин, бывший стрелецкий пятидесятник, а с каких-то пор доверенный человек Артамона Матвеева – Артамон Сергеевич и в Польшу его посылал, а по возвращении в приказ Сыскных дел пристроил – наткнулся на оный дом и тут же доложил по начальству. Было это где-то накануне Пасхи, и Каширин вдвоем с приятелем, молодым боярином Федором Шатовым, заехав за каким-то делом в домишко к Соколовой, которую оба они знали давно, обнаружили, что в «домишке», невысоком, но весьма просторном, проживает чуть ли не полсотни человек, из коих почти всем место в тюрьме. Ну, если не полсотни, то уж никак не меньше сорока.

Здесь жили в безопасности и покое вредоноснейшие проповедники старой веры, жили грабители, тати и торговки краденым. Мало того, в доме постоянно бывали – а порой и живали – мятежные донские казаки, а среди них – Каширин голову готов был дать на отсечение – знаменитый атаман, сподвижник Разина, засланный Стенькой в Москву не меньше года назад и ведущий постоянные переговоры со стрельцами. Упомянул он также удивительную новость: в доме тайно проживает Анастасия Пригожина, о чьем внезапном исчезновении осенью в Москве ходили темные слухи.

Как только Каширин сообщил все это в Сыскном приказе – заявился к начальству чуть ли не ночью – порешили, что, не показывая виду, он ежедневно будет посещать это воровское гнездо, дабы убедиться в личности атамана и выяснить его связи. На слежку отвели четыре дня, на пятый был назначен захват дома. Два дня прошли как договорено, а на третий Каширин не вернулся из очередной поездки. Никто особо не беспокоился – он всегда приезжал поздно; но на сей раз – воистину поздно, почти ночью – в стрелецкой слободе близ Яузских ворот объявился старик десятник и стал разыскивать друзей Михаила Каширина. Был также найден по просьбе Михаила дьяк приказа Сыскных дел Возницын. Старик рассказывал неслыханные вещи.

Дом Соколовой, сообщил он, находится в осаде. Все двери заперты извне, за домом тщательно следит удивительный сторожевой отряд под командой Каширина. В него входит сама Ксюшка Соколова и все ее работники, числом пятеро. Стражи эти вооружены пищалями, а также кочергами и железными ломами. В доме же содержатся грабители, тати, мошенники и торговки краденым, а также обезумевшие в жажде подвига староверы. Староверы ведут себя тихо и лишь поют молитвы; что до татей, те так и рвутся в бой, лезут в окна. Каширин запер их покамест в погребе, но опасается, что ненадолго, и настоятельно просит подмогу – большой отряд – чтоб захватить татей и удержать староверов, – судя по всему, настроенных учинить самосожжение.

–А что станишники? – спросил Возницын.

– Все сбежали прошлой ночью, – ответил десятник. – Вместе с девкой, небось, и сбежали.

– С какой еще девкой? – изумились слушатели.

– Ну, Настасья эта, беглая, какую нам с Ефимкой в Холопий приказ велели доставить.

– Что еще за Ефимка? – спросил Возницын. И почему его нет с тобою?

– Ефимка-то? Стрелец, нас с ним вместе сна-

[1] Шестая глава исторического романа «Атаманша». По словам Е. В. Коротковой, эпилогом к роману может служить её историческая повесть «Жизнь-копейка», опубликованная в альманахе «Образы Жизни» за 2012 год. (Прим. ред.)

рядили эту беглую девку схватить и доставить, а уж из Холопьего приказа ее бы хозяевам возвернули. Да вот Каширин сказывал, что она совсем не крепостная, а дворянка. И что отец ее даже служит в каком-то приказе. Кажись, в Посольском.

– Дочка Пригожина? – сообразил Возницын. Значит, она и впрямь в этом доме. Как могла она там оказаться? И растолкуй мне наконец, где твой Ефимка?

– Так ведь я его Каширину в помощь оставил. Что у него там за войско? Одна баба и работники с кочергами. А Ефимка все же человек военный.

– Дочка Пригожина сбежала со станишниками? Непонятная какая-то история. И сам Пригожин изъясняется невнятно.

– Слушай, барин, – старик вдруг рассердился.– Там люди смертью, может, сейчас погибают. И тати разбегаются по всей округе. А ты все о Пригожине каком-то толкуешь. Говорю тебе, Каширина выручать надо. И, повернувшись к товарищам Михаила, сказал внятно:

– Просил всем вам, господа, передать: Михаил Каширин подмогу просит.

Стрелецкие начальники встрепенулись:

– Надо ехать, надо ехать, братцы. Как бы правда беда не случилась. Честь имеем, господин Возницын. А то тебе и допрашивать некого будет.

– Поезжайте, господа, с Богом. Да стрельцов побольше захватите.

Владимир Петрович Возницын медленно шел к своей карете. Был он высокий, худощавый, еще не старый, с большими светлыми глазами. «Какое путаное, сложное дело. В нем все непонятно. Хозяйка притона способствует задержанию. Выгораживает себя? Непохоже. Ведь она под суд попадет. Ей бы выгоднее было просто сбежать».

И неожиданное в этом человеке с задумчивым взором и в почти европейском платье, неожиданное, но так знакомое ему охотничье волнение зашевелилось: узнать, выследить, раскопать.

Одначе чем больше узнавал Владимир Петрович, тем дело становилось темнее. А чем темнее становилось дело, тем большее волнение его охватывало. Тянула в себя бездна непонятного.

Арестантов оказалось куда меньше, нежели предполагали. В ночь на четверг сбежали станишники вместе со своим загадочным атаманом и с еще более таинственной девицей Анастасией. Сбежала чуть не дюжина женщин, проживавших в доме, в том числе вся женская прислуга. В затеявшейся ночью перепалке было убито двое работников и полдюжины татей. Один работник, судя по всему, сбежал к казакам. И, наконец, предали все ж таки себя огню монашки и старцы.

Так что взято было чуть больше десятка, и почти всех с полным основанием забрал себе Разбойный приказ.

Возницыну досталось всего четверо. Двое работников, которых он вызывал на допросы, но из тюрьмы предполагал вскоре отпустить. Полуобгорелая молодая монашка, худенькая, с испуганными лучистыми глазами. И, наконец, сама Ксюшка Соколова, хозяйка воровского гнезда.

Ксюшке предъявлялось множество обвинений. Вероотступничество. Содержание притона, где она прятала убийц и татей, мятежников, засланных Стенькой, и отступников от истинной веры. Впрочем, это еще были цветочки. Ксюшка, несомненно, была ведьмой – чернокнижница, лекарка, гадалка, обладавшая к тому же таинственной силой читать чужие мысли, о чем давно твердили знавшие ее люди и среди них ее кума, дворянская вдова Евфалия Усанова.

Возницын подолгу говорил с Аксиньей, немолодой, но еще красивой женщиной с грустными, усталыми глазами. На все вопросы она отвечала спокойно и неторопливо, и знаменитое его чутье настойчиво твердило: никакая она не злодейка, говорит по большей части правду, кое в чем темнит, но не по злому умыслу, а почему – пока непонятно. Скорей всего, кого-то покрывает.

Кстати, молодой помощник его Каширин горой стоял за Ксюшку Соколову и подтверждал ее показания. Но тут случилось непонятное и скверное. Из Разбойного приказа сообщили, что содержащиеся там тати возложили на Каширина государево дело. Запирая всех оставшихся в доме, он за взятку выпустил оттуда тверскую купчиху Астахову со всем ее товаром.

Каширин подтвердил, что выпустил купчиху. Но решительно отрицал, что за взятку. Просто пожалел старушку, она добрая, порядочная, в преступлениях не замешана. В доме же такое творилось, что ее бы, наверное, убили.

Пришлось взять под стражу и Каширина – нарушение присяги. В допросах он теперь участвовал не как помощник Возницына, а как человек, которого допрашивают.

Из того же Разбойного приказа поступил новый навет на Михаила. Торговки краденым уверяли, что он целые дни проводил с Настасьей, был к ней явно неравнодушен, доверительно беседовал и наверняка упредил ее, что дом будет захвачен, ибо сразу после его отъезда, в среду, Настя позвала из кухни Аксинью и о чем-то долго с ней говорила. Аксинья же наутро объявила всем в доме, что вот-вот придут стрельцы и надо поскорей бежать.

Наблюдательные воровки также сообщили, что Настя Михаилу только голову дурила, а сама еще зимой стала любовницей Ивана (скрывшегося

в последний миг атамана) и бежали они вдвоем, а не с казаками. Казаки уехали еще с вечера, а эти долго сидели и любезничали в горнице атамана, потом весьма сердечно распрощались с Аксиньей и ускакали верхом на рассвете.

Тати тоже подтвердили, что у Ивана с Настей была любовная связь, коей они не скрывали, и что Иван еще зимой учил Настю ездить верхом, стрелять и рубиться на саблях.

Когда Возницын стал расспрашивать Михаила, знал ли он об отношениях Насти с Иваном и действительно ли предупредил эту девицу о готовящимся захвате дома, он увидел в глазах молодого человека такую тоску, что понял: Михаил был к девушке сильно неравнодушен, а отношения ее с Иваном для него тяжкий удар.

– С этим зверем... – прошептал он с болью.– Я узнал об этом от Аксиньи, когда они уже бежали. – А затем негромко и равнодушно добавил:

– Да, я предупредил ее. Я считал ее порядочной девушкой и хотел, чтобы она вовремя ушла из дома, и даже наметил, у кого она поселится на первое время.

Еще одно нарушение присяги и долга. Да какое! Мишке, видимо, грозил застенок.

– Ты хоть успел предупредить этих людей, что просишь принять их у себя Анастасию? – спросил Возницын с жалостью.

– Да, кажется, – ответил Михаил. – Впрочем, это же теперь совсем не важно.

«Для тебя важно, дурень!» – чуть не крикнул Возницын, но сдержался, спросил хмуро:

– Что за люди, близкие знакомые твои?

Михаил неохотно ответил:

– Простые люди, Настина подруга с мужем, я с ними редко вижусь, для твоих изысканий они не нужны.

«Уж позволь мне лучше знать, кто мне, а главное, тебе, нужен», – вспыхнул гневом Возницын, но вслух лишь сухо произнес: – Допрос окончен.

Возницын славился своим чутьем, и чутье упорно ему говорило, что все допрашиваемые им честно старались соблюдать закон, держать под стражей татей и спасти от смерти невинных людей. Но на допросах, как из худого ведра, сыпались все новые подробности во вред им. Неужели так и будет, все во вред?

Однажды утром на прием к нему приехали голова сотни суконщиков и настоятель храма Успенья Пресвятой Богородицы протоиерей Варсонофий. Они привезли с собою худенькую пожилую женщину, которую представили как ежегодно бывающую в Москве тверскую купчиху, торгующую холстами. Звали ее Матрена Астахова. Оказалось, старушка, прослышав, что Михаил из-за нее посажен в тюрьму, поспешила поскорее в Тайный приказ и попросила двух солидных поручителей, хорошо ее знавших, ей сопутствовать.

И священник, и купец заявили, что знают ее много лет как женщину в высшей степени порядочную и правдивую. Священник добавил, что Астахова его духовная дочь и в вере весьма крепка.

–Ты, сударыня, мне хочешь что-то сообщить? – обратился Возницын к старушке.

– Да, батюшка, – дрогнувшим голосом отозвалась она. – Я слыхала, этого молодого дворянина, что меня от смерти спас, хотят к пытке отвести. Не наказывайте его и не мучайте, Бога ради, – ее голос сильно задрожал. – Это добрейший юноша, и честнейший. А что навет на него возвели, так ведь эти разбойники ему мстили за то, что он их из дому не выпустил. Поверь, голубчик ,– она умоляюще сложила руки, – не то что требовать с меня какие-то поборы, он слова мне худого не сказал. Такой вежливый, такой сердечный. Чистая душа. Я на Евангелии Святом поклянусь. Если уж таких наказывать, то на Руси людей хороших вовсе не останется, – и она заплакала.

Возницын, торопливо вскочив, усадил ее на стул.

Было принесено Евангелие, и старушка на нем поклялась, а также поцеловала Крест. Подьячему велено было все записывать. Далее ей представили запись для подписи, затем на отдельных листах оставили свои свидетельства и подписи отец Варсонофий и голова сотни.

Возницын повеселел и с гостями был весьма учтив.

– А что, сударыня, – обратился он к купчихе, у меня в деле, вот в этих бумагах сказано, что Аксинья Соколова содержала воровской притон. Подтверждаешь ты в присутствии своих доверителей, что в притоне воровском жила?

– Бог с тобой, голубчик, – ужаснулась старушка. Да нешто стала бы я в притоне жить? Постоялый двор держала Аксинья. У ней купцы останавливались и другие приезжие, все приличные люди. Вот и Иван, он тоже по торговой части, все ездил, бывало, в Москву. Не знаю, правда, чем торговал. И из Вологды купцы мои знакомые бывали, и помещик один из Симбирска. Попадались там, случалось, страшные хари, да ведь в Москве ж это на каждом шагу.

– Запиши все это, Вася, – сказал подьячему Возницын. – Только без имен, одна путаница от них. А ты, сударыня, распишись в своем заявлении, и вы подписями своими подтвердите, – повернулся он к доверителям, – что в вашем присутствии это сказано. Ну теперь, пожалуй, все. – Он облегченно вздохнул.

– Прощай, касатик, – сказала старушка. – Дай тебе Бог счастья. Вижу, добрый ты человек, – и слегка дрожащей рукой его перекрестила.

Он ей поклонился. Батюшка благословил его, с купцом они раскланялись.

Возницын был растроган. И, хотя мало кто в приказе Сыскных дел стал бы утверждать, что он такой уж добрый человек, но он с истинным удовольствием собрал все оставленные посетителями бумаги и четким почерком написал: «Для совещания с судьей. О снятии с дворянина Михаила Каширина навета в требовании и получении взятки с купчихи Матрены Астаховой».

– Перепиши-ка мне, братец, в подробностях нынешнюю беседу, – сказал он подьячему.

Молодой смешливый подьячий склонился над чистым листом и, усмехаясь, прошептал: «Касатик».

* * *

– Что, Астахова у тебя нынче побывала? – спросила приведенная к допросу Аксинья. – Вступилась за Михайлу Каширина? Я так и думала, что придет. Добрая она душа и человек честный.

– Да, старушка весьма почтенная, и представили ее уважаемые люди, – ответил довольный Возницын. – Впрочем, не пойму я, кто из нас допрос ведет. На тебя вот тут новый навет поступил. Жильцы твои бывшие сказывают...

– Это воровки, что ли? – спросила Аксинья.

Возницын кивнул.

– Сказывают, что девица Анастасия бежала не вечером с шайкой станишников, а гораздо позже, с атаманом вдвоем. Чем тебе полезна эта новая ложь?

– Иван просил, – простодушно пояснила Аксинья. – Чтобы погоню с толку сбить. Ну, да уж теперь-то все равно, они уже далече, можно и правду сказать.

– А я впишу тебе в дело, что сбивала розыск с толку, – сказал Возницын. – Мало на тебе обвинений висит?

Странно он ведет эти допросы, словно сообщничает с ней. Рассердившись, он повторил сурово:

– Иван просил! А сводничать он тебя не просил? Ты ведь сваха известная, а заодно, небось, сводня? Твоих рук дело, что честная девица любовницей разбойника стала?

– Да не была она его любовницей, – ответила Аксинья. – Так, любезничали, конечно, кровь-то не вода, но он по-честному хотел, со священником уговорился, платье подвенечное купил, уж такой красоты!

– Украл?

– Да зачем ему платья красть? Что, у него денег мало?

– Деньги, полагаю, приобретены честным путем. Так насчет сводничества как, признаешься?

Черные Аксиньины глаза сверкнули молнией. А ведь такие усталые были.

– Вот уж в чем не признаюсь! – воскликнула она. – Я в ногах у нее чуть не валялась, просила бросить эти шашни и с Михайлой уйти. Он ей был пара, а Иван – откуда только взялся? Воистину связался черт с младенцем. Да ведь не зря люди говорят: любовь зла.

Странные беседы о любви ведутся в их серьезнейшем приказе.

– Чем докажешь, что не сводничала? – спросил он.

– Вот тебе Святой Крест, – она привычным движением перекрестилась, привычно, не задерживаясь, сложила три перста. – Ну зачем мне их сводить было, скажи? Девочку эту жалко, таких ужастей насмотрится там! А Михайло когда появился, я было обрадовалась – подходящие они друг другу, свой московский человек. Ну как тебе доказать? Я такое тебе скажу, чего никому не говорила. Я Ивана всю жизнь знаю, мы из одной станицы. Он мальчишкой из дому бежал. Я уж вроде взрослая девушка была. Но сейчас-то разница невелика, мы почти ровесники. Я ему подходила, а не Настя, так зачем же мне их было сводить?

Странно было видеть, как эта спокойная, сильная женщина смутилась и покраснела.

– Значит, он не так уж молод? – спросил Возницын.

– Да какое уж там молод! На вид молодой. И красив, ничего не скажешь.

– Ну, это записывать не стоит. Впрочем, примета не помешает, если он вновь появится тут. Светлый, темный?

– Зачем тебе это? Он скрываться перестал. И не мне на него слежку наводить.

– Ну, это не тебе решать, – строго заметил Возницын. – Впрочем, ты права, он, конечно, не скрывается сейчас. Подумать только, венчаться хотел! Как ты полагаешь, они обвенчались?

– Откуда же мне знать? Думаю, да, – со вздохом сказала она.

– Кстати, ты какую церковь посещаешь, и кто твой духовный отец?

Она ответила.

Возницын после службы зашел в церковь, названную Аксиньей. Тем более, не так уж далеко была. Он успел поговорить со священником до вечерни. Тот подтвердил: Аксинья церковь посещает часто. Верует истово. Нет никаких причин усомниться в ее искренности. Возницын взял у священника небольшую записку, где тот написал сей отзыв.

На следующее утро, придя в приказ, он взял дело Ксюшки Соколовой, сам подшил к нему свидетельство священника и без всяких совещаний

вычеркнул первое обвинение: «Вероотступничество».

Накануне вечером он заглянул в гости к старинному приятелю своему князю Голицыну, которого знал с детства, – они виделись часто – и, не вникая в ход следствия, ведомый только ему, рассказал, как много ему нынче по службе пришлось говорить и слушать о любви.

Романтичный и чувствительный Голицын разволновался, заблестели чудные его глаза. Он расхаживал по своей знаменитой комнате, какой дивились даже иноземцы, и с воодушевлением говорил, что за великая и таинственная сила любовь. Возницын не сомневался, что уж нынешнюю историю он непременно расскажет на Верху. И как внимательно все будут слушать его, особенно царевны, и старые – сестры государя, и молодые – дочери его от Милославской, шесть царевен, из коих лишь двоих можно назвать взрослыми девицами; впрочем, слушать придут больше, чем две, а уж третья-то, подросток – беспременно. Возницын слышал о ней – умна, редких способностей, и бойка, и любознательна. Каким-то чудом упросила позволить ей учиться всем наукам вместе с наследником престола. Чтоб такая да послушать не пришла!

Прежде над дверью, в которую входили к государю знатные посетители, бояре и князья, была устроена палаточка, из которой государыня и царевны могли увидеть пришедших. Одначе теперь, при новой молодой царице, воспитаннице Матвеева, палаточку сменила занавеска в самой палате, так что всей царской семье можно было и разговоры послушать.

Чудно сказать, но умному, солидному человеку, Возницыну было лестно, что о его делах слушают во дворце, словно сказку, и сам государь, и царица, и царевичи, и царевны – девочки и старушки.

Государь всея Руси Алексей Михайлович был, как видно, по горло сыт своим собственным опытом, повторявшим печальный опыт его кроткого отца. Опыт этот заключался в том, что вмешательство «зверообразных человек», как именует их летописец, а, иными словами, временщиков, боящихся потерять свою власть, разрушило уже не одну царскую женитьбу, разлучило и разбило сердца влюбленных молодых государей и прелестных их избранниц, так же пылко полюбивших своих женихов и всю жизнь потом хранивших им верность. Клевета, которую распускали во время смотра невест, и особенно после обряда наречения царской невестой, и – много хуже того – покушение на здоровье и жизнь государевых избранниц только за последние два царства уже трижды совершали свое черное дело.

Государь намерен был жениться, и смотры невест уже свершились, но он, казалось, никого не избрал. Во всяком случае, царь не объявил о своем выборе. Да и незачем было это делать, ибо невесту он выбрал уже давно. Бывая в доме Матвеева на театральных его представлениях, он увидел Наташу Нарышкину и даже познакомился и беседовал с нею. Черноокая красавица его пленила.

В одно прекрасное и очень раннее утро к Матвееву в придворных каретах прибыло несколько бояр и небольшой отряд солдат и трубачей. Невесту разбудили, и Артамон Сергеевич объявил ей, что царь избрал ее своей невестою и приказывает им немедленно явиться во дворец. Наташу нарядили в великолепное платье, на котором было столько драгоценных камней, что ей было тяжело нести на себе свой свадебный наряд.

Свадьбу готовили втайне, невесту повели прямо в церковь без предварительных опасных обрядов, и брак был совершен придворным священником в присутствии весьма немногих, самых приближенных к царю лиц. Пир длился несколько дней, и дворец был в это время заперт.

Церковному ведомству и всем епископствам разослали грамоты, и по всей Руси теперь молились о здравии новой царицы, поминая ее имя вместе с именем царя.

Пораженная столь скоропалительным браком Москва не отпраздновала эту свадьбу торжественно, зато в воздухе носилось ощущение свободы. Царский двор решительно отделался от козней и интриг «зверообразных человек».

Впрочем, решительные действия государя хоть и нанесли удар этой малоприятной породе людей, но отнюдь не избавили от них человечество. В том, что «зверообразные» живехоньки, полны сил и жаждут деятельности, одним из первых убедился наш добрый знакомый Владимир Петрович Возницын.

И недели не прошло после царской свадьбы, как в приказ заявилась дворянская вдова Евфалия Усанова.

«Что-то прозвание знакомое», – подумал дьяк и велел ее впустить.

Вошла женщина средних лет, прилично и даже изящно одетая, с живыми карими глазками.

– С чем пришла, сударыня? – спросил Возницын сонным голосом.

– С наветом! – оживленно откликнулась вдовушка.

– На кого же твой навет?

– На содержащуюся у вас под стражей Ксюшку Соколову. Кстати, к пытке ее уже приводили, милостивый государь?

– Тебя это не касается, – хмуро произнес

Возницын. – Вопросы здесь предлагаю я, а твое дело на них отвечать. Кем приходится тебе Аксинья Соколова?

– Кумою.

– Прекрасно. А в чем заключается твой навет?

– Я ведь, батюшка, потому только спросила, что люди говорят, будто по делу Соколовой никого еще не водили в застенок. Может ли такое быть? Возницын молчал и выжидательно смотрел на вдову.

– А что касаемо навета, – заговорила вдовушка, так и не дождавшись отклика на свой вопрос, – Аксинья ведь у вас в ведовстве обвиняется. Так вот, в связи с бракосочетанием государя... – Молоденький подьячий при этих словах поперхнулся и разинул рот. Лицо Возницына хранило полную невозмутимость. Вдова продолжала: – Вот на этих днях я и вспомнила, что ровно год назад у Матвеевых – я ведь у них запросто бываю – у супруги Артамона Сергеевича в гостях была Аксинья Соколова и нагадала Наталье Кирилловне на картах эту свадьбу. Всем трем девушкам гадала, и все сбылось.

«Пошло!» – почувствовал вдруг Возницын. Охотничий пыл так и загорелся в нем. Лицо же стало еще более сонным.

– В каких именно словах Соколова предсказала свадьбу? – спросил он.

– Ну, я в точности не помню... – залопотала наветчица. – Что, мол, ждет ее большая перемена. И потом такие слова: «Высоко взлетишь, пожалуй, выше некуда». Это я точно запомнила, я ведь еще сказала тогда, что высоко взлетать нехорошо, расшибешься, когда падать будешь.

«До чего гнусная баба», – подумал Возницын.

– В чем же, сударыня, однако твой навет? – спросил он. – В том, что Соколова гадает на картах? –

Вдова метнула на него презрительный взгляд.

– На картах, сударь, многие гадают, – снисходительно ответила она. – А тут приворот, ведовство. И гадала-то она по одной только карте. Разве так гадают обычные люди? Она силы темные призывала. Если бы не это ее гаданье, может быть, и свадьбы не было бы никакой.

Живые, умные глаза Возницына смотрели тускло, без выражения. Какая-то мутная, свинцовая тяжесть сменила их блеск. Вдова почувствовала себя неловко под этим взглядом и заерзала.

– Ведовство и обращенье к темным силам, – сказал он. – Кто же повелел ей учинить приворот? Государь? Или государыня? Кого из них ты обвиняешь в связи с нечистою силою?

– Да я разве... – задохнулась Усанова. – Да как бы я посмела таких особ обвинить? Это Ксюшка Соколова, думаю я, может с силами темными знаться.

– Соколова весь этот год не видела государыню, а к государю и близко не подходила никогда. Зачем ей хлопотать об этой свадьбе, если никто из них ее об этом не просил?

– Может быть, Матвееву хотелось?.. – пролепетала вдова.

– Так ты с наветом на Матвеева явилась?

– Ох, нет! Ну, откуда мне знать? Я с ним и не разговаривала сроду.

– Но кого-то из троих ты имела в виду. Если не Матвеева, то государя или государыню, либо кого-то из ее близкой родни. Кстати, это третье лицо не ты ли? У Соколовой бываешь часто. Ты тут сетовала, что из нашего приказа мало людей к пытке посылают. Мы все же посылаем иногда, тем боле если речь идет о таких особах.

Усанова сидела ни жива, ни мертва.

– Продолжим допрос, – деловито произнес Возницын. – Застенок позже. Ты сказывала, что Соколова гадала трем девицам, и все гаданья сбылись. Кто остальные две?

– Батюшка, отец родной, помилуй! – в отчаянии вскричала Усанова. – Как бы я посмела нести навет на таких лиц? Да мне и в голову не приходило! Только, Бога ради, не надо меня в застенок!

– Кто, кроме оных троих особ или их ближайших родственников мог желать этого брака, да еще так сильно, чтобы к нечистой силе обращаться? Подумай дурьей своей башкой. Никто. Но я сказал тебе: застенок потом. А пока изволь ответить мне на вопросы. Кому еще гадала Аксинья Соколова? Или тебя сразу в застенок вести?

Наветчица решила, что туда лучше не торопиться. Может быть, пока она будет отвечать, ее спасет какое-либо чудо?

– Гадала Насте Пригожиной, – тихо сказала она.

– А, так вот откуда я твое прозванье помню. Ты ведь и на Пригожину писала навет в Холопий приказ, якобы она – крепостная девка, сбежавшая от хозяев.

«Час от часу не легче, – подумала вдова. – Экая у него дьявольская память! Небось, тоже колдун».

– Да перепутала я.... Потом вспомнила, у Матвеевых я ее встречала. Они в горелки все играли.

– Кто?! – яростно выкрикнул Возницын.

– Ну, не Артамон же Сергеевич. Девушки играли. Наталья Кирилловна, государыня то есть, Настя и Дуняша, родственница ее...

– Чья? – резко выпалил дьяк.

– Ну, не Настина, а государыни. Вроде приживалки при ней была. Они давно не видятся, она замуж вышла, Дуняша, стало быть. – Она путалась в словах и на щеках у нее выступили красные пятна.

– За кого вышла замуж, где жительство имеет и как ее зовут?

– Вышла замуж за лавочника, торгует скобяным товаром, где-то неподалеку от мясницких ворот они живут. Гусева теперь ее прозвание.

– Это Соколова ей нагадала, что за лавочника выйдет? – уточнил Возницын.

– Да нет, батюшка, не совсем так. У нее с Мишкой Кашириным шуры-муры были, он очень нравился ей, вот она и просила, молила даже Аксинью, хотела, чтобы Мишку нагадала ей. А Аксинья говорит: «Жизнь твоя будет обыкновенная, ничего особливого. Выйдешь замуж, родишь детей». Да, еще сказала: «Предательство узнаешь от близких людей». Она так сразу и завяла, поняла: не выйдет с Мишкой. Он на Настю поглядывал уже и тогда. А перед отъездом в Польшу, говорят, сказал что-то Дуне, она плакала сильно и вскоре вышла замуж за этого Гусева, давнего воздыхателя своего. Была хорошенькая, а тут сразу подурнела. И Наталья Кирилловна, как вышла Дуня за лавочника замуж, перестала видеться с ней. Вот оно предательство от самых близких, сразу от двоих. Ведь она сирота.

«Бесценная свидетельница, – подумал Возницын, чувствуя, что посетительница говорит теперь правду. – Так и сыплет сведенья, как из мешка. Ей бы нам служить. Но с ней страшно иметь дело. Столько злобы, мстительна, небось, и завистлива, из трех девиц не донесла только на ту, которой не в чем позавидовать.

– Ты с ней видишься, с этой Дуняшей?

– Встречаюсь иногда. Поздороваемся, поговорим немножко да и пойдем, каждая в свою сторону. Неразговорчива она стала. А уж какая болтунья была.

– Пригожиной что нагадала?

– Вся жизнь в крутых поворотах. Аксинья даже удивилась, какая ей предстоит необычная жизнь. Она еще две карты взяла и все головой качала. Потом сказала: вскоре будет что-то скверное, но чтоб Настя духом не падала, много в ее жизни будет перемен. Настя в скором времени и ходить к Матвеевым перестала.

«Что-то скверное будет вскоре, – мысленно повторил Возницын. – И перестала ходить к Матвеевым, а потом исчезла из дому. Пригожин говорит, что заболела и бежала в бреду. Темная история. Он вроде бы почти не старался разыскать дочь, как-то вяло вел себя. И рассказывал неохотно».

– С Пригожиной ты потом встречалась?

– А как же! Она ведь у Аксиньи поселилась, там я видела ее, и не раз. Еще зимой, а потом перед ихним побегом.

– И чем она рассердила тебя?

– Почему, батюшка, рассердила?

– Ну, не ври мне, лучше сразу отвечай, на пытке-то все равно правду скажешь.

«Не иначе он колдун, – опять подумала Евфалия. – Человека наскрозь видит, как Аксинья».

– Дерзкая девчонка, – сказала она. – Я ведь все дворцовые новости знаю, приехала к Аксинье в гости, рассказываю им, а она вдруг как вызверится на меня и всяких грубостей наговорила, мол, я чужому горю радуюсь и «чудовищем» меня обозвала.

«Ты и есть чудовище, – подумал Возницын. – Мстительна, я так и думал. И завистлива. Небось, завидует царице, еще год назад сказала гадость. А сейчас, возможно, и для мести появился повод».

– Ты во дворце бываешь? – спросил он.

– Бываю, – неохотно ответила Усанова.

– С кем знакома? Либо по какому делу?

– Кружева у меня девки дворовые хорошо плетут. Я продаю, бывает, знатным людям, а во дворце придворные боярыни покупают и царевны тоже.

– Покойная государыня покупала у тебя?

– Да она все хворала в последнее время. Не до кружев ей было, – посеревшими губами прошептала вдова.

«Догадалась, к чему спрашиваю», – подумал Возницын. Помолчал и внезапно спросил:

– Государыня Наталья Кирилловна велела не пускать тебя во дворец?

Потускневшие темные глазки с ужасом глядели на Возницына.

– Что ты, Господь с тобой! Я ее и не видела давно. До меня ли ей сейчас.

– Мне ведь узнать это нетрудно, – сказал Возницын. – Сама понимаешь.

– Батюшка! – вскричала Усанова. – Государыня и в самом деле не велела пускать меня во дворец. И мне это ужасть как обидно. И на Ксюшку я осерчала, что она ей нагадала такое. Но Богом тебе клянусь, не было у меня таких мыслей, что государыня колдовала и приворот устроила. Не было, чем хочешь поклянусь!

– Допрос окончен, – сказал Возницын и повернулся к подьячему. – Стражников сюда.

Вошли двое стражников. Дьяк велел поместить сидящую перед ним женщину в одиночную камору.

– Люди добрые, спасите! – кричала Усанова. – Я не мыслила против государыни. Мой навет на Ксюшку, только на нее. – И вдруг бросилась на колени перед Возницыным. – Хочешь, свой навет назад возьму? Я все сделаю, что ты прикажешь. Только жизни меня не лишай!

– Навет взять назад нельзя, – сказал Возницын. – Он у нас к делу подшит. Но ты можешь написать отказ от своего навета. Писать умеешь? Хорошо.

– Что ж мне, государь мой, там написать?

– Ну, напиши, скажем, что ты оклеветала Со-

колову по злобе из-за какой-нибудь мелкой обиды или ссоры, о чем сожалеешь. И что на самом деле Соколова – честная женщина и не занимается ведовством. Ведь все эти обвинения в ведовстве почти что только на твоих словах и основаны. О государыне не пиши – ты ее не упоминала в навете. И сейчас ненадобно.

– Но ведь там вот он, – она дрожащим пальцем указала на подьячего, – записал все насчет гаданья в матвеевском доме.

– Ну, это мы набело перепишем покороче и о девушках этих не станем упоминать.

– Я напишу отказ. А потом меня домой отпустят?

– Нет, ты у нас в каморе посидишь. Дело важное, на каких особ ты замахнулась. Завтра будем совещаться с судьей. Но отказ тебе поможет, и я за тебя вступлюсь. Может быть, удастся избавить тебя от пытки.

– Уведите ее, – сказал он.

Евфалия едва держалась на ногах.

– Ну, дал ты ей жару, Владимир Петрович, – уважительно сказал подьячий. – Какая, однако, мерзкая баба! И откуда столько злобы в ней? Как ты мыслишь, отпустят ее?

– Да кто ж его знает, – ответил Возницын. – Может, в монастырь какой-нибудь далекий сошлют.

* * *

Совет на следующий день держали не только с судьею. Возницын известил Матвеева, совещались втроем, без подьячего.

Судья говорил, что коль скоро навет касался государыни, наветчицу беспременно надо к пытке привести, хоть разок.

– Она и так напугана до смерти, – возразил Возницын. – Да и отказалась от всех своих обвинений.

– Так что ж, ее просто отпустить? – спросил судья.

– На всю жизнь она не испугается, – заметил Матвеев, – еще много будет вредить.

Тут, постучавшись, вошел стражник.

– Ваша милость, вчерашняя наветчица буянит. Говорит, ее принудили отказ написать.

– Буянит, говоришь? – спросил Возницын. – Ну, сведи ее в застенок, пусть посидит там, подождет. Решение по ее делу еще не принято.

– Палачу что сказать?

– Пусть пока ее не трогает. Так и скажи при ней: пока.

– Ну, Владимир Петрович! – проговорил Матвеев. – Сам видишь.

– Да, особа прыткая, – согласился Возницын. – Может, сослать ее в какой-нибудь дальний монастырь и держать там в строгости и одиноко?

– Как бы не сбежала по дороге от излишней прыти, – сказал Матвеев.

– Чего ее зря в пытошной держать? – недовольно пробурчал судья. – Видно ведь, какая сука, только злобу свою разжигать будет.

– Решайте сами, господа, – сказал Возницын. – Я с ней вчера целый день провозился. У меня важные дела, что ж мне только с ней и заниматься? Не буду я ее наветы да отказы переписывать по сто раз.

– И не надо переписывать, – живо откликнулся Матвеев. – Хорошо б ее хоть высечь там.

– Держать в пытошной, пока не угомонится, – строго сказал стражнику судья. – Будет буянить, постращать. Там знают как. Потом посадить во вторую камору. А там отвести в монастырь.

– Когда? – спросил Возницын. – Мне дело закрывать нужно.

– Нынче ночью, – веско произнес Матвеев. – Дело это и впрямь пора закрывать.

Возницын видел ее еще раз, когда ее вели во вторую камору, из которой никогда никаких воплей не бывало слышно. Ее не покалечили, но вид у нее был безумный и глаза горели жутким огнем.

Утром ему сообщили, что Усанова отправлена в монастырь. Больше он о ней никогда не слышал.

И не спрашивал о дальнейшей ее судьбе.

Зато уже день спустя он отправился к Мясницким воротам побеседовать с Дуняшей Гусевой. Молодая белокурая женщина, встретившая его, была весьма миловидна. Опять Усанова злость свою показала: «вышла замуж – подурнела», ну к чему ей и об этом врать?

Возницын стал расспрашивать Дуню о знакомстве с Настей Пригожиной, что за девочка она была? «Веселая, смелая, – улыбнувшись, ответила Дуня. – Мы в горелки играли, она бегала так шибко, никто не мог поймать». И про то, как перелезла через забор при первом знакомстве, а уж ученая какая была, на трех языках говорила и пиесу перекладывала французскую. Рассказала Дуня и о пресловутом гаданье, когда Насте была предсказана в скором времени беда и на всю жизнь крутые повороты. «А потом она к нам перестала ходить, – сказала Дуня печально. – В августе, пожалуй, раза два или три такая смутная пришла, а затем и вовсе пропала».

– А не спрашивали вы с Натальей Кирилловной, почему она грустит? – допытывался Возницын.

– Наташа ничего не спрашивала, а мне так было ее жаль, я хотела узнать, да она ничего не сказала.

«Даже подруге не сказала. Что за тайная гроза прошла в мирном домике добрейшего Льва Акимыча? Странно, эта женщина так простодушна, но ни слова

о Каширине. А ведь, по его увереньям, они видятся даже сейчас. Эта язва уверяла, что Дуняша была в него влюблена, он отверг ее, как будто из-за Насти, и она вышла замуж с горя».

– Скажи, Дуня, – спросил он мягко, чуть ли не вкрадчиво, – ты Михайлу Каширина видишь иногда?

Дуня смутилась.

– Так ведь он же у тебя в тюрьме сидит, – тихо ответила она и покраснела.

– Я надеюсь, это ненадолго, – торопливо сказал Возницын. – Но скажи мне все же, видела ли ты его после возвращения из Польши?

Дуня внимательно на него посмотрела.

– Ты, небось, что-то слышал про нас? Я на Михайлу не в обиде, он честно меня упредил. – Она вздохнула. – Только ведь от этого не легче.

– Как упредил? И когда? – спросил Возницын. Казалось бы, пустое любопытство, но он давно заметил: лишнее знание редко бывает лишним.

Дуня покраснела, заволновалась.

– Я провожала его в Польшу, – сказала она, – и плакала сильно, а он вдруг отозвал меня в сторонку, я обрадовалась, так и бросилась к нему. А он, Михайло, значит, мне и говорит: «Я уезжаю надолго и хочу быть с тобой честным. Не жди меня. Посватает хороший жених – выходи». Я так и охнула и хотела ему возразить, что буду ждать его сколь угодно долго, а он тут сухо так, неласково меня перебил: «Знаю, знаю все. Во мне дело. Я на тебе не женюсь».

Служба нечестивая – в чужой душе копаться и невинного человека мучить. На Дуню жалко было смотреть. Зато теперь он все об этом знает.

– А после Польши был как-то у нас, – продолжала она. – Вина и сладостей принес. Поздравлял с законным браком. С мужем познакомился моим. Все твердит, как он рад, что мы так дружно живем. Мой-то, простая душа, ничего не заметил, а я вижу: ему и неловко и скушно у нас. Так и хочется уйти поскорее. Нет, он все же у нас посидел, вежливый человек. Про Польшу что-то смешное рассказывал. Муж вот тоже говорил: вежливый человек, хороший. А потом долго не заходил, в делах, небось, недосуг.

Она вскинула головку, в голубых глазах ее блеснули слезы:

– И как-то прибегает к нам, взволнованный такой, – произнесла она зазвеневшим голосом. – Прибежал и этак торопливо говорит: дескать, Насте беда грозит большая, домой ей нельзя воротиться, так не может ли она у нас с мужем пожить? Яша мой, он добрый ведь, он сразу говорит: «Ну, отчего же нельзя, если подруга твоя в беду попала, места у нас хватит». Хороший человек мой муж, сочувственный, простосердечный, ни на кого его не променяю.

Нет, права была Усаниха, права. Любовь, даже горечь ее и обида, красит женщину необычайно. Совсем другая Дуня сидела перед ним. Чувство оживило ее, и она была прекрасна в своей оскорбленной гордости и печали.

– Как ты верно сказала, – заметил он. – Видно по всему, что муж твой человек хороший. Познакомь меня, пожалуйста, с ним.

Дуня при этих словах просветлела.

– Яшенька, – позвала она ласково. – Взойди сюда, мой друг. Господин Возницын с тобой познакомиться хочет.

Вошел Гусев. Был он узкоплеч и некрасив, волосы над молодым лицом раньше времени поредели. Но столько добродушия было в его обыденном лице, и с такой любовью смотрел он на свою Дуню.

Возницын посидел с ними и от угощения не отказался. Расспросил, как торговля, какая есть родня, с кем дружат. И сказал им прямо, что они могут, если хотят, помочь Михайле Каширину освободиться из тюрьмы, и для этого нужно написать, что через несколько дней после Пасхи он просил их приютить у себя Настю Пригожину и спасти этим от большой беды. Разумеется, они охотно все написали, но ведь и в самом деле все было так.

«Какие славные люди, – думал Возницын. – Что за прелесть эта Дуня. Она не любит мужа, но сколько сердечности в их отношениях. А государыня наша молодая совсем другого толка, чем ее бывшая подруга. В ней какой-то холод и высокомерие есть. Подругу бросила, а ведь они выросли вместе. Да и Усановой припомнила колкость и не простила в свои счастливые брачные дни. И Настю не расспрашивала, отчего смутна. Дуня ее пожалела и узнать пыталась, что же там случилось. Не узнала, правда... Подумать только, у Льва Акимыча тайна и какая-то гадкая тайна. Чувствую. Но я узнаю все равно».

Как кружевница распутывает испорченный узор, медленно, петельку за петелькой, так Владимир Петрович распутывал дело, испорченное с самого начала нарочитыми умолчаниями и клеветой. С Аксиньи полностью снято только обвинение в вероотступничестве. Остальные – там их целая куча – пошатнулись, но остались. Судья все просит отвести ее к пытке и убедиться, ведьма ли она. Возницын все откладывает. В порче, привороте и прочем ее никто не обвиняет, лишь Усаниха намекала на приворот, но чем все это кончилось? Саму же свели к пытке. Зато лечит она какими-то невиданными средствами, гадает тоже чересчур хорошо, да еще эта дурацкая слава, что умеет мысли читать.

Что касаемо до содержания притона, уже понятно вроде, что не притон, а постоялый двор, и

останавливались там обыкновенные люди, но все же можно сказать: постоялый двор с дурной славой.

С Мишкой Кашириным легче дела. Обвинение во взяточничестве с него сняли. А после посещения Гусевых ему можно заменить разглашение государственной тайны на легкомысленный, но объяснимый проступок. Можно будет, пожалуй, просить, чтобы отпустили его на поруки.

Был перепутанный, жестко стянутый узел. А теперь уже завиднелся узор. Перекошенный, кривой. Надо еще петельки распутать.

Вечерними рассказами Василия Васильевича Голицына о розыске в приказе Тайных дел, где сидят то ли очень скверные, то ли очень хорошие люди, обвиненные в страшных грехах, никто так не был увлечен, как царевна Софья.

Правда, Возницын рассказывал далеко не все своему высокопоставленному другу – ведь служил он все же в Тайном приказе. Но в этой страшной кровавой истории, где так много людей погибло, а остальные попали в тюрьму, было переплетено столько любовных нитей, что просто сердце замирало. Тем более, что сердечко молодой царевны уже не пребывало в полном покое – смутные, самой пока не ясные волнения тревожили его.

Из большого числа действующих лиц этой на глазах разыгрывающейся пиесы выделялось одно, все больше и больше притягивающее к себе Сонечкин интерес. Девушка! Образованная; так же, как она, знающая иноземные языки и читавшая те же книги – правда, духовных книг она, как видно, читала поменьше – внезапно начинает совершать безумные, отчаянно смелые поступки. Она бежит из отчего дома – Софья видела несколько раз ее отца, дьяка Посольского приказа. К слову сказать, особенно любопытно ей было оттого, что она знала некоторых действующих лиц этой пиесы или связанных с ними людей.

Девушка бежит из дома ночью, больная, как говорят, в бреду, но кто знает правду? Бежит она поздней осенью, в мороз, говорят, даже не взяв с собой одежды, просто накинув какое-то рубище, оказавшееся под рукой. А весной ее встречают знакомые ей люди – боярина Шатова и Софья знает. Встречают ее в странном доме, в полутора верстах от Москвы, где живут прячущиеся от закона люди, разбойники и староверы. Говорят, за эти полгода она дивно похорошела, богато одета, а держится так, будто она владетельная особа.

Московские знакомые упрашивают ее бежать из этого вертепа в Москву, дом – злодейское гнездо – не сегодня-завтра будет захвачен. Ей обещают даже пристроить ее во дворце – из вертепа да во дворец – додумались вьюноши! Она путает их, что-то обещает и внезапно, в последний миг, сбегает на Дон к Стеньке Разину с живущим в том же доме Стенькиным атаманом, любовницей которого она была. Впрочем, ходит слух, что не любовницей, а женой или невестой – атаман купил ей подвенечное платье редкой красоты, все в алмазах.

Выйти замуж за человека чуждого сословия, бежать с ним туда, где разгорается мятеж. Безумная она? Все говорят, она весела, спокойна, остра разумом. Что толкает ее на эти безумства? Любовь. Говорят, что они с атаманом горячо полюбили друг друга. Но почему она бежала из дому? Может быть, она уже знала его тогда?

Соне до смерти хочется расспросить Наталью Кирилловну, свою молодую мачеху, на которой отец женился несколько дней назад. Ведь загадочная эта девушка, Настя, была подругой Натальи Кирилловны, часто ходила к Матвеевым до своего побега. Спросить Наталью Кирилловну, какая она, эта Настя. И почему с ней свершаются все эти чудеса?

Очень хочется спросить, но что-то отталкивает от мачехи. Зачем батюшка женился, ведь старый уже.

А Наталья Кирилловна совсем молодая и очень красива: черные бархатные очи, – ах, ей бы такие очи! – но на Софью так и веет от царицы холодком. Она со всеми держится холодновато – может быть, стесняется на первых порах? Стесняется немножко, да, но холодок этот внушает опасения, и не так уж она робка. Усаниху, придворную кружевницу, не велела пускать во дворец. Говорят, Усаниха куда-то совсем пропала. Не понравится ей кто-то, и отстранит она его. Вот и отец для царевен времени теперь меньше отводит, ну, да это понятно, влюблен по уши в молодую жену, глаз с нее не сводит.

Как это батюшка мог влюбиться? Разве влюбляются немолодые люди? Им детей надо растить. Но Софья умная девочка, она понимает: все ее братцы слабого здоровья, а отец мечтает о сильном, крепком наследнике. И он прав – России нужен такой. Где-то в иноземных странах женщины правят. В Англии были королевы Елизавета, потом Анна была, а до Елизаветы еще Мария. Жили б они в Англии, сумела бы она, Софья, править? Нет, наверно, хотя она много крепче и смелее своих братьев. Но у нас ведь не Англия, а Россия. Нужен мальчик, чтобы править здесь. Вот батюшка и женился. Все верно. Но не нравится ей мачеха, пугает ее холодок и не нравится, что батюшка уж больно сильно влюбился.

Приближался суд. Возницын, не давая отдыха подьячим, перетаскал к себе в приказ всю разбежавшуюся в тот памятный четверг женскую прислугу Аксиньиного дома. Стряпуха Таня, проли-

вая слезы в три ручья, вновь уверяла, что Аксинья лучше всех на свете. Она же сообщила наверняка, что Настя с Иваном собиралась венчаться, сама Настя ей сказала, когда их вдвоем возили в церковь к Пасхальной службе. Так, что обвинение в сводничестве наверняка отпадало. Сам Возницын знал это давно, но не стал записывать и приобщать к делу откровенные слова Аксиньи, которые так тяжко ей дались.

Горничные, прачка и судомойка не плакали, но сообщили больше полезного, чем Таня. Оказалось, что служить в доме Аксиньи во всех местных деревнях считалось за большую честь и устроиться туда на службу было трудно. Но зато если ты там служишь, можно рассчитывать на хорошего жениха. Девушек из Аксиньиного дома охотно сватали в любую семью.

– А какая же тут связь и в чем причина? – полюбопытствовал Возницын.

– Как же, батюшка, – затарахтела старшая горничная. – У Аксиньи дом самых строгих правил, ни покражи, ни гульбы. Один раз какой-то тать, того не зная, украл у постояльца новые сапоги, так Аксинья конюху велела так отделать его кнутом, что он на другой лишь день смог на ноги подняться. Там копейки ни у кого не пропало. И хорошие гости так и рвутся к ней в дом. Это уж, батюшка, так нечаянно случилось, что набежало вдруг много ворья.

– Могла бы не пускать, – сказал Возницын.

– Ну, все же они деньги большие платят, надо же и заработать ей, может, у нее нужда была в деньгах. А правила они все соблюдают. В других домах такое творится, вечно обворуют кого-то. А у нас этого и в заводе нет.

Остальные бабы подтвердили ее слова.

Все было записано – и про добрую славу Аксиньиного постоялого двора, и что порядочные девушки мечтают у нее поработать, чтобы отличиться в глазах женихов, и даже про побитого кнутом похитителя новых сапог.

Ко всем этим полезным для Аксиньи свидетельствам дня за два до суда прибавились и новые, уж вовсе неожиданные. Писец Разбойного приказа доставил показания некоторых содержащихся там лиц.

Оська Хлыщ, великий умелец по части хищения кошельков, сообщал, что не желает, чтобы его смешивали со всякой сволочью, не способной ни к какой тонкой работе, кроме как головы кистенем разбивать и обшаривать мертвое тело. Он в их сговоре клеветническом не участник, Аксинью же знает давно, как женщину честную и содержащую дом в большой чистоте и порядке. Потому завсегда останавливается у нее с другими порядочными людьми, среди которых и купцы и даже дворяне бывают.

К Оськиному свидетельству было приобщено записанное с их слов свидетельство торговки краденым из Смоленска и одной московской воровки. Обе бабы, не умея писать, сообщали словесно, что против Аксиньи образовался сговор из-за того, что она заперла всех в доме, взяв сторону Михаила. Что им обеим это тоже обидно, но они столько хорошего видели от нее, что, подумав, решили за Аксинью вступиться и от сговора отойти.

«Сговор! – мысленного произнес Возницын. – Был сговор и развалился. Честь и хвала тебе, Оська Хлыщ. Ты первый сказал это слово. Не сомневаюсь, что ты воздействовал на двух этих бабенок. А может, они все перессорились там – давно уж варится в своем соку вся эта братия. Ну, раз обнаружился сговор, то со всеми остальными свидетельствами, – особливо старшей горничной, – дом притоном не годится называть. Это порядочный дом. Если бы не проклятое это ведовство, ее бы на волю можно было выпустить с остальными». Был поздний вечер. Завтра собрать все бумаги, а на третий день – суд. С Аксиньей надо поговорить. Пусть ведет себя поумнее, а то и правда судья к пытке отошлет.

* * *

Софья наконец решилась. Подошла к мачехе, сказала учтиво:

– Государыня, хочу с тобой поговорить.

– Что тебе, царевна? – спросила та сухо.

– Насчет Насти этой, из-за которой Каширина судят. Это правда, что она была подруга твоя?

– Зря вас, девочек, пускают эти россказни по вечерам слушать, – неприязненно произнесла царица. – Возбуждение бесовское от них.

– Но ты правда с ней дружила? – не отступалась Софья. – Расскажи мне про нее.

– Дружила, – неохотно отозвалась царица. – В горелки играли с ней. Мы с моей родственницей в саду гуляли и увидели ее через сквозной забор. Дуня, родственница моя, позвала ее к нам, чтобы третья для игры была. С тех пор она к нам и повадилась.

«Она ее не любит, – подумала Софья. – Неприязненно говорит о ней. Любит ли она кого-нибудь, окромя батюшки? Батюшку как ей не любить – царицей сделал ее».

– Но какая она была? – продолжала свое Софья. – Расскажи мне хоть немножко о ней.

– И зачем это тебе, не понимаю, – покачала головой царица. – Долговязая да долгоногая была. В горелки ее не догонишь.

– А еще что?

– Вот прицепилась. Ничего в ней хорошего не было, – внезапно с сердцем сказала царица. – Как

мальчишка. Дуня позвала ее к нам, она к калитке не пошла, прямо через забор махнула. Мать у нее умерла, а отец давал ей много воли. Она сказывала: когда девочкой была, с соседскими мальчишками по чужим садам лазила, яблоки таскала.

– Отчего она из дома убежала?

– Почем же я знаю? Хватит с тебя, Софья. Целый час с тобой стою. Негоже это царевне расспрашивать о таких особах. Ступай с Богом.

Софья поклонилась мачехе малым поклоном, тряхнула головой и ушла. Что-то все-таки она узнала. Через забор махнула. С мальчишками по садам лазила. Значит, в ней это всегда было, такой уж зародилась. А не любит мачеха ее.

Наталья Кирилловна сказала мужу, что не надо бы царевнам по вечерам Голицына слушать. Нехорошее возбуждение от этих рассказов, а они еще малы.

Но царевна Софья такой подняла вой, так топала ногами, посуду заморскую побила, охрипла от рева, распухла от слез. Государь сам ходил успокаивать дочку и обещал и впредь их пускать.

* * *

Возницын вызвал к себе Аксинью.

– Завтра суд, – сказал он деловито. – Думай над каждым словом, какое говоришь. О вас с Кашириным многие хорошо отзывались и, если бы не обвинения тебя в ведовстве, ты б, наверно, вместе со всеми вышла на волю. Полагаю я, отпустят остальных. Умная ты вроде женщина, и что тебя все манят гадания да предсказания?

– Уж что кому дано, – ответила Аксинья. – Свою натуру не пересилишь. Вот Настя, например...

– Что Настя? – спросил он. – С атаманом бежала?

– Да нет, я про другое, – сказала Аксинья. – Женился ее отец на злой бабе и мачеха стала ее притеснять.

– Как притеснять? – поднял голову Возницын.

– Ну, поначалу словами ехидными донимала. Потом – вроде в шутку – щипать ее стала, тыкать пальцами под ребра, а там и колотушки пошли.

– А отец не вступался?

– Она пожаловалась ему как-то. Он обещал вступиться. А тут мачеха вошла. И опосля этого пошла лютовать. На привязи ее держала. Что глаза таращишь? Веревкой шею ей обвязала и держала на привязи, как козу. В чулан ее засадила на хлеб и воду, она там сидела на голом полу и спала так же.

– А отец? – хриплым шепотом спросил Возницын.

– Отец не вмешивался. Больно жену молодую любил. Да и боялся. Я тебе к чему это рассказываю? Другая девочка там зачахла бы и умерла давно. А Настя сбежала, едва подвернулся случай. Накинула что под руку попалось – мужской тулуп старый, сапоги мужицкие худые – ох, и обморозилась она, мы с Иваном ее едва откачали.

– С атаманом этим?

–Ну да, он ее у калитки встретил и прямо в дом внес на руках. – Аксинья вдруг рассмеялась, – А по дороге шайку воровскую повстречала, они хотели ее схватить и худое над ней сделать, так разогнала Настя их.

– Как разогнала?

– Разозлилась. Она в гневе ничего не боится, а люди чувствуют и сами начинают робеть. Говорю тебе: натуру не пересилишь. Уж кто какой зародился. Так что не суди меня.

– Тебя суд будет завтра судить, а я предупреждаю: про натуру там поменьше говори.

– Знаю. Спасибо тебе, Владимир Петрович. Я вижу, ты стараешься, жалеешь меня.

– Я стараюсь для правосудия. – Он поерзал на деревянном кресле. – Ох, последний разговор тяжелый остался – Поликсена эта. Дурочка она, что ли?

– Да не особо умна, но добросердечна. Добротой живет, а не умом.

Аксинью увели. Возницын велел привести Поликсену.

Он бился с ней уже не в первый раз.

Татей пожалела и из погреба выпустила. Добросердечие показала свое.

– А обожглась ты как, коли в доме ничего не горело? Сама, что ли, первая подожгла?

Но Поликсена, хоть не была особенно умна, того, что никак нельзя сказать, не говорила. Не могла, никак не могла сказать, что подожгла камору, где Аксинья вершила свое чародейство.

– Клочки какие-то огненные летали, – рассеянно проговорила она.

– Откуда клочки? Старцы позже пожар устроили.

– Нет, они уж там чего-то разжигали.

– Владимир Петрович, – вдруг вмешался подьячий. – А может быть, они жгли какие-нибудь книги либо бумаги, и клочки бумажные сквозняком подхватило и на Поликсену эту понесло.

– Это уж не сквозняк, а ураган какой-то, – проворчал Возницын. Удивительное дело – самая глупая и бестолковая так и не ответила ему, откуда взялся огонь. Но кончать с нею как-то надо. Завтра в суд. И если он не объяснит, отчего обгорела эта монашка, ее и впрямь могут в пытошную отвести. А существо она безобидное и добрая, конечно. Все для кого-то старается. Своих тайн у нее нет. Ладно, Бог с

ней.

– Бумажные клочки на тебя летели? – спросил он строго.

– Бумажные, батюшка. – Не так уж она была глупа. – Был, сквознячок, был.

– Ну, запиши там, Вася, свое измышление. – И повернулся к Поликсене. – Убирайся с глаз моих долой.

Очень редко ему случалось писать то, что придумал сам.

Он привык докапываться до сути.

Через несколько лет Каширин ему рассказал, что Поликсена жгла Аксиньины травы, чтобы оградить ее от обвинения в чародействе. Дело давно прошедшее, но Возницын был поражен. Если бы он выудил тогда у Поликсены правду, пошла бы в застенок и Аксинья, не только она. Может быть, и погибли бы там обе. А он-то старался. Ну, спасибо подьячему. Когда он высказал свои мысли Михаилу, тот кивнул, потом пробормотал:

– Много начудила эта Поликсена. И старцы ведь сгорели из-за нее.

– Это как же? – встрепенулся Возницын.

– Огонь у них не разгорался. А в «чародейной» с легкой руки Поликсены пожар бушевал вовсю. И проповедник их, знаменитый Захария, потащил свою паству туда.

– А ты откуда знаешь? Разве ты находился не во дворе, а в доме?

– В это время я в доме был. Я даже монашенку одну пытался спасти. Она вдруг закричала, что боится и не хочет идти в огонь. А Захария ее за руку тащил туда.

– Что ж не спас? Старца не пересилил?

– Балка свалилась. Их всех накрыло огнем.

– Да, судьба. Впрочем, они к этому ведь стремились. Монашку жалко. Захотелось ей жить. А тут вдруг балка.

Суд был закрытый. Но в нем участвовали некоторые из самых важных московских вельмож. А перед зданием суда толпилось много народу. Поближе к воротам все приличные господа. И оделись, словно на праздник.

Сперва разбирали дела Разбойного приказа. Слушали их без особого любопытства.

Двум воровкам и Хлыщу за раскрытие сговора смягчили наказание: Хлыщу – год тюрьмы, бабам – по три месяца.

Участникам же сговора – за ними еще числились грабежи и убийства, и сопротивление властям – следствие продлили и велели завтра же вести их к пытке.

Дальше в судейской палате стало оживленнее.

Возницын докладывал. Правда, замучил всех, столько у него было свидетельств. И сам ездил, и к себе вызывал, целую толпу перелопатил.

– Бедный Володя, – прошептал Голицын. – Это ведь Танталовы труды.

– Почему Танталовы? – возразил Татиевский. – Он ведь выяснил все, работал не зря.

– Работал, конечно, не зря. Но завтра ему новое дело сунут и опять все то же пойдет. Василию Васильевичу жаль было приятеля.
С детства он усердный такой.

Прислугу всю признали невиновной.

– Вот тебе, князюшка, справедливость, – сказал соседу Голицин. – Мужики охраняли дом, и половина из них головы там сложила – их полтора месяца продержали в тюрьме. Бабы все разбежались – они свидетельницами идут.

На Поликсену все глядели с любопытством. Сумасшедшая? Юродивая? Святая? Юродивая, скорее всего. Судья настаивал, чтоб она пообещала перейти в истинную веру.

– Ты вон обгорела вся. Из огня бежала. Неужели мало тебе? Дай слово, что будешь в обычную церковь ходить. А не то в тюрьме оставлю.

Поликсена мялась.

– Я все так сделаю, как ты советуешь, господин судья, мне бы только немного в себя прийти. Уж очень я намаялась. То в огне горела. То вот тюрьма.

Слушатели зашумели. Всем было жаль несчастную бабу с добрыми лучистыми глазами. Может быть, и впрямь юродивая она. Решили ее отпустить и велели как следует подумать.

Дальше шло дело Михаила Каширина.

Стало тихо.

Обвинение во взяточничестве было снято легко. Разглашение тайны могли не простить. Но тут встал князь Татиевский.

– Настеньку Пригожину, – проникновенно сказал он, – я с ее детства знаю. Прекрасная девушка, добрая, сердечная и чистая душой. А уж какая умница, так образована, таких способностей редких, в Москве почти и не найдется подобных девиц. Украшение нашего дворянства, истинный перл. Спасибо Льву Акимовичу, что воспитал такую дочь. И чтоб ее не защитить, дать ей погибнуть, заключить ее со всяческими негодяями в тюрьму? Как мог иначе поступить Михаил Каширин? Если вы его накажете, накажите и меня. Я бы то же самое сделал на его месте. Так что ты прикажешь, судья, надо мне в тюрьму собираться?

И хотя все знали, что именно с негодяями Настя и сбежала, все растрогались зело. Матвеев взял Михайлу на поруки, и был он освобожден.

Самое последнее дело, об Аксинье Соколовой, Возницын докладывал весьма долго, свидетельств

зачитал бездну. Но по-прежнему не снятым оставалось самое важное – чародейство и ведовство. Связь с темными силами, уменье прорицать будущее и угадывать невысказанные мысли людей. В том, что больных она пользовала какими-то необычайными лекарствами, о коих не слыхали даже придворные лекари, ее не обвиняли. Спасибо Поликсене.

Порешили следствие по делу Аксиньи продолжить. Судья потребовал завтра же отвести ее в застенок. Возницын решительно протестовал. Он ведет это дело, и пусть ему не мешают, ему доверено, он и будет без посторонней помощи исполнять.

Аксинью, бледную, под руки увели стражники. Всех выпустили на волю, и один Бог знает, долго ли Возницыну удастся уберегать ее от пытошной.

На улице стоял еще белый день, когда суд закончился, и сидевшие в палате вышли из помещения и смешались с теми, кто поджидал их у ворот.

Принарядившийся Лев Акимович Пригожин вместе с моложавой черноглазой женой двинулся навстречу вышедшим из палаты – кто-то успел шепнуть ему, что в суде его за что-то хвалили. Дьяк Возницын твердым шагом подошел к нему.

– Господин Пригожин, – сказал он отчетливо. – Если будет у нас общее служебное дело, мне, конечно, придется разговаривать с тобой. Но своим знакомым я тебя больше не считаю – и кланяться не буду, и руки не подам. Ты прекрасно знаешь почему.

И отошел, не поклонившись.

Окружающие оторопели, бросились с расспросами – кто к Возницыну, кто к Пригожину, который страшно побледнел, но ответа никто не получил. А супруга Пригожина, сверкая черными глазками, схватила мужа за руку и потащила к возку, расталкивая всех, пытавшихся к нему обратиться.

Впрочем, таким людям, как князь Татиевский, князь Голицин, Матвеев, не мог не рассказать Возницын, чем вызвана его удивительная речь. И подьячий зарок молчания не давал. К вечеру вся Москва уже знала ужасные подробности издевательств мачехи над Настей, да и Каширин подтвердил, что сама Настя ему сказала: «сбежала из дому, потому что была измучена издевательством мачехи».

В двух местах было сугубое волнение. Лютовала Фекла, проклиная всех, кто ее охаял, начиная с мерзавца Возницына, ругательски ругала мужа, что он за нее не вступился, и даже прибила его.

И в тереме у царевен бушевали страсти.

Высокая, красивая Марфа, сверкая очами, взволнованно и быстро говорила:

– Вот они, мачехи. Словно бес в них какой-то сидит, так и тянет падчерицу мучить. Чего уж не достает, не то, что мы, несчастные, сидим по теремам, стародевический век мыкаем. Вышла замуж – радуйся, все у тебя есть: и муж, и детей своих с ним народишь.

– Ревнуют они мужей-то к детям от первой жены, – скушным голосом сказала старшая, Евдокия.– Все боятся, на их долю меньше любви достанется.

Софья, хоть и девочка еще, но умница большая, вспыхнула, заговорила с гневными раскатами.

– Это падчерицам бояться надобно – нам не достанется отцовской любви. Как родит наследника, да еще мальчика – это ль батюшке не радость, он нас знать не захочет.

– А уж горда красавица, цены себе не сложит, как она с нами-то разговаривает, – пропела Марфа.

– Да она и не разговаривает, – срывающимся голосом сказала Софья. – Я с ней заговорила, отвечает сквозь зубы, а потом не выдержала: «Я целый час с тобой стою, иди себе». Мы противны ей, она нас уже ненавидит, мы соперницы ее будущим детям.

– Да какие мы соперницы – вековухи, – с горечью сказала Евдокия.

– Она нас тоже заставит спать на полу? – плаксивым голосом спросила Машенька.

– У нас ковры хорошие, – засмеялась Софья, – и на полу поспим, ничего не будет.

Но младшие, Фенечка и Маша, подняли рев. Нянька бросилась за помощью и тут же наткнулась на окольничего Никиту.

– Сейчас сбегаю, царю доложу, – сказал он. – Государь, кажись, пошел к нам в терем.

Государь застал старших царевен в большом волнении, по-французски «ажитации», со сверкающими глазами и пылающими щеками; младшие же ревели во все горло. В тереме творилось Бог знает что.

Увидев батюшку, примолкли, стали неподвижно.

Государь принялся усовещать царевен, но в то же время их успокаивать. «Вы узнали страшную историю о злой мачехе, которая мучила падчерицу. Но не все ведь мачехи одинаковы. Вы государыню еще не знаете. Она добрая, славная, а о таком мучительстве и помыслить не может. Да и я вас люблю по-прежнему, милые мои дочки, понапрасну вы разволновались. Приходите ужо вечером, будут князья Голицин и Татиевский. А на Наталью Кирилловну напраслины не несите. Она женщина добрая, умная, Артамона Сергеевича воспитанница. Вы ведь его хорошо знаете».

Вечером слушали о суде, о ворах и убийцах, о загадочной женщине Ксюшке, то ли чудесной лекарке, то ли ведьме, да еще мастерице прозревать будущее и угадывать чужие мысли. О том, как она гадала трем девицам, а одна из них сидела сейчас с ними, молодая их мачеха – сбылось гаданье, высоко она взлетела. Настя где-то на Волге, верхом и с саблей, влюбленный

атаман обучил ее войсковому делу.

– А что третья? – тихо спросила Евдокия.

– Тезка твоя, Дунюшка, вышла замуж за незнатного, но доброго человека и живет с ним в любви и согласии, – мягко сказал крестный Евдокии князь Татиевский.

– Любовью-то, я слышала, там и не пахнет, – холодно сказала Евдокия (царевны за день много узнали), – ну, хотя бы не старая девка.

– А ты все о замужестве мечтаешь, – сердито буркнула Софья. – Каждому свой удел. Кому взлеты, а кому терем.

Голицин бросил любопытный взгляд на необычную эту девочку, такую резкую и смелую, и решил переменить разговор:

– Аксинья эта осталась в Сыскном приказе единственной, чье дело еще не решилась, а между тем ее многие хвалят – говорят, она немало сделала добра. Жалко было смотреть, как выводили ее из палаты, она сломлена и замучена.

Наталья Кирилловна вспомнила вдруг – да так живо – веселый, удивленный взгляд Аксиньи, когда та вытащила ей счастливую карту. Она не позавидовала ее счастью, как завидуют ей эти языкастые царевны, она рада была за нее.

И едва она подумала это, Софья вдруг насмешливо спросила:

– А ты, государыня, небось рада, что мачеха так измывалась над этой Настей. Ты ведь не любила свою подругу.

Алексей Михайлович хотел отругать Софью, но Наталья Кирилловна заговорила первой:

– Ты напрасно язвишь, царевна. Мы с этой моей подругой очень разные были. Но радоваться зверству я не способна.

Все мужчины одобрительно закивали, а Софья покраснела. Обошла ее мачеха. Выдержки у нее много. Ничего, и выдержке можно научиться. Мачеха дала ей хороший урок.

– Извини, государыня, мою глупую дерзость, – мягко и смущенно сказала Софья. – Боль сердечная меня одолевает с тех пор, как я услышала о злосчастиях этой Настасьи. Я не хотела тебя обидеть.

– Ну, вот и славно, – сказал государь. – Обе вы умницы и объяснились по-хорошему.

«Никогда батюшка меня не бросит без защиты, как сделал этот негодный Пригожин», – с облегчением подумала Софья, и – неслыханное во дворце дело! – обратилась прямо к Голицыну.

– Князь Василий Васильевич, передай мое восхищенье твоему другу Возницыну. Он хорошо отделал Настиного отца. Ничего нет хуже, чем предательство.

Казалось, эти слова царевны совсем уж не касаются ее, но Наталья Кирилловна весь вечер сидела как на иголках. Ей передали, как бушевали днем царевны, а маленькие плакали и боялись, что она заставит их спать на полу.

«Я бы больших заставила, – подумала она сердито. – Слова попросту не скажут. Змеиное гнездо – их терем». И опять перед ней возникли черные веселые глаза Аксиньи, с удивленной радостью смотревшей на Наташину счастливую карту.

Утром государь проснулся рано и увидел, что жены нет на месте. Она сидела на парчовом пуфе, закутавшись в отделанную горностаем темно-красную бархатную телогрею.

– Ты что? – испуганно спросил он. – Почему тебе не спится? Замучили вчера мои девчонки? Да они хорошие. Просто боятся, что мачеха их будет обижать.

– Это мне их впору бояться, – ответила царица. – Постоять за себя сумеют. Нет, не из-за них мне не спится. – И вдруг сказала ласково и мягко: – Алешенька!

У государя дрогнуло сердце – впервые она так его назвала, а то все государь да государь.

– Алешенька, друг мой милый, – нежно говорила Наташа. – Я еще с вчерашнего вечера, когда мы с царевнами пререкались, вижу пред собой Аксиньины глаза. Ты ведь знаешь, что она еще за год предсказала нашу женитьбу и так обрадовалась моему счастью, глаза у нее такие веселые были. А сейчас она сидит в тюрьме, и ее уже сегодня могут подвергнуть пытке. Судья, говорят, рвет и мечет, требует вести ее в застенок. А ведь судят ее за ведовство и за это гаданье.

– Ну и что ты хочешь сказать, душа моя? – мягко спросил Алексей Михайлович.

– Твоя дочка вчера правду сказала: ничего нет хуже предательства. Я все вспоминаю, как Аксинья на меня посмотрела и думаю: а ведь я предала ее. Она так радовалась, предсказав мне счастье, просияла даже, а ее замучат за это в застенке. Нам не будет с тобой счастья, милый, если ее убьют на пытке. Придумай что-нибудь, Алешенька, спаси ее, мне просто невозможно думать, что предсказание нашего счастья – гнусное ведовство. Да я в это и не верю.

– Какая нежная душа у тебя, милая моя Наташа, – проговорил растроганный государь. – Я, конечно, буду думать и, уповаю, Господь пошлет мне светлую мысль. Но мне надо повидать эту женщину и поговорить с ней.

– Так поезжай сегодня же! – воскликнула Наташа. Как многие холодные люди, в редкий миг сильного чувства она была особенно горяча.

– Экая ты нетерпеливая! – улыбнулся государь.

– Но ведь ее убить могут! Говорят, она так измучена, что может умереть при первой же пытке.

– Я немедленно прикажу, чтоб ее не водили к

пытке, – сказал государь. – И не бойся, я сегодня же к ней поеду. Только бы Господь снизошел к нашему желанию, и меня осенил ясный и убедительный довод. Пора вставать. – Он дернул шелковый шнурок.

Возницын словно бы подарок получил, когда из дворца прибыл рында[1] с приказом: «Соколову в застенок не водить. Строжайший запрет государя». Дальше оказалось, что государь желает самолично повидать Ксюшку и поговорить с ней, для чего сегодня будет в приказе Сыскных дел. Что бы это значило? Кто просил за Аксинью?

Царь приехал после утренней службы. Их беседа с Аксиньей была очень долгой.

Чем больше он с ней говорил, тем больше убеждался: не тьма, а свет в ее душе.

Наташенька вспоминала ее веселые глаза, говорила, что Аксинья, предсказав ей счастье, просияла даже. Трудно сейчас представить ее такой – замученная немолодая женщина с усталыми глазами. Он расспросил ее, зачем она пускала преступников в свой дом, и как ей удавалось сохранять с такими постояльцами пристойность и порядок. Многое представлялось ему странным, но все время оставалось чувство, что она говорит правду и что сердце ее доброе и душа чиста.

Государь ведь тоже умел проницать в душу. Он был умен и внимателен к людям. Правда, его за это никто никогда не судил.

Он сказал ей, что просила за нее государыня, и вдруг лицо ее помолодело и заблестели глаза. И царь увидел, что она очень красива. «Наташа за меня просила! – воскликнула она. – Я всегда говорила, что сердечко у нее доброе!» «Разве в этом кто-то сомневается?» – улыбнулся государь.

И тут он встретился с ней взглядом – удивительные у нее глаза: в них и доброта, и печаль, и свет. «Наташа очень сдержанна, – сказала Аксинья. – Ее многие считают холодной. Будь в ней больше открытости, ей легче было бы жить. Ей тепла нужно, много тепла. Но с тобой, государь, я вижу, в этом недостатка не будет».

– Твоя правда, – сказал государь. Он встал. – Разговор наш окончен. Думаю, я тебя понял. Правда, надо еще найти слова. Для судейских это необходимо.

– Да, государь. – Она улыбнулась. Как она переменилась: помолодела, похорошела. Свет надежды заблестел в черных глазах.

– Живи спокойно и жди, – сказал царь.

Она поклонилась ему земным поклоном.

– Кто за тебя просил? – набросился на нее Возницын. – Князь Татиевский? Голицин?

Аксинья покачала головой.

– Наташа просила, – улыбнулась она.

– Какая еще Наташа? – растерялся Возницын.

– Наталья Кирилловна, какая же еще?

– Государыня! Да быть того не может!

Она засмеялась. Первый раз за многие недели.

– Да уж поверь, что не вру. Я врать не охотница.

– Пожалуй, да. Утаить ты можешь. А врать – изредка.

Государь, вернувшись во дворец, поведал жене, что в Аксиньиной невиновности убедился, но должно найти нужные слова.

Он ушел в придворную церковь и молился там очень долго. Была среда, он весь день ничего не ел. Он устал от напряжения и тела, и души. Перекрестился в последний раз перед образом Спасителя. И вдруг в памяти его всплыли сказанные напоследок слова Аксиньи: «Ей тепла нужно, много тепла. Но с тобой, государь, я вижу: в этом недостатка не будет».

Как все просто. Даже слово это сказала. Не чародейка, а ясновидящая. Чародей проникает в душу, чтобы сделать зло. Ясновидящий – чтобы сотворить добро.

На следующий день государь послал за начальником Сыскного приказа и сказал ему, что не сомневается в невиновности Ксюши Соколовой. Пусть пришлет к нему дьяка, который ведет ее дело. Он хочет побеседовать с ним.

– Я разговаривал с вашей Ксюшей Соколовой, – сказал государь Возницыну. – Она, конечно, умна и наблюдательна, отсюда и пошел слух о ее необычных способностях. Я думаю, однако, что временами на нее снисходит некий дар ясновидения, но она ведь не пользуется им во вред. Человек она добрый и душа у нее светлая. Только очень замучилась она в вашей тюрьме. Поскорей бы выпустить ее на волю. Сумеешь ты, голубчик, это убедительно написать?

Возницын не шибко верил, что способности Аксиньи – небесный дар. Стоило вспомнить только рожи ее постояльцев, сидевших в тюрьме Разбойного приказа. Сердце у нее доброе. И она, конечно, обладает каким-то редкостным чутьем. Но едва ли все ее побуждения и поступки продиктованы повелением свыше.

– Я попробую, – сказал он государю. – А если получится не совсем так, как ты сказал?

– Напиши и покажи мне, – ответил царь. – Только будь так любезен, Владимир Петрович, поскорее, а то на ней лица нет.

Возницын очень складно написал, что Ксюшка Соколова, будучи женщиной проницательной и разумной, хорошо разбирается в чаяниях и

[1] Рында здесь: оруженосец-телохранитель при царе (Прим. ред.)

побуждениях людей, равно как и в отношениях между ними, благодаря чему приобрела славу прорицательницы и гадалки. Из-за этого к ней часто обращаются с просьбами погадать. Она делает это редко и неохотно. То, что ее гаданья довольно часто сбываются, объясняется вышеуказанной причиной, а иногда простым совпадением.

– Вот так даже лучше, – одобрил государь. – А то скажешь, что ясновидящая, тут же назовут колдуньей.

Сам он твердо был убежден, что Ксюша даром ясновидения обладает.

– Что ж она, сама себя оговорила, что ли? – недовольно спросил судья, подписывая указ об освобождении.

– Считай, как хочешь, – ответил Возницын. В отличие от судьи он был доволен.

В один из первых дней после освобождения Аксинья пришла к дворцу и попросила приема у государыни. Наталья Кирилловна приняла ее, и Аксинья благодарила молодую царицу за заступничество. Разговаривали они не очень долго, но сердечно. И поплакали обе, хотя ни та, ни другая не были охотницами проливать слезы.

Царевна Софья, узнав, как была спасена Аксинья, не в первый раз подумала, что не прост человек, однако ей самой от этого не легче, ибо у Натальи Кирилловны нет никаких причин относиться к ней так же благожелательно, как к Аксинье. Да и у Софьи тоже нет причин так уж сильно возлюбить государыню.

Деньги, отданные Михаилу Каширину, пропали в суде. Но царь распорядился выдать Аксинье достаточно денег из казны, коль скоро дом и все имущество ее сгорели. Она могла бы купить себе новый дом, но поселилась у родственников покойного мужа. Из дому она выходила очень редко, только в церковь, одевалась в черное, разговаривала мало – нелегко далось ей пребывание в тюрьме и постоянное ожидание пытки.

Полагали, что она уйдет в монастырь. Но в один прекрасный летний день Аксинья пришла к Возницыну и сказала, что хочет с ним попрощаться: она уезжает из Москвы.

– В монастырь? Или к святым местам? – спросил Возницын. Он из виду ее не терял.

Аксинья усмехнулась.

– Нет, на Волгу.

– К станишникам? Будешь саблей махать, как твоя Настя? Впрочем, ты, кажется, лучше орудуешь кочергой?

Она нахмурилась.

– Здесь смешного мало. Жуткое дело – человека убить.

– Да... Тем более для женщины. И со многими ты в Москве будешь прощаться? – поспешил он сменить разговор.

– К Дуняше Гусевой зашла. Попрощалась. С ней и с мужем ее. Посидела у них недолго. – Она помолчала: – Вот кого бы я хотела видеть – это Мишу Каширина. Его и тебя. Главные мои люди в Москве.

– Так, может, соберемся у меня втроем? Ты когда уезжаешь-то?

– Завтра. Телегу купила и лошадь. Конюха наняла. Я хотела рано с утра выйти. Пошла бы себе пешочком. А телега ехала бы за мной. Устанешь – сядешь. Путь долгий. – Она прищурилась. Потом тряхнула головой. – А что, посидим, пожалуй, втроем, коли у тебя вечер свободный. Разыщешь Мишу?

– Разыщу. А в Москву не думаешь когда-нибудь воротиться? Навсегда останешься там?

– Ох, не спрашивай. Зарекаться не буду. Сейчас на Волгу потянуло. А там, кто знает, может, и вернусь.

Странное это было сборище из трех человек. Дьяк Сыскного приказа и женщина, которая ходила к нему на допросы и сидела в тюрьме. И его бывший помощник, которого он тоже потом упрятал в тюрьму и таскал на допросы.

Странное сборище, но едва ли еще где-то в Москве собрались люди, связанные столь прочными и добрыми узами. Они говорили и не могли наговориться, вспоминали, спрашивали – завтра ведь уже не спросишь – а время летело с безжалостной быстротой.

– Что же ты, Ксюша, соратница моя дорогая, – сетовал Михаил. – Вместе сражались, а теперь ты против меня будешь? Еще голову мне срубишь.

– Не боись, не срублю. Я воевать не буду, в лекарки пойду.

– Станишников выхаживать? – сердито спросил Михаил.

– Всех без разбора. Там такая каша будет. Нынче эти, завтра те. Я у родственников своих поселюсь.

– Родственники твои у Разина воюют?

– Они старые люди. Не воюют уже давно.

– Слух недавно прошел, – сказал Возницын, – Стенька Разин Царицын взял. С помощью какого-то Ивана Тихого. Это не тот ли Иван?

– Тот, – нехотя кивнула Аксинья.

– А почему он Тихий? Что ходит, как кошка? – ехидно спросил Михаил.

– Не только потому. Он спокойный, орать не любит. Атаманы-то у нас – горластые. Да он хотя бы потому тихий, – вдруг с задором сказала она, – что в моем доме под Москвой целый год прожил, ходил в Москву все время, а ты, Владимир Петрович, его не

уследил.

– Я знал, что по стрелецким слободам ошивается какой-то молодой казак, – сказал Возницын. – Но ожидали мы большого атамана, сподвижника Разина, и не брали этого парня, думали, он нас на атамана выведет.

– Ты что, до сих пор не знал, что это один человек? – спросила Аксинья.

– Тогда не знал, – сказал Возницын, – теперь вроде знаю. Да не верится что-то. Молод больно на вид и вел себя, как мальчишка.

– Да, совсем молоденький, – мечтательно произнесла Аксинья.

– До того молоденький, что пятнадцатилетней девочке голову вскружил, – хмуро сказал Михаил.

– Брось, Миша, не огорчайся, эти дела жестокие. Многие от них страдали, не ты один.

Слова Аксиньи прозвучали так грустно, что Михаил внимательно посмотрел на нее.

– Владимир Петрович, – спросила Аксинья, – а что про Настиного отца и про мачеху слышно? Давно хочу сказать: спасибо тебе, ты его крепко отчитал. Это какое же сердце надо трусливое иметь, чтобы позволить так над дочерью измываться и ни разу голосу не подать.

– Не трусливое, а подлое! – вспыхнул Михаил.

– Не суди слабого человека, Миша, – возразила Аксинья. – Я думаю, он сильно страдал, только сделать ничего не мог.

– У меня есть сведенья об их семье, – сказал Возницын. – Ничего особенного с ними не случилось, хотя человек, себя уважающий, не смолчал бы на мои слова.

– А еще лучше покаялся бы наконец, – заметила Аксинья. – Как он там живет, опозоренный?

– Да ничего он не опозоренный, говорю тебе, – с досадой возразил Возницын. – Служит. Ходит с женой в гости. Есть у них приятели, они считают, что отец с детства испортил Настю баловством. Во всем оправдывают мачеху и сочувствуют ей.

– Нашли, стало быть, себе подобных, – сказал Михаил. – Ну, у нас на Руси таких много.

– Скажи-ка теперь ты мне, Аксинья, пока еще из Москвы не ушла, – вновь заговорил Возницын. – И у меня есть к тебе любопытный вопрос. Почему молодая царица за тебя вступилась? И, люди сказывают, очень пылко. Она, как я заметил, не поддерживает отношений со старыми друзьями. Да и по нраву не так уж горяча.

– Все верно ты заметил, – отозвалась Аксинья. – Но тут такой случился оборот. Я обрадовалась от души, когда она вытащила счастливую карту. А Наталье Кирилловне больше была знакома людская зависть. Ей завидовали многие или связывали с ней свою корысть. А чтоб радоваться ее счастью бескорыстно, этого она, пожалуй, почти не видала. Вот и запомнила меня.

– Понятно. Что ж, Аксиньюшка, съезди к родне и возвращайся в Москву. Тут и другие люди будут тебя помнить.

– И я вас буду помнить, милые вы мои. Вот, возьмите от меня на память. – И она протянула каждому по шкатулке. Мише – побольше, Возницыну – небольшую. Он приоткрыл ее и поднял брови.

– Щедрый подарок. Спасибо. Не разоришься?

– Много таких подарков я не делаю. Авось не разорюсь.

Там лежал тонкой работы перстень с голубым алмазом.

И Миша получил на память красивую золотую цепь.

– Хорошо, Аксиньюшка, что ты зашла ко мне сегодня утром, – улыбаясь, сказал Возницын. – Я тоже успел приготовить тебе подарок.

Он вышел в смежную горницу. В открытую дверь были видны стоявшие на полках книги, на стенах – карты. «Кабинет, – подумал Михаил. – Вот уже и дьяки наши, не только князья, от Европы отстать не желают».

Возницын вынес темно-красный сафьяновый переплет и вручил Аксинье. Она открыла его и охнула. Охранная грамота с гербами и печатями! Подписана начальником приказа Тайных дел. Дана вдове стрелецкого десятника Ксении Соколовой и свидетельствует ее благонадежность и преданность семье государя особо.

– Спасибо тебе, Владимир Петрович, – негромко произнесла Аксинья. – Лучшего подарка и придумать нельзя. – Голос ее дрогнул. – Большая для меня радость, что ты вспомнил и позаботился обо мне.

Все встали. Пожелали гостье счастливой дороги. А она им счастливой службы. Потом не выдержала – обняла Мишу и расцеловалась с ним. Слезы выступи-ли на ее глазах, она круто повернулась и вышла.

Странная компания, странный разговор. А расставаться тяжко. Аксинья шагала быстро, вскинув голову, и слезы блестели в ее черных глазах.

– Интересно, – сказал Михаил. – Тот стрелецкий десятник... Он хоть понимал, какая у него жена?

– Да, по-моему, не было никакого десятника, – пробормотал Возницын – Ну на что это похоже, сам подумай. Такая женщина и стрелецкий десятник.

А наутро она шла босая по зеленой мягкой травке, и раннее солнышко еще не припекало жарко, и пташки щебетали во всю мочь. Чуть сзади по дороге катилась ее телега. Москва была еще видна, но отдалялась. А то, что ожидало впереди, она не скоро увидит.

Мария Перцова

В ЭТОЙ ХРУПКОЙ ПРОЗРАЧНОЙ СФЕРЕ

* * *

В.

Память, как подол, подрублена.
В рамках общей топологии
Те года текли округлые,
Будто бы холмы пологие,
А теперь летят – отвесные,
Страшно заглянуть, Володенька...
Вот уже мои ровесники
За себя берут молоденьких,
Вот уже местами мечутся
Пассажиры и водители,
Вот застыли перед вечностью
Беззащитные родители,
Вот уже в стихи упрятаны
Крохи веры и безверие.
В нас с тобою кровь двадцатого
Под загаром двадцать первого.
А под кожею, что лупится –
Нежная, пломбир-мороженое.
Дети порют наши глупости,
Топая своей дорожкою.

* * *

Я поздние люблю стихи – когда
Беспрекословно слушается слово,
Уже не слышно посвиста кнута,
Уже не нужно сласти леденцовой,
И выстрадан, и сложен каждый слог
Из кирпича, что обжига не просит.
Ну, может быть – рождественский пирог,
Что уготовил юноша Иосиф...
Ну, разве – невозможные «Столбцы»
С налетом андромедовой пыльцы...

* * *

Жизнь такая странная, не поверите.

Из письма

Отчего же мне вам не верить?
Все знакомо, как трижды три,
В этой хрупкой прозрачной сфере
Наступившей, как век, любви.

Узнаваемо – неизвестность,
Нежный выводок ясных дней,
И в шотландкую клетку местность,
И процеженный свет над ней.
Безутешнее всех Офелий,
Беззащитней иных Миньон,
Я в такой же вращалась сфере,
И умолкла, разбив ее.

* * *

Из какого-то прошлого...
С бычьей шеей атланта,
С лакированной сумочкой на плетеном ремне,
Старая девушка по имени Иоланта
Выплывает, барахтаясь в белогорбой волне.
Дешевенький ландышевый нежный запах приманки
Вплетая в бульварный аромат нефтяной,
Свое имя нелепое, прихоть матери меломанки,
Как цветной парашют, волочит за спиной...
Мамаши-студентки с младенцами милыми,
Увлеченно воркуем сплоченным кружком.
Я не помню ни лиц, ни имен, ни фамилий их,
Только Ласю с ее виноватым смешком.

* * *

Через стекло, отмытое чисто к маю,
Сквозь занавеску, белый туман и люрекс,
Так и смотрю в те годы сквозь детство Люверс,
Через янтарь микстуры, компресса марлю.
Тот же метраж пространства и та же с виду
Комната, так же страница светла и смята,
Так же сияет с печки звезда Давида,
Но что-то нарушено, кончилось без возврата.
Тайная жуть, что знали майя или ацтеки,
Злая спираль времен привидится там мне.
Может быть, в новом, чужом, изощренном веке
Дом мой снесли, не оставив на камне камня.

* * *

Алине Талыбовой

У меня, Алина, не получится
Твой, ветрами избранный, Баку.
Лишь луна, безмолвная попутчица,
Наверху,
Да еще коза, корова, курица
Мне вослед,
Призраки одной бакинской улицы,
Позапрошлых лет,
Да скрипач на крыше, на расплавленной,
Обнявши тар,
Да, грозя немедленной расправою,
Библейски стар,
Ибрагим, поднявший тот, на ниточке,
Кошелек –
Упорхнувший, словно экзотический
Мотылек,
Да мертвец на черном ложе шелковом,
На мостовой,
Да луна, прикрыв фатою-облаком
Лик свой неживой.

Вот и все, что сберегла и вывезла,
Давным-давно...
Дерзновенны обращающие вывеску–
В полотно.

* * *

О ты, эпическая муза!(...)
И верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкрив.

А. Пушкин «Евгений Онегин»

На фоне маетного века,
Его руин, его химер,
Штрихами профиль человека,
Мазками грубый интерьер
Его жилищ. Неинтересен
Он, не властитель, не кумир,
Он, обладатель старых кресел
И книг, зачитанных до дыр.
Анкет угрюмый заполнитель,
Еженедельный посетитель
Двух чопорно-седых старух.
Наследник. Будущий хранитель
Двух справок, похоронок двух.

«Врага», «Пожизненно», «Посмертно»,
«Без права», «Орденом», «Пропал»,
Начало Первого концерта,
«Седьмой» бушующий финал...
Он, женщины, чуть полноватой,
С шарфом, повязанным хитро,
Немногословный провожатый
До дальней станции метро,
Умрет – взойдет лопух забвенья,
Крученая порвется нить,
Нельзя пересчитать мгновенья
И место встречи изменить.
И все ж бессмертье под вопросом,
И все ж в любом заборе – щель.
Глядишь, художник длинноносый
Стачает новую «Шинель».

Вячеслав Новиков

СЛУЖЕНИЕ ИДЕАЛАМ В УСЛОВИЯХ КУНСТКАМЕРЫ

Повышение зарплаты, продвижение по службе, улучшение условий труда: не более семи заседаний в неделю, эргономические кресла в кабинах, новая аппаратура в залах заседаний, компенсация за переработанное время, – все то, что так волновало сослуживцев, – совершенно не беспокоило Денисова. К счастью, ходить на производственные собрания, на которых обсуждались эти вопросы, было не обязательно. Денег же платили достаточно для того, чтобы покупать корм и одежду для себя, жены и двух детей, платить за лечение, когда оно было необходимо, и помогать родственникам в России и Украине. Главным же для Денисова было иметь беспрепятственную возможность заполнять – в тетради или уме – левую колонку соответствующим переводом оригинала, записанного в правой колонке многочисленных глоссариев, заведенных им для всех комитетов, подкомитетов и экспертных групп, в которых ему приходилось работать. Ради этого Денисов даже отказался от поездок на работу на машине и перешел на электричку. Железная дорога, а также отсутствие необходимости ходить на какие-либо вообще собрания и даже здороваться со знакомыми, в принципе, людьми давали дополнительное время для любимого дела.

С годами Денисов становился все более требовательным и к работе других. Нет, вслух он ничего не требовал, просто сам того не желая, внимательно присматривался, а вернее, прислушивался, к тому как работают его коллеги. Качество работы большинства из них Денисова вполне устраивало. Но были и такие, которых Денисов недолюбливал или даже вообще терпеть не мог.

Денисов был убежден, что в синхронном переводе все должно быть прекрасным, в том числе и подача, дикция, манеры поведения. Заик, конечно, среди знакомых переводчиков не было, но встречались коллеги с дефектами дикции: картавые, шепелявые, пришепетывающие. Даже при полной адекватности самого перевода Денисов не мог без раздражения их слушать. При этом он понимал, что по отношению к таким людям он, наверное, несправедлив: они, в конце концов, не виноваты, они так устроены, но пересилить себя не мог. Ведь Клиент в течение одного заседания был вынужден слушать такую подачу по крайней мере полтора часа!

Были же такие, которым Денисов простить никак не мог. Например, бубнящим в микрофон невнятно и на одной ноте. Некоторые «бубнящие» еще и чавкали или чмокали губами. Благодаря им Денисов выучил испанский язык. Он сделал это для того, чтобы не «брать с реле», т.е. не пользоваться переводом, поступающим из английской или французской кабины, а переводить испаноязычных ораторов напрямую. Денисов поступал так довольно редко – официального экзамена он не сдавал и не имел никакого желания этого делать – лишь в тех случаях, когда его перевод напрямую не мог быть хуже, чем с «реле», или когда в качестве «реле» были люди, которых он просто боялся: проработав десятки лет синхронными переводчиками, они так и не научились переводить. Причем иностранных языков они могли знать «вагон и маленькую тележку». Некоторым не хватало «школы», некоторым – природных способностей. Одни, как роботы, старались во что бы то ни стало перевести все слова, невзирая на контекст, гонясь за оратором, захлебываясь собственной слюной, бубня и чавкая. И чмокая губами. Другим было просто физически тяжело переводить: они тяжко вздыхали в микрофон, набирали в легкие побольше воздуху и вновь тяжко вздыхали, делали долгое: э-э-э-э-э-э-э, потом, наконец, быстро-быстро, как в трансе, что-то проборматывали, после чего цикл повторялся. Был вообще патологический случай: свою неспособность переводить этот человек компенсировал передачей всей гаммы эмоций, с которыми произносил свою речь оратор. Иногда эта передача была более, чем стопроцентная. Однажды, не сумев перевести все ужасы пыток, о которых

рассказывала сама жертва - петиционер, он просто разрыдался и рыдал довольно долго: то ли от сострадания к жертве, то ли от собственного бессилия.

К своему ужасу, Денисов вынужден был признаться хотя бы самому себе: эти люди порой так раздражали его, что он готов был ударить их по голове палкой, а потом ударить еще и еще раз. «Некомпетентность должна приравниваться к преступлению против человечности», – полушутил он. Ему часто вспоминался один случай, происшедший с ним в самом начале его ооновской карьеры. Его партнером на заседании Генасамблеи был опытный и важный с виду переводчик, прикомандированный из Женевы. Денисов пришел за 5 минут до начала своей получасовки и надел наушники. «Женевец» в это время свою получасовку заканчивал. Заканчивал свою речь и выступавший в это время пакистанец, как обычно, уже преодолев звуковой барьер. Денисов сразу же понял, что что-то не так, очень не так: пакистанец благодарил высокое собрание за внимание, а товарищ из Женевы только приступал к изложению истории индо-пакистанского конфликта из-за Джамму и Кашмира. Денисов посмотрел на лежащий перед партнером текст выступления и похолодел: до конца оставалось еще страниц пять. А председатель уже предоставлял слово следующему оратору. «Ветеран» аккуратно отчертил карандашом абзац, который он закончил переводить, и не спеша передал остающиеся страницы Денисову. Абзац заканчивался словами: «Из основных причин конфликта можно выделить следующие десять...» В это время на трибуну поднимался закутанный в белую простыню сенегалец. Денисов вопросительно посмотрел на старшего товарища. «Дерзай, старик», – важно промолвил товарищ и с чувством исполненного долга вышел из кабины. «Что же мне с ЭТИМ делать?» – в отчаянии подумал Денисов, глядя на кипу с основными причинами. Но на размышления времени особо не было: мог «убежать» и сенегалец. Страницы отправились в корзину непереведенными.

Не всегда радовали Денисова и «письменные» коллеги, с работой которых он внимательно знакомился перед каждым заседанием. В их переводах можно было прочитать про Генерального Секретаря, выражающего «высокую тревогу» и имеющего «многие обеспокоенности», про «вызовы и императивы времени», «учет рисков» и другие интересные вещи. Чувствовалось, что люди либо страшно устали, либо на самом деле заняты чем-то другим. Как-то в обеденный перерыв Денисов встретил на Манхэттене одного своего «сокурсника» - письменника, который после развала «совка», занимался, в основном, тем, что переправлял кораблями и поездами какое-то барахло из Америки в родную Бурятию, в результате чего сколотил неплохое состояние. «Сокурсник» был заметно нетрезв, но Денисова узнал и обрадовался. «Старик, – закричал он, – пошли к латиноскам, я теперь только к латиноскам хожу, они такие веселые и отсасывают очень весело. Хочешь, тебе тоже отсосут?» Пока Денисов оглядывался в новом для себя измерении действительности, в которое он так внезапно был ввергнут, «сокурсник» обиделся и дрогнувшим голосом спросил: «Неужели у тебя нет мечты в жизни?» Затем резко вновь повеселел: «А хочешь, пойдем выпить – я угощаю! Не, не хочешь? Тогда ты меня угощай!» Денисов уже не знал, на что ему отвечать, к тому же он все еще не мог оторваться от присосавшегося к нему первого вопроса. Когда он решил попытаться ответить хотя бы на второй вопрос, «предпринимателя» уже и след простыл...

Вообще, Денисова стали раздражать многие вещи, которые раньше казались незначительными. Например, его злило, когда партнер опаздывал его сменять. Особенно, если это делалось систематически и еще со словами: «Sorry, старик, закрутился, ты там отмотай сколько надо и приходи попозже». «Отматывать» же, тем более точно, до последней минуты, было бесполезно: если партнер опаздывал каждый раз, то в подсчетах можно было запутаться. Собственно, и сами злостные опоздальщики не рассчитывали, что этим действительно кто-то будет заниматься.

Даже великие мастера, такие как Корчагин, иногда если не раздражали, то неприятно удивляли Денисова. Корчагин же среди переводчиков пользовался не меньшей известностью, чем его легендарный однофамилец среди советских людей, которых долго учили тому, как закалялась сталь. Его называли «матерью русского синхронного перевода». Родительские права он разделял с самим Палладием Панасенко, который был вечным личным переводчиком последнего Генсека и который был, соответственно, «отцом». Переводил Корчагин, безусловно, очень хорошо и даже написал про это книгу. Однако в последнее время маэстро стал позволять себе в кабине шалить: адекватность перевода он доводил до абсурда. Свою манеру переводить он называл «адекватность плюс». Если оратор говорил тихо, Корчагин шептал, если оратор повышал голос, Корчагин кричал, как резаный, если оратор говорил невнятно и быстро, Корчагин переходил на полную абракадабру или просто выл. Более того: даже при совершенно нормальном темпе «господин председатель» у него всегда становился «гэ писатель», а «господин», соответственно, «гэ». Таким образом, его перевод

изобиловал «гэ послами», «гэ генсеками», «гэ помгенсеками» и т.д.. Группа 77-и была, естественно, «гэ 77», а Группа 8-и «гэ 8», встреча же в верхах в Осло превращалась в «ослиный саммит». Были и другие причуды. Некоторые довольно трогательные, некоторые – небезопасные для находящихся поблизости. Когда, например, Корчагину приносили текст речи уже в конце выступления (что случалось нередко, русским, порой, вообще не приносили текстов), он яростно выхватывал его из рук сотрудника, обслуживающего заседание, и, не отключая микрофон, рвал на маленькие - премаленькие кусочки, бросал в ур-ну и еще плевал вдогонку. А однажды – Денисов работал с Корчагиным в «святая святых» – Совете Безопасности – стали происходить вещи, которые, в принципе, не должны происходить в кабине синхронного перевода. Переводил в это время Денисов. Оратор, как обычно, быстро читал заранее написанную речь, Денисов едва поспевал за ним. Хотя Денисов был предельно сосредоточен на выступлении, он боковым зрением не мог не заметить, что за его спиной происходит что-то неординарное. Повернув голову от микрофона вбок, Денисов увидел страшную картину: Корчагин поднимал вверх перевернутое огромное эргономическое кресло, стоящее в розничной торговле минимум 300 долларов и купленное организацией оптом по 999 долларов за штуку, и изо всех сил бросал его вниз. После очередного броска он ставил кресло в нормальное положение, садился в него, недовольно хмыкал и повторял процедуру. Денисову понадобилась пара добрых минут, чтобы понять смысл происходящего: Корчагин столь грубым способом пытался установить высоту кресла пониже, т.е. под свой рост, а поскольку кресла были приобретены совсем недавно после многолетней борьбы профсоюзных активистов синхронной службы с косной и скупой администрацией, он не знал, что высоту можно регулировать при помощи специального рычага, расположенного под сиденьем. Продолжая перечислять населенные пункты в Демократической Республике Конго, захваченные повстанцами, Денисов попытался привлечь внимание уже порядком вспотевшего партнера к рычагу, показывая рукой на место его расположения под своим сиденьем. Нехитрый замысел Денисова заключался в следующем: Корчагин, увидев рычаг под Денисовым, поймет, что необходимо делать со своим собственным креслом. Что на самом деле понял Корчагин, осталось неизвестным. Заметив жестикуляцию Денисова, он заглянул под него, покрутил пальцем у виска и продолжил бросать кресло.

К причудам коллег, однако, Денисов относился с пониманием. В своей профессии он считал их делом вполне обычным. Неоднократно вспоминал он совершенно справедливые (как обычно) слова Бугрова: «Следите за здоровьем, ребята, берегите нервную систему. Стресс накапливается незаметно, а проявляется внезапно и порой весьма бурно».

В данной связи вспоминался один мирный и внешне уравновешенный переводчик, работавший в Женеве и слывший прекрасным семьянином: находясь в отпуске, он поехал с семьей на автомобиле путешествовать по соседней Италии; доехав до Венеции, он вышел из машины, позвал жену и стал бить ее головой о багажник. Почему он так поступил, почему нужно было ехать для этого именно в Венецию – никто – и прежде всего сам он – объяснить не смог.

Был еще один случай, опять же в Женеве (какое-то таки заклятое место, как, собственно, многие деревенские кладбища), но уже посерьезнее, с поножовщиной: один синхронист, то ли из ревности, то ли по каким-то другим причинам, попытался убить другого синхрониста. Убийства не случилось, потому как нож, которым решил воспользоваться несчастный, был швейцарским и перочинным. Обошлось малой кровью. «В общем, без надобности не напрягайтесь, – продолжал советовать Бугров, – поменьше смотрите всяких thrillers[1] и horror flicks[2], побольше мультфильмов, особенно хороши «Looney Tunes»[3]»…

Оглядываясь назад, Денисов видел Аркашу Горющенко – одного из первых опытных синхронистов, с которым он познакомился по прибытии в Нью-Йорк. За Аркашей замечалась лишь одна невинная странность: идя по коридору, он отмахивал от своего лица только ему видимых мух, приговаривая при этом что-то неразборчивое.

Да и за самим собой Денисов знал определенные странности. В последние годы он стал замечать, что все труднее сосредоточиться на том, что говорится, но не нуждается в немедленном переводе. Он включал телевизор – и «отключался». Собеседник превращался в одинокого певца, поющего, порой и приятно, на чужом языке. «Да ты вообще слышишь, что я тебе говорю?» – обиженно спрашивала жена. «Нет», – честно отвечал Денисов, после чего уровень шумового фона вокруг существенно возрастал. Однажды находясь в России в отпуске, он «беседовал» со своей сестрой и вдруг услышал ее выкрик: «Ты что, действительно, *того*?»

---

1 Триллеры

2 Фильмы ужасов

3 Дословно: мелодии с чудинкой. – *Прим. ред.*

ИСКУШЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Денисов понимал, что и его повышенная раздражительность, и перепады настроений (обычно между плохим и очень плохим), и частые «впадания» в ступор, могут иметь самые различные и не осознанные им причины. Однако одну из них Денисов знал очень хорошо. Собственно, он даже прекрасно помнил тот день, после которого в его жизни все стало «не так». Он работал в третьем «социальном» комитете, одном из наиболее словообильных в ООН. Были обычные «пулеметные» речи о необходимости побороть (почему-то только наполовину) нищету в мире к 2015 году. Денисов был в ударе. Было трудно и весело. Все получалось. Отработав получасовку, Денисов вышел из кабины и, улыбаясь, сказал также выходившему из своей кабины британскому коллеге: «Well, the guy from Madagascar was incredibly fast, but I think I did a good job!»[1] Вообще-то Денисов не ожидал никакой реакции от британского коллеги, особо заметное презрение которого к славянам объяснялось неспособностью овладеть «великим и могучим», с которого он был официально «способен» переводить. Однако на этот раз британец отреагировал. «Well, who cares how well you did?– произнес он на оксфордском английском. – Who was listening to you, anyway?»[2] Денисов рассмеялся, давая понять, что скифу не чужд не только германский хладный гений, но и тонкий английский юмор. Про себя же подумал: «Во мудило, сам все утро газету читал, на русском никто не выступал, а туда же...» Хотелось что-то сказать легкое и умное, но британец уже ушел «to do lunch»[3] с сопоставимым с собой «западным» коллегой, сразу же забыв нечаянно потраченные на Денисова слова.

Денисов же эти слова не забыл. Они оказались для него ядом замедленного действия. Он стал замечать многие вещи, на которые раньше не обращал внимания: положение селектора языка перед предположительно русскоговорящим делегатами, рабочие документы, представляемые только на английском языке, нечеловеческие усилия, предпринимаемые дипломатами из «ближнего зарубежья» выступать по-английски. Однажды, когда Денисов переводил в очень сложном комитете, рассматривающем административные и бюджетные вопросы (как говаривал Бугров, там с похмелья лучше было не появляться), зашел его партнер и громко спросил: «Что, мастерство оттачиваешь?» Отключив микрофон, Денисов поинтересовался, в чем дело. «Здесь же Лешка сидит, он только английский слушает». Денисов посмотрел на Лешку – крупного во всех отношениях российского дипломата, который, несмотря на прекратившийся русский перевод продолжал живо следить за дискуссией. Денисов надеялся, что вот-вот Лешка поднимет руку, прервет заседание и пожалуется председателю на то, что перевод на русский исчез. Но Лешка этого не делал. Поэтому Денисову было очень неприятно работать в этом комитете. Он больше не приносил с собой папку с глоссариями, заполненными бюджетной терминологией, и с нетерпением ждал окончания каждой своей получасовки.

Однако переводить Денисов по-прежнему любил. Он все также соревновался со «спринтерами», все также «воспарял» над оратором, все также пребывал в состоянии детского счастья после особо удачного перевода. Только теперь это состояние случалось все реже и быстро пропадало, словно неожиданный ясный проблеск в обложном осеннем небе. А после особенно прыткого оратора у Денисова наступала одышка и болело в груди. Поначалу эта боль была непродолжительной и даже какой-то сладкой, но потом стала пугать. Он уже ловил себя на том, что часто использует первое попавшееся слово, лишь бы поспеть, а когда все-таки не успевал, больше не убивался. Не смущаясь более и следуя примеру дипломатов, русский язык которых все более походил на английский, Денисов принялся «отвечать на вызовы времени», «поднимать гендерную проблематику», «откликаться на обеспокоенности» и «учитывать риски». Все чаще он использовал одно слово вместо целого ряда синонимов, что раньше считал непростительным. Но, может, сердце здесь было и ни при чем. Может, истинная причина его «падения» заключалась в том, что скрипучий и монотонный Мадригалкин, когда ему случалось работать с Денисовым, спрашивал в микрофон скрипучим и монотонным голосом: «Хорошо слышен русский перевод?» – после чего замолкал, не заметив какой-либо реакции среди русскоязычных делегатов. Сам Денисов так не поступал: в больших залах можно было и не заметить Клиента, да и была надежда на то, что кто-нибудь все-таки его слушает.

Наконец, случилось то, о чем еще предупреждал великий Бугров. «Ребята, – увещевал он, – не распускайтесь в кабине, всегда держите себя в руках и не упускайте микрофон из виду. И никогда не материтесь в кабине. Помните: настанет день, когда вы не заметите, что микрофон включен – то ли вы сами его забыли

---

[1] "Мальгаш говорил со страшной скоростью, но я, по-моему, справился с ним неплохо!"

[2] "А какое, собственно, значение имеет то, насколько хорошо Вы справились? Кто Вас вообще слушал?"

[3] Дословно: "делать ленч"

отключить, то ли звукоинженер или ваш напарник оставил его включенным – и выругаетесь во всеуслышание. Последствия могут быть весьма печальными». Денисов был однажды свидетелем подобного прокола. На заседании подкомитета по мирному использованию атомной энергии необычайную активность проявлял франкофонный делегат из Африки: то ли из Буркина Фасо, то ли из Чада. Он постоянно брал слово, всех и все критикуя, в том числе и атомную энергию. Он также шутил. Шутка (она была одна) заключалась в том, что за инструкциями по любому вопросу ему не нужно обращаться к своему начальству в МИДе Буркина Фасо, а достаточно «consulter ses ancetres»[1], которые делились с ним «sagesse africaine»[2], причем «консультировался» он с ними прямо в зале. Вдобавок ко всему на делегате- «медиуме» был большой белый балахон до пят и высокий круглый колпак. Заседание проходило довольно мило: «балахон» купался во всеобщем вынужденном внимании, нажимал на кнопку, включающую микрофон, крутил ручку громкости, – в общем, веселился как мог; остальные вежливо улыбались. И вдруг разразился скандал. «Чадец» стал заявлять официальный протест, требовать сатисфакции, кричать, что его, а через него и представляемый им Чад и всех его домочадцев, только что оскорбили: французский переводчик, которого он слушал, назвал его «guignol», по-русски значит – петрушкой. Все за-кричали, что это возмутительно, что необходимо наказать виновного. «Виновный» сидел в соседней кабине справа, за стеклянной перегородкой. Это был седой сухонький француз, который в это время неотрывно смотрел на свой микрофон и нервно щурился. Руки его теребили гладкую маленькую курительную трубку, которую ему очень хотелось закурить. Француз посмотрел на Денисова и, слегка пожав плечами, виновато развел руками: дескать, подвела нелегкая, и на старуху бывает проруха. Инцидент каким-то образом удалось замять. Интересно, думал Денисов, вспоминая этот случай, заставили ли француза извиняться перед африканцем? Если да, то как это выглядело? Подходит к большому африканскому представителю маленький пожилой француз и говорит: «Г-н делегат, извините, пожалуйста, меня за то, что я назвал вас петрушкой. Я нечаянно. Я больше не буду». Скорее всего, обошлось официальной перепиской и выговором.

Денисов теперь чаще обращал внимание на внешность Клиента. Клиент явно изменился: помолодел, постройнел, заговорил на иностранных языках, порой узнать его можно было лишь по табличке перед микрофоном: без нее туркмены казались турками, эстонцы – финнами, армяне – киприотами, украинцы – поляками; столь привычный глазу штамп с надписью «Made in the USSR» начинал смываться даже с российских лиц. Однако, несмотря на возникшую моложавость и другие видоизменения Клиента, который явно становился человеком новой формации, Денисов сохранял к нему почтительное отношение. Он не мог отзываться о нем фамильярно, как это делали некоторые, более молодые его коллеги. «Это кто здесь из русских сидит? – могли спросить они, присматриваясь к аудитории, – Васька, что ли? Чего это он в 6-м комитете делает?» Или: «Здесь сегодня Борька сидит, он не «слушает».

Слушать начал Денисов. Причем как-то незаметно для самого себя. Может, из-за того, что он чувствовал (хотя сам себе не признавался в этом), что сверять каждое слово (или даже вообще какое-то слово) с совестью переводчика больше не обязательно, у Денисова появилось в кабине довольно много свободного времени. Впервые за много лет Денисов действительно услышал, о чем говорят на международных заседаниях. Чешуя отпала не только от глаз, но и от ушей его. За редкими исключениями, дискуссии казались Денисову на удивление скучными, а то и попросту бессмысленными. Часами, в том числе и ночными, могли спорить делегаты по поводу одного слова или фразы в проекте резолюции, отстаивая свои пусть загадочные, но принципиальные национальные позиции. Например, неизменно возникал жаркий и долгий спор из-за фразы «as appropriate» («по мере необходимости»): обязательно кто-нибудь, обычно делегат Соединенного Королевства, предлагал взамен выражение «when necessary» (что по-русски опять же было «по мере необходимости»). Если же в первоначальном тексте проекта было записано «when necessary», то тогда кто-нибудь, обычно тот же делегат Соединенного Королевства, просил заменить эту фразу на «as appropriate». Денисов не понимал, почему Клиенту не кажется смешным, что в течение долгого времени в зале раздаются решительные требования поменять «по мере необходимости» на «по мере необходимости». Хотя теперь Денисов, конечно, догадывался.

Практически во все предложения резолюций нужно было вставлять слова «особенно развивающиеся страны» (в соответствующем, естественно, падеже), например: «оказывать помощь, особенно развивающимся странам», «предоставлять финансовые средства, особенно развивающимся странам», «проблемы встают перед международным

---

1 "Посоветоваться с предками"

2 "Африканская мудрость"

сообществом, особенно развивающимися странами» и т.д.. Если же фразу включать забывали, то всегда находились бдительные делегаты, особенно из развивающихся стран, которые указывали на упущение. В последнее время стало правилом к этой фразе добавлять слова «в частности, наименее развитые». Потом стали добавлять: «и малые островные» или «не имеющие выхода к морю». В одной резолюции Денисов увидел, что после «особенно развивающихся стран» было записано: «в особенности к югу и северу от Сахары». Ему стало жалко Сахару – обделенную и одинокую.

Денисов не только слушал, но и читал. «Письменные» его коллеги, как оказалось, тоже особенно не старались. В отличие от дипломатов, они еще писали «осуществление», а не «имплементация», но «гендерная проблематика» у них «интегрировалась», а то и «актуализировалась», страны разделяла «цифровая пропасть» (щоб всім по сім, а нам вісім, приговаривал при этом Денисов), а Генеральный Секретарь, как водится, «выражал высокую тревогу». Денисов особо не придирался, потому как оригиналы были не менее оригинальны. Но порой приходилось недоумевать, когда что-то происходило «в последнюю субботу», или когда Председатель Арафат писал «письмо на имя покойного премьер-министра Ицхака Рабина», или когда «создавался порочный круг ответных ударов и взаимных обвинений, выдвигаемых правительством Израиля» и «вызывал огорчение тот факт, что палестинское руководство отказывалось сойти с пути насилия». А однажды в докладе о грузино-абхазском конфликте Денисов прочел: «Было убито около восьми грузин». Даже без заглядывания в оригинал становилось обидно за грузин, которых не смогли посчитать несмотря на их немногочисленность. Хотя даже если бы их было гораздо больше, фраза – «Было убито около ста восьми грузин» – звучала бы также нелепо.

Собственно, особо удивляться не приходилось. С улыбкой Денисов вспомнил бывшего начальника русской службы письменного перевода, который, несмотря на то, что с момента своего рождения в ЮАР (где работали тогда его родители) почти никогда не бывал в стране Октября, сумел сохранить горячую к ней любовь. Неустанно призывал он своих подчиненных к различным проявлениям патриотизма, в частности, к сохранению чистоты великого русского языка. «Негоже, товарищи, в это трудную для Родины (при этом присутствовавшие скалозубы мысленно добавили: «ЮАР») годину, вести себя как мудрые караси, понимаешь...», – пристыдил он как-то на одном из собраний несознательных членов коллектива, спутав пескаря с карасем, который как знают все патриоты, имеет совсем другую характеристику

COMIC RELIEF[1]

Ооновское словоблудие стало частым предметом шуток с Рустэмом – единственным коллегой, с которым Денисов мог общаться. Они делились «перлами», пародировали делегатов и чиновников Секретариата. Работая вместе в кабине, они писали друг другу всякие смешные записки. Например, когда работал Рустэм, Денисов мог положить перед его микрофоном записку: «Слово предоставляется Тринидаду, подготовиться Тобаго». В отместку Рустэм в получасовку Денисова мог подложить что-нибудь вроде: «Слово имеет Бутан. Подготовиться Пропану» или зачеркнуть два последних слова в «Конференции по проблемам стран, не имеющих выхода к морю». Денисов вспомнил молодость, студенческие капустники и стал писать смешные выступления на маленьких листиках бумаги, которые лежали в кабине. Обычно он показывал их Рустэму, чтобы повеселить его, и выбрасывал. Некоторые же сохранял для истории («болезни», всегда добавлял он), как, например, «Речь всех времен и народов», написанную еще на курсах:

Г-н председатель!
Прежде, чем я перейду к непосредственному рассмотрению конкретного пункта повестки дня, я не могу не отметить, как не могли не отметить и предыдущие ораторы, своевременность и уместность обсуждения проблемы, которая вот уже на протяжении значительного периода времени находится в центре внимания мировой общественности. При этом недостаточно обоснованным представляется утверждение о том, что рамки, в которых было бы возможно найти наиболее вероятное решение этой проблемы, делают малореальным саму постановку столь важного вопроса. Активный поиск путей и средств нахождения наиболее конструктивных и действенных методов выбора оптимального варианта позволяет своевременно и в максимально минимальные сроки определить приоритетную направленность нашей работы. Обеспечивая восходящие линии в наших подходах, поддерживая идею неразрывной преемственности, усиливая и поощряя наращивание результативных тенденций, диктуемых императивами радикальной эволюции коллективного самосознания, мы и впредь будем всемерно развивать основополагающую концепцию вероятностных альтернатив. Мы поддерживали,

[1] Дословно: разрядка смехом

поддерживаем и будем поддерживать все, что еще можно поддерживать, опираясь на те глубинные сдвиги, которые обозначились на контрастном фоне современной проблематики. Иначе и быть не может. Подобному ракурсу определения критериев оценки не может быть достаточно веской и конкретно ощутимой альтернативы. Ибо по всему спектру своего воздействия на мировоззренческие установки и по степени необратимости перманентного процесса поступательного движения к новому качеству прогресса, сама данность этого высшего акта превозможения обязывает нас к допущению презумпции признания факта достоверным, пока не будет доказано обратное. Было бы неосторожным также допускать, что мы не озабочены тем, что продолжает вызывать нашу обеспокоенность. Ведь тот достаточно высокий уровень, достигнутый на основе воздвигнутого, все еще достаточно низок. Все это так, но вырисовывающиеся сейчас симптомы действительного преображения, очерчивающиеся наметки грядущего восторжествования несут в себе правомочность мажорной тональности наших устремлений.

Благодарю Вас, г-н председатель.

Рустэм не оставался в долгу. Однажды, проработав до 5 часов утра в Комиссии по устойчивому развитию, он разразился следующими «газетными новостями»:

JUST IN!

BLOODY RAMPAGE AT THE UNITED NATIONS

(Frustrated UN Interpreter Goes on a Shooting Spree in the UN Building and then Shoots Himself in a Single Bloody Incident in the UN History)

NEW YORK. *December 11, 1997.* As dawn was breaking over the United Nations building on the East River in New York, a UN staff member (later identified as a Russian interpreter) walked into a conference room, where diplomats from around the world were still bickering about a wording in a UN resolution, and started firing at point-blank range from a gun at all those huddled in the room. After firing six shots, instantly killing two and wounding four diplomats, the UN staff member screamed "Stop wasting my time!", allegedly uttered a stream of profanities in Russian, and then shot himself, as the diplomats and present UN staff members watched in shock and disbelief. The U.S. delegate was not hurt.

As hard as it is to assert at this point what really caused that single bloody incident in the UN history, in a private conversation, several other interpreters who were servicing the same meeting admitted that their Russian colleague seemed very upset and frustrated that the diplomats were arguing over three hours whether to use the word "sustained" or "sustainable" in a minor economic resolution. However, it was the fact that none of the Russian-speaking diplomats were listening to his interpreting during the meeting that finally made him "fly off the rocker" and set him off on the shooting spree. "It is really very sad and utterly shocking", said one of the interpreters who witnessed the bloody events as they unfolded, "He was an excellent interpreter and seemed very friendly, quiet and calm. He was a really nice chap ".

A UN Security spokesperson was adamant asserting that with the reform under way in the UN security system "there was no way" anyone could have walked into the building with a gun unnoticed.

None of the senior UN officials could be reached for comment.

U.N. About Face After
the Bloody Incident In Its H.Q.
(With 4 of Their Comrades Killed and 2 Wounded, Shocked Diplomats Rethink Their Approach To Developing Countries Economic Dire Straits)

NEW YORK. *December 16, 1997.* Five days after the single bloody incident in the United Nations Headquarters in New York, which left 4 diplomats dead and 2 wounded, the U.N. General Assembly finally made a decision to approve six resolutions containing the words "sustained economic growth and sustainable development". Having very little meaning, at best, to the general reading public, these six words are largely blamed for triggering a shooting spree at the U.N. posh headquarters building, where a Russian interpreter killed 4 and wounded 2 diplomats. Sources say that the embattled interpreter (his name is still being withheld by the U.N. officials) was extremely frustrated that the delegates were wrangling for more than three hours over this, seemingly, insignificant wording.

This is an extremely significant issue, stated the acting Chairman of the group of developing countries. - the serious incident we had here last week is yet another striking illustration of the relevance and importance of this matter.

The U.S. delegation, which was the only one to stand in the way of consensus on the day of the bloody events, stated today, even though very cautiously, that it will be prepared to support the emerging consensus.

Commenting the queries as to why it took the U.N. five days to react to the horrible incident, a high official of the General Assembly stated: "In actual fact, our response was instantaneous. However, you must realize that when you

have 187 countries, it is not easy to reach a unanimous decision on any question in any period of time."
Even though consensus on including those words into six resolutions was reached today at an emergency meeting of the General Assembly, one delegation reserved the right to state its position at the Plenary session to be held tomorrow where the six resolutions are to be approved.[1]

Не откликнуться Денисов просто не мог. На следующий день он отослал Рустэму продолжение:

FATAL WORDING ADOPTED

NEW YORK. *December 18, 1997*. The wording in 6 (six) UN resolutions that became the subject of protracted and seemingly futile negotiations and triggered the bloodbath in the UN headquarters on December 12, 1997, when an exasperated Russian interpreter began firing randomly at UN delegates killing two and wounding four diplomats and then shooting himself, has been finally adopted today in the General Assembly by consensus.

As was reported earlier, delegates to the UN from 187 countries spent endless hours arguing which phrase to use in the resolution: «sustained growth» or «sustainable growth». Eventually, the word «sustained» gained the upper hand. As a price of the compromise, however, the word «growth» had to be dropped.

ROYAL WRATH

LONDON. *December 19, 1997*. Referring to the bloody rampage at the UN Headquarters on December 11, 1997, which left at least 3 people dead and 4 people wounded, an unnamed member of the British royal family was reported by British tabloids as saying: «Of course, this ugly incident is highly reprehensible and totally unacceptable. At the same time, we should not blow it out of proportion. After all, there were no permanent members of the Security Council of ambassadorial level present at that unfortunate meeting, and it was just the lower-level diplomatic personnel who were affected.» The royal family vigorously rejected the idea that something like that could have been said by one of its members calling the tabloids' report «totally false and sickening.»

ABANDONED BY THEIR PRESIDENT

MOSCOW. *20 December, 1997*. Interviewed by the Russian TV news program «Vremya» (6,000 miles East of CNN), Russian President Boris Yeltsin, whose speech was passionate if somewhat slurred after the recent viral infection, said that Russia «disavows fully and entirely» the family of the Russian UN interpreter who went berserk during a night meeting at the UN on December 12, 1997, killing 3 people (including himself) and wounding 4, and waives all diplomatic privileges and immunities that were in place for the family members.

The family members could not be reached for comments.

At the time of printing it became known that having the status of dependents of an international employee, the family members were never entitled to any diplomatic privileges and immunities in the first place.

A NEW TWIST IN THE UN MULTIPLE MURDER CASE

NEW YORK. December 20, 1997. According to a UN Secretary-General spokesman, Mr. Thaauckaatschj, the Russian UN interpreter who went on a shooting spree at the UN Headquarters on December 11, 1997 is not really Russian but a citizen of Kyrgyzstan (a foreign country 12,000 miles from Washington, D.C. in any direction). Being an ethnic Russian, he became a Kyrgyz as a result of having resided there at the time of the break-up of the Soviet Union.

Kyrgyzstan could not be reached for comments because of poor telephone communication.

Перевод

КРОВАВАЯ БОЙНЯ В ШТАБ-КВАРТИРЕ ООН

(Беспрецедентное побоище в истории ООН: доведенный до отчаяния переводчик открывает пальбу по делегатам в здании ООН, после чего стреляется сам)

НЬЮ-ЙОРК. *11 декабря 1997 г.*. Когда начинал брезжить рассвет над штаб-квартирой ООН на берегу Гудзона в Нью-Йорке, сотрудник ООН (бывший, как выяснилось позднее, русским синхронным переводчиком) ворвался в зал заседаний, в котором дипломаты из разных стран продолжали препираться из-за формулировки очередной резолюции, и принялся расстреливать их в упор из пистолета. Произведя шесть выстрелов в прижавшихся друг к другу дипломатов, сотрудник выкрикнул: «Сколько можно тратить мое время!», произнес ряд восклицаний, предположительно являющихся русскими ругательствами, и застрелился на глазах потрясенных присутствующих делегатов и членов персонала ООН. Представитель США не пострадал.

Хотя сейчас еще преждевременно говорить о причине этого беспрецедентного побоища в истории

ООН, синхронные переводчики, обслуживавшие заседание, в частной беседе признали, что их русский коллега выглядел раздосадованным и раздраженным из-за того, что дипломаты в течение трех часов спорили по поводу слова, которое следует использовать во второстепенной резолюции по экономическим вопросам: «sustained» или «sustainable» (и то, и другое слово переводятся на русский как «устойчивый»). Однако «последней каплей», приведшей к тому, что у него «поехала крыша» и он открыл беспорядочную пальбу, было то, что никто из русскоговорящих дипломатов не слушал перевод. «Это трагедия, я не могу оправиться от шока, – сказала одна из переводчиц, которая воочию видела, как разворачивалась кровавая бойня. Он был прекрасным переводчиком и казался таким беззлобным, тихим и спокойным. Он был действительно славным парнем».

Представитель службы охраны ООН указал на проводимую в настоящее время реформу системы безопасности ООН и категорически опроверг «даже малейшую возможность необнаружения охранниками несанкционированного проноса в здание огнестрельного оружия».

Получить какие-либо комментарии от высокопоставленных должностных лиц ООН не удалось.

ООН РАДИКАЛЬНО МЕНЯЕТ ПОЗИЦИЮ

(После кровавого инцидента в штаб-квартире ООН, в результате которого были убиты четыре дипломата и двое ранены, их потрясенные коллеги пересматривают свой подход к тяжелому экономическому положению развивающихся стран.)

НЬЮ-ЙОРК. *16 декабря 1997 г.*. Через пять дней после беспрецедентного кровавого инцидента в центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке, в результате которого погибли 4 дипломата и двое получили ранения, Генеральная Ассамблея ООН, наконец, приняла решение вынести на голосование шесть резолюций, содержащих слова «устойчивый экономический рост и устойчивое развитие». Эти шесть слов, мало что – в лучшем случае – означающие для обычного читателя, и послужили якобы толчком для стрельбы, которую устроил в знаменитом здании штаб-квартиры международной организации русский переводчик-синхронист. По сообщениям очевидцев, переводчик (представители ООН все еще не раскрывают его имени) был доведен до отчаяния тем, что делегаты в течение более трех часов вели ожесточенные споры по поводу столь незначительной, казалось, формулировки.

«Положение стран Юга – чрезвычайно важный вопрос, – заявил исполняющий обязанности председателя группы развивающихся стран. Серьезный инцидент, произошедший здесь на прошлой неделе, – это еще один яркий пример актуальности и значимости этой проблемы».

Делегация США, которая была единственной стороной, противившейся консенсусу в день кровавых событий, заявила сегодня, хотя и в самых осторожных выражениях, что она будет готова поддержать вырисовывающийся консенсус.

Отвечая на вопрос о том, почему ООН потребовалось целых пять дней для того, чтобы официально отреагировать на жуткий инцидент, высокопоставленное должностное лицо Генеральной Ассамблеи заявило: «На самом деле наша реакция была моментальной. Однако вы должны понимать, что, когда вы имеете дело со 187 странами, прийти к единогласному решению по любому вопросу – дело всегда нелегкое».

Хотя сегодня на чрезвычайном заседании Генеральной Ассамблеи был достигнут консенсус по вопросу включения спорных слов в шесть резолюций, одна делегация оставила за собой право «заявить о своей позиции» на пленарном заседании завтра, на котором будут приниматься эти резолюции.

РОКОВАЯ ФОРМУЛИРОВКА ПРИНИМАЕТСЯ

НЬЮ-ЙОРК, *18 декабря 1997г.*. Формулировка 6 (шести) резолюций ООН, предмет длительных и, как казалось, бесплодных переговоров, которые стали причиной кровавой бани 12 декабря 1997 г., когда выведенный из себя русский переводчик открыл беспорядочную пальбу по делегатам ООН, убил двух дипломатов, ранил четверых и застрелился сам, была наконец, принята сегодня в Генеральной Ассамблее консенсусом.

КОРОЛЕВСКИЙ ГНЕВ

ЛОНДОН, *19 декабря 1997 г.*. Говоря о кровавой расправе, происшедшей в штаб-квартире ООН 17 декабря 1997 г., в результате которой три дипломата погибли и трое получили ранения, непоименованный член британской королевской семьи, по сообщениям английских бульварных газет, сказал: «Безусловно, этот отвратительный инцидент является в высочайшей степени предосудительным и абсолютно неприемлемым. В то же время мы не

должны раздувать масштабы этого происшествия. В конце концов, на этом злополучном заседании не было послов стран-постоянных членов Совета Безопасности, и пострадали лишь члены младшего дипломатического персонала». Королевская семья категорически опровергла возможность того, что кто-либо из ее членов мог сказать нечто подобное, и отозвалась о газетных сообщениях как о «совершенно ложных и омерзительных».

ОТВЕРЖЕННЫЕ СОБСТВЕННЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ

МОСКВА, *20 декабря 1997г.*. Давая интервью российской программе теленовостей «Время» (6000 миль от CNN на восток), президент России Борис Ельцин, речь которого была страстной, хотя и несколько невнятной из-за недавно перенесенной вирусной инфекции, заявил, что «Россия целиком и полностью отрекается» от семьи русского синхронного переводчика ООН, который впал в неистовство во время ночного заседания в ООН 12 декабря 1997 г., застрелил пятерых (включая себя) и ранил четверых, и лишает членов его семьи всех дипломатических привилегий и иммунитетов.

Получить комментарии от членов семьи не удалось.

Во время набора номера стало известно, что, имея статус иждивенцев международного служащего, члены семьи русского переводчика никакими дипломатическими привилегиями и иммунитетами никогда не обладали.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ В ДЕЛЕ ОБ УБИЙСТВАХ В ООН

НЬЮ-ЙОРК, *20 декабря 1997 г.*. Как сообщил пресс-представитель Генерального Секретаря ООН г-н Тхааукаатч, русский синхронный переводчик ООН, устроивший пальбу из пистолета в штаб-квартире ООН 12 декабря, на самом деле является гражданином не России, а Киргизстана (страна за пределами США, находящаяся в 12000 милях от Вашингтона в любом направлении). Будучи этническим русским, он стал киргизом по месту своего жительства на момент распада СССР.

Получить комментарии от Киргизстана не удалось по причине плохой телефонной связи.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ

Все чаще веселые беседы переносились из зала заседаний в расположенный неподалеку от ООН гостиничный бар. Подогреваемые джином с тоником, друзья продолжали соревноваться друг с другом в шутках и пародиях, забывая, что они – не 20-летние студенты, сочиняющие капустник, а убеленные сединой международные чиновники. После излияний и возлияний Денисов возвращался в приподнятом настроении, чувствуя себя помолодевшим. Ночью же ломил затылок, ныл правый бок и «троило» (как любил выражаться шурин-автомеханик) сердце. Если погода была холодной, а еще лучше – морозной, Денисов выходил полураздетый на улицу, и ему казалось, что холод помогает ему продохнуть через затвердевшие клапаны. После чего замерзала тупая боль в затылке и в боку, и Денисов мог возвращаться в дом.

По утрам работалось все труднее: покруживалась голова, перехватывало дыхание. Денисов переходил в своеобразный режим автопилота, жалея последние капли интеллектуального топлива, лишь в самых трудных местах, превозмогая боль в распухшем от крови мозгу («dog's breakfast[1]», как удачно выразился Воннегут), брал штурвал на себя. Его вообще больше не покидала усталость.15-минутный путь от вокзала до работы преодолевался со все большим трудом. Обеденные перерывы лишь отяжеляли. «Ну кто это придумал эти санитарные нормы для синхронистов, – вяло думал Денисов, – какой мудрец определил, что мы должны, вернее, можем отрабатывать по семь-восемь заседаний в неделю? Что, проводились какие-нибудь научные исследования, которые показали, что человек может в течение многих лет без особых последствий для здоровья повторять чужие речи на другом языке по 12 часов в неделю? Ну, ладно, на Нюрнбергском процессе можно было еще постараться, не считаясь со временем, чтобы добить немецко-фашистских оккупантов, а работать так всю жизнь... И почему эти нормы называются «санитарными», может, самое главное – чтобы мы не становились слишком грязными, или заразными?»

В этот день Денисов работал на неофициальных консультациях 5-го – бюджетно-административного – комитета. Вернее, ему казалось, что он работает. Отговорив минут пятнадцать про начисление взносов, Денисов, наконец, заметил, что микрофон все это время оставался невключенным. При этом «Клиенты» продолжали внимательно слушать. Денисов не стал

[1] Дословно: собачий завтрак. В переносном значении: загубленное дело – *Прим. ред.*

включать микрофон. Он выключил настольную лампу, освещавшую таблицу со шкалой взносов государств-членов, и закрыл глаза. «Как говаривал Мастюков, я – в полнейшем анонимате, – подумал он». Почему-то вспомнился коллега – пожилой испанец, большой чудак (как считали все), который однажды в свою смену вдруг вынул флейту и стал играть. Денисов улыбнулся: «Я не могу играть даже на балалайке».

После работы Денисов вышел из центрального подъезда здания Секретариата в теплый осенний вечер. Фонтан вокруг скульптуры «Single Form»[1] все еще работал. Ветер разносил брызги по кругу, на котором толпились черные дипломатические машины, и заставлял думать о море. «А ведь Нью-Йорк – морской, в общем-то, город, как тот же Бердянск», – подумал Денисов. Перейдя 1-ю авеню, он подошел к стеле, которая, наверное, должна была что-то символизировать. Возле нее сидел смуглый худой человек с картонкой, на которой фломастером было написано, что его права человека грубо нарушены, что решение суда в 1969 году было несправедливым, что он должен вернуться на родину – Кубу, и что он никогда не занимался анальным сексом. К большому удивлению Денисова, «кубинец» помахал ему рукой как знакомому.

Денисов поднялся по ступеням, начинавшимся под стеной с цитаты из пророка Исайи о мечах, которые необходимо перековать на орала, а копья – на секаторы, или – по русской Библии – серпы, к Тудор-сити – массивным жилым домам из красного кирпича, окружающим зеленый скверик со скамейками. «А здесь совсем не похоже на Манхэттен, да и вообще на Америку», – подумал Денисов и сел на скамейку. В скверике и вдоль домов он увидел большие и не знакомые ему деревья. На стволе одного бежевая кора отшелушивалась, обнажая зеленые проплешины, у другого были громадные листья, из которых можно бы было делать маски якутам, третье разбрасывало вокруг себя мелкие плодики, удивительно сильно смердевшие под ногами пешеходов. Денисов встал, оторвал от каждого дерева по листу и зашагал на вокзал.

Выйдя из электрички, Денисов не пошел домой, а перебрался через ж/д пути к Гудзону. Солнце уже закатывалось за высокий противоположный берег. Ветра почти не было, и вода плавно качалась у берега, гладя гальку. Денисов сел на теплый еще камень и стал смотреть на громадную баржу, которую толкал черный маленький буксир. «Маленьким я мечтал стать моряком. Если бы не ревматизм в детстве..., – с грустью подумал Денисов. – И красота-то какая, почему я раньше сюда не приходил?» Денисов огляделся. Неподалеку два мужика то и дело забрасывали и вытягивали спиннинги. Денисов ухмыльнулся: «Вот американцы чудные – думают, что если у них снасти по последнему слову техники, то вся рыба – их». «Чего-то не клюет ни хуя», – сказал один из рыболовов, и слова его поплыли далеко-далеко над тихим краем, притаившимся от диковинного говора. «Прямо Кинешма какая-та, – содрогнулся Денисов и поднялся, – сейчас еще бурлаки появятся. Из-за излучины».

Придя домой, он увидел на кухне загнанную завядшую женщину, скрывавшуюся уже добрый десяток лет от американской действительности за кипой русских книг и газет, и понял, что вот это – его жена Зинаида. Денисов заговорил с ней, она посмотрела на него, но ничего не сказала в ответ. «Может, глухая», – подумал Денисов.

В зале на продавленном диване он увидел лежащее тело довольно крупного мужика и по собственному почти, но более молодому, лицу узнал в нем своего старшего сына. Денисов спросил сына, как дела в школе. По раздавшимся в ответ порыкиваниям он догадался, что сын не говорит по-русски, и перешел на английский. Последовал очередной рык, на этот раз более спокойный, в котором Денисов разобрал неоднократно произносимое слово «crap»[2]. О н также понял общий смысл сказанного сыном: сын, блин,уже, на фиг, затрахался, блин, здесь лежать, блин, и ждать, когда ему дадут похавать. Блин.

Денисов перешел в комнату младшего сына, который сидел за уроками. Заглянув в тетрадку, он увидел уравнения, которые сын лихо решал одно за другим. «Ну что, все получается?» – спросил Денисов. Младший сын посмотрел на Денисова, как будто перед ним был не родной отец, а заговоривший на русском языке баклажан, и ничего не ответил. На столе сына Денисов увидел полевой определитель растений. «Listen, could you help me to identify these trees for me?» – спросил он и протянул пачку листьев. «Let me see, – деловито заговорил сын, – this one here is a tulip tree, this one is a plane tree, and this one is a ginkgo tree». «Все понятно: тюльпанное дерево, платан, он же чинара, и гинкго. Кто бы мог подумать», – подумал Денисов.

Он вернулся на кухню и сел за стол напротив жены Зинаиды. Помимо газет перед нею громоздилась кипа абсолютно одинаковых по размеру детективов на русском языке. «Их, наверное, пишут на вес», – подумал Денисов. Стол был покрыт пестрой клеенкой, веселость которой легко гасилась желтым от старости

[1] "Одинокая форма"– *Прим. ред.*

[2] Дословно: дерьмо. Здесь: блин (имело ли здесь какое-либо влияние французское слово “crepe”, действительно означающее “блин”, – вопрос интересный, но вряд ли на него стоит искать ответ)

линолеумом на полу, испещренным трещинами. В трещинах хранилась полувековая грязь, въевшаяся и почти уже съевшая сам линолеум. Отмыть или отскоблить грязь было невозможно, победа была за нею. «Ее, наверное, поставили с линолеумом в валентную связь, – подумал Денисов, у которого была тройка в школе по химии. – Этот пол скоро станет земляным». Денисов с трудом оторвал от пола будто тоже успевший приклеиться взгляд. С высокого потолка над газовой плитой свисала на голом проводе что-то похожее на люстру в одну лампочку. Люстру нужно было бы как следует прикрутить к потолку, но у хозяина-ирландца все не доходили руки, хотя он и обещал «обязательно сделать это завтра». У Денисова же руки тем более не доходили, так как у него не было лестницы. «Вот так, наверное, и в Северной Ирландии, – мрачно подумал Денисов, – они все говорят: «Ну, все, завтра кончаем это беспорядок, все это межобщинное насилие. А руки так и не доходят».»

«Руки надо помыть», – вспомнил Денисов и прошел в ванную. Открыв воду, он посмотрел в зеркальные поверхности раздвигающихся створок проржавевшего металлического ящичка, прибитого к стене над рукомойником. Из зеркала на него взглянуло лицо – одутловатое, в лиловых и красных пятнах, с обвисающими щеками и дряблым вторым подбородком. «Я становлюсь похожим на портрет Дориана Грея», – усмехнулся Денисов и отвернулся от своего лица. Стены ванной были снизу уложены плитками, которые по количеству трещин не уступали кухонному линолеуму. Стены и потолок были не покрашены, а лишь покрыты «грунтом»: несколько лет назад хозяин хотел сделать здесь ремонт. На них были разбросаны пятна плесени. Когда-то бывшая белой ванна была теперь разноцветной: по сероватому потрескавшемуся фону расплывались лиловые и синие пятна. «Если положить туда мое лицо, – скривился Денисов, – его никто бы не заметил». Он повесил полотенце на вбитый в дверь крючок, прикрыв образовавшуюся после отвалившейся краски проплешину.

Вернувшись на кухню, Денисов вновь сел за стол.

– Ты хочешь есть? – спросила жена.

– Я хочу домой.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Я этим хочу сказать, что давай поедем домой.

– Куда домой?

– В Россию, куда же еще. Здесь же невозможно жить.

– Между прочим, мы граждане Украины, и уже давно.

– Ну, поехали тогда на Украину.

– В Украину.

– В Украину.

– О чем ты говоришь? Иннокентию скоро 18, его сразу же заберут в армию.

– Ну и что, в армии – весело, к тому же это только на два года.

– Армия искалечит его.

– Уж, скорее, он искалечит армию.

– К тому же, нам некуда возвращаться.

– То есть?

– Нам негде там жить.

– Ну, купим что-нибудь, какую-нибудь квартиру.

– На какие шиши?

– На заработанные деньги.

– У нас все деньги уходят на образование детей.

– Есть пенсионные отчисления, на них можно что угодно, хоть всю твою Украину купить, западную – так уж точно.

– Ешь котлету.

–А кстати, Иннокентий что, разве еще не образовался?

– Он – в 12-м классе, у него впереди – колледж.

– Для него есть колледжи?

– Он не хуже других.

– Не надо меня пугать.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Хочу сказать, что хочется мне кушать.

Но аппетита особого не было. После двух рюмок водки Денисов отяжелел и едва ковырял котлету вилкой. В зале дети и Зинаида смотрели по ТВ фильм, в котором главный герой Боб оглушительно и протяжно пукал, а его друг Роб подносил в это время к его анусу горящую спичку. Раздавался взрыв, и мощная огненная струя сметала со своего пути наркотрафикантов, похитивших полногрудую красавицу – дочь президента. Те, кто не сгорали в огне, задыхались от зловония. «Похоже на драму», – подумал Денисов и прошел к себе в спальню. Из-под кровати он вытащил большую картонную коробку, в которой хранились старые, в основном черно-белые, фотографии. Денисов не мог и вспомнить, когда в последний раз открывал коробку. Вывалив фотографии на кровать, он лег рядом и стал их рассматривать в свете прикроватной лампы. На многих был запечатлен улыбающийся парень с веселыми, немного насмешливыми глазами. Он стоял под громадными пропеллерами толстых самолетов в окружении одетых, как и он, в летную форму молодых парней. За самолетами были видны то горы, то моря, то пустыни. С обоженным смеющимся лицом он смотрел

в камеру, обняв за плечи чернокожих и тоже веселых парней с автоматами Калашникова. В пятнистой одежде, в высоких пыльных ботинках, он улыбался с вершины гигантского термитника, не обращая внимания на надменного верблюда, стоящего рядом. На самолетной стоянке, на которой замерли венценосные журавли, он не обращал внимания на большого и грузного черного диктатора, с любопытством осматривающего крылатую машину гораздо тяжелее воздуха. На залитой солнцем площади, под плакатом с кофейного цвета Лениным он смеялся на фоне солдат, марширующих перед троном, на котором сидел маленький и худой темнокожий цареубийца.

Денисов собрал фотографии и засунул их обратно в коробку. «Это, конечно, не я, и нечего в эту коробку вообще лезть». Он вернулся в зал. «Метанмэн» уже стоял с освобожденной им красавицей под реющим над ним американским флагом и под волнующую музыку получал от прослезившегося президента медаль «За оборону американского образа жизни». «Всем спокойной ночи», – сказал Денисов.

Спокойной ночи не получилось. До рассвета Денисов ворочался с боку на бок, терзаемый сомнениями. «Боже мой, думал он, до чего я дошел? И как я до этого дошел? Я повторил, только на другом языке, тысячи, десятки тысяч чужих речей, многие из которых были очень даже мудрыми и глубокими и произносились людьми недюжинного ума, и ровным счетом ничего не запомнил! Хоть бы что-нибудь вспомнить дельное, чтобы сказать собственной семье! Но я ничего не помню! Да, правда то, что у синхронистов память чрезвычайно короткая, на 3-4 слова, а потом и эти слова забываются, чтобы можно было перевести и повторить следующие несколько слов. Долго помнить просто нельзя: память уничтожается мозгом для самосохранения, иначе короткое замыкание... Это, в принципе, понятно, но что-то происходит и с долгосрочной памятью! Я вот с трудом припоминаю этого молодого человека на фотографиях... Хотя, собственно, кому он нужен, но все же... Эта странная профессия, которая когда-то была одной из главных туристических достопримечательностей в ООН и сейчас никому не нужна, съела не только мою память, но и всю мою жизнь. Стараясь стать невидимым («в условиях полного анонимата»), чтобы сделать максимально естественным общение людей, говорящих на разных языках, я просто перестал существовать. Меня нет даже для самых близких людей! Но что же делать, что делать теперь, когда я понял это? Как-то надо вернуть себя... Завтра же, завтра нужно хорошо, по душам, поговорить с Зинаидой, детишкам принести хороших книг – Марка Твена, Стивенсона, Эдгара По, Киплинга, может, показать им те же старые фотографии...»

Утром Денисов встал совершенно измученный. Сказав Зинаиде, что с утра не работает, он развез детей по школам. Дождавшись, когда на работу придет секретарша, Денисов позвонил ей и сказал, что ему не здоровится. И действительно: стоило ему положить трубку, как позвонил врач, у которого Денисов несколько дней назад проходил медосмотр. «У Вас запредельный холестерин, – сообщил врач. – Вам срочно необходимо принимать меры, вернее лекарства. С таким холестерином в Америке не живут». «Да я и не хочу», – чуть было не ответил Денисов. Закончив разговаривать с доктором, он налил себе еще кофе и стал обдумывать, что сказать Зинаиде и детям. Думать было тяжело, и Денисов решил прилечь. Но на кровати вместо нужных мыслей пришел запоздавший сон...

Проснулся Денисов незадолго до того времени, когда должна была вернуться с работы Зинаида. «Нет, это бесполезно, – смирился Денисов, – нечего морочить голову себе и людям. Да и, собственно, что я могу сказать? Что мне доктор запретил жить в Америке? Нужно смириться с потерей дара речи и собственной личности, работать так, как работал прежде, сверяясь лишь с одним – совестью переводчика, подавая своим пусть бессмысленным, но упорным трудом положительный пример детям, которым такой же труд предстоит в будущем. Нужно всего себя посвятить работе, все подчинить ей. Для этого можно даже делать зарядку по утрам и пить не водку, а лекарства». Выспавшееся лицо Денисова расплылось в улыбке. «Это даже можно оформить официально». Денисов встал и прошел в крохотную комнатку, в которой между вешалкой с висевшими на ней рубашками «для работы», пиджаками и брюками и многочисленными горшками с растениями Зинаиды, едва помещался узкий письменный столик.

Денисов достал из ящика стола чистый лист бумаги, лишь на мгновение задержав взгляд на пожелтевших грамотах, на которых под словами благодарности за выполнение специальных заданий партии и правительства и интернационального долга ехали танки, плыли крейсеры, летели самолеты и ракеты, и, не переставая улыбаться, стал писать:

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, Денисов Виктор Александрович, доверяю г-ну Кофи Анану, Генеральному Секретарю ООН, распоряжаться по своему усмотрению и в интересах организации всеми полагающимися мне правами,

свободами и привилегиями, в том числе, но не ограничиваясь этим: правом на отпуск по уходу от жены и детей, правом на личную (но опять же не ограничиваясь этим) жизнь, личное время и устойчивое развитие, а также правом на достойный труд и устойчивое достоинство.
Прошу также лишить меня свободы слова и собрания.

Подпись

В. А. Денисов,
офицер запаса,
действительный член Национального
географического общества
Дата

Надо отослать это Рустэму по и-мейлу. Пусть поржет. Денисов набрал номер секретарши и сообщил, что чувствует себя гораздо лучше и завтра выходит на работу. Хлопнула входная дверь: пришла Зинаида. Денисов вышел на кухню, которая служила и прихожей. «О, а ты чего здесь?» – удивилась жена. «Заболел». «Я еще вчера заметила, что ты какой-то сам не свой, думала, не заболел ли. Ну, что стряслось-то?» «Сибирская язва, сейчас уже лучше». «Дурак ты, и шутки у тебя дурацкие!» Сердитость Зинаиды, однако, была напускной, Денисов видел на ее лице явное облегчение. Да он и сам чувствовал себя действительно лучше. Отобедав, Денисов вновь сел за письменный стол и раскрыл одну из общих тетрадок, страницы которой были расчерчены вдоль на две половины. В левой колонке он записал в столбик: «не смущай ты мою душу», «чтобы душа развернулась и свернулась», «душу разбередил», «всю душу вымотал», «еле-еле душа в теле», «родственные души», «души прекрасные порывы»... Денисов не услышал, как пришли из школ дети.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ

В это утро Денисов был назначен работать на заседание Генеральной Ассамблеи. Настроение было приподнятое, несмотря на тяжесть в ногах и одышку. «Мое содержание полностью противоречит моей форме. Ничего, ничего, главное – здоровый дух, тело потихоньку поспеет, подтянется». Денисов поравнялся с деревьями, теперь уже знакомыми. «Привет, гингко, привет, чинарик». Он подошел к ступеням, ведшим вниз к первой авеню. Перед ним открылся знакомый вид – Секретариатский коробок, круглый купол здания Генеральной Ассамблеи, разноцветные государственные флаги. С Ист-ривер дул приятный, теплый бриз. «Осенью в Нью-Йорке наступают чудные погоды и общие прения в Генеральной Ассамблее». Денисов вздохнул полной грудью, отчего в ней больно и протяжно заныло. «Это не горе, если болит нога, как пел Высоцкий», – улыбнулся Денисов и пошел вниз. «Это не горе, если болит рука», – прошел он первый пролет, «это не горе, если болит губа» – второй, «это не горе, если болят глаза» – спустился к стеле. Кубинец не пришел, вместо него был пуэрториканец, который не использовал никакой наглядной агитации, а полагался исключительно на свой ораторский дар: он стоял, высоко подняв голову, и потрясая правой рукой, рассказывал ООН о притеснениях, которым подвергается его родной несвободный остров. Говорил он так громко и быстро, что часто уставал и тогда садился передохнуть на пьедестал под стелой, но ненадолго, а чтобы перевести дух и отереть пот, после чего он вновь становился на кромку тротуара лицом к ООН и продолжал выступление. «Ему должен быть положен перевод, – подумал Денисов, – его тоже никто не слушает. Надо с Рустэмом в обеденный перерыв выйти, попереводить: я буду с испанского на русский, а он с русского – на английский. Неполное, конечно, обслуживание, но хоть что-то».

Прежде чем подняться на 3-ий этаж к кабинам Генеральной Ассамблеи, Денисов, как обычно, зашел в кафетерий, чтобы взять кофе с двумя пакетиками коричневого, нерафинированного сахара. Когда он работал в Генассамблее, в офис он не спускался: он любил приходить в кабину пораньше, пока не пришел напарник, сесть слева, откуда было лучше видно оратора, спокойно ознакомиться с повесткой дня, попивая горячий кофе. Приносящий в кабину документы сотрудник непременно отмечал: «The coffee smells good[1]». В 10 часов – время, когда обычно должны начинаться пленарные заседания, пришел председатель, посмотрел на пустой зал и стал ожидать, пока не появится хоть кто-нибудь из записавшихся в список ораторов, чтобы можно было открыть заседание. Председатель был высоким государственным мужем из Финляндии, снискавшим у Денисова глубочайшее уважение своей неизменной пунктуальностью. «Великий человек, подумал Денисов, будь его воля, он начинал бы заседания без единого делегата». Когда-то, по недомыслию, Денисов придумывал шутливые отчеты заседаний, проводимых скандинавом: «В понедельник, 25 октября *** года в Центральных Учреждениях ООН состоялось 12-е пленарное заседание **-ой сессии Генеральной Ассамблеи. Никто

[1] "Кофе приятно пахнет"

из делегатов не выступил». Или: «На 56-м заседании ГА, прошедшем 15-го ноября, был замечен представитель Кирибати. Ему было предоставлено слово». Теперь об этих шуточках Денисов вспоминал с раздражением. В 10:04 пришел напарник-скрипун. «Я был в офисе, тебя там не было», – неодобрительно проскрипел он. «Это потому, что в 10 часов меня там и не должно было быть. В 10 часов нужно быть здесь, на рабочем месте». «Вот», – сказал напарник, которого Денисов явно сбил с заготовленной заранее фразы, и замолк, обдумывая новую ситуацию. Поняв вскоре, что из этого дела ничего путного не получится, он решил вернуться к первоначальному плану. «Ну что, – перешел он на бодрый тон контуженного военрука, – я вижу, ты уже здесь сидишь, чаи гоняешь, может, уже и начнешь?» «Дешевый мир, – подумал Денисов, – мог бы просто взять и попросить меня начать, раз ему уж так надо». «Может, и начну, давай бросим» . Бросили монету, и начинать выпало скрипуну. Финн уже стучал молотком...

Когда Денисов вернулся в кабину через полчаса и сел к микрофону, он застал напарника за сотворением очередного словесного шедевра: «Наши усилия будут направляться на мир и права человека». «И трехразовое питание», – продолжил про себя Денисов. Не давая обычной отмашки, Денисов включил свой микрофон и стал переводить. Напарник сразу же исчез. Вначале Денисову казалось, что его мозг тоже «троит», как и сердце. Но уже через несколько секунд ему стало легко и свободно. Он вошел в свой внутренний ритм, который не мог быть нарушен даже самой бешенной скоростью речи оратора. Его синтаксическая гибкость легко справлялась даже с самыми тяжелыми атрибутивными нагромождениями оригинала. Расположение самой кабины, нависающей над залом, помогало Денисову непринужденно парить над выступающими. Чем быстрее говорили ораторы, тем выше он поднимался, тем больше у него появлялось свободы и времени. Он переводил, слыша каждое слово читающих, бормочущих и кричащих с трибуны делегатов, превратившихся в хоббитов, и слушая самого себя под постепенно убыстряющийся и нарастающий стук «метронома», задававшего ритм его переводу. К своему удивлению и радости Денисов обнаружил, что теперь может одновременно слушать и свои собственные мысли, что никак не мешало ему переводить.

«Это ничего, что в зале нет не только Клиента»,…

– *We find today fewer wars between nations, but more wars within them. Such internal conflicts, often driven by ethnic and religious differences, took 5 million lives in the last decade most of them completely innocent victims.*

– Мы видим сегодня меньше войн между странами, но больше войн внутри самих стран. Эти внутренние конфликты, зачастую вызываемые этническими и религиозными разногласиями, привели к гибели 5 миллионов людей за последнее десятилетие, в большинстве своем, ни в чем не повинных жертв.

«но и вообще никого. Это, в принципе, не имеет»

– *Durant cette dernière décennie plus de 2 millions d'enfants ont été tués dans quelques 150 conflits armés, 6 millions blessées ou handicapés à vie, 15 millions déplacés.*

– В течение последнего десятилетия более 2 миллионов детей было убито в приблизительно 150 вооруженных конфликтах, 6 миллионов получили ранения или стали инвалидами на всю жизнь, 15 миллионов стали перемещенными лицами.

…«никакого значения. Мы, в сущности, переводим вовсе не речи»,…

– *Les autres soldats contemplaient la scène en comparant les notes. Si l'un d'eux estimait que j'avais mieux satisfait un de ses camarades que lui, il m'obligeait à coucher encore avec lui sous l'arbitrage des autres. Il fallait le faire avec sourire sinon j'étais sévèrement punie.*

– Другие солдаты наблюдали за происходящим, обмениваясь впечатлениями. Если один из них считал, что я удовлетворила кого-либо из его товарищей лучше, чем его, он заставлял меня снова спать с ним под внимательным наблюдением остальных. Это нужно было делать с улыбкой, чтобы не быть сурово наказанной.

«предназначенные кого-то в чем-то убедить или переубедить»

Денисову показалось, что зал Ассамблеи изменился, стены его вытянулись и отворились узкими длинными витражами. Маленькие люди поднимались поочередно на возвышение, обращали свои лица к небу и произносили свои слова.

– *Now, I have only 30 seconds. It would be a pity to disperse from this gathering without making a final commitment to saving the Earth.*

– У меня осталось всего лишь 30 секунд. Негоже было бы разъезжаться нам отсюда, не взяв напоследок обязательство уберечь Землю.

«Эти люди просто молятся, а у молитв всегда есть слушатель»…

– *My time at the podium is up, but I pray that the time of my country is not.*
– Время моего выступления кончилось, но я молюсь, чтобы не кончилось время моей страны.
– *Dios bendiga a las naciones. Que Dios nos ilumine a todos.*
– Да благословит Господь все народы. Да освятит всем нам путь наш.
– *...and they shall beat their swords into ploughshares, and their spears into pruning hooks: nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more.*
– ...и перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать.

Люди говорили быстрее, стараясь сказать все, но Денисова это только радовало, он чувствовал себя всесильным. Он никогда не ощущал себя столь счастливым... «Какая прекрасная акустика в этом зале. Как хорошо слышен русский перевод», – подумал он. Вдруг под ним все переменилось: людей стало больше, и все они кричали. Только теперь они кричали все одновременно и озлобленно. Самый маленький из одной группы схватил камень и бросил его в голову свирепому великану. Великан рассыпался на тысячи маленьких детей, которые тут же стали метать камни в своих врагов. Спасаясь от камней, люди бежали к вагонам и набивали их до отказа своими телами. Они не замечали, что вагоны были без окон. Не нашедшие места в вагонах бежали в высокую башню и вскоре выбрасывались из окон верхних этажей, объятые пламенем. «Что такое? Что происходит? Это все из-за меня, я ошибся, я неправильно что-то перевел! Ну, конечно, напарник был прав, единственно правильный перевод – «Наши усилия направляются на мир и права человека»!» Но было уже поздно. Люди метались по залу, но слов больше не было. «Конечно, слова бывают только в начале». В полной тишине звучал лишь стук, который ранее служил метрономом. «Ведь это мое сердце, – подумал Денисов, – это всегда было мое сердце». Витражи рассыпались разноцветными стекляшками, и в открывшиеся дыры стала заползать ночь. Денисов уже плохо видел. Напоследок он все-таки успел посмотреть вниз и увидеть себя, лежащего грудью на консоли и сжимающего рукой горло микрофона...

* * *

«Гоша, а ну быстро слезай со своего интернета, мне позвонить должны!» Зинаида сидела на полу посреди картонных коробок, в которые уже были упакованы вещи, и перевязывала шпагатом стопки книг. «И вообще, я же сказала, от интернета отказаться, что я сама этим басурманам звонить должна? И компьютер нужно упаковывать». «Я сейчас, мама, сейчас, – залебезил Гоша, – я только коды для игр перепишу». «Какие уже теперь игры», – тихо выдохнула Зинаида. «Мама, здесь папе e-mail пришел! Еще неделю назад! Что мне с ним делать?» Зинаида выпустила из руки шпагат, встала и подошла к комнате, в которой стоял компьютер.«От кого?» «От дяди Рустэма. Отпринтить?» «Как хочешь, мне все равно». Гошка раскрыл e-mail:
«Старик, check this out, you gonna love it.

ANOTHER TRAGEDY ON THE EAST RIVER
SIMULTANEOUS INTERPRETATION WITH EXTREME PREJUDICE

January 2, 1998. NEW YORK. UN sound engineer Sean MacLouder, who came this morning to the General Assembly interpreters' booths for a routine equipment check, did not expect to see anything exciting in the cramped, dim, and stuffy cells besides a spectacular, if not altogether breathtaking, view of the GA hall below seating delegations from 189 countries. The spectacle he saw in the Russian interpreters' booth, however, was more hair-raising than breathtaking: in one of the chairs, in front of the microphone that was still on, sat a badly decomposed body of an interpreter.

According to the preliminary information of NY police that have begun an investigation, the cause of death was a heart attack the deceased had at the end of the meeting on 23 December 1997, the last meeting before the break for Christmas and New Year holidays. Judging by the grimace frozen on his face and the deadly grip on the microphone neck, the man was calling for help in his death agony. His death rattle, however, fell on deaf years: from conservations with colleagues of the deceased it has become clear that Russian speaking delegates use mostly English and stopped listening to Russian interpretation long ago.

I am truly sorry for this good, basically, though unsophisticated, Russian chap, remarked a distraught female interpreter from the English booth speaking with a crisp British accent. He would always say «hi» in a friendly manner and prepare for meetings quite thoroughly. What happened was terrible: the poor bugger was trying to get help from the very people he was interpreting for, but alas! no one heard him, or rather listened to

him. Unfortunately, we could not see what was happening because our booths are separated by walls, not by glass, like in other conference rooms. Just thinking of the way he died makes me shudder! And of the way he lived, too, added her colleague with as crisp a British accent.

Whatever the cause, this death highlights once again the painful issue of the status of the Russian language at the UN. "We all must now ponder over what really happened", said Tao Tse Yang, chief of the Department for Conference Services, "was it simply the death of just another Russian interpreter, or was it the demise of one of the official languages of the United Nations?"

Looking forward to your comments (at the usual place, of course).

As to the other thing, I hope you've changed your mind. Anyway, talk to you soon.
Rus.»

Перевод
Старик, прочти тебе должно понравиться:

НОВАЯ ТРАГЕДИЯ В НЕБОСКРЕБЕ НА ГУДЗОНЕ: ПЕРЕВОД СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

НЬЮ-ЙОРК. *2 января 1998 г.*. ООН. Штатный звукооператор Виктор Тихий, проверявший сегодня утром аппаратуру в кабинах для синхронного перевода Генеральной Ассамблеи ООН, не ожидал увидеть что-либо заслуживающее внимания в тесных, плохо освещенных и душных каморках, помимо впечатляющего, но уже ставшего привычным вида, открывающегося из них на расположенный внизу зал для делегаций из 189 стран. Однако от того зрелища, перед которым он предстал в русской кабине, у него буквально волосы встали дыбом: в одном из кресел, перед все еще включенным микрофоном, сидел полуразложившийся труп переводчика.

По предварительной информации, поступившей от нью-йоркской полиции, которая в настоящее время ведет расследование, причиной смерти стал сердечный приступ, наступивший в конце заседания Генеральной Ассамблеи 23 декабря 1997 – последнего перед рождественскими и новогодними праздниками. Судя по застывшей на лице гримасе и мертвой хватке обхвативших микрофон пальцев, несчастный взывал в предсмертную минуту о помощи. Его смертельный хрип, к сожалению, не был, да и не мог быть, услышан: из бесед с коллегами покойного стало ясно, что русскоязычные делегаты пользуются, в основном, английским языком и русский перевод давно уже не слушают.

«Мне, право, искренне жалко этого, в общем-то неплохого, хоть и простого русского парня, – отозвалась все еще не оправившаяся от потрясения переводчица из английской кабины, говорившая с ярко выраженным четким британским акцентом. – Он всегда приветливо здоровался и очень тщательно готовился к заседаниям. Это ужасно: бедолага просил о помощи тех, для кого переводил, но увы, его никто не слышал, вернее, не слушал. Мы же ничего не видели, потому как между нашими кабинами стены, а не стекло, как в других залах. Я содрогаюсь от ужаса, когда пытаюсь представить себе, как он умирал!» – «И как он жил»,– добавила ее коллега с не менее ярко выраженным четким британским акцентом.

По мнению высокопоставленных должностных лиц в Секретариате ООН, инцидент ставит ребром давно наболевший вопрос статуса русского языка в ООН. «Мы должны хорошенько задуматься над тем, что же в действительности произошло, сказал начальник департамента по конференционному обслуживанию Тао Дзе Янг, была ли эта просто смерть еще одного русского переводчика, или кончина одного из официальных языков ООН?»

Предвкушаю твои комментарии (в обычном месте, разумеется).

По поводу нашей последней беседы надеюсь, что ты передумал. В любом случае до скорой встречи.

Рус».

"Weird, – пожал плечами Гошка, but I guess I should print it out, anyway".[1] Он подождал, пока закончится печать, и выключил компьютер. Затем вытащил из принтера распечатанную страницу и прошел в комнату, заставленную коробками и ящиками. На одной из ящиков фломастером было написано: «В. А. Денисов». В нем поверх книг лежали скукожившиеся желтые листья. Гоша опустил вниз страницу и захлопнул крышку.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Синхронному переводчику важно также иметь хороший слух.

Электричка Ривердейл – Гранд Сентрал, Нью-Йорк

1 Странно. Но я все же распечатаю.

Владимир Гандельсман

ЭЛЕГИИ

ЭЛЕГИЯ. ВОПЛОЩЕНИЕ

Меня, со всеми мыслями моими
и чувствами извивчиво живыми,
как червь, как ветвь, как Критский лабиринт,
где нить горит,
меня, вольфрамовой молниеносной нитью
спасённого, прошьёшь какой-то гнитью?

Мою, со всей листвой и хвоей леса,
где пёстрые мелькают гирьки веса,
пощёлкивая, плача, хлопоча,
где, как парча,
вбирает солнце земляничная поляна,
жизнь распылишь, чтоб стала неслиянна

сама с собой, с великолепьем тождеств,
когда в кругу божеств, а не убожеств
я *то*, что предо мной? – Вот чайный куст,
он многоуст
в своём цветении, он кожист, острозубчат,
а вот ночной корабль, дымящ и трубчат.

Я, подходящий к линии прибоя
ступнёю тронуть вещество припоя,
запечатлённый мальчик, птичья кость,
берущий горсть
песка зернистого, текущего меж пальцев,
я буду вычеркнут из постояльцев?

Корабль плывёт, вода черна, Эвксинский
понт, а внутри – мир аурелий склизкий,
и звёзд морских, и пурпурных ежей,
шесть падежей,
три наклонения, глагол, предлог, причастье,
пиши в тетрадь, вот слово есть: запястье.

Ты помнишь ли его, из-под манжета
оно виднеется в загаре лета,
а там любовь и солнечный удар,
а там базар,
пропахший паприкой, колендрой, сельдереем,
а там зима пыл охладит Бореем.

Меня, с моею памятью, столь цепкой,
что если я задуман мёртвой щепкой,
то для чего ноябрь, снег в фонаре,
лиса в норе,
подлунные поля, как простыни льняные
из синьки, и оконца слюдяные?

Так въесться в мир, как в мир себя врезает,
зигзагами, как будто разгрызает
пространство, в снеговую канитель
одевшись, ель, –
всходя, над ярусом надстраивает ярус, –
в два профиля неколебимый Янус!

Так впиться в мир, чтоб он в тоске прицельной,
меня увидев с ясностью предельной,
как я – его, меня не отпустил, –
каков настил! –
дощатый, хвойный, ледяной, морской, небесный,
любой – ты без меня пустой и пресный!

ЭЛЕГИЯ. ПРИШЕСТВИЕ

Он в кухне говорит о чём-то
с женой, он в майке выцветшей
напротив чёрного окна,
я для отчёта
(перед собой) записываю вирши,
едва стряхнув лохмотья сна.

Как будто это кадры фильма,
просмотр, где я единственный,
уставясь в крапчатый экран,
почти насильно
смотрю и вижу: друг мой незабвенный,
вернувшийся из дальних стран, –

ему дана неделя, – бледен,
он ходит, взяв квитанцию,
он должен заплатить за свет, –
блокнот мой – бредень,
которым я вылавливаю танец
(в лохмотьях сна), точнее, след

движений: муж, за ним по кругу
жена, тарелка с трещиной,
на ней кусочек хлеба, нож,
я вижу, другу
нехорошо – очкастый, отрешённый,
он слишком на себя похож,

вот – я могу его потрогать,
когда бы не театр теней,
не странная брезгливость, не
сосновый дёготь
сна, не попятное в нём тяготенье
проснуться, выскочить вовне,

не радость тайная, что это
реальность, что и ты придёшь
когда-нибудь издалека
в такое лето,
где эту ручку и блокнот увидишь
и оживёт твоя строка:

он! до неузнаваемости (в майке,
напротив чёрного), он весь –
мне утешение и страх,
а вот ремарка
пред тем, как опуститься занавесу
и буквам разбрестись впотьмах:

он умер и давно истлел в могиле,
стоит, квитанцию в горсти
зажав, он должен заплатить
за свет, за то ли,
что иногда их отпускают в гости
и можно умереть, но жить.

ЭЛЕГИЯ. ПЛАВАНИЕ

Люблю зашторенные окна, свет не лезет
в глаза, а на столе люблю стихи,
написанные накануне, лепет,
возможно, но люблю их перечесть,
когда захватывает дух на стыке
двух строк: блеснёт находка ли? – бог весть.

А в те часы, когда закончен труд полночный,
люблю сквозь сон разматывать клубок
минувшего, когда, уже неточный,
день гаснет в памяти, но не совсем,
так, улыбнувшись встречному, улыбку,
простившись, всё несёшь – куда? зачем?

Та глуповатость, о которой умный Пушкин
писал в письме, умеет набрести
на свежесть слова, как на запах стружки,
зайдёшь в какой-то двор, а там столяр
орудует рубанком честь по чести, –
люблю живой и благородный дар.

Куда завёл меня мой стих? Я на задворках,
в той мастерской, где строят корабли
игрушечные, где о двух «аврорах»
не слыхивали, только об одной,
шпангоут, рубка, мачта, пота капли
кропят твой лоб и детский профиль твой.

Потом на Каменный поедем, на Крестовский
к веслолюбивым лодочникам, там
по сходням – из-под ног уходят доски –
сойдём и оттолкнёмся, – в путь, пора
взглянуть на шпиль бессмертного эстампа
со стороны, на блещущий с утра.

Люблю точёное скольжение восьмёрок
с глашатаем, сидящем на руле,
изменчивого неба свет и морок,
как в проявителе, дрожит в реке,
кого похитили? – я слышу в гуле
знакомый голос, родственный строке.

Елену? Значит, снаряжайся, Агамемнон,
ты бабьей верности *такой* хлебнёшь,
которая не снилась всем еленам,
ведь ты ещё вернёшься в отчий край...
Но возвращения претит мне ноша,
обратной лодке не бывать, прощай!

В обратном плаванье люблю *другую* лодку,
она прошита памятью моей,
трагедия бесповоротна, кротко
я должен перечислить инвентарь
и на храненье царские покои
стихотворенью сдать, как щедрый царь.

Расшторить окна, но ни сетований сердца,
ни радости не выдать, гладь да тишь,
рассвет сменился днём, а тот рассесться
успел на троне, – *что* мне эта ширь? –
я с равнодушной вежливостью, видишь,
приветствую ухоженный пустырь.

ЭЛЕГИЯ. ПОД ЛИНЗОЙ

Чем долог долгий день? Собой, подробностью,
вниманием, таящимся под робостью.
Как бы под линзой, день – под рассмотрением,
не временем измерен он, а зрением.
И самый краткий, зимний, как с повышенной
температурой, длится, нескончаемый,
дыханья чёрен островок, продышанный
в окне, где человек мелькнёт нечаянный.

Чем долог день? Подробностью мельчайшею,
кота ленивой поступью мягчайшею,
дымком под линзой, солнцем, в конус собранным,
листком календаря, неровно содранным,
уставленностью в точку, взглядом медлящим,
оцепеневшим, впившимся, несведущим,
пред каждой вещью огненно немеющим,
без мысли мыслящим, без веры верящим.

Вечерним вечером ли, утром утренним –
ребёнок в созерцанье целомудренном,
плывёт ангинный жар и свет малиновый –
без чувств горячий, без молитв молитвенный,
он собран в вещество такой материи,
где время, точно мышь, скользнёт и выскользнет...
Потом произрастут волчцы и тернии
и ветер тот дымок под линзой высквозит,

потом взойдёт бесстыдный, расхрабрившийся,
тщеславный человек, сорняк пробившийся,
искусством одержимый и завистливый,
разящий беспощадной правдой вызленной,
а с ним взойдут признанье и увенчанность...
Вот человек, в союз пророков принятый,
забывший, что смиренность и застенчивость
есть высший дар, по слабости отринутый.

ЭЛЕГИЯ. КУЗИНА В 1973 ГОДУ

Весна. Трамваи катятся под горку.
Горнист. В подкорку.
Командирован в Звёздный, я в Москве.
Иду к кузине, чуть поздней – вдове,
потом – бесследно умершей в больнице,
за «Соколом»-метро, не в Ницце.

Останется сын Константин. В подкорку.
Ты помнишь генеральную уборку
и повсеместное мытьё?
Зеленолиственное по ветвям дутьё.
Иду. Однажды в раннем детстве, летом
нас положили спать валетом.

Ночь. В Евпатории янтарной.
Я брат твой, с опозданьем благодарный.
Валетом. То-то я годам
к двенадцати искал в колодах дам.
Пиковых ли, бубновых ли, крестовых,
а более всего – червовых.

Ты козырь дядьки. Университета
студентка. Математик. Ты воспета
в хвастливых монологах. Задран нос.
Он вскоре умер и унёс
гордыню в смерть. О, тётя Доба.
Добрейшая. Любовь всегда – до гроба.

О, гром литавр! О, эта колесница!
Хоронят главного евпаторийца.
Главу горкома. Полдень раскалён.
Колодой он лежит. Не королём.
Горком. Партком. Трудящиеся массы.
Мясопотамия. Умеры. Мясо.

Гроб. Вот бездарности образчик.
Чья мысль ты – положение во ящик?
Весна. Распахновение одежд.
Не оправдавшая надежд,
ведёшь бухгалтерский учёт в конторе.
Но дядьки нет, а то бы горе.

Сластёна, краснобай и щёголь,
он походил на взбитый гоголь-моголь.
Да. В гоголевском смысле. Сахарок
накапливал, пока не вышел срок.
Да. Диабет. Но был он жовиален,
любитель жён чужих и спален.

Весна. Вечерний воздух. Варят трубы.
Трубит горнист, вытягивая губы.
Счастливец не узнал, что дочь сошлась
со сварщиком. Что заварилась связь.
Что закалилась сталь и что со света оба
сживали тётку. Бог мой, тётя Доба!

Пришёл. Звоню. Не открывают дверь мне.
Как много терний!
Чрез них мы рвались к звёздам Константина.
Вы ж зачинали в то мгновенье сына.
Что будет с ним? Как сокол, воспарит
и общий ужас повторит?

Вадим Жук

РОДНАЯ РЕЧЬ. СПЛОШНАЯ ГОРЕЧЬ...

* * *

Узоры иероглифов, латиниц,
арабской вязи,
Кирилла и Мефодия гостинец
и поиск связей
между звучаньем буквы и
её походкой.
Их знают арфы, соловьи,
шмели, трещотки.
Они в гудящих поездах,
где звук — движенье,
и в телеграфных проводах,
в их протяженьи.
Прямая чёрточка и круг,
стрела, квадратец,
где вместе буковка и звук.
Сестра и братец.

10.7.02

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ

У ксенофобии расширилось меню.
Обогатилось, так сказать,
включив Чечню,
всех этих азеров, всех этих черножопых,
всех хачиков. И могут мизантропы
глядеть на жизнь повеселее
по части выбора. Привычному еврею
полегче тоже. Не во всём он виноват.
Накал страстей на пару киловатт
вокруг него ослаб. Он может тоже
пройтись по поводу иной
кавказской рожи,
он говорит по-русски без акцента,
он приведёт ужасные проценты
засилья тех, других... Он водкою и щами
питается. На рынке овощами
не спекулирует. Его почти не видно.
Во-первых — видно.
Во-вторых, понятно, до поры
он запасной игрок большой игры.
А главное, как стыдно-то, как стыдно.

* * *

Державин — вешатель! Вошёл, окинул мельком
По стеночкам избы теснящуюся голь.
— Которые, надысь, буянили с Емелькой?
Всех на глаголь[1] !
Михайло вопрошал: — А где стоять глаголю?[2]
Гаврила отвечал: — Стоять глаголю здесь! —
Повесить — всё одно что отпустить на волю.
Державин вешает. Поблазнило ночесь —
В оконце сквозь слюду заглядывал Гораций.
Подманивал перстом. С чего бы это вдруг?
А может, и не он. Нетрудно обознаться,
Какой он из себя? Опять в окошко стук.
Не Муза ли стучит? Какая, к чёрту, Муза.
На карты звать пришли. Составился банчок.
Отпеть бы дураков... гнёт уголок у туЄза...
— Отпеть бы, говорю.
— Преставился дьячок.
— А батюшка-то жив?
— Оне сейчас в запое.
— Пошёл отсель, холоп!
На хлапа[3] пять рублей...
И карта не идёт, и сердцу беспокойно.
Да, лира тяжела. Но меч потяжелей.
Карающий... Не меч. Петля на самом деле.
Меч — это для стиха, для красного словца.
Прости меня, Господь. Прости меня, Емеля.
И Пушкин в будущем. И баба у крыльца.

* * *

На заброшенном дачном перроне,
На забаву досужей вороне,
Происходит событье большое —
Расставание тела с душою.

И душа веселится, смеётся!
А чего ей ещё остаётся —
Молодой, озорной, беспечальной,

[1] Глаголь — виселица.

[2] См. Ломоносов. “О сомнительном произношении буквы “Г” в российском языке”.

[3] Хлап — карточный валет.

С пустячком-рюкзачком за плечами?
Тело шепчет с надеждой сестричке:
— Может, ты на другой электричке?
Погоди, погоди хоть немножко... —
А душа уже скок на подножку!

Электричка стрелой улетела.
На перроне распластано тело —
Старой тарой, пустой оболочкой,
Черновой перечёркнутой строчкой.

Будет ждать любопытная птичка
Появленья другой электрички.

5 августа 03

* * *

Родная речь. Сплошная горечь
в воде ручья, в кистях рябин.
Достань, достань, Иван Егорыч,
свой самопальный карабин.
Стреляй по суффиксам летящим,
по падежам, по временам,
грядущим, прошлым, настоящим,
доставшимся в наследство нам.
Опустошив пороховницу,
падёшь ничком, восплачешь ты,
сжимая в кулаке синицу
своей внезапной немоты.
Но после погребальной требы
расправит плечи мурава
и будут подниматься к небу
ещё небывшие слова.

* * *

Мы от сердца посмеёмся над твоим передовым,
Мы впряжёмся, напряжёмся, ухнем звуком горловым.
Да бухнём, да снова ухнем, мать родную продадим,
И от голода опухнем, но ни пяди не сдадим.
Уж такие мы простые – воевать, да наливать,
Так от батюшки Батыя нам привычно вековать.
Не ходи ты к нам с аршином, не учи нас сеять рожь.
И духовные вершины глазом умственным не трожь.

* * *

Я научу вас Родину любить!
Пожалуйста. Но что вы так кричите?
И даже вроде, собрались нас бить.
Вы, в самом деле, лучше научите.

Ей, Родине-то, без любви легко ль?
А мы любить, как надо, не умеем.
У нас одно – футбол и алкоголь.
Чего ещё, чтоб не соврать? Пельмени.
Мы – сесть и выпить - встать - и закурить.
Ещё есть Машка, или там, Наташка.
И вся любовь. Чего же нас корить?
Да мы готовы! Хоть и по отмашке.

За независимость её – горой!
Да хоть на пулемёт в одном ботинке!!
За новый, но уже гуманный строй!
За все её осинки и травинки!

Так не кричите, дяденька, на нас,
Тихонько вместе с нами помолчите.
Попробуем? Учитель входит в класс.
Мы вам внимаем. Вот и научите.

Всякого насмотрелись.
Что нам ещё желать?
Солнышко светит – прелесть!
Дождик идёт? Плевать.

С этим-то делом не худо?
В смысле, ботинки не жмут?
Я так считаю – чудо,
Что, вообще, мы тут.

Сам посчитай для смеха,
Как стало весело жить:
Пять раз на метро проехать,
Или бутылку купить?

А мы без метро обойдёмся,
Гори оно синим огнём.
А мы по центру пройдёмся,
Да за угол повернём.

В Божьем окажемся храме,
Зря, что ли, носим крест?
Все тут схожие с нами
Жители этих мест.

Вот и помолимся снова
На золочёный киот:
– Дай мне, Господь, второго.
И первого. И компот.

Инна Мельницкая

КАК ЭТО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

ВОСПОМИНАНИЯ О ДАНИЛОВКЕ

(Наверное, мне года четыре)

Это самое давнее мое сочинение, которое я ещё помню. Не буду врать, что я помнила его всю жизнь: просто оно случайно сохранилось у Яночки – дорогого мне человека, папиной воспитанницы, детдомовки, коммунарки – той, которая обмыла папу, когда он умер, обернула его рядном в красную шашечку, а потом увела меня с собой – и, может быть, сохранила мне жизнь. А ещё – сберегла листочек с этими корявыми печатными буквами:

В Даниловке перепела
Перекликаются так звонко!
В Большом Садку визжит пила
Пронзительно и тонко,
Хромой Васыль телят пасёт,
А дед Хома сома несёт!

(Истинная правда: красноносый дед Хома умудрился поймать сома, который терроризировал всю деревню тем, что бессовестно таскал зазевавшихся уток. Навсегда запомнилось, как злодея на палке волокли по улице, и хвост чудовища волочился по земле.)

А следующий шедевр я помнила сама – и как было его не запомнить: ведь это было мое первое публичное выступление!

ПЕСНЯ О ПОЛЯРНИКАХ

Мелодия – правой рукой! – автора; аккомпанемент – левая рука! – Зои Абрамовны Архон, красивой учительницы, преподававшей в школе ритмику и пение и утверждавшей, что автору непременно предстоит стать гениальным поэтом и композитором. Увы – errare humanum est! Приходится с прискорбием признать: ни в одной вышеупомянутых ипостасей вышеупомянутый гений не состоялся!

Итак:

В море на скале высокой
Ярко светится маяк.
Зол, коварен враг далекий –
Береги страну, моряк!
Над морем, холодным и льдистым,
Советских прожекторов свет!
Героям учёным, герою радисту
Лети, мой горячий привет!

Дальше было ещё что-то, в такой же мере гениальное – по-моему, куплета два, и всё это было исполнено тонким голосом на утреннике, после чего автор был делегирован встречать папанинцев на площади Розы Люксембург с тем, чтобы лично вручить Папанину своё гениальное творение, свёрнутое трубочкой и перевязанное ленточкой (цвет ленточки в памяти не сохранился). Герои ехали в открытых машинах по улице Свердлова, через мост, мимо центрального универмага; автора, трепещущего от важности момента, держала на всякий случай за руку классная руководительница – и тут случился непредвиденный конфуз. Оба – и поэт, и учёный – оказались ростом несколько несоразмерны величию своей миссии: один никак не мог допрыгнуть, другой, наклонившись с ползущей на первой скорости машины, никак не мог дотянуться до подарка, и торжественное вручение так и не состоялось бы, если бы не какой-то вынырнувший из толпы мужчина, который, подхватив под мышки, поднял автора на надлежащую высоту и тем спас положение.

Несколько позже, уже в зрелом восьмилетнем возрасте, автор каким-то образом удостоился чести быть напечатанным в «Пионерской правде» – только что именно тогда увидело свет в этом почтенном издании, память не сохранила. Помнится только, что после этого на имя юного дарования из Москвы

пришло письмо от какой-то организации по работе с особо одарёнными детьми. Помнится, что конверт был красивый, но как долго потом продолжалась переписка, и в чём она заключалась – ей-богу, не помню. И вообще, из творческой деятельности этого периода почему-то запомнились только мелкие пасквили, которые автору заказывали на своих одноклассников и – что греха таить – на своих учителей старшая сестра автора Муся и её подружки Люся Дьякова и Ира Порфирьева. Это было нечто вроде «Арвид Буданский – жираф африканский».

Или:

Сёмка Геллер – что пропеллер,
Вся их разница лишь в том,
Что пропеллер улетает,
А Семёна вызывает
И сурово распекает
То директор, то учком.

Ну, и другие, тому подобные шедевры.

Кстати, Арвид был высокий и красивый не то латыш, не то поляк, по которому сохли почти все девчонки Мусиного класса, а Сёмка, по которому сохла одна Люся, был небольшого росточка, кудрявый, русый и отчаянно шустрый – за что, естественно, и распекали.

Вот, пожалуй, и всё, что можно рассказать об этом периоде. А что касается вроде бы не детского слова «распекает», так следует принять во внимание, что в моём одиноком, безнадзорном детстве я читала без разбора всё, до чего могла дотянуться в Муськином шкафчике и в папиных бездонных книжных шкафах. Стоит ли удивляться, что мне попадались даже такие слова, как, скажем, «трансцедентальный»? Не очень понятно, конечно, – но зато как красиво!

Дальше, к сожалению, следует большой, ничем не восполнимый пробел. Это совсем не значит, что я на какое-то время перестала сочинять стихи. Совсем наоборот! Правда, и Муся, и Люся Дьякова к тому времени уже окончили нашу милую «двадцать первую» (я до сих пор уверена, что лучшей школы в мире не было и нет), и у меня не стало больше заказов на зловредные частушки. Нас, мелюзгу, перевели в другую школу. Мы несколько подросли, и некоторые мальчишки в нашем классе даже стали носить настоящие длинные брюки. И стихи начали сочиняться совсем другие. Во-первых, на стенке класса появилась классная газета. Рисовал газету Вадька Уваров (у него, между прочим, отец был художником – только он куда-то делся), и в каждом номере газеты обязательно появлялись мои свежие стихи. Я их не сохраняла; они уходили с каждой состарившейся газетой, когда вешали новую. Мне тогда и в голову не приходило, что когда-нибудь я о них пожалею. Стихи сыпались из меня как горох – так чего, спрашивается, их жалеть?

Вот тогда вошла в мою жизнь Надежда Владимировна Держирукова. Надежда Владимировна преподавала у нас русский язык и литературу. Небольшая, смуглая, с горячими карими глазами в глубоких, тёмных глазницах, она как-то мило, мягко картавила и совсем необычно преподавала. Весь фокус заключался в том, что она, в общем-то, не навязывала нам ГОТОВЫХ знаний – ну разве что такие обязательные, как, скажем, «правило девятки».[1] Знание человеческое безгранично, и раз процесс познания бесконечен и безостановочен, за ним все равно не угонишься. Поэтому она прежде всего учила нас думать! Вызывая к доске, она не требовала, чтобы мы пересказывали то, что написано в учебнике: её интересовало, КАК ТЫ ОТНОСИШЬСЯ К ТОМУ, ЧТО ТАМ НАПИСАНО. Конечно, случалось, что отвечающий нёс дикую ахинею – любую ахинею она выслушивала внимательно и уважительно, но ты обязан был убедительно обосновать своё мнение.

Периодически у нас бывали контрольные – диктанты, пересказы, сочинения или контрольные упражнения на употребление НЕ и НИ, чередование гласных и тому подобное. Я, как правило, в этом не участвовала. Мне Надежда Владимировна строго говорила: «А ты садись на заднюю парту и пиши стихи». Я повиновалась. Урок заканчивался, звенел звонок, все сдавали свои работы, и я вместе со всеми сдавала свой листок с очередным творением – и самым удивительным было то, что никто этому не удивлялся. На следующем уроке обычно шёл разбор ошибок; иногда при этом Надежда Владимировна читала классу мои стихи, иногда её просили об этом ребята. Почему-то мне и в голову не приходило попросить своё детище обратно: я просто сдавала их, как обычную контрольную – и у меня ничего не оставалось. Наверное, Надежда Владимировна сохраняла их, и, наверное, если бы она не умерла от голодной «ленинградской гипертонии», передо мной сейчас лежала бы целая пачка тех «контрольных экспромтов», тех наивных откровений, которыми я, по сути, была обязана ей.

[1] Согласно «правилу девятки» в украинском языке, в заимствованных именах нарицательных звук [і] языка-источника между одной из девяти согласных (отсюда название) – д, т, з, с, ц, ж, ш, ч, р — и буквой, означающей согласный звук, кроме й, передаётся в произношении украинским звуком [ɪ], а на письме буквой и (звук, близкий к русскому ы, но не совпадающий с ним). После остальных согласных звук [і] передаётся звуком [і] и записывается буквой і. – (Прим. ред.)

Но нет больше моей любимой учительницы, и всё, что у меня осталось в памяти, – это начало последней экзаменационной работы – сочинения на вольную тему «Люблю я пышное природы увяданье…»

Нежный пурпур заката залил облака,
Свет вечерний, скользя, догорает…
Посмотри: всюду осени щедрой рука
Золотую листву рассыпает.
Под широкою, мягкою кистью луча
Небосклон весь пылает румянцем,
И деревьев листва словно жар горяча,
Загораясь осенним багрянцем…

Этими строчками встретила меня на пороге Надежда Владимировна, когда я вернулась в Харьков, этими строчками – в память о ней – я закончу этот коротенький, немудрёный рассказ о том, как когда-то, давным-давно, мне случилось заглянуть в Зазеркалье.

…И ДРУГИЕ МОИ УЧИТЕЛЯ И УЧИТЕЛИ

Моей первой школьной учительницей была Мария Павловна Чмелёва. Наверное, она была хорошей учительницей: плохих учителей в замечательной (на полном серьёзе!) школе «Металлист» просто не могло быть. Но на меня она в первый же день произвела гнетущее впечатление – и это ощущение сохранилось надолго. Во-первых, она была ужасно большая, ужасно громоздкая – а я, когда нас выстраивали по росту, была самой последней в нашем нулёвочном классе. У неё был большой, мясистый нос, весь в чёрную крапинку – я такого никогда не видела! Голос у неё был тоже большой, какой-то толстый и громкий, и вообще её было очень много – и когда ВСЁ ЭТО вваливалось в класс, мне хотелось съёжиться до размеров самого мелкого насекомого – не от страха, нет – а от чувства НЕСОРАЗМЕРНОСТИ и НЕСОВМЕСТИМОСТИ. Я и так чувствовала себя не в своей тарелке: с самого начала учебного года я болела и пришла в класс, когда все уже пообвыкли и перезнакомились друг с другом и со школьными правилами, а для меня всё было внове, непривычно и неуютно. Школа, коридорами которой я привычно бродила до того, вдруг обернулась для меня новой – незнаемой! – стороной.

Ещё одним, что меня озадачивало, была проблема НЕСОВПАДЕНИЯ в языке. Я уже знала, что в принципе языки бывают разные: у папы было много книг на разных языках – но то были языки иноСТРАННЫЕ – на них говорили в других странах! Там были другие буквы, другие, непохожие слова. Мне просто не приходило в голову, что у нас, в ОДНОЙ стране, могут жить разные языки. Почему-то у нас с папой никогда не возникало разговора об этом, и я считала, что просто каждый говорит как-то по-своему: кто шепелявит, кто картавит, кто немножко другими словами, как тётя Настя в Даниловке – но всё понятно, и я так могу. А вот в папиных книжках, напечатанных НАШИМИ буквами, – там язык был вроде бы немножко другой, в моём представлении одинаковый для всех, и я считала, что ПИСАТЬ надо, как пишут взрослые: именно этим языком – всё равно, печатными буквами или письменными. Словом, говори, как привык, а пиши, как в книжках.

И вот тут я потерпела крах. Не помню точно, как это было: то ли Мария Павловна продиктовала нам эти роковые строчки, то ли написала на доске – так или иначе, у неё это выглядело так:

Дзичить бджола. Дзюрчить вода.

Я удивилась. Мне даже стало неловко: такая большая, а не знает, как это должно быть НАПИСАНО! И старательно – я же грамотная девочка, много книг читала! – вывела:

Жужжит пчела. Журчит вода.

Правда, меня немножко беспокоило, как она это воспримет – не обидится ли? Но случилось неожиданное. Она собрала наши тетрадки, унесла их домой для проверки, а на следующий день принесла и раздала нам. В моей тетрадке крупным почерком, красными чернилами было выведено: НЕЗАДОВІЛЬНО!

Я спросила соседку по парте, что это значит. Соседка сказала. Если бы вы знали, как мне стало НЕСПРАВЕДЛИВО! И как я была счастлива, когда через неделю снова заболела: значит, можно будет долго не ходить в эту окаянную нулёвку! И папа понял: он всегда рано или поздно всё понимал правильно. И мы решили: ладно, пусть я пойду на следующий год прямо в первый класс – всё равно я ещё буду маленькая!

Правда, в первом классе я опять почему-то попала к Марии Павловне. Радости в этом было мало: первое впечатление не остывало.

Мария Павловна жила рядом со школой, в полуподвальном помещении. Насколько мне помнится, на окнах почему-то не было занавесок – или, может быть, были, только она их днём не задёргивала, но мне никогда не хотелось заглянуть: мне казалось, что там вся мебель, все предметы домашнего обихода должны быть такими же громоздкими и некрасивыми, как она сама.

Наверное, я несправедлива к ней, но я до сих пор

ничего не могу с собой поделать.

Следующая моя учительница, Мария Ивановна Бисова, наоборот, была вся сдобная, вся в улыбках, и голос у неё был сладкий, и помнится она почему-то в коротком красном сарафанчике, с голыми, очень белыми, очень сдобными руками и плечами. На переменках она обязательно обнимала кого-нибудь из ребят за плечи и так, очень назидательно, гуляла с ним (или с ней) по залу.

Больше – в тот период – она не запомнилась ничем. Может быть, потому, что в учёбе в тот год я не узнала ничего нового. Читать и писать я уже умела, считать, в пределах требуемого по программе, – тоже, а борьба с кляксами мне представлялась выше моих сил.

Всё интересное, новое, начиналось потом.

КУРІПОНЬКА

Потом два языка раскладываются на разные полочки, и к нам приходит худенькая, хрупкая, вся какая-то востренькая, близорукая Надія Семенівна. Она приходит преподавать нам «мову». Мне кажется, это слово круглое и коричневое – и ей не идёт, потому что она тоненькая и прямая, как часовая стрелка или большое «і з крапкою». У неё острые коготки, которыми она то и дело почёсывает завитую русую головку, прицельно прищуренные близорукие карие глаза и тонкие, высокие каблучки. Вслед за ней в класс, неведомо как и откуда, проникает и намертво приклеивается меткая кличка – Куріпонька. И походка у неё такая: ходит она мелкими, чёткими шажками, дробно, мелко цокая острыми каблучками – «дріботить»! И голос у нее тоже кажется острым и каким-то ломким, и слова чёткие, как стук каблучков.

К тому времени я уже свободно, незаметно для себя, перемещалась из одного языка в другой и с одинаковой лёгкостью читала Трублаини и Гайдара, Копыленко и Фраермана, и книги их были, пожалуй, равно любимы. Может быть, именно поэтому, хотя в памяти не тускнеет образ самой Курипоньки – голос её, внешность, жесты и мимика, но содержание её уроков стёрлось начисто – наверное, нового для меня в них было мало. Остались только магическое заклинание правила девятки: «де ти, цуцик, зуби скалив, жупан чорний, шапка рвана» – и ещё почему-то «де ти з'їси цю чашу жиру».

Запомнился, правда, один обидный эпизод. Куріпочка вызвала меня читать «Сломіхінський бій». Как сейчас помню: отрывок начинался на левой странице «Читанки», под картинкой, изображающей атаку конницы. Читала я вроде бы хорошо, меня даже настоятельно агитировали в драмкружок, так что я встала и уверенно, с выражением, прочла: «Гармати ревінням вкривали місцевість».

– Сідай, – оборвала меня Куріпочка. – Незадовільно!

Я в полном недоумении села.

До сих пор не могу простить окаянным лек-сикографам этой обиды. Дело в том, что в украинс-ком языке когда-то существовало два варианта звука Г, и было для них две буквы: просто Г и Г с чубчиком на конце перекладинки. Последняя произносилась гортанно и твёрдо, как в русском языке, и встречалась в немногих словах – например, в слове *ганок* [1]. Потом, за малой надобностью, «Г с чубчиком» исчезла с книжных страниц, но еще позже ревнители национальной старины восстановили её в правах, но не восстановили в алфавите. Честно говоря, я по сей день не знаю, как надо читать эту злосчастную букву в слове «гармата» – «с чубчиком» или без, за что и схлопотала тогда двойку. Сами судите – где справедливость? Писали бы уже эту злосчастную кучку слов с чубчиком, если уж так это им важно – или читали бы эту чёртову букву везде одинаково! А так это было одно расстройство. И, как в тот раз, горькая обида.

ВАЛЕНТОН И ЭГМОНТ

Почему-то большинство учителей в младших классах обычно женского пола – наверное, потому, что на этом этапе учительница ещё в какой-то мере и мамозаменительница. Наша школа не была исключением из общего правила. Но из всех учительниц мы особенно любили свою учительницу пения и ритмики, Зою Абрамовну Архон,. Во-первых, в ней всё было красиво: тёмные, горячие глаза, мягкий грудной голос и необычная фамилия. Во-вторых, нам, непоседливой мелюзге, после долгого сидения за партой было так славно под веселую музыку ходить по сияющему паркету и что-то ритмически изображать, дружно скандируя: «Ой, був собі журавель та й журавочка, накосили сінця повні ясельця...» И вдруг Зоя Абрамовна куда-то делась, и вместо неё, совсем неожиданно, появился совсем необычный учитель – молодой, подчёркнуто прямой, подчёркнуто аккуратный, весь какой-то длинный и узкий – узкие, длинные кисти рук, длинные, тонкие пальцы, узкие, длинные носки до блеска начищенных туфель – и при всём при этом неожиданный, сногсшибательный аромат духов! Звали нового учителя Валентин Алек-

[1] Ганок (укр.) – крыльцо, крылечко. – (Прим. ред.)

сандрович, но мы между собой прозвали его Валентоном, потому что в нагрудном кармане пиджака он всегда носил металлическую штучку, которую в первый же день показал нам, сказав, что называется она КамерТОН. Если камертон побеспокоить, он издаёт долгий, чистый звук. Валентон сообщил нам, что эта штука показывает певцу, в какой тональности он должен петь. Мы тогда не очень это поняли, но штучку зауважали и Валентина назвали Валентоном. Запах духов висел в воздухе долго, как звук камертона: если вдруг в коридоре возникал нежный аромат, дежурный оповещал нас: «Тихо! По местам! Валентон идёт!» И если где-то, в совсем неожиданном месте ноздри вдруг щекотал восхитительный запах – можешь быть уверен: тут недавно прошёл Валентон.

Не могу сказать, что он нам сразу понравился, но, безусловно, необычностью своей он как-то озадачивал и возбуждал интерес. И уроки его с самого начала были необычны. Помнится, в первый же день он повёл нас в зал, усадил вокруг рояля и сказал: «Вот представьте себе, что вам пришло письмо на испанском языке – вы его поймёте? Нет? А на немецком? Тоже нет?» И тут правильная девочка Туся Сливинская сказала: «А я попробую со словарём». «А без словаря никак?» Тут уже и Туся замотала головой.

И тогда Валентон торжествующе заявил: «А я вам докажу, что есть язык, которому не нужны никакие словари – надо только научиться его понимать. Это язык музыки – и сейчас мы попробуем».

Он сел к роялю, поднял крышку и бросил тонкие, белые кисти рук на настороженные клавиши – словно растолкал рояль и скомандовал ему: «Проснись!» Весёлые, дерзкие пальцы бойко пробежали по клавишам – вверх, направо – и рояль радостно откликнулся, как будто он долго ждал, чтобы кто-то обратил на него внимание. Звонкие, хрустальные звуки торопливо посыпались на нас; всё настойчивее, решительнее – ребята заулыбались и заёрзали. Валентон бросил на клавиатуру прощальный аккорд – и запрокинул победную голову: ну что? Что говорит вам композитор?

– Задаётся! – неожиданно для всех, а может и для самого себя, брякнул Рыкун – Вовка Рыкуненко. Класс взорвался хохотом, а Валентон, отсмеявшись, серьёзно сказал:

– А что, – пожалуй, ты прав.

И мы с удивлением мысленно с ним согласились.

А потом Валентон, нахмурясь, предлагает нам что-то совсем другое: густые, мощные аккорды, как штормовые волны, смывают недавнюю смешливую беспечность, и вдруг, непростительно невежливо перебивая музыку, Вовка Пасика, побледнев, выкрикивает непривычное, взрослое слово:

–Это ГНЕВ!

И я, холодея, понимаю,что вот сейчас, этим уроком, этой музыкой Валентон вдруг поднял нас на какую-то новую ступень – мы как-то повзрослели, что ли? И Вовка Пасика, и несуразный Рыкун, и все мы стали как будто другими.

Нет, своим, домашним Валентон для нас так и не стал: он как будто пришел к нам посланцем из другого мира. Всё, что он говорил, было ново, непривычно – и ни от кого из наших учителей так не пахло!

Он научил нас читать нотную грамоту; от него мы узнали, что оказывается, одну мелодию можно разложить на два и даже на три голоса, и эта операция называется словом нарядным, как сам Валентон: мелодию можно ТРАНСПОНИРОВАТЬ. А грузины, говорят, умудряются расщеплять её чуть ли не на восемь голосов. Уму непостижимо! У Зои Абрамовны мы просто дружно пели в один голос – это, оказывается, называлось В УНИСОН – а мы и не знали! А вот пришелец Валентон рассортировал и разделил нас – ой, какой я при этом пережила перепуг! Однажды спели мы довольно скучно бетховенского «Сурка» под аккомпанемент рояля, а потом Валентон встал и сказал: «А теперь ещё раз, только сами, без меня». И мы послушно снова заныли про этого неотвязного сурка, которому за его настырность ещё и обед перепадает. Надо вам сказать, что сидели мы лицом к роялю, этакой подковой, и мне досталось сидеть как раз посередине. Ну, сижу, и подвываю, как велено, – и вдруг Валентон хватает меня за плечо, жёстко так, и тащит куда-то вон из подковы. Я онемела от испуга – за что? Чем я успела проштрафиться? Дотащил до левого края и плюхнул на свободный стул рядом с Линкой Черниной: «Тут будешь сидеть!» Господи, за что? «Будете петь партию первого голоса». С этого дня мы с Линкой «держали левый край»

Музыка всегда жила у нас в доме, но то, как солнечный Моцарт написал свой «Реквием», как глухой Бетховен слышал свою бессмертную музыку, как создал он «Эгмонта» – того самого, в котором Вовка Пасика на первом уроке услышал раскаты гнева, как в честь Наполеона породил – а потом в гневе переименовал – свою «Героическую симфонию» – всё это открыл нам пришелец из другого мира, Валентин Александрович Теплов, по прозвищу Валентон. Открыл – и удалился, так же неожиданно, как возник, оставив в памяти нашей долгий звук камертона и запах духов.

Если я не ошибаюсь, потом, через много лет, он был ректором Харьковской консерватории.

ПАРОХОД ИДЁТ В КОЛОМБО

В расписании появляется новый предмет и с ним фамилия нового учителя. Что такое география, я уже знаю: это про разные страны – что там растёт, кто там живёт и вообще как там. И что про них нарисовано на картах. У Муськи уже была одна география – их, оказывается, две: одна физическая (это та, которая у Муськи была), а другая экономическая – это которую папа преподает, она у Муськи ещё будет. Интересно, какая будет у нас? Наверное, та, что у Муськи уже была – но почему она физическая? Физика – это же про всякое там электричество, а Муська говорит и даже на карте показывает, что это про всякие горы, реки и моря. Я уже знаю: горы на карте коричневым, море и речки, и всякие там озёра – всё мокрое – нарисованы синим. Посмотрим, что будет у нас!

Со звонком в дверях появляется большой белый рулон – я понимаю: это карта! – а с ним невысокая, уютная женщина в пенсне. Тёмно-русые, с проседью, вьющиеся волосы её стянуты узлом на затылке, глаза улыбчиво прищурены – от этого хочется улыбнуться ей навстречу. Я оглядываюсь на остальных: мне кажется, они чувствуют то же, что и я.

– Ну, здравствуйте, – говорит она нам, – меня зовут Зоя Николаевна. Мы с вами будем учить географию. Это наука о нашей земле.

Она не сказала «**я** буду **вас** учить» – она сказала «**мы будем» –** и мы согласно ей киваем. Она обводит класс глазами и говорит:

– Кто тут у вас самый большой? Мне бы карту повесить, а то я не достану.

И тут происходит невероятное: со своего места поднимается дылда Рыкуненко, по прозвищу Рыкун, самый длинный, самый тупой и самый хулиганистый из всего класса второгодник. Зоя Николаевна протягивает ему рулон. Рыкун принимает его с некоторым недоверием, но Зоя Николаевна говорит ему: «Пожалуйста!» Рыкун оглядывается на нас с ослепительной гордостью и старательно цепляет карту поверх доски.

– Вот спасибо, – говорит ему учительница, – выручил! Садись.

Похоже, Рыкун немножко разочарован. Кажется, скажи она ему «выпрыгни в окно», он выпрыгнет! Он что угодно готов сейчас сделать, но ему сказано «садись!» – и он садится. И всем почему-то приятно.

С этого урока у нас начинается новая жизнь – новая жизнь на нашей земле! И какая она у нас, оказывается, красавица, эта наша земля! И какая разная! Вот: зона пустынь, зона субтропиков – и зона тундры! И сколько ещё разных зон! И реки, текущие на юг, – и реки, текущие на север, и море Чёрное – и море Белое, и сколько разных ещё морей, а главное – сколько замечательных людей, которые всё это открыли для нас! И потом – сколько, наверное, ещё где-то пока не открытого, что – может быть! – достанется нам открывать! Можете себе представить остров Рыкуненко или пролив Клавы Чёрной – или что-нибудь моего имени? Ну, пусть не остров, не пролив, пусть хотя бы какая-нибудь бухта, озеро или горный хребет?

По-моему, мы все заболели географией. И это было прекрасно. Как там сказал поэт: «Мама, ваш сын прекрасно болен!» Правда, он вроде бы не это имел в виду…

Зоя Николаевна дала нам целый список книг – нет, не обязательных! Читай что хочешь, а потом обменяемся впечатлениями. Она понимала, что обязательное почему-то обычно не очень хочется читать, а так – кто больше! А какие книги!..

Выяснилось, что для того, чтобы стать путешественником, надо очень-очень много знать. И готовиться надо начинать прямо сейчас. Перво-наперво надо научиться читать карту. Там, где значится название карты, буквами поменьше обозначен её масштаб. Чем он меньше, тем карта подробнее. Надо тебе узнать расстояние от пункта А до пункта Б – возьми линейку и померяй, а полученное умножь на масштаб. А вот если дорога не прямая или, скажем, тебе предстоит плыть по извилистой реке – как быть? Как измерить расстояние? Ага, не знаете? А нам Зоя Николаевна принесла такое зубчатое колёсико с ручкой – называется курвиметр; вот этим колёсиком можно измерить самую извилистую дорогу. Это я только к примеру – а сколько ещё всяких премудростей надо знать, чтобы стать настоящим путешественником! Поэтому в клубе юных путешественников нам лентяи не нужны! А вот после зимних каникул – или каникулов? – нас ожидает какой-то географический сюрприз. Какой?

За время каникул я просто распухаю от впечатлений: «Дерсу Узала» и «Колхида», «Кара-Бугаз» и «Мещёрская сторона», и ещё, и ещё что-то… Папа смотрит на меня с интересом, но ничего не говорит. И вот каникулы кончаются.

В первый день занятий география у нас на последнем уроке. Все уроки до него получаются какими-то рассеянными – то ли потому, что за каникулы мы немножко отвыкли заниматься, то ли потому, что немножко волнуемся в ожидании.

Урок начинается неожиданно: Зоя Николаевна раздает нам по половинке тетрадного листочка – наверное, целую тетрадку разрезала! – и говорит:

– Даю вам пять минут. Засекаю время. Напишите, какие книжки каждый успел прочитать.

Удивительно!

Пять минут проходят, мы сдаём свои листочки. Я получаюсь последней. И что? И ничего. Зоя Николаевна складывает наши листочки аккуратной стопочкой и начинает рассказ по теме урока. Мы все переглядываемся: ну и что?

На следующий свой урок она приносит рулон ватмана – а это что такое?? Рыкуну – он у нас уже штатный «вешатель» – выдаётся горсть кнопок: приколоть на доску! На осторожно развёрнутом ватмане лепестками топорщатся все наши листочки – кто сколько чего прочитал!

– Ну вот, – говорит Зоя Николаевна, – сами посмотрите: кто больше всех прочитал, того мы выберем в капитаны и отправим в далёкое плаванье. Вам решать, кто этого заслужил.

После звонка весь класс топчется у доски, дежурные никого не выгоняют. Решение единогласно: рекордсмены – я и Вовка Пасика.

– Раз так, – объявляет Зоя Николаевна – в плаванье уходят два корабля. Кто куда – решит жребий.

Мне достаётся красавец «Крузенштерн» – мы идём в Коломбо. У Вовки задача оказывается попроще: его «Витус Беринг» направляется из Иркутска на остров Диксон. Наша задача – регулярно информировать класс о прохождении маршрута и по окончании рейса представить судовой журнал с описанием всех событий и обстоятельств похода. Вовке, конечно, будет полегче: у него путешествие по своей стране, по своей реке – хотя расстояние тоже серьёзное. Зато я уже Капитан Дальнего Плавания! Далёкие моря, чужие страны!

Ой, только не спешите радоваться и гордиться вместе со мной – вы и не представляете, сколько забот, сколько хлопот свалилось на мою голову! Начнём хотя бы с того, что многие привычные слова вдруг свихнулись и стали означать совсем другое. Прежде всего оказалось, что суда не плавают, как, казалось бы, следует передвигаться по воде, а ХОДЯТ, что скорость их передвижения измеряется УЗЛАМИ, которые не имеют ничего общего с теми, которые учатся вязать начинающие альпинисты, или теми, которые руками терпеливых умелиц сплетаются в волшебные узоры макраме. А расстояния? Мало того, что они измеряются не километрами, а милями – так ещё, оказывается. мили бывают разные, и миля сухопутная миле морской вовсе не ровня! А всякие ветры, а течения! А сколько папиных книг мне пришлось перелистать, сколько довелось рыться в школьной библиотеке! Хорошо было Вовке: у него мама работала в библиотеке Короленко – говорят, это самая большая библиотека Украины! Не представляю, как я справлялась тогда со всем этим хозяйством – но каждую неделю на неведомо каким образом появившемся в классе щитке с красивой надписью «Счастливого плавания!» вывешивались подробные радиограммы с борта «Крузенштерна» и с борта «Витуса Беринга».

Не буду утомлять вас воспроизведением страниц моего судового журнала, тем более, что я сама их уже не помню, равно как и текстов моих радиограмм. Единственное, что я по сей день помню совершенно отчётливо, – это то, как радушно встречало нас местное население, когда наконец мы прибыли в порт назначения. Смуглые аборигены, одетые (или раздетые?) в соответствии с климатом и обычаем, подплывали к «Крузенштерну» в своих утлых лодчонках и щедро угощали нас мангустанами (не путать с мангустами!) Мангустаны – это такие экзотические плоды, которых не знают ни в Европе, ни в Америке, потому что они не переносят никакой транспортировки. С ними только так: сорвал – и сразу съел! А по вкусу они напоминают дынное мороженое. Честно говоря, дыни я, конечно, пробовала, случалось – но вот что из них ещё делают мороженое, мне до прибытия в Коломбо известно не было… Но раз в серьёзной книжке сказано, что мангустаны на него похожи, значит, оно тоже встречается в природе – хотя, конечно, может быть, так же редко, как этот фрукт.

А мангусты, выдающимся представителем которых был, как известно, доблестный Рикки-Тикки-Тави, с мангустанами, как, впрочем, и с дынями, не имеют ничего общего – разве что похожее название. И вообще это уже из Киплинга.

Но позже, на деньги, тайно сэкономленные от школьных завтраков, я купила в магазине «Динамо» ученический компас (на ремешке, как наручные часики) и – как вы, наверное, догадались – конечно, курвиметр! А глобус подарил мне папа. Ну, Муська, конечно, тут тоже подразумевалась – а как же иначе? У нас всё было на двоих.

О том, как доблестный «Крузенштерн» и славный «Витус Беринг» вернулись в порт приписки, история почему-то умалчивает. Но именно с тех пор – и навсегда, на всю жизнь, мне запомнилось, как сладок ветер дорог – даже самых трудных, самых опасных. И через годы, всегда, в самых разных краях – в горах Тянь-Ша-

ня и на острове Диксон, в сурово-прекрасном Заполярье и в красных песках Кызыл-Кума, на Ладоге и на Байкале – я с благодарной нежностью вспоминала невысокую, уютную женщину с невянущей улыбкой за стёклышками старомодного пенсне, подарившую мне это счастье. И в удивительном городе-памятнике, Пржевальске, «в крайнем правом углу» – в восточной оконечности Иссык-Куля, стоя у могилы Пржевальского, задолго до меня открывшего, что «жизнь прекрасна, если можно путешествовать», я снова благодарно думала о ней: ведь это она, Зоя Николаевна Сибилёва, тогда, в далёком моём детстве, донесла до нас эту истину – этот царский подарок, так обогативший нашу трудную, гордую жизнь!

…А ЕЩЁ БЫЛА КНЯГИНЯ УРУСОВА

А ещё была чернобровая, статная Нина Ипполитовна Урусова, возникшая в моем мире задолго до и немного позже Зои Николаевны. Непонятно? Я встретилась с ней – или она со мной? – как говорится, «на заре туманной юности» – когда папа принёс меня, четырёхлетнюю, безмамную, в школу и пустил бродить по школьным коридорам, потому что оставить дома было не с кем. Нас обоих, меня и папу, жалели школьные технички и учительницы: меня гладили по головке, утирали мне нос и, в случае крайней надобности, водили в уборную. С этим заведением у меня связано несколько открытий и потрясений. Самое первое обрушилось на меня в первый же день.

Когда папа в первый раз принёс меня в школу, наверное, мне было очень страшно. Я не помню, как это было. Не помню первых минут – как он спустил меня с рук на пол, как и кому препоручил – наверное, тёте Полечке, которая работала в раздевалке? Помню горькую, сиротливую растерянность в темноватых широких вестибюлях и коридорах первого этажа, нестерпимую одинокость и неуместность свою в большом незнакомом здании, где никому не было до меня дела. И потом, боже мой, – потом вдруг захотелось на горшок! Как быть? До того я никогда не обсуждала эту проблему с чужими людьми! Кое-как дотерпела до большой переменки. Слава богу, вот папа – сейчас он отведёт меня, куда надо!..

И тут, первый раз в жизни, я увидела папу почему-то растерянным. Оказывается, в школе уборные разные! В ту, в которую мне надо, папе нельзя, а в ту, в которую ему можно, мне не положено. У нас в доме уборная была одна на этаже, и ходили туда все, кому надо, – только по очереди. А здесь – просто беда: я не знаю, как тут устроено, и потом – мне же самой штанишки не отстегнуть!

Вот тут и возникла в моей жизни Нина Ипполитовна. Она шла по коридору, и сконфуженный папа отчаянно остановил её: это было моё спасение! Улыбнувшись, она взяла меня за руку и спасла от позора. Когда мы вышли к папе, ожидавшему нас в коридоре, сердце мое безвозвратно принадлежало моей спасительнице. Но это ещё не всё! Благодарному, сконфуженному папе она сказала нечто, в ту минуту совершенно мне непонятное, а у папы почему-то вызвавшее вздох облегчения и повторный прилив благодарности. Она сказала: «Владимир Иванович, у меня сейчас окно». И повела меня – куда? В сказку! Сказка называлась Кабинет. Это я потом узнала, что «окно» – это пустой урок, целых сорок пять свободных минут, и все эти замечательные минуты мне было позволено рассматривать разные аккуратно засушенные цветы и травы (это называлось красивым словом *гербарий,* хотя ни одного *герба* там не было), и чучела всяких зверушек. Нина Ипполитовна объяснила мне, что с мёртвой зверушки осторожно снимается шкурка, её особенным образом обрабатывают, высушивают и набивают опилками или ещё чем-нибудь, а специальный мастер, который почему-то называется *такси*дермистом, придает нафаршированной зверушке такую позу, как будто она живая. Было очень интересно, только в углу кабинета стояло страшное – скелет человека, и к нему – зачем-то! – запасная голова, в смысле – череп. Я сначала испугалась, но Нина Ипполитовна успокоила меня, что они не настоящие, а учебные. Хотя, с другой стороны, чучела – они ведь тоже учебные? Нет, лучше об этом не думать…

Естественно, что с того дня я старательно топталась у дверей кабинета в надежде, что чернобровая Нина Ипполитовна как-нибудь случайно снова наткнётся на меня и передо мной опять откроется подведомственный ей мир чудес – а в угол, где стоит скелет с запасной головой можно, в конце концов, просто не смотреть.

Узнав о моей тайной привязанности, сестра моя Муська под большим секретом сказала мне, что Урусовы – это фамилия княжеская, и, стало быть, Нина Ипполитовна – настоящая княгиня, только это секрет, и говорить никому нельзя. Что такое «княгиня» и почему об этом нельзя говорить, было не очень понятно, но раз секрет – значит, интересно, и потом, «княгиня Урусова» – это очень красиво. У Муськи, в её красном шкафчике, была красивая книжка из «Золотой библиотеки» – книжка называлась «Княжна Джаваха», так что я уже

понимала, что княгиньство передается по наследству, и, значит, обе дочки у Нины Ипполитовны должны быть настоящие княжны – у них тоже такие же, как у неё (по наследству!), чёрные брови. Или брови – это не обязательно?

Вообще, сколько, оказывается, красивых слов – вот, например, биссектриса и медиана или тангенс и котангенс! Вы не думайте, меня к себе на урок не только княгиня Урусова пускала – некоторые другие тоже, но «тангенс» и «котангенс» – просто нарисованные палочки, а «княгиня» – это замечательная Нина Ипполитовна! У неё, кроме кабинета с чучелами и засушенными травками, был ещё замечательный «опытный участок», где она с некоторыми учениками, которые назывались юннатами (тоже красиво!), сажала и сеяла всякое разное. Там иногда выростали удивительные чудеса. Ну, например, кто бы подумал, что жирная, вонючая касторка получается из хорошеньких чёрных, с узором, фасолинок, которые вызревают на красавице рицине? Лучше бы, конечно, наоборот– как гадкий утёнок превратился в красивую лебедь, но так уж получается. Или вот земляной орех – арахис. Сажаешь розовую арахисинку, вырастает тёмно-зелёная розетка блестящих нарядных листьев, из неё – стебелёк с желтеньким цветочком. А потом происходит совершенно невероятное. Под землёй – слышите, под землёй! – вырастает некрасивый, довольно большой стручок, полный розовых фасолинок. Да-да, тех самых, которые потом можно поджарить и вкусно есть!

Сколько раз я пыталась подсмотреть, как это жёлтенький цветочек умудряется воткнуться в землю! До сих пор не могу этого понять! Так ведь и это ещё не всё! Нина Ипполитовна рассказывала, что арахисовые поля (или грядки?) горцы на ночь накрывают полотном, а утром это полотно полощут в воде – и получается кисленький квасок, потому что к утру на листьях выступает кислая роса. Ну, полотна мамы юннатам не давали, так что неизвестно, какой там должен получаться квас.

Прошло много дней, я доросла до полноправного ученичества, но почему-то учиться у Нины Ипполитовны мне так и не пришлось – в нашем классе она не преподавала. Вместо неё у нас преподавала другая, не княгиня. Эту мы почему-то прозвали Саранча – наверное, потому, что с ней мы занимались всякой мелкотой. Был в учебнике даже раздел, озаглавленный «Вши и пухоеды»! Отвечать по этой теме досталось моей подружке Таньке – Танька была умненькая, звонкая и шустрая. Из-за этого последнего качества она постоянно впопыхах перевирала слова, и на этот раз, выйдя к доске, выпалила: пши и вухоеды! – чем вызвала всеобщий восторг. Новая учительница оставалась безымянной, пока мы не дошли до жесткокрылых. Сначала возникло прозвище «Саранча пешая и конная», но потом осталось только Саранча, поскольку прозвище учителя, как сигнал тревоги, должно быть лаконичным. Наверное, Саранча была совсем не плохая, но сердце мое оставалось верным первой любви. И – только не смейтесь, пожалуйста! – по-прежнему живёт во мне посаженное Ниной Ипполитовной зёрнышко – неукротимое щенячье любопытство и нежность к каждой зверюшке, каждому зелёному ростку. Вот только насекомых полюбить я так и не сумела – ну что тут поделаешь! Разве что бабочек и стрекоз – для них делалось исключение за их красоту. Правда, гусениц я, отдельно от бабочек, никогда не любила!

А Нина Ипполитовна с обеими чернобровыми княжнами ушла из моего детства, но не из моей памяти, с началом войны. Говорят, они ушли из города пешком, с заплечными вещмешками за день до вступления немцев. Больше я их не встречала, но ясно вижу и по сей день.

И если вы слышите меня сейчас, прищурьтесь – и вместе со мной увидите эти лица. Увидите Нину Ипполитовну Урусову, научившую меня любить деревья, и травы, и всякую живность, населяющую этот хрупкий, прекрасный мир, Зою Николаевну Сибилёву, подарившую мне Родную Землю и радость её дорог, и Надежду Владимировну Держирукову, положившую мне на ладони Слово, которым я делюсь с вами сегодня.

Между прочим, собаки и лошади меня хорошо понимают!

Но это ещё не всё!

Инна Мельницкая

ПОПУТЧИЦА

Что-то меня в ней беспокоило. Не знаю что. Девушка как девушка, худенькая, неяркая, вежливая, но необщительная – такая вот неброская, почти незаметная случайная соседка по купе. И всё-таки что-то в ней меня беспокоило. Наверное, глаза – прозрачные, светло-зелёные, какие-то настойчиво-пустые, без улыбки и без хмури.

Двое наших попутчиков, крутые, уверенные и шумные, ушли, слава Богу, в соседний вагон, объяснив, что там составилась компания.

После их ухода в купе зависла ничем не заполненная тишина, и я осторожно спросила:

– В командировку, что ли? Или домой?

– Домой, – обронила соседка. – Можно сказать, из командировки.

Ответ прозвучал скучно и не поощрял к продолжению разговора. Я отвернулась к окну, но она неожиданно подбросила в гаснущее общение щепочку-реплику:

– Памятник ездила устанавливать. Учительнице своей.

Учительнице? Это с такими вот холодными глазами? Что-то во мне качнулось – то ли интерес, то ли недоверие.

– Любили её, наверное?

– Трудно сказать. Всякое было – от любви до ненависти. Вот только равнодушия не было – это точно. Она к нам в седьмом классе пришла. Пришла – и сразу сказала: «Зовут меня Лидия Сергеевна, я ваш новый классный руководитель. Буду преподавать русский язык и литературу – только русачкой меня за глаза не зовите. Русак – это заяц, и я не русачка, а словесница». Так её и прозвали – «словесница», хотя слово-то длинное, прозвища редко такие бывают... Очень необычно преподавала – и спрашивала тоже не как все. Придёт, оглядит класс – вот эдак, сощурясь, – и сразу: «Ну что, кто сегодня хочет с Белинским поспорить?» Заметьте, не по учебнику! Мы ведь привыкли печатное слово считать непреложной истиной, а тут пожалуйста – спорь, если можешь – опровергай: всё дозволено! Только чтобы спорить, надо знать, думать надо! И спорили – до хрипоты, и гордились ужасно, что у каждого своё мнение и что она у нас такая. Но вот у меня с ней как-то не складывалось. Я её обожала – и ненавидела, ненавидела – и обожала. Вызовет меня – я нарочно всякую чушь городить начинаю, а она только бровь поднимет: ты так думаешь? А я вовсе так не думаю, просто несёт меня куда-то – не знаю куда, не знаю зачем. Бывало даже, выскочу из класса и потом реву где-нибудь под лестницей. Почему-то она мне всё прощала, и в четверти у меня всегда пятёрки были... А потом, в десятом уже, она вдруг рассчиталась и уехала на родину. Быстро так, неожиданно – никому ничего не сказала. После мы узнали почему – только уже надежды не было. На похороны весь класс съехался – мы по цепочке всех оповестили. Тут недалеко. Денег собрали на поминки – у неё там ничего не осталось: лекарства, операция... А вот насчёт памятника... Это ведь не сразу – сразу нельзя, пока земля не осядет, – а люди, знаете, остывают понемногу... Ну, а я решила – в лепёшку расшибусь, а поставлю!

С мамой советовалась – нет, говорит, памятник – это дорого. Я узнавала: приличный – не шикарный, а так, достойный хотя бы – долларов двести, двести пятьдесят… Ну где такую сумму взять? Собрать – не получается. Дала объявление в газету: «СРОЧНО ЗАРАБОТАЮ ДВЕСТИ ДОЛЛАРОВ». Они там три раза печатают.

В первый раз позвонил один: «Ты где живешь?» – спрашивает. – «А что?» – говорю. – «Как что? Куда идти?» – «Нет, нет, – говорю, – ко мне нельзя». – «А нельзя, так на кой ляд объявление давала?» И трубку бросил.

В другой раз позвонил какой-то, говорит: встретимся у кинотеатра. В правой руке у него будет газета – ну, и у меня тоже. Конспирация – прямо «Подвиг разведчика». Подхожу к кинотеатру – стоит, газету держит. Такой – ну как бы вам сказать – усредненный какой-то. Вы, спрашиваю, по объявлению? Да, – пойдем? Куда? Куда надо.

Пришли в коммуналку какую-то – комната полупустая, запах какой-то нежилой, голое окно, голый стол, лампа голая. Видно, в квартире не живут, а так – время от времени – бывают. Пошарил в буфете, достал стакан и кружку щербатую, бутылку поставил, колбасы-варёнки накромсал, батон нарезал. «Выпьем, – говорит, – для начала?» – «Спасибо, – говорю, – не хочу. Я обедала». – «Не хочешь – дело хозяйское. Однако для порядка налью». Налил. Пальцы у него короткие, толстые, жирные от колбасы, и руки такие – не по туловищу короткие. Выпил, пожевал. «Ну чего стоишь?» – говорит. – «А что я должна делать?» – «А ты не знаешь, как быстро деньги зарабатывают? Пей давай – и раздевайся. Только гляди – ты не больная?»

А я и слова сказать не могу – головой мотаю! Знала бы Лидия Сергеевна, во что я впуталась!

Диван пыльный, продавленный, затхлый какой-то... Как этот скот меня измусолил!

Тискал, мял, руки потные, жирные, сам сопит, морда красная, злая... А я глаза зажмурила, зубы

стиснула – скорее бы конец!

Наконец, отвалился. «Хватит, – говорит, – вставай, одевайся». Мне бы обмыться... «Ещё чего, – говорит. – Тут квартира коммунальная, ванна общая. Дома плескаться будешь». – «А деньги?» – говорю.

Достал, суёт мне двадцатку. Нет, не доллары. Наши. И всё? За всю эту мерзость? «А что ты, – говорит, – хотела? Тебе что – твои клиенты больше платят?»

«Да вы не поняли, – лепечу, – я же не проститутка...» – «Чего там не понял – понял я: была бы профессионалка, научилась бы уже чему-нибудь, а то лежишь как колода – никакого интересу. Двести долларов ей надо – видали? Пятёрка тебе цена –да и то в базарный день».

Ушла как оплёванная; держу эту двадцатку в кулаке – и пальцы разжать не могу...

Я слушаю её ровный, бесцветный голос – и не могу понять: зачем она всё это рассказывает? Как я должна реагировать на эту исповедь? И как несовместимы этот тусклый голос – и то, что она говорит! Вот только руки – сухие, бледные – они как будто существуют отдельно и непрерывно плетут тонкими, нервными пальцами какую-то странную вязь.

Пауза. Я ловлю себя на том, что пытаюсь вжаться, укрыться в тень от верхней полки: не надо, нельзя, чтобы она видела выражение моего лица – я же не знаю, каким оно будет в следующую минуту!

Но она продолжает:

– Третий раз напечатали – и позвонил ещё один. Молодой, уверенный: «Вы в каком районе живете? То есть скажем так: где вам удобно встретиться? Я сейчас подъеду – минут через двадцать, нет, лучше через полчаса… Как я вас узнаю?»

Спасибо, хоть «на вы»!

Договорились. Я запоздала немного. Не то что завозилась, а просто страшно было. Подхожу – нет никого. Ну что ж, слава Богу, думаю. Аж легче стало. И вдруг подкатывает белая машина – не шикарная, нет, но – ухоженная: «Садитесь! Я не ошибся?» Нет, говорю, не ошиблись. «Ну что ж, поехали». Как мы ехали, ей-богу, не знаю: ничего вокруг не видела. Помню только, что недолго.

Приехали. Обычный подъезд. Поднялись в лифте на какой-то этаж – а я всё не могу ему в глаза взглянуть. Молчу – и он молчит. Вышли. Двери одинаковые, дерматином обитые. Щёлкнул ключом, посторонился – прошу! Принял мою курточку, повесил – будьте как дома!

А я как язык проглотила. Думаю, уж лучше бы он такой же противный был, как тот, – не было бы так стыдно. А он улыбается, просто так, по-свойски, и свёрток мне какой-то протягивает: «Я тут прихватил кой-чего, так вы уж там похозяйничайте, пожалуйста, по-женски: посуда на кухне – только чур не бить, а то мне попадёт, достанется на орехи».

Ну, думаю, спасибо ему: всё-таки на кухне никто на меня не смотрит. Режу сыр, ветчину, ещё что-то там съестное – не помню уже что, – несу в комнату. На столе вино – высокая такая, тонкая, красивая бутылка, а он открывает «дипломат» и – представляете? – цветы достаёт. Это, говорит, вам; давайте в воду поставим.

Вот тут меня прорвало. Понимаете, ко всему была готова – но цветы!..

Он меня успокаивает – выпейте, говорит, вина; вино хорошее, лёгкое – не для попойки, а для разговора вино. Выпейте, легче будет. Зачем вам эти деньги вдруг понадобились? Ведь не просто так – а вдруг? Я на ваше объявление сразу внимание обратил: странное такое! И – как вы собирались их заработать?

Да разве я знала как? Как получится...

И поверите – я всё ему рассказала. Какая она была, Лидия Сергеевна; как непросто у меня с ней всё складывалось; про внезапный её уход, про смерть... Всё-всё – и даже про то, стыдное. И как-то легче стало – будто нарыв вскрыла. Часа два мы с ним просидели. Нет-нет, он и пальцем ко мне не притронулся. То есть нет, один раз по голове погладил – когда я ревела, но это же совсем другое... Мы с ним посуду помыли и – «Ну что ж, – говорит, – давайте я вас домой отвезу. И вот, возьмите – вы же на меня целый вечер потратили». Сто долларов! «А это, – говорит, – мой телефон. Захотите – позвоните».

– Позвонили?

В купе заглядывает проводник:

– Подъезжаем! Билеты вам нужны?

– Спасибо, не нужно.

Моя попутчица поднимается легко и резко, как пружина. В первый раз за весь вечер мне кажется, что в прозрачных глазах её мелькает что-то живое – или это отблеск вокзальных огней?

– Скажите, зачем вы всё это мне рассказали?

– А вы как думаете? – произносит она жестяным голосом, натягивая берет на лёгкие, сухие волосы.

И выходит из купе – и из моей жизни – неразгаданной загадкой.

Инна Мельницкая

КАСТЕЛЛО, ИЛИ МОЁ ОТВЕРГНУТОЕ БУДУЩЕЕ

Это было в голодное и прекрасное послевоенное время, время счастливой эйфории, которое так же, как совсем ещё недавно военное время, требует своего летописца.

Отступила четыре года висевшая над тобой ежедневная угроза смерти. Открывались неожиданные, неимоверные перспективы предстоящего созидания по принципу «голь на выдумки хитра», когда, оттесняя привычное чувство голода физического, нас захлёстывало жадное и высокое чувство голода духовного.

Мы весело и упрямо разбирали развалины, сортируя кирпичи: этот, целый, ещё сгодится на стройку, вот эта половинка – на угол, а тот, битый – на бетон. Правда, случалось, что под обломками вдруг обнаруживались чьи-то останки – это опечаливало, но не надолго: печалиться было некогда – надо было торопиться возрождать!

В самом начале Пушкинской, там, где сейчас (уже который год!) высоченный забор с надписью, обещающей, что здесь будет элитный торгово-развлекательный центр, закрывает от прохожих ползающий котлован, был тогда маленький двухэтажный домик – по слухам, один из первых в городе каменных домов. Часть первого этажа была выбита прямым попаданием снаряда; над зияющей дырой нависал подпёртый деревянными столбами чудом уцелевший второй этаж. В нём жили – в окне нахально торчала железная труба «буржуйки»! Входом в этот скворешник служила бывшая балконная дверь, к которой надо было подниматься по сколоченной изобретательными жильцами отчаянной деревянной «драбыне». Хотите – верьте, хотите – нет, но эта изысканная архитектурная деталь была функциональна: там действительно жили люди – жили упрямой верой в обязательно счастливое Завтра!

Фасад нашего института был на удивление цел, на нём уцелел даже номер здания – 18, но на месте двадцатого и двадцать второго зияла кровавой кирпичной раной огромная дыра. Эти развалины мы разбирали на субботниках. За нашей работой обычно надзирала одна из «англичанок» – Полина Хуторянская. У нас она не преподавала, и мы поначалу недоумевали: почему на субботники с нами ходит именно она? Но скоро стало ясно: здесь она «и замужем, и дома» – оказывается, она жила в том же дворе, позади развалин.

Там же жил, но, слава Богу, у нас не преподавал и с нами не работал очень противный мелкий, чёрненький человечек, которого мы издали, неведомо почему, прозвали Иисусом – он вроде бы что-то преподавал на старших курсах.

Лекции по языкознанию нам читал знаменитый профессор Финкель. По учебнику Финкеля и Баженова русский язык изучали школяры чуть ли не всего Советского Союза! За глаза мы так его и звали: тот Финкель, который Баженов – потому, что курс иностранной литературы нам читал ещё один Финкель, но того мы звали Финкель-маленький. В наших глазах они были несоизмеримы, потому что тот, «который Баженов», был к тому же одним из четырёх авторов гениально-весёлого «Парнаса дыбом», и не только!

Человек, который вслед за Маршаком и Щепкиной-Куперник перевёл все сонеты Шекспира, пришёл к нам в настывший актовый зал, где читались общие лекции, в стоптанных кирзачах и видавшей виды бурой солдатской шинели явно не по росту. Мы слушали его в состоянии лёгкого обалдения, едва успевая конспектировать – так ёмко, так непривычно изящно по мысли было то, что разворачивалось перед нами. А когда прозвенел звонок, немолодой, неуставно сутулящийся рядовой сказал, интеллигентно, несусветно картавя: «А теперь – а теперь, разрешите, я закуру», – и, задрав полу шинели, извлёк из кармана замызганный кисет и многажды свёрнутую газету, со знаньем дела скрутил «козью ножку» и блаженно затянулся махорочным дымом. С этого дня в сознании всего нашего курса Александр Моисеевич Финкель занимал совершенно особое место. А что касается Финкеля-маленького, то его через некоторое время как-то незаметно сменил удивительно похожий на самурая всем складом лица, зубами, глазами и огромными роговыми очками Марк Эммануилович Рабинович в когда-то белом командирском полушубке.

Мы сидели на лекциях в пальто, шинелях и телогрейках; в конце третьего этажа в стене коридора зияла сквозная дыра, оттуда дуло, и к концу второй смены, когда небо темнело, видны были звёзды. Зимой счастливцы-владельцы авторучек время от времени совали их, как термометры, под мышку, потому что чернила, бывало, замерзали. Было холодно. Было очень голодно. Во дворе института, в облезлом флигельке у нас был ОРС – отдел рабочего снабжения, которым заведовал шустрый, маленький, разительно похожий на хомячка человечек по фамилии Горшунский. Там мы получали по карточкам хлеб (студентам полагалась рабочая карточка); иногда – какой-то случайный паёк, а временами – выделяемые профкомом самым нуждающимся вещи – кому обувь, кому какую-то одежду.

Столовой в институте не было. В буфете на втором этаже можно было на большой переменке взять

порцию винегрета с прозрачным ломтиком хлеба и стакан чая. На котлету с макаронами мы с подружкой Витькой старались не смотреть: котлета была нам не по карману. Зато в тёплые месяцы можно было роскошно пообедать на улице: взять за шесть копеек французскую булочку и порцию восхитительного молочного мороженого за двенадцать копеек. Мороженщик вкладывал в металлическую чашечку с ручкой-поршнем круглую вафлю, затем большой ложкой плотно накладывал – нет, вмазывал – в чашку мороженое, накрывал второй круглой вафлей, выдавливал поршнем – и вот она у тебя в руке, аккуратная круглая вкусность! Оставалось нырнуть в какую-нибудь подворотню – неприлично же лизать его на улице! – и лижи свой сладкий обед за восемнадцать копеек в полное удовольствие!

Вечером – если удавалось выкроить свободный вечерок – мы бегали в городской парк на танцы. Вход в парк был тогда платный – целых тридцать копеек! – поэтому мы лазили через высокий кованый забор. Наши верные рыцари подсаживали своих дам – это было смешно и весело, и ничуть не зазорно, потому что в те времена человеческое достоинство определялось вовсе не деньгами. Зато в аллеях парка, то тут, то там, пели аккордеоны и кружились пары. Аккордеонисты играли бесплатно, «за так» – наградой для них был восторг танцующих. Случалось, кто-нибудь запевал – песню подхватывали, а по домам расходились, прощаясь – до следующей встречи! – с совсем незнакомыми, но всё равно родными людьми.

Денег на кино, как правило, не было, но были летние кинотеатры, где можно было следить за событиями на экране, сидя на ограде, а то и на дереве: если что, тебе помогали взобраться такие же безденежные «грачи», которым удалось умоститься пораньше. Насколько мне помнится, никто нас оттуда не сгонял: нас понимали – денег нет, а кино посмотреть хочется.

А иногда, когда удавалось сэкономить за счёт обеда, мы «шли в разгул»: покупали билеты в филармонию на самую что ни на есть галёрку и слушали Рихтера, Александровича, похожего на школьного учителя Керера или нашу восходящую звезду, всеобщую любимицу Шурочку Лесникову. Акустика в нашей старой филармонии была волшебная, и даже на самых дальних, стоячих «входных» местах было слышно шелест страниц, переворачиваемых на пюпитре пианиста.

Иногда нам устраивали культпоходы в театр, иногда приглашали в институт именитых гостей: так, у нас выступал Сосюра, читал свои стихи Павло Тычина – кстати, брат его, Евген, преподавал у нас «мову». Мы его нежно любили – в то время, пожалуй, даже больше, чем его знаменитого брата.

Гости выступали в актовом зале – там, где обычно читались общие лекции и проходили общие собрания. И вот однажды нам объявили, что в зале состоится встреча с Кастелло – учеником легендарного Вольфа Мессинга.

«На Кастелло» набился полный зал. Слава Вольфа Мессинга давно уже гремела по Союзу; Кастелло был внове – по крайней мере, для меня, – но это был Ученик Самого Вольфа Мессинга!

У нас уже начался курс психологии – читал его замечательный Петр Иванович Зинченко, «цыганский красавец», как его ревниво называли преподаватели-«язычники» за антрацитово-чёрные глаза и незыблемый авторитет среди студентов. В медленной, неспешной речи Петра Ивановича действительно было нечто завораживающее: терпеливо, но настойчиво он учил нас думать. Наверное поэтому такие необъяснимые вещи, как передача мыслей на расстоянии, телепатия и телепортация магнетически привлекали наши еще не очень отягощённые знаниями молодые, голодные умы.

Я опоздала, зал был полон, но девчонки потеснились, и мне досталось место в центре зала, у прохода. На сцене, за столами, накрытыми в разной степени вылинявшими кумачовыми скатертями, разместился весьма многочисленный президиум – соседки объяснили мне, что это жюри. Зачем оно там, было сначала непонятно – выяснилось, что это нужно, чтобы всё было по-честному (к честности происходящего тогда ещё относились серьёзно). Состав жюри был абсолютно разношерстный: зам нашего декана, начальник ОРСа Горшунский, Марк Эммануилович Рабинович, член профкома Ленка Плужникова с французского факультета, лаборантка фонокабинета и другие, незнакомые читателю, лица. Незнакомых нам было двое: кряжистый мужчина с тяжёлым, широким лицом и хрупкая, неброская женщина. Бойкая, разбитная секретарша директора, исполнявшая роль ведущей, представила гостей: это, оказывается, и был сам загадочный Кастелло со своей ассистенткой и, по совместительству, женой.

Голосом неожиданно совсем обыкновенным Кастелло сказал несколько слов о том, что называется телепатией, пообещал, что попытается показать нам это на деле – и приступил к делу!

Всё было захватывающе интересно и абсолютно непостижимо – честно говоря, поначалу во мне глухо шевельнулось бессовестное недоверие – потом я устыдилась: всё было непонятно, но честно! В привычном, обшарпанном зале, с этим широкоплечим, широколицым чужаком мы заглядывали в неожидан-

ные, непонятные, но как-то реально – вот же оно! – существующие возможности человеческого, может быть, даже твоего, мозга. Чей это девиз – «познай самого себя!»? А-а, всё равно – но это стоящая задача! Потом был объявлен перерыв, но перед этим нам сказали, что каждый может написать на листочке какое-то задание для Кастелло. Записки надо было передать в жюри, а члены жюри должны были отобрать к исполнению те из них, которые покажутся наиболее интересными.

Народ зашевелился. Кастелло вместе с ассистенткой-женой удалился из зала: в качестве артистической уборной им выделили для отдыха немецкий деканат.

С бумагой в те дни было туго, тетрадки были роскошью, учебники – тоже. Конспекты писали на чём придется, кто во что горазд. Мне, например, сильно повезло: сосед с первого этажа, профессор Гейманович, пожертвовал мне каталоги каких-то довоенных зарубежных изданий: каталоги были толстые, на плотной цветной бумаге, и я конспектировала лекции между строк. Для Кастелло я вырвала листочек из драгоценной тетрадки, которая использовалась исключительно для контрольных. Задание было предельно, гениально просто: Кастелло должен был снять с Рабиновича его массивные самурайские очки и надеть их на сидевшего рядом хомячка-Горшунского. Если бы вы их видели! Вы просто не представляете, как это должно было быть смешно!

Свёрнутый листок я передала по рядам.

Пока Кастелло где-то там отдыхал, жюри разбирало наши записочки, а мы обсуждали происходящее. Некоторые разминали затёкшие ноги – ко мне подошла девчонка из параллельной группы и сказала:

– Знаешь, Ленке Плужниковой понравилась твоя записка: она вычеркнула твою фамилию и написала свою!

Я забыла сказать, что Кастелло просил подписывать записки: для выполнения задания ему понадобится помощь автора. Естественно, я возмутилась: какое она имела право, эта Ленка! Но времени выяснять отношения уже не было: прозвенел звонок, и Кастелло вошёл в зал.

Ведущая призвала к порядку гудящую аудиторию, показала нам стопочку отобранных записок. Мы стихли – и магическое действо началось. Ведущая вызывала на сцену автора очередной записки, Кастелло брал его за руку, как доктор, слушающий пульс, и отрывисто произносил: «Думайте!» И всё. Он так чётко, так быстро выполнял загаданное, что я даже начала отвлекаться. Вообще, должна признаться, я не очень внимательно следила за тем, как проходил второй сеанс: во мне всё ещё бурлило возмущение – какое она имела право? Хоть бы спросила!

И тут вдруг ведущая вызывает: Плужникова! Ленка – высокая, патлатая, с готовностью вскакивает и, сияя, подходит к Кастелло. Он берёт её, как всех, за руку и говорит: «Думайте!» А во мне всё возмущённо кипит: это же моя задумка! Это меня он должен держать за руку, мои мысли читать!

Кастелло топчется на месте, напряжённо мотает головой. И сердито повторяет «Да думайте же – вы что, думать не умеете?» Лицо его наливается свирепым сине-розовым румянцем – и вдруг, с видимым облегчением, он рывком увлекает Ленку к лесенке, тащит её со сцены – Ленка упирается: ведь Рабинович и Горшунский сидят в президиуме! А я торжествую: ага, так тебе и надо! Так тебе и надо!

Раздражение Кастелло возрастает крещендо, он уже кричит: «Вы что – безмозглая, думать не можете?» – и, закусив губы, тащит её ко мне – да-да, ко мне, в мой проход между рядами! «Да нет же!» – вопит Ленка в отчаянии. Кастелло в ярости отшвыривает ее руку и выбегает из зала. Скандал! Распорядитель выбегает за ним, и следом, оступаясь на высоких каблуках, выбегает ассистентка-жена. Зал недоумевает, я тихо злорадствую, и в то же время меня угрызает совесть: ведь получается, я сорвала выступление Кастелло?

Но распорядитель вскоре возвращается и успокаивает зал: «Не волнуйтесь, все в порядке, выступление продолжается».

Действительно – через несколько минут супруги Кастелло возвращаются. Снова ведущая вызывает одного за другим авторов записок, стопочка худеет, всё идёт нормально, лицо Кастелло медленно бледнеет, обретая почти нормальный цвет. И я тоже остываю – ну подумаешь, великое дело! Ничего такого не случилось!

И тут – да что они, с ума сошли? – снова звучит фамилия «Плужникова», и Ленка снова поднимается с места. Я не знаю, кто настоял на этом – Ленка, или сам Кастелло, или его жена, – чтобы исправить испорченное впечатление, загладить промах – но снова напрягаюсь: это я, а не Ленка, автор записки, и он должен это понять!

Он слышит! Он рывком стаскивает сопротивляющуюся Ленку со сцены, тащит её по проходу, ко мне. У него бешено напряжённое лицо, я вижу, как у него багровеет шея и ещё – самое страшное! – как дрожат, как прыгают у него зрачки.

– Вот здесь. Здесь, – хрипло говорит он, нависая надо мной. – Здесь я должен сделать что-то. Встаньте, пожалуйста!

Я встаю, но ничего не успеваю сказать: Ленка вырывает у него руку и с криком: «Ничего подобного!»

– отбегает к сцене.

У него странно оплывает и каменеет лицо, он с ненавистью беззвучно роняет ей что-то вслед – надо думать, не очень лестное, на секунду прикрывает светлыми ресницами бешеные глаза и – ах, молодец! – крупным, ровным шагом возвращается к сцене, легко, как нечто несущественное, отстранив по пути Ленку, и ровным голосом говорит: «Продолжим. Кто следующий?» Следующим подходит Толя Скорик, с готовностью закатывая левый рукав. Видимо, Толя думает достаточно чётко: Кастелло уверенными шагами идёт с ним в конец зала, берёт у кого-то из ребят портфель, достает из него книгу и решительно открывает ее, называя при этом страницу. Толя удовлетворённо кивает, зал взрывается аплодисментами, и дальше всё идёт как по маслу. Стопочка записок быстро худеет, вечер кончается, ведущая благодарит выступающих, те устало раскланиваются и выходят, а я, заново стервенея, направляюсь во имя справедливости сводить счёты с Ленкой.

– Что за свинство, – выпаливаю я, – какое ты имеешь право присваивать себе чужие записки!

– А тебе какое дело? – парирует Ленка, обретая привычную твёрдость профсоюзного деятеля.

– Как это – какое? Ты мою фамилию вычеркнула, вписала свою, а мне, оказывается, и дела нет?

– Погоди, так это твоя фамилия? Я же не знала! Я тебя только по имени… Да ты понимаешь, что получилось? Бежим к нему!

Мы бежим к нему, забыв о свинстве, окрылённые идеей – ещё неясной, но должно быть замечательной, заглядываем – но, увидев Ленку, Кастелло кричит: «Вон отсюда!»

Я выдвигаюсь из-за Ленкиной спины и захлёбываясь восторгом, поспешно объясняю, что произошло:

– Вы понимаете, это же не промах, не провал – тут что-то другое! Это удача!

Вы не поверите, но Кастелло поднимается и пододвигает мне стул – и ассистентка-жена, с минуту поколебавшись, предлагает сесть и Ленке. Мы ещё раз, теперь уже подробно и почти спокойно, повторяем свой рассказ – но тут события пускаются в галоп! Кастелло хватает меня за рукав и кричит:

– Вы сами не понимаете – это же уникальный случай! За всю мою практику не было такого, чтобы импульс, посылаемый издалека, перекрывал непосредственный импульс! Ты понимаешь, девочка, что это значит? Это значит, что у тебя уникальные телепатические способности!

Ленка смотрит на меня почти со страхом. Я слушаю ошалело, смутно соображая, что предо мной открывается что-то неожиданное, непонятное, и неизвестно ещё, хорошо это или плохо.

Оставив в покое мой рукав, Кастелло хватает меня за руки – нет, не запястья, как во время представления, – он сжимает в горсти мои ладошки и волнуясь говорит:

– Слышишь, девочка, бросай свой институт! Будешь работать со мной! Перед нами такие перспективы, такие горизонты – ты не представляешь! Я сам ещё не очень представляю, но это уникальный случай!

Жена-ассистентка осторожно гладит меня по плечу и вступает мягким подголоском:

– Ты не думай, это не только выступления. Это открытия, горизонты науки! Такие перспективы!

Я окончательно ошалеваю – не от радостных перспектив, нет, – я представляю себя багровеющей, с прыгающими, как у него, зрачками, и тупо, отчаянно мотаю головой.

– Нет, ты не отказывайся, ты подумай, посоветуйся с родителями. Мы подождём.

Ленка смотрит на меня с жадной завистью, но зависть не злобная – просто удивлённая: бывает же такое!

За ними приходит машина. Пропуская вперед жену, Кастелло на секунду задерживается в дверях: «Так я не прощаюсь!»

Дома я рассказываю маме. Мама пугается: а как же мы? «Мы» – это мама и трое ее детей от второго брака. Овдовев, мама живёт в постоянном страхе: а вдруг я их оставлю, как она когда-то оставила меня? Она напрасно боится: я никогда их не оставлю – ведь я шестнадцать лет мечтала, чтобы у меня, как у всех, была мама. Только она этого не понимает, и поэтому всё равно боится…

Назавтра меня вызывают в деканат. Наша деканесса тоже, как Финкель, ходит ещё в шинели – только шинель у неё офицерская. Она строгая, но добрая, поэтому спрашивает меня с удивлением: «Ты что там натворила? За что тебя директор вызывает?» Я не знаю, что я натворила. – что я вообще могла натворить?

У директора я ни разу не была – ну, видала, конечно, не раз, но чтобы вызывали, такого не было.

– Ну, вот, – говорит Иван Фёдорович, – тут такое дело…

Оказывается, из гостиницы «Интурист» ему звонил Кастелло.

– Я, конечно, обязан тебе передать, но что тебе

посоветовать, я не знаю. Решай сама. Перспектива тут, прямо скажем, неоглядная, но, с другой стороны, какая-то неопределённая. Непривычная перспектива.

– Не могу я, Николай Фёдорович, мама у меня, и дети мамины…Не могу я их бросить!

– Ну, смотри – дело твоё. Они ждут тебя в «Интуристе», номер шестнадцатый. Поезд у них сегодня вечером, так что можешь уйти с лекций.

В «Интурист» я не пошла. Вечером посмотрела на часы: через полчаса отходит их поезд. Ну и ладно! Решила – нет, и всё тут!

Назавтра – снова в деканат. Ну, думаю – это за Минку Бутылову. Вечно эта фифа прогуливает, а староста отдувайся!

Мысленно чертыхнувшись, открываю дверь: сейчас мне Ирина Александровна за Минку задаст – мало не покажется! Но навстречу мне поднимается бледная, усталая женщина – ассистентка-жена. Они же должны были уехать, вчера ещё!

– Выслушай меня, девочка, – негромко, мягко говорит она – Мне рассказали: ты учишься и работаешь, содержишь семью. Я тебя понимаю. Но пойми и ты меня. Тебе представляется редкая возможность устроить свою жизнь.

Наверное, это так. Наверное, такой возможности у меня больше не будет – но я с ужасом вспоминаю багровое лицо и прыгающие зрачки гастролёра – и мне становится неважно.

Торопливо – видно, боясь, как бы я не поспешила с ответом, женщина частит:

– Мы должны были вчера уехать, но ты не пришла, и мы сдали билеты.

Пойми: то, что вчера случилось, просто невероятно! Муж говорит, за всю его практику такого не было. Он же не фокусник – он учёный, каких мало. Позавчера его пригласили на вашу Сабурку[1] – там собрались ваши профессора, академики – психологи, психиатры, невропатологи и физиологи. Он демонстрировал им силу и возможности человеческого интеллекта. Когда он остановил своё сердце, один из профессоров просто упал в обморок – испугался! Это не трюки, это большая работа и сложная наука, понимаешь?

Я вроде бы понимаю – я верю ей, но у меня перед глазами багровое лицо, дрожащие зрачки – и я судорожно мотаю головой.

Она трогает мои руки и как-то просительно, снизу вверх, заглядывает в мои глаза:

– Я понимаю – мне объяснили: на твоих плечах вся семья… Ты не беспокойся: ты будешь учиться, мы тебе квартиру снимем – а матери ты будешь деньги посылать, гораздо больше твоей стипендии…

Куда там! Я отчаянно мотаю головой – мне кажется, голова моя мотается по собственной инициативе: нет, нет, нет!

Женщина устало поднимается и говорит:

– Ты подумай, ты хорошенько подумай. Мы подождём ещё три дня. Посоветуйся с мамой, ещё с кем-нибудь… Ты пойми: ты же будешь обеспечена на всю жизнь. Он говорит, ты необычайное явление, такого ещё не было. Это открытие, окно в науку, в какие-то новые возможности…

Господи, я всё это понимаю, или кажется, что понимаю, но я ничего не могу с собой поделать – вернее, не с собой, а с этой упрямой головой, которая отчаянно, упрямо дёргается влево-вправо, влево-вправо: нет, нет, нет!

– Ну хорошо, я пойду, но ты всё-таки подумай, прошу тебя, – почти беззвучно, на выдохе произносит женщина – и пальцы её без надежды обнимают дверную ручку. Низко опустив голову, она выходит, и я успеваю заметить, какая у неё слабая, нежная шея…

Дверь тихо, нерешительно закрывается.

Вечером я пересказываю маме наш разговор и чувствую, что она начинает колебаться. Ну да, конечно: в нашей несчастной, несытой жизни радужная перспектива перманентно растущего благополучия выглядит очень заманчиво, но голова – нет, она никак не согласна, и я просто не могу ей сопротивляться.

Следующие три дня мама мучается, терзаемая сомнениями. На четвёртый день мы обе наконец вздыхаем: с облегчением: всё! Конец терзаниям! Теперь, даже если эта упрямая голова смягчится, будет уже поздно. Синяя птица счастья упорхнула. Мы остаёмся у прежнего разбитого корыта, а золотая рыбка, вильнув хвостиком, скрывается в зелёной волне. Жизнь входит в обычную колею.

И через много лет я вспоминаю – нет, не с сожалением, а с бесполезным, но неукротимым любопытством: а как бы она сложилась, моя жизнь, если бы голова моя тогда уступчиво кивнула?

А вы как думаете?

[1] Сабурка, или Сабурова дача – харьковская областная клиническая психиатрическая больница № 3, один из крупнейших научных центров в области психиатрии Российской империи, СССР и Украины. Расположена на территории бывшей усадьбы Петра Сабурова, служившего в 1798 – 1800 гг. губернатором Харькова. – (Прим. ред.)

Елена Макарова

ПО ДОРОГЕ В ШЕРЕМЕТЬЕВО

«А вашу любовь и усердие никогда не забуду, ваши слезы, ваше святое расположение, как вы во все темное время пробыли неразлучно со мною, не стыдились людей и не боялись судей, оказали перед всем свое сострадание истинно христианское, не изгладится вовеки имя ваше из души моей».

«Темень азиатская!» – выругал Павел Лукьянович того, кто додумался снести бесценный документ на помойку. Так бы и канул он в вонючем контейнере, в отбросах бытия. Присмотревшись внимательно, он обнаружил на странице со стихотворными строфами следы собачьих лап. Автор сего безобразия рылся поодаль в отбросах.

Павел Лукьянович топнул на кобеля, тот ощерился, но не зарычал. И так посмотрел на него усталым своим, безадресно преданным взглядом, что хоть бери его домой вместе с письмом. Но, подумав, что всех все равно не спасешь, и утешившись этой мыслью, он сложил письмо монаха вчетверо и опустил на дно ведрышка, застланного чистой газетой.

Дома, тщательно вымыв руки, Павел Лукьянович разложил письмо на столе и направил на него настольную лампу. Жил он на первом этаже, куда свет проникал слабо. Деревца, которые он самолично высадил, за двадцать лет вымахали до небес, – освещение пожирает электричество не только у него в квартире, но и у соседей. Те велели ему обратиться в исполком с просьбой – пусть пришлют агрегат распилочный. Просить? Это уж извини-подвинься. Его принцип прост – делай сам. А чего не можешь – не делай, и не проси.

«Я уверен, – Павел Лукьянович приблизил к глазам ветхие листы, подпаленные временем, – я уверен, что мое странствие послужит вам во утешение, – ибо жизнь наша искушение на земле, и никто не проходит этим путем без искушения».

Первая и третья страницы были писаны вензелями, жирные завитушки плавно переходили в наклонные волосные; вторая страница была как отпечатана: ижицы возвышались над строкой, буки бутонами произрастали меж твердых согласных; четвертая же была писана красными стихами, строфы располагались шашечками, и здесь особо выделялись еры, вбитые в слова, как колы.

«Сердца глас люблю вас нежно
Вздох последний будет мой,
Когда в приют надежный
Где будет неизменный наш покой», –

складывал он по слогам стихи, а выходило нескладно. «Когда в приют надежный» попаду, там «будет неизвестный нам покой»?

По бокам шли многочисленные приписки; красной глаголицей – приветы и слова благодарности Татьяне Сергеевне, черной же кириллицей, маленькими, но разборчивыми буковками, выражалось требование: "отцу Агапиту письмо доставьте немедленно".

После витиеватых вензелей и засечек в округлой глаголице завершающая часть письма читалась легко и просто. Тут монастырский богомолец обошелся без каллиграфических изысков.

"Письмо ваше получил 29 октября, а вам посылаю 1 ноября на день своего Ангела 1857 года ноября 8. Засим остаюсь слава Богу жив и здоров известный вам доброжелатель и богомолец монастырский К. Казьма Егоров Алымов."

Увлекшись чтением, Павел Лукьянович, не уловил общего смысла послания, написанного разными стилями и почерками. Он вернулся к началу, и с огромным напряжением, теперь из-за усталости глаз, перечел его снова от сих и до сих. Филькина грамота. Вручу ее в качестве подхалимажа библиотекарше, за это получу Пикуля без очереди. Павел Лукьянович посещал библиотеку по средам, и признаться не только из-за любви к чтению. В этот день недели там работала студентка исторического факультета,

умненькая, ладненькая, в очёчках. Она придерживала для него дефицитные книги. Однажды на 8-е марта Павел Лукьянович решил подарить ей шоколадку, но так это поднес, что они оба смутились. Не галантный он ухажер, не научен красивым жестам.

Мирное его уединение нарушали гости, присылаемые Фаиной Ивановной. С этой дамой Павел Лукьянович познакомился позапрошлым летом на Рижском взморье, в пансионате с нежным цветочным названием "Лиелупе". В результате этого, казалось бы, ни к чему не обязывающего знакомства, в его доме стал обретаться весьма странный народ.

Проводив зубного техника Штейна, который покидал родину только потому, что какой-то идиот начертал на его двери свастику, – Павел Лукьянович написал Фаине Ивановне, что он – участник войны, член партии, и такое гостеприимство ему может выйти боком. Настрочил две страницы бисером, но, подумав, разорвал их, и сжег в пепельнице. Объяснение этому гоголевскому поступку он и искать не стал – стыдно стало, вот и всё.

А к рижскому бальзаму пристрастился – соснет из бутылки – и снова в книгу. До того дочитался на пенсии, что из близоруких попал в дальнозоркие.

* * *

"Печаль меня вечная гложет, никто мне, увы, не поможет", – сочиняла в уме Марья Аполлоновна. Ася дремала, прислонившись щекой к ее плечу.

"О себе не заботишься, о ребенке позаботься, дура!" – напутствовала ее подруга, уехавшая в ФРГ и вскоре приславшая ей оттуда вызов. Бумагу с красной сургучной печатью Марья Аполлоновна снесла в ОВИР города Риги. Во имя дочери будь готов! Сама-то она никому не нужна, в том числе и самой. Чтоб удостовериться в собственной никчемности, Марья Аполлоновна взглянула в стекло напротив. Потрепанная шляпа с оторочкой из черно-бурой лисы сидела на ней как абажур на потухшей лампе. Аккуратно, чтобы не разбудить Асю, она сдвинула шляпу на затылок, и в этот момент стекло посветлело, поезд замедлил ход, и Марья Аполлоновна растворилась в коричневом мраморе станции.

– И такая дребедень в предотъездный день, – сказала она и потрепала дочь по плечу. – Наша следующая.

– Неужели ты не можешь говорить нормально, как все люди? – взвилась Ася.

"Чем, ну чем я перед тобой виновата?» – в который раз спросила себя Марья Аполлоновна, и в который раз сама себе ответила – «Всем. Всем".

"Променяю дочку на удачу-строчку", – всплыло в памяти недавнее двустишие, а дальше пошло-поехало: "Ради красного словца не пожалею родного отца. А родной отец тоже молодец, спровадил дочку – поставил точку."

– Под ноги смотри, – сказала Ася.

* * *

– Автобус отправляется до Шереметьева, – объявила кондукторша, протискиваясь сквозь толпу к своему месту. – Гражданка, уберите чемоданы, чей чемодан?

– Два до Бутаково, сколько с нас? – вежливо справилась Мария Аполлоновна, – но кондукторша не ответила, взяла рубль, высыпала в подставленную ладонь горсть медяков, и снова велела убрать чемоданы. – Вперед продвигаемся, граждане, продвигаемся вперед.

– Куда их девать, – спросила Ася проводницу, когда автобус двинулся.

– Не надо было сюда ставить, – ответила она человеческим голосом, – теперь уж пусть стоят.

– Нет, такого прежде дня не бывало у меня, – вздохнула Марья Аполлоновна. – Я человек простой, говорю стихами, – повторила она опротивевшую Асе шутку. – Посмотри на меня, помада не размазана?

Ася наслюнявила угол носового платка, ткнула им в выемку между ртом и подбородком.

– Всё? – улыбнулась Марья Аполлоновна той самой улыбкой, от которой у Аси все деревенело внутри. – Понапрасну лоб не хмурь, мало ль будет в жизни бурь... Ну а нам бы снова что-нибудь съестного…

* * *

– А вот и мы, – Марья Аполлоновна протянула Павлу Лукьяновичу руку, – Знакомьтесь, моя дщерь двенадцати лет от роду. Переобуваться здесь, или за дверью?

– Здесь.

Дамочка сняла сапоги, влезла без спросу в его тапки.

– Ой, у вас даже трюмо есть… Гляжусь в трюмо, а там – дерьмо… Чучело-мачучело, зачем ты меня мучило? Чтоб в день печальный похорон узреть себя со всех сторон…

– Пальто снять не желаете, – буркнул Павел Лукьянович. А может они не отъезжающие? У тех было столько вещей, весь коридор был ими завален, а у этих сумка, авоська и два чемоданчика. Дамочка

сняла пальто и держала его на пальце за ворот. Павел Лукьянович указал глазами на вешалку.

– Значит, вешаемся и проходим в резиденцию?

– Спать будете здесь, – Павел Лукьянович открыл дверь в большую комнату. – Питаться или за этим столом, или на кухне.

– У вас тут прям дворец бракосочетания, – сказала Марья Аполлоновна, и Павел Лукьянович снова усомнился в цели визита, – больно уж неухоженные, девочка-то еще ничего, но мамаша! Редкие рыжие волосы чернели у корней – это первое, что бросилось ему в глаза. Покойная его жена хной красилась регулярно, следила за цветом. Какая уважающая себя дама поедет за границу с такой раскраской?

– Ой, мы ж не с пустыми руками! Ася, неси подарки!

– Ничего мне от вас не надо.

– Кроме ласкового взгляда, – Мария Аполлоновна достала из пакета две бутылки «Рижского бальзама». – Это от Фаины Ивановны, а это от нас. Простите за скудный ассортимент. А вы совсем другой, – трещала Мария Аполлоновна, следуя за Павлом Лукьяновичем на кухню. – Не сочтите за сплетню – кое-кто сказал, что вы бука. Но таким как мы буки от дома отказывают.

– А какие вы?!

– Не беспокойтесь, мы совершенно нормальные, и мы очень вам благодарны. Аська чаю попьет – и куда прикажете, – Мария Аполлоновна вынула из-под ворота кофты белый воротничок блузки, распрямила мятые уголки. – Ась, неси авоську!

Ася принесла.

– Доставай. Угостим Павла Лукьяновича колбаской твердого копчения, рыба у нас с собой хорошая была, но в поезде завоняла, пришлось выбросить. Неудачники мы оба, и сие, видать, до гроба, верно, Аська?

Павел Лукьянович молча отмывал содой и без того чистые чашки. Ася меж тем уткнулась носом в какую-то бумаженцию, лежащую на столе, и читала ее без спросу. Мария Аполлоновна сделала ей замечание.

– Пусть, она ничья, с помойки принес.

– Ась, а что там написано?

– «…ибо жизнь наша искушение на земле, и никто не проходил этим путем без искушения».

– Оставьте все волненья, жизнь наша – искушенье…

* * *

Из Риги они уезжали вдвоем. Марья Аполлоновна стояла в тамбуре, влепившись носом в стекло и ждала, ждала, до последней секунды ждала – вдруг отец сжалится, придет попрощаться, ему до вокзала пять минут. На вдову брата она не надеялась, на младшего брата – и подавно, а вот отец....

Поезд дернулся, дрогнули плечи Марьи Аполлоновны и Ася, прижавшись к ней, заплакала тихо, беззвучно, как взрослая.

– И куда же вас несет, – спросил, наконец, Павел Лукьянович.

– В Германию. Собирались строго по инструкции, электрическая плитка, пластмассовые стаканчики, вместо чайника у нас кастрюлька, но главное – кипятильник, в Риге это дефицит. Две ложки, альпаковые, вот не знаю, нужно ли их указывать в декларации?

– Какие? – переспросил Павел Лукьянович.

– Альпаковые, – повторила Марья Аполлоновна. – И еще перстень мамин с полудрагоценным камнем. – Взгляните, – протянула она ему левую руку с коротко остриженными ногтями. – Я чего опасаюсь – вдруг не пропустят, и передать будет некому.

– Пропустят, – махнул рукой Павел Лукьянович, отвернув взгляд от дрожащей на весу руки, – и не такое провозят. Пустяк.

– Это не пустяк, а фамильная драгоценность.

– Кого интересует ваша фамилия, – усмехнулся Павел Лукьянович.

– Фамилия-то простая, вот отчество у меня заковыристое, Аполлоновна.

– А имя?

– Марья. Как же так, мы и не представились, я-то думала вам Фаина Ивановна все про нас написала. А вы, оказывается, принимаете всех без разбору!

– Меня зовут Павел Лукьянович, и, к вашему сведению, всех без разбору не принимаю. Я вообще эту лавочку прикрою. В Германию… к фашистам в лапы…

– Мы к маминой подруге Лере, – объяснила Ася.

– Вы только нас на улицу не выставляйте на ночь глядя, – сказала Марья Аполлоновна… У нас чемоданы тяжелые. Утрамбованы так, что откроешь – и не закроешь. А по-вашему, где родился – там и умри?

– Мама!

– Да я от этих нервов десять килограмм потеряла. Вон, кожа да кости, – Марья Аполлоновна

похлопала себя по ляжкам. – Мы скоро уедем, уж потерпите как-нибудь… Спасибо, что не убили, не зажарили на сковородке, премного вам благодарна…

Чтобы уйти от взгляда Марьи Аполлоновны, Павел Лукьянович принялся резать колбасу, он стучал ножом по доске, и думал про пса помоечного. Еще тогда, удаляясь с письмом, загадал: пойдет за мной, снесу колбасу, не пойдет – не снесу. Недальновидный пес так и остался при отбросах, а вместо него явилась Марья Аполлоновна с такими вот молящими глазами.

* * *

«Сострадалицы мои любезны!
Что печалиться ведь должно
Мир во прахе покидать,
Человеку ли возможно,
О минутном тосковать», –

читала Ася по слогам, а Марья Аполлоновна кивала в такт, словно бы они разучивали музыкальную пьесу.

– Человеку ли возможно о минутном тосковать, – повторила Марья Аполлоновна в задумчивости. – Вы про это книгу пишете?

– Нет. Я же сказал – нашел на помойке.

– А мы на макулатуру "Графа Монте-Кристо" приобрели, – ляпнула Марья Аполлоновна ни к селу, ни к городу. – Ася в нем души не чает.

Ася покраснела и пулей вылетела из кухни.

– Она очень стеснительная. Еще и за меня приходится краснеть. Бывает, устанешь и несешь всякую чушь, иногда в стихах. У меня словесный понос, извините за выражение, еще в школе начался. …Признайтесь, вы историк? Моя Аська помешана на истории.

– Я пенсионер.

– Раз не признаетесь, значит, засекреченный. Я вот любому могу свою трудовую книжку показать. Это не книжка, а роман в двух томах. Хотите посмотреть?

– Увольте, – сказал Павел Лукьянович, и, взяв в руки газету, спрятался за ней от Марьи Аполлоновны.

"В своей квартире места не найти! – жалел себя он, скользя невнимательным взглядом по газетным заголовкам. – Я не монах с помойки, чтоб утешать. И надо написать Фаине Ивановне, что отъезды в ФРГ не одобряю дважды. Допустим, еврей уезжает, чтобы жить среди своей нации. А эти что?

– Так вот, никакого багажа, – прорвался в сердитые мысли голос Марьи Аполлоновны. – С вами, то есть с нами, – должна быть сумка с провизией, консервами и колбасой, посуда из домашних запасов, электроплитка, кастрюля, 2 ложки, открывалка для консервов и нож. Никаких глупостей, вроде простыней или янтаря, разве что маленькие пустячки, если кто на память подарит".

Павел Лукьянович взглянул на Марью Аполлоновну поверх газеты. Та плакала над какой-то бумажкой.

– Прекратите сейчас же! Сколько ко мне таких как вы приезжало, и никто, извините, нюни не распускал.

– Ася, иди доча спать, – сказала Марья Аполлоновна ласково, – иди, котик.

«Красивая девочка, – подумал Павел Лукьянович, – кудрявая, голубоглазая, видно, в отца пошла.

– Родня-то у вас там есть? – спросил Павел Лукьянович Асю, заправляя простыню.

– Нет. Только тетя Лера, мамина подруга. А так все в Риге остались, и дедушка, и дядя с тетей. Зато у тети Леры есть Тим. Дворняга. Она ее отсюда вывезла. И столько денег угрохала! На животных пошлина большая.

– Разденешься – погаси свет, – скомандовал Павел Лукьянович и вышел из комнаты.

Он умылся холодной водой, смочил расческу, зачесал упрямый вихор. Ощупав руками шершавые щеки, он взялся за бритву, хотя с роду не брился на ночь. В преддверии долгой беседы – спать он собирался в кухне, и пока мадам не выговорится, он раскладушку не расставит, – Павел Лукьянович напился капель Вотчела, засосал капли сложным сахарком – лекарством собственного приготовления, и предстал перед Марьей Аполлоновной.

Та спала, уткнувшись грудью в стол, но, ощутив на себе его взгляд, открыла глаза и сказала:

– Вы совсем другой.

– Не бука.

– Нет, не бука. И помолодели на двадцать лет.

– Если вы умоетесь холодной водой, приведете себя в порядок, причешетесь перед зеркалом…

– Это я с удовольствием, – сказала Марья Аполлоновна, потягиваясь и выгибая спину по-кошачьи.

– Слушьте, – обратился он к ней, когда она, наконец, вышла из ванной, шаркая по полу в его тапках. – У меня этих бутылок пропасть. Вот жду, кто бы от меня в Ригу поехал, там у вас принимают.

– А Фаина Ивановна?

– Ох уж эта ваша Фаина Ивановна!

– Честно говоря, я ее не знаю, она знакомая моих знакомых. И, положа руку на сердце, – Марья

Аполлоновна приложила руку к худой груди, – у меня в Москве есть школьная подруга, я ее просила, но она отказалась. Дюже идейная.

– А я, по-вашему, безыдейный! – взорвался Павел Лукьянович. – Я-то чем обязан – член партии, участник войны, чем, я вас спрашиваю! За кого я свою кровь проливал, за таких, как вы... – "предателей" – чуть было не сорвалось с языка.

Марья Аполлоновна низко пригнула голову, выставив на обозрение макушку, которая после мытья розовела под редкими волосами.

– Я, понимаешь, собаку не взял, а вас взял!

– Правильно, – еще ниже склонилась Марья Аполлоновна. – Правильно. На меня все кричат, так что не стесняйтесь. Я привыкла. Лера меня перевоспитает. Она – волевая. Старше мужа на десять лет, а приучила его к стойлу. А у меня было три мужа: один подлец, другой подонок, а третий просто негодяй.

– Ася-то чья?

– Ася – первого, подлеца. Он в Израиле давно.

– Подлец – и в Израиль уехал!

– А подонок-то с негодяем здесь остались. Знаю, знаю, что скверно, – сжалась Марья Аполлоновна под осуждающим взглядом. – У меня все так: жизнь проходит пресно, малоинтересно, звякая и тикая, мчатся дни безликие...

– Прекратите грызть губы!

Марья Аполлоновна вынула из сумочки лекарство, выдавила таблетки из-под фольги и проглотила, не запивая.

– Последнего жалко. Алкоголик. А душа хорошая. Я его и так, и сяк, и торпеду мы ему вшивали, без толку. Воли у него нет.

– Без воли никуда, – заключил Павел Лукьянович и глотнул бальзама из рюмки. Марья Аполлоновна компанию не составила.

– Язык немецкий знаете?

– Два слова. Битте – Данкешен.

– Это три слова. Вы вообще-то учились где-нибудь?

– Я женщина с образованием и трудовым стажем, – облизала губы Марья Аполлоновна. – Ближе к культуре, дальше от денег. – Тут все написано, – сказала она и вложила в руки Павла Лукьяновича трудовую книжку.

– Контролер с высшим образованием, техник на судоремонтном заводе, – как вас к технике-то подпускали? Воспитатель детского сада...

– Это из-за Аськи.

– А это из-за кого – старший кладовщик пряжи в ткацком производстве? И контролер сырья, и страховой агент!

– Лаборант, комендант общежития, стрелок... – продолжила она послужной список.

– Не суфлируйте, – Павел Лукьянович перелистывал страницу за страницей. Добравшись до вкладыша, он перевел дух и выпил бальзама. На последнем месте работы продержалась месяц: принята "нештатным страховым агентом в октябре 78 года, уволена в ноябре 78 года".

– Это из-за подачи. Чтоб людей не подводить.

– Спрячьте и в ФРГ никому не показывайте, не позорьте Советский Союз! Куда только отдел кадров смотрел?!

«Туда же, куда и я», – ответил он себе, взглянув на Марью Аполлоновну: карие глаза с поволокой излучали тихий скорбный свет, в трещины обкусанных губ набилась помада.

– Перестаньте грызть губы, вы – взрослая женщина!

– Правильно, – согласилась она и закрыла рот. Прозрачные капли нависли над нижними веками, растеклись по щекам, оставляя блестящие следы на пудре.

– Спать, – велел Павел Лукьянович и, подойдя к Марье Аполлоновне, поднял ее за плечи.

– Я вас никогда, никогда не забуду, – прошептала она и, резко повернувшись, чмокнула его в щеку. – Ради этих рандеву, я на свете и живу.

* * *

«Ох и досталось бы ему от Софьи на орехи», – подумал Павел Лукьянович, прилаживаясь головой к подушке. Нет, такого она просто представить бы себе не могла. Жена работала в центральной газете, но ее именем подписано лишь несколько проходных статей, поскольку главным ее делом было сочинение передовых за видных деятелей партийного аппарата, на любую тему. Вот кто чутко следил за всеми переменами в воздухе! Не будь она человеком строгих правил, она при Хруще могла бы занять место во главе идеологического отдела партии. Но у нее были принципы – подачек не брала, от трехкомнатной квартиры отказалась. Это, конечно, жаль, так было бы место для гостей, и Павлу Лукьяновичу не пришлось бы спать на раскладушке.

Гостей у них не было и детей не было. Одни передовые. Они читались вслух, и Павел Лукьянович отмечал повторы и несуразицы. Порой мысль сбивалась в колтуны, и надо было ее «расчесать». Замечания по стилю Софья принимала спокойно, а на

принципиальную критику ярилась. Ходила из угла в угол, разгоняла обиды. Так что Павел Лукьянович из бойцов на передовой стал парикмахером передовых, – то подкорачивал, а то и стриг наголо.

Заслышав шарканье, он привстал на локтях и посмотрел в стекло кухонной двери. Марья Аполлоновна выносила из комнаты в коридор чемоданы и сумки. «Кофту оставлю, – шептала она, – туфли оставлю, ничего лишнего».

Не понимает он женщин. Даже жену свою, с которой полвека прожил.

* * *

– В жизни множество проблем, что надену, что поем, – поприветствовала Марья Аполлоновна Павла Лукьяновича спозаранку. – А можно я вам Асю оставлю? Не хочется тащить ее на таможню. Она и обед сварит, и приберет, главное, давайте задания. А я дотащусь. Из настоящих тяжестей тут посуда, электроплита …

– Довольно, – прервал ее Павел Лукьянович.

– Я с утра тоже раздражительная. Пошлите меня к черту.

Павел Лукьянович с удовольствием послал ее к черту, однако помог вынести чемоданы в коридор.

– Спасибо, теперь уж я сама справлюсь, – сказала Марья Аполлоновна, слизывая помаду с губ и глядя на него тем взглядом, которого он терпеть не мог.

«Провалитесь» – чуть не сорвалось с языка. Он нес чемоданы до остановки и думал: «С ФРГ шутки плохи. Это не Израиль – такси с вещами приехало, такси с вещами уехало, моя хата с краю, ничего не знаю».

* * *

О чем говорят с девочками? Кажется, он никогда с ними не разговаривал. А с мальчиками разговаривал, с ними проще найти тему – машины, танки, бронетранспортеры…

– Тебе какой предмет нравится? – спросил он Асю.

– Мне нравится история, – ответила Ася.

– А литература?

– Так себе, — Ася нарезала хлеб тонкими ломтиками. «Она и обед сварит, и приберет», – вспомнил он слова Марьи Аполлоновны, и сердце сжалось. Как она справится одна с такой тяжестью?

– По литературе у нас классная. Она как пронюхала, что мы собираемся, устроила собрание – исключать из пионеров. – Ася перехватила кудри вязаной ленточкой, взбила в миске яйцо и, держа ломтик хлеба двумя пальцами, осторожно положила его поверх желтой жижи. Как бумажный кораблик в ручей. — Подумаешь, у нас эту селедку все равно никто не носит.

– Галстук – не селедка, – возразил он, но распространяться не стал.

Гренки шипели на раскаленной сковородке, Ася ловко переворачивала их ножом и складывала в тарелку.

"Поваром будет, – заключил Павел Лукьянович. – Или официанткой. Или покатится по наклонной, как мамаша.

– Ты и дома все сама делала?

– Да. Мама целыми днями работала. Убираться ходила к одним за пятерку. И полотер у них сломала. Мы с этим полотером пол-Риги обошли и заплатили двадцать рублей за ремонт. Мама расстроилась, а потом получила посылку от тети Леры, мыло, кофточки и туфли, продала все и решила ехать в Брауншвейг. Потом квартиру продавали, и самое-то главное, кошка у нас была, Муська, мама не знала, куда ее пристроить. Только позавчера нашли одну тетку, мама к Муськиной шее десятку на веревке привязала и снесла. А дома с ней нервный приступ случился.

– Спасибо за вкусный обед, – сказал Павел Лукьянович и удалился в комнату.

"Татьяна Петровна, ты не скорби обо мне, но утешайся, твоего внутреннего сокровища никто не может похитить у тебя, твое сердце оросил Господь благодатью. Твоя слезная молитва как фимиам возносится перед Богом. О чем ты стараешься, Господь все приведет во исполнение, исполнит все твои прошения. Еще ты пишешь насчет часов. Сам не пишу – не смел писать. Хорошо то истинно бы сделал Петр Козьмич для меня милость такую хотя маленькие и немудрые бы прислал часы для моей жизни абы знал время, когда в какие часы чем мне заниматься, осчастливьте".

Господи, что за мир такой, и высокий, и убогий, – монах с елейным голоском, и эти, беззащитные твари земные… – возвышенно думал Павел Лукьянович, подпав под гипноз монаховой речи. – Почему я никогда никого ни о чем не просил? Воевал, рисковал своей жизнью, ни на бога, ни на черта не кивая. Потому что в человека верил, в человека сильного, мужественного, гордого. Чего монаху надо? Чтоб письмо передали немедленно, а сколько страниц празднословия наворочал! Чего всем надо? Жить лучше. Ну и катитесь! Нет, им еще сочувствие подавай, жалей их, бедненьких.

Павел Лукьянович застучал по столу

костяшками пальцев, Хруща вспомнил... Это по нему, кадровому военному, Хрущ ударил – пайка лишил, почета лишил, веру убил – в непоколебимость линии. С другой стороны, в истории ничего не происходит вдруг. В ней назревают события. Значит, назрела необходимость, и она привела к изменению политики партии, к раскачке самого строя.

– Ау, – послышался звонкий голосок, и Павел Лукьянович поднял глаза. Перед ним стояла Ася. Ей надоело сидеть на кухне. Она волнуется за маму. Лучше б она поехала в Шереметьево.

– У меня, наверное, душа в животе, – вздохнула девочка, – от страха там все переворачивается.

– Дождемся, – сказал Павел Лукьянович, – Там долго держат. Когда Кацы уезжали, их освободили только к ночи.

– Их было много, а мама одна, – резонно возразила Ася. – Отпустите меня. Я найду дорогу.

"Большая, доберется, остановка близко, – думал Павел Лукьянович, зашнуровывая ботинки. – Посажу в автобус и вернусь".

– Ухватись-ка за меня, скользко! Плохой год, – выдохнул Павел Лукьянович густой белый пар, – снега выпало мало, а промерзание глубокое. Наш, побежали! – скомандовал он, завидев четыре огонька с тускло светящимся в голове прямоугольником.

– Я сама поеду, – сказала Ася, но Павел Лукьянович вскочил в автобус.

– До Шереметьева, два.

– Сорок копеек, – кондукторша оторвала билет от толстого рулона, висевшего на груди, и погрузилась в дрему.

"Зря это я, – переживал Павел Лукьянович, – засекут, доложат, потом не отмоешься".

– А мы не проедем? – Ася проделала пальцем темную дырочку в заиндевевшем окне, но она тут же затянулась белой пеленой, ничего не разглядеть.

–Конечную не проедешь, – ответила за Павла Лукьяновича кондукторша.

* * *

День быстро угасал, как ему и положено в конце декабря. К застекленному зданию, похожему за гигантский аквариум, подкатывали такси и иномарки. Из них выпархивали женщины в шубах и мужчины в дубленках. Они что-то говорили на чужом языке. Заграница оказалась в двадцати минутах езды от дома. Павел Лукьянович здесь никогда не был.

Стоило им подойти к стеклянной двери, как она сама раздвинулась перед ними, и они вошли в зал. Сверху, за стеклом, у самого потолка, стояли военные и смотрели вниз, в толпу. "Пропало, засекли", – подумал он.

Перепрыгивая через чемоданы и коробки, Ася бросилась к матери. Марья Аполлоновна сидела на самом виду, против входа. Зеленое дерматиновое сидение было заставлено чемоданами и картонными ящиками, принадлежавшими, по всей видимости, восточной семье с целым выводком детей. Справа стояло человек семь в зеленых штурмовках – конвой? А слева – по виду наши, русские, почему-то говорившие по-немецки.

Павел Лукьянович дальше не пошел. Ему и отсюда было видно и Марию Аполлоновну, и все, что происходило вокруг. Рядом с ним был автомат с газировкой. Павел Лукьянович ополоснул стакан и сунул монетку в щель. Автомат заурчал, выплюнул в стакан пузырчатую воду. Напившись, Павел Лукьянович расстегнул пальто, освободил шею от шарфа, снял с головы каракулевый пирожок.

Марья Аполлоновна зазывно махала ему рукой. Идиотская улыбка, напомаженный рот, и взгляд, нацеленный в душу. Совершил посадку самолет из Вашингтона, – производится посадка на Париж… Какие-то люди появлялись в застекленном переходе на втором этаже, под неоновой вывеской "Рашен сувенирс" – и те, что внизу, махали руками тем, что наверху, выкрикивали какие-то имена и подбрасывали в воздух шапки.

"Немедленно домой», – решил Павел Лукьянович, пробираясь к Марье Аполлоновне сквозь заслон из коробок и чемоданов.

– Пойдемте в кафе, я с утра ничего не ела, – предложила Марья Аполлоновна, – от вещей не могла отойти. Так сиднем и сижу. Теперь хоть есть кому посторожить… Не дожидаясь ответа, она взяла Павла Лукьяновича под руку и повела в другой конец зала.

– Откуда вы знаете, где кафе?

– Пока вы от нас прятались, я все разузнала. Видите, написано: «Кафе».

В кафе Павел Лукьянович тоже не бывал. Целая жизнь прошла мимо.

– Присаживайтесь, а я в очереди постою.

Павел Лукьянович возражать не стал, положил на один стул шарф, на другой – шапку, – место занято. Купив в киоске напротив трехрублевый набор шариковых ручек и газеты «Правду» и «Известия», он вздохнул с облегчением – пресса наша, значит и территория наша, наш человек имеет полное право на ней находиться.

– Это от меня, на память, – протянул он Марье Аполлоновне пластмассовую коробку, – если стихи

будете писать…

– Не знаю, не знаю, как я вам... за все, за все, за все, – прошептала Марья Аполлоновна.

– Будет вам, – приструнил он ее, – пейте кофе и ешьте.

Марья Аполлоновна откусила булку и застыла с открытым ртом.

– Глотайте, – скомандовал Павел Лукьянович, – жуйте и глотайте. – Никогда прежде не доводилось ему командовать женщинами, и как же ловко у него это выходило.

– С утра очередь двигалась быстро, а на горских евреях застряла. Видели, какой у них багаж. Я за ними. За мной чеченец.

– Чеченца я не заметил.

– Он такой приставучий… По паспорту он грек. Двадцать лет пытается выехать к брату в Сан-Франциско. Брат – миллионер, представляете? Но у него такая дикция, половину алфавита не выговаривает. Так-то он дядька добрый, в туалет меня отпустил, я ж одна с вещами, – тараторила Марья Аполлоновна. – Он девственник, он мне сам сказал, – не знает вкуса женщины. И при этом крупный электрик. Озолоти его, он бы здесь не остался – за этот месяц в Москве он так промерз! В гостиницу не пускают, потому что паспорт заграничный.

– Ну что мне за дело до этого чеченского грека, – рассердился Павел Лукьянович.

– Плету ерунду на лету… Зато Аська в вас влюбилась. Пока вы воду пили, она рассказывала, какой вы… – Марья Аполлоновна поперхнулась, булка в горле стала, ни туда-ни сюда.

– Жуйте! У вас потому и болит все, что вы глотаете, не разжевывая. – Павел Лукьянович поднялся с места и постучал кулаком по ее спине. Правда, кожа да кости.

– Все на свете бренно, лишь здоровье ценно, – сказала Марья Аполлоновна и накрыла своей ладонью его руку. – А я там кусну, здесь щипну…

Павлу Лукьяновичу вдруг привиделось, что он рвет билеты в ФРГ, ведет Асю на учебу в нормальную советскую школу, а Марью Аполлоновну – на работу в нормальной советской библиотеке, там как раз есть вакансия.

* * *

Автобус словно специально его дожидался.

– Дедуль, вы чего это, нараспашку, – всплеснула руками кондукторша.

Павел Лукьянович застегнул пальто, насупился. Его еще никто не называл дедулей. Он все еще казался себе молодым, – выправка военная, седины в светлых волосах не видно…

– Холод какой, – сказала кондукторша. – Сегодня тут кофе давали растворимый в упаковочках, набрала полную сумку – и все этим оглоедам!

Павел Лукьянович отвернулся, уткнувшись в газету, – не желает он разговаривать.

Дома он первым делом посмотрел на себя в трюмо. Со всех сторон в порядке. Прямой, высокий, живот не торчит, чего бабка наговаривает! Зазвонил телефон.

– Павла Лукьяновича будьте любезны, – послышался женский голос.

– Слушаю.

– Мы от Фаины Ивановны.

– Провалитесь! – гаркнул он и бросил трубку.

По телевизору шло "Время". В какой-то стране полиция разгоняла дубинками толпу демонстрантов. На этом месте он и уснул. Разбудил его хор Пятницкого. Прошло два часа. Павел Лукьянович выключил телевизор, обулся, оделся и вышел из дому.

В простенке между входными дверьми дремал белый кобель, короткая белая шерстка вздымалась от дыхания. "Что-то уж больно чистый, может и вовсе не бездомный он", – подумал Павел Лукьянович.

– Понравилось со мной кататься, – обрадовалась ему кондукторша и дедулей уже не обозвала.

* * *

Марьи Аполлоновны на месте не было. Зеленое дерматиновое сидение было занято другими людьми.

– Вы не видели тут женщину в шляпе с меховой оторочкой, небольшого роста, с ней девочка двенадцати лет, такого же роста примерно…

– Шмотрят их, – отозвался смуглый мужчина, сидевший поодаль. Павел Лукьянович готов был обнять чеченского грека. – Там они, – указал он рукой за фанерную загородку.

И Павел Лукьянович, не раздумывая ринулся туда, но был остановлен девушкой в форме.

Как он попал, как она его пропустила? В помещении было много столов, и за каждым шла работа. Марию Аполлоновну досматривали в глубине зала, но ее было слышно и оттуда.

–Ложки альпаковые… перстень позолоченный…

Павел Лукьянович вышел, уселся рядом с чеченским греком.

– Вшё, – развел тот руками. – Коштюм выброшил, килограмм кофе в мушорный ящик

жапихал. Рашшкажать, что я ждешь вынешь – это челая книга. В Мошкве по вокзалам шаталшя. Вше вещи ш шебя продал. Вше. Жавтра Рим. Пошлежавтра – Шан-Франшишко.

* * *

Отослав Асю готовить ужин, Марья Аполлоновна завалилась на кровать, аккуратно застеленную белым пикейным покрывалом, а Павел Лукьянович ходил по комнате, не зная, где приземлиться.

– У меня к вам несколько просьб, – спокойно, как умирающая в минуту последнего просветления, начала Марья Аполлоновна. – Теперь у меня никого нет. Сюда я не вернусь, родные не позволили писать им даже до востребования. Все порвано. Кто прав, кто виноват, не нам судить.

Набравшись смелости, Павел Лукьянович присел на край кровати. Человек сам себе судья.

– Надо трезво оценивать свои поступки, – сказал он.

– Трезво оценив свои поступки, я поняла, что осталась бы с вами, – ответила Марья Аполлоновна. – Думаю, и вы были бы не против.

– Я?!

– Вы, – подтвердила Марья Аполлоновна. – Но это невозможно, – произнесла она по слогам. – Так вот о просьбах. У нас осталось сто рублей.

– Не возьму, – отрезал Павел Лукьянович, – клянусь именем покойной жены.

– Что же делать?

– Я должен решать, что вам делать с вашими деньгами?!

– Не кричите на меня, я и так еле держусь. Тяжело вас терять…

– Не надо давать воли ни с того, ни с сего нахлынувшим на вас чувствам. Сегодня я вам дорог, а завтра вы будете разгуливать по ФРГ и строить глазки шпрехензидойчам.

– И на каждом я шагу у тебя по гроб в долгу, – сочинила в ответ на это Мария Аполлоновна и притянула Павла Лукьяновича к себе.

– Вы такая, какая есть, – прошептал он ей на ухо, и в ответ на это у Марьи Аполлоновны уж совсем не к месту снова родились стихи: «Приезжайте, и тем паче – я одна на целой даче. Но без шляпы и вуали я б вам понравилась едва ли».

* * *

Выпроводив Асю из кухни, он выпил рижского бальзама, выдохнул обиду и рассмеялся, представив Марью Аполлоновну, лежащую нагишом в шляпе с вуалью.

Марья же Аполлоновна лежала, вцепившись зубами в подушку, и молила об одном – не сойти с ума, дождаться последнего рассвета на этой земле, пройти проверку ручной клади, дойти до трапа, и все. Сотню и записную книжку она подложила под письмо монаха, колбасу вернули – целиком нельзя, только в виде бутербродов.

* * *

Когда они приехали на аэродром, на табло уже светилась "Вена". Им туда. Они летят с пересадкой.

– На Вену проходите, – сказала стюардесса, и они прошли.

– Пропустите, пропустите же, – послышался из-за загородки голос Марьи Аполлоновны.

– Нельзя, – ответил мужской голос, – раньше надо было прощаться.

– Я не знала, что это все, – говорила Марья Аполлоновна, – я в первый раз улетаю.

Павел Лукьянович пошел туда, где стояли все, запрокинув головы, и ждали, когда по стеклянному переходу пройдут гуськом отъезжающие. И когда те, наконец, появились, началось то же самое, что вчера – крики, шапки вверх. Марьи Аполлоновны все не было. Может, они не знали, что надо идти ближе к этой стороне, и затесались в дальний ряд? Толпа провожающих редела. Записка, заготовленная на прощание, взмокла в ладони.

«Я уверен, что ваше странствие послужит вам во утешение, ибо жизнь наша искушение на земле, и никто не проходит этим путем без искушения", – это напутствие из помоечного письма он перекопировал слово в слово, разве что заменив «мое странствие» на «ваше».

Верхний коридор опустел. Светилась красным вывеска «Рашен сувенирс». Павел Лукьянович побрел к выходу. Подкатывали машины, проходили индусы, негры, американцы и пес знает кто… Жизнь проходит пресно, малоинтересно, звякая и тикая, мчатся дни безликие… – звенел в ушах голос Марьи Аполлоновны.

Из-за этих рандеву я на свете и живу, – ответил он ей ее же словами. От себя добавить было нечего. Разве что про тленность упованья и бессмертия венец. Филькина грамота.

Сергей Потимков

РАЗБУДИТЕ СЛОВА!

* * *

Литература – литерная вещь.
И дух ее буквально вещ.
Мы дни, как книги, пролистаем.
Мы так живем, как мы читаем.
Не попадаешь с жизнью в такт?
Ты что-то прочитал не так.
Не тех ты, видимо, читал.

ЖИЗНЬ КАК ВОЯЖ

И едешь ты, и еду я.
Мы едем в разные края.
Мы едем в разные Австралии.
Мы едем в разные Анталии.
Мы едем в разный Пакистан
По нежилым любви местам.
Мы едем в разный Эквадор,
Не прекращая давний спор,
О том, кто был виновен более.
Мы едем в разные Монголии.
Мы едем ночью, едем днем…
Давай на все рукой махнем!
Давай в Италию махнем –
и старость Римом назовем.
P.S. Ты помнишь Эфиопию?
Там спят объятий наших копии.

* * *

Разбудите слова! Разбудите –
те, что лжи разрывают силки!
Пусть пилоты правдивых событий
фюзеляжем пробьют потолки!

Разбудите слова! Разбудите!
Тормошите! Не дайте заснуть!
Чтоб счастливым народом стал зритель,
надо сцены подковами гнуть!

Разбудите слова! Разбудите!
Пусть гудит кочевой Интернет!
На Камчатке, на Фиджи, на Крите –
на вопрос задавайте ответ!

Разбудите Слова! Разбудите!
Было Слово в начале начал,
что кружило по сонной орбите,
пока Бог его в блог не скачал.

FIAT VOLUNTAS TUA
(ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ)

Примите в круг меня, поэты,
В свой неразрывно вечный круг.
Я лишь сейчас прошу об этом,
Когда шутить мне недосуг.

Когда рекой течет дорога
и исчезает в вышине.
Когда я так поверил в Бога!
Когда он так поверил мне!

Примите в круг меня, поэты,
Пока душа поет в огне,
Пока молю я вас об этом,
Пока мне кажутся заветом
Три странных слова на стене.

ЛЕТО 2014-ГО

Долгое лето продлится недолго.
Мальчики выполнят прихоти долга.
Все тут по-разному может сложиться.
Кто-то гробы отвезет сослуживцев.
Кто-то болтать будет свежей культей.
Кто-то болтать о победе святой.
Кто-то заполнит пробелы таблиц…
Светятся звезды, как вечности блиц.
Не зазвучит больше: «Долгие лета…»
В неба глазнице луна, как монета.
Днепр – это Днепр.
Ну, а Волга – есть Волга.
Лето, ребята, продлится недолго.

КАЛЕНДАРЬ НА ЛАДОНИ.

Календарь на ладони.
Календарь на ладони.
Разгадай, хиромант,
цифр и линий изгиб.
В ледяной Лете кто,
задохнувшись, утонет?
Кто воскреснет опять?
Кто навеки погиб?..

Распадается наше
священное братство.
Да, успение – всех
неизбежный удел.
Но я помню всегда вас,
мои одноградцы.
С кем-то смог попрощаться,
с другим – не успел.

Проживу эту жизнь,
всех друзей вспоминая,
неуемный огонь,
и забуду…
когда,
все листки закрывая,
календарика том
перевесит ладонь.

Валерий Дашевский

ГОРОД НА ЗАРЕ

I.

Гора битого кирпича пополам с обломками бетонных перекрытий, громоздившаяся внутри полуобрушенного остова четырехэтажного здания – старинного, с эркерами, французскими балконами и прогоревшими узкими окнами – была именно тем, что искал Розенберг: она лежала под торчавшими из стен балками, точно на дне колодца, и восходящая пустота над ней полнилась сиянием утреннего солнца, бившего в проемы окон. Велев рабочему ждать, Розенберг – или Роза, как называли его в этом городе тридцать и даже сорок лет назад – осторожно поднялся на самый верх горы. Там он постоял, озираясь в клубившейся солнечной пыли – высокий мужчина в темных очках и легком плаще, уместном в это холодное лето. Все было так, как пожелал Фрей: модель – человек с собакой – должна была идти, оступаясь, по этим камням навстречу заре.

Розенберг пошел назад, стараясь не вдыхать запахи гари и нечистот, преследовавшие его после Боснии.

– Поехали, – сильно заикаясь, сказал он рабочему.

– Тут снимать запрещено, нужно разрешение – здание аварийное. Охраняется милицией.

– Отнеси им двести долларов, – сказал Розенберг.

Он вытащил бумажник, дал деньги рабочему, прошел за ограждения и сел в машину.

Он не был в городе лет пятнадцать, с тех пор, как похоронил отца, и теперь разглядывал сквозь ветровое стекло полуразрушенные исторические здания, убогие вывески одноэтажных магазинов, высившуюся впереди башню собора (путь от вокзала в город, проделанный им сотни раз) и думал, что Фрей был прав: умиравший столько времени, сколько он помнил себя, город превращался в развалины, в гибнущий мир, из которого, однако, жизнь упорно не желала уходить.

Для съемок нужны были: нежилая квартира с высокими потолками, дверьми с разбитыми косяками и чугунной ванной у стены в большой комнате (так было в постановочном плане); подъезд с широкими лестничными маршами и подоконником у высокого окна в узкий двор (в таком доме на Рымарской[1] вырос Розенберг); фотограф на пробы, студийный свет, аккумуляторы, визажист и модели – мужчина и четыре женщины возрастом за пятьдесят. Последних Фрей намеревался снять в серии для Венецианского бьеннале – иначе, чем Олаф[2], о котором он рассказал Розенбергу: не старухами от bourgeois bohemian[3] в корсетах и в белье от Calvin Klein, а старящимися любовницами, живущими в развалинах прошлого. Так было написано в синопсисе[4] и так Фрей объяснил Розенбергу, глядя с легким раздражением на приоткрывшего рот собеседника и явно спрашивая себя, впрямь ли здоровенный, медлительный с виду Розенберг точно понимает, что от него требуется. Под конец он сунул Розенбергу журнал с «Mature» и несколько фотографий Лобанова.[5]

Это было не единственное поручение. Розенберг должен был повидать Ходоса[6], главу городской еврейской общины, передать ему письмо некоего Хильштейна и привезти ответ. Он часто выполнял

[1] Упоминаемые в рассказе улицы, площади, вокзалы и т.д. за некоторыми, понятными из контекста исключениями, расположены в г. Харькове и Харьковской области. (Прим. ред.)

[2] Эрвин Олаф – известный голландский фотограф.

Здесь и далее, за исключением отдельно указанных случаев, – примечания автора.

[3] bourgeois bohemian (фр.) – богемная буржуазия.

[4] Синопсис (лат.) – максимально краткое изложение съемки.

[5] Руслан Лобанов (Украина, Киев) ─ мастер современной эротической фотографии

[6] Ходос Эдуард Давидович — писатель и публицист, украинский общественный деятель, в прошлом глава еврейской общины в Харькове.

поручения людей, в глаза им не виданных, но исправно плативших – деньгами или покровительством. В облике этого рослого, сильного мужчины было что-то не по возрасту мальчишеское – привычка приоткрывать рот, вопросительно-выжидательное выражение синих глаз на костистом, веснушчатом лице – не вязавшееся со слухами о его занятиях: рэкетир и, как поговаривали, наемник, а теперь совладелец крошечного магазина в Хайфе, почти лавчонки. Он просиживал перед ней целые дни, покачиваясь на стуле и провожая глазами женщин – загорелый, в шортах и кожаных сандалиях на босу ногу, ни дать ни взять зажиточный французский еврей из тех, что в последние годы наводнили город.

Он прожил в Израиле больше десяти лет; последние пять лет жил с марокканкой-маникюршей, – некогда изящной, точно эбеновая статуэтка, а теперь располневшей и говорливой, – равнодушный к ее стряпне, ярким платьям и тяжелым украшениям. Толком не посмотрел страну, ни разу не вошёл в синагогу. Радио и израильских газет (он кое-как выучился читать на иврите) ему было достаточно. Когда Фрей предложил ему работу, он рассудил, что охранять съемки и развозить девчонок лучше, чем торчать у магазина или на море. Он жил день за днем, не вспоминая прошлое, думая о нем не больше, чем о будущем. Дни, исполненные праздности, почти не отличались друг от друга: утром – шум мусоровоза, фонарь, горящий в светлеющем небе, полосатые отсветы на стене, на женском теле в постели; днем – неколебимый зной, нисходивший с синего неба на утопавшие в тропической зелени дома; вечерами – телевизор, виски, к которому он здесь пристрастился, шумные вылазки в Тель-Авив или в рестораны на набережной, изредка – партийные съезды, реже – происходившие в глубине крошечных кофеен или в закоулках рынков встречи с обросшими людьми в кипах или шляпах по шестьсот долларов, в грязных взопревших майках или расхристанных по жаре рубахах.

Прошлое было тем, от чего он уходил, когда время истекало или место исчерпывало себя, – уходил, будто расписываясь в том, что жизнь снова не оправдала надежд, не стоила затраченных усилий.

Пятьдесят лет назад, мальчишкой, избитый в кровь, он позвонил в дверь известного боксера, жившего неподалеку, а когда тот открыл, выдавил из себя: «Я пришел, чтоб стать похожим на вас!» Эта пламенная искренность и святая вера в кулачную отвагу как в способ одолеть жизнь в рабочем городе с тяжелым укладом, где для еврейского парнишки было лучше не уметь читать, чем не уметь драться, открыли ему двери в большой бокс. Розенберг не преуспел в нем; но на двадцать лет ринг стал его жизнью, а зал в полуподвальном помещении хоральной синагоги, ныне возвращенной городу – его alma mater. Он возлюбил этот мирок всей душой, больше дома, больше города, перестававшего существовать вне стен, на которых крепились пневматические груши и зеркала; он отдавал всего себя этому мирку – запахам канифоли и пота, дроби и рокоту снарядов под забинтованными кулаками, боям и боли, которую он научился принимать так, чтобы тут же забывать о ней. Он понял, что пора уходить, когда дважды проиграл нокаутами (не поколебавшими, впрочем, его духа), не поднявшись выше чемпиона Кубка Союза, республики и двух универсиад. «А, Роза! Привет, Роза! Как поживаешь, Роза?» – первые годы вне зала его хлопали по плечу и отходили, когда он силился ответить; потом он осознал силу молчания, (как позднее – страшную силу своих кулаков в жесточайшей уличной драке), действовавшего сильней криков, угроз и доказательств. Именно эти качества – терпение и молчание – предопределили его судьбу не меньше, чем стойкость и способность без рассуждений принимать все как есть, жить, как живется, пока жизнь давала такую возможность.

А потом мать умерла, промучившись полтора года.

Он продал машину и истратил на врачей, лекарства, фрукты и икру все, что заработал – в фотопромысле, с цеховиками, выколачиванием долгов – не веря, что мать не спасти, слыша и не слушая ее свистящий шепот: «Леня, мальчик мой золотой, я прошу тебя, не надо этого ничего... ты же все понимаешь... Ну, зачем ты это делаешь, Ленечка?..» После ее похорон он заперся в квартире, которую снимал, и напился до потери сознания, но не прежде, чем разбил о стену и разнес в щепы все, что попалось под руку; сутки спустя он очнулся на цементном полу в вытрезвителе. А потом, точно продолжая трезветь, продрогший до костей, сидя над чашкой дымящегося кофе в застекленном летнем кафе посреди зимнего парка, он вдруг иначе увидел, осознал, что происходило в городе в те последние месяцы, когда уходила мать, как если бы до него заново дошли все эти разговоры о выезде, сборах и проводах. Казалось, не Акеры, Ицковы, Векслеры, Паланты, Вассерманы, Кривицкие, Плахты, Буховеры, Бухбиндеры – врачи, парикмахерши, профессора, инженеры, педагоги, преподаватели музыки (коллеги матери), ресторанные музыканты, мясники, ремесленники, тачавшие подметки и ключи, заправщики шариковых ручек

на Пушкинской – а половина города, триста лет обустраивавшегося вокруг перепутий к морю и на Юг, в один прекрасный день снялась с места.

Вначале он воспринял это как отступничество, потому что к матери приходили немногие из тех, кто, по его разумению, должен был находиться у ее постели; немногие пришли и на кладбище; шел снег, и Ларочка Штерн, любимая ученица матери, плакала у него на плече. В ту зиму он, в ратиновом пальто и ондатровой шапке – униформе центровых, раз за разом, держась чуть в стороне от провожавших, простаивал на платформе номер один положенные сорок минут, пока не отходил московский поезд в двадцать один пятнадцать. Он помогал загрузить вещи в закупленные купе и говорил несколько слов от семьи, как того требовали приличия, – не оттого, что смерть матери примирила его с общей судьбой, а потому, что так просил отец. Тем и запомнились эти годы: светящимися окнами вокзала, ящиками и чемоданами на снегу, толпящимися на платформе людьми, бурными сценами расставаний, теменью, в которую уходили поезда, – вот к чему вернули Розенберга несколько часов полета.

Тогда же он познакомил свою девушку с приятелем, – сыном футбольного тренера, получившим разрешение на выезд в США, – будучи убежден, что так лучше для нее и что с ним самим ее не ждет ничего хорошего: «Ты уедешь с Сашей. Там вы будете счастливы, Таня!» – «Нет. И не подумаю. Нет, слышишь! С какой стати? Я хочу быть с тобой!» – «Говорю тебе, так будет лучше. Это решено». – «Кем это решено, тобой, Леня Розенберг?» – «Точно. Мной. И я говорю тебе: ты уедешь с ним. Ясно?»

Он просидел у них на свадьбе в ресторане весь вечер, не показывая вида, что знаком с ней, только к поезду пришел с охапкой роз и стоял, втянув голову в плечи, пока не осел грохот за умчавшимися в ночь вагонами. Весть о том, что они обосновались в Филадельфии, что там её зовут Татьяна Соловей (от фамилии мужа – Соловьев) и у них сын, догнала его в Западной Сибири спустя два года.

Он с головой ушел в дела, работая на людей, для которых в «Интуристе» держали накрытыми столы, на тех, в чьих подпольных мастерских на окраинах шили из шубного меха-лоскута шапки вместо шуб, а из болоньевой ткани, предназначенной для мужских плащей, – детские куртки с оторочкой. Он сопровождал машины с товаром на рынки и ярмарки, и, пока с них шла торговля, курил с шоферами или играл по мелочи с местными, державшими рынок, в рюмочной или шашлычной неподалеку, чтобы машины были на виду. Его могли видеть в третьеразрядных гостиницах Урала, Сибири, Казахстана, где он снимал этажи для себя, бригадиров и бригад. Там, неделями валяясь в номере, он принимал и вносил в реестры приносимые фотографии: любительские, поломанные, затертые, надорванные, полузасвеченные и даже вклеенные в документы; или, сверяясь с теми же реестрами, выдавал заказы: раскрашенные анилиновыми красителями, задутые лаком для волос, закатанные в целлофан портреты и семейные фото в паспарту. Он пересчитывал и паковал деньги, которые текли рекой, бескрайней и вечной, как жажда местных жителей – обитателей деревень, фабричных и заводских поселков, общежитий – запечатлеть и приукрасить то, что становилось единственной значимостью прожитой ими жизни. Он ездил в спальных вагонах, один в купе (распухшие от денег сумки под нижними полками), готовый отбиваться от уголовников, выслеживавших таких, как он.

Его могли видеть в предрассветной серой мороси облокотившимся о дверцу автомобиля во главе каравана из десятка машин, дожидавшихся сигнала с поста ГАИ, чтобы ввезти в город сухую колбасу, икру, красную рыбу, арабский кофе, индийский чай, виски, сигареты Salem – все, чем южане затоваривались в валютных магазинах Москвы; его могли видеть душной июльской ночью на поляне за загородным кабаком в компании таких же мужчин, по пояс освещенных фарами, у открытых багажников, набитых газетными свертками с деньгами, которые предстояло делить по уговору.

В городе он старался бывать пореже; оставлял отцу деньги, одаривал соседей. У отца, за которым присматривала Ларочка, он держал дубленку, плащ из турецкой лайки, кожаные куртки, сапоги, туфли, перстни, бостоновые и твидовые костюмы, батистовые рубашки – в этом он засиживался за полночь в «Центральном», «Интуристе», «Театральном», за бархатными шторами «Люкса», за столами Сеганевича, Бори Рабиновича, Хана, расстрелянного пять лет спустя. Как-то он сказал отцу, что некоторое время не будет приезжать.

– Все будет, как прежде, – сказал он. – Обо мне не беспокойся. Я буду в Москве; ночь пути поездом – недалеко. Напишу телефон, запомнишь. И вот что еще: Лара. Купи ей хорошую шубу и две пары сапог. Вот деньги. Тут хватит.

– Почему ты не подаришь ей сам?

– Ты знаешь почему. У меня она не возьмет.

– Она приходит сюда из-за тебя, Леня, – сказал отец. – Она...

– Пусть, – сказал он, – и что теперь? Что она знает обо мне, папа? Кто я, что я умею, по-твоему? Бить людей и загонять их в работу? Подойдешь с ней в Комиссионторг, к директору, Маре Борисовне. Скажешь – от меня. Вам все выберут.

– Ты знаешь, как была бы счастлива, мама, если бы ты и Лара...

– Ну, хватит, – сказал он. – Извинись за меня, что не сумел с ней проститься.

Через полгода он нашел работу в Москве благодаря случаю, когда до полусмерти избил в одном ночном заведении компанию из восьми мужчин, предварительно уложив вышибалу и бармена. Владельцы наблюдали за происходящим сквозь тонированные окна кабинета на втором этаже.

– Кто он такой, черт возьми? – спросил первый.

– Я его знаю. Это Роза, залетный. Спортсмен, но при делах. Стоял в доле в кафе на Горького у Кедруса с Кашубой. Бывший боксер.

– Бывших боксеров не бывает, – сказал первый, глядя в зал, где разворачивалась настоящая драма насилия. – А эти терпилы откуда?

– Люберецкие.

– Понятно, – сказал первый. – Когда он закончит с ними, попроси его подняться сюда. Хочу, чтобы он на меня работал. – Он повернулся к своему огромному столу.

– Он еврей, – сказал второй.

– Неужели? – сказал первый.

Вначале были пивные рестораны со спорт-барами и дискотеки на Полянке и Крымском Валу[1], потом – обменники и игровые автоматы в расселенных квартирах первых этажей (позже ставших банковскими отделениями), в павильонах у вокзалов, рынков, переходов метро: снаружи – пыльные стекла, а внутри – струящийся алый сумрак, где светятся неоном ряды барабанов и панелей ставок. Он, как всегда, отвечал за безопасность, работая в доле или за деньги, и теперь почти не сидел за рулем сам. И рестораны теперь были другие, – «Союз», «Архангельское», «Метрополь», «Центральный дом туриста» или Центр международной торговли, – с панорамными окнами, выходившими на простершуюся до горизонта Москву, преображенную ночными огнями, а днем, под свинцовым небом, серую, сырую и мрачную, с толпами, очередями, грязными стенами метро, – тем, над чем жизнь внезапно вознесла его так, как ему и не снилось. И окружала его публика почище: дельцы, министерские чиновники, главы грузинских и армянских кланов, милицейские чины, актрисы, содержанки, секретарши посольств, чьих лиц не сохранила память; и с настоящими деньгами в его жизнь вошли женщины, разные женщины, которых делали схожими самомнение, алчность, умные опытные руки и роскошные тела; они прошли сквозь те годы, которые потом при всем желании память не разложила бы по месяцам и дням, – так летело время. «Печору», «Ангару», «Метелицу»[2] перестраивали под казино, банки возникали на каждом углу, и день за днем оправдывалось и узаконивалось то, за что прежде карали и казнили окружавших его людей; и у него самого появился шанс открыть и поставить на широкую ногу собственное дело, от чего он отказался тут же, твердо помня, что он один в Москве, один всегда и во всем, что он еврей и пришлый, пусть он и спал – и даже был расписан – с москвичкой, владевшей косметическим салоном на Тверской, и ладил с ее мальчиком. Он, как обычно, вошел в долю, не чинясь, взвалив на себя большую часть рабочей ноши, и к спортзалу, куда он захаживал, чтобы держать форму, прибавились тир, автодром и курсы английского языка, а к книгам по устройству игорных автоматов и оборудованию казино – пособия по полицейскому вооружению.

Эта жизнь была по нем; он трудился до седьмого пота; так, бывало, он выкладывался мальчишкой, после лёжа пластом на скамейке в раздевалке. И от него, как прежде, требовалось знать, кто чем дышит, проверять всех и вся, расставлять по местам, присматривать, выслушивать, пересчитывать и сверять, все на коленке, все молчком, разговаривая только по необходимости, потому что слова равно давались с трудом и в кабинете, и в гаме узаконенного разгула, и в звенящей тишине перелеска у заброшенного шоссе за окружной дорогой, где только и можно было без боязни говорить с людьми, от которых зависели дела; а после, один в машине, он замирал, вдыхая крепкий, почти осязаемый запах леса – сырой земли, прелых листьев и росной свежести, и память властно возвращала к родным местам, к промытым улицам, к утренней дымке, повисшей над городом, к пойме реки и тренировочному лагерю в сосняке, прокаленном солнцем, к простору, к боям, к сильным минутам жизни, когда клочок земли с понастроенными заводами и узловыми станциями да улицами, засаженными каштанами, был домом, а родиной – вся земля.

А потом таким же погожим утром он услыхал от человека, пересевшего к нему в машину, то, что ожидал услышать раньше или позже: «Беги, Леня. Немедленно! Машину брось. И выбрось телефон.

---

[1] Полянка, Крымский Вал – улицы Москвы

[2] «Печора», «Ангара», «Метелица» – кафе на бывшем Калининском проспекте (ныне Новый Арбат) в Москве.

В доме у тебя обыск, найдут и контрабанду и наркоту. Партнер твой, Саша Серебро, застрелен при сопротивлении аресту, второй у нас, переписывает на правильных людей ваши бумаги. Розыскные карты в аэропортах на тебя выставят часа через четыре, если выставят. Советую лететь в Белград, оттуда сейчас не экстрадируют. Если хочешь черкнуть пару слов супруге, я подожду. Прощай. Ты хороший человек! Жаль, что так вышло».

II.

Он не раздумывал над тем, каким будет свидание с городом, – с прошлым, которым и был город, – жившим своей жизнью после его отъезда и похорон отца (впрочем, четыре дня похорон и три недели, затраченные на продажу квартиры, в счет не шли), и теперь со смешанным чувством тоски и удовлетворения увидел то, что и ожидал: упадок и разрушение, кирпичные фасады в трещинах, обвалившиеся балконы, листы железа и шифера, заграждения из крашенной сетки-рабицы, ржавые гаражи, сорную траву, там и сям выбившуюся из тротуара, просевшие бордюрные камни. Вспомнился заколоченный дом на кривом спуске за синагогой, (оказавшийся Анатомическим театром женского медицинского института), его сводчатая пустота и холод подвалов, где он, мальчишкой, искал местечко, более укромное, чем скамейки парков и подъезды, – там тоже царили упадок и разрушение, созвучные неприкаянности, безденежью, юности, промозглым вечерам, когда и податься было некуда, но и мысли бежать не было, только неукротимое желание возмужать и одолеть жизнь, какой он представлял ее, благо примеров было предостаточно.

– Есть дом на Полтавском шляхе, – говорил рабочий. – Тоже пострадал, в нем если что затевать, так только на первом этаже... На площади Фейербаха есть дом двенадцать, годящийся. На продажу выставлен. Знатный дом. Договорился там о ключах с людьми. От них должен быть представитель. На Черноглазовской есть, нежилой, окна на двор…Те тоже будем смотреть?

Розенберг кивнул.

Дом на площади Фейербаха выглядел подходящим – двухэтажный особняк в псевдо-готическом стиле: с двумя треугольными фронтонами, прорезанными готическими окнами, готическим треугольным эркером, краббами[1], медальонами и рустовкой [2] по фасаду. Внутри царили полумрак; звуки города тут были почти неразличимы, точно изжиты застывшей тишиной покинутого жилья, и Розенбергу, переходившему из комнаты в комнату, вдруг стало не по себе. Он остановился как вкопанный посреди пыльной полутемной гостиной, пытаясь понять, что именно не восстанавливает и отвергает память. Затем вышел наружу.

– Устраивает? – спросил представитель.

– Да, – сказал Розенберг.

– Если не найдете аккумуляторы, накинем клеммы на провода, – сказал рабочий.

– Нет необходимости, – сказал представитель.

– Здание обесточено временно. Просто откроем щитовую. В котором часу?

– Пока не знаю. Позвоню вечером, – сказал Розенберг.

– Деньги не забудьте.

– Конечно.

– Ваш человек говорил, вам нужно ванну занести в квартиру на первом этаже?

– Правильно. Он купит и привезет вечером. Деньги я дал, – сказал Розенберг.

– А после как вы с ней думаете?

– Вот он заберет. Или оставите себе. Решите сами.

Было около девяти утра. Он позавтракал в гостинице. Потом пересек площадь и вернулся в номер с бутылкой Label 5. День был не по-летнему прохладный, но солнечный. Город казался вымершим – как те безлюдные, заброшенные поселки и селения, когда чудилось, что само место, небо и дома сторожат каждое движение. Его коробило убожество аттракционов на площади перед гостиницей – размалеванных прицепов, горок из розового пластика, надувных замков и батутов; перед отлетом он слышал от кого-то, что городская площадь, вторая по величине в Европе, отдана под ярмарки окрестных сел – с лошадями и балаганами; это оскорбляло память молодости, неизжитые представления о прошлом.

В номере он присел к письменному столу, открыл папку с номерами телефонов, хранившуюся в ящике, и позвонил в регистратуру. Ему ответили, что объявления для газет и кабельных каналов они принимают. Бланки на стойке. Что-нибудь еще, господин Розенберг?

– Мне нужен фотограф, – сказал он. – Хороший. И расторопный. Поможете найти такого?

---

[1] Краббы – в готической архитектуре: крючкообразные декоративные элементы в виде стилизованных листьев или цветов. (Прим. ред.)

[2] Рустовка – облицовка внешних стен здания четырехугольными камнями с грубой передней поверхностью. (Прим. ред.)

– С нами работает фотограф. Снимает делегации, прогулки, праздники. Подрабатывает у нас. Милый парень.

– Отлично, – сказал Розенберг. – Жду его в холле завтра в десять утра.

По городским меркам номер был прекрасным, но его теснота раздражала Розенберга. Ему не терпелось выйти на воздух.

Он решил пройтись пешком до Новгородской, оттуда – на Авиационную. Путь его лежал мимо тихих сонных улиц, где когда-то жил его одноклассник Файтлин, – он разбился, перегоняя из Тольятти свою первую и последнюю машину, и тетки по матери – две старые девы-англоманки, казавшиеся в детстве феями добра, завещавшие ему квартиру, которую он так и не получил, и его учитель живописи и истории средних веков – кумир школы, уехавший одним из первых. Ничего не изменилось в каменном безличье серых домов, в затененности улиц, ставших лабиринтом воспоминаний; но жизнь, к которой предстояло вернуться – кладки стен, вывески на иврите, семисвечники и серебро в полумраке синагог, зной, люди в черных шляпах и допотопных сюртуках, болтающиеся нити талесов, гортанная речь и мраморные облака – не отпускала, заставляя чувствовать себя пришлым.

Двухэтажный, крытый красной черепицей особняк стоял за кованым забором.

Перед отлетом Розенберг просмотрел о Ходосе все, что было в сети, не думая разобраться в какофонии измышлений, обличений, лжи и откровенной паранойи, а лишь пытаясь понять, к кому его посылают.

Барон Эдуард Ходос написал двадцать пять книг, обличающих хасидов Хабада,[1] вел с ними войну на моральное уничтожение, призывал создать православную монархию с костяком из казачества. Книги назывались «Топор над Православием», «Пришествие Иуды», «Еврейская рулетка» и «Еврейский удар, или Монолог с петлей на шее» и расходились с невероятной быстротой, как писали в сети. Ходоса приглашали на конференции «для обсуждения проблем мирового сионизма»; памфлеты и газету «Тихий ужас» он печатал за собственный счет и раздавал у входов в метро. Писали, что он владеет потрясающими произведениями искусства, что в молодости сидел, но был оправдан. Он участвовал в реституции синагоги,[2] в подвале которой прошли юность и молодость Розенберга, со своей реформистской общиной занял было её второй этаж, не поделил ее с хасидами Хабада с первого этажа, проиграл им суды, был изгнан и теперь боролся с «иудео-нацистской сектой Хабад» и всей иудейской традицией.

Ходос принял Розенберга в гостиной, походившей на помещение театральной дирекции. Он восседал в кресле из синагоги, облаченный в талес поверх черного тканого халата. Розенберг сел за обитый кожей стол, без стеснения разглядывая занавес вдоль стены, старинную мебель, столешницу с фотографиями, резные полки, переплеты фолиантов.

Взяв письмо, Ходос, стриженный наголо человек лет шестидесяти, с минуту разглядывал Розенберга.

Потом сказал:

– Так. Розенберг. Наслышан.

Он помахал письмом Хильшейна.

– Правильно делает этот еврей, что не доверяет вашей фашистской почте. Мерзавцы. Спят и видят, как со мной разделаться! Читали против меня молитву «Пульса де-Нура»[3]! Тебе об этом известно, Розенберг? Тебе рассказывали, кто я такой? О моей борьбе с еврейским фашизмом? Что ты вообще знаешь, Розенберг?

Он углубился в чтение.

Лицо его, задумчивое, непреклонное, хранило отпечаток неистовства, как хранят отпечаток несмиренности и былой ярости лица старых вояк, а просветленного отсутствия – лица бородатых ортодоксов, столь ненавидимых Ходосом.

Разглядывая его с легкой усмешкой, Розенберг в который раз почувствовал себя отступником, не способным проникнуться духом еврейства: с Израилем его роднила кровь, с городом – жизнь.

– Что тебе сказал Хильштейн? – спросил Ходос, не отрывая глаз от письма.

– Забрать ответ.

– Я напишу ему, – сказал Ходос.

Теперь он снова смотрел на Розенберга.

– Ты должен понимать, в каком мире живешь, Розенберг, – сказал он. Говорил он негромко, однако

---

[1] Хабад – иудейское религиозное движение, разновидность хасидизма.

[2] Харьковская хоральная синагога (еврейское название – Бейт Менахем), крупнейшая на Украине и в СНГ и вторая по величине в Европе после будапештской, возведенная в1912 – 1913 годы, была закрыта в 1923 году «по просьбам еврейских трудящихся». В ней разместили «Еврейский рабочий клуб имени Третьего Интернационала», с 1941 г. – детский кинотеатр. В 1945 г. в синагоге возобновляется деятельность еврейской общины, однако в 1949 г. её закрывают и по осень 1991 г. в здании находилось Добровольное спортивное общество (ДСО) «Спартак».

[3] Молитва «Пульса Де-Нура» – редчайшее в иудаизме смертельное проклятие, молитва на уничтожение.

лицо осветилось так, будто отметившее его неистовство разом обрело плоть и голос. – Среди кого ты живешь! Смотри на меня. Я несу Слово и живу без страха. Мои книги – молитвы на освобождение от проклятого ига иудео-нацизма, надругавшегося над Правдой Божьей! Раввины подсунули народам свет иудейской веры вместо Света Истины. Я признаю богоизбранность народа иудейского, раз в нем рожден Сын Божий, должный отвратить еврейский народ от бесовства. Я – кровник Спасителя, мстящий его палачам! Моя еврейская месть беспощадна! Ты слышишь меня, Розенберг? Вот ты. Ты, говорят, что-то можешь. Израиль твой дом? Для чего ты живешь? Кто ты?

– Никто, – сказал Розенберг. – Когда-то жил здесь. Ходил в вашу синагогу. Тогда она синагогой не была.

– Она всегда была синагогой, – Ходос поднялся и пошел к двери.

– Нет, – сказал Розенберг. – Но неважно. Я наведаюсь перед отлетом.

– Погоди, – сказал Ходос.

Он вышел из комнаты и тут же вернулся.

– Возьми, – сказал он Розенбергу. – Прочтешь на досуге.

И сунул ему в руки несколько своих брошюр.

– Оставьте себе. Я не читаю на русском. Это еврейские дела, я в них не смыслю, мне они не по уму.

– Ты должен понять, кто ты. И для чего ты живешь, Розенберг! – повысил голос Ходос у него за спиной.

Розенберг неторопливо обернулся, заполнив собой дверной проем. Выражение его лица изменилось. До сих пор он был уверен, что разговаривает с городским сумасшедшим. Он внимательно посмотрел на Ходоса, прежде, чем ответить:

– Да. Было бы неплохо. Жаль, время ушло. С этим надо было заводиться раньше, рав Ходос.

III.

Было двадцать минут первого. Полдень был с самом разгаре, солнце в белесой дымке стояло почти отвесно.

Он направился к проспекту, шагая вдоль тени разросшихся лип.

Он уже заплатил за то, чтобы объявления о съемках разместили на радио и кабельных каналах, в семичасовом блоке. Звонков можно было ждать до полуночи. Как бывало, ближе к полудню ему хотелось выпить, но оставалось дело, которое он откладывал, пока мог, точно он вознамерился разом избыть все, досаждавшее ему годами, и вернулся в город ради этого.

В номере он достал из чемодана ноутбук и позвонил, чтобы его подключили к сети.

Когда служащий ушел, он задернул шторы, снял туфли и носки и налил себе выпить.

Потом расположился поудобней в кресле и вошел в скайп.

– Привет, Леня, – отозвался из Филадельфии Алекс Соловей, когда лица их обоих проступили на экране. На нем был пиджак, галстук-бабочка, белоснежная рубашка, роговые очки.

– Куда-то собрался?

– Да нет. Я пока в офисе, через час поеду домой.

– Что там у тебя с Таней? Что происходит? – спросил Розенберг.

– Скверно, Леня. То есть в медицинском смысле с ней все в порядке. Она перенесла две операции, у нее удалены почка, матка, ее облучали, и, скажу я тебе, спасти ее могли только в Штатах! Она все перенесла и здорова, насколько можно быть здоровой после всего... Но ведь она сумасшедшая! Она совершенно сошла с ума, и вернуть её к действительности не в моих силах! Ее как подменили, понимаешь? Купила себе последнюю модель BMW, потом улетела, будто бы по делам, а две недели спустя мне позвонили из Рима. Она сняла президентский номер в Ambasciatori Palace[1], швыряла деньгами, как ненормальная, накупила гору вещей на десятки тысяч долларов. Мне позвонили из-за неоплаченных счетов! Пришлось лететь туда, забирать ее. Она не желала уезжать, кричала, что хочет жить, жить, жить! Я пытался ей объяснить, что она пустит нас с сыном по миру, но она ничего не желала слышать! Мне кажется, она меня возненавидела! Я перестал ее понимать. Через месяц все повторилось! Мы заложили дом, чтобы рассчитаться с долгами, но на нее это не подействовало. Ей совершенно все равно! Со мной она говорит только о счетах. Только! Пить ей нельзя, но она выпивает, тут же отключается, а потом не помнит, что было. Я пытался ее удерживать, но она приходит в бешенство и кричит мне в лицо страшные вещи! Развестись с ней я, сам понимаешь, не могу, лишить ее дееспособности тоже не могу, ее тут же запрут в клинику. Не знаю, что с нами будет. Она не оставляет мне другого выхода. Теперь она впадает в отключку где угодно, просто гаснет, как лампа, и все. Ее стало опасно отпускать. Погоди, покажу тебе!

Он поднес к экрану мобильный телефон, и Розенберг разглядел в нем спящую в вагоне подземки

[1] Ambasciatori Palace – пятизвездочный отель в Риме. (Прим. ред).

женщину в кожаной куртке, напоминавшую куклу своей безжизненностью и поникшей головой в желто-синем парике.

– Ну как? Тебе хорошо видно? – спросил Соловьев. – Такая теперь наша Таня. Как она тебе?

– Что ты решил? – спросил Розенберг.

– Что я могу решить? Где у меня выход, Леня? Я должен зарабатывать деньги. Мы в долгах. Я должен буду давать ей деньги, если разведусь, но грабить нас она не сможет!

– И ты решил поместить ее в клинику?

– Хочешь сказать: у меня не хватает духа с ней развестись? А ты бы что сделал? Оставил бы все, как есть?

– Может быть, – сказал Розенберг.

– Ты бы, конечно, ее не бросил.

– И ты не бросишь, – сказал Розенберг. – Это уже ненадолго.

Он закрыл верхнюю панель ноутбука, отхлебнул виски и пересел на кровать. Потом лег навзничь, поставив стакан на живот. Час спустя он все еще смотрел, как солнце просвечивает шторы. Потом перевалило за полдень. Вслух он сказал: «Это все ее болезнь!», – думая: «Еще неизвестно, как бы все обернулось. Со мной ей было пришлось еще хуже!», – хотя было ясно, что хуже некуда.

Он был на четыре года старше ее, и тогда это имело значение. Высокая, под стать ему, со смуглым румянцем, черными волосами, распущенными, как у итальянок в фильмах тех лет, она была еврейкой, что их сближало, и это тоже немало значило, потому что тогда он еще стеснялся женщин; то, что она такая яркая, так хороша собой, приводило его в восторг, но больше льстило самолюбию. У нее была округлая налитая грудь, крутые бедра, плоский живот и линия спины и ягодиц, при виде которой у него пересыхало в горле. Она ходила на его бои, ждала его там, где он велит, бежала рядом, подлаживаясь под его широкий шаг, смотрела на него в упор полными решимости глазами, но он так и не переспал с ней, опасаясь последствий и про себя зная, что она не по нем, хотя несколько раз они были что называется на грани. Потом его пригласили ее родители и попросили не портить дочери жизнь. Позже ему сказали, что Арановичи собрались уезжать.

Все это память знала, не сохранив почти ничего зримого в несметной сутолоке событий, лиц, голосов; воспоминания о ней всегда были обрывочны и внезапны; тело ее он не мог вызвать в памяти, как ни пытался, да это и было ни к чему. Прошло больше тридцати лет, она прожила жизнь, о которой он давно составил себе представление, близкое истинному, – но и только. Точно щадя его, память не помнила почти ничего из того, что касалось женщин: переживаний, ссор и телесной близости, того, чему он отдавал себя, на что себя растрачивал, чем овладевал, что губил. Он даже лица ее не разглядел – и тем не менее в углу подземки спала Таня Аранович, которая хотела жить и жила, покуда жил и дышал он сам, помнивший ее полуоткрытые губы, опушку серого зимнего пальто.

Теперь ему казалось, что все это было не с ним. То время, сполна им оплаченное, было и кануло, как кануло другое, которое он тщился и не мог забыть: туманные утра, мёртвую тишину гиблых мест, обращенных в захоронения, рыжие осенние леса, горные склоны, поросшие сосняком, припорошенную снегом землю; смрад; горевшие в ночи, выгоравшие до углей дома и целые поселки; сломанные койки брошенных госпиталей; крошево битого стекла; трупы на улицах, в квартирах и подвалах; названия населённых пунктов, – Хорча, Власеница, Приедор, Босански-Нови, – оставшиеся во внутреннем слухе; грохот тяжелых орудий; дым, валивший над крышами Мостара[1]; душевную немоту в бою, которую считали хладнокровием, а после – такую пустоту, которой даже он страшился, не пытаясь ее понять. Первое время, боясь себя, он остерегался пить, потом прошло и это. Он прибыл в Сербию из Черновцов через Мукачево и Будапешт в августе девяносто второго, спустя неделю после провозглашения независимости, – как оказалось, одним из первых, – почти не понимая языка, но веря, что его не выдадут; два года воевал в разведывательно-диверсионных группах вместе с людьми, не обустроенными в жизни, как и он сам, с прибывавшими из Европы и России ветеранами войн Афганистана, Чечни, Приднестровья и с теми, кто впервые взял в руки оружие. Республика Сербская стала убежищем для тех, кому некуда было возвращаться. Ему, укрывшемуся среди них, помогло то, что он был

[1] Мóстар – город и община в Боснии и Герцеговине. 18 ноября 1991 г. филиал Хорватского демократического содружества (ХДС) в Боснии и Герцеговине провозгласил существование хорватской республики Герцег-Босна на территории Боснии и Герцеговины. Мостар был разделен на западную часть, где доминировали хорватские силы, и восточную часть, где было сосредоточена армии Республики Боснии и Герцеговины. 9 мая 1993 года Хорватский совет обороны (ХСО) атаковал Мостар с использованием артиллерии, минометов, тяжелых вооружений и стрелкового оружия, город был окружён хорватскими войсками в течение девяти месяцев. Тысячи боснийцев были изгнана с западной в восточную часть города. Силы ХСО участвовали в массовых расстрелах, этнических «чистках» и изнасилованиях в западном Мостаре и его окрестностях. Кампания ХСО привела к тысячам раненых и убитых.

старше – а в делах, не относящихся к войне, опытнее и опаснее – их всех; что, плохо зная язык, он не участвовал в общих разговорах; что он ничего здесь не ждал и не хотел, а действовал внимательно, расчетливо и уверенно, как если бы переменился характер его обычной работы, но не сама работа. Он видел, что сербы их используют, но такова была цена. Он был здесь «русским», носил крест, купленный по случаю, отмалчиваясь, если расспрашивали, за что он воюет. Иногда он думал, что мог бы найти другой способ укрыться – проще и безопаснее, про себя зная, что это не так. Ему везло. Он участвовал в девяти акциях и ни разу не был ранен. Однажды он разбил пистолетом лицо пленному. Месяц спустя, стоя на моросящем дожде и глядя, как сербы расстреливают наемников-арабов, понял, что с него довольно. В школьном кабинете, служившем штабом его отряду, он положил автомат на стол перед командиром. Тот вскинул глаза. «Возвращаюсь домой, отец плох», – сказал Розенберг.

Его не удерживали.

IV.

Фотограф был молод.

Он сел напротив Розенберга в вестибюле гостиницы, выдержанном в медных и малиновым тонах, взял бумаги Фрея, журнал, фотографии и принялся просматривать их, повесив темные очки за дужку на расстегнутый ворот рубашки.

Потом уставился на Розенберга.

– Это Фрей писал? – спросил он. – И вы хотите, чтобы я снимал для Фрея? А сам он где?

– В Риме. Прилетит через два-три дня.

– Ладно, с этим понятно! А вы, значит, отсмотрели площадки и объявили кастинг? Вы– фотопродюсер у Фрея, фотограф?

– Нет.

– Тогда почему он поручил это вам?

– У меня много свободного времени, – сказал Розенберг.

Фотограф засмеялся.

– Вы правы, – сказал он, – это не мое дело. Итак, у нас площадки – Театральный переулок, «Крыша Мира»[1], площадь Фейербаха двенадцать, Рымарская шесть или дом четыре на Красина, парковая скамья, мост и железнодорожные пути. Ну, хорошо! Скамью мы отснимем в парке Горького. Мост и пути отсмотрели? Мост я бы снял железнодорожный, что на Белгородском направлении. Полуразрушенный, с просевшей платформой, этакий забытый полустанок от советских времен... Еще есть мосты – на Диканевке и на Новожанонова, тоже железнодорожные, вот те хороши! Фантастические мосты! Мрачные, даже устрашающие, проложены над заводскими стоками, кругом – ни души… Ландшафт, который жаждет увидеть мистер Фрей, если я правильно понимаю задачи съемки. Впрочем, отснимем, предложим... Модели – люди пожилые; портфолио, разумеется, ни у кого нет. Так что снимем пробные фото, сюжет-события и проходы. Свет мой, машина моя. Ну что ж. Я попрошу тысячу шестьсот долларов за эту великую мороку.

– Тысяча двести, – сказал Розенберг.

– Не пойдет! Нужно снимать на пяти площадках. И не это главное. Большие проблемы я предвижу с вашими возрастными моделями. Вы указали в объявлениях, что съемки без ограничений и им придется позировать раздетыми?

– Хорошо. Тысяча триста. Бери или уходи.

– Ладно, тысяча триста. Теперь визажист. Есть такой, профессионал, с переносной визаж-студией, как раз чтобы снимать в руинах. Прекрасное название, кстати: «Зодчие руин»... Поступим так: я сейчас съезжу за светом и прихвачу аккумуляторы на всякий случай. Вы назначили кастинг на два, а сейчас десять. Два часа, считайте, в нашем распоряжении. Можно проехаться, щелкнуть мосты. Вернемся – заберем мужчину-модель и снимемся в Театральном переулке. Остальные погуляют час. В три начнем съемки на Фейербаха. Я обернусь мигом, позвоню снизу. И вот еще что: хорошо бы часть денег вперед. Хотя бы пятьсот долларов.

– Ладно, – сказал Розенберг. – Получишь, когда начнем снимать.

– А сейчас никак?

– Не торопи меня, парень.

Фотограф хмыкнул. Розенберг ему нравился.

Час спустя центр города – булыжная мостовая площади, на закате блестевшая, как металл, да ломаная линия деревьев и домов за окнами номера – последнее, что он видел вчера, задергивая шторы – остался далеко позади. Они мчались мимо полей, мимо исправительной колонии, мимо депо ЮЖД[2], мимо завода изоляционных и асбестоцементных материалов. Розенберг, считавший, что знает город

[1] «Крыша Мира – жилой дом в Харькове, прозванный так, поскольку с его крыши хорошо виден город; построен в 1910 году, до революции был населен состоятельными гражданами; после пожара в 1980 году жильцы были выселены. О страшном здании с обвалившимися окнами и пугающей лепкой в виде голов животных ходило много легенд.

[2] ЮЖД – Южная железная дорога, крупнейшая в системе украинских железных дорог. (Прим. ред.)

вдоль и поперек, никогда не бывал в этих местах, потому что (думалось ему) делать здесь ему было нечего, как в любом окраинном рабочем районе – теперь полуразрушенном – с заводскими воротами, выкрашенными серебрянкой, барельефами орденов над проходными, пропыленными стеклами корпусов и немо торчавшими трубами, панельными семиэтажками швами наружу, хламом на балконах, канавами со стоячей водой, заборами, да тополями, черневшими в сером небе. Теперь, на солнце догоравшего лета, все это казалось белесым и безжизненным.

Розенберг задумчиво смотрел в окно.

– Что это Фрею вздумалось снимать у нас? – спросил фотограф. – Все это проще было организовать в Москве или в Питере. Потянуло в родные места?

– Да нет, – сказал Розенберг, – так совпало. Он знал, что я собираюсь на родину. Я тоже воспользовался случаем. Здесь похоронены родители. Надумал взглянуть, что и как. Он оплатил дорогу.

Им пришлось выйти из машины и пройти по насыпи сотню метров, прежде чем показались фермы моста.

Место было необжитым, противоположный берег порос сухостоем; мост оказался коротким, в один пролет. Фотограф достал из сумки аппарат и принялся снимать, присел, потом почти лег на насыпь.

– Согласитесь, мост – находка! Мост в никуда. Настоящий urban![1] – полуобернувшись, сказал он Розенбергу; слова неожиданно громко прозвучали в звенящей тишине. – Тут надо снимать в туман или с генераторами дыма! Знаю, кстати, где раздобыть пару таких. Можете пройтись к воде, а потом – по мосту? У воды повернитесь ко мне!

– Ладно, – сказал Розенберг.

Он снял очки и неспешно пошел к мосту, спрятав руки в карманы плаща. С непокрытой головой, в пуловере под плащом, светлых брюках и мокасинах он почувствовал себя беззащитным, как под прицелом, умом понимая, что так на него всегда будут действовать мосты, дорожные развилки, пустоши, поля.

Он постоял у темной, точно автол, воды, повернулся к фотографу и, обойдя опору, поднялся на мост.

– Дальше идти? – спросил он.

– Нет, – сказал фотограф. – Нет, нет, достаточно! Теперь поехали на Новожаново, и – назад. Туда будет минут двадцать.

Второй мост был почти таким же: мрачным сооружением, перекрывавшим овраг, промытый ручьем. Похожим было и место – солнечным и безлюдным, почти зловещим. Розенберг не пожелал спуститься к воде, как просил спутник, и, стоя наверху, смотрел, как тот фотографирует балки платформы, воду у опор, валуны.

Потом пошел к машине, забрался на заднее сиденье, запахнул плащ и закрыл глаза.

Он подумал, что способность забывать – несомненно, лучшее свойство памяти. Ему понадобилось прожить жизнь, чтобы понять, как устроено время, осознать, что забыть можно все или почти все, если нет зримых воплощений прошлого, – домов, памятников, руин, – что прошлого, как такового, нет, есть только пережитое, переживания, становящиеся памятью, когда чувства утихают, исчерпывая себя, исчезая бесследно, как люди. Подруга его юности, подумал он, выбрала не самый худший способ; пожалуй, даже единственно верный. Он сам когда-то прибегнул к такому же и готов был прибегнуть опять. Ему вспомнилось, как отец, главный инженер завода, продолжал каждый день выходить на работу, хотя завод уже третий год как был закрыт и разворован до гвоздя, до станочных плат; пришлось продать даже подъездные пути, чтобы рассчитаться с рабочими. Он припомнил склоненную голову отца, огромный лоб, тронутый старческими пятнами…

– Поехали в гостиницу, – сказал он фотографу. – Мне надо выпить, а ты поешь.

Теперь, по прошествии стольких лет, он мог признаться себе, что всегда стеснялся отца, – его выговора, шуток, просительных интонаций, всего, что было в отце еврейского, не вытравленного ни войной, ни работой, ни средой, ни говором города и края. Еврейство тогда казалось ему не просто слабостью, а чем-то вроде порчи или, скорее, проклятием, которого нельзя ни скрыть, ни навязать, разве что заставить окружающих притвориться, будто они этого не замечают, – чего мальчишкой он не мог и не умел добиться. Не мог он и примириться с тем, что его отец – тихий, уступчивый человек, казавшийся несобранным и несообразным из-за высокого роста, сутулости, очков, всего, что в представлении мальчишки заслуживало презрения и осмеяния, как и его собственное заикание, рыжие волосы, фамилия. Ему представлялось, что отец нуждается в покровительстве и защите едва ли не больше его самого, даже не потому, что тот был Розенбергом-старшим; просто сын видел в себе переданную полной мерой отцовскую уязвимость, беспомощность; и когда его высмеивали или задирали, он, бросаясь драться кулаками, камнями, всем, что попадалось под руку, как будто защищал их обоих.

[1] Urban (англ.) – городской, свойственный городу. (Прим. ред.)

Фактически его воспитали женщины – бабушка и мать, а вне дома – дворы на Рымарской. Потом – мужчина с перебитым носом, расплющенным ушами и костными мозолями на кулаках, чье имя всеми и везде произносилось осторожно и почтительно, зарабатывавший на жизнь альфрейными работами, в комнате у которого стоял докторский саквояж, заменявший денежную кассу; у него он перенял походку, манеру держаться, стиль одежды и правила жизни, кодекс обращения с мужчинами, женщинами, друзьями и деньгами. Так и вышло, что общаться можно было с этим человеком или с матерью, но не с отцом – виной тому был даже не отец, не его завод или работа и должность, требовавшие уважения и оставлявшие совсем немного времени для семьи, а самый уклад города – скорее люмпенский, нежели пролетарский, с рюмочными, пивными, рынками, лязганьем трамваев, пыльными улицами, папиросами, обращением «слышишь!..», танцами в парках, пиджаками, поножовщиной и рабочими районами, простиравшимися за перекрёстками трех-четырех центральных улиц. Оттуда приходило все, оскорблявшее, угрожавшее и ненавидимое, с чем надо было жить, к чему следовало притерпеться; и данником, а значит – частью всего этого был отец. Несколько раз они с отцом ездили к морю, где сын нехотя вверялся отцовской заботе, единственному выражению отцовской любви, безмерной (как он понял потом), но не нашедшей ни языка, ни средств, чтобы мальчик вырос таким, как хотел отец и мечтала мать. Потому что он возвращался к улицам и дворам, где те были безвластны. Потому что он рос среди сверстников и не помнил, чтобы с ним когда-нибудь дрались честно, один на один; замкнутый, воинственный, он мог броситься на парня десятью годами старше и даже на взрослого, ослепленный клокочущей яростью – бессильной, ибо почти всегда это заканчивалось одинаково: избитый в кровь, весь в пыли, с порванным рукавом или штаниной, он ковылял за гаражи к пожарному гидранту или искал кран, чтобы умыть лицо; или, подталкиваемый матерью, входил в отделение, где на скамье у дежурного уже сидел возле своих обозленных, перепуганных родителей кто-то из сверстников с пробитой головой. Он стоял молча, слушая тихий и спокойный голос матери: «Он еще мальчишка. Его дразнили. Была драка. Их было несколько на одного». И дежурный, морщась, обрывал ее: «Ну да. Конечно. Это самое я слышал от вас пять дней назад! Если вы знаете, что он у вас бешеный, не отпускайте его одного! Ты расскажи мне, что нам с тобой делать, Розенберг?»

А дома он слышал через дверь отцовский голос, исполненный того же гневного недоумения: «Я не понимаю, что с ним происходит и когда это закончится, черт возьми! Весь мир против него! Он один не может спокойно выйти на улицу, ты мне не объяснишь, почему?» И снова слышался спокойный и ясный женский голос: «Ты знаешь почему. Ты все прекрасно знаешь!» И снова гремел голос отца, гневный, недоумевающий, растерянный: «Что ты предлагаешь? Что ты предлагаешь? Лично я бы отдал его в армию, завтра же!» И женский голос отвечал со спокойным, стоическим терпением: «Говорю тебе: он просто мальчишка. Это возраст. Это пройдет! Он хороший, храбрый мальчик.

А потом это кончилось в ту минуту, когда он нашел себя, спустившись по лестнице в полуподвал здания синагоги; глаза обежали зал, и, заглушая все то подлое, оголтелое, с чем не мирились ни ум, ни память, голос внутри сказал: «Вот оно. То, что ты искал. И помни: никогда больше. Ни от кого. Никогда».

V.

– Внимание! – сказал фотограф. – Все, кто на съемку, пожалуйста, станьте у стены.

Трое мужчин и семь пожилых женщин с готовностью подошли к стене. Ванну, как оказалось, уже втащили. Двери квартир на первом этаже были распахнуты, как некогда двери квартиры Розенберга перед продажей; пыльные лампочки на шнурах, тронутых побелкой, горели в зыбком сумраке, очеркивая наготу стен и потолков, набрасывая на лица резкие тени, из которых глядели глаза.

– Мы проводим набор моделей для съемок Ильи Фрея, известного фотографа, лауреата международных премий. Господина Фрея, – поправился он. – Вот его представитель, господин Розенберг, тоже израильтянин и уроженец нашего города, как и господин Фрей.

– Проще говоря, Илья Фрейман, – негромко сказал один из мужчин.

– Совершенно верно, – сказал фотограф любезно. – Но мы тут все-таки будем называть его господин Фрей, как он значится в журналах и каталогах. Не возражаете?

– Да нет, – сказал мужчина. – Фрей так Фрей. Как скажете.

– Превосходно! – сказал фотограф. – Меня зовут Дмитрий. Есть кто-то, кто прежде снимался в фотосессиях? Нет? Ну, неважно. Это проект для Венецианского бьеннале. Чуть позже мы познакомимся со всеми поименно; тем, кого выберет господин Фрей,

нужно будет заполнить анкеты и договоры. К анкетам будут приложены ваши снимки, которые сделаю сейчас я. Внимание! Тут у меня конспект съемки и фотоматериал, раскрывающий идею, но я скажу все на словах и отвечу на вопросы. – Он отошел к окну, пробежал глазами текст. – Рабочее название проекта: «Зодчие руин». Господин Фрей решил представить в серии работ масштабную и разноплановую иллюстрацию краха большевистского проекта. Идея проекта хэмингуэевская: «Люди не верят в поражение, пока не увидят руины». Идеология режима исчерпана, он пал, в бывших республиках промышленные центры отмирают, превращаются в брошенные города. Представим взрыв, оставивший все на своих местах, но отшвырнувший такой город, как наш, на обочину развития. Жизнь в нем – существование вне времени, полуреальное полубытие, в котором люди-призраки живут в прошлом и прошлым.

– Тут и представлять нечего, – сказал мужчина.

– Они доживают свои истории среди разрушающихся зданий, заводов, мостов, – продолжал фотограф, – становясь заложниками воспоминаний, любовниками, уединяющимися в ванных, в гостиных опустевших квартир, на подоконниках подъездов, как в юности. Господин Фрей хочет снять нескольких женщин и пожилых пар в коротких love-story, в псевдоготике, этаком городском средневековье. Не приукрашивая ни тела, ни камня. Это будут черно-белые фотографии в духе неореализма, с чем-то от немого кино – позами, театральностью, драмой. Так ему это видится.

– Постойте! – сказала одна из женщин. – Вы здесь нас будете фотографировать? В этой грязи?

– Совершенно верно, – сказал фотограф любезно. – Мы хотим снять наш проект, а не ваши студийные портреты. Вы должны понять следующее: это роли, игра. В которых вы играете отчасти себя самих.

– Людей-призраков.

– В какой-то мере. Условно, метафорически. Людей без будущего, не переставших жить и любить. Даже счастливых тем, что они остались одни. Таких городов множество. Детройт, Гери в Индиане в США, Магадан, да мало ли мертвых городов! Просто представим, что в них остались люди. Что они больше не надрываются на работе, не борются за жизнь, а просто живут и любят. Руины для них нечто вроде рая, который подарил им режим, и эти люди – вы.

– Мы должны будем раздеваться, так?

– Скажем, сниматься полураздетыми. Вы уточните у господина Фрея. Тут нужны искренность, обнаженность, правда. К тому же вам хорошо заплатят.

– Пойдем отсюда, – сказала женщина подруге.

– Нет, я буду участвовать, – сказала та. – Мне не близка идея, но деньги мне нужны.

– Прекрасно, – сказал фотограф. – А пока давайте прервемся. Мы вас оставим минут на сорок. У вас будет возможность все обсудить. Если надумаете сниматься, помните: съемка – совместный труд фотографа и модели. Тут либо проникаешься идеей, характером самого действа, либо лучше не начинать.

– Это мы тоже поняли.

– Прекрасно, – сказал фотограф. – Теперь мне нужен мужчина для сюжета на другой площадке. Вы, например, – Он кивнул человеку, говорившему с ним о Фрее. – Проедетесь с нами.

Он вышел с Розенбергом в коридор, к представителям собственника и рабочему. – Ну что ж, все неплохо! – сказал он негромко, доверительно. – Начнем через час, снимать будем часа два. Свет нежелателен. Нужно, чтобы было темно. В этих трех комнатах можно заклеить окна газетами или плотной бумагой? Или заложить их листами толи? После мы их завесим чем-нибудь. Подметать пока не надо, сбрызните пол, чтобы прибить пыль. Газеты расстелите на подоконниках тут и там. Ну что, довольны? – сказал он Розенбергу.

Не отвечая, Розенберг достал из заднего кармана бумажник, отсчитал пятьсот долларов и отдал фотографу.

Была середина дня, полуденное солнце слепило. Рабочий и мужчина-модель, ровесник Розенберга, уселись на заднее сиденье. В подскакивавшей, дребезжащей машине они одолели подъем к городской площади и свернули на Пушкинскую.

– Хотел спросить, почему город как вымер? – спросил Розенберг фотографа.

– Люди разъехались. На заработки. В Польшу. В Россию. В Германию. Те, кто остались, на дачах или на работе, если она есть. На вещевом рынке, горбатятся на китайцев. Многие поумирали или уехали, как вы. В центре всегда безлюдно в полдень. Вы, кстати, где жили до эмиграции?

– На Рымарской. В шестом номере.

– Знаю этот дом. Ниже, на Бурсацком спуске у меня было когда-то место, простоял там пару лет. Торговал книгами. Под конец их даром никто не брал. Было такое время! Не застали?

– Нет, – сказал Розенберг.

– Повезло вам. Фрею тоже хватило ума уехать вовремя.

Фотограф припарковал машину у ограждений из шифера. Они прошли в ворота, мимо

полуразрушенной пристройки, возвышавшейся среди разросшегося бурьяна. Стоявшие в ней милиционеры лениво следили, как они входят в здание; один поднял два пальца в карликовом приветствии. Розенберг вошел за фотографом в плотную тень, в тленные запахи развалин, держась обезображенных стен, устремленных в яркую синеву неба. Фотограф приостановился, снимая обнажившуюся там и сям кладку стен, надписи, словно протравленные кислотой, черные балки, протянувшиеся у них над головами, разбитые балконные двери в верхних этажах. Потом окинул взглядом гору битого кирпича и камней.

– Придется обойти кругом, – сказал он Розенбергу. – Снимать надо на просвет, а солнце у нас за спиной. И вот что: мне понадобится ваш плащ, на пару минут. Дадите?

– Да, – сказал Розенберг, чувствуя, что происходящее начинает тяготить его.

Они гуськом перешли к противоположной стене, Розенберг снял плащ и отдал фотографу. Тот передал его рабочему и стал прилаживать вспышку.

– Встаньте-ка к стене, – сказал он мужчине-модели. – Сделаем пробные фото. Просто смотрите на меня. – Он чуть отступил, подался вперед, перенеся вес на переднюю ногу и на миг слился со своим массивным фотоаппаратом. Ударила вспышка. – Еще! – скомандовал он. – Позы не менять! – Снова ударила вспышка. – Так, – сказал фотограф. – Так. Закиньте голову, будто глядите на меня свысока! – Вспышка ударила. – В следующий раз не брейтесь перед съемкой. Смотрите на меня исподлобья! Отвороты пиджака зажмите в кулаки и сведите их у подбородка. Хорошо! – Вспышка ударила. – Так, – сказал фотограф. – Превосходно! Сбросьте пиджак на локти и голову откиньте назад. Ага, так. – Вспышка ударила. – Станьте ко мне в профиль. – Вспышка ударила. – Ну вот, – сказал фотограф. – Достаточно. Теперь наденьте этот плащ и воротник поднимите! Представим, что вы здесь живете с собакой, и эта куча кирпича ваш палисадник, внутренний двор. Ранее утро; вы вышли подышать и выгулять пса. Пройдитесь наверх, не спеша и не останавливаясь. Руки суньте поглубже в карманы и распахните плащ. Пошли!

Осторожно ступая, мужчина двинулся наверх. Когда он дошел до середины, заработала вспышка. Розенберг следил за ним, не отрываясь. Он вдруг почувствовал почти мистическую многозначительность происходящего: так одинок был человек в его плаще, бредущий в косых лучах. На вершине мужчина остановился и, как вчера Розенберг, поднял голову к небу.

– Гениально! – работая вспышкой, вполголоса сказал фотограф. – Золотая голова, умница Фрей! Вот широкая метафора жизни! Надо было снять его с голыми икрами, в туфлях на босу ногу, будто он только вылез из постели, ну да ладно, сойдет и так. Очень убедительно! Понимаете, о чем я говорю?

– Хочешь сказать, что останься я в городе, сейчас стоял бы там вместо него?

– Нет, просто образ символичен. Мы живем в руинах прошлого и шагаем по обломкам: вы, я, он. Не имеет значения, остались вы или уехали!

– Может быть, – сказал Розенберг. – Хотя я, кажется, неплохо устроился.

– Это что-то меняет? – с легкой иронией спросил фотограф.

– Слушай, парень, ты сможешь закончить без меня? Я тебе доверяю, – сказал Розенберг.

– Нет-нет, вам нужно остаться! Что-то может пойти не так. Эти люди – не профессионалы. Вы – заказчик, вы платите, все происходит при вас, и никаких недоразумений! Снимем хотя бы квартиру и окна на Рымарской; в парке и на мосту я управлюсь сам. Так что, пожалуйста, не уходите!

– Мне ехать с вами или как? – спросил мужчина-модель. Он подошел, отдуваясь, и отдал Розенбергу его плащ. – Все хорошо, вы довольны? Можно взглянуть, что получилось? Я, кстати, в молодости играл в студенческом театре, это чувствуется?

– Да, – сказал фотограф. – Несомненно. – Он выразительно поглядел на Розенберга. – Давайте-ка все закончим, снимки посмотрим потом.

Розенберг взглянул на часы, потом – в узкое окно, и, точно очнувшись, увидел в нем простершийся город: блеклосолнечные разномастные крыши, протянувшиеся, насколько хватало глазу. Он выпил в гостинице и теперь почувствовал себя уставшим и отяжелевшим; съемки, поездки, фотограф утомили его. Он потерял интерес к происходящему еще раньше, поняв, что все идет как надо, и от него ждут только денег. Фотограф и мужчина-модель смотрели, как он направился к выходу из здания, прошел за ограждение, и, не дожидаясь их, сел в машину.

С тем же отсутствующим, жестким выражением лица, на котором резче обозначились морщины, он прошел за фотографом в комнаты, покинутые ими час назад, точно переместился из полумрака в полумрак, миновав дремотную пустоту залитых солнцем улиц.

Пока их не было, несколько человек ушли.

– Скоро закончим, – сказал фотограф Розенбергу.

Розенберг с равнодушным любопытством

оглядел женщин у дальнего окна. Одетые с провинциальной щепетильностью в неброские темные юбки, жакеты и плащи, они напоминали учительниц, явившихся на поминки и тихо переговаривавшихся в пустой гостиной. Мысль о том, что их будут снимать в фотосессии, показалась ему безумной – как те фотографии старческой женской плоти, затянутой в модное белье, которые Фрей приложил к плану съемок; точно читая его мысли, женщины у подоконника поглядывали в его сторону с плохо скрытой враждебностью. Все это нужно было перетерпеть, и, вернувшись в гостиницу, выбросить из головы.

Фотограф принес из автомобиля кофр со студийным оборудованием.

Водрузив его на подоконник, он выложил удлинители, стационарные вспышки, завернутые в целлофан, штативы, зонты и зачехленные лайтбоксы[1].. Розенберг подошел помочь. Вдвоем они молча и споро расставили штативы. Фотограф водрузил на них вспышки, вставил в одну белоснежный, китайского шелка, зонт, и направив в потолок ее тальковый свет, принялся собирать лайтбоксы. Навесив на остальные вспышки их черные короба с шелковыми экранами, ровным сиянием сгустившие сумрак, он вышел за бумагами Фрея. Розенберг, привалившись к стене, смотрел, как фотограф вернулся, как начались съемки, как в промежутках между ударами света менялись женщины у стены. Вскоре перестав воспринимать происходящее, он глядел, не вглядываясь, и уж подавно не пытаясь понять, зачем он сам здесь, как он здесь очутился; просто стоял в плотном сумраке, против света и голосов, прислушиваясь к своему дыханию, к невнятному шуму воспоминаний; так было вчера на заре, среди развалин, и когда-то давно, когда он посмотрел вверх, на прожектора, слушая и не слыша формулу боя; бывало и потом, у кострища на берегу Моравы, в аэропорту Schiphol[2], на израильской улице, когда разум спрашивал у отблесков пламени, у чужой спины, у силуэта самолета в лучах заката, как вышло, что он здесь, он ли это. Так же спокойно, бездумно, слушая гул в ногах, он видел, как переместился свет, как пожилая женщина в лифчике и нижней юбке, точно сошедшая со старых фотографий, прошлась, сопровождаемая вспышками, в конец коридора, поочередно приняла несколько разных поз у дверного косяка, и в голове у него пронеслось: «Черт с ними. Мне-то до них что. Свой билет я отработал. Надо простоять здесь, пока они закончат, выпить и лечь в постель, чтобы вытянуться как следует!»

И снова свет переместился, выхватил ванную, стену и пол, сместились и голоса, препиравшиеся, перешедшие в крики; и женщина наконец забралась в пустую ванну, села в ней, обхватив колени, как ей велели, а мужчина-модель подсел на обод; и она взглянула в сумрак, где стоял Розенберг. Мгновение она смотрела на него, как затравленное животное, с тем же немым отупелым отчаянием, с каким смотрела из спальни мать, когда ей сообщили диагноз. Розенберг подался назад и взялся за стену, пытаясь устоять на ногах. Вздохнуть он не мог, как после удара в грудину; потом задышал, натужно, будто воздуха комнаты не хватало на вдох, и гостиная поплыла перед глазами; и память заговорила с ним, ясно, беззвучно, повелительно: «Поспокойнее. Дыши. Время есть. Поспокойнее. Просто дыши, и все». А потом расслышал и голос фотографа: «Что? Что такое? Что с вами?» И, все еще не придя в себя, услышал собственный голос: «Ничего. Померещилось». «Это все духота – говорил фотограф. – Вспышки греются. Надо на улицу! Я провожу вас! Идти сумеете? Вам бы врачу показаться!» «Тут нет врачей. – Он снова услыхал свой голос: – Найдешь меня в гостинице. Фрей прилетит в субботу. Заканчивай этот чертов цирк!»

Ночью сквозь сон он услышал, что телевизор работает.

Он сел на постели, не протрезвевший, с полузакрытыми глазами; нашарил ногами шлепанцы, поднялся и прошел к балкону, пытаясь попасть в рукава халата, Вызвездило; но край неба светлел, и по-утреннему, вполнакала, горели фонари вдоль площади. Розенберг постоял в дверях, чувствуя, как знобкий ночной воздух взбирается к груди и животу; вернулся, залпом выпил бутылку воды из бара и забрался в постель. Он не напивался допьяна последние лет десять; алкоголя хватало на забытье до полуночи, и тогда он засыпал лишь под утро. Телевизор он не выключил. Снова проснулся, когда рассвело, еще в похмельной одури, пролежал с полчаса, не шевелясь, без мыслей, прислушиваясь к телу, как к механизму, беспричинно разладившемуся на миг. Потом перестал. По крайней мере, теперь он был свободен.

Он постоял под душем, оделся, спустился на второй этаж к шведскому столу; вернувшись в номер, отхлебнул из бутылки и сунул ее в карман плаща. Час спустя он был на автовокзале. Еще через час, проехав в тряском автобусе через сельские пригороды, перелески и поля под картинной небесной синевой, сошел на площади областного

---

[1] Лайтбокс (световой бокс, англ. lightbox) – источник света с большой поверхностью, относится к оборудованию фотостудий, используется в фотосессиях.

[2] Schiphol – аэропорт Амстердама.

городка, окруженной трехэтажными, казарменного вида домишками, тополями, клумбами с оградой из побеленных покрышек, врытых до половины в землю; пересев в старенькое такси, он через десять минут был у наезженной дороги, что вела к мосту у дугообразной речной излучины, огибавшей далёкий мыс с кромкой леса. Там он расплатился, вылез – и двинулся, не торопясь, по мягкой пыли к мосту над искрившейся темной водой, за которым в густой зелени проглядывали белые домики. Когда-то он ходил этой дорогой каждое лето, месяц или два в году, в зависимости от того, сколько тянулись сборы, уезжая с адидасовской сумкой на плече домой на выходные и возвращаясь таким же утрами, жаркими или росными, а если сборы затягивались до октября – по осеннему студёными, и придорожная трава бывала прихвачена инеем, а лес окрашивался пламенными цветами осени… Он перешел мост, вторивший шагам, взошел на песчаный, поросший сосняком склон и направился в глубину лагеря, между рядами фанерных домиков, – явно чужой здесь в своем летнем плаще, светлых брюках, мокасинах и дорогих темных очках; но лагерь был почти пуст, и на него не обращали внимания. Розенберг свернул вправо, туда, где тридцать лет назад стояли палатки на четыре койки и были намертво вкопаны и зацементированы трубы и щиты с кронштейнами и поперечными балками, на которые по утрам навешивались тяжелые мешки, пневматические и натяжные груши, хранившиеся в пристройке к тренерскому домишке; дальше – он точно помнил – стеной стоял молодой ельник, порыжелый к июлю, с плотным настилом игл, тенистый, в прокаленной хвойной духоте, пронизанной солнечными лучами. Теперь тут высились ели; переменился, поредел и вырос лес, тропинками которого они бежали каждое утро, небыстро, часами, сквозь смыкавшуюся листву орешников, тени и солнечные пятна; отыскивая взглядом тропинку, он всмотрелся в солнечную лесную глубину так, точно думал разглядеть силуэт с белым пятном полотенца вокруг шеи, мелькающий впереди таких же, расслышать шаги, которые могло бы хранить для него это зеленое безмолвие – место, позабывшее его и не узнавшее, а теперь чутко прислушивавшееся к его присутствию... Он рассмотрел тропинку, размытую за годы дождями, огляделся, достал из кармана бутылку, отхлебнул, и направился к дощатому, открытому небесам помосту, вокруг которого, траченные временем, потемневшие трубы и щиты стояли неприметно, точно избыв свое предназначение и растворившись в растительной жизни леса. Он подошел к одной из труб; осторожно, как ребенок, тронул корку ржавчины. Потом сел на солнышке, на выбеленные временем нагревшиеся доски; потом лег и раскинул руки, снова слыша несметные голоса памяти, молодые, беззаботные, неразличимые в слитном хоре, принадлежавшие его поколению, сгинувшему без следа, ушедшему беззвучнее дыма. Он не пытался вспомнить лица, заставить их выступить из темноты: он знал, что из этих людей половины нет в живых – по крайней мере из тех, о ком он слышал, – и сознавал, что хотел найти тут что-то не от прежнего времени, не от поры, когда жизнь столько обещала каждому, а от себя самого; хотел расслышать свой голос в этом хоре. Он не жалел, что толком ничего не мог вспомнить, и не завидовал отцу с его фотографиями встреч выпускников Политехнического, происходивших каждые десять лет; В тех снимках, до сих пор хранившихся у сына, было что-то кладбищенское, *неотмирное*. Его собственные немногочисленные фотографии, снятые здесь, и снимки боев порвала девка, с которой он жил полгода; уходя, он выбросил клочки в кухонное ведро. Куда лучше он помнил, как мальчишкой покупал пирожки прямо из кухонного бака на углу Пушкинской и Воробьева, или как, взобравшись на будку киномеханика в сквере Дома ученых, глазел на экран, распластавшись на толевой крыше. Ему показалось, что он задремал. Он сел, посмотрел на часы и поднялся.

Он позвонил Ларочке с дороги. Снова сидя в таком же автобусе среди бедно одетых людей и глядя, как в окне, точно в панораме, по убывающей дуге отодвигались, не удаляясь, перелески, поля и запыленная придорожная растительность, он мысленно пытался вернуться к тому, от чего уходил, что готов был отринуть при первой возможности, не желая тогда даже думать, что можно бы остаться и прожить жизнь, устроившись тренером, или директором рынка, или как-то ещё, как в конце концов устраивались те, кто оставались и те, кто уезжали. Он и на свой магазин не смотрел, как на собственное дело; перекупил его по случаю и продал бы, не задумываясь, будь в том какой-нибудь смысл; закупки и счета он передоверил одной семье, сам ни дня не простояв за прилавком. Раньше он думал, что это делает его свободным и что только так и можно жить, и тем себя оправдывал; потом не стало необходимости и в самооправдании. Он подумывал о том, чтобы создать семью, но возвращался к этой мысли все реже, поняв наконец, что со своей темнокожей женщиной пребывает просто в нормальном, здоровом грехе, а в жене хотел бы найти не то что копию своей матери, но ее

продолжение, аватару[1]; и он без сожаления расстался со своим намерением, потому что зажить своим домом с чужой значило бы не только порвать, а похоронить окончательно то, с чем он вырос, что почитал и любил. И о женщине, к которой ехал теперь, он думал тепло, но без раскаяния: еще одна, которой я испортил жизнь! С ними, кажется, мне удается только это.

Начинало смеркаться, когда он позвонил в дверь ее квартирки, где (он скорее почувствовал это, чем понял) не было мужчины по крайней мере с тех пор, как он побывал тут в последний раз без малого двадцать лет назад. Она впустила его, распахнув дверь, и бросилась ему на шею; потом отступила на шаг, принимая у него цветы, коробки, глядя на него с недоверчивой, восторженной улыбкой на курносом веснушчатом лице. Она явно побывала недавно в парикмахерской; глаза скрывали дымчатые очки. Впрочем, она почти не изменилась: невысокая, стройная как девчонка; казалось, годы сделали ее ещё стройней, пощадили.

– Ленечка! – сказала она. – Леня Розенберг! – Она потрясла головой, словно отгоняя сон. – Я думала, больше тебя не увижу! Леня Розенберг! – произнесла она раздельно, точно пробуя звуки на вкус. – Поверить не могу!

– Здравствуй, Ларочка! – проговорил он, улыбаясь.

– Все, все, пойдем! Я еще рассмотрю тебя хорошенько! – она повела его в столовую, усадила и принялась разбирать и раскладывать фрукты, цветы, конфеты, украшая стол и не сводя с гостя восторженных глаз. – Ты голоден? Когда ты приехал?

– Три дня назад, – сказал Розенберг. – Прости, не зашел сразу. Были дела.

– Ах, да, конечно! Вначале дела! – она тряхнула головой и засмеялась. – Ничего не меняется! Ты был у своих?

– Нет, – сказал он. – Я думал, завтра.

– Я навещаю их.

– Знаю, – сказал Розенберг.

Ее мать умерла рано. Вот все, что он знал о Ларочке, когда та появилась в их доме; он быстро свыкся с ее присутствием, не задумываясь, чем оно объясняется: ее любила мать, и этого было довольно. Он видел ее еще несколько раз, когда навещал отца; на её имя он переводил для отца деньги. После похорон он выслал ей денег, но они вернулись назад.

Он разглядывал обстановку гостиной – скорее строгую, чем скромную: недорогой гарнитур, белые тумбы, физалис[2] и папоротники, засушенные в высокой вазе, стопки книг, зеркала, стулья с гнутыми спинками, темные занавеси, у стены – покрытое белым полиэфиром пианино Bechstein, на нем – книги и фотографии в серебряных рамках.

– Твой подарок, Ленечка, – сказала она. – Не знаю, что бы я без него делала.

– Сколько ему лет, Лара? – спросил Розенберг.

– Семнадцать, – засмеялась она. – Его недавно подреставрировали. Я даю уроки, Ленечка, как твоя мама когда-то. В училище часов дают слишком мало. И учеников год от года все меньше. Ты же был в городе, видел, как все переменилось? Ты кого-нибудь нашел из приятелей, друзей?

– Нет, – сказал он. – Да я и не искал. Аза жив, Вовка Каратаев в Киеве. Рамзес ушел, Самохи нет. Шияна похоронили в апреле. Говорят, он уходил тяжело. Я не видел их с тех пор, как уехал.

– Как тебе живется, Ленечка? – спросила она. – Чем ты живешь в Израиле? Что ты там вообще делаешь?

– Не знаю, – сказал Розенберг и засмеялся. – Просто живу. Живу, и все. Так живут многие.

– Ленечка, – сказала она. Она не сводила с него глаз, он видел их сквозь дымчатые стекла ее очков. – Ну хорошо. Ты мне расскажешь потом! Налей мне вина, я хочу выпить!

– На днях встретила Ирку Заславскую, – заговорила она через минуту. – Ну и вспомнили, конечно, тебя, Ларису Лазаревну… Ирка все спрашивала, где ты и что ты, а я не знала, что отвечать!

Она тряхнула головой, вздела очки на волосы у лба.

– Дай-ка я посмотрю на тебя, Ленечка!

Привстав, она приблизила к нему свое лицо так, что он ощутил ее дыхание, почувствовал сквозь фиалковый аромат ее духов сладкий запах помады.

– Господи, сколько шрамов! – сказала она. – Шрамы, морщины, седина, но шрамов все-таки больше! – и продолжила речитативом, без выражения:

Он был тощим, облезлым, рыжим,
Грязь помоек его покрывала.
Он скитался по ржавым крышам,
А ночами сидел в подвалах.
Но его никогда не грели,
Не ласкали и не кормили.

[1] Аватара (тж. аватар) – в индуизме термин для обозначения божества, сошедшего в материальный мир с определенной миссией; на русский язык этот термин обычно переводят как «воплощение божества», что неточно. (Прим. ред.)

[2] Физалис – здесь: китайский фонарик, декоративное растение семейства пасленовых.

Потому что его не жалели.
Потому что его не любили.[1]

Она отодвинулась и села на стул, не сводя глаз с Розенберга. Он положил руку ей на колено.

– Не надо, Ленечка! – взмолилась она. – Мы уже стары. Господи! Неужели ты не понимаешь?..

Глаза ее наполнились слезами. Она схватила его руку и поднесла к губам. Розенберг тяжело поднялся, поцеловал ее в волосы и пошел к двери.

Пройдя по Сумской, странно опустевшей к вечеру, он свернул в парк и пошел по пятнам света под фонарями. Надо было поесть, но ему не хотелось на люди. Без малого сорок лет назад он смог уйти из дому, снять первую квартиру, потому что в их доме была она – не ученица, не родственница, а духовно близкий человек, некто вроде приемной дочери, проводившая у них целые дни; с его матерью их сблизила музыка, потом он понял, что не только музыка…

Между ним и матерью существовал негласный уговор: я говорю тебе то, что полагается знать матери, я буду делать то-то и то-то, и не сделаю того, чего ты не приняла бы никогда, за что если не прокляла бы, то осудила бы в принципе; большего не проси. Женщине не нужно знать больше; мать она или нет, неважно! Как если бы он сказал ей то, что они знали без слов: у тебя есть мой отец, и твоя музыка, и она, а я уж позабочусь, чтобы у вас было все, что нужно, и чтобы то, чем я живу, вас не коснулось, обошло стороной. Вы только оставьте мою жизнь мне.

Он даже помнил, как ответил матери: «Да я от нее, с ее нотами, на второй день сбегу! Удочери ее, если хочешь. Все равно она от тебя не отходит. Она золотая девка, верно, но ты посмотри на меня». Про себя добавил: «Я и раздеть ее не сумею, просто не поднимется рука. Даже не знаю, как бы я это делал. И что бы я делал после этого». А теперь думал в такт шагам, не замечая, что думает вслух: «Точно. Она права. Ничего не меняется, черт возьми!»

Он свернул в боковую аллею, отыскал летний ресторан с плетенным из лозы ограждением под сельскую околицу и китайскими фонарями; усевшись за некрашеный стол, велел принести шашлыки, воду со льдом и стакан, а когда официант отошел, налил полстакана виски, выпил, плеснул еще и стал смотреть на вечерние огни, вновь слыша голоса памяти: шум тысячной толпы, валившей вдоль по Сумской, музыку из автомобилей, смех на заднем сиденье, рокот ударных установок, шепот из темноты аллей.

В номер он поднялся с миловидной женщиной средних лет, подсевшей к нему в лобби-баре.

Было свежее прохладное утро, когда он подошел к воротам кладбища. Ворота были заперты, но боковая калитка открыта. Он вошел в просверк солнца и приостановился, щурясь, глядя на стоящий у забора огороженный сарай, в котором брали песок, ведра и кладбищенский инвентарь, на водяную колонку, окрашенную в синее, на асфальтовую дорожку к колумбарию и первые ряды могил, – черных надгробных плит, срезанных на угол, с фамилиями и названиями должностей чиновников обкома и исполкома, с их выгравированными портретами при галстуках и в орденах, – на осколки посмертной доски почета, на памятник городскому голове, на плиту и бюст губернатора (усыпальницы городской знати, как говорила мать), на надгробья академиков, художников, артистов с их барельефами, на двойные кресты, таявшие в слепящем солнце.

От ворот к боковым аллеям вела центральная; над ней смыкались кроны больших берез и кленов, образуя подобие анфилады. Справа стояли гранитные памятники с барельефами сыну директора завода, убитому в драке, и внуку Буденного, расстрелянному в городской больнице лет пятнадцать назад: его надгробную плиту украшало изваяние волка. В этой стороне кладбища могилы густо заросли лозой, лиственницами, ельником; в зеленой мгле виднелись рухнувшие деревья, поваленные изваяния; но вдоль центральной аллеи, за выкрашенными серебрянкой оградами чинно выстроились памятники с портретами юристов, офтальмологов, главврачей, генеральных конструкторов, ректоров институтов, – большей частью неухоженные, но еще не тронутые мерзостью запустения.

Розенберг подошел к сараю, убедился, что он закрыт, и направился к своему семейному участку. Участок располагался в начале четвертой аллеи, у обвитого диким виноградом фигурного забора, над обрывом, вдоль которого проходил Журавлевский спуск – дорога к Журавлевке[2], бывшей окраине в пойме реки; ее одноэтажные дома в низине были скрытым солнечной дымкой, повисшей над дорогой. В узкий проход вдоль забора обыкновенно складывали ветви и сучья, но теперь ели вплотную подошли к забору и к участку; из их сумрачной сени тянуло сыростью. Соседние могилы были столь же заброшены: дети похороненных здесь людей если и были живы, то состарились сами.

---

[1] Отрывок из раннего стихотворения И. Бродского «Кто-то должен любить некрасивых».

[2] Журавлевка, Журавлевская слобода. Бывший хутор, затем пригородная слобода вдоль поймы реки Харьков.

Он прошел, разглядывая знакомые, треснувшие кое-где памятники, замшелые могильные плиты, от которых веяло кладбищенским покоем, как от солнечных полян у ворот, высеченные фамилии, которые не хранила память, но узнали глаза, и остановился перед своим семейным участком. Ограда была крашена чёрным, внутри стояла большая надгробная плита из гранита; на ее отполированной поверхности были выгравированы фамилии и даты – рождения и смерти – деда, которого он не застал, бабушки, матери и отца. Под фамилией матери была надпись, сочиненная отцом: «Спи спокойно, наша любовь, наше счастье, наша радость!», под фамилией отца – надпись, которую оставил он, сын: «Спи спокойно и ты, мой добрый и храбрый отец».

Он размотал обрывок целлофана, которым был обмотан замок, сунул его в карман плаща, открыл калитку, вошел, аккуратно положил на декоративную железную скамью, приваренную к ограде, розы в намокшей газете, купленные по дороге. Затем подошел к плите, прильнул губами к выщербленному краю, чувствуя на губах вкус камня.

– Здравствуйте, – сказал он. – Бабушка. Мама. Отец. Простите, что долго у вас не был.

Он постоял, опершись о камень, помаргивая и гладя на солнечную листву вдоль аллеи. Затем посмотрел под ноги на желтый кладбищенский песок и декоративную клумбу, в которой, как и вдоль ограды, были высажены медуница, незабудки, папоротники, аквилегия. Присев на корточки, он достал из-за камня две обрезанные до половины пластмассовые бутыли, тряпки; сходил к воротам за водой, оставив ограду открытой. Вернулся, протер полированную поверхность камня, – вырезанные буквы потемнели от влаги, – спрятал за камень тряпки и одну бутыль, во вторую поставил цветы; сел на скамейку ограды, отдышался, достал из кармана плаща бутылку, отхлебнул и спрятал назад. Потом посмотрел на дорогу и в зелень над головой, на светотень, игравшую в прозрачном воздухе.

– Я посижу тут с вами, – сказал он. – Мои дела, вы, я думаю, знаете. Детей у меня нет, денег – тоже. Какие-то есть. – Он засмеялся. – Ни денег, ни детей! Ну и ладно. Я же не говорил, что умею жить. Я в Израиле, с темнокожей, ее зовут Гили Шараби. Мне б рассказали, не поверил бы! Вся жизнь уходит, чтобы стать не собой...

Он замолчал и привалился спиной к ограде, следя за игрой солнечных пятен и теней, в которую перешли те, к кому он обращался. Через день после похорон он позвонил санитарке, ухаживавшей за отцом, и отдал ей для мужа не надеванные ни разу отцовское пальто, костюмы, туфли и рубашки; два заношенных до блеска костюма, в которых отец ходил на завод в последние годы, он вынес во двор и сжег вместе с десятитомным справочником по машиностроению, – который отказались взять в институтскую библиотеку, – с грудами других книг, альбомами, чертежами, кальками,. Он не хотел, чтоб в этом рылись чужие, а, верней, поступил так потому, что пламя, стихия огня, очищения воплощала для него идею чистого освобождения духа, отягощаемого плотью, тлением; отец, мать, бабушка были кремированы, и урны захоронены, прикопаны; тут упокоился их прах, подле останков деда. Себе он оставил из вещей отца кронциркуль, американскую логарифмическую линейку, которой отец страшно дорожил, и его кошелек, женский, маленький, в который мать клала каждое утро деньги на обед и на трамвай. Потому что ему никогда ничего не было нужно, подумал сын привычно, спокойно, как о том, что принял безоговорочно, смирившись раз и навсегда. Мы не рождаемся быть счастливыми и не способны научиться жить, и с этим ничего не поделаешь. Мы просто не умеем по-другому. Мы даже сбежать не умеем.

Он посидел еще немного, без мыслей, чувствуя на лице ветерок; открыл глаза, собираясь встать, и внезапно листва над головой изменила цвет, выцвела, точно просвеченная рентгеном, став радужно-чернильной, полупрозрачной в ревущей черноте; потом цвета вернулись, и грудь пронизала боль такой силы, что он выгнулся дугой. Нечеловеческим усилием, вцепившись в ограду, хрипя, он повернулся, чтобы позвать на помощь, но дорога под обрывом была пуста, и только фура одолевала подъем в солнечном мареве. Пальцы его разжались, он повалился на песок, чувствуя его щекой и больше не пытаясь дышать, слыша сердце, забившееся, точно проколотая шина; затем он перестал чувствовать и лицо, и песок, и тяжесть собственного тела; песчинки перед глазами стали размытыми, утратили очертания.

Розенберг возвращался домой.

Вячеслав Тюрин

ЛЕТО В ГОРОДЕ

ЛЕТО В ГОРОДЕ

Я вспоминаю лето в городе,
бульвары, скверы, тупики,
карнизы, где гуляют голуби,
предместье, где поют гудки.

Бельма фасадов обескровлены
и в подворотнях полумрак.
Трущобы, сросшиеся кровлями,
ничейная земля в буграх.

Там, как ожившая метафора,
затерян автор этих строк.
Цыган, отбившийся от табора,
сквозной, залётный ветерок.

Убогая вещами комната
приговорённого к столу
сдана другому. Лишь инкогнито
паук работает в углу.

* * *

Бессонница подобна мачехе:
стоит часами над душой.
Даёт уроки математики:
пора бы знать, уже большой.

Большой – от слова «боль», не правда ли?
Вопросы вечные – кому?
Мир перестал нуждаться в авторе
с тех пор, как зажил по уму.

Толпа на площади скандирует:
«Долой действительность, долой!»
Всех объектив фотографирует,
и дворник шаркает метлой.

Естественно, не всё потеряно:
мечту не пустишь с молотка.
Зашевелит ветвями дерево,
как будто пальцами рука.

Запляшет ветер на развалинах
и в дымоходах запоёт.
Вновь заскрипит по снегу валенок,
но с панталыку не собьёт

охотника за привиденьями,
вооружённого пером
и прописными рассужденьями
насчёт того, что зло с добром

между собой давно поладили,
игру закончили вничью;
друг дружку потчуют оладьями,
не замечая толчею

смешного снега по ту сторону
окна, подёрнутого льдом,
скребя ногтями по которому
шальная вьюга рвётся в дом.

Она к стеклу прильнёт узорами
и заметёт твои следы
между щербатыми заборами.
Царь окружающей среды

бежит по бесфонарной улице,
подобно жалкому рабу,

чтоб над бумагою сутулиться
в оштукатуренном гробу.

* * *

Лениво колыхая бёдрами,
в теоретическом шелку,
красавица шагами бодрыми
идёт навстречу мужику,

торгующему георгинами
у входа в метрополитен,
куда стекают муравьиными
ручьями люди перед тем,

как унестись в ослепшем поезде,
выныривая на другом
конце многоэтажной повести,
шумящей, словно полигон.

* * *

Несёт от прожитого падалью,
как в варианте нулевом.
Я масло в мёртвую лампаду лью,
играю в шахматы со львом.

Фигуры на доске расставлены,
как слепки действующих лиц.
Весь лабиринт кишит кентаврами,
и все пути пересеклись.

* * *

На кварталах ищите призрака,
там, где глумлива детвора.
Где ствол осины в форме игрека
ещё стоит на дне двора.

Блуждает эхо закоулками,
перекликаясь на блатном
жаргоне с отставными урками,
перевернувшими вверх дном

свою родную геометрию.
Подъезды хлопают дверьми.
Жилец, испытывая смертную
тоску, бросает «чёрт возьми»

и вот уже висит на поручне,
звонит по старым адресам
и натыкается на поросли
чужой действительности, сам

не понимая, где находится
и перед кем он тут в долгу,
когда диагноз «безработица»
написан у него на лбу.

* * *

Сны забываются, проявлены
лучами хлынувшего дня.
Цвет, облетая с дикой яблони,
китайских бабочек родня,

располагает к одиночеству.
На фоне клетчатых общаг
желанье жизнь назвать по отчеству
бьёт, точно водка натощак.

* * *

С небес, что с выстиранной простыни,
кривые лужи натекли.
Балконы кажутся наростами
камней, отнятых у земли.

Камней, что хорошо подобраны.
Лепные выступы дворца,
чудовища с глазами добрыми
по обе стороны крыльца,

заставы с ветхими часовнями
и монастырские сады;
места, где звёздами бессонными
ночь опрокинута в пруды,

всё говорит о силе Зодчего,
свидетельствует о любви,
звучит, зовёт к себе настойчиво:
лови мгновение, лови.

Хорош изображать паломника,
ломать комедию в глуши,
где попадаешь в уголовника,
стоит лишь плюнуть от души.

Пора как следует распробовать
насущный хлеб, запретный плод,
зане существованье впроголодь –
ошибка, жизнь наоборот.

Да это всё равно что заживо
похоронить тоску в зрачках.
В качестве лирика пейзажного
обосноваться в облаках.

Когда мне больше будет нечего
сказать, я растворюсь в толпе,
сольюсь с развалинами вечера,
начну мелькать в чужой судьбе.

Заплавают в тумане плошками
слезящиеся фонари,
на лестнице запахнет кошками
и замаячат пустыри

высоковольтными верёвками
для безразмерного белья,
улучшенными планировками
ввиду растущего былья.

Шагает по цепочке маятник,
сидит кукушка на часах
и ничего не понимает в них,
как циферблат – в своих усах.

Как будто демон повседневности
следит за мной из-за ветвей
изрядно обветшавшей древности,
которой нужен соловей.

Я выйду к людям с разговорами,
в чужие лица насмотрюсь.
Ударит в ноздри запах ворвани,
и я пойму, как пахнет Русь.

Узнаю, чем живёт окраина
с газгольдерами вдалеке,
криками воронья караема,
темна, как фраза в дневнике.

* * *

Пусты горбатые скворечники,
торча над избами вразброд.
Огонь играет на валежнике –
во что – сам чёрт не разберёт.

Горя стеклянными заплатами,
деревня теплится во мгле.
Прямоугольники с квадратами
лежат на мёрзнущей земле.

Как женщина глядится в зеркало,
так смотрит на себя душа,
дабы надежда в ней не меркнула,
покамест время, не спеша,

свою работу тихо делает;
и возникают миражи,
которым до тебя и дела нет.
О чём ты думаешь, скажи?

Кто, кроме Бога, знает истину?
Кому она ещё нужна,
когда слова звучат воинственно,
а жизнь так обнажена,

что вызывает чувство ужаса,
желанье выйти из игры.
Но голова так нежно кружится
от новогодней мишуры.

Вячеслав Тюрин

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

Наташа! Как трудно говорить издалека, сквозь эти стёкла и стены, в плену чудовищного косноязычия, так и не ставшего речью, не говоря уже о почерке. Теперь уже поздно рассыпаться в любезностях и всё же скажу Вам, что никто и никогда не оказывал мне подобных знаков внимания. Никто, кроме Вас и мамы.

Не знаю, застанут ли Вас эти каракули: рукою водит опоздавшее на год чувство долга.

Терять друзей, как будто приговорён к одиночеству, проклят кем-то из не до конца прожитой жизни, пробравшейся во сны, посылающей глумливых оборотней осведомиться, каково мне!

Видимо, те «страшные вещи», которыми я так неудачно похвастался, получили своё дальнейшее развитие – как тема сюжетно голодающей тьмы, раз ей нечем взорваться. Что касается предыдущего послания, то оно было просто-напросто зарисовкою миража, как, впрочем, и добрая половина всего когда-либо накарябанного мною. Действовала гравитация Красноярска, в дымной сыворотке будня подрагивали, как в искусственном зное, рыжие, под «бобрик» стриженые сопки; на одной из них чернела часовня, как поминальная свеча левобережья. Внизу текла кривая, вся в пивных точках, Кача. С рынка несло чебуреками и весёлой тарабарщиной торговли. Только меня там уже не было. Там должна быть ещё гостиница «Космос». Обычная гостиница с графинами кипячёной воды на столах и вафельными полотенцами на коечных дужках, однако, мне запомнившаяся. Возможно потому, что в разгар перестройки, то есть, в те баснословные времена, когда с головой у меня всё ещё было в порядке, мой легкомысленный двойник, после неудавшихся матримональных поисков и лёгкой перебранки с привратником, оказался, наконец, в своём «космическом» нумере, где, накурившись анаши, перед тем как лечь, долго таращился в чёрную, как аспидная доска, ночь на мелованные разводы фонарей. И был абсолютно счастлив. Если бы кто-нибудь ему тогда сказал, что в замкнутой среде неминуемо возрастает энтропия, то он просто подумал бы, что его разыгрывают (да он и слов ещё таких не знал; это сейчас понабрался, хоть кроссворды составляй).

Нет ничего труднее и в то же время увлекательнее писем из захолустья: вертишь в руках метафору, как Чарли – свою трость, то есть продолжаешь изображать трагического чудака на фоне обшарпанного бетонного забора с автографами тинэйджеров. Я сказал: из захолустья, но ведь и собственно Красноярском я готов назвать ту часть левобережья, что лежит между Вокзалом и Стрелкой. И никаким «взлёткам» с ихней победившей блотью не разбить гражданского сердца. Все эти низкорослые небоскрёбы и модернизированные теремки шибко смахивают на всего лишь увеличенный макет спального района, доказывая мне лично, что пошлость, хорошенько спрыснутая деньгами, способна разрастись и даже зацвесть, исполняя завет Маяковского.

Люблю покинутые места: пустую чашу стадиона, пляж в ноябре, да и сам ноябрь, пожалуй, с его перегоревшими бульварными звёздами, лирописью нагих ветвей и вылинявшим дёрном. По-моему, есть нечто музейное в ремесле дворника (оное здесь понимают несколько шире, чем банальная чистка тротуара), потому что фартук и нарукавники человека, метущего в переулке, сообщают утреннику черты жанровой картинки в духе Брейгеля.

А с прозою туговато. Начать нечто автобиографическое, что ли? То есть заняться душевным стриптизом от лица двойника перед озабоченными ценителями подобного чтива? В принципе, можно было бы наговорить не одну страницу так называемого текста, пуская мысль на самотёк, облагозвучить достоевщину совести, поднять архивы бессонниц. Однако набивка чучел – не моё ремесло. Вот у мистера Джойса это (я разумею поток сознания) замечательно вышло в «Пенелопе», набитой лепетом, как кукушка – гагачьим пухом (не знаю, есть ли у гагары пух, но <gaga> по-английски значит «того»). Обыватель, разумеется, чихал на такие вещи, да и у меня, признаться, был приступ аллергии перед тем как я расслышал в этой самовлюблённой женской болтовне – ни больше, ни меньше – библейское воркование горлицы, чистящей пёрышки в уюте супружеского гнезда.

Власть музыки в отдельных эпизодах (только не в «Сиренах», где я ничего, кроме наивного звукоподражания, не расслышал) так пленительна, что, читая, скажем, «Евмея», ловишь себя на том, что слушаешь блюз в дублинском пабе, – добротный, шершавый блюз с элементами джаза, а в «Итаке» чувствуешь себя, как в огромном анатомическом театре с отверстым потолком, откуда невидимка читает лекцию на предмет того, как устроено человеческое сознание и какие вещи с ним можно проделывать, если ты автор «Улисса». Вопрос, пауза, ответ, интервал. Обстоятельность и полное безразличие к времени, ибо куда спешить, если странствие закончено. Подобный

дискурс вызывает у меня чувство дома, столь редкое в наши дни. Циник осклабится: ничего себе домишко, – помесь мертвецкой с планетарием. Однако таковы пенаты постмодерна с его хитро закрученной каруселью по кличке «человек».

Розанов, восклицавший «что такое существование?», разве не знал ответа? Бытие по сути своей. А вопрошать дальше значит требовать от языка вещей, в корне ему не свойственных. Ибо человеческая речь есть, прежде всего, сама зычность именования, праздник мысли, поток, обретающий русло.

С жадностью параноика перечитываю Вашу статью, полную женственной сострадательности. Как я понимаю Вас в том, что Вы пишите о Петрушевской. Не то чтобы я был особым знатоком её творчества (читал кое-что в периодике давно и мельком), но тема близка. В том смысле, что ближе некуда. Что сказывается, конечно. Взять хотя бы моё отношение к тому, чем я безвылазно занят. Это какое-то пошлое состояние двойника с мыслями на побегушках у ритма. Любое ремесло требует мысли, но только словесное, пожалуй, состоит из неё сплошняком. На это сетовал ещё Баратынский: «Всё мысль да мысль! Художник бедный слова…» Каково же нам, если перо стало продолжением руки, полёты во снах – роскошью; мы вооружены чем попало, и только земля нас успокоит как «последнее оружье».

Говоря «мы», я подразумеваю (и подозреваю) некую систему людей, не обязательно пишущих, но в той или иной степени склонных к перфомансу, к флирту с действительностью, к розыгрышу. Потому что жизнь, по-моему, и так слишком математична в последнее время, чтобы к ней стоило добавлять ещё что-нибудь в этом же духе.

Включил как-то телек, а там: «музыканты-замир» на Васильевском спуске. Лучше, мол, мир, чем война, дескать, нет войне, кричит оптимист аж сразу в два громкоговорителя; дальше всё те же «нанайцы», воинственно тараторя свой бред, скачут на помосте. Толпа сочувственно шумит в безобидной тесноте сходбища. Бугры голов и вскинутых рук, выхваченных прожекторами. Видать, у меня в жилах адреналина поменьше, либо весь он уходит на двигатель внутреннего сгорания, в стол, раз я думаю себе: нет уж, лучше старая добрая война, чем такая новая волна в гламурных экскрементах.

Господи, подумал я сейчас, о чём я пишу, торча почти всё лето в комнате, потому что снаружи, видите ли, не с кем поговорить, а не то что встречу пережить или приключение какое.

В конце концов, остаётся пейзаж с водонапорной башней и наполовину заглохшей лесопилкой, то есть немотивированная ходьба, с тенью в соглядатаях, по окрестностям, которые к подобному предприятию, поверьте, Наташа, совсем не располагают. И только страх окончательно превратиться в домашнее животное толкает меня на те «страшные вещи», которые тем и страшны, что практически не поддаются толкованию.

Всё это пахнет временем, играет на нервах, отражается в пыльном трюмо, выглядывает из окна, маячит на перекрёстках и кончится, в лучшем случае, очередным рывком из этого посёлка. В худшем, это никогда не кончится.

Недооценка сюжетной стороны существования, запущенный виноградник юности, средиземноморный гул внутри полой раковины. Растёт до звука, требует имени. Всегда.

Фраза Бродского о том, что «стихотворение, написанное ради сюжета всё равно что жизнь, прожитая ради некролога» верна и для прозы. Возьмите Битова, сюжету в его гениальных текстах отведена отнюдь не почётная роль, однако пресловутый «эффект присутствия» не позволяет усомниться в реальности происходящего, либо – в нереальности, смотря с кем оно происходит, это, плевать хотевшее на нас и на всё, что мы о нём думаем, происходящее, когда книгу можно раскрыть наугад, и спокойно потеряться в мире, где правами сюжета наделяется частная жизнь лирического героя, до неузнаваемости преображённая жизнь автора, может быть, а вовсе не хронологическая перестановка действующих лиц на планшете прозаика, что неплохо смотрится в классическом детективе, с его манекенами, работающими только в режиме диалога, не считая плохо выбритого сыча с револьвером под мышкой: ему просто необходимо то и дело впадать в психоанализ, иначе налогоплательщик не поймёт разницы между чейзом и чандлером.

Я пишу Вам, и вдруг меняется наружное освещение, гигантская туча наползает на вечер, и я наблюдаю панораму грозы. Навстречу движется клочковатая мгла, горизонт мерцает и вспыхивает, как огни далёкой рампы, в закулисье кто-то (наверное, атлант) словно ворочает рулонами кровельного железа; наконец, начинается джаз дождя, он идёт чуть в наклон, барабанит по кровлям, сполохи молний блестят уже вблизи; твердь умыта хлябью, привычная резкость изображения восстановлена, ливень иссяк и можно дышать озоном в священной послегрозовой тишине с её редкими, как бы запоздавшими каплями.

В начале зимы я побывал на литературных посиделках, организованных комитетом по делам

молодёжи. Попал я туда следующим образом: мама послала несколько моих стишков, в основном, слабых, – Андрею Григорьевичу Румянцеву, ответсекретарю иркутского отделения Союза писателей России. Он ответил, не как ответсекретарь, а как человек, отечески журя меня за мой «бродский» уклон и приветствуя в тех местах, где дышала почва Нечерноземья, то есть можно было стоять в болотниках и штормовке, растроганно всматриваясь в колхозную даль родимого захолустья. Но сарказм вышесказанного, как Вы, смею предположить, догадываетесь, заключается в том, что как раз эти сельские полотна, с разбродом скворешен и скрипом колодезных журавлей, удаются мне с подозрительной лёгкостью, как бы намекая, что тут мне и место, нечего дёргаться.

Заслушивание молодых дарований происходило в деревянной двухэтажке, с крутыми лестницами, разного рода закутками, чуланами и тёмным прошлым. После переклички я замешкался и попал не в ту комнату. За широким столом, тускло маячившим в углу взгляда, стоял совершенно незнакомый мне человек и читал какие-то басни. Публика сидела тише, чем старшеклассники на контрольном диктанте. Женщина в мохеровой кофте, похожая на библиотекаря, что-то сосредоточенно записывала в блокнот. От одной мысли, что мою фамилию тоже могут подвергнуть огласке, начинала сохнуть гортань. А потом была другая комната, попросторнее, со сдвинутыми по периметру столами, за коими шли вежливые перешёптывания под декламацию председательствующего, прерываясь сумбурными перекурами, в чьих облаках имел место ритуальный обмен адресами, по которым всё равно никогда не напишешь. И только в гостинице, наконец, удалось заняться «делением литра на три, без остатка, при свете звёзд», приобщиться, так сказать, к бесконечности, ведь у каждого была своя звезда, но моя, видимо, горела чуть ярче. Во всяком случае, собутыльники не возражали, – один – стихотворец вознесенского толка, другой – фантаст, тоже немного рифмующий и даже поющий, ибо гитара была под рукой, и мы её по очереди пощипывали; чуть позже и гетера появилась, активная такая журналистка с чёлочкой и веснушками, жертвуя червонец, увлекая куда-то фантаста, то есть трио распалось, и началась уже типично русская пьянка, с выбеганием в коридор и лихорадочными поисками ключей, и мы со стихотворцем ушли на другой этаж, к усть-ордынским бурятам, где я вдруг обнаружил, что хочу петь, если не плясать. А буряты вообще народ голосистый, я слушал их гортанные рулады и радовался, как этнограф на каникулах, и перед тем, как отключиться, долго и вдохновенно беседовал с одной из луноликих на предмет обратимости в ихнюю веру, дабы с помощью шаманских заклинаний под бесноватую переступь бубна изгнать из своей башки на сто рядов подуманные мысли.

В облаке пропадающего сознания мелькнула какая-то ведьма, с ошпаренным лицом и густо подведёнными глазами, казавшимися от этого ещё уже. Она хлопала жирными ресницами, пытаясь что-то мне втолковать, – очевидно, что пора закругляться.

Утром Женя, земляк-театрал, поволок меня в ванную, голову под холодный душ, и через час мы уже находились в огромном зале, с колоннами и портьерами, где меня вызвали на сцену, чтобы вручить мне диплом за первое место в номинации «ПОЭЗИЯ», который был мною тут же приоткрыт, и я понял, что с похмелья долго страдать не буду, поскольку содержимое в углу пришпиленного конверта снимало эту проблему, в связи с чем взгляд увлажнился, и возникло желание пообщаться на «межклеточном уровне» с теми, кто был рядом и стоял за всем этим мероприятием под лубочной вывеской «Молодость. Творчество. Современность». Я хотел уже было бросить якорь в Иркутске, но земляки-театралы перехватили меня возле гардероба и стали божиться, что у них поручение от местного отдела культуры, моей мамы и чуть ли не самого Зевеса обеспечить моё возвращение к месту прописки. Возникла почти водевильная ситуация. Дипломант номер два, пышная брюнетка, шепнувшая мне в кулуарах, что её ремесло – соблазнять мужчин, теперь, с нескрываемым любопытством смотрела на то, как народно-передвижной театр «Песочные часы» в полном составе вился вокруг меня, взывая к моим местно-патриотическим чувствам, и оживлённо жестикулируя. Надо было просто послать их ко всем чертям, а я повёлся, как телок, хотя баран по гороскопу. Мной овладело безразличие победителя. «А мы думали: ты большой», – улыбнулся А. Г. Я тоже так думал.

Всегда Ваш,
Слава.

Валерий Черешня

ТАК УЛЫБАЕТСЯ СПАСЕННЫЙ

НАЧАЛО

…и мысль о смерти так меня пугала,
что я готов был сбросить одеяло
и, в кашле задыхаясь, убежать
из комнаты ночной, чей тусклый взгляд
осколком зеркала, настольной лунной вазой
был устремлён на старую кровать,
на тёмное молчание – и сразу
деревьев шёпот за моим окном
приобретал зловещее значенье
бесстрастной сплетни о моём мученье,
но что-то так ещё пугало в нём
и чудился мне в шелесте ночном
какой-то облегченный вздох бессмертья,
как будто им приснился странный сон
о длинной жизни, неизбежной смерти,
и так всю ночь, и ни о чём другом,
пока, осыпав тяжесть сновиденья,
от ветви к ветви, дальше, под уклон,
не пробуждались стоном: «обречён»,
имеющим к больному отношенье,
ко мне, больному, ждущему спасенья
с рассветом, не спешащим, как назло.

И здесь, в отчаянье, пока темно,
я доходил до крайности смиренья:
ну что же, смерть – так смерть, мне всё равно,
среди знакомых стен, картин, ковров,
всего, что собрано распахнутым окном,
и дальше – улиц, уводящих косо
к заросшим тупикам булыжный свой покров,
сводящих воедино душу, кровь,
ведущих в смерть, как в небольшую осыпь,
я засыпал…

* * *

Выход – в безумие, нет, в бормотание,
в рваную, глупую, жалкую речь;
вот она, тихая, с небом братание –
зимнего холода синяя течь.

Вот она, складная, ложь во спасение,
низка стекляшек в обмен дикарю,
косная, тёмная, – во искупление
чуткости зряшной, пригодной зверью.

ДЕРЕВО

Вере Дановской

Послушай, невозможно написать,
как дерево… послушай, невозможно,
оглянешься, вздохнёшь неосторожно,
и можешь вновь и вновь припоминать
тот город маленький от дома до вокзала,
сухую пыль, песчаную дорожку
и дом пятиэтажный, где стояла
такая тишь, как у лесной сторожки,
где в полутёмной комнате жужжала
большая муха, тыкаясь в подушку,
где мы с тобой раздетые лежали
не только потому, что было душно.
А ближе к вечеру, на узеньком балконе,
ты пробавлялась болтовнёй ненужной,
и был вдали пейзаж, как у Джорджоне,
окутан синей дымкою воздушной.
Я понимал и чувствовал вполсилы,
и нас оставил ангел наш, хранитель, –
собрались тучи и заморосило…

И вот тогда я дерево увидел.

МЛАДЕНЧЕСТВО

Чьи-то руки берут
и подносят к окну.
Там, за окном, живут,
подобные ветру и сну.

Там, за окном, текут
и размывают края.
Стучу и стучу по стеклу
в это текучее я.

Чьи-то губы к лицу,
звуков пустая дрожь...
Я от души хохочу, –
слышу какое-то: дождь.

* * *

В дождливый день читать роман
с неторопливою завязкой,
где некто полюбил мадам
и нагло хвастает подвязкой…

Пока мадам готовит месть,
влюбляя юношу обманно,
а юноша спасает честь
высокородного болвана,

я так живу, как будто лет
мне впереди безумно много,
а прошлого в помине нет, –
есть я за пазухой у Бога.

Есть ровный безмятежный плач, –
дождя пузатые колёса,
есть суетливый нервный ткач –
судьба, к которой нет вопросов.

Осуществится ли обман,
которым полон воздух влажный,
как чем закончится роман,
мне, в сущности, совсем неважно.

* * *

Тот край, где чувственным узором
зной зыблет жаркие границы,
и переливчатым пробором
проходит ветер по пшенице.

И берега сползают к морю,
как раб к ногам, прося пощады,
и, словно ропот в древнем хоре,
листвы взволнованное стадо.

Но вот, – гроза. Потоки между
лопаток улиц взбухнут вскоре, –
то мокрый город, сняв одежду,
её выкручивает в море.

А через час – закат лимонный,
опять светло, омыто, людно.
Так улыбается спасённый
улыбкой вымученной, чудной…

БЭЙТ-ХАЙИМ

Жена умерла – остались никчёмные дети:
толстая дочь, в глазах которой застыло:
«мне никогда-никогда не выйти замуж»,
сын с никаким лицом, обращённым в тарелку
(капелька пота в жару на кончике длинного носа),
вечно в тарелку – и слова годами не скажет!

Что говорить?
Избыток щенячьих усилий
юности, трудное дело оставшихся лет старика –
стоят друг друга, и ничего, по сути, не стоят.
Где ты, дом жизни?

Не это же злое жилище
с повестью пятен на стенах – метами стёршихся дней:
здесь он пролил молоко, а здесь, подпирая стену,
годы смотрел на закат в окнах соседних домов.

Вот он умрёт, и дети умрут – кто-то здесь будет
жить, переклеит обои, покрасит окна,
запах и тот вытеснит новым, своим.
Скажет: теперь хорошо, наконец-то устроен
дом моей жизни, которого столько я ждал,
дом моей жизни…

* * *

Я вспоминаю мать,
бабушку и хочу
с ними рядом лежать
после, когда умру,

в вязкой тени аллей,
где у тюркских могил
с выкриками скорбей
тихо скользит Азраил.

Может, хоть часть любви,
что получал, не ценя,
через тело земли
вновь обнимет меня.

Тёплый бы дождь вбивал
сотни капель-гвоздей
в травы, которым дал
Бог ощущенье корней.

Дал им дар прорасти
в поле, в саду, на костях,
силою всей земли,
знающей о корнях.

Алексей Коротков

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

ГУМАНИСТЫ

Дело было в месяце мае, в симпатичные такие, тёплые, мягкие сумерки, когда видно почти как днём, но смотреть под ноги всё же надо. Это я сразу объясняю, чтоб была понятна обстановка.

Ну так вот, аккурат в эту пору через пустырь, что возле нашего дома, шёл пьяный бомж. Чего его туда черти занесли – не представляю. Кроме бетонных штуковин с торчащими во все стороны ржавыми железками, ничего там хорошего нету. Шёл он себе и шёл, дороги особо не разбирая, зацепился штаниной об железяку, упал и сломал ногу. Лежит и кричит: «Помогите!»

А я в это время прогуливался в окрестностях и, естественно, поспешил на помощь. Так уж я сделан, что мне обязательно надо в своих и чужих глазах выглядеть очень хорошим. Однако, разглядев страдальца в подробностях, понял я, что в данном случае быть хорошим окажется непросто. Собственно, таскать травмированных на своём горбу мне и раньше приходилось, но то было в студенческие годы, когда я был молодой и здоровый, да и тащил я своего брата-студента, юношу чрезвычайно чистоплотного. Этот же бичара был мало того что грязен и вонюч невероятно, мало того что надул себе полные штаны (а смеяться, между прочим, нечего – от боли это с кем угодно может приключиться), так ещё и весь обовшивел. Воши по нём чуть не эскадронами разгуливали. И что, спрашивается, с ним делать?

– Слушай, – говорю, – мужик, давай я тебе «скорую» вызову.

Но бич, хоть и пьяный, а соображает чётко:

– Не надо «скорую». Не повезут они меня.

– То есть как это не повезут? Обязаны. У тебя ведь что, нога сломана?

– Угу. Только они ни х… не повезут, я их знаю. Ты бы лучше дотащил меня до дому, а? Дом на углу знаешь?

Дом на углу я, к сожалению, знал, и даже слишком хорошо – там в подвале располагался огромный бомжатник. Такой, я бы сказал, бомжатник районного масштаба. И ходу туда – метров 500. С мокрым, вшивым бомжом на спине. Тут, на моё счастье, проходит мимо знакомый азербайджанец Омар, торговец с Питерского рынка. Призываю его на помощь и кратко ввожу в курс дела. (Вот видите, сколько во мне нравственных недостатков. Тут тебе и мелочное тщеславие, и перфекционизм, и лицемерие, и инфантильное стремление переложить ответственность на чужие плечи. Когда помру, страшно даже подумать, как я перед Богом буду за всё это хозяйство отчитываться). Однако Омар переваливать ответственность с моих плеч на свои тоже не торопится:

– Нет, не могу. Я ШВЕЙ боюсь.

Эка удивил. Я и сам от них не в восторге.

– Слушай, Омар, а если мы его аккуратненько с бочков подхватим – вдруг они на нас и не перелезут?

Но тут уж бичара запротестовал:

– Ребята, не надо с бочков. Я ж ходить не могу. Вы меня лучше на руках донесите.

Прямо скажем, ценное предложение. Омара оно доконало окончательно:

– Честное слово, совсем не могу, да. Мы комнату снимаем – пять человек живём. Спим на полу. Матрас на пол стелем и спим. Если я туда швей притащу, меня вообще убьют.

И что тут возразишь? Прав он, целиком и полностью прав.

Ладно, Омар себе потопал, а я звоню в скорую. Девушка из «скорой» (ясновидящие они там, что ли?) сразу спрашивает: «Пьяный или бомж?»

– Да нет, – отвечаю, – вроде нормальный человек. (А голос у меня сразу такой фальшивый-фальшивый делается). Он ногу сломал, кричит. Вы уж приезжайте.

Ну вот и слава Тебе, Господи. Приедут.

Прячусь в кустах и смотрю, что дальше будет. Минут через 15 (к тому времени уже совсем стемнело) приезжает «скорая». Оттуда выходит доктор с фонариком и отправляется на пустырь искать пострадавшего. Пострадавший вопит благим матом. Не благим, а просто обыкновенным матом – тоже вопит. Так что отыскать его труда не составляет. Луч фонаря выхватывает из темноты распростёртое тело. Несколько секунд доктор его рассматривает, потом разворачивается, садится в машину и уезжает. Неустанно повторяя в уме клятву Гиппократа.

А я сижу в кусте и понимаю, что дела мои плохи. Либо я сейчас поступлю как последний эгоист, брошу ближнего в беде и навеки перестану себя уважать. Либо потащу его на себе, рискуя заразиться СПИДом, холерой, сифилисом, проказой, туберкулёзом и сыпным тифом. Не говоря уж про ШВЕЙ. В самый разгар этих моральных конвульсий подъезжает милицейский фургон. Оттуда вылазят два мента, тоже с фонариками, и отправляются на пустырь. Страдалец немедленно замолкает, но они-таки его обнаруживают, берут под руки и волокут к машине. Скорее всего, они испытывают чувство брезгливости, но дело своё делают исправно. Бомж ведёт себя крайне непоследовательно: то канючит и умоляет его не забирать, то ругается и даже пробует брыкаться здоровой ногой, но его сопротивление решительно подавляют. Объединёнными усилиями менты заталкивают его в фургон и уезжают. Всё, конец терзаниям. Оно само так решилось. Это судьба так распорядилась, а я совершенно ни в чём не виноват. И имею право, как раньше, считать себя очень хорошим человеком.

ЧИМГАН

Однажды вёз меня шофёр-узбек, серьёзный такой, пожилой дядечка. Едем мы по Дмитровке (и хорошо ещё, что едем – могли бы стоять), в машине радио играет, а по радио Никитины поют «Бричмуллу». Помните, вот это вот:

А Чимганские горы царят вдалеке
И безумно прекрасны собою.

Надо сказать, что в город я выбрался по делам довольно-таки нервным и ничего не достиг, ибо барским причудам нашей бюрократии конца-краю не просматривалось. Да и природа не располагала: черный, мокрый февральский вечер, под ногами – месиво из снега и грязи, которое водители именуют «салом». Короче, домой я возвращался в настроении хуже некуда. А тут «Бричмулла». Песня дивной красоты. Мало того – песня моей студенческой молодости. Сижу, слушаю, отхожу душою. И краем глаза отмечаю, что возница мой тоже стал как будто задумчив. Слушает это московское, интеллигентское, шестидесятническое пение и в голове его явно вертятся какие-то серьёзные мысли. Причём мысли невесёлые. Мне стало любопытно, и я спросил:

– А вы бывали на Чимгане?

Тут его и прорвало:

– У меня на Чимгане дом был. На выходные всей семьёй туда ездили. Нас четверо братьев было, все собирались – с женами, с детьми. Плов варили, вообще отдыхали. Вот это жизнь была. А тут разве жизнь?

ЛЕКАРСТВО ОТ ЗАВИСТИ

Рассказывают про одного человека, очень завистливого, который раз и навсегда избавился от зависти, увидев на улице «самовара» – инвалида без обеих рук и обеих ног. Просто почувствовал себя в шкуре этого несчастного и испытал немыслимой силы потрясение. Иногда такое бывает. Не уверен, что подобные «снадобья» способны исцелить навеки, но порой их эффект бывает весьма впечатляющим.

Начать, видимо, следует с того, что в нашем магазине работает продавцом узбек Хабиб (полное имя – Хабибулла), человек неглупый и, что важно, наблюдательный. Мы с ним испытываем взаимную симпатию. Заходя за покупками, я обычно беседую с ним, что называется, «за жизнь». И иной раз не могу удержаться от инфантильного удовольствия пожаловаться на её (жизни) тоскливость, беспросветность и лишенность смысла. Понимаю, что не надо бы, но уж так я сделан. И однажды Хабиб выдал мне нечто:

– Вот ты говоришь, тоска, да? Ты настоящий тоска не видел. У меня один покупатель есть, каждый вечер ходит. Берёт всегда одинаково: чекушка водки, стаканчик, одна конфета. Потом вон тот стол ходит, встанет и пьёт. Всегда тот стол, никогда другое место не встанет. И всегда один – ни разу не видел, чтоб он с кем-то вместе пил. Допьёт, конфетой закусит – и домой.

– Ну и долго он – спрашиваю – так?

– Сколько здесь работаю – всё время.

ШТИРЛИЦ ЗНАЛ, СКОЛЬКО БУДЕТ ДВАЖДЫ ДВА

Этот эпизод я наблюдал в одном нервном учреждении, где люди занимаются уплатой налогов. Представьте себе маленькую, очень душную комнату. Всё пространство её заполняет аморфная потная очередь. Стоим крепко, четвёртый час стоим. Шансов достояться никаких нету, но всё равно стоим, потому как русский человек любит терпеть и страдать. Окошек теоретически три, но два не работают, а в одном сидит очень сердитая налогопринимающая девушка. Последние полчаса она занята тем, что ругается с налогоплатящей дамой по вопросам арифметики. И конца-краю их дискуссии не предвидится.

Насколько можно понять, дама продала квартиру, в которой ей самой и её брату принадлежали некие доли. Теперь она хочет за себя и за брата заплатить налог, а для этого требуется вычислить их совокупную долю.

– Вот смотрите, в двадцатый раз вам объясняю, – вещает налогопринимающая девушка. – Ваша доля – одна шестая. Доля вашего брата – тоже одна шестая. Значит ваша общая доля – ровно половина.

И отчётливым почерком выводит на листке бумажки:

1:6+1:6=1:2

Тут налогоплатящая дама не выдерживает и срывается на крик:

– Невежда! Неуч! Да любой первоклашка!.. Шесть плюс шесть сколько будет?

– Двенадцать, – отвечает налогопринимающая девушка в минутном приступе здравомыслия.

– Уже неплохо. Значит, одна шестая плюс одна шестая – это у нас сколько получиться? Ну? Правильно, одна двенадцатая.

И на том же листочке выводит ещё более крупно и отчётливо:

1:6+1:6=1:12

Уверяю вас, обе эти женщины совершенно нормальны. И с арифметикой у них полный порядок. Просто офисная атмосфера намертво отключает мозги. Вот вам ещё один пример из жизни. В Японии после аварии на Фукусиме наметился дефицит электроэнергии. По этому поводу по всей стране запретили кондиционеры. А в японском климате да в официальном костюме без них не жизнь. Поэтому во всех офисах ввели новый порядок. Рабочий день сократили вдвое. Рабочих дней оставили три в неделю. Разрешили приходить на службу в футболках. Ожидали каких-то катастрофических последствий. Как-никак сокращение рабочей недели втрое плюс развал дисциплины. Но странное дело – эффективность всей этой офисной деятельности не то что не снизилась, а резко выросла. Японские менеджеры теряются в догадках. А я вот ни в каких догадках не теряюсь. Я совершенно точно знаю, что в удобной одёже, да с выспатой головой, да в нормальном, не безумном состоянии духа человек просто не будет тратить час на то, чтобы помножить два на два.

ДУШИТЕЛИ СВОБОДЫ

Фойе дома творчества писателей «Переделкино». Группа писателей смотрит телевизор. А по телевизору показывают документальный фильм не то про Февральскую революцию (которую они обожают), не то про Октябрьскую (которую они, наоборот, ненавидят), но, в общем, революционное что-то. На экране мелькают кадры кинохроники: казаки разгоняют демонстрацию рабочих. Лава[1] всадников вклинилась в толпу и распирает её в стороны. Действуют грамотно, явно обучены полицейской тактике. Но и работяги не лыком шиты. В ход идут булыжники, древки флагов. Казаки деловито отмахиваются нагайками. Среди прочих за ходом побоища наблюдает старичок-писатель, кубанский казак. Подчёркиваю: кубанский, это важно. Смотрит он, смотрит – и наконец не выдерживает:

– Во нагайками машут, во машут. Тут бы шашкой надо, а они – нагайками. Тьфу, смотреть тошно. Одно слово – донцы.

ЧЁТКО, ОТРЫВИСТО, МОЛОДЦЕВАТО

Единственный раз в жизни мне довелось принимать воинский парад. Да и то при сомнительных каких-то обстоятельствах, на праздник Хэллоуин. Праздник этот, как известно, пришёл к нам из евроатлантической культурной традиции и состоит в следующем: отдельные наиболее активные граждане надевают маски упырей, монстров, упокойников и прочих отталкивающих персонажей и в таком виде бегают по городу, пугая добрых людей. Язычество, короче говоря, чистейшее. Духовенство наше православное очень этот праздник не одобряет и даже о. протодиакон Андрей Кураев предложил переименовать его в Холуин – в смысле холуйства перед Западом. Но не всё, товарищи, так просто. Вот

[1] Лава – здесь: особый вид рассыпного строя у казаков. (Прим. ред.)

послушайте, как дело было.

На этот самый Холуин, вечером, возвращаюсь я с рынка. Поздняя осень, время сумеречное, с неба морось какая-то сыплется. Стою я на Часовой улице, тележку к обочине поставил, а сам отдыхаю и цигарку курю. И вдруг вижу: чуть дальше по улице бодро вышагивают несколько юношей в масках вампиров и громким гугуканьем пугают прохожих. Ну, думаю, хрен вы меня-то испугаете. Скорей уж я вас удивлю. И вот, когда они со мной поравнялись, я беру под козырёк и зычно, как на параде, их приветствую:

– Здравствуйте, товарищи вурдалаки!

Ребята оказались с юмором и охотно подыграли. Они перешли на строевой шаг и чётко, отрывисто, молодцевато (как и положено по уставу) отчеканили:

– Здравия желаем, товарищ Вий!

Культура – такая штука, что она чего хочешь переварит.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

Тарковский – великий режиссёр, но он мог работать только в условиях жёсткой цензуры. Рядом с ним обязательно должен был находиться человек, который бы нудным менторским тоном напоминал: фильм предназначен для зрителя и зрителю должно быть интересно. А если фильм будет пусть и гениальный, но к смотрению простым советским человеком непригодный, то я, цензор, могу его и на экран не выпустить. Под давлением такой угрозы Мастер регулярно выдавал на-гора шедевры. А когда он уехал и тем самым угрозу от себя отвёл, стало происходить что-то не то. Короче, слушайте – я это видел собственными глазами.

Возле нашего дома, минутах в десяти ходьбы, имеется кинотеатр «Ширван». Сейчас там ресторан, суши-бар и ещё какая-то ерунда, но в перестроечное и даже раннеельцинское время он работал по прямому назначению. Сооружение это довольно внушительное: тридцать рядов кресел, по пятьдесят в ряду. Всего, стало быть, 1500 посадочных мест. Ну, может, чуть меньше. Я это всё потом сам высчитал, потому как интересно было, сколько же всё-таки человеко-гавриков там помещается.

Ну так вот, однажды заходит к нам мой приятель, за склонность к восточным единоборствам получивший прозвание Самурай, и огорошивает нас вопросом: вы вообще культурные люди или как? Вопрос, понятно, риторический. А мораль его следующая: если мы культурные люди – почему не приникаем к культурным истокам? У нас, можно сказать, под самым носом, в «Ширване», идёт «Жертвоприношение», и мы просто-таки обязаны пойти его посмотреть. И мы втроём – я, Гусеница (моя жена) и Самурай – отправились выполнять свой, если можно так выразиться, культурологический долг.

Зал был набит битком. Оказывается, запасливый Самурай заранее разжился билетами. Поэтому мы сидели. Некоторые, не такие запасливые, стояли в проходах. Короче, аншлаг.

Через пять минут смотрения мне стало очень скучно. Ещё через пять минут я понял, что, пожалуй, не выдержу и сбегу. А ещё через пять минут пришёл к мысли, что сбегать ни в коем случае не следует, а надо, наоборот, смотреть во все глаза. Но только не на экран, а в зрительный зал. Ибо там происходило нечто захватывающе интересное. В течение минуты (неоднократно засекал по часам) уходило от десяти до пятнадцати человек. Этот человекопоток не нарастал и не иссякал, но был постоянен. Могучая и упорная людская река. Когда фильм (начавшийся – напоминаю – при аншлаге) закончился, в зрительном зале наблюдались следующие граждане:

1. Мы с Гусеницей и Самураем.
2. Две интеллигентные старушки, похожие на учительниц.
3. Билетёрша, которая специально явилась на нас, таких терпеливых, посмотреть.

Больше никого там не было.

ПРОЖОРЛИВОСТЬ – ВОТ НАШ ДЕВИЗ

В этой истории нет ни морали, ни подтекста, ни даже сюжета. Зато в ней присутствуют светлое, радостное мироощущение и добрые, милые люди. Что, согласитесь, не так уж мало. А ещё в ней присутствует собака Клюшка – бесспорно, самая прожорливая собака на планете Земля.

Было это в ту пору, когда русский язык ещё не обогатился словом «ваучер» и даже словом «ГКЧП», но внешние и внутренние враги уже рвали в клочья нежное и совершенно беззащитное тело нашей Державы. Вот в это время, в прохладном и хрустальном месяце августе мы с женой, в семейном быту именуемой Гусеница, отправились отдыхать в дом творчества писателей Малеевка. Имени, если мне не изменяет память, Серафимовича. Приехали мы – и немедленно обнаружили, что вся жизнь человеческая вертится вокруг жратвы.

Дело в том, что я тогда был изрядным урбанистом. Настолько урбанистом, что, пройдя метров сто по не очень хорошей дороге, тут же начинал

мечтать закатать всю Землю в асфальт. А Гусеница пыталась облагородить мою натуру, привив мне любовь к природе. Что ей и удалось самым простым способом – она просто до умопомрачения угуливала меня по окрестным лесам. Надо заметить, что в ту пору леса вокруг Малеевки были великолепны, но и дики до такой степени, что моя крёстная проплутала там однажды три дня. С нами такого не случалось, но зато чуть не каждый день мы созерцали различные восхитительные явления природы. Зайцев, например, встречали постоянно, глухарей, тетеревов. А однажды не без трепета наблюдали, как пляшет лось. Выскочил из лесу здоровенный лосище и сал носиться взад-вперёд, как маленький, а потом и вовсе загарцевал на одном месте. Всё это, я думаю, он вытворял от переполнявших его гормонов. У лосей осенью гон, и нас предупреждали, что они в это время становятся бешеные. Как бы то ни было, нас он не тронул и даже, кажется, не заметил.

Гулять мы отправлялись сразу после завтрака, т.е. часов в десять, а возвращались к обеду, к двум, зверски голодные. Порции же в малеевской столовой были размером, натурально, с воробьиный пуп. Оно и понятно: писателя[1] в основном – люди пожилые и дни свои проводят либо сидя на попе и творя нетленку, либо чинно прогуливаясь по аллеям. До некоторой степени нас спасал шведский стол. Выставлялись туда всевозможные овощные закуски, как то: свёкла, зелёный горошек, кабачки, но подлинным украшением этого стола была картошка, сперва сваренная целиком, а затем обжаренная. Картошку эту, жутко вкусную, расхватывали мгновенно, так что её могло элементарно не достаться. Я сперва думал, что это от советской бесхозяйственности, но потом понял, что Система умнее. Таким манером администрация столовой стимулировала писателей вовремя являться на обед. Опоздаешь – не получишь вкусной картошки. Возле картофельного блюда разыгрывались иногда сцены не вполне приличные. Случалось, писателя даже слегка отпихивали друг друга. Представьте себе воронов, которые слетелись на поле битвы, чтобы выклевать глаза у павших витязей, но при этом понимают, что витязей на всех не хватит. Вот что-то в этом роде там и происходило. Поэт Алик Коган даже посвятил этим картофельным страданиям стихи, которые именно так и начинались:

Не стая воронов слеталась
На пир кровавый свой с небес…

С Аликом Коганом мы познакомились на почве котов. Гусеница очень любила котов (впрочем, собак она любила ещё больше), а Алик именно тем и занимался, что окормлял малеевских котов, коих было там великое множество. То есть занимался он, конечно, тем, что писал стихи, но котов кормил регулярно, собирая для них по столам остатки писательских обедов (о чём чуть позже). Вот на этой почве мы и познакомились. Гусеница к нему прониклась сразу же:

– Слушай, он же сам совершенно как кот!

И в самом деле, в жизни не встречал человека, более похожего на кота. Кстати, хочу подчеркнуть: это единственный персонаж моих воспоминаний, названный своим подлинным именем. Это был человек настолько доброжелательный, милый и уютный, и нам настолько симпатичный, что задеть его словом совершенно невозможно.

А вот теперь самое время ввести в повествование собаку Клюшку. Попробую описать её. Дворняга размером чуть меньше немецкой овчарки и общего облика тоже овчарочного, но с одной поправкой. Немецкую овчарку отличает некоторая подтянутость и стройность – такая, я бы сказал, стройность прусского фельдфебеля. Собака же Клюшка формою тела напоминала объёмистый бочонок на толстеньких, но слегка укороченных ножках. Обитала она возле Новых Корпусов, где (на первом этаже) поселили и нас с Гусеницей. И, каким-то шестым чувством выделив нас из общей массы творческой интеллигенции, она принялась играть с нами в игру под названием «Я – ваша собака». В чём это выражалось? Ну вот, например, было у нас с Гусеницей такое малеевское удовольствие – по утрам смотреть на птичек. В загороде ведь орнитофауна совсем другая, чем в городе. Выглянешь в окошко и увидишь на ближайшей ветке щегла – сразу ясно, что ты не в мегаполисе каком-нибудь, а в нормальном лесном месте. И от этого на душе становится радостно. (Из чего я, кстати, делаю вывод, что мой урбанизм носил невротический характер, а в глубине души я всегда был лесным жителем.) Вот мы с Гусеницей и придумали себе такое утешение: утром, до всякого официального завтрака, заваривали себе кофею и садились у окошка смотреть, кто к нам прилетел. Прилетали же всякие разные, иных и не упомнишь. Вон дятел стучит. Вон поползни шастают. Вон синички-гаички с длинными хвостами. А это кто такой – и вовсе непонятно. Очевидно, Живая Птица. И пока мы так сидим и наблюдаем, на крылечко чинно поднимается собака Клюшка, усаживается и начинает демонстрировать преданность. Это она, стало быть, ждёт, когда мы пойдём в Главный Корпус в столовую,

[1] Так в тексте. (Прим. ред.)

чтобы нас сопровождать.

По вечерам я имел обыкновение прогуливаться один, предаваясь самоуглублённым размышлениям психоаналитического либо философского свойства. Такие размышления, по идее, требуют полного уединения. Хренушки лысушки! Отойдя от дома метров на пятьдесят, я неизменно слышал за спиной увесистый и гулкий топот. Это собака Клюшка мчалась меня охранять. Если по-умному, то надо было все эти демарши твёрдо игнорировать. Мы с Гусеницей собирались завести борзую. Брать в дом здоровенную, взрослую, невоспитанную дворнягу было бы чистейшим безумием – да мы этого и не сделали. Подать же собаке надежду, а потом ее, собаку, не взять – это получится такое душедрание, что не приведи Господь. Конечно, мы это понимали, но человек слаб. Собака же Клюшка действовала напористо, целеустремлённо, а главное – всё время хотела жрать. Ну и могли ли мы её не накормить? Здесь начинается отдельная песня под названием «*Малеевская столовая и добывание в ней провианта для братьев меньших*».

У всех стайных видов животных допуск к пище определяется социальным рангом. Первым к кормушке подходит доминантный петух, за ним – другие высокоранговые петухи, следом – низкоранговые, и наконец – куры. У Конрада Лоренца[1] всё это очень толково описано, и даже он ввёл особый термин – порядок клевания. Литераторы – не исключение. У них тоже есть свой порядок клевания. Во всех домах творчества исключительно важно, за каким столом ты обедаешь. Или, выражаясь более точно, к кому тебя посадили. Нас с Гусеницей разместили за весьма уважаемым столом. Нашими соседями оказались детский писатель Старшинов (не родственник известного хоккеиста и, как он шутил, даже не однофамилец) и его жена Марина. Так вот, Марина Старшинова принадлежала к одному из знатнейших аристократических родов нашей Империи. Зная щепетильность дворян в подобных вопросах, я даже не решаюсь назвать её девичью фамилию. И была у неё удивительная способность: любое самое заурядное мероприятие (например, обед в малеевской столовой) она незаметно превращала в светский раут. Причём делала это с немалым тактом. А то, знаете, некоторые разводят такой бонтон, что гость чувствует себя крестьянином, вызванным в графский замок. Стоит он, болезный, мнёт заскорузлыми пальцами засаленную кепку и с трепетом взирает на лакея в раззолоченной ливрее. У княжны Марины ничего подобного не наблюдалось. На её раутах каждый чувствовал себя почётным гостем и даже до некоторой степени светским львом. Ну или там львицей. При всём моём резко отрицательном отношении к понятию «светскость» я должен признать, что дар этот был и элегантен, и человечен.

А теперь представьте: раут в самом разгаре, и тут подходит Алик Коган с огромным мешком объедков, водружает его на стол и начинает опрастывать туда недоеденные тарелки. Получается стилистический диссонанс. Правда, Гусеница у меня девушка настолько дипломатичная, что её можно смело назначать послом Ирана в Израиле. Она всё расставила на свои места: этикет – это прекрасно, но окормление котов – дело святое, и из любого этикета для него должно делаться исключение, каковое само является частью этикета.

А теперь я расскажу, как мы кормили собаку Клюшку, и на этом уже всё. Не рассказать же об этом невозможно, поскольку такой цирковой номер я видел единственный раз в жизни, а большинство людей вообще ничего подобного не видели и не увидят никогда. Короче, так. Когда мы в первый раз пошли кормить собаку Клюшку, Алик Коган, зная её способности, выделил нам пять тарелок отборных объедков. Подчёркиваю: пять полных тарелок. Я, как наиболее неуклюжий, шёл впереди и нёс в каждой руке по тарелке. Следом шла Гусеница и несла ещё три тарелки, размещённые двуслойно. Собака Клюшка сидела у фанерки, с которой её полагалось кормить, и от нетерпения перебирала всем, чем можно перебирать. И началось! Из первой тарелки до фанерки не долетело ни куска. Всё, что я пытался туда вывалить, собака Клюшка схватывала на лету и с немыслимой скоростью заглатывала. То же произошло и со второй тарелкой, и с третьей. Четвёртая была оприходована частично прежним способом, а частично уже с фанерки. И, наконец, содержимое пятой тарелки мне удалось переместить на фанерку полностью, но умято оно было буквально за несколько секунд, причём с неподдельной жадностью. После чего эта обжора посмотрела на меня выразительным взглядом, в котором явственно читался вопрос: и это всё?

Зачем я это пишу? Сам не знаю. Просто была вот такая жизнь: кормились по режиму, как в пионерлагере, бродили по лесам, радовались Божьим птахам и наблюдали удивительные дарования собаки Клюшки. И было нам счастье.

[1] Ко́нрад Ло́ренц – выдающийся австрийский зоолог и зоопсихолог XX века. (Прим.ред.)

Ася Гликсон

МОЙ ГОРОД

АРОМАНОСТАЛЬГИЯ

Среди простого будничного дня
И беготни с безумно важным смыслом
Уколет вдруг нечаянно меня
Забытый запах – острый, сладкий, кислый.

Встряхнёт слои слежавшиеся дней,
И ухнет, все крепления порушив,
В заросший омут памяти моей,
Будя чертей, давно на дне уснувших.

И станет день из давнего вчера
Значительно реальней, чем сегодня –
От аромата шишек и костра
Или, к примеру, ёлки новогодней.

И целый мир разбудят мотыльки
Кленовых вертолётиков зелёных,
Арбузный запах струганной доски
И простыней, замёрзших на балконах.

Укропно-малосольный сытный дух
На полустанке купленной картошки.
И запах тополиных дымовух,
И медяка, нагретого в ладошке.

Зелёной речки, спутанной травы,
Дождя и веток, мокрых насекомых.
Дрожащих рельсов, тёплых и живых.
И первых поцелуев невесомых.

Мы жили в мире вкусном и цветном...
Но годы шли – и запахи взрослели.
Пропах табачным дымом и вином
Бардак стандартной общежитской кельи.

А дальше – быт, налажен и толков.
И благ семейных полная корзина.
Дешёвый запах дорогих духов,
Борща, бумажной пыли и бензина.

И чердаков пустые закрома
Уже не тайной пахнут, а гнилушкой.
И не тоски, а скуки аромат
У мокрой, чуть подсоленной подушки.

И катится телега под откос
Без прежних ароматных амулетов...
А сына моего курносый нос
Вдыхает запах завтрашнего лета.

ВЕСЕЛЫЙ БАХУС

Веселый Бахус, синеглазый бог,
Оставь на время свой Олимп помпезный.
Спустись сюда, в уютный тихий погребок
На дне невзрачной, но привычной бездны.

Присядь ко мне. Наполни мой бокал
Своим неповторимым эликсиром.
Заставь серьезный строгий мир прямых зеркал
Казаться не таким больным и сирым...

Смешливый Бахус, хитроглазый бог.
Да будет после нас хоть три потопа!
Мы четкий абрис огорчений и тревог
Зальем размытым фильтром фотошопа.

Раскрасим черно-белое цветным.
Озвучим яркой музыкой немое.
Зальем огонь – и бутафорский белый дым
Одержит верх в борьбе с реальной тьмою.

Беспечный Бахус, светлоглазый бог,
Что нам с того, что время проходяще?
Что парки скоро домотают свой клубок,
И я сыграю с глупой смертью в ящик.

Забудем обо всем, что не вино.
Разбавим кровь огнем, а не водицей.
Мир исчерпав, легко опустимся на дно.
А если вдруг там истина таится –

Пошлем ее, никчемную, к чертям.
Ведь нам не нужно горечи ни грана.
И нимбом головы шальные очертя,
Вкусим деликатесного обмана...

Усталый Бахус, мутноглазый бог.
Рассвет заставит нас платить по счету.
Дополнит сон – нетороплив и неглубок –
Твою незавершенную работу.

Опять мой неудавшийся побег
Прервет тройным протяжным криком птица...
И ты уйдешь. И снова серый человек
В прямом стекле зеркальном отразится.

МОЙ ГОРОД

В.Т.,
которому я давно обещала
рассказать о моем Городе.

Над городом моим лежачий месяц.
Под городом моим морская дрема.
Мой город нынче ничего не весит
И не имеет формы и объема.

Мой город – прокаленный, пропыленный,
Без лоска и изысканного глянца –
Стекает по шершавым рыжим склонам,
Как мягкие часы с картин испанца.

С пространством перемешивает время,
Переплетает линии и звуки –
Не помещаясь в рамки измерений,
Доступных здравомыслящей науке.

Мой город пропитался облаками
И запахом подсоленного лета.
Неровных улиц мелкими стежками
Приметан он к поверхности планеты.

Он многокрыл, бесстрашен и беспечен.
И не взлетает только по привычке
Спокойно дожидаться каждый вечер
Меня в неторопливой электричке.

А у меня важнее нет работы,
Чем каждый вечер по дороге к дому
От странного опасного полета
Удерживать мой город невесомый.

Рада Полищук

НЕПРОШЕНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Из цикла «Житейские истории»

ПОЧТИ БЕЗ ПОМАРОК (АВТОРСКОЕ НАПУТСТВИЕ)

Недавно в одном из ящиков своего письменного стола обнаружила стопки обыкновенных школьных тетрадок в клеточку в дерматиновых обложках, почти все синие. Не то чтобы я о них забыла. Но искала не их. Однако что-то потянуло раскрыть наугад, полистала, почитала и удивилась: аккуратно, слово к слову, почти без помарок, скорее похожие на беловик, чем на черновик – мои первые рассказы, поздние, нежданные.

Я о них не мечтала – ни во сне, ни наяву. С какой бы стати? Это сестра моя филолог, МГУ окончила, а я – технарь. В четырнадцать лет поступила в Московский авиационный приборостроительный техникум им. С. Орджоникидзе, что на Смоленской Сенной, во дворе бывшего первого московского детского исправительного приюта, размещавшегося в городской усадьбе Несвицкой. И покатилось: Московский авиационный институт, исследовательская лаборатория в почтовом ящике Министерства авиационной промышленности. Выбор сделан. Год за годом нарабатываю пенсионный стаж, первая запись в трудовой книжке сделана, когда мне было шестнадцать. Пути назад нет. А вперед? Вверх или в сторону? Не помышляла. Мне все было интересно, это заглушало всегдашнюю подспудную неудовлетворенность.

Все изменилось в 1982 году. Умерла моя мама. Я не хотела жить без нее, не умела, даже не пыталась.

"Я всегда буду с тобой," – говорила она. Ты всегда со мной, мама – плескалось где-то глубоко внутри. На вдохе и на выдохе. То неверие пересиливало веру, то наоборот. И вдруг – синяя школьная тетрадь в клеточку. И я пишу. Пишу. Значит – живу?

...Первая тетрадь, вторая, третья…

Годы спустя, перелистываю старые тетрадки, вчитываюсь, вспоминаю, удивляюсь… В гулкой тишине нашей небольшой двухкомнатной квартиры, на полутемной кухне, едва дыша, чтобы никого не потревожить, с трудом сглатывая ком, перекатывающийся в горле, переживаю, проживаю нахлынувшие невесть откуда не свои обстоятельства, не свое горе, не свою жизнь вообще, переживаю так остро, так болезненно и просветленно, с такой отчаянной безысходностью и необоснованным оптимизмом, будто что-то могу изменить в их жизни, помочь, спасти. Пишу… Перелистываю старые тетрадки и вдруг стало стыдно. За что я так с ними? Почему сиротливо лежат в ящике, в который никто никогда не заглядывает? Они меня к жизни вернули, без всякого преувеличения. Не так даже – новую жизнь подарили, главную из двух прожитых. Вряд ли будет третья. Да я и не хочу. Эта главная. Правда, без мамы. Мама… Точка отсчета. Конец и начало.

Первая тетрадь, вторая, третья… Как новенькие – непотрепанные, непожелтевшие страницы. А ведь тридцать лет прошло от первого слова, почти день в день, час в час. Дата круглая, солидная! Много воды утекло с тех пор, много чего прибыло, много чего убыло, и счастье есть, и боль не утихла. И десять книжек вышло, и новую, другую прозу пишу.

А все же первыми были эти страницы. И я верну их к жизни, ничего не меняя, не приукрашивая, не стараясь придать им более современное звучание. Житейские истории – во все времена современны.

Я возвращаю их к жизни, как когда-то они вернули меня.

Первые рассказы, как первую любовь – не переделать, не изменить. Все было так, как было. Сейчас бы, наверное, я их не написала. Старше стала, обрела другой опыт, ближе к краю стою. Хотя – как знать, тогда, быть может, за край шагнула.

Не будь их, возможно, не было бы меня. Да без всякого «возможно» – не было бы.

В добрый путь, первые слова, первые страницы, первые рассказы и повести! Я не делила их по жанрам, не делю и сейчас, не в этом суть. Суть в предельной, а

может быть, запредельной открытости в сокровенном, будто всякий раз о себе, до конца. Потому что и в самом деле всякий раз – о себе, даже когда совсем о другом.

В добрый путь!

Москва, июль 2014

НЕПРОШЕНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Агнесса Фирсова, сорокавосьмилетняя одинокая женщина, филолог по образованию, всю жизнь проработавшая в отделе информации нефтехимического института, человек скорее равнодушный и пассивный, чем злой и мстительный, только что опустила в почтовый ящик анонимное письмо.

И тут же раскаялась в содеянном. Она стояла, словно громом пораженная, глядя на голубой металлический ящик, неприступный, как древняя крепость, и не могла сдвинуться с места. Наспех одетая и обутая, она не замечала тридцатиградусного мороза.

«Что же делать? Что же делать?!» — бормотала она, с трудом шевеля закоченевшими губами.

И вдруг к ней пришло озарение: «На почту. На почту! Скорее!»

Она побежала к высокой белой башне, над ярко освещенным нижним этажом которой тускло мерцало знакомое: «ПОЧТА ЕЛЕГРАФ ЕЛЕФОН».

Вбежав в пустой в это позднее время зал, она остановилась в нерешительности. Что, собственно, скажет она, как объяснит свою странную просьбу вернуть ей письмо? Она же только что собственноручно, добровольно и в здравом уме отправила его, тщательно надписанное ее крупным угловатым почерком, она даже индекс нарисовала, хотя обычно никогда этого не делала.

Ах, господи, анонимку — своим почерком, какая дура! Инкогнито анонимщика заранее раскрыто. С таким же успехом она могла подписать это послание. Вот что значит — «не в свои сани не садись».

Господи! И что же теперь будет?!

На миг ей представилось, что конверт снова у нее в руках, и она рвет его, кромсает, крошит, нет, она сжигает его и раздувает, разметает маленькую горстку черной золы, чтоб и следа не было. Какое облегчение испытала бы она, какое радостное избавление!

Но опущенное в ящик письмо, неподвластное уже ее воле, понеслось по таинственным и невидимым каналам связи неудержимо, как выпущенная из лука стрела.

Агнессе стало дурно. Дурнота волнами поднималась откуда-то изнутри и тошнотворным спазмом подкатывала к горлу. Она присела на стул. Молоденькая девушка-телеграфистка подбежала к ней и испуганно спросила:

— Вам плохо? Случилось что-нибудь?

И, немного помявшись, неуверенно добавила:

— Нужно отправить телеграмму?

Этот порыв чистого сострадания замутил Агнессину душу стыдом и отчаянием.

— Ничего, не беспокойтесь, я просто зашла погреться.

И, с трудом поднявшись, заспешила прочь. Прочь, прочь от сочувствия, она его не заслужила!

Ни спать, ни курить, ни даже читать она в ту ночь не могла.

«Я брошу курить, есть и читать одновременно, как только умру», отшучивалась она обычно от непрошеных советчиков.

Но вот она еще не умерла, а ее как будто уже нет. Стены вокруг — ее, диван — ее, ее дом, ее крепость. И только страх, парализующий душу страх, — чужой, неведомый. Так должен чувствовать себя зверек, попавший в подброшенный в его нору капкан. Но этот капкан она поставила сама, исковеркав, взломав, расплющив свой покой, свой мирок, привычный и незаменимый.

Как приговоренный к казни успевает в последний миг увидеть всю свою жизнь, так и Агнесса вдруг вспомнила все: былое — далекое и, казалось, забытое и ненужное, и вчерашнее — спокойное и мирное.

И все это было теперь таким недостижимо прекрасным.

Раньше Агнесса всегда считала, что живет достойно. Гордиться ей особенно нечем, это она понимала — никаких добрых дел она не совершала, но и стыдиться было нечего. Судите сами.

Отца своего Агнесса не помнила. Он не вернулся с фронта. В самом этом факте не было ничего необычного, у многих тогда отцы не вернулись с фронта. Но те, многие, погибли, а ее отец был жив. Он просто бросил их, уехав в какой-то другой город прямо с войны, не заходя домой.

И мать уехала тоже. Наревевшись вволю, накричавшись до хрипоты, она начала укладывать чемодан, зло шепча бабке:

— Я еще поживу, я свое возьму. Я себе вместо выродка этого, сыночка вашего паршивого, такого мужика найду — закачаетесь. Я шесть лет своей

жизни на него сгубила без радости и надежды. А он бабу нашел поганую и смылся. Нет уж, дудки, я тоже найду свое счастье — не все мне горе мыкать!

И, захлопнув крышку чемодана, приложилась накрашенными губами к мокрой от слез Агнессиной щеке, и ушла из дома навсегда.

А бабка молча прижимала к себе икающую от неудержимого плача пятилетнюю Агнессу.

Бабка и учила ее уму-разуму, наставляла, вразумляла, а то и наказывала. Строга была и придирчива не в меру. А отлупила всего однажды.

Странно, как ясно вдруг вспомнила Агнесса, даже запах почувствовала...

Керосинка нещадно коптила. Масло шипело и брызгалось, а котлеты, румяные и пышные, так и просились в рот. На огромной коммунальной кухне не было ни души. Тетя Катя Епифанова, жарившая котлеты для своего многодетного семейства, побежала в комнату разнимать дерущихся сыновей.

И Агнесса не выдержала: обжигаясь до боли, она схватила со сковородки три котлеты и засунула их в карманчик платья. Она бы взяла больше, да некуда было положить.

Забившись в дальнем и темном углу коридора за большущий ничейный сундук, она жадно и быстро, не чувствуя вкуса, сжевала все три котлеты. И долго еще не выходила из своего убежища, слыша, как гордо орет ее ровесник Славка Епифанов:

— Бей, бей сколько хочешь, не ел я твои котлеты-ы-ы!

— А кто ж их съел? Уж хоть не врал бы, бесстыжий! — кричала тетя Катя, нанося очередной, на сей раз незаслуженный, удар ремнем по многострадальной славкиной попе.

Плачущую Агнессу выволокла из-за сундука бабка и тоже отвела душу, приговаривая:

— Запомни на всю жизнь: на чужой каравай рот не разевай.

И Агнесса запомнила. И как пошли с бабкой к тете Кате извиняться, а та гладила Агнессу по головке:

— Не плачь, маленькая, не плачь, деточка. Скушай еще котлетку.

А ей совсем не хотелось. И только чувство непоправимого стыда, сродни сегодняшнему, терзало ее душу.

Нет, сколько не вспоминает Агнесса, ничего более постыдного с того дня до вчерашнего в ее жизни не было. Она вообще была тихоней, за это и доставалось ей от бабки больше всего.

Маленькая хромоножка Агнесса едва поспевала за своей высокой, сухопарой, резвой на ногу бабкой. А та поторапливала:

— Быстрей, быстрей, учись ходить, как люди, не переваливайся! Жалеть не будут —задразнят.

И покоя не было от нее Агнессе.

— Оторвись от книжки! С пеленок очки носишь, — ворчала бабка. — Ослепнешь, что делать станешь?

— Ослепну, тогда и посмотрим, — огрызалась Агнесса, потому что бабкино ворчание грубо вырывало ее из того мира, добровольной пленницей которого хотела она быть всегда.

Но бабка хватала ее, волокла за собой, везла на трамвае и отпускала только, когда они оказывались на этом странном, всегда безлюдном пустыре у железнодорожной насыпи за свалкой. Здесь их поджидала черная, пахнущая сыростью земля, расчерченная бабкой на клеточки.

Слегка придерживая Агнессу за руку, бабка заставляла ее прыгать до изнеможения, приговаривая сердито:

— Прыгай, прыгай, дружить с девчонками будешь. «В классики умеешь?» «Умею». А то вырастешь букой и злюкой. Одиночество заест.

Бабкиными упрямыми стараниями Агнесса выросла здоровой и выносливой. Ходить могла долго, без устали, и бегала быстро. Хромоту свою физически не ощущала, только кожей и сердцем под взглядами оценивающими, насмешливыми или жалеющими. И еще мыслью о том, что этого могло и не быть — врожденные вывихи тогда уже научились распознавать вовремя и устранять бесследно.

Букой и злюкой она не стала, была общительна в меру. Просто больше всего на свете любила читать.

Бабка слегла неожиданно. И сразу как-то осунулась, посерела. А глаза смотрели виновато. И непривычное это выражение больше всего смущало Агнессу.

— Скрутило что-то очень сильно, — словно оправдываясь, без конца повторяла бабка и прижимала к животу руку с пожелтевшими от табака пальцами. — Пройдет скоро, — утешая то ли Агнессу, то ли себя, добавляла она, для убедительности покачивая головой. — Я чувствую, скоро пройдет.

А в тот день с утра попросила Агнессу позвать подругу свою по старому дому, тетю Катю Епифанову. Они долго о чем-то шептались, и Агнесса видела, как тетя Катя украдкой смахивает слезы.

Бабка уже совсем ничего не ела, глаза ввалились и горячечно блестели. Она подозвала Агнессу и сказала:

— Сядь, внучечка, посиди со мной.

Она погладила Агнессу по руке натруженной

своей и крепкой, а теперь совсем почти невесомой рукой. Потом словно спохватилась, заторопилась:

— Ты вот что, внучечка, ты иди... Пойди-ка в аптеку, попроси порошок какой-нибудь от боли. Иди, внучечка, иди.

И Агнесса ушла. Она поняла, что бабка умирает и не хочет, чтобы она это видела. Поняла сразу, как только услыхала непривычное «внучечка». Словно бабка вынула со дна души и показала ей свою трепетную любовь и нежность к ней, самому дорогому существу на земле.

Отец на похороны бабки не приехал, не смог. Телеграмму прислал. Приехала мать, неуместно шумная, нарядная, слезливая. Все в ней было чуждо и неприятно Агнессе.

Агнесса не отрывала взгляда от бабкиного лица, то ли силясь запомнить его (ни одной фотографии бабкиной у нее не было), то ли пытаясь разгадать то, чего никому разгадать не удалось — что же это такое смерть? Куда уходит от нее бабка, бабушка, бабулечка, родная, единственная?!

— Поцелуй бабушку, попрощайся. Не стой, как каменная, поплачь, — шептали ей, подталкивая к гробу.

А она не двигалась с места. Вспоминала, как писала под бабкину диктовку: «Дорогая мамочка! (Дорогой папочка!) Я учусь хорошо, окончила пятый (шестой... десятый) класс. Нам с бабушкой ничего не нужно, живем мы хорошо. Чего и вам желаем...»

И слово себе дала — никогда никому не жаловаться, нести самой все, что выпадет на ее долю. И писем родителям больше не писала.

Так и жила. Не навязывалась никому со своим одиночеством, да и сама нисколько от него не страдала. И никогда ни о чем не сожалела: ни о том, что ушло, ни о том, чего не было.

«Ах, где мои восемнадцать?! Ах, почему мне не двадцать?!» — восклицали другие женщины. Ей это было чуждо, а лицемерить она не умела. Ничего такого необыкновенного не было у нее ни в восемнадцать, ни в двадцать лет.

Да, сбылась ее мечта: она поступила на филфак, но все равно большую часть времени проводила дома на диване, уткнувшись в книгу. На вечера, в компании, просто к девчонкам в общежитие, даже в театр она почти не ходила. Хромоты своей стеснялась, лень было, да и не очень хотелось.

Все это и многое другое она готова была променять на чтение. Ничего более сладостного и упоительного в своей жизни она не знала. Страсть к чтению дополнилась двумя развившимися и устоявшимися с годами страстями: к курению и к еде. Все вместе они составляли смысл и цель ее жизни.

С фанатическим упорством и азартом настоящего охотника колесила она по городу в поисках любимого лакомства или, поддавшись прихоти, какого-нибудь кулинарного изыска к своему столу. И никакой небрежности в этом серьезнейшем деле, никаких поблажек себе, невзирая на погодные условия, самочувствие и, главное, природную лень.

В остальном же — все иначе. Она годами носила вещи, годами мечтала постричься или сделать ремонт в квартире. Но менялись моды, названия и формы причесок, брюки укорачивались, сужались книзу, расширялись кверху, а она по-прежнему носила допотопные кримпленовые брюки-клеш, закалывала поседевшие волосы в утлый пучочек устаревшими шпильками и старалась не замечать облупившийся потолок и выгоревшие обои.

И не обращала внимания на ехидные взгляды сослуживцев и соседей, надорвавшихся в погоне за ширпотребным престижем. Ее раздражала их усредненность, стремление во что бы то ни стало, вопреки собственным вкусам и интересам — если таковые, конечно, имелись — носить, читать, смотреть одно и то же, не важно, идет ли, не важно, увлекательно ли, главное — заодно со всеми, как все. Модная кофта, модный роман, модная телепередача — общий круг интересов.

А у нее был свой. И никого она туда не допускала. Были в ее компании старые знакомцы, друзья детства и юности. Были спутники зрелых лет. Были и совсем молодые, узнанные и полюбившиеся недавно. Но ненасытная душа ее жаждала новых увлечений и привязанностей.

В жизни же все наоборот: ни друзей, ни подруг у нее не было. Да и какие подруги могут быть у немолодой, незамужней женщины. Те, что раньше считались подругами, давно опустились на дно житейского моря, обросли, как затонувший корабль, ракушками и водорослями, мужьями, детьми, а некоторые уже и внуками. Агнессе было неинтересно с ними, задавленными гнетом прозаических дел и забот. Ей хотелось, если уж общения, то возвышенного. Слезливо-умильные воспоминания о юности, о счастливых студенческих годах оставляли ее равнодушной, у нее не было ностальгии по прошлому.

Существовал, правда, еще один, неблаговидный, предлог ее отторжения от бывших подруг: она не любила детей. Они утомляли и раздражали ее, всякие: неугомонные и строптивые, сопливые и капризные,

тихие буки, себе на уме, и любвеобильные, норовящие залезть вам на голову. Так было всегда.

Потому-то, не раздумывая, она и отказалась от предложенной ей работы в одной из лучших московских спецшкол. Но устроиться по специальности, конечно, тоже не удалось. Это и вообще было непросто: кому она нужна со своим классическим образованием, античной литературой и мертвыми, хоть и красивыми, языками, при ее же лени и пассивности — подавно. Она долго перебивалась то там, то сям, но о школе ни разу не пожалела. Она до сих пор с содроганием вспоминает, как люто ненавидел их класс, и она вместе со всеми, учительницу русского языка, немолодую, болезненного вида женщину, с лицом измученным и покорным.

Необходимость каждый день ходить на работу Агнесса воспринимала как неизбежность. И никогда не сетовала. И не ныла, как другие, изо дня в день: «До чего же все это надоело» или «Ах, когда же, наконец, это кончится!» Она вовсе не хотела, чтоб все это поскорее кончилось.

Конечно, ей обидно было, что работа вместе с дорогой на целых одиннадцать часов отрывали ее от главного дела ее жизни. Если бы такое было возможно, она вообще не поднималась бы с продавленного своего дивана. И никогда не покидала бы свою прокуренную малогабаритную однокомнатную квартирку, всю обстановку которой, кроме упомянутого уже дивана, составляли небольшой колченогий бабкин зеркальный гардероб, кухонный столик, три стула и множество разновеликих и разномастных полок, заваленных книгами.

Она никогда не расставляла книги, как это принято в приличных домах, ни по цвету корешков, ни по «росту», ни по тематике. Она складывала их по мере приобретения и перекладывала по прочтении бессистемно, как придется. Но безошибочно находила нужную книгу сразу же, не глядя, на ощупь. «Я книжный маг, – шутила. – Узнаю свои книги по биополю».

Несмотря на то, что счастлива, по-настоящему счастлива, Агнесса бывала лишь дома, на работу она ходила без всякого отвращения. Читать на работе она себе не позволяла, т.е. книги с собой не брала. Настоящее чтение требовало, по ее мнению, особой атмосферы целомудренной тишины и уединения. По этой причине она также никогда не читала в транспорте.

Но поскольку жить без печатного слова не могла, она скупала в киосках «Союзпечать», попадавшихся ей по пути, всю прессу, которая туда ежедневно поступала и, придя на работу, прочитывала ее от корки до корки, попивая крепчайший кофе из поллитровой чашки в горошек и время от времени прерываясь на перекуры.

Так что и на работе она время проводила не без приятности. Тем более что была у нее здесь одна слабость. Именно слабость, а не страсть, так как страстей у нее было всего три. Это вы уже знаете.

Слабостью этой был завотделом Яков Романович Соболев, тщедушный, с боязливым голосом и бесшумной походкой. Таких, как он, снисходительно-насмешливо называют «хлипкий интеллигент».

Они с Яковом учились вместе в университете. Он был единственным представителем сильного пола на их курсе, потому его знали все. Но был он как бы не одушевленным предметом, а музейным экспонатом. Никто из девчонок даже не думал влюбиться в него: полиглот, круглый отличник, подающий большие надежды. В отличие от многих, Яков не тайно, а явно мечтал о блестящей научной карьере и строил ее на виду у всех, старательно и демонстративно: уже на третьем курсе все знали, что Яков начал исследовательскую работу, которая станет фундаментом для всех последующих его трудов.

Кстати, Агнесса тоже была круглой отличницей, но она была тихой отличницей, выходило это у нее как-то само собой, не являясь ни самоцелью, ни рекламой. И никто, действительно, не замечал этого.

Совсем другое дело Яков. Таким экземпляром нужно было гордиться, сделать его кумиром, образцом для подражания, как положительного литературного героя.

Сам Яков тоже ни в кого влюблен не был, поглощенный собой и лингвистикой. Само собой разумеется, после успешной защиты диплома его оставили работать на кафедре, где и должно было состояться его блистательное восхождение к непокоренным вершинам науки.

Но тут, неожиданно для всех, Яков женился на дочке директора нефтехимического института, и тесть немедленно устроил его начальником отдела научно-технической информации этого института. Видимо, положение и оклад девяносто рублей с прекрасной, но отдаленной перспективой, которые имел Яков на кафедре, не устраивали его новых родственников. И он покорился — любовь, как всем известно, требует жертв.

Перепало от всех этих перемен в жизни Якова

и Агнессе. Случай свел их как-то лицом к лицу в переполненном трамвае и, не имевшая ранее никаких полезных знакомств и связей, Агнесса была по протекции принята на работу.

Вскоре от нее же самой об этом узнали все сотрудники отдела, ну и, естественно, молва покатилась. Агнессе нравилось ее, несколько привилегированное, положение бывшей однокурсницы начальника, нравилось чуточку фамильярно и интимно называть его по имени и на ты, меж тем как все остальные величали по отчеству.

Она чувствовала себя обязанной Якову и, чем могла, старалась услужить ему. Поначалу услуги эти лежали исключительно в сфере производственно-общественных отношений: она печатала для него всякие бумаги, приносила ему книги из библиотеки института, расположенной на другой территории, делала за него переводы и даже ходила на овощную базу, если, не набиралось требуемое количество единиц. Словом, делала все, чтоб оградить Якова от неприятностей.

Постепенно набор услуг расширялся: она покупала ему по утрам сигареты, газеты, заваривала чай или кофе в зависимости от времени дня и его настроения. Угадывала она это безошибочно, чутьем хорошо вышколенной горничной, и подавала прямо на рабочее место.

Если Яков заболевал, она брала в отдельском профкоме три рубля, полагающиеся на визит к больному, покупала соки и фрукты и навещала его. В рабочее, разумеется, время. Вечера и выходные дни принадлежали ей всецело, она соблюдала это свято, как истово верующий — посты.

Жену Якова, Зинаиду, Агнесса несколько раз видела и охотно рассказывала всем желающим, какая она. Ей хотелось, чтоб у сотрудников сложилось впечатление, будто они хорошо знакомы. Если ей случалось звонить Якову с работы, и к телефону подходила его жена, Агнесса громко, чтоб все слышали, говорила:

— Зинаида, привет, Агнесса беспокоит. Яков дома?

Сотрудники сделали должные выводы и, если говорили при Агнессе о Якове, то не иначе, как: «твой Яков» или «скажи своему Якову». А ей ничего больше и не нужно было, никаких честолюбивых, корыстных или, упаси бог, личных побуждений у нее не было. Ее вполне устраивала эта роль заочного друга семьи, и она легко и с удовольствием играла ее ежедневно с девяти до восемнадцати часов.

Яков по утрам бывал, как правило, угрюм и подавлен. Агнесса ставила перед ним стакан крепкого чая и спрашивала, ворчливо, по-свойски:

— Ну, что там у вас опять?

Яков всякий раз говорил одно и то же: что тесть и теща-де совершенно подавили его, он чувствует себя в их присутствии младенцем ясельного возраста, а поскольку живут они вместе, то из пеленок ему никогда не выкарабкаться. Он опутан, как свивальником, их мировоззрением, их опытом. Он хочет независимости, а Зинаида обожает родителей и слепо верит каждому их слову. Даже детей у них нет потому, что сначала теща считала, что им еще рано заводить детей, а потом как-то сразу, без переходного периода, что уже поздно. Да к тому же у Зинаиды какая-то мудреная болезнь появилась, и вопрос о ребенке был вообще снят с повестки дня.

— Они отняли у меня любимое дело и ничего не дали взамен! — восклицал Яков, нервно хрустя длинными, ломкими пальцами.

Агнесса слушала этот обличающий монолог почти ежедневно и знала, что Яков сейчас успокоится. Тем более что она уже положила перед ним ворох газет с кроссвордами. Разгадывание кроссвордов излечивало его от всех недугов. Это теперь было единственное, что увлекало его, захватывало целиком и полностью, бывшего отличника, надежду курса. Он блистал эрудицией перед самим собой и был счастлив.

Часто Яков просил ее позвонить куда-нибудь в службу быта, телеателье или справочную Аэрофлота.

— У меня нет терпения. Умоляю тебя, дозвонись. А то они скажут, что на меня ни в чем нельзя положиться.

Говоря «умоляю», Яков тем не менее никогда не говорил ей «спасибо». Он вообще довольно быстро усвоил по отношению к ней пренебрежительно-насмешливый тон. Возможно, он таким образом желал возвыситься в глазах подчиненных, которых откровенно побаивался, — всех, за исключением Агнессы. Он подозревал всех в каких-то интригах и кознях, в посягательстве на его, Якова, покой и благополучие. Это была его мания, навязчивая идея.

Посмеиваясь над Агнессой, он как бы самоутверждался, и она не мешала ему, ее это нисколько не смущало.

Всякий раз, когда Агнесса подходила к его столу, неся чай или прессу, повторялась одна и та же мизансцена. Яков шумно поводил носом, как служебная собака, которая вот-вот должна взять след, затем махал рукой и отдувался, словно отгоняя дым, и

патетически восклицал:

— Нет, Агнесса, ты — не женщина, ты — табачное облако в штанах!

Агнесса привычно, а в душе снисходительно, улыбалась. А Яков поводил глазами по комнате, проверяя реакцию. И если видел, что кто-нибудь обратил внимание на это лицедейство, несмотря на его повседневность, и хихикнул, то лицо Якова расплывалось от удовольствия. Ему оставалось лишь встать и раскланяться, так походил он в этот момент на довольного собой провинциального актера, только что, в который уж раз, с блеском сыгравшего свою коронную сцену в плохонькой пьеске.

Впрочем, так высокопарно Агнесса о Якове никогда не думала. Она вообще не думала о нем.

Дома она обо всем забывала, погружаясь в свой, только ей принадлежащий, книжный мир. И если случалось, что Яков звонил ей домой, она раздражалась и нервничала, потому что он мешал ей, крадя у нее ее личное время, которое она ни с кем делить не намерена.

Поэтому глубоко ошибались те, кто считал, что Агнесса влюблена в Якова. А таких было большинство, она это знала. Сами помешанные на любви, они даже допустить не могут, что кто-то прекрасно проживает свою жизнь без нее.

Агнесса не то чтобы ненавидела и презирала мужчин, она просто не замечала их, живых, во плоти. В ее воображении жили, всецело им владея, лишь литературные персонажи. Лишь они одни властвовали над ее чувствами. Она любила их, ненавидела, сопереживала им и завидовала, огорчалась, мучилась, испытывала горькое, до слез, до полного опустошения души разочарование. Она преклонялась перед ними и осуждала, гордо и непримиримо, предавая долгому забвению.

Но время шло, менялись взгляды, переоценивались поступки, и вот уже она извлекает из книжного завала заброшенную когда-то книгу. И, не зная, как иначе искупить свою вину перед отвергнутыми ею героями, кладет ее под подушку, и каждый вечер подолгу листает страницу за страницей, испытывая при этом сладостное чувство примирения, искупления.

У нее не было личного жизненного опыта, слишком мало довелось увидеть и пережить ей. Так, во всяком случае, считает сама Агнесса. Зато как велик, как богат ее книжный багаж. Какие глубины подсознания, какую изощренность чувств, утонченность ума познала она в своем, закрытом постороннему взгляду, мире. Всю сложнейшую гамму чувств, отпущенных человеку, переживает здесь Агнесса. Во всей полноте и много образии оттенков. Не каждый может похвастать такой эмоциональной наполненностью. А у нее она есть.

Что же касается Якова, то она, ко всему прочему, со студенческих лет несла в себе табу на любовь к нему. «От любви до Якова, как от Луны до Кракова». Эта незатейливая шуточка, придуманная их однокурсницей полькой Марысей, означавшая, что Яков и любовь — понятия далекие и несовместимые, заведомо обрекала на провал любую попытку влюбиться в него. Впрочем, никто из однокурсниц, и Агнесса в том числе, даже не предпринимал такую попытку. И все, как одна, были несказанно удивлены женитьбой Якова, как если бы узнали что-то совершенно невероятное.

Кроме того, любить-то Якова было абсолютно не за что.

Агнесса, правда, не сразу поняла, что Яков — человек ничтожный. Она не может теперь точно припомнить, когда, в какой именно момент, всегда облаченный в яркие, помпезные одежды былой незаурядности, он вдруг предстал перед ней голым. И оказался прост и однозначен: самовлюбленный, болезненно тщеславный и пустой.

Он был среднего роста, лысый, с лицом невыразительным и бледным. И не было в этой бледности ничего романтического, все от нездорового образа жизни и вечной неудовлетворенности. Лицо это имело две маски, два выражения: брезгливого, капризного недовольства и ничем не прикрытого радостного самолюбования.

К тому же Яков был стопроцентный бездельник. А поскольку рыба, как известно, тухнет с головы, то и весь якобы руководимый им отдел работал нехотя, с ленцой. Эта всепоглощающая лень поразила в конце концов всех, даже самых устойчивых и неподдающихся.

При всем при том Яков хотел нравиться, жаждал успеха, популярности, все равно какой — лишь бы быть на виду.

Он все время жил в ожидании. Ничего не предпринимая, ничего абсолютно не делая, он пребывал в уверенности, что все его корыстолюбивые мечты сбудутся. Он твердо знал, что в один, как водится, прекрасный день кто-нибудь добренький сжалится над ним и преподнесет ему на блюдечке сложный десерт-ассорти, в котором будет все, о чем долгие годы грезила его душа: «На, Яшенька, кушай». И он съест. Не благодаря, не спрашивая: «Зачем так

много?» И не скромничая: «Мне одному не осилить».

Словом, Яков заслуживал презрения. Но Агнесса не презирала его.

Они проработали вместе почти четверть века. Их отношения были ее средой обитания, которую не выбирают, к которой, тысячелетиями эволюционируя, приспосабливаются. И Агнесса приспособилась: однообразно, неинтересно, зато безмятежно. И никаких сюрпризов: не происходит ничего хорошего, но и неприятности отсутствуют. Это было для нее главное — стабильность и покой.

И вдруг все изменилось. Словно космическая буря пронеслась и стихла, как не бывало. И все вроде осталось прежним: столы и стены, и картинки на стенах, и папки с рефератами и переводами на полках. И люди обличьем тоже напоминали прежних. Но все наполнилось каким-то иным смыслом, новой жизнью. И Агнесса неожиданно оказалась на задворках этой жизни. Сразу и навсегда.

Центром этой новой жизни стало юное существо, материальное воплощение промчавшейся бури: новая переводчица с французского Лелечка, с непристойно торчащим бюстом и лениво вихляющими бедрами, плотно, как лайковой перчаткой, обтянутыми черными кожаными брючками.

Когда Лелечка появилась в отделе, Агнесса была больна. Такое случилось с ней впервые. Закаленная бабкой, она успешно противостояла всем вирусам и болезнетворным микробам. А тут неожиданно занемогла: поясницу скрутило — ни согнуться, ни выпрямиться, десять дней пролежала она на диване с книгой, принимая по часам прописанное врачом лекарство. Осознав себя полноправным членом профсоюза, она вышла на работу, как всегда, спокойная и умиротворенная.

Тут и обрушились на нее все новости сразу. Ее теплое и светлое, лучшее в комнате (возле батареи и у окна), насиженное и обжитое местечко оказалось занято. Имущество ее было небрежно свалено на бесхозном столе в пыльном и темном углу за шкафом. Она не сразу поняла, что этот угол — ее выселки, что отныне здесь предстоит отсиживать ей долгие и одинокие часы, всеми забытой, никому не интересной.

На ее месте, ярко освещенная солнцем, как лучом прожектора, специально направленным на нее, красовалась, как майская роза, Лелечка. Она весело щебетала, сверкая васильковыми глазками и перламутровыми зубками, хлопая тяжелыми от туши опахалами ресниц.

Увидев лицо Якова, Агнесса впервые поняла, что это такое — «пожирать глазами». Он плотоядно и жадно глядел на Лелечку и, казалось, вот-вот лопнет от безудержного желания вкусить этот райский плод. Он весь подался вперед, неловко согнувшись над столом, неестественно вытянув шею и выпятив губы, словно стремясь дотянуться, прикоснуться к ней. Так тянется к спасительным каплям дождя немощный росток, погибающий от жажды в скудной, пересохшей почве.

Первое время Агнесса, запрятав обиду, пыталась восстановить нарушенное Лелечкой экологическое равновесие окружающей среды.

Смиренно обосновавшись за шкафом, она все же с гордым упрямством стремилась сохранить свой статус первой придворной дамы, подруги и наперсницы.

Но не тут-то было. Ее даже не отстраняли, не отвергали — ее просто не замечали. Как если бы ее никогда и не было. Весь тот набор услуг и дел, вершительницей которых в отделе испокон века была она, вдруг оказался никому не нужен. И вместе с этим пропал всякий интерес к ее персоне.

Поначалу ее еще жалели: «Да, Агнесса, эта Лелечка в мгновение ока изжила тебя как класс. Кто бы мог подумать!» Или припоминали старое: «Твой Яков, Агнесса, совсем голову потерял...»

Потом и это забылось. Все умы занимала эта неожиданная и странная, нахально выставленная напоказ, дразнящая всех, погрязших в повседневной серости, любовь. Это была самая сенсационная сплетня последних лет. Из уст в уста, обрастая, как всякая легенда, вымышленными, но очень красочными подробностями, передавалась история, складывающаяся из случайно подслушанного, неожиданно подсмотренного, нечаянно придуманного.

В этой невыносимой атмосфере всеобщего оживления Агнесса все больше чахла и увядала. Она металась, как рыба в отравленном водоеме. Не желая погибать, она упорно искала выход. Но не находила. От нее абсолютно ничего не зависело, все ее усилия были тщетными.

С тяжелым сердцем и дурной головой после мучительной бессонной ночи брела она понуро знакомым путем на работу, как кандалами опутанная тоской и отчаянием.

И вот однажды Яков ни с того ни с сего попросил ее позвонить в меховое ателье, узнать что-то про Зинаидину шубу. Он говорил что-то обычное про то, что они, как всегда, используют его как мальчика на побегушках, на подхвате, а он, меж тем,

самостоятельный и взрослый человек со своим кругом дел и интересов и прочее, и прочее. Он говорил, а лицо его светилось не подходящим к тексту счастливым сиянием.

И тут ее словно прорвало. Зинаида, Лелечка, шуба! Владея всем, он отнял у нее то немногое, что у нее было. Походя, небрежно растоптал ее и еще смеет обращаться с подобными просьбами.

— Я тебе не прислуга! — не помня себя от ярости, закричала она. — Лелечку свою попроси, она больше ни на что не способна... А ко мне не смей обращаться! Не смей!

На лице Якова появилось одно из самых отвратительных выражений мстительной злобы. Он прошипел:

— Заткнись, истеричка! Ты еще пожалеешь об этом.

И Агнесса поняла, что погубила себя. Яков никогда не простит ей этого выпада. Она знала, что его изощренная и вдохновенная мстительность не знает границ. Тут он — ас, корифей, непобедимый мастер.

Лучший способ защиты – нападение. Агнесса решила опередить Якова. Решение ее было непоколебимо. К ней даже вернулось утраченное за последнее время самообладание, в голове просветлело, сердце билось ровно и спокойно.

Письмо она писала хладнокровно и бесстрастно, стиль не выбирала, он сложился сам собой. Она лишь была удивлена, что в каких-то запасниках ее сознания хранилось такое пестрое разнообразие бранных, грязных и пошлых слов.

Единым духом написав сие послание, она, наспех одевшись, сбежала вниз к почтовому ящику. Ей не терпелось поскорее запустить машину своего возмездия, чтоб заработали ее жернова, сокрушая и разбивая в пыль выстроенные Яковом воздушные замки.

У нее подкосились ноги, она едва устояла под ударом волны цепенящего ужаса, захлестнувшей ее с головы до ног. Только что своими руками она исключила себя из разряда нормальных приличных людей. Они живут, не теша свою совесть делами великими, но и не тревожа ее никакими низостями. Теперь же она оказалась в одном ряду с мелкими, подлыми людишками, подобно навозным червям вползающими в души, неся с собой смрад и разложение.

И все это ради ничтожного и призрачного удовлетворения. И главное — ничего нельзя повернуть вспять. И не спасти уже свое доброе имя. Оно непоправимо пропало, как те три съеденные котлеты. Извиняйся — не извиняйся.

Телефонный звонок, раздавшийся в воскресенье вечером, вывел Агнессу из состояния долгого оцепенения, похожего на летаргический сон. Она только что вывернула наизнанку душу, перекопав день за днем всю жизнь свою в поисках истины. Или хотя бы оправдания. Но не нашла ни того, ни другого.

Звонил Яков. Голос его возбужденно звенел, дрожа и срываясь. Почти захлебываясь словами, он кричал в трубку:

— Агнесса, ты спасла мне жизнь! Ты освободила меня из темницы! Я так ждал, что кто-нибудь это сделает, только не думал, что ты... Если б не твое письмо, Агнесса, ты слышишь меня? Если б не твое письмо, я никогда бы не решился порвать с ними и всю жизнь прожил бы в кабале. Ты почему молчишь, Агнесса? Я так благодарен тебе! Я теперь начну новую жизнь с Лелечкой... Агнесса, спасибо тебе! Ты почему молчишь, Агнесса? Я никогда не забу...

Гудки в телефонной трубке и гулкие удары сердца...

Как люто ненавидела она Якова с его ненужной и такой неуместной благодарностью.

Не благодарности, а искупления желала она.

На следующий день на работе стало известно, что Якова ночью увезли в больницу с инфарктом.

Все были ошарашены новостью, судачили, сплетничали, думали, что бы сделать, как помочь, предлагали установить дежурства в больнице, узнать, не нужны ли дефицитные лекарства.

И только Лелечка сидела отсутствующая, спокойная и, высунув кончик языка, похожий на лепесток розы, старательно рисовала что-то в блокнотике. Было видно, что она потеряла всякий интерес к Якову. Что теперь с него возьмешь? И когда к ней обратились с каким-то вопросом, она равнодушно пожала плечиком: «Да мне безразлично, я все равно скоро ухожу от вас». И продолжала рисовать.

Тогда выступила вперед Агнесса. Она взяла бразды правления в свои руки и к полудню позвонила Якову домой:

— Зинаида, привет, — пересилив спазм в горле, как можно тверже сказала она. — Агнесса беспокоит. Мы тут посоветовались и решили...

Лев Бертин

ВЕСЕЛЫЙ ЭЛЕКТРИК – СОЛНЦЕ

* * *
Какая-то крупная птица
крыла надо мной распластала.
Назвать я ее не могу,
поскольку следил за полетом
по тени ее на земле.

* * *
Думал: надежда – побеги
каждой весной на деревьях.
О, как ошибался! Надежда – корни...

* * *
Минск. “ McDonalds”.
Плиты в стене
шатаются.
В щелях – окурки,
словно записки Всевышнему.
Такая вот Стена Плача....

СЛОВА НОЧНЫЕ

Слова ночные явно неземные,
те, что сорвались сами с наших губ
и улетели в края иные
в иной предел на дальнем берегу.

Углом взлетая, вверх уходит стая,
слова ночные – шепот или крик,—
не окликая, не откликаясь,
когда с земли мы окликаем их...

* * *
Не жалейте, рвите землянику.
Завтра снова придет
веселый электрик-солнце
и ввернет новые
смешливые лампочки ягод.
Не жалейте, рвите землянику!..

* * *
Когда в разговоре о ком-то
настоящее время меняется на прошедшее,
как вдруг меняются интонации
и сами фразы...

* * *
Век двадцать первый
пахнет Бин Ладеном

* * *
Оливы держат кроны изящно,
как официанты – полные подносы,–
на трех пальцах
на вытянутой руке.
Когда едешь на скорости по трассе,
они бегут за тобой,
как-будто ты забыл
дать им на чай.

* * *
Когда часто
видишь одних и тех же людей,
перестаешь их замечать,
как вещи.
Когда часто
видишь одни и те же вещи,
начинаешь к ним относиться,
как к людям.

Николай Сундеев

ПРОЗРАЧНЫЙ ПОБЕГ НА ЛОЗЕ ВИНОГРАДНОЙ...

* * *

От этого с утра
расслабленность, истома:
полил поток с небес,
от струй по саду дрожь.
Я вышел на крыльцо
родительского дома,
чтоб посмотреть на дождь.

Как прыгает вода
по веткам, торжествуя,
как по сараю бьет,
загнавши в будку пса…
И, с ветки для меня
сбив вишенку сухую,
танцует у крыльца.

Веселого дождя
неистовая милость,
напористость, в какой –
лишь доброта, не злость…
Хотел бы я, чтоб всё,
что век в душе томилось,
так вольно излилось.

Хотел бы я суметь
на книжные страницы
перенести всё то,
чем дорог этот миг:
и этот дом, и сад,
и этот дождь, и лица
родителей моих…

* * *

Посреди сумасшедшего дня
где повенчаны гонка с тоскою,
ощущенье покоя
осенило меня.

Безо всяких особых причин –
вот что невероятно.
Словно кто-то сказал: «Помолчим…» –
и молчать оказалось приятно.

День летящий застыл на весу,
позабыв о делах и о сроках,
словно я оказался в лесу,
среди сосен высоких…

А какой был в душе ералаш
до того, как явилась
эта странная милость,
мимолётная блажь…

СУМАСШЕДШИЙ

На ходу приплясывает странно
это существо.
И гримаса муки постоянно
на лице его.

Человек…
Приплясывает вечно,
бормоча – о чем?
Человечье и нечеловечье
совместилось в нем.

В сумерках живет, не понимая,
как в их круг попал.
Разве он хотел?
Судьба такая,
темных сил оскал.

Не хотят, да сами пляшут ноги.
С пляскою не в лад –
взгляд его испуганный и строгий,
полный скорби взгляд.

ПОВОЗКА

Неторопливо – некуда торопиться –
катит повозка. Чуть под хмельком возница.
День угасает тёплый, почти что летний,
бабьего лета день, может быть, последний.

О, городок мой, вновь оказался здесь я...
Катит повозка улицами предместья.
Лист кое-где сорвётся в глубинах сада,
но настоящего нет ещё листопада.

Длится простое, вечное это действо...
День безмятежен. Может, вернулось детство?
И, разомлев, душа моя – мягче воска,
словно увозит беды мои повозка.

ТИХИЕ ДВОРЫ

Я снова вижу
старые дворы –
живучего минувшего дары –
где вьется дым над крышами клубами,
ползут по стенам
хмель и виноград
и кошки настороженно следят
за голубями…

Невозмутима эта тишина,
с цветами городских обочин схожа:
гонимая, травимая – а все же
еще жива,
еще цветет она.

И утверждает это,
в свой черед,
любой забор,
сарай и огород,
и дом, от чердака и до подвала:
минувшее – оно еще живет,
оно еще ничуть не миновало.

Оно – вокруг, во всем, оно – со мной,
и внятен дух
ушедших поколений,
когда иду булыжной мостовой
вдоль тех дворов,
пропахших тишиной,
вдоль памятью пропитанных строений.

* * *

Прозрачный побег
на лозе виноградной...
Побег на свободу
из тьмы непроглядной,
к слепящему свету — из небытия!
Ты неотделим от лозы и от утра,
от этой земли,
что замешена круто
на смерти собратьев твоих до тебя.

Так будь же ты
всем не дожившим заменой!
Трепещет листок твой,
почти незаметный.
Взбирайся на небо, купайся в росе,
прозрачный побег на лозе виноградной,
живой, шевелящий листком виновато,
последний, быть может,
на старой лозе...

ОСЕННЯЯ ДОРОГА

Дорогой гладкою, не тряской,
то на подъем, то под уклон...
Мы яркой осенью молдавской
окружены со всех сторон.

Она, пока еще не выстыв,
заполнена, напоена
смятеньем птиц,
круженьем листьев,
броженьем юного вина...

Речушка, что рябит от ветра,
и виноградник, и село,
и растопыренная ветка,
перечеркнувшая стекло, –

все светится вокруг,
и в блеске
листвы, летящей с высоты,
овраги, хаты, перелески
иные обрели черты.

Вот лес, к дороге выходящий.
Как низко облако над ним!
Опустится в глухую чащу –
и станет озером лесным...

Вот рельсы, а неподалеку
клен ветви вширь и ввысь простер;
застывшая на нем сорока –
как черно-белый семафор...

О, древний край...
О, свет осенний
и птичья сбивчивая речь...
Дорога – гроздь стихотворений,
их нужно лишь в слова облечь.

Журавль колодезный и пашни,
листвы сквозная круговерть...
Все длится путь.
И день вчерашний
мне машет издали, как ветвь.

* * *

День настоящий – важней
прошлых и будущих дней.

Те и другие – лишь тень,
жив только нынешний день,
свет его, свежесть, порыв...
Счастье, что я еще жив,

слит со стремительным днем;
счастье, что с ним я и в нем.

* * *

Птица встречает утро,
чуть розовеющее,
в воздухе ломком
тонкие звуки развешивая,

и отвечает
на ветра и света касания,
дольками звуков
едва уловимо позванивая.

Как околдована
собственными созвучиями,
птица поет все слышней,
веселей, незаученнее,

звуки дробя,
и рассеивая, и раскатывая,
не про себя,
а про нежное утро рассказывая.

Елена Попова

ТРИ ДАМЫ В ПОИСКАХ ЛЮБВИ И СМЕРТИ

(Отрывок из повести)

(...)По телевизору между тем показывали бои. Дым черным смерчем поднимался то там, то здесь между вполне обычными панельными домами.

– Ей Богу, надоело, – сказала Червонная дама. – Ей Богу!

Дальше шли кадры разрушенных домов, ошеломленные лица беженцев, носилки с ранеными, большеглазые, серьезные детские лица.

– Где это? – спросила Бубновая дама.

– Где-нибудь обязательно, – сказала Червонная. – Где-нибудь обязательно творятся такие вот безобразия. Вы только представьте, девочки – раз и у вас нет дома.

– Ну это невозможно, – сказала Крестовая и даже зажмурилась. – Я даже представить не могу.

– А ты представь!

– Даже без мужчин можно жить, но без дома…

– Я к родственникам пойду, – сказала Бубновая.

– Так в том-то и дело – у родственников тоже нет. Ни у родственников, ни у друзей. Ни у кого нет дома! Вы только представьте!

– Давай без страшилок! – махнула рукой Крестовая дама.

Услужливый официант налил ей вина, она тут же нервно выпила.

– Мне рассказывали одну историю, – не унималась Червонная. – Про знакомого знакомого одних знакомых. Ну это еще во время Отечественной войны было. В оккупацию. Шел мальчик лет десяти, еврейский мальчик, очень хороший, положительный, послушный, умненький, в школе учился замечательно, на скрипочке играл замечательно, родители ему всегда говорили – будешь хорошим, с тобой ничего плохого случиться не может. Вот он идет, а навстречу пьяный немец. Мальчик, может и испугался, на курточке у него, понятно, желтая звезда, но наверное думал – со мной ничего плохого случится не может. Я же хороший. А немец его раз… и застрелил, как букашку.

– Что мы здесь делаем, девочки? – сказала Бубновая с редкой для нее агрессией. – Мы все-таки отдыхаем.

Она взяла пульт и стала переключать программы.

Пошли кадры Венеции.

– О! – сказала Бубновая дама. – Венеция – моя мечта.

Между тем камера скользнула вниз – улицы Венеции были залиты водой, люди шли, утопая почти по колено.

– Соберешься, – покупай резиновые сапоги, – сказала Червоная дама. – На гондоле там наверняка не проедешь.

– В сапогах не хочу, – сказала Бубновая с обидой. – Как это? Я всю жизнь об этом мечтала… Погулять по Венеции. И вдруг в резиновых сапогах?.

– Да, – подхватила Червонная, – Как в колхозе.

– Нет совершенства, девочки, – сказала Крестовая грустно. – Мечты приходится корректировать.

Бубновая опять переключила программу.

На этот раз шла обычная передача, передача-сплетница, в которой люди судили друг друга, рассказывали друг о друге, делились сокровенным и в то же время злобствовали, при этом все получали видимое удовольствие.

– Я пришла к нему, – рассказывала большая полная женщина с детским лицом. – А он что? Он чуть не выгнал! И тараканы кругом! Тараканы! Я мебель купила… Дешевую… все равно… А они уже табуретки пропили… Они все пропивают! Это называется – отец!

И все присутствующие в аудитории вдруг закричали разом. Кто обвинял детей, кто родителей, кто школу, кто соседей, кто общество, а кого конкретно – трудно разобрать, потому что кричали одновременно. Полная женщина с детским лицом прижала к груди не по размеру маленькие кулачки и заплакала.

– Ну, это совсем неинтересно, – сказала Червоная дама и переключила канал.

Но и там, на другом канале тоже сидели какие-то люди, жаловались, плакали и кричали.

– Это совсем неинтересно, – повторила Червоная дама. – Сами виноваты, пусть сами и разбираются. Что других-то грузить. – И нажала на выключатель.

Но телевизор, что удивительно, не выключился, каналы замелькали один за другим – то там что-то взрывалось, то кто-то стрелял, то кто-то кричал или смотрел с экрана особенно душераздирающим взглядом.

– Да что же это такое такое! – воскликнула Червоная дама. – Этот телевизор такой навязчивый!

– Не говорите! – подхватил официант. – То его вообще не включить, а то вдруг врубится, остановить невозможно.

Как бы подтверждая это, экран телевизора как-то издевательски подмигнул и программы опять понеслись с головокружительной быстротой.

– Разбирайтесь сами, девочки, – сказала Червонная дама. – А я пошла в туалет.

И она пошла в туалет, решительно толкнула дверь, на которой светился медальончик с женской шляпкой. (Хорошо, что хоть шляпка, а не этот пошлый треугольник, расширяющийся книзу, – подумала.)

До последнего несся ей в спину разноязыкий, раздражающий крик телевизора.

Пусть разбираются! Опять подумала она зло.

– Выключатель справа, – послышался голос официанта.

ЧЕРВОНАЯ ДАМА

Короче, она вошла и оказалась в полной темноте. Но она вовсе не растерялась – не такой она была человек, а спокойно протянула руку вправо и стала нащупывать выключатель.

Вспыхнул свет, она осмотрелась, определяя, куда направиться дальше, как с удивлением поняла, что оказалась в каком-то другом месте. Да, в своей собственной квартире. Что такое? – подумала Червоная дама. – Что происходит? Ведь я совсем не пила…

И не из таких она была, кто сначала думает, а потом действует. Она всегда действовала – так что без раздумий отправилась вглубь квартиры и тут же наткнулась на своего мужа, который ушел от нее несколько лет назад… Если точнее, ровно четыре.

Сколько раз потом днями и ночами она перетирала этот день и этот разговор – что ему сказала она, да что ей сказал он, да как бы надо было сказать, да что ответить. Как лучше, как правильнее, чтобы все стало на свое место. Но теперь что-то как бы сдвинулось в ее голове, и она стала такой, какой была четыре года назад. И думала также, и чувствовала. Противостоять этому было невозможно, хоть и одновременно она, раздваиваясь, наблюдала за собой со стороны, глядя, как через стекло, страдая от бессилия.

Он и раньше ей изменял, но она как-то смотрела на это сквозь пальцы. С кем не бывает? Мелькнуло и прошло. Ведь он был хороший муж и хороший отец. Но на этот раз было что-то другое. История эта продолжалась уже несколько месяцев, регулярно кто-то звонил, и когда она брала трубку, слышала лишь осторожное дыхание, а когда говорила – Але! Или – Вас слушают! – связь отрубалась.

Наверное, нужно было перетерпеть, да, конечно, мудрее всего было бы перетерпеть, переждать – именно так поступают мудрые женщины. Но, как оказалось, она не была мудрой женщиной. А может, в тот день у нее самой было не то настроение – погода, плохой сон, да просто не с той ноги встала. Короче, ее понесло…

Он сидел к ней спиной, и она видела его чуть сгорбленную спину, уже начинавший светиться затылок, чуть оттопыренные уши. И от этого его вида она почему-то впала в еще большую ярость. Вот, лысина светится, уши торчат, а туда же!

Негодяй! Негодяй! – бушевала ярость в душе у Червонной дамы. – И я должна это терпеть! Я должна терпеть! Не буду терпеть!

И ее прорвало.

– Кто это тебе звонит все время? – спросила она напряженно-ледяным тоном.

– А кто звонит? – спросил он тоже напряженным голосом.

И Червонной даме даже показалось, что проступающая сквозь поредевшие волосы кожа на его затылке чуть покраснела.

– Это я у тебя хочу спросить. Со мной не говорят, на меня только дышат.

Вот с этого и началось… Она встала не с той ноги… И погода… И поза, в которой он сидел, спиной, чуть сутулясь, поза, вызвавшая у нее особенную ярость… Да, даже поза! А ведь он совсем не хотел уходить тогда из дома – да, погода, мокрый снег, да, устал, да свое, как у каждого, свое собственное настроение, когда бы просто посидеть в уголке на диване, уставившись в телевизор и ни о чем не думая. Она же, Червоная дама, распалялась все больше. И по-своему она, конечно, была права. Сознание этой правоты поддерживало.

Да, она – фундамент их существования, камень краеугольный, верная подруга, труженица. А он – просто негодяй, помойный кот, старый импотент, да! Тридцатилетняя Лолита? Чего уж там! Пора искать помоложе! С его-то развращенностью как раз.

Она кричала долго, летала, как на крыльях – огромных, черных, перепончатых крыльях, как у летучей мыши. И вот уже взлетела высоко-высоко – на вершину ораторского искусства, все было ясно и просто, как на ладони – она жертва, а он – негодяй. Она права, а он – тысячу раз нет. И он должен это понять.

Наконец, речь ее была победоносно закончена. Он встал и повернулся к ней лицом – он был очень бледный и угол правого глаза подергивался.

– Ты меня никогда не любила… – сказал он тихо и даже жалобно. – Да, работа, дом, дети, хозяйка… Ты лучше всех! Но меня ты никогда не любила…

Он прошел в прихожую, оделся и вышел. Под этот мокрый снег, в дождливую метель… Вот так. Просто вышел. И уже не вернулся. Вернее, заехал, когда ее не было дома, взял кое-какие бумаги, свой ноотбук и все.

Но тогда, в тот вечер, четыре года назад она почему-то думала, что он вот-вот и вернется. Только немного успокоится, остудит голову под мокрым, противным снегом. И все ждала, все прислушивалась, не открывается ли тихо входная дверь. Но дверь все не открывалась. В десять часов она почувствовала, что

слабеет и еще противный липкий страх, какой бывает, когда надвигается что-то неотвратимое. Она вынула из холодильника бутылку шампанского…

Праздничный напиток с новогодними веселыми пузырьками привел ее в чувство и вернул уверенность в себе.

Я и так долго терпела, – думала Червоная дама. – Я столько терпела! Я должна была сказать! Я просто высказалась!

Думала она и о том, что сказал он ей. В чем упрекнул. Она его не любила? Как это не любила? Тогда – зачем? Все – зачем?

Они давно были вместе, с двадцати четырех лет…Он был застенчив и довольно не уверен в себе, а она была сильной, спортивной, напористой. Это ему нравилось. Они были почти одного роста и когда она одевала свои высокие каблуки (12 см.), то была намного выше. Встречаясь с ним, она эти туфли не надевала.

Перед тем, как пожениться, они встречались почти год. Он был влюблен больше, но и она привязалась к нему очень скоро. Без него ей было неуютно и скучно, с ним она чувствовала себя как бы на своем месте. Да и замуж было пора. Пора! Пора! – говорила мать. Так любовь это или не любовь? Она думала, что любовь. Да нет, это действительно была любовь.

Другое дело, сколько людей – столько любовей. Когда он рассказывал ей про себя, впускал в свой мир, открывал душу, она слушала, конечно, и была, вроде, внимательна, но ей было это неинтересно. Он был какой-то другой. Совсем другой. Как вообще-то и все. Это надо понимать, это надо принимать, как данность. Ей было интересно на общем их пространстве и только.

Вместе строили они свою жизнь, совместный добробыт, – квартиру, дачу, фирму по продаже евроокон, родили и воспитали двоих хороших детей, хлопот-то было море. И все, все добросовестно тянула она – с ее энергией, спортивностью, напористостью. И вот результат – сын в Штатах, дочь замужем и уже получила гринкарту на жительство в Канаде.

Их жизнь обеспечена, стабильна, здоровье еще не подводит. А ему все мало, все чего-то не хватает. Любви! – подумала Червоная дама с яростью. – Любви ему не хватает!

Все есть – птичьего молока нет!

И вспомнила, что его любимый торт – Птичье молоко.

Понятно, не так уж она обабилась – продажа евроокон не была мечтой его жизни, да и дети никогда не занимали целиком. Но ведь это – жизнь, да, это жизнь. Потом есть еще такая хорошая вещь, как хобби. Ему надо было просто найти для себя какое-то хобби.

Червоная дама прислушалась – дверь ответила молчанием. За окном все валил мокрый снег. Может, он уехал на машине? В такую погоду? Нехорошо…

Она не поленилась накинуть шубу и спуститься на лифте вниз, выглянула во двор. Их машина стояла на своем месте, покрытая снегом, как ватой.

Она вернулась домой и допила оставшееся шампанское. Набрала номер мужа – он не отвечал. Тогда она набрала тот самый номер, из которого дышала прямо ей в ухо незнакомая женщина, она знала его наизусть – у них был определитель.

– Да? Я слушаю… – пискнул почти детский голос.

И тогда ее опять прорвало, она закричала, сама поражаясь своей грубости, своей вульгарности, как какая-то последняя уличная торговка, и даже упиваясь этим.

Что удивительно, на той стороне связь не отрубили – ее слушали. И не просто слушали, а как бы втягивали в себя, высасывая всю ее энергию.

Она не выдержала первая, бросила трубку и зарыдала.

Через год они продали фирму и разделили все через адвоката. Из нажитого имущества – квартира, дача, машина – он не взял ничего, все оставил детям и ей.

Всегда найдутся те, кто расскажет. Кто-то говорил, что он счастлив, кто-то – наоборот, кто-то, что он серьезно болен, кто-то – что открыл новое дело. Но она знала, что он по-прежнему живет с ней в ее небольшой квартирке в дальнем микрорайоне. Это был достоверный факт.

И уже после того, как дочь уехала в Канаду, она как-то столкнулась с ним лицом к лицу.

Он сидел в кафе за столиком, один, лицом к улице. Он вообще любил заходить в кафе и сидеть там один, особенно, если хотел что-то обдумать, как быть наедине со всеми. А она просто шла мимо, заметив его, остановилась…

Их разделяла только стеклянная стена и расстояние не больше метра.

Она стояла и смотрела на него, а он смотрел на нее. Сколько это продолжалось, трудно сказать. Время как-то остановилось. Она не могла бы сказать – постарел он или похудел, а может ни то, и ни другое… Не могла бы сказать, как он вообще выглядит и во что одет, она видела его как бы изнутри. Он был Он, с которым она прожила почти двадцать пять лет. И в то же время Он был не Он, с которым она прожила почти двадцать пять лет, а кто-то совсем другой.

Потом она просто пошла дальше, но в голове ее все-таки промелькнула наивная мысль, что сейчас он выбежит из кафе и ее окликнет. Но он этого не сделал. Все.

Как выскочила Червоная дама из женского туалета, она не знала, просто не зафиксировав в сознании этот момент – через дверь или через стену. Она как бы выпала из другой реальности, как падают с высоты в сугроб. Но так как там был не сугроб, а крепкий деревянный пол, то она даже ударила коленку. И, злясь и чертыхаясь, пошла к своему столику.

Алина Талыбова

УЛИЦЫ НАШЕГО ГОРОДА

* * *

...Есть странный час
на перекрестке ночи
И дня,
есть потаенный переулок
Во Времени – свернув в него однажды,
Ты забываешь год, число, эпоху
И имена друзей.
Названья улиц и месяцев...
Свернув в него однажды,
Ты понимаешь, что попал в кино,
В котором звук пропал среди сеанса.
Кругом лежит беззвучный Старый Город,
Там, где дома касаются плечами
Друг друга...
Шелестит листва немая,
Беззвучно мяч стучит об известь стен,
Коньки грохочут по камням беззвучным,
Беззвучные беседуют соседи...
Пластинка кружится, дрожит игла,
Но с губ ее ни звука не слетает.

Вот женщина седая стул выносит,
Садится возле своего подъезда
И поправляет сползший с плеч жакет.
(Через мгновенье включат в мире свет
И озарятся стрельчатые окна.)

И нас с тобою поглотит парадное...
И ты очнешься в темном влажном чреве
Его, и над твоею головой
Как позвоночник – лифтовая шахта
Возносится, дрожа от напряженья,
Куда-то вверх, под купол мирозданья,
К аорте Дома.
Виртуальный ветер,
Бушующий в галактиках,
влетев,
Разбитой форточки в квадратный рот,
Вздымает ребра лестниц как дыханье...

О, сколько же вокруг нас параллельных
Миров, сознаний, аур и т.п.,
Упрятанных друг в друга как матрёшки!..
(До сердцевины этого расклада
Пока еще никто не доходил.)
И, как и подобает человеку,
Я знаю лишь,
что ничего не знаю
О мире,
но одно я знаю точно:
Все это я –
фасады и листва,
И дети эти, и ларьки, и кошки,
Разлёгшиеся с видом королевским
В подножье мусорок...
И темь подъезда,
И женщина в продавленном шезлонге,
Глядящая вдоль улицы пустой –
Последние две тыщи лет, примерно,
Никто, никто не проходил по этим
Камням...
(Воспоминания не в счет).

И я – стена, и на моих щеках
Нарезана вот эта вязь тугая
На мертвом языке,
и южный ветер
На мне вздувает виноград сухой,
Как волосы на лбу...

УЛИЦЫ НАШЕГО ГОРОДА

Горбатые, как верблюды, –
Непредсказуемые, как женщины, –
Спутанные, как волосы на ветру, –
Древние, как все религии мира, –

Вытертые, как паласы,
которые моют в июльских дворах
смуглые, горластые Шехерезады

с рыжими от хны пятками, –

Сочетающие в себе,
как перекидной календарь,
сразу все четыре времени года:
вот вдоль тротуара
осатаневшей иномаркой
несется февральский норд,
а за углом зацветает айва, –

Круто сворачивающие на перекрестках
из Европы в Азию и из Азии в Европу, –
(И пьет из лужи третьего тысячелетия
ишак, пропавший со двора
средневекового караван-сарая…)

Заасфальтированные волны...
Половина из них – тезки политиков,
а половина – поэтов:
улицы, как и дети, не выбирают себе имен.

И все мы, все мы ходим по ним,
как в музее под открытым небом,
где развешаны полустертые указатели:
«Мой первый двор»,
«Мой первый поцелуй»…

Выложены брусчаткою из сердец
Улицы
нашего
города.

ПОСВЯЩЕНИЕ ИМЯРЕКУ

(Трансконтинентальная поэма)
Отрывок

...Как птица промелькнула у щеки –
на миг мне показалось:
как близки
два наших континента,
как похожи
два побережья в профиль, и вода
(морская ль, океанская ль –
не важно)
равнó горчит на наших на губах
(что впрочем ощутимо лишь впотьмах
во время поцелуя...)
Вот – пассажем
декабрьским, ветреным,
идя сквозь дым
предновогодья, представляю, что
я с Вами вместе прохожу пассажем
декабрьским, ветреным.
И рой торговцев,
мгновенно в Вас учуяв иностранца,
жужжит со всех сторон:
– Эй, мистер!.. – Мистер!...
– Сюда, сюда!..
– У нас большие скидки!..
– Ковры, посуда –
все ручной работы!...
И прочее.
Но мы, свернув за угол,
прошли бы дальше, улочкою узкой
как лезвие, в тот тихий магазинчик,
зажатый в «клещи» мощными боками
соседних зданий.
И его хозяин,
интеллигентнейший,
привстав навстречу,
сказал бы нам негромко:
– Добрый день.
Я рад, что Вы зашли.
Как Вам погода?..
Впрочем, не буду вам мешать.
И удалился б
в ту крохотную комнатку,
где он
часами полирует, клеит, крепит,
воссоздавая нечто из молекул
небытия,
оставив нас одних
в надежном окруженье экспонатов
безмолвных…
Ну и пусть его, сидит.

А мы б остались
неспешно выбирать Вам сувенир
на память вот об этой вот поездке
вот в этот город, к коему Вы, впрочем,
нисколько не причастны...
(Я – причастна,
а хуже, что – пристрастна
с рожденья и до нового рожденья...)
– Ну что ж, начнем?..
Пойдем по часовой,
от полки к полке, на которых дремлют,
друг к дружке привалившись,
бок о бóк
свидетели промчавшихся эпох.

Век позапрошлый, университетский
оставил нам старинный этот атлас,

где под покровом рисовой бумаги
томится жуткий человек в разрезе –
пособие для новых
франкенштейнов…

В слепом простенке,
словно круглый щит,
завис гигантский панцирь черепаший
с каких-то невозможных островов,
пропахших пряностями…
(Стивенсон –
страница 278-ая.)

– Так, что еще?..
Кофейник (серебро) –
наседкою средь крохотулек-чашек,
чей край истерт незримыми губами,
истлевшими давно… Рога оленьи
(а может, не оленьи?..), статуэтки,
диковинные шахматы и нарды,
старинной и затейливой работы,
расшитые матерчатые туфли,
кальянов змеи (все-таки, Восток),
дуэльный револьвер, кинжалы с чернью,
тугой резьбой оправленные бельма
зеркал старинных,
что глядят на вас,
но никого в себе не отражают…

Но – слышите?..
Знакомые аккорды
(наверное, от соседей через стенку).
– Та-та-та-та̀…
Ну да, конечно: «Время,
вперед!..» И вот уже из допотопной
«вертушки» торопливый говорок
картавит бодро о земле и мире,
и что-то там еще
про телефон и телеграф…
Знак ГТО и ДОСААФ, медали
с дробящимся в них профилем грузинским,
тяжелый подстаканник с космонавтом…
(«Поехали!..»
И с той поры в апреле
всегда слышнее зовы той Вселенной,
в чью бесконечность бился, как в стекло,
мой бедный детский мозг…)

– А это что?..
Китайский зонтик –
боже мой, китайский!..
И настоящий: из в цветочках шелка,
сухого, словно бабочкины крылья.
Мне бабушка рассказывала, что
легко китайцев можно было встретить
на наших улицах до той войны
(до – нашей эры, до – всего на свете).
Шел впереди степеннейший китаец
с длиннющею косой и семенила
за ним, не поспевая, китаянка
на кукольных ступнях…
(О, кинотеатр
«Шанхай», и май,
и бабушкина юность!..)

И, наконец, у входа (он же – выход),
распятое на сухопарой стойке,
томится облаченье пехотинца
Последней Мировой (боюсь, что не-
последней). Инвалид-шинель бодрится
звенит наградами, выпячивает грудь
с ранением сквозным в суконной плоти,
играет пустыми рукавами…
И вздыхает
под сводами немыми гулкой каски
декабрьский ветер –
да, декабрьский ветер.

* * *

…Как ветер,
полоснувший вдоль щеки –
теперь я понимаю: далеки
два вечных континента,
и несхожи
пейзажи побережий, и вода
Атлантики отлична от хазарской –
на вкус, на цвет, на содержанье в ней
таблицы Менделеева... (Примерно
как слово пышнотелое «базар»
нельзя перевести костлявым «market».
И вообще, и Юг есть Юг, и Запад
не есть Восток,
и вместе им – увы!..)

Анна Кононова

ИЗРАИЛЬСКИЙ ДНЕВНИК

Июнь 14, 2014
Вашингтония

Всегда некогда, бежишь-торопишься, устал, и нет сил поднять голову... А между тем сделавшему над собой усилие будет дан чудесный приз из категории вечных и бесценных. Так, однажды я увидела эти длинноногие, страусоподобные пальмы по имени Вашингтония у входов в некоторые иерусалимские дома "с прошлым".

Высота деревьев в 20-30 метров рассказывает об их возрасте: 90-100 лет.

Именно тогда богатые еврейские купцы, адвокаты, инженеры строили непохожие друг на друга дома в квартале Ромема. И высаживали на счастье экзотические пальмы, обычно по две у главного подъезда. В наше время не все они сохранились. Я представляю, как злые ветры Иудеи качают и гнут трогательные длинношеие деревья.

А перед одним из домов, смотрящих на тыльную сторону иерусалимской центральной автобусной станции, в 20-х годах прошлого века человек с надеждой посадил аж три Вашингтонии. Гулять так гулять!

Девяносто лет прошелестели опавшими листками календарей. Сколько людей умерло за идеи, сколько идей истаяло и исчезло тем временем!

А гибкие пальмы выжили, и дом стоит.

Июль 1, 2014

Если когда-нибудь я напишу миниатюру под названием: «За что я люблю Израиль в 10 пунктах», как модно в интернете, – сейчас обо всем пишут в виде шпаргалки, – то первым пунктом будет: за то, что на похороны похищенных мальчиков, которых не спасли жаркие молитвы и фанатичная вера в чудо, собирается треть страны, религиозные-light и религиозные-hard, атеисты, беременные женщины и бородатые старики, сильные мужчины и детишки в колясках; на велосипедах и пешком, на автобусах и автомобилях, на поездах и инвалидных колясках, друзья и родственники, знакомые и незнакомые, прибывают и запруживают небольшое кладбище и создают пробки на дорогах, но никто не злится, хотя, видит Бог, евреи народ жестковыйный, сегодня не время для споров, сегодня время собрать нашу страшную печаль в общую груду и поставить в центре ее три небольших тела, закутанных в бело-голубые саваны, а потом – «из праха пришел, и в прах вернулся» – разорвать одежды, и выплакать вместе с семьями их горе, и почувствовать себя одним из них...

Июль 8, 2014

Черт, ну как не гордиться!

Сейчас передали об уничтожении группы арабов-коммандос, высадившихся с моря на пустынный пляж возле военной базы и, по-видимому, намеревавшихся захватить солдат-заложников.

Так вот, всю эту потрясающую операцию, обезвредившую 5 живых бомб, провела девочка-солдатка срочной службы!!!

То есть она – тацпитанит, ей поручено наблюдать за некоей полоской берега. Итак, она обнаруживает фигурки, выходящие из моря, определяет, что это чужие, фокусирует на них камеры наблюдения, нажатием нескольких кнопок вызывает беспилотники, которые определяют их как цель и направляют огонь танков и вертолетов на эти движущиеся мишени.

Все!!! Диверсионная группа из пятерых вооруженных до зубов мужиков-морских котиков уничтожена 20-летней еврейской девчонкой!

О бог войны! Ты женщина!

Июль 23, 2014

Сегодня в 11 на горе Герцля хоронят Макса Штейнберга, одинокого солдата, бросившего киношный Лос Анжелес, чтобы с оружием в руках защитить свой народ – и погибшего в Газе. Это становится традицией – сотни и тысячи израильтян стекаются к мемориальному кладбищу в центре Иерусалима, идут и идут пешком, потому что дороги закрыты для транспорта за километр до входа, идут, зажав в кулак сердце и сдерживая слезы, – чтобы дать им волю у покрытого флагом Израиля гроба, и обнять немногих прибывших родственников, и передать им без помощи слов любовь и благодарность за сына. Благословенна будь память о тебе, Макс!

Нет солдат-одиночек, все они наши дети.

Август 3, 2014

Его зовут Эйтан. На иврите это означает – стойкий, несокрушимый. Капитан Эйтан примчался на звуки выстрелов, понял, что произошло похищение солдата, и, ни минуты не медля, вбежал в туннель, по которому хамасники утащили тело Адара Голдина; преследовал похитителей многие сотни метров в темном и, возможно, заминированном подземелье, нашел окровавленную одежду и обувь Голдина, брошенную хамасниками по дороге, и только увидев расходящиеся боковые ходы, по которым шакалы, похищающие тела наших мальчиков, вышли наружу, Эйтан понял, что они ушли, принял решение не подвергать опасности своих солдат и вывел их назад. Капитан Эйтан за героизм представлен к награде.

Август 23, 2014

Мы сегодня гуляем по Пльзню. Настоящий чешский город, не испорченный туристской индустрией. Он как красавица средних лет утром посреди рабочей недели, без макияжа, усталая, с тенью под глазами, – но все знают, что она была хороша, и что, дай ей отдохнуть и подкраситься, – она снова покорит всех окружающих.

Сентябрь 14, 2014
Про понты

Моя любимая кузина в силу некоторых семейных обстоятельств один-два раза в году принимает у себя московскую тёщу своего сына вкупе с компанией её друзей.

Сестричка моя замечательная балабустэ[1] и особенно хорошо готовит блюда еврейской кухни.

Вот и в тот раз подала она гостям фаршированную рыбу, а для костей поставила одноразовые блюдца, чтоб потом не заморачиваться и сразу выбросить.

И тут одна гостья говорит:

– А вы знаете, мой муж ест только на фарфоре!

Сестра онемела. И, видимо, пребывая в ступоре, извинилась.

После некоторой заминки обед продолжился...

Ноябрь 5, 2014

Известно, что Израиль – это плавильный котел, где смешиваются народности, называющие себя евреями, из разных стран.

Сестра моя несколько часов в неделю работает у милейшей пожилой женщины, когда-то привезенной в Землю Обетованную родителями из Ирака. Здесь она вышла замуж за польского еврея и прожила с ним долгую хорошую жизнь.

Но в начале их семейной жизни, когда после первой брачной ночи Сильви, гордившаяся своим поварским искусством, приготовила мужу храймэ[2], обычно флегматичный Хаим запунцовел, надулся, вскочил и, сангвинически дергая руками, сбросил со стола праздничное блюдо.

– Пе-пе-перец!!! Мы же договорились!!!Т-ты же обещала!

Сильви рыдала на диване. Жизнь кончилась, едва начавшись.

Её ашкеназский муж, наконец, перевёл дух и спросил:

– Сколько перца ты положила, любимая?

Воодушевившись ласковым словом, зареванная новобрачная ответила:

– Очень мало, всего одну ложку! Для пикантности...

–А-а-а!

Занавес.

Что иракцу пикантно, ашкеназу смерть.

Декабрь 20, 2014

Мы живем на первом этаже в старом фонде. Трехэтажные дома постройки 84-го года стоят

1 Хозяюшка

2 Блюдо из рыбы, очень острое.

сотами, образуя внутренние дворики, украшенные каждый на свой лад: где задорная зеленая лужайка, где мини-амфитеатр для общих соседских праздников, мечта чистого душой архитектора; есть садик, в котором плодовое дерево шесек[1] огромными листьями кудлатой кроны обеспечивает тень влюбленным и собачникам, ну, а в нашем дворе – предмет моей гордости – щедро усыпанные сочными махровыми цветами кусты гибискуса, посаженные на газоне мужем под моим руководством.

Кухонное окно (а под ним – плита) выходит в садик, по большей части пустынный.

А тут как-то случилось: жарила я драники (по странной случайности, желание драников постигло мою семью как раз на Хануку), поглядывая в окно между переворотами ароматно шкворчащего соблазна. ...Взгляд замыленно скользил по целующейся на лужайке парочке семнадцатилетних прыщавых тинэйджеров...

Сняла со сковороды готовые латкес, наляпала новую партию. Парочка целовалась уже взасос. Я перевернула драники один за другим. Девчонка обхватила парнишку руками и ногами и повисла на нем. Композиция слегка зашаталась, мальчику пришлось повернуться, сохраняя равновесие, и тут с изумлением я увидела на нём цициёт!!![2] А на рыжей его головушке – глубокую кипу и пейсики локонами!

О-ля-ля! Мальчишечка-то хареди[3] !

Ну и ну, куда смотрит его мама...

А тут и мама нарисовалась, высунувшись из окна и возопив: «Хаим-Бер, ты что делаешь? Забыл о скромности??!! Домой сейчас же! Я прошу тебя, пока не пришел отец!!!»

Мать мальчика орала, но не спускалась: была пятница, и она пекла халы. Я знала эту женщину – там, в салоне, копошатся трое малышей, не считая старших, в этот час один за другим прибывающих из ешив. Сын тоже знал, что она не спустится. Композиция «Двое влюблённых и дух святой из окошка» снова изменилась: мальчик и девочка теперь стояли рядом, держась за руки. Потом неожиданно девчонка будто клюнула его в шею и вжалась грешной башкой в плечо. Мать кричала, ломая руки.

Запахло жареным. Это пригорели драники. Когда я снова взглянула в окно, парочка уходила со двора, яркая в ярком свете, пронизывающем высокую арку, художественное излишество, подаренное скромному спальному кварталу мечтателем-архитектором.

Январь 13, 2015

Есть все-таки в праздновании старого Нового года нечто, коренным образом отличающееся от стандартного, первоянварского праздника, и это – возможность второй попытки, исправления ошибок и твёрдая решимость не проспать и дождаться чуда, которое упустил в легкомысленном угаре Нового года...

Поэтому настоящие святочные истории должны случаться в старый Новый год.

Январь 30, 2015

Я поняла, насколько ивритские идиомы исковеркали мой русский язык, когда вчера предложила мужу:

– Дорогой, может быть,ты пожаришь котлеты?

И, чтобы отмести все его сомненья, прибавила:

–Ты хорош в котлетах!

Февраль 17, 2015

«Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город». И это повторилось сегодня! Воздух желтого цвета, как моча бедуинского осла. Грешны мы, Господи! Я видела, как ветер формует воронки из песка и, прометя ими по тротуару, поднимает по спирали сухие листья, кружит их в желтом небе, ведет к какой-то ему лишь известной цели, чтобы, внезапно утратив энергию, обрушить на землю. Буря в середине зимы...

---

[1] Мушмула

[2] Ритуальные кисточки на одежде ортодоксального еврея.

[3] Еврей-ортодокс

Саша Немировский

ДВА БЕЛЫХ ШАРИКА ВЗЛЕТАЮТ НАД САНСЕТОМ[1]

САН-ФРАНЦИСКИЙ РОМАНС

Мае и Саше Голдобиным

Два белых шарика взлетают над Сансетом.
Цветные ленточки не прижимает груз.
Тянусь
За ними взглядом, за сюжетом,
В котором вместе счастье есть и грусть.
Под ветром
Высоту глотаю с ними.
Смеюсь на празднике, оставшимся внизу.
Мне виден океан, сегодня синий,
Не то что давеча в осеннюю грозу.

Цветные домики, спешащие под горку,
Вдоль сетки улиц, где с краев туман.
И зайчиков пускающие створки
Распахнутых оконных рам,
Где шторки
Разлетелись. Видно, тесно
Им обниматься было в полный штиль.
Два белых шарика, еще покуда вместе
Проходят церкви утонченный шпиль.

Две темных точки исчезают в отдаленье –
О чем бишь я? – Давно зеленый свет.
Лишь груз от ленточек в портфеле на сиденье
Да трафиком задушенный проспект.

THE 49-ER (СОРОКОДЕВЯТНИК)

Золотоискательский городок,
Застроенный офисами хай-тека.
Отрог
Горы. Паркинг.
Электромобиль мордой у перевязи –
Кормится через провод.
Арка.
Старенькая библиотека,
Подающая повод
Вспомнить о книгах как способе связи
С первобытной культурой ушедшего века.

Старатель, не ведающий одиночества,
Ковыряет айфон –
Но переходит к компьютеру,
Когда становится нестерпимо.
На экране, как фон,
Бежит незакрытый чат.[1]
Равнодушный к почерку,
Он строчит пальцами.
Смотреть муторно;
Голову ведет, будто вдыхаешь чад.

Пилигримы
Из туристов-скитальцев
Чириликают фотки
Викторианских зданий
На фоне вывесок мировых фирм.
Залив. Порт. Высотки.
Боевик-фильм.

Герой. Конечно же, герой-одиночка,
Благородный, непобедимый.
Где-то это уже было.
Сюжет, убедительно
Проходящий через точку
Невозврата,
Из азарта
Погони за золотой жилой.

---

[1] Chat (англ.) – болтать. Общаться по интернету в режиме реального времени.

ГАВАЙСКИЕ ОТКРЫТКИ

1.
Развалины русского форта Елизаветы.
Крики диких петухов, клюющих по кромке пляжа.
Островок Каваи. Дым твоей сигареты
По правилам – криминальная часть пейзажа.
Влажность
Такая, что подъем по тропе
Мало чем отличается от посещения парной.
Лиана, как популярное канопе,
Преобладает и в архитектуре пивной,
Где за стойкой ставни на раскрытом окне
Картинка: вид на школьное футбольное поле,
Сбоку обрезанное стеной.
Там памятник победе в японо-русской войне.
Больно.

2.
Я смотрю на огонь первобытной душой,
в обрамлении страха.
Он течет не спеша и по капле спадает на пляж.
Закипает волна, исчезая, мешается с прахом
Вулкана.
Остров движется в море. И растет остывающий
кряж.
Панорама
Из пальм и древесных хвощей,
Где шумит водопадом река,
Неизменна.
Лишь теряется ценность привычных вещей,
Когда время – синоним песка.

3.
Полвека спустя после окончания большой войны
Посреди бухты – полузатопленный корабль
Стоит памятником ее началу.
Но говорит больше о её тщете.
Посетители Оаху, в основном влюблены
Друг в друга. Судя по толпе у причала,
Очень многие вообще
Из Японии.
Медовый месяц.
Широченный песчаный пляж.
Зеленоватый теплый океан.
Если
Каждая семья, как ветка, пускает свой корень,
То кто здесь чужой, кто наш?
Баньян.
Переживший войну,
Растущий с эпохой вровень.

[1] Район Сан - Франциско

АЛЬПИЙСКАЯ ОТКРЫТКА

Долина гор, зажатая в теснину.
Деревня – ограничена плато.
Авто,
Подвластное закону серпантина,
Ползет, не нарушая ни за что
Режим, указанный дорожным знаком.
А сверху светят знаки зодиака
Прорехами в ночном пальто.

Вершины белые над темным скальным торсом
В контраст с домами, где наоборот
Белеет низ под черным контрфорсом
Балкона, сдвинутого чуть вперед.
Народ,
Гуляющий по скользким тротуарам;
Цветных витрин манящая жара,
Вдыхаемая узким кулуаром,
Где ледопад блестит. Зимы пора –
Наутро скалы поседеют снегопадом,
Двора
Гостиничного станет не узнать.
И склон, что ночью показался рядом,
Отступит далеко, не дошагать.

Восход румянит белые косынки
Далеких пиков. Светится река.
Краснеет фартук ледника.
Хребта чуть розовеет вязь.
Ты спишь. Подушка сбита. Свесилась рука
С простынки,
В ладошку луч пытается попасть.
Другая жизнь – красивая девчонка,
Чьи волосы смеются на ветру,
Не преступая смутную черту,
Щемит в груди, улыбкою, нечетко.

Александр Зевелёв

КАКАЯ ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ РОДЫ

ВОТ!..

Вот упало атмосферное давление,
настроение и зрение, и слух...
И с тоской гляжу на наше поколение,
на ненужных, на бессмысленных старух.

Вот сижу, теку глазами, носом хлюпаю,
не подруга, не невеста, не жена.
Ох, я старая, я толстая, я глупая,
я такая и маньяку не нужна.

Вот недавно забрела к подруге в гости я.
У неё мужик – красивый, молодой...
А я старая, я глупая, я толстая,
а хочу быть юной, умной и худой.

Сколько лет напрасно пройдено и прожито!
Тихо-тихо льётся с клёнов листьев медь…
Похудеть, наверно, можно хоть немножечко,
а вот как помолодеть и поумнеть?

Я хожу на вечеринки с посиделками,
но меня не увлекает кутерьма.
Все вокруг такие пыльные и мелкие!
Неудачники вокруг – как я сама.

И потом бреду безлюдными бульварами.
Злобный ветер задувает под пальто.
Вот я – глупая, я толстая, я старая,
да и, в общем-то, не нужен мне никто.

Вот сварю себе целительного супа я:
полморковки на кастрюлю – и хорош.
Да, я старая, я толстая, я глупая –
но ещё ведь и удачи ни на грош!

Иногда всплакну, как дура, под гитару я.
Птица-тройка, колокольчик под дугой...
Вот я – глупая, я толстая, я старая –
а была ли я когда-нибудь другой?

ОДА РОДАМ

Когда жену везут рожать,
мужик обязан суетиться:
и собирать, и провожать,
и после ласково проститься.
Бессвязно что-то бормотать,
склоняясь над ее рукою,
и тут же оду начертать
в стенах приемного покоя.

Пока у баб отходят воды,
мы, мужики, слагаем оды.

Пока не ясно, кто кого,
пока жена торчит в больнице,
оставив мужа одного,
мужчина должен не лениться.
Он должен водки накупить,
забраться с нею на природу,
собрать друзей и с ними пить,
и прочитать им эту оду.

Какая прелесть эти роды,
что служат поводом для оды.

* * *

Суббота. Верёвочка инея.
И спящее чудо – она!
А небо-то синее-синее!
И тишь – тишина, тишина...

Лежу. Не подам даже виду я,
презрев и суму, и тюрьму,
лежу и тихонько завидую.
Кому? Да себе самому.

Должно быть, устал за неделю я,
и надо бы встать, покурить,
умыть свою рожу похмельную
и, может быть, кофе сварить.

Из нежности или из жалости
не падаю с грохотом ниц.
Но солнечный лучик сквозь жалюзи
коснулся любимых ресниц.

Она просыпается медленно.
Она улыбается медленно.
Она подымается медленно.
Она никогда не спешит.
Она не спеша умывается.
Она не спеша одевается.
И счастье во мне разливается
по всем закоулкам души.

И, право же, где бы мы ни были,
в какой бы людской кутерьме.
Убытки у нас или прибыли.
В приюте, в больнице, в тюрьме,

сквозь тьму продираясь, сквозь вьюгу ли,
сквозь падаль ли, сквозь вороньё –
не можем не верить друг другу мы,
не верить в себя и в неё.

Она просыпается медленно.
Она улыбается медленно.
Она подымается медленно.
Она никогда не спешит.
Она не спеша умывается.
Она не спеша одевается.
И счастье во мне разливается
по всем закоулкам души.

ОХ, МУЖИК ПОШЕЛ ЛЕНИВЫЙ!..

Ох, мужик пошел ленивый!
Нет бы сына искупать.
Черта-с-два! Напьется пива,
к телевизору да спать.

Что попросишь умирает,
прикрывается женой.
Не купает, не стирает,
не гуляет, не играет,
ничерта не убирает!
Все на мне. На мне одной!

К ночи ввалится в квартиру
мой законный паразит,
от галошницы к сортиру
головой затормозит.

Злой приходит, как собака.
Я всю ночь потом не сплю.
То случится где-то драка.
То найду в кармане рака.
Он ужасен! Но, однако,
я, увы, его люблю...

* * *

Куда влечёт меня звезда?
Куда, зачем - Бог весть...
Она влечёт меня всегда
туда, где выпить есть.

Как говорится на Руси,
в её глухом лесу:
не верь, не бойся, не проси,
всё сами поднесут.

И ведь подносят - вот беда,
и я всегда хмельной.
Моя весёлая звезда
смеётся надо мной.

Вот засмеётся - и тогда
чуть-чуть светлей окрест.
Гори, гори, моя звезда,
пока не надоест.

СОКОЛЬНИКИ

Сокольники, Сокольники
На тротуаре столики.
Возьму пельмешек с маслицем
и светлого пивка.
Идя своей дорогою,
подрастерял я многое.
Сижу, вкушаю музыку
родного языка.

Сокольники, Сокольники
Здесь школьницы и школьники
как мы в года далёкие
гуляют до утра.
Здесь весело, здесь молодо
среди большого города.
Гуляйте, люди добрые,
а мне уже пора

Что прожито то прожито.
Но все-таки, но может быть,
вернусь сюда когда-нибудь,
хотя б на склоне дней.
Сокольники, Сокольники,
заложники, невольники
вы юности моей.

Алла Никитина

БАРКЕСА

(Отрывок из повести)

Дочке, внукам, родным и друзьям посвящается

Что означает это слово, сегодня знает всего пара человек. За его правильное написание не ручаюсь, поскольку впервые вижу на бумаге. Я хоть и пишу с одним "с", думаю, стоило написать с двумя. Вот так: баркесса. По аналогии: баронесса, стюардесса, критикесса, пресса. Или Одесса. "Баркесы, полные кефали…"– сочиняли, хихикая, наши девочки вслед за Бернесом из патефона. Эти сооружения в послевоенном Витебске воздвигались в каждом дворе. Да и дворов-то толком поначалу не было, а были развалины, груды кирпичей и щебня с проходами и перелазами между ними; их разгребали серые люди в серых телогрейках или шинелях, они же строили жилища для тех, кто вернулся из эвакуации или выбирался из подвалов разбомбленных домов. Но сначала – баркеса.

Дворы начинались с них. Надо же было строителям куда-то ходить какать: не было домов, не было и углов – не укроешься. И вот привозили нетесаные доски и сбивали из них "скворечники" на два посадочных места в каждом отсеке – мужском и женском, разделяли перегородкой из тех же сучковатых досок, подымали деревянный помост с двумя выпиленными дырами. Под ним – яма, вырытая заранее. Навешивали двери, прилаживали щеколды, накрывали покатой крышей, крытой толем, чтобы страдающего запорами снегом не завалило – вот и уборная. Баркеса по-нашему.

("Толчок, что ли?" – спросил мой внук-израильтянин, в глаза не видевший ничего подобного, но хорошо проинформированный друзьями-одноклассниками из наших мест).

Я родилась в одном из таких дворов, уже осуществившихся к тому времени, обжитом и обросшем традициями. Великая Отечественная закончилась, но жажда воевать кипела в тощих телах послевоенных детей. Горючее патриотизма постоянно закачивалось туда видом отцовских медалей, военных парадов, бабушкиных слез по пропавшему без вести сыну, книжками и фильмами про Зою и Шуру, про Олега Кошевого и его товарищей, песнями про наши быстрые танки и крепкую броню. А главное – абсолютной убежденностью в том, что жизнь – это борьба, и – бей врагов!

И мы боролись. И бились. В основном – с "тем" двором.

"Тот" двор примыкал к нашему. С улицы Суворова во дворы вели две автономных арочных подворотни, и проходили они под квартирами вторых этажей одного длинного дома, вернее, нескольких, плотно прижатых друг к другу. В знойный солнечный день выглядели подворотни, как спасительные норы, в одной из них – нашей – мы прятались от сжигающих кожу лучей. И от дождя – тоже. Там же мальчишки играли в футбол, вратари стояли на входе и выходе, было удобно; правда, мяч постоянно улетал на улицу, по которой грохотали грузовики. И хотя расстояние между подворотнями было метров тридцать, "та" казалась далекой, враждебной, и в то же время затягивающей, как аэродинамическая труба. Очень хотелось хотя бы разок пройти через нее и посмотреть, как выглядит "тот" двор, кто там живет. Но – "нельзя!" И я мимо нее пробегала, принимая вид иностранки, когда нужно было в Третий магазин, на гимнастику, или к папе на работу – а вдруг наши враги узнают меня и убьют. И только позже, когда все исчезло, я для себя открыла, что страшный "тот" двор находился за стеной моей квартиры. Что в нашем доме жил еще кто-то невидимый, чьи окна смотрели в "тот" двор, что мы, оказывается, прожили десять лет с моим врагом, прямо как сиамские близнецы Маша и Даша, которые успешно выживали в состоянии вечной ссоры. Но, в отличие от несчастных скандальных и неделимых сестричек, я своего врага никогда не знала и уже не узнаю.

Два двора встречались на узкой тропинке, которая вела к баркесе, образуя букву Y. Баркеса оказалась флагманом, как бы уводящим оба наших враждующих корабля в примиряющую заоблачную даль над обрывом, на краю которого пристроилась. Но никуда их так и не увела – мешала большая кирпичная помойка, куда флагман уткнулся. А на самом деле помойка поддерживала западную стену уборной, не давая зимним ветрам обрушить это сооружение на крыши нижних домов, сараев и курятников – и такие имелись и назывались "нижний" двор, выходивший на другую улицу – Льва Толстого. Витебск – город холмов, и если смотреть на наши дворы с другого берега Двины, то дома, казалось, стоят один на другом. Наша улица полководца Суворова как бы стекала с холма, на повороте становясь улицей великого русского писателя, и полого уходила вниз, к реке Западной Двине, куда мне было всегда "нельзя, утонешь!" без взрослых.

Баркеса была святым местом – единственным храмом очищения не только для жителей "того" и нашего дворов, но и для работников портняжной мастерской, переплетной, библиотеки, еще каких-то контор на улице Суворова, где старательно трудились портные, библиотекари, переплетчики. Эти люди – кто торопливо и целеустремленно, кто вприпрыжку, кто стеснительно оглядываясь, а кто петляя и расстегивая штаны на ходу – проходили мимо нашего дома в баркесу. Жаль их было в дождливые или ветрено-морозные дни, когда, по словам моей бабушки, "хороший хозяин собаку на улицу не выпустит".

Туда же выносились и помойные ведра из всех квартир нашего двора, и тоненькая ниточка расплескавшегося по пути содержимого, как в сказке братьев Гримм, некоторое время указывала дорогу обратно к подъезду каждой Гретхен.

Баркеса была незаменимым местом физической подготовки. Мы здесь тренировали свои легкие. Думаю, многие ребята из нашего двора, занявшись дайвингом (знай мы о таком виде спорта), смогли бы участвовать в международных соревнованиях и даже побеждать в них: научиться плавать – не проблема, Западная Двина близко, а вот уметь задержать в легких воздух на несколько минут и постепенно, маленькими порциями выдыхать его, а за это время успеть все сделать и натянуть штаны – непросто. Но суровая действительность заставила, и мы научились этому, сидя над очком в жаркие летние дни, когда вонь от помойки и скворечника густым наваром плыла до самого неба (птицы падали в обморок, и только черно-зеленые разжиревшие мухи пировали там с могучей радостью).

Мы могли бы стать "моржами", если бы у кого-то появилась охота зимой купаться в проруби. Наши голые зады, закаленные двадцатиградусной стужей и ледяными ветрами, прорывавшимися в заиндевевшие, мохнатые от инея щели уборной, запросто выдержали бы любую воду.

Баркеса была информационным центром двора. Чего только жильцы не выносили оттуда: про арестованного Берию, про муку с червями, про Ханкину очередную беременность и про то, что Вовка опять лупил Эмку.

Баркеса была проклятым местом. Как вспомню – так вздрогну, потому что чувство непреходящего страха – сопровождавшее мое первое в жизни десятилетие, прожитое в том дворе, и какое-тот время после переезда – у меня связано именно с ней. Ежедневная пытка ожиданием: а вдруг что-то произойдет, когда я там сяду?! Ну, например, мальчишка с того двора станет бросать камни в дверь, или подглядывать в щели и дырки от вылетевших сучков в перегородке. А вдруг дядька какой-нибудь пьяный перепутает кабинки. А вдруг…

Все там могло случиться. И случалось. Кто-нибудь возьмет и повернет щеколду с внешней стороны двери – просто пошутил. И сиди там и вой, пока не спасут.

Тогда мне и в голову не могло прийти, что уборная может быть не просто нужником, а, например, местом желанного уединения, и довольно приятным – ты один, в тишине и покое, можно подумать о чем-то важном, сосредоточиться – строго ограниченное пространство располагает к душевному взлету или же к спуску в бездну собственной души. Агата Кристи, например, в своей автобиографии рассказывает о незабываемом времяпровождении в комфортабельной уборной в доме бабушки.

"Этот дом (на Иллинге, у бабушки) таил в себе заманчивость поездки за границу, и главной его прелестью был туалет. Роскошное широкое сиденье красного дерева. Сидя на нем, я чувствовала себя, как Королева на троне, быстро превращала Диксмистресс в Королеву Маргариту, Дики – в ее сына, Принца Голди – в наследника трона (нафантазированные маленькой Агатой друзья. – А.Н.). Он сидел по правую руку от королевы, на маленьком ободке,

обрамлявшем рукоятку из веджвудского фарфора. Я уходила туда с утра, чтобы проводить аудиенции, протягивать руку для поцелуев, и сидела до тех пор, пока не раздавался отчаянный стук в дверь: кто-то требовал, чтобы я немедленно уступила место. Там же висела на стене цветная карта Нью-Йорка, тоже представлявшая большой интерес для меня. "

Кроме отчаянного стука в дверь и какого-нибудь носителя информации вроде заткнутого в щель куска газеты или журнального листа – ничего общего, увы, с моей баркесой.

Веджвуд! О фарфоре и фаянсе этой знаменитой фабрики, основанной в 18-м веке одноногим керамистом Джозайей Веджвудом в небольшом городке в центре Британии, я прочла недавно. Оказывается, это тот самый королевский фаянс, из которого Екатерина Вторая заказала столовый сервиз на 952 предмета с изображениями знаменитых строений и пейзажей, желая таким образом "заполучить у себя на столе всю Англию". Да. А у бабушки Агаты Кристи он, или его близкий родственник, был включен в дизайн рукоятки сливного бачка.

Однако я слишком далеко отлучилась от собственной географии и истории в ней.

Мы научились ходить в баркесу "за компанию", мы научились хотеть туда дружно. И шли, как на войну, прихватив с собой обломки кирпичей и булыжников, выбирая при этом оружие пролетариата поувесистей. Мы – это ватага девчонок примерно одного возраста, лет шести-восьми, с косичками-бараночками, в коротких застиранных фланелевых и ситцевых платьицах и в заштопанных нашими бабушками чулках, в зашнурованных ботинках со сбитыми носами, жутко грозные и решительные, некоторые – с младшими на руках или за руку, в общем, "шел отряд по берегу".

Если бы мне предложили вернуться в детство и начать все сначала, я ни за что бы не согласилась. И не потому, что " ах, у нее не было детства!" Было, да еще какое! Я люблю его, свое детство, себя в нем, всю эту далекую страну – без границ, но обозримую, где такие яркие краски, где такой белый снег и такое синее, бархатное в алмазах небо (мы никогда не увидим больше такого неба – в алмазах). Но я не хотела бы снова корчиться от такой остроты чувств, такой силы страха, такой боли любви, такой тяги желаний. Мне так мешало тело, оно было слишком маленьким, чтобы выдержать атомное давление страстей человеческих.

ПАПА

Если бы мой подвыпивший папа однажды встретился во дворе с дядей Ваней, это было бы подобно столкновению поездов. Но небесный стрелочник постоянно разводил их, спасая от увечий физических, а нас от увечий душевных. Спиртное действовало на обоих одинаковым образом – будило зверя, хищного и воинственного.

Папа не был ни алкоголиком, ни пьяницей, но, по расхожему определению, "выпить любил". На самом деле и это не совсем точно: любят выпить те, кому от этого хорошо. Папе хорошо не было. Как я теперь понимаю, с некоторых пор "хорошо" папе не было никогда. Даже после того, как, заперев прошлое в самый глухой чулан памяти, он, тридцатипятилетний, видавший виды мужчина, женился на красивой двадцатидвухлетней девушке, веселой и невинной до глупости. Оба работали в областной газете "Витебский рабочий": папа – зав. издательством, мама – машинисткой. Это случилось через два года после войны, когда Витебск представлял собой одну большую груду руин, и его предстояло реанимировать. Редкие, устоявшие под бомбежкой враждующих авиаций здания были разобраны под органы первой необходимости – обком, исполком, КГБ, Управление милиции и т.д.. Газета была рупором всех этих органов – для нее и ее сотрудников тоже отыскали место: подвалы, пристройки, времянки в одном из дворов по улице Суворова, прямо напротив левого крыла городской ратуши, или каланчи, как ее тогда называли. Благоустройством издательских и типографских служб занимался демобилизованный ефрейтор Моисей Абрамович Красинский – Миша. Ничего больше ему не оставалось, кроме как зарыться в работу и пахать, пахать, а вечером выпить – и спать.

С войны Миша привез огромную немецкую пуховую перину и две пары добротных часов: одни – настенные, с боем, другие – каминные; оба их маятника я остановила много позже, когда мне стало не очень важно знать, "который теперь час". Итак, трофейная перина, набитая нежнейшим гусиным пухом, предназначалась для того, чтобы выспаться, наконец, после четырех лет окопных нар. А часы – чтобы все-таки, несмотря ни на что, проснуться и жить дальше. Даже если во сне ты виделся с двумя маленькими дочками – одной пятилетней, а другой полугодовалой – и с женой, и с отцом и матерью. И совсем не хочется прерывать этот сон, с его страш-

ным продолжением в жизни – с гетто, душегубкой, расстрелом. Никого не осталось. Один. Жив только яблочный сад из его детства по ту сторону Двины. Но он туда никогда не больше войдет…

Вспоминать папа не любил, и о том, что произошло с его семьей во время войны, не он мне рассказал, а мама, а потом, более подробно, его родная сестра, тетя Рая. Да, не вспоминал и не рассказывал, но, когда я лет в четырнадцать, с разрешения мамы, остригла косу и сделала короткую стрижку, папа, увидев меня, оторопел, разозлился: "Уйди, я на тебя смотреть не могу!" Отвернулся и не разговаривал со мной много дней. И мама рассказала мне, что у бабушки Алты, папиной мамы, были длинные каштановые волосы, как у меня, и что когда я была совсем маленькой, папа любил меня причесывать – быть может, единственный уголек из прошлого, который согревал его. Но какое дело мне было тогда до бабушки, которой я никогда не видела, и до папиных переживаний. У меня были свои, мне жутко хотелось походить на венгерскую актрису Мари Теречек из только что вышедшего на экраны фильма "Сорванец" – короткая стрижка, комбинезон, эдакая боевая и самостоятельная девушка-мальчик.

Папы были не у всех. Но детям нашего двора повезло. "А вот мой папа…", и дальше шли рассказы об отцовских подвигах. Как же я была счастлива, когда однажды увидела, совершенно случайно, что мой папа вынул зубы изо рта. Он поймал мой оторопелый и восторженный взгляд, и почему-то быстро отвернулся.

– Папа, покажи, как ты это делаешь? А как это? Покажи, ну покажи, ну, пожалуйста! Ну, только один раз! Это такой фокус? Да?

Я, кажется, спасла его.

– Да, это фокус, А про фокусы, про то, как они делаются, никогда не рассказывают. Это тайна.

И я решила, что мой папа – фокусник.

Во дворе мне никто не поверил. Я клялась и божилась. До слез. Моя компания заглядывала и совала руки в рот друг к другу – все попытки вынуть у кого-либо челюсть провалились. Меня осмеяли. А Вовка-китаец заметил: "Зубы не вынимают, а выбивают, или вырывают. Хочешь попробовать?"

Я оскорбилась. Я обиделась. На всех. И на папу. И на реакцию моих домашних. А самое главное, папа смеялся и ничего не говорил, только пожимал плечами, когда я напомнила ему наш разговор о фокуснике. Я сказала правду. Я это видела собственными глазами! Всего один раз, но видела!

О, если бы я знала тогда, что сказать правду вовсе не означает быть честным. И что не надо обижаться, если в ответ тебя осмеют: правда – дело тонкое. И что замечание про выбитые зубы – не просто детская шутка, а вполне взрослое предупреждение. Но я родилась под созвездием Близнецов. Близнецы – известные болтуны, они не могут держать язык за зубами, их несет. И спасает только то, что они еще и плуты вдобавок, что не только болтают, но и убалтывают. Шахерезада родилась под этим созвездием. И барон Мюнхгаузен. И Пушкин. Но ему не повезло – не уболтал.

Дома меня постоянно учили: говорить правду! И учили: не болтать. А в итоге окончательно запутали. Все дети от рождения выдумщики, фантазируют, хвастаются – в общем, врут, что делать? Иначе им не выжить – все хотят, чтобы их либо заметили, наконец, и выделили, обласкали и похвалили…

…Либо, чтобы, наконец, оставили в покое.

– Ты куда на ночь глядя?

– В баркесу!

– Писай в кладовке.

– Я уже большая.

Просто дома скучно. Еще не совсем темно. Я погуляю, Я посмотрю, кто во дворе. Я проверю "секрет". Я, наконец, просто побуду одна! Что такого?

Я выхожу. Но кто ж это отпустит меня одну в такое время в столь опасное путешествие? "Я вижу тебя насквозь и глубже!" – говорил обычно папа, когда мне так важно было соврать. Предупреждение срабатывало – если бы я действительно соврала – было бы хуже.

Я бреду по тропе. Папа провожает меня. До самой деревянной двери. Зажигает папиросу. Я набрасываю крючок и остаюсь, наконец, одна в темной уборной.

Я этого хотела?

Папа, после работы и ужина, бывало, брал меня с собой прогуляться. Место, которое мы посещали довольно часто, нельзя было назвать детской площадкой. Но он почему-то об этом не задумывался, а мне там нравилось. Это случалось, когда он возвращался с работы в добром расположении духа, умывался, переодевался, и я, как собачка, заглядывая в глаза и подпрыгивая от радости, бежала к нему: "А что мне надеть?", потом

к бабушке, просила меня принарядить. Бабушка при этом поджимала губы, ей все было ясно, но она не считала себя вправе вмешиваться.

Мы проходили через двор, дружно взявшись за руки, я бы ни на какую игру не променяла нашу прогулку, и, довольная собой: "Мы с папой идем гулять!", на глазах у завистливой стайки подружек, переступала черту двора. Подворотня выпускала нас на улицу Суворова, при переходе которой папа сжимал мою ладошку сильнее: "Всегда внимательно смотри на дорогу, когда переходишь. Здесь спуск – машинам, особенно грузовикам, трудно тормозить. Ты поняла?"

Я, конечно, все поняла. Не стану же я ему рассказывать, что, уже тренированная игрой под названием "на вшивость", наша компания постоянно испытывает друг друга и держит в форме. Происходило это так: убедившись, что старшие заняты своим делами и никто из них не маячит в окне, мы выходили из подворотни на тротуар и, дождавшись приближающегося грузовика, подпустив его поближе, смело бросались наперерез. Нам вслед летела автоматная очередь мата, мы успевали увидеть перекошенное от испуга лицо водителя, и это вызывало особый восторг. Папа прав, водители здесь не останавливались, и мы возвращались на исходную точку, довольные собой: "вшивых" не было.

Итак, мы с папой переходили улицу великого русского полководца, и, поднявшись к северо-западному углу ратуши, обогнув его, двигались по маленькой улочке Маяковского в направлении улицы Ленина. Шли мы минут пять, но за это время папа узнавал, какой хорошей я была сегодня в детском саду, что ела на завтрак, обед и полдник. Мы подходили к северо-восточному крылу ратуши, где находилось несколько магазинчиков, а на углу – три ступеньки вверх – пивная Пальмана. Это и была конечная точка прогулки.

Маленькая пивная на пять-семь мраморных столиков пользовалась популярностью у местных мужчин. Разрядка после заводского гудка народу была необходима. Те, кому не шло "на троих" на лавке в садике Ленина, или "за углом", или во дворе на виду у соседок, кто не торопился "залить" какую-нибудь неприятность, или просто утолить жажду, шли к Пальману на "пару пива". Вокруг каждой стойки занимали места сплоченные группки человек по пять – больше не вмещалось. Такое братство я помню только в Ленинградском "Сайгоне", где вольный молодой народ, кучкуясь у таких же стоек, курил, тянул "автоматный" жидковатый кофе и болтал, болтал, болтал…

У Пальмана царило единение, все здоровались друг с другом, угощали "Беломор-каналом", "Примой", воблой. Под потолком висело плотное облако дыма, одинокая лампочка мерцала в нем, подобно звезде в туче.

У прилавка, за которым сам Пальман в белой куртке закачивал из огромной дубовой бочки вожделенный нектар в граненые пол-литровые кружки, топтались посланцы от столиков, и кружки эти с сугробами пены проплывали над головами и опускались на указанные места. Вслед за ними туда же припархивали тарелки с бутербродами с селедочкой, сыром, или тушки вареных кроликов. Мраморная стойка имела две столешницы. Верхняя – для пап, а нижняя, видимо, для детей вроде меня – так, во всяком случае, мне казалось. Детей, правда, было немного, но всегда кто-нибудь составлял мне компанию, и мы вместе воодушевленно поедали папиного кролика, кусочки воблы, или – иногда – бутербродики с черной икрой, милостиво спущенные сверху. Отцы семейств брали своих отпрысков с собой, когда не с кем было оставить дома – мамы работали во вторую смену, давали пятилетку в четыре года. Здесь мы, детсадовские, здоровались, как взрослые: за руку, образовался некий закрытый детский клуб посвященных.

Никогда нам не было скучно или некомфортно в этом душном, гудящем басами полутемном помещении. Наоборот, мы блаженствовали у родительских колен. Наверху за столиками загрузка шла полным ходом, а мы пировали внизу, обменивались фантиками, монетками, пустыми гильзами. Разговоры взрослых прерывались иногда папиным "ш-ш-ш-ш!" – это означало, что кто-то по-пьяни съехал на неформальную лексику, и тогда уши наши сами собой навострялись в ожидании уловить что-нибудь интересное. Мы переглядывались, понимающе хихикали и пытались предположить, что было сказано. Ох, что мы там произносили! Если бы знал бедный мой папа, он бы не прерывал своих товарищей, а выволок бы меня на улицу, доставил бы домой и выпорол. Но он так и не узнал, и это была моя маленькая победа.

О посещении пивной Пальмана я, помню, никому не рассказывала, что-то мешало хвастаться перед той же Веркой. Может быть, улавливая какие-

то разговоры взрослых, я угадывала отношение к подобным местам в тогдашнем списке развлечений "приличных" людей. В родительских перепалках звучали имена и фамилии папиных коллег, о которых мама ультимативно заявляла: "Я не желаю видеть их рядом с тобой", а мне очень хотелась понять, чем же эти дяди так нехороши? Они всегда улыбались мне, гладили по голове, говорили папе: "похожа на тебя, как две капли воды", угощали леденцами и воблой. Мне они нравились – все они были веселые и разговорчивые. Однажды мама громко объяснила папе причину своего нежелания видеть "их": "Потому что они умеют пить, а ты – нет!" Папа отреагировал нервно: ушел из дома – видимо, в ту же пивную. А я спросила маму, почему она думает, что папа не умеет пить? Кто вообще не умеет пить? Даже я умею! Даже Адка! (Она как раз только научилась самостоятельно держать кружку). Мама внимательно глянула на меня, как будто первый раз увидела, закусила губу, отвернулась и расхохоталась.

Много позже я поняла, что "уметь пить" – это действительно надо уметь. Вот советские разведчики в советских фильмах вели себя после выпивки так, как хотелось моей маме: бутылка водки – и ни в одном глазу! А в жизни все мужчины страдали и каялись, каялись и напивались. К нам в гости иногда приходила странная пара. Самоотверженная и любящая жена всячески старалась спасти от перепоя своего мужа. Во время застолий садилась только рядом с ним, и пока гости произносили тосты и чокались, она быстренько заглатывала содержимое своей рюмки, а когда рука мужа зависала в воздухе, чтобы, как положено, чокнуться, она ее так аккуратненько наклоняла и половину отливала себе. Финал был всегда похожим – когда эта тетя после праздничного ужина, встав из-за стола и надев шляпку, направлялась в баркесу, то непременно валилась где-нибудь по дороге и что-нибудь себе разбивала – то скулу, то колено, то локоть. Ее потом всем двором поднимали, водружали на прическу помятый головной убор и вели к расстроенному мужу, а она, рыдая, говорила ему: "Как я рада, Гена, что это случилось не с тобой!"

Моя мама гордо констатировала: "А я так не могу!"

Прогулки с папой в наше любимое заведение закончились неожиданно драматично.

Однажды – это было незадолго до Нового года – сугробов навалило выше колен, их вносили на валенках прямо к Пальману, где они быстро превращались в лужи. В одной из таких луж мы втроем радостно топтались, когда на нижнюю столешницу спустили сверху пару кружек пива – над нами праздновали прибытие копченого леща таких размеров, что столик пришлось слегка расчистить. Лещ этот и нам достался, и оказалось, что с холодным "пивком" он несравнимо вкуснее. Одну кружку мы довольно быстро осушили. Вторую просто не успели – чья-то рука подняла ее наверх. Нам было так весело и хорошо, что…

Впрочем, я этого уже не помню. О том, что случилось потом, мне рассказывала мама. А произошло следующее.

Прикончив леща и "пару" пива, папа со мной и друзьями направился в сторону нашего двора в ближайший сортир, т.е. в нашу баркесу. Меня, как обычно, он подвел к подъезду со словами: "Скажи маме: я скоро…"

– Дверь открывается, и входишь ты. Веселая-а-а! Ты пела песни, танцевала, кружилась, потом вдруг повалилась под стол и тут же уснула. А утром – температура 40! Вызвали врача, оказалось – двустороннее воспаление легких, еле выходили. Я думала, я его убью, папу твоего!

Недавно мне рассказали грустную историю о бабушкиной сестре Саре, умершей в 24 года от скоротечной чахотки и оставившей сиротами троих детей – она выпила бокал холодного шампанского на каком-то званом мероприятии с танцами. Его преподнес Саре сам городской голова – это был приз "за красоту!". Бокал холодного шампанского эту красоту и убил. В начале 20-х не существовало спасительного антибиотика пенициллина, и молодую еврейскую женщину Сару, вряд ли прежде знакомую с алкогольными напитками, в порыве счастья опустошившую сосуд, не спасли. В мое же время антибиотиками шпиговали всех, кто кашлял, и холодное пиво не причинило мне смертоносного вреда.

Случай этот, однако, сильно повлиял на наши с папой отношения. Общение по дороге было хоть и коротким, но вполне задушевным. Со временем, уверена, он стал бы задавать мне вопросы не только про еду в детском саду, хотя трудно представить, *что* его могло интересовать. Но можно и молчать хорошо и дружно. Главное ведь – рядом идти. И не важно, куда. А я оказалась слабачкой, выпала из связки. Он, видимо, сильно раскаивался, что не досмотрел. Был

бы у него сын, ведь он явно мечтал о сыне… Может быть, поэтому мне всегда хотелось быть мальчиком. Впрочем, мне постоянно хотелось быть кем-нибудь другим и сразу – всеми.

Прогулки все же продолжались. Правда, по другим маршрутам.

Папа обычно вспоминается мне на фоне зимы. Позже я поняла, почему он не любил вечерами сидеть дома – ему не хватало воздуха. У него обнаружили эмфизему в легких, она медленно пожирала их. Легкие отца не выдерживали паров бензина, осевших там еще с войны, и дыма папирос "Беломорканал". Он много курил, а в тесноте нашей маленькой квартирки с закупоренными на зиму окнами это было невозможно. Отсюда и вечерние прогулки после работы. Он брал нас с Адкой в город, а уж на фоне городского пейзажа я его некурящим не помню(...)

К тому времени отец работал уже на заводе заточных станков шофером. Его карьера в издательстве завершилась в 1952-м году: "Прости, Миша! Ты же знаешь, как я ценю тебя! Я знаю, что лучшего заведующего издательством я не найду. Но я вынужден тебя уволить. Ты сам понимаешь, почему…"

Я не знаю, как папа отнесся к произошедшему, никогда мы об этом не говорили. Наверняка понимал: многих евреев тогда уволили с работы, а некоторых посадили. Слова главного редактора воспроизвела мне мама. И ситуацию обрисовала. "А что редактор мог поделать, он и так его держал до последнего, пока письмо в обком не пришло, что в стране еврейский террор, а главный редактор областной газеты товарищ Курочкин у себя Моисея Абрамовича в начальниках держит. Ну, Василию Ивановичу ничего не оставалось. Или папа, или он…"

И папа сел за баранку.

Мне нравилась, что мой папа водит такой большой – полуторатонный – грузовик. Иногда он заезжал во двор, и тогда все наши пацаны и девчонки собирались вокруг. Он всех катал. Сажал в кузов, делал круг и довозил до конца подворотни. А я держала про запас – крикнуть обидчику: "Вот расскажу про тебя моему папе, и он не покатает на машине!" Это придавало уверенности – ты все-таки чего-то стоишь, хотя бы круга по двору в кузове грузовика. И еще я была уверена, что, когда подрасту, а это случится очень скоро, может даже в следующем году, папа обязательно – так он обещал – научит водить машину, и я сяду и поеду. Куда глаза глядят. Даже за город. И быстро-быстро.

(...)Чем взрослее я становилась, тем меньше мы с папой понимали друг друга. Я вычерчивала свою траекторию жизни. Ему она не нравилось. Боялся чего-то? Не знаю. Может, я действительно была его кривым зеркалом? Мы разбежались на слишком большое расстояние и на слишком долгое время.

Сегодня я понимаю, какова цена непочтительного отношения к библейскому учению и одной из главных его заповедей: "Чти отца твоего и мать твою, дабы продлились дни твои на земле, которую Яхве, Бог твой, дает тебе." (Исх. 20:12).

Она стоит под номером пять, раньше, чем заповедь "не убий". Может быть потому, что не "чтить" – значит убить? Убить в себе. И в наказание – сократить дни свои на земле. Я сократила. В ретроспекции. И получила в отмщение обрубок дерева, которое называют генеалогическим. Я ничего не знаю о своих предках.

Общение наше состояло, как правило, из трех слов: "Как дела?" – "Нормально!"

Наказание свершилось. И наказана не только я, но и последующие поколения, от меня идущие.

Имеется слабенький оправдательный момент. Я боялась его спрашивать, зная, через какие муки он прошел и как упорно молчит об этом. Но ведь можно было напрячься и как-то аккуратно, не задевая больные точки, вызвать воспоминания, ему приятные. Я ведь профессионал.

Но этого не случилось.

Да, еще была тетушка Рая, папина родная сестра, младшая. Можно было ее поспрашивать. Но именно ее я внутренне отвергла, – тоже, значит, убила,–следуя лживой заповеди "абстрактного гуманизма". И только спустя много лет поняла, насколько была незнакома с самой собой, какими поверхностными были представления мои о выборе, о принципах, о границах между правдой и неправдой, о добре и зле.

КАМЕНЬ В ЛОБ

"Голова обвязана, кровь на рукаве". Мечта! Тайная мечта получить камнем в лоб, чтобы не слишком больно, но чтобы пошла кровь: ("след кровавый стелется по сырой траве"), но не так уж

сильно, но чтобы все ахнули, и чтобы склонились над тобой все дети двора, и их родители тоже, а особенно Валерка. Ты в центре, а все – над тобой, и санитары, и врачи со "скорой", такая вот драматическая композиция, – и тебе бы промывали и перевязывали рану, а кровь бы проступала сквозь слои бинта вокруг головы, и так бы и осталась красным пятном на белом. А все бы стояли вокруг, и мама бы тихо плакала, и бабушка, а папа стонал бы и обнимал маму и бабушку, и не ругался, а "сходил бы с ума от горя".

Такая вот безобидная, но навязчивая мечта была у меня после того, как я услышала красивую песню о Щорсе – красном командире. И еще навязчивее стала эта мечта, когда моей младшей сестре исполнилось три года, и ее выпустили, наконец, без бабушки во двор под мою ответственность, "играть здесь, под окном, и ни шагу!". И тогда с ней, с ней, – не со мной, а из-за меня – ЭТО случилось.

Короче, камень в лоб получила моя младшая сестра Адка. А я получила ремнем по заднице, и сильно, потому что папа действительно сходил с ума от горя. "А если бы в глаз! А?" – в такт взмахам широкого солдатского ремня хрипел он. Под нашими окнами сдержанно хихикала ребятня, в проеме двери мама и бабушка тихо плакали, Адка надрывно всхлипывала у мамы на плече, и на белом бинте вокруг головы чернели мокрые кудряшки – в "скорой помощи" ей наложили скобки. Небольшой след, или "метка", в самом центре лба остался у моей сестры навсегда.

Мне было больно, стыдно и обидно. Больно, потому что кожаным ремнем, сложенным вдвое, по мягкому месту – действительно очень больно. Стыдно, потому что я считала себя "уже большой", и задирать платье перед всеми, а это то, что папа сделал, чтобы освободить площадь для наказания, стыдно. А обидно – потому что я не считала себя виноватой. И обреченность, с которой выла и корчилась, пытаясь вырваться из его мощных ручищ, уничтожила желание чего-то доказывать.

Приговор обжаловать я не могла. Никогда не находила прочных слов в свою защиту. Да и не слушали бы их – родители всегда правы, всяким образом убеждая ребенка поступать как надо. Как следует. И уж они-то знают, как следует. Когда родитель бушует в отключающем мозги гневе, истязая детский зад, или просто орет, он, думаю, не догадывается что убивает еще и слова, которые ребенок с трудом подыскал для объяснения себя. Слова не выдерживают – разваливаются на слоги, на буквы, все смешивается в одно сплошное мычание, в одну гримасу разрывающей рот и душу боли. Взрослых успокаивает только придуманная ими и всаженная детям мантра: "Папочка, миленький, я больше не буду!"

А что, собственно, "не буду?"

Не буду ходить в баркесу?

Думаю, и папа не знал, чего я там "не буду", или бесился из-за того, что не может мне, ребенку, передать свой взрослый опыт осмотрительности, сделать меня "осторожной девочкой" – и никаких проблем. А может, знал, что ничего мне не передаст, подумал: "Она так похожа на меня – ужас! Война будет долгой". Ну, и влепил с горя. И правда, я запомнила на всю оставшуюся жизнь этот эпизод.

Моя война за независимость была действительно долгой. Я уже поняла, что не хочу и да не могу быть верной дурацкому "не буду". Я научилась врать, или, скажем так: не говорить правду, когда мне это было удобно. А повзрослев, говорила правду назло – все равно не поверят, да и вообще, что они мне сделают? А в шестнадцать, когда определилась в выборе собственного будущего, мне стало жаль родительских попыток что-то изменить. Появились свои учителя, я сама себе их выбрала. И один мой учитель спокойно объяснил то, о чем я, еще не умея формулировать, только догадывалась:

Быть может, прежде губ уже родился шепот
И в бездревесности кружилися листы,
А те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.

В любом случае, спасибо, папа, спасибо, мама, что, упорно сражаясь с подаренными вами наследственными дуростями, вы все же не сломили меня – хватило-таки ума и сердца.

Игорь Рабин

ВЫЙТИ С МИРОМ ИЗ ПОРОЧНОГО КРУГА

* * *

От него смолою пахнет и клеем,
У него большие, сильные руки.
Мастерит он правоверным евреям
Стулья, тумбочки и прочие штуки.
Лишь под вечер, инструменты забросив,
Он нахрипывает песни чудные...
Вот таков он, наш трудяга Иосиф.
Будет он тебе супругом, Мария!

Ты юна ещё, а парню под сорок,
Плешь сверкает, словно новое блюдце.
Он, придумав целый воз отговорок,
Всё стесняется к тебе прикоснуться.
И в сомнении смешном, неуклюжем
Он всё топчется, как гость, у порога...
Впрочем, будет он тебе славным мужем,
Он возьмёт тебя потом. После бога.

Будет всё, как накукует предтеча –
Ты подаришь миру божьего сына,
И оттянут его узкие плечи
Груз грехов людских, их мыслей мякина.
Ну, а ты затянешь пояс потуже,
Накопишь здоровья малый излишек,
И исправно нарожаешь от мужа
Кучу маленьких еврейских детишек.

Племена по всей земле, кто как может,
Ещё долго будут квасить друг друга.
Век настанет, и твой сын им поможет
Выйти с миром из порочного круга.
Станет люб он вдруг как тем, так и этим,
Но от рук его приверженцев ярых
Испытают твои младшие дети
То, что старший не видал и в кошмарах.

Небо звёзды зажигает и гасит,
Разбрелись по всей земле иностранцы,
А ровесницы твои губки красят
И спешат беспечной стайкой на танцы.
Только что тебе безверье, что вера,
У тебя заботы вечно земные –
В чреве ножками сучит Наша Эра...
Пусть же сладок будет сон твой, Мария!

* * *

Если б были мы с тобою проще,
Мы бы виделись с тобою чаще.
Мы б часами целовались в роще,
Мы бы сутками резвились в чаще.
Солнце свет бы нам дарило лично,
Разорвав броню стальную тучи,
Нас петух с утра будил бы зычно,
Иль молчал бы, что, пожалуй, лучше.
Ах, мечты, хмельная ваша сладость
Нездоровое рождает пренье.
И в подкорки заползает слабость,
Вызывая мозга ожиренье.
И тогда лишь самодисциплина
Нам скатиться не позволит в пропасть,
Исцелит от мрачных снов и сплина,
И пропеллера завертит лопасть.
И доверим мы случайным людям
Нашей жизни проставлять оценки.
Из молочных рек стыдливо будем
Собирать пузырчатые пенки.
Век бежать во тьме тоннелем длинным,
Как подачки, жаждать одобренья,
Измерять себя чужим аршином
И считать отвагой нетерпенье.

То одна причина, то другая,–
Жизнь крадут у нас по пунктам разным.
Простоты, как сглаза, избегая,
Мы в законном воровстве завязнем,
Чтоб всю жизнь, пока земля нас носит,
Жить по плану – для того и чтобы,
А любовь сама коньки отбросит
От взаимно-справедливой злобы.
И гляди – душа пуста, хоть свистни,
И уже все уши просвистела.
Можно б спрятаться за дело жизни,
Только разве есть у жизни дело?
Не молился б на чужие мощи –
Не прошляпил бы тебя в толпе я,
Если б сам я был немного проще,
Даже если и чуть-чуть глупее.
Если б были мы с тобою проще,
Мы бы виделись с тобою чаще...

* * *

Вы не смотрите, что бреду я, словно зомби,
И обхожу красивых женщин стороной,
Но я недавно подорвался на секс-бомбе
И был сметён её ударною волной.

Я был влюблён, и это был серьёзный фактор,
Мне так хотелось, чтоб она со мной была,
И я задумал превратить её в реактор,
В источник доброго и долгого тепла.

То раболепствуя пред ней, то кроя матом,
Я проводки втыкал, да, видно, не туда.
Её душа не принимала мирный атом,
И мой запал сгорал без всякого следа.

Мы с ней расстались некрасиво и не тонко,
Всё оборвалось в оглушающей тиши,
И только чёрная осталась секс-воронка
На месте некогда восторженной души.

Броню, красавицы, наденьте под футболки,
Ведь я ещё не излечился до конца,
Куда б ни брёл я, вслед за мной летят осколки
И больно ранят неприкрытые сердца.

Что жизнь готовит мне – надежду иль афёру?
Любовный трепет или треск фальшивых фраз?
Одно лишь радует, что в жизни секс-сапёру
Дана возможность ошибаться много раз.

* * *

Дребезжит струна, и в этих робких звуках
Растворяется и тонет жизни нить...
Я от скромности умру в жестоких муках,
И никто меня не сможет исцелить.

Миллионы я не сделаю на мыле,
И в романе не восславлю свою грусть.
Не взлечу я ввысь на рукодельных крыльях,
И, домой летя, – о нет, не разобьюсь.

Пусть труды мои не выйдут из печати
И рельеф мой не налепят на стене –
Полстакана, полтарелки, полкровати –
Что ещё на этом свете нужно мне?

Широка страна, хоть не моя родная,
А весь мир, коль приглядеться, всё же мал!
Я от скромности в мученьях умираю –
Вы простите, если что не так сказал.

* * *

Было утро, и птицы, наглея,
Начинали лихой перезвон.
Вы проснулись на крышке Стейнвея,
Потревожив и мой чуткий сон.

Крепатура в натруженных пальцах,
От педалей устала нога...
Кто узнает в печальных страдальцах
Нас, влюблённых? Никто. Ни фига!

А ведь всё начиналось лирично,
Я в кусты вас унёс, сдёрнул шаль, –
Но в кустах тех стоял горемычно
Кем-то в спешке забытый рояль.

И в каком-то шизовом бедламе,
Мы, в плену непонятной тоски,
Нет чтоб попросту слиться телами –
Заиграли в четыре руки.

Так вся ночь и прошла. С ней – охота,
И романс, и любовь. Как ни жаль...
Отряхнусь – и пойду на работу,
Элегантный, как чёртов рояль.

ПЕСНЯ СТАРОГО ПСА

Саше Зевелёву

Отгорает шерсти цвет
От былых сражений
И от доблестных побед,
И от поражений,
Вспомнишь старые дела –
И светло, и жутко,
Но уютна и тепла
Старенькая будка.

Так зачем свою судьбу
Проклинаем сдуру?
Наше дело – лезть в борьбу
За чужую шкуру.
И не знает добрый пёс
Ни забот, ни таин –
Лишь единственный вопрос:
Кто же мой хозяин?

А хозяина гнетут
Сложные задачи:
Продадут, не продадут,
И дадут ли сдачи?
Он, прикрыв ладошкой рот,
Думать и не смеет –
Что там завтра запоёт
Тот, кто им владеет?

Ну а пёс, пустив струю,
Дремлет на террасе,
Кости ест всю жизнь свою,
И грустит о мясе.
Обучаясь на медаль
Всяким новым трюкам,
Он несёт свою печаль
Разношерстным сукам.

Будет время кости грызть –
Сгложем, не моргая.
Кто сказал – собачья жизнь?
Разве есть другая?
Но чтоб больше нам с тобой
Не скулить под лавкой,
В ночь выходим на разбой!
... А теперь – не гавкай!

Алексей Нестеров

НЕ МОЯ ВИНА. НЕ МОЕ ВИНО

* * *

Мы создаем слова и ими дышим,
Творим добро, не веруя в добро.
Мы здесь одни, другие просто вышли
И разошлись по линиям метро.
Подобно ветру вечное скитанье.
Совпало время. Все сбылось.
И точное, вслепую попаданье
В конец строки,
Где должен быть вопрос.

* * *

Мое мнение, знаете, недосягаемо
в смысле познания вечности.
Забег длиною в тысячу фраз
заканчивается вечером.
На корточках или четвереньках. Неважно.
Главное, дважды прочитанное,
уже чем-то походит на мантру.
Рисуя тени, не забывай про лампу.
Каждое воспоминание, словно камень в колодце.
Пока не вычерпаешь воду, не поймешь,
что только на самом дне
можно, не щурясь, смотреть на солнце.
Как суть вещи, оставаясь внутри,
быть обращенным вовне.

* * *

Йод. Февраль холоднее марта. Грязь.
Смерть мухи на стекле. Обращение слова в звук.
Ямб. Обращение звука в вязь. Кто.
Ты. За стеклом стена, на стене окно.
Не моя вина. Не мое вино.
Твое лицо.
Уже давно.
Манит меня даль своим концом.
Глубина дном.
Днем пойду по дороге.
Многие за моей спиной, ко мне спиной.
Я туда, где года, вода, Боги.
Вы куда? Домой.

* * *

Ландыши.
Кто увидел, тот потерял. Частичку себя.
Зиму, что ждали.
Сажнями в эхе солнце сверкает,
все склоны отмеряв тенями,
с любовью роняя тепло, доедая
дерзкую сладость снегов.
Светлой улыбкой зима завязала шнурки,
волосы за ухом спрятав,
растаяла в лужах брызгами света,
прохожих, блеснув, окропив.
Кто вы?
Духи конфет. Шоколадные призраки.
Ангелы сока. Принцессы сахарной ваты.
Вижу в стекле, в зазеркалье хрустальных витрин,
лики людей,
удивленных своей первозданной
свободой к полетам.
В куртках весенних и платьях,
что ярче коралловых рыб.
Если с мечтою расстаться, то лучше весною.
Листьев дождаться.
И в лето нырнув, замереть…

Алла Ходос

ДЕРЕВЯННАЯ ОДА

* * *

Исторический архив.
Лампы старого фасона.
В зале холодно и сонно.
Архивариус ленив.
Вся история темна.
Я б отсюда отпросилась.
Но кругом земля и сырость,
и такая желтизна,
словно осень всех усопших
и убитых подошла.
Лысых писарей усохших
съели пухлые дела...
Но гудят колокола
возле виселиц и плах
каждой площади уездной.
«Господи, какие бездны!» —
карандашик на полях.
В лихорадке и экстазе
чьё-то резкое перо:
«Сколько неба —
столько грязи».
Слышно, как летит метро.
Слишком весело и гулко,
многолюдно и легко
под землёю переулка
с магазином «Молоко».
А вдали редеет мгла.
Вдруг взмахнут листами клёны
бывшей площади казнённых —
и опять колокола...

* * *

1

Если направо пойдешь — не дойдешь.
Если налево — умрёшь, но не сразу.
Прямо посмотришь: в ноябрьскую дрожь
войско восстанет, покорное глазу.
Газа глотнет, чтобы брать города.
Тихо пройдет, подчиняясь приказу.
Двинется вспять и потом, как вода,
вширь потечет, повинуясь экстазу.

Станешь тогда: ни туда, ни сюда.
В очи пихая свинцовые тучи.
Точка рождения — это беда.
Милые, да. И бессмысленный случай.

2

Только зачем она так хороша,
точка рождения в море простора?
Даже из шушенского шалаша —
скажешь: «Шалишь, не видал ни шиша», —
тоже смотрел очарованным взором.

Взор помутнел. Набегает слеза.
Душит надежда под звуки парада.
То просвистит, то поляжет лоза,
всё зелена и полна винограда.

* * *

О, Совь Великая![1] Закрой глаза в ночи!
Усни, Лубянка, спите, стукачи...
Кусок истории больной к душе прирос.
Бессонна ночь, суха,
не просит слёз.
Умолкли все. Уже молчит Иов.
Такая боль не произносит слов.
И только тихо кошечка у ног
урчит, тепла нечаянный комок.

---

[1] «Совь Великая» — название книги М. Эпштейна.

ДЕРЕВЯННАЯ ОДА

Стоите, пышные дровишки,
на утрамбованной землишке!
И вы, кургузые малышки,
подъяли лапки, как мартышки.
Я знала вас, пышнозеленых,
морозцем северным каленых,
и в желтизне осенней чащи
слыхала вальса звук летящий.

Порой на помертвелой ветке
висели кушаний объедки, –
то мы зимующих пернатых,
вселенским ужасом объятых,
кормили из семейной сетки.
Довольны были наши детки.
А летом – счастье для дитяти–
взять острый ножик и строгати.

Ещё я помню: вас сплавляли
по Енисею. Вас вгоняли
в каркасы стен и утлых лодок.
Вас чурка к чурке подгоняли.
Вы парой стоптанных колодок
в шкафу у прадеда стояли.
А иногда я вспоминаю,
как дружно вас ломали к маю.

О, вы всегда годились в дело!
Я вам в глаза глядеть не смела.
Я поняла, что для Марины
соблазном были ваши спины.
Чем век мрачней и беспощадней,
тем сук прочней и тень отрадней.
Так сладко роща верещала:
то не прощала, то прощала...

В век косяков и перекладин
есть шум дубрав, будь он неладен!
Недаром, после вакханалий
на ель навешали медалей:
печатных пряников, хлопушек.
И звездный дождь стекал с верхушек.

* * *

Гляжу в себя, потом в окно –
Сплошная маета.
Кругом темно, темно, темно, –
Не видно ни черта.
Сосед фонарик не зажжет.
Он молча ждет воров,
И батарейки бережет,
И не вполне здоров.
И тонкий нос его дрожит
Под тяжестью очков,
Когда он ветку тормошит,
И давит светлячков.

Я из безгласных, из невежд...
Я – точка на листе.
(О, только б не питать надежд
И видеть в темноте!)
Одна в глубоком ноябре,
И Богу не видна.
Сырая глина на дворе.
Лепи же, тишина.

* * *

Когда в тупик впадали переулки,
мой город спал, прохладен и суров.
Лишь гром взлетал,
рассеянный и гулкий,
над скопищем темнеющих дворов.
Но ливень смял
ограды и пространства,
прижал к земле
усталые дома,
и маленькая молния погасла,
едва ли осознав себя сама.

А город был бревенчатый и влажный.
И думал иногда, что можно, да,
ну хоть не навсегда, — родиться дважды,
и дважды умереть не навсегда.

* * *

Я весь вечер бродила по городу,
Неродному, но милому мне.
Мне казалось, что видела смолоду
Эти пальмы в закатном огне.
Двадцать лет ли, столетий ли минуло, –
Чьи глаза продолжают смотреть
На родное, по-новому милое?
И закат не успел догореть.

Алла Ходос

ЛУЖА

Вообще-то с квартиркой нам повезло. Если бы, конечно, не лужа у входа. Лужа крови. Квартиры в Америке растут в цене, а эта еще не самая дорогая. Но очень хорошая. Летом прохладно, а зимой не холодно. В столовой всегда мягкий полумрак, а спальня залита солнцем. К спальне примыкает балкон, на котором мы сушим сырье и разводим мини-розы. Большая стеклянная дверь столовой выходит на патио. Вдоль дорожек во дворе растут маленькие пышноголовые пальмы в кадках. Кругом множество таких же квартир, расположенных на разных ярусах. Перед нашей к тому же бьет фонтан. Его и в дождь забывают выключить. Поток небесный с силой обрушивается вниз, а навстречу ему, упрямо и расточительно, взмывает фонтан.

Все бы хорошо. Вот только тараканы. Приходил дезинсектор, из специальной канистры разливал что-то ядовитое по всем углам, – нам в этой химии обитать было противно, а коту вредно. Тараканы немного попритихли – и вновь ползать. Мы тогда стали ежевечерне обильно пудрить пол и мебель борной кислотой. Через два месяца всех насекомых повывели. Этот мужик иногда все еще ходит вокруг дома анонимно и производит профилактику. В такие дни мы кота не выпускаем.

Живем мы с моей партнершей Гейл очень хорошо, душа в душу. Обе работаем на ЭТСИ, что означает Это Твое Смелое Искусство. Если кто не знает – это сайт такой, с которого мы продаем свои работы. Заказываем заготовки одинаковых деревянных куколок в Перу, таких, знаете, на штырьке, чтобы торт украшать. Потом рисуем им одежду и продаем через ЭТСИ. Изготавливаем также украшения для дома из шишек и коряг. Нас регулярно навещают друзья из гей-комьюнити и натуралы. С нами дружат даже художник и художница, настоящие. Им нравятся не только наши поделки, но и наше общество. Нам тоже: и люди приятные, и рисуют классно.

Тут я вроде как объясняю вам ситуацию, а на самом деле тяну время. И в этом вся моя натура, вы сами убедитесь. Не так уж приятно вам рассказывать об этой луже. Значит, однажды днем Гейл сидит, приоткрыв дверь патио, и рисует прически на кукольных лысинках. Вдруг она говорит: «Рэчел, со второго этажа, с балкона, что-то капает. Металлический запах. Похоже, кровь». Старается говорить спокойно. Тут и я вижу. Лужа, а в ней какие-то куски и ошметки. Но я ведь знаю, что этот тип, тараканщик, повсюду рыскает, вот он, может, там наверху свою канистру с отравой и опрокинул. Объясняю это Гейл.

– А внутри куски размокших бумажных полотенец, которыми он хотел, да не успел все вытереть, – добавляю.

Она спрашивает:

– А почему жидкость красная?

– Чтобы тараканов раздражать, – говорю.

– Это же не быки, – возражает Гейл.

Я не спорю, потому что в нервных реакциях тараканов не очень разбираюсь. Гэйл, напротив, училась в медицинской школе, зоологию и, возможно, тараканологию изучала как общеобразовательные предметы. Хотя, встретив меня, она испытала потрясение, утратила мотивацию и оставила учебу, но по-прежнему никогда от страшного или неприятного не прячется. Вот она и говорит: «Это или желудочное кровотечение, или там аборт кто-то сделал». И сразу – принимать меры. С разбегу перепрыгнула через лужу, растущую у нас на глазах, и – к менеджеру. У нас в комплексе есть и менеджер, и ассистент, и три его помощника, назначенные ремонтировать и убирать. Вселившись, мы сразу решили, что очень им доверяем. Менеджер – женщина, одинокая, сухая и порядочная. Ассистент – любознательный и веселый молодой человек. Помощники – семейные, работящие мужчины. Менеджер и ассистент нам мебель продали за бесценок из пустующей квартиры-модели и даже старый холодильник потом поменять обещали. По именам нас знают, корректно выбирают тему для разговора: говорят в основном о погоде на сегодня, поздравляют с праздниками, но никогда не уточняют, с

какими именно. Профессионалы, одним словом.

Гейл, конечно, кроссовкой в лужу нечаянно наступила, и я расстроилась: мало ли какая зараза там содержится. К тому времени это вещество забрызгало стену, стеклянную дверь и сетку от мух. Я стою столбом и смотрю. Вообще-то – похоже на кровь. Гейл возвращается и говорит: «Они до конца не поверили, говорят: наверное, что-то другое, но сейчас подошлют ассистента». Проходит, может, три минуты, а, может, десять. Гейл, не выдержав, еще раз перепрыгивает через лужу, торопится им напомнить. Наконец приходит ассистент. Что-то в последнее время он успел мне разонравиться. Накачанный, походка вразвалочку, шутки неуместные. У меня однажды сработала система противопожарной безопасности, так, без всякой причины. Гудит, хоть беги, вот я и побежала за помощью в офис. Приходит ассистент и хладнокровно передвигает коробку с кукурузными хлопьями на стойке. Сразу перестало гудеть. Оказывается, я, когда убирала, коробку нечаянно к кнопке сигнализации придвинула. С тех пор как он меня ни увидит, все смеется заговорщически или дверь в комплекс передо мной предупредительно распахивает. Один раз даже спросил: «Когда позовешь хлопья кушать?» – не понимая, что, задавая такой нетактичный вопрос, он рискует должностью. Но я старалась не обращать на него внимания.

И вот он, наконец, приходит. Видит лужу и берет телефон. Я даже сквозь стеклянную дверь слышу, как он четким голосом говорит в телефон: «Здесь кого-то убили или что-то умирает». Я прирастаю к полу и продолжаю смотреть в лужу. Ни слуху, ни зрению своим не верю. Тут сама менеджер, наконец, пожаловала: глаза делает круглые, а нос воротит. И начинает медленно подниматься на второй этаж. И сразу так же медленно с него спускаться. Отрешенно глядя вдаль. Гейл в это время как раз должна уйти на встречу с нашим заказчиком. Мы с ней, конечно, на телефоне.

Я иду в спальню и говорю Гейл в телефон:

– Это Кафка.

– Или Кристи, – отвечает Гейл. – Они зашли в квартиру?

– Отсюда не видно, – отвечаю.

– А полицию вызвали?

Телефон выскальзывает из моей руки и, упав, разлетается на части. Я его поднимаю, вставляю батарейку, закрываю крышку и направляюсь к окну спальни – проверить, не стоит ли полицейская машина на парковке. Наш дом расположен на холме, поэтому спальня на уровне второго этажа находится. Машины нет, зато жильцы паркуют свои автомобили, возвратившись с работы. Тут вижу – ассистент и все его помощники передислоцировались: как раз под моим балконом стоят – конечно, от греха подальше, к людям поближе. Осторожно открываю балконную дверь, чтобы кот не выбежал, и спрашиваю у них:

– Вы зашли в квартиру?

– Мы не имеем права, – говорит ассистент. – Наверное, это собака. Но, может, и нет. Мы позвонили владельцу, он приедет через пару минут.

Я все это рассказываю Гейл и спрашиваю у нее:

– Владельцу всего нашего жилого комплекса, что ли? Зачем ему звонить? Или жильцу сверху? Но какой же он владелец?

Гейл, умница, сразу понимает: «Владельцу собаки!» Ну да, конечно. Тогда я распахиваю балкон и выкрикиваю следующий вопрос:

– А этот владелец там один живет?

– Да, но мы ведь не знаем, кто мог к нему прийти, – отвечает мой знакомый.

– А полицию уже вызвали?

А он опять повторяет:

– Владелец будет через одну-две минуты.

– Гейл, он только о владельце талдычит, – говорю в телефон.

– А зачем им хлопоты. Полиция сразу дверь взломает. Им потом ремонтировать. А владелец собаки откроет своим ключом, – объясняет Гейл.

Тут у меня на балконе что-то мяукнуло. Смотрю, это наш кот нервно вжался в просвет между полом балкона и его стенкой. Наполовину

он уже висит над бездной. Я, не раздумывая, тяну за оставшуюся половину и втягиваю кота внутрь. Он запрыгивает на кресло и сразу же укладывается спать.

Между тем с начала лужи прошло уже пятнадцать минут, а может быть, и полчаса. Кровь стала капать реже. Гейл на связи. Тут я не помню, кто первый сказал, то ли я, то ли она, но мы точно подумали это в одно время. Такие совпадения у нас нередки. В общем, вы понимаете, что мы подумали. Что надо вызвать полицию, наконец! И тут я ее вызываю. Я сразу перезваниваю Гейл и сообщаю: «Вызвала. Кажется, капает меньше. Наверное, этот человек уже умер. Ты, дорогая, можешь теперь меня бросить. Ведь я – подонок». Она, помолчав минуту, кричит в телефон, что я дура, и что она меня любит.

Я смотрю во двор. Мимо патио проходит некто коренастый в комбинезоне и красной майке. Наверное, это приехал, наконец, жилец сверху. Потом вижу, как помощники ассистента приносят шланг, рулон бумаги и ведерко с мыльным раствором. Понимаю: сейчас все смоют, как будто ничего и не было. Гейл опять звонит. Я говорю ей: «Полицейские уже выехали. Но менеджер и ее команда заметают следы. Я думаю, это убийство или самоубийство». Гейл отвечает: «Эта менеджер мне всегда не нравилась. Когда с ней говоришь, она смотрит тебе в глаза, улыбается, а потом отходит в сторону и сплевывает в салфетку, будто подавилась. Разговором». «Да, говорю, ты права. Гейл... Если это собака, ты меня, пожалуйста, прости». «А ты меня, – говорит Гейл. – Хотя и собаку жалко». Я смотрю во двор. Пальмы качают пышнолистыми головами. Какая-то мелкая, не свойственная здешнему климату морось окутывает их невысокие стволы. Тот, в красной рубахе, поворачивается спиной, сзади на рубашке написано: «Полиция». Значит, вот он кто! Просто оделся поудобнее! Появляются еще двое полицейских, в форме, как положено. И как раз сейчас помощники ассистента берут шланг и начинают мыть. «Это собака?» – кричу я, перекрикивая шум воды. «О да, – отвечает один из работников. – Собака скончалась». Я вижу розовые брызги, потом белые и, наконец, золотые, – солнце играет. Рядом с временным фонтаном бьет постоянный, неэкономно и беспечно. Через минуту все чисто. Я звоню Гейл и говорю: «Это собака, Гейл!» Помолчав, она спрашивает: «Как это больную собаку держали на балконе?» Но нам обеим понятно: чтоб квартиру не запачкать.

Я говорю Гейл: «Это бог меня предостерег – если что такое впредь случится, надо сразу вызывать полицию». «Мы же не верим в бога», – отвечает Гейл. «Ты права», – поддакиваю я ей, боясь поднять глаза; а то вдруг взгляну нечаянно в небеса, мало ли что тогда? Одно знаю: мне лучше с нею, чем с богом.

С этой мыслью я ложусь на кушетку лицом к стене. Мир недобр. Мы с Гейл об этом знаем. Опять он уничтожил какое-то существо. Вот она: молодая женщина на односпальной кровати застыла, будто мраморная; мелкий рисунок на простынях, какие-то значки или цветочки, наплывет красное; нет не цветочки, циферки, колонки цифр на бумажном полотне, на нем лежит красивый мужчина, это из дырки в его голове хлещет. Рядом, у ног его, захлебывается собака. Двое в масках и перчатках скользят вниз по водопроводной трубе, на каждом куски промокшей ткани, капли стекают на патио, убийцы держат пистолеты над головами: то ли берегут оружие, то ли сдаются. Нет, мне не страшно. Просто я себя чувствую какой-то недостреленной. Когда Гейл прыгала через лужу крови, наверху могли сидеть убийцы. Я предствляю, как, увидев первые капли, я стремглав бросаюсь на втрой этаж и, получив две-три бесшумные пули, умираю на месте. К сожалению, никому не успев помочь. Зато себя не замарав. Тогда Гейл спокойно, то есть, что это я говорю... немедленно вызывает полицию, а то, тот или та, которое (-ый,-ая) умирает, еще может быть спасено (-н,-а).

Генри Эпштейн

БИЛЕТ НА ОДИН СЕЗОН

Перевод с английского
Марины Золотаревской

На случай, если тебе надоел гостиничный номер: мой дом в Мейне в это время года пустует. Находится он на острове Монхиган, вблизи южного побережья. Добраться туда можно единственным способом – на почтовом катере, который отходит из гавани раз в день, в полдень. Как сойдешь с катера, ярдах в ста от причала увидишь магазинчик. Спросишь дорогу к дому у любого, кто там окажется за прилавком. Скажи только, что ты моя кузина. Ключ тебе не понадобится, дверь не заперта. Для тебя приготовят чистое постельное бельё и полотенца. Я договорился с одной женщиной из местных, чтобы она раз в неделю приходила делать уборку, так что тебе не нужно будет и пальцем пошевелить.

Из продуктов в магазине имеются главным образом консервы, поэтому на худой конец придётся тебе пробавляться омарами. Проберешься сквозь заросли дикой малины в дальнем конце моего участка. Как выйдешь к берегу, увидишь старого рыбака: он сидит на маленькой пристани над своими ловушками. Скажешь ему, какой величины омар тебе нужен, и насколько мягким надо его сварить; старик быстренько выудит подходящий экземпляр и бросит в свой бак с кипятком, стоящий тут же. Не бойся: что бы люди ни говорили, в действительности омар при варке не испускает пронзительных криков; по крайней мере, я никогда ничего подобного не слышал. Он, голубчик, попадает в кипяток скользким и оливково-зеленым, а выходит оттуда алым, как смущённая невеста. Я пользуюсь у старика неограниченным кредитом; тебе достаточно сказать, что ты моя гостья. И ещё возьми в магазинчике масла к омару. Вели, чтобы его стоимость приписали к «счёту Хоппера». Масло это несолёное, к омару подходит идеально, но – прости, милая, – лимонов в это время года на всём острове не найдёшь днем с огнем.

Твой очарованный
Эдвард

В этой комнате толком не поймёшь, какое сейчас время года. Солнце переваливает через высокий кирпичный дом на другой стороне двора не раньше полудня. Часам к шести в комнате уже темень, и начинается моя ночь. Там, у меня на родине, свет щедр и волен, он разлетается по прерии, как ветер. Здесь он зажат и зол, как люди в метро и троллейбусах, где они толпятся, обливаясь потом и обмениваясь толчками.

Но эти письма, его письма, – в моей ночи они являются, как яркие светильники.

Пребывание у моря пойдет тебе на пользу. Там твоё настроение сразу изменится. Почувствуешь себя счастливой. Весь дом будет полностью в твоём распоряжении до конца мая, когда приедем мы. Сиди себе в доме у окна или снаружи на веранде и наблюдай за морем – как оно целый день перемешивается, пробует разные оттенки синевы и зелени. С наступлением сумерек оно примет серо-голубой цвет твоих глаз. (Теперь ты видишь, что я честно взялся за живопись; я думаю только о твоих глазах с их неповторимым светом.)

Иногда в дневное время свет, как снег, залепляет венецианское окно, и он так густ, что я не могу разглядеть машины внизу на улице. В другие дни он крадется через комнату, а я лежу на постели и позволяю свету на время покрыть меня целиком, пока он наконец не переливается через край, чтобы переползти ковёр и стечь в углы, прежде чем исчезнуть окончательно. Сегодня он несколько минут сиял внутри моей туфли. Будто горничная уронила туда яйцо – так я описала это ему, и он смеялся. Но почему все нынешние дни я думаю о яичнице? Я терпеть не могла яйца, когда подавала их в закусочной, а теперь они у меня не идут с ума.

Доедешь на метро до станции «Центральная» с таким расчётом, чтобы успеть на утренний поезд до Бостона. Утром эти поезда отходят каждые полчаса, начиная с семи тридцати. Я бы посоветовал взять

такси, но на метро выйдет и быстрее, и дешевле.

Когда прибудешь в Бостон, не сходи на первой станции, «Южной», а дождись, чтобы поезд прибыл на следующую, «Северную», потом найди вывеску терминала «Серой Гончей», это в нескольких кварталах. В здании терминала темновато, а ночью, когда ты приедешь, будет еще темнее, поэтому, дожидаясь автобуса, сумочку держи под мышкой, а чемодан поближе к себе. Выбирай сиденье, над которым есть приличная лампа. Не садись ни с кем рядом, и тебя никто не тронет.

Солнечный свет здесь ничего не может высушить и ничего не способен согреть. Скоро весна заканчивается, не время включать радиатор, говорит управляющий, но мне всегда холодно. Зимой в комнате было тепло и парко; температура так же перевернулась вверх тормашками, как и всё остальное. Раньше я просто молилась на радиатор, теперь проклинаю его – себе под нос, конечно, поскольку ругаться нам запрещено. Холоден свет, проникающий сквозь окно нынешней весной, настолько же холоден, насколько бывает сух умывальник в нежилой комнате, а, как говорится, нет ничего суше умывальника в нежилой комнате – разве только глаза без слёз.

Я оставил на твоё имя в кассе Метрополитен-Опера два билета в ложу на следующее субботнее представление. Сожалею, что в это время не смогу составить тебе компанию; если хочешь, можешь пригласить кого-нибудь из подруг. Будет идти опера – «Аида». Они там взяли напрокат слона из «Барнума и Бейли» и проведут его по сцене в третьем акте. Ну вот, теперь я взял и испортил сюрприз, ожидавший тебя под конец...

Удалось ли тебе чего-нибудь добиться на тех интервью, которые я организовал для тебя?

Изучение моделирования и моды мне пригодится – даже после того, как мы поженимся, хотя тогда мне вряд ли придётся работать. Знакомство с модой вообще полезно во многих случаях, скажем, когда обставляешь дом или там украшаешь вышивкой одежду для детей.

Ненавижу этот шум, доносящийся ночью со двора. На женской-то половине отеля тихо, но не на мужской. В комнате подо мной кто-то заплакал, и на другой стороне мужчина, услышав плач, разражается бранью и швыряет в колодец двора бутылку, взбешённый тем, что его разбудили; а потом внизу начинают выть коты, как вдова на оплакивании. Здесь воет всё, днём и ночью. Завывают полицейские машины, завывают сирены неотложек, и всю ночь пивные бутылки дождём сыплются в колодец двора, и кажется, что моё окно тоже разлетается вдребезги. Перед самим рассветом приезжают мусоровозы и перемалывают всё завывание заодно с остатками моего сна.

Он подарил мне радио, чтобы я научилась разбираться в опере, но, правду говоря, я не очень-то интересуюсь оперой. В иные ночи, когда брань и звон разбитого стекла не даёт мне уснуть, я настраиваю приемник на волну между станциями и включаю его на полную мощность, так что в комнате слышится только треск атмосферных помех. Закрываю глаза и предаюсь самообману: будто я слушаю, как ветер несётся сквозь высокие травы прерии, когда спешит… не знаю куда, в другой город, в иную часть прерии, наверно…

Я оставил у портье конверт для тебя. Там лежит талон на питание в Бикфорде, это приличный ресторан на пятьдесят восьмой улице. Метрдотель поставлен в известность и будет обслуживать тебя хорошо. Тебе нет нужды называть моё имя, он увидит его на талоне. В талоне нужно будет пробить общим счетом шестьдесят дырочек. Можешь получать ланч и обед каждый день в течение месяца или растянуть талон на два месяца – на ланч ходить в этот ресторан, а обедать где-то ещё.

Пойди для пробы пообедать в кафе-автомате на сорок второй улице. Тебе понравятся их рыбные тефтельки и тушеная фасоль. И шпинат со сливками. Разменяешь доллар у кассира на двадцать пятачков, которые нужно бросать в прорези.

Блюда сидят за маленькими окошками, точь-в-точь как все люди в Нью-Йорке. Можно заказать картофель, сосиски, рыбу, все, что душе угодно, даже фрукты. Только на самом деле никакой это не автомат, что бы там ни говорили. Можно разглядеть, как мелькают пальцы внутри стеклянных коробов, когда там появляются новые блюда. Можно услышать разговор женщин за стеной, а иногда увидеть уголок лица. Мне их жаль. Они не могут разговаривать с клиентами, и никто не заговорит с ними самими.

Сегодня вечером я сидела одна за большим круглым столом возле двери, и никто меня не беспокоил, но невозможно было подвинуться к радиатору достаточно близко, чтобы согреться, и вообще он слишком мал, прямо как одна из этих крошечных, не очень-то дружелюбных собачонок, которые тут в кафе укладываются у хозяйских ног. На мне было голубое тканевое пальто с горжеткой из ондатры – его подарок.

Выше пояса мне было тепло, а ноги мёрзли. Ноги у меня всегда мёрзнут. Зато на десерт я заказала торт со сливками – в жизни не ела такого вкусного торта! И подумать только, его вынули из стеклянной коробки, как подарок!

Слыханное ли это дело – плавать внутри здания? Как раз напротив моей гостиницы находится общественный бассейн, где днем никого не бывает. Стены там из мрамора. Плаваешь на спине в этой большой, выложенной плиткой емкости с водой, и глядишь вверх на круглый свод с высокими окнами – такими, как в нашей церкви. Вот только свет проходит через них грязный и слабый – видно, для таких окон не так-то просто найти мойщика.

Я долго плавала на спине, пока не столкнулась с единственным, кроме меня, пловцом, находившимся в бассейне. Это была девушка; мы немного поболтали, повиснув на бортике, полоща ноги в струе, хлеставшей в бассейн, и наблюдая, как подымается пар над поверхностью воды, тёплой воды; впервые за этот месяц мне было тепло. Девушку зовут Алиса; она работает швеей-надомницей; живёт в той же гостинице, только по другую сторону двора, а сама она из Канзаса. Она толстушка, но хорошенькая; у неё рыжие волосы – мокрые, они пластом облепляли её голову, а когда она их вытерла большим полотенцем, распушились и стали похожи на ворох соломы, пронизанный светом. Пообещала, что научит меня шить на своём «Зингере» в случае, если у меня не сложится. Не знаю, что она имела в виду, но я не против обучиться шитью на машинке.

Бабушка, что бы ты сказала, увидев меня сейчас – как я, в одном купальном костюме, свернувшись калачиком на кровати, читаю его письма? Может, ты как раз что-то вяжешь после обеда, и последний луч касается твоих милых рук? Свяжи мне шаль, чтоб я могла покрыть ноги – такие крупные, такие длинные – как большие зелёные лозы, говаривала ты.

«У вас две шляпки, и обе бумажные», – таковы были его первые слова, обращенные ко мне. На мне была белая, когда я подавала завтрак в закусочной; а в красной он, наверно, видел меня в кинотеатре, где я работала билетершей по субботам. Вам следует носить шляпку получше, сказал он. Я решила, что это сказано мне в осуждение; но как-то в субботний вечер он уселся на балконе кинотеатра и поманил меня. Хочет спросить насчёт программы, подумала я, однако он украдкой сунул мне что-то, завёрнутое в бумагу, и я включила свой фонарик. Сперва мне показалось, что я держу вязальную спицу; но нет, та штука была длиннее и отражала свет экрана. Она оказалась серебряной булавкой для шляп. Он обещал подарить мне кое-что «в придачу к булавке», если я пожелаю. Помнишь, бабушка, как у нас на крыльце появилась та шляпная коробка, а я не хотела ничего объяснить тебе на этот счёт?

В следующую субботу я просто валилась с ног, проработав весь день в закусочной. Я села рядом с ним на балконе и попросила разбудить меня, если менеджер подымется наверх. Он положил ладонь мне на руку, повыше локтя, и обещал легонько сжать её в случае опасности. Я задремала, и он разбудил меня как раз перед тем, как пошли титры и я должна была спуститься вниз. Потом я всё думала о его ладони, такой же гладкой, как шёлковая манжета вокруг его запястья.

Не доверяй лощёным мужчинам, предупреждала ты. Но он совсем не казался лощёным…

Помнишь то воскресенье, когда он пришёл в церковь? Он сидел на одной из боковых скамеек, через несколько рядов от нас. Я сразу смогла заметить, что ключевые слова наших молитв ему незнакомы: по тому, как он охватывал их губами в попытке произнести – пусть даже не понимая значения. Какой красивый мужчина, подумалось мне тогда, – высокий и изящный, как шёлк.

Что ему, такому, делать среди нас, спросила ты.

Утром я увидела его в закусочной – он сидел с нашими соседями и вёл с ними разговор, раскладывая на столе важного вида бумаги с машинописным текстом. Договора о займах на приобретение сельскохозяйственного инвентаря, объяснили мне мужчины. Наклонившись, чтобы налить ему кофе, я подметила в его глазах что-то необычное, что-то, отличавшее их от глаз наших фермеров. Сквозь их глаза мой взгляд свободно проходил бог знает куда (прости мне эти слова), – наверно, куда-то в прерию, где я оказывалась совсем одна. Но когда я смотрела в глаза ему, они были полны жизни, как деревенская ярмарка; там царил праздник, на котором я была бы не прочь задержаться – даже зная, что возвращение невозможно. Именно там мне было самое место.

Фермеры были ему по душе, он им тоже – хотя и был человеком со стороны. «Меннониты[1] – мои лучшие заёмщики», – говорил он

[1] Меннониты (Mennonites) – члены протестантской секты, основанной в XVI веке в Нидерландах Менно Симонсом (1496 –1561 гг.). Проповедуют смирение, непротивление злу насилием, нравственное самоусовершенствование. В США колонии меннонитов появились во второй половине XVII века. – (Прим. ред.)

мне.

«Я не смогу, как обещал, присоединиться к тебе на этой неделе. У меня возникли некоторые проблемы; обсудить их мы можем при следующей встрече. На их разрешение, однако, потребуется некоторое время».

Покамест я хотел бы направить тебя к моему достойнейшему другу, который шьёт мои костюмы. Он и женскую одежду шьёт, и вечерние платья тоже. Вышивкой он сам не занимается, но у него есть помощник, который мог бы тебя обучить. Это не великосветская мода, о которой у нас шла речь, но нечто не столь уж далёкое, и ты можешь подняться выше.

О наших отношениях моему портному ничего не известно, но он знает, что я многим оказываю покровительство; ему и раньше случалось помогать другим моим протеже. Он готов принять тебя на работу швеей.

Сегодня днем было душно, и я уснула в кресле. Во сне я видела, как молния вспыхивала на чёрном небе, а маленькая светловолосая девочка, сидя за школьной партой, училась писать курсивом и переписывала вспышки в тетрадь, точно это были буквы.

Я проснулась ночью, и всё было как всегда. Неоновая вывеска бара на другой стороне улицы изображает бокал для коктейлей; он мерцает всю ночь, поднимаясь и опускаясь, опрокидываясь и выпрямляясь. Я уверила себя, что это произносят тост за него и за меня, и попыталась уснуть опять, но не смогла. Бабушка, помнишь метроном, под который нас обучали на веранде фортепианной игре? Мерцание неоновой вывески так же непрерывно и монотонно в ночные часы, но под конец уже нет счёта часам и нет никакой музыки в комнате. Как это ужасно – не ощущать времени.

Есть другая гостиница для молодых женщин – на пятьдесят первой улице, на квартал дальше от той, где ты живешь сейчас – не такая фешенебельная, но чистая и достаточно удобная. Подробности расскажу тебе после. Ты должна понять. Моё финансовое положение уже не то, что было – из-за краха на бирже.

Через пару месяцев я извещу тебя о том, можем ли мы и дальше соблюдать нашу договорённость. Если ты не сможешь, я пойму. За комнату я заплатил до конца лета. Если решишь вернуться домой раньше, гостиница возместит тебе деньги за неиспользованные дни. На эти деньги ты могла бы доехать домой.

Если останешься в Нью-Йорке, я буду с тобой видеться время от времени, но мы не можем жить вместе, как рассчитывали, и я не сумею тебя содержать на достойном тебя уровне.

Ничто не движется в этой комнате, кроме света, который крадётся в пасмурные и в ясные дни через комнату, разрезая её пополам, как металлический лист, загоняя меня в угол, где слишком темно или слишком светло для моих глаз.

Я попалась в ловушку света, застряла в нем, как в краске. Комната обертывается вокруг меня, и я не могу двигаться вне её. Куда мне идти? Слишком поздно для него и для меня, поздно возвращаться, поздно доживать оставшуюся мне жизнь.

Я вижу Алису по другую сторону двора, в окне, обложенном жёлтым кирпичом; различаю её рыжие волосы на фоне рыжих обоев комнатки, где она склонилась над своим Зингером. Она довольна освещением, свет ей в подмогу. Кажется, она проталкивает его сквозь машинку заодно с тканью, будто свет – это тоже такая ткань. Подняв глаза, она кивает мне: я для неё – просто высокая девица, склонённая над листком бумаги, совершенно недвижная.

Мне нет нужды подписывать это письмо – ты и так знаешь, кто его написал и любит тебя…

Сколько времени я держу письмо в руке? Какой нынче месяц? Я не могу этого определить по свету, заполнившему холодный термос комнаты, по скупому свету, который всё утро скапливается между рамой и гардиной, собирается там, подобно пыли…

Но покидает ли он когда-нибудь комнату? И есть ли в целом мире тряпка, которая могла бы стереть его с моей кожи?

2012.

От переводчика:

Герой данного рассказа, предстающий перед читателям в своих письмах к героине и в ее воспоминаниях, – Эдвард Хоппер (1882–1967 гг.), известный американский художник, один из крупнейших урбанистов. По словам автора, на создание рассказа “Билет на один сезон” (“Season Ticket”) его натолкнули картины Хоппера, но не какой-либо подлинный эпизод из жизни художника.

– М.З.

Сол Арис

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАССЛЕДОВАНИЯ

Перевод с английского Лины Марковой

Досточтимые любители искусств! Многочисленные и разнообразные события захлестывают нас с невероятной скоростью, а посему данные, поступающие в наш центр, технически невозможно обрабатывать достаточно быстро. Поэтому прежде, чем погрузиться в их пучину и сообразить, как мы туда попали и как будем оттуда выбираться, я попытаюсь коротко изложить теорию, на которой основан метод, упомянутый в заглавии. Надеюсь, это предотвратит сомнения в здравомыслии нашего центра, а также неизбежный вопрос — «каким именно образом можно было прийти к вашим ошеломляющим выводам?»

Вопрос, поставленный выше, уводит нас в далекое прошлое, к великому русскому писателю 19-го столетия Гоголю, выразившему законное удивление: «И откуда только эти писатели берут страннейшие темы для своих произведений?» Ирония заключается в том, что сам Гоголь выбирал наистраннейшие сюжеты, с которыми могут сравниться разве что только сюжеты его знаменитого современника Эдгара По.

Действительно, откуда писатели берут такие причудливые идеи? Как именно видят мир художники? Почему скульпторы представляют свои скульптуры в тех или иных положениях? История искусств располагает множеством теорий на этот предмет, но ни одна не отвечает на наш фундаментальный вопрос: откуда все эти создатели искусства черпают свои идеи?

В начале 20-го столетия психолог Карл Юнг выступил со своей теорией об источнике этих идей. Его теория широко принимается и сегодня как в научных, так и в эзотерических кругах. Поскольку Юнг ничего нового не придумал, а лишь развил старую идею, мы можем с большой степенью вероятности считать, что в его теории есть рациональное зерно.

Суммируя вкратце теорию Юнга, Веды и идеи Нового Времени (New Age), можно сказать, что где-то в энергетическом эфире существует некий «бесконечный поток сознания». Этот поток содержит весь человеческий опыт, накопленный от начала времен до наших дней. Т.е. всё, что кто-либо когда-либо видел, думал и совершал, наполняло этот поток. Некоторые считают, что этот поток не имеет ни начала, ни конца, — а это значит, что данные нашего будущего там тоже наличествуют.

Мы все так или иначе подсоединены к этому потоку посредством единого человеческого наследия, а значит все наши сегодняшние символы имеют одно общее происхождение. Художник — это некто, имеющий бóльшую чувствительность или проводимость, чем другие; он спсобен лучше воспроизвести то, что он воспринимает из этого потока, обычно не подозревая, откуда он получил такую информацию.

Юнг назвал это явление «коллективным подсознанием», имея в виду, что когда мы заимствуем символы из упомянутого выше хранилища данных, мы делаем это в большинстве случаев подсознательно, не отдавая себе отчет в том, что использовали символ непосредственно из нашей человеческой истории. В странах древнего востока этот поток был назван «Палатой хроник Акаша» (на санскрите «Акаша» приблизительно значит «небеса» или «эфир»). Вот откуда «все эти писатели» черпают свои идеи, как, вероятно, Гоголь это и сам хорошо знал.

Один из писателей нашего времени, обладатель несметного числа невероятных и весьма занимательных идей — истый британец Дуглас Адамс. Замечательный английский юмор его «Руководства по автостопу» — уже огромный вклад в человеческую сокровищницу, но самым значительным его творением является персонаж Дирк Джентли, владелец фирмы «Агенство холистического расследования».

Дирк Джентли работает в совершенно оригинальной манере, отличной от всех известных детективов. Я, разумется, имею в виду не ту его манеру, которая эффективно отсеивает клиентов, когда он замечает, что тем неудобно работать с таким нестереотипным детективом как он. Я говорю о его методе расследования, фундаментально отличном от метода Шерлока Холм-

са. Холмс исходит из принципа: «После того, как вы вычли из своих рассуждений все невозможное, ищите истину в том, что осталось, каким бы маловероятным оно вам ни казалось». Джентли однако считал, что решение следует искать только в *невозможном*, пусть-де более слабые умы занимаются маловероятным.

Расследуя преступление, Джентли не отправляется на место его совершения с увеличительным стеклом и не беседует с подозреваемыми лицами, как Холмс или, скажем, Лейтенант Коломбо. Вместо этого, он идет в прямо противоположном наравлении, но полностью сосредоточив свои мысли на предмете своего расследования. И это приводит его в точности к тому, что он искал.

Чтобы напасть на след, Джентли обычно садится в машину и следует за кем попало, не имея ни малейшего представления, куда едет. Однако это имеет вид, как будто он знает, что делает. Он часто говорил (особенно, когда его могли услышать другие), что такие поездки не всегда приносили ему результат, но они неизменно приводили его в интересные ситуации. (Что, между прочим, соответствует старой восточной мудрости о том, что важна не сама цель, а путь ее достижения.)

Большинтству читателей методы Джентли могут показаться смехотворными. Тот факт, что он все-таки успешно расследует преступления и объясняет разрозненные события, которые кроме него никто совершенно не в состоянии понять, относят к заслугам писателя, который сумел убедить читателя: ведь это вымысел, а не наука, поэтому тут строгая логика не требуется.

Тем не менее, с точки зрения коллективного подсознания, методы Джентли отнюдь не абсурдны, а также правомерны, как и любые другие детективные методы. Как известно, Юнг доказал, что люди *всегда* пользуются старыми общеизвестными символами во всем, что они делают. Особенно когда это касается явлений, характерных только для человеческой расы, например, веры в разных богов и всего, что с ними связано.

Когда мы максимально сосредоточены на определенном поиске, мы можем видеть его признаки буквально *во всем*, даже в том, что не имеет никакого отношения к предмету наших исканий. Это вполне известное явление: психологи говорят, что мы обычно видим то, что предполагаем увидеть. Значит, когда мы по-настоящему хотим что-то увидеть, мы видим это даже там, где его нет, т.е. принимаем желаемое за действительное.

Однако согласно Юнгу, если нечто «действительно важно», то оно **есть** там, где мы его видим! Это не просто *принятие* желаемого за действительное. Оно, это желаемое или искомое, присутствует независимо от того, видят его другие или нет, потому что наше коллективное подсознание делает наше в видение возможным. Более того, некоторые прозорливые писатели поведали миру, что художники в своих картинах и скульптурах сознательно оставляют намеки на исторически важные вещи.

Для настоящих исследователей все эти идеи не являются головокружительными открытиями. Включение символов в различные произведения искусства воспринимаются ими как данность. Я лишь хочу добавить к этому небольшое наблюдение.

В частности, поиск Чаши Грааля на протяжении тысячелетий под тем или иным синонимом упоминается в истории человечества. Я думаю, что все наше искусство во всех его формах содержит скрытые намеки на этот поиск, сознательно поместил их художник в свое произведение или нет. Такие намеки оставили не только Леонардо да Винчи, Бернини и другие великие художники, на которых часто ссылаются искусствоведы, но и целый сонм менее известных художников.

Если пользоваться очень широким определением искусства, в частности тем, которым пользуются эзотерики, то мы все — художники в той или иной мере. И если это определение расширить еще дальше, можно сказать, что намеки на поиск Чаши Грааля можно найти во всем, что кто-либо делает. Мы лишь должны решить для себя, что хотим эти намеки увидеть.

Фактически вся информация, которая нам нужна по тому или иному вопросу, уже имеется непосредственно в нашем мозгу. Это объясняется нашей связью с памятью Акаша. Каждому человеку остается научиться распознавать эту связь и присоединяться к общей памяти, создав необходимую нейро-систему аксонов и дендритов для своего индивидуального потока информации.

Чтобы представить себе такую систему, попробуем сравнить работу нашего мозга с железнодорожной системой, где с большой скоростью происходит обмен информацией между станциями. По этой модели, чтобы сознательно найти доступ к памяти Акаша, понадобится «построить» новую станцию и проложить новые пути, которые находились бы в гармонии с существующими, не нарушая их работы. Мне кажется, стоит попробовать.

26 июля 2006 г.

Переводы Игоря Ильина

ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ЭПИТАФИИ XVII-XX ВЕКОВ

НАДПИСЬ НА КЛАДБИЩЕ ГИЛЛНГЭМ

Время вовремя используй.
Время вовремя лишь время.
Упустил – и будет поздно.
Было время – станет бремя.

ДЕРЕВЕНСКОМУ МУЗЫКАНТУ

Ушел от нас Джек
В мир печали и тьмы –
Расстроена скрипка,
Расстроены мы.

МИССИС МЕРИДИТ

Этот памятник хранит
Кости бедной Меридит.
Все на свете канет в Лету…
Мэри, где ты?
Мэри нету…

ЭПИТАФИЯ ЛЖЕЦУ

Ах, как он лгал, помилуй боже!
И все же смерть не проведешь!
Уложен враль на это ложе…
Но, может быть, и это ложь.

МЕСТНОМУ ТКАЧУ В СПАЙТЕЛФИЛЬДЕ

Лежит здесь Дэнил Соул.
Он был у нас ткачом.
А больше не напишешь
На камне ни о чем…

НА СЕМЕЙНОМ СКЛЕПЕ ЛЕНДЛОРДА

высечено:
«А здесь лежит наш господин!»

нацарапано:
«И – слава Богу! – не один!»

НА МОГИЛЕ БОГОСЛОВА ИЗ КОЛЛЕДЖА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Здесь похоронен богослов.
Спасая наши души,
Сказал он много умных слов…
Но выдавали уши!

(*Ричард Парсон)*

ЭПИТАФИЯ ПЬЯНИЦЕ

Пролетели давно
Развеселые дни.
Виновато вино,
Вот его и вини!

ЗАВСЕГДАТАЮ ПИВНУШКИ

Вот завсегдатай паба.
Он был умен –
Но слабо.

ЕЩЕ ОДНОМУ

Постоянен был на диво
Джентльмен, что здесь лежит:
От его могилы пивом
До сих пор еще разит!

ЭПИТАФИЯ ОБЖОРЕ

Вместо обеда с обидой в душе
Ушел наш обжора Джо Вайет.
Обед остывайет. А Вайет – уже…
Всякое в жизни бывайет!

АВТОЭПИТАФИЯ ПИСАТЕЛЯ

Частенько случалось: писатель,
Свои вспоминая грехи,
КРАСНЕЛ, но зато в результате

НА СКЛЕПЕ ЛЮБИМОГО ПСА ПОЛИТИКАНА

Окинешь гробницу задумчивым взглядом –
Чего не хватает?
Хозяина рядом!

(Хилер Бэллок)

НА МОГИЛЬНОМ КАМНЕ ЗУБНОГО ВРАЧА

Джон Браун, дантист,
Сам сказал, если мог бы –
Надежней, чем эта,
Не видел он пломбы!

ЖЕРТВЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Померла она следующим образом:
Переехана автобусом.

ПИТУ ДЭНИЛСУ
(почившему в бозе из-за каприза английской погоды)

Взяла земля сырая
Несчастного за то,
Что в день тридцатый мая
Он вышел без пальто.

ЛОРДУ КЛАЙВУ, ЗАВОЕВАТЕЛЮ ИНДИИ
(De Mortius aut bene aut nihil)

За что мне нравится Их Милость –
За то, что, проявив учтивость,
Он все же помер.
Ах, как мило!
Как хороша его могила!

(Эдмунд Клирихью Бентли)

СЭР ДЖОНС

– Ваш ключник… сэр Джонс!
О, какое несчастье!
Его… переехал… трамвай… на две части!
– … Ну, что тут поделать, кричи – не кричи…
Доставьте мне часть, у которой ключи…

(Гарри Грэм)

Роберт Бенчли

ПАРОДИЙНЫЕ ЛИБРЕТТО

Перевод Игоря Ильина

От переводчика:

Для меня, как и, рискну предположить, для многих в бывшем СССР, знакомство с Робертом Чарльзом Бенчли (1889 – 1945 гг.) произошло благодаря вышедшему в издательстве «Радуга» сборнику английской и американской пародии “The Way It Was Not”[1], где на волне общего интереса к литературной пародии едва ль не впервые был представлен «труднопереводимый жанр» на языке оригинала. В созвездии представленных имен имя Роберта Бенчли отнюдь не затерялось, и не слишком искушенный читатель наконец перестал путать Роберта Бенчли с Питером Бенчли, автором многажды тиражированных «Челюстей» (и, кстати, внуком Роберта Бенчли), а многие, однажды открыв его для себя, стали искренними поклонниками его творчества.

Здесь нет ни смысла, ни возможности вдаваться во все перепитии жизни и творчества автора двенадцати сборников сатиры и юмора, многочисленных скетчей, фельетонов и киносценариев, достаточно сослаться на биографию Роберта Бенчли, написанную его сыном Натаниелем Бенчли[2] и на обширную статью в Википедии.[3]

Для описания юмористического стиля первой половины прошлого века американская критика использует два расхожих определения: “*crackerbarrel*” и “*upper class*”. Если первый стиль отталкивался от диалектов и просторечия (Артемис Уорд), то во втором, более рассчитанном на интеллектуалов, ценились тонкая ирония, удачный каламбур, литературная реминисценция (Оливер Холмз). Роберт Бенчли с легкостью сочетал оба стиля. Более того, сама претензия на заданный слог в любом жанре могла служить посылом для эффекта обманутого ‘жанрового ожидания’. Таковой мог строиться и на абсурдной контаминации «привычных стилистических штампов и реализованной метафоры» (А. Ливергант), и на нарушении жанрово-стилистических конвенций, и на вплетении чужеродных для данного жанра элементов, что, в конечном счете, приводило к «разрушению жанровых интенций». Если, к примеру, оперное либретто призвано прояснять происходящее на сцене, то Бенчли умел его запутать настолько, что сама идея либретто начинала казаться абсурдной. Такой давно известный литературный прием, как «говорящие имена», под его пером превращался в полную свою противоположность: немецкие имена в либретто «Майстергеноссеншафт» не только нельзя понять не владеющему немецким языком, но и вряд ли удастся произнести с первой попытки (впрочем, каюсь, для русского читателя эти имена пришлось слегка усложнить). К сожалению, на русском языке было опубликовано лишь два перевода из огромного наследия автора. Нам это кажется несправедливым.

Игорь Ильин

---

1 The Way it was not. Moscow, Raduga Publishers, 1983. Сост. А.Ливергант.

2 Nathaniel Benchley, Robert Benchley, a Biography. New York City, McGraw-Hill, 1955.

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Benchley Прим. ред

МАЙСТЕРГЕНОССЕНШАФТ

(Образцовое либретто классической немецкой оперы)

Место действия: леса Германии
Время действия: глубокая древность
Действующие лица:
Штрудель – бог грозы и грома ..... бас
Шмальц – бог хляби и слякоти ..... тенор
Иммерглюк – "вечнорадостная", богиня радуги ..... сопрано
Железный Людвиг – таинственный графин .....бассо профундо
Дятел – птица с длинным носом ..... сопрано

В основе сюжета "Майстергеноссеншафт" лежит старинная германская легенда, повествующая о том, как и почему у кита выросли усы.

Акт I

Рейн в нижнем течении у Вельдшноффена. Печальная Иммерглюк тоскливо взирает на величавые воды великой реки, над которой в веселом тотентанце кружатся Валькирии. За долгие века Иммерглюк надоело считать Валькирий, и она посылает за Швулем, дабы тот рассеял ее вельтшмерц. Любимец богов предлагает ее взору парад чудес, когда-либо созданных человеческим гением, но Иммерглюк лишь тяжко вздыхает в ответ – гений только огорчает богиню. Тогда Швуль предлагает устроить поединок между Рингблатцем, сыном Пфердпфлюхта, и непобедимым графином Железным Людвигом. Воспрянувшая богиня призывает четырех гномов: гнома грибного дождя, гнома ключевой воды, гнома душевой воды и гнома водопровода – и требует доставить ей Рингблатца. Гномы отвечают отказом: давным-давно, когда они рылись под священным дубом, Пвердпфлюхт спас их от смертоносной лавины (желудей). Раздосадованная отказом, Иммерглюк произносит страшное проклятие, заслышав которое из божественных уст, гномы падают в тысячелетний обморок.

Акт II

Горное ущелье в Вестфалии. Сожалея о содеянном, подавленная Иммерглюк ищет утешения у двух великанов: Штрафенштольцопитца и Тойфольсхуфсбезитцциркеля. Они рассказывают ей о волшебней цитре, обладающей магической цитробежной силой. Волшебная сила цитры такова, что любой смертный, едва услышав ее чарующие звуки, готов бежать хоть на край света, не чуя под собою ног – от счастья (что остался жив). Вот уже триста и три столетия цитра счастья хранится в заколдованной шкатулке за семью печатями в сундуке с двойным дном в потайном месте в кроне дикого апфельбаума в самой чаще Шварцвальда. Денно и нощно сундук сторожит неусыпный Людвиг, прикованный к апфельбауму тройными цепями. Многие герои пытались добыть замечательную цитру, но падали в единоборстве с ним, находясь в каких-нибудь двух шагах от желанной" цели.

Исполненная мрачных предчувствий, Иммерглюк привлекает на свою сторону Штифтшпательштангеншерхебеля, жестянщика богов. Всего за полтора доллара он выковывает для нее чудесный шлем-невидимку, делающий шлемоносца невидимым и даже неслышимым, ибо только трижды по сорок сказочных животных с двумя хвостами способны поднять необыкновенный шлем хотя бы на один дюйм. За дополнительный доллар (и пять центов) жестянщик богов вытачивает для ошеломленной богини волшебное кольцо, которое, будучи надетым на большой палец левой ноги, делает окольцованного

совершенно нечувствительным к любой другой боли.

Вооружившись до зубов, Иммерглюк направляется на Валгаллу.

Акт III

Густой швардцвальд, где растет апфельбаум, к которому прикован Железный Людвиг. На воздушном шаре с неба спускается Мерглитц фон Фрюлингс, требующий освобождения Бетти фон Зоммерзингер. Богами было предначертано, что он и Бетти встретятся на земле и с первого взгляда пылко возненавидят друг друга. Но Цвайбаден, провизор бессмертных, по привычке все перепутал и намешал любовного зелья, Шмальц и Штрудель в бессильной ярости проклинает влюбленных, а Цвайбадена предупреждают в последний раз о недопустимости нарушения впредь заведенного ими неписанного закона,

В ладье, запряженной четырьмя белыми Хольцштайнами, появляется горемычная Иммерглюк. Она садится на камень и изливает ему свою печаль о безвозвратно ушедших днях тоскливого детства. Входят пилигримы, совершающие паломничество к священной гробнице Рудольфа фон Гробба из Грабенсдорфа. Они останавливаются, чтобы воспеть хвалу благословенной весенней засухе, поразившей святые места, но не узнают богиню, к третьему акту сменившую парик.

А в это время Рагельнагельрумпенкнопфен фон Пфеффер, сын фон Пфеффера, втайне точит напильник на Железного Людвига, чтобы вызволить Прекрасную Ирму. Но Ваффенпфаффен фон Фухс, сын фон Фухса, проникает в его тайный замысел и дает ему напиток заб венья, который заставляет смельчака забыть об Ирме и, более того, вообразить себя Шнорром, богом смеха. Под действием напитка Рагельнагельрумпенкнопфен раскладывает погребальный костер и сидит на нем по-турецки, играя на мандолине, пока его пожирает пламя.

Обезумев от горя, Иммерглюк дает в его честь торжественный обет: никогда больше не выходить замуж.

Вот почему у кита выросли усы.

Занавес

ИЛЬ МИННЕСТРОНЕ

(Классическое либретто классической итальянской оперы)

Место действия: вечно юная древняя Венеция

Время действия: расцвет начала 16 века

Действующие лица

Дон Буридан – герцог Миннестроне ..... баритон

Дон Рапирес – испанский гранд ..... тенор

Донна Бэлла – простая крестьянская девушка ..... сопрано

Рустико – Венецианский Дож ..... тенор

Онората Сочиета

Стилетто Скарлатини

Руджеро Пистолетти ..... благородные жители Венеции

Бомбино Бомбини ..... тенор

Пагано Нагано ..... тенор

Мементо Море – .....тенор
Астольфо – служащий местной пиццерии ..... тенор
Людовико – местный паяц ..... бас
Крестьяне, мавры, монахи.

Иль Миннестроне представляет собой инфернальную аллегорию нравственной коллизии двух сторон натуры Гомо Дуплекс, а именно – хорошей и плохой. Морально-этический конфликт внутри "эго" каждого из действующих лиц находит благополучное разрешение в финальном катарсисе. Порок наказан. Наступает полное торжество Справедливости.

Акт I

Центральная пьяцца Палермо. Во время карнавального шествия в ознаменование сорокового дня непрерывных дождей Уго ди Симментале, благородный молодой человек, встречает Донну Бэллу, простую крестьянскую девушку, дочь деревенского звонаря. Под звуки тарантеллы она в одиночестве водит хоровод, осыпая себя бумажными розами. Пораженный ее красотой, Уго просит своего секретаря узнать, кто эта женщина, столь поразившая его своей красотой. Бальзамино, секретарь Уго, стремясь заполучить место ключника, обманывает его и говорит, что это его (то есть, Уго) мачеха, переодевшаяся чтобы соблазнить его (то есть, самого Уго). Пораженный коварством мачехи, Уго потрясен. Он приказывает слугам схватить мачеху и заточить ее в подземелье. Пораженные коварством Уго, слуги выполняют приказание. Потрясенная коварством слуг, мачеха тщетно взывает о помощи и, наконец, умирает от голода.

Акт II

Банкетный зал в доме Дожа, Донна Бэлла не может забыть свою старую няню, хотя прошло уже более пятидесяти лет со дня их последней встречи. Желая воздать няне должное за все те лишения и унижения, которые она вынесла в детстве, донна Бэлла приглашает няню на званую пиццу и дает ей отравленного вина. Слышен стук в дверь. Это Угольфо. Он пришел, чтобы забрать тело своего друга Козимо. Принимая его за Людовико, донна Бэлла признается, что больше не любит его. В отчаянии Угольфо допивает кубок, недопитый няней. Увидев, что ее возлюбленный Угольфо умер, донна Бэлла закалывает себя его кинжалом.

Акт III

Сиеста на патио дона Эмилио. Всё еще размышляя над проклятием старика, герцог Борса беседует с переодетым Рудольфо, принимая его за герцогиню Бланку. Он умоляет ее сжалиться над ним, потому что так больше продолжаться не может. Рудольфо соглашается с ним и протыкает его шпагой. В это время из церкви возвращается Бетти: ее самые худшие опасения оправдались – ее возлюбленный Бальзамино женился на другой еще сорок лет назад. Бездыханная Бетти падает на грудь Рудольфо, своего жениха. Грудь Рудольфо наполняется жаждой мщенья. Он бросается на поиски Бальзамино, но Бальзамино уже мертв (он утопился между первым и вторым актом), поэтому Рудольфо больше ничего не остается, как убить Уго. Увидев, как жестоко он ошибался, (когда душил Уго носовым платком), Рудольфо бросается в пропасть, и когда его прощальный крик (бассо профундо крещендо) замирает, умирающий Розенблатт приподымается на локте и проклинает свою прабабушку, обрекшую (обрякшую, обрюкшую) его на мучительную смерть от старости. Смеясь над разбитой любовью, местный паяц Людовико помирает со смеху. *Занавес*

ЛЮЧИЯ ЛИМОНСКАЯ

(Образцовое либретто классической английской оперы)

Место действия: Южный Уэльс Время действия: 17.00 (по Гринвичу)

Действующие лица

Нарвал Аравийский – лорд Гленнннарвала ..... бас
Лючия Лимонская – его дочь-мученица ..... сопрано
Альдебаран Мавританский – возлюбленный Лючии ..... тенор
Лорд Родже – близкий друг Альдебарана ..... сопрано
Ирма – компаньонка Лючии ..... бас
Король Пропанбутана – ..... баритон
Вильгельм Орангутангский – ..... баритон
Метис Оранжский – метис ..... тенор
Графья, графини, придворные графоманы, члены тайной масонской ложи "Лесной Олень".

Примечание. Заморские гости на сцене не появляются, потому что они гостят за морем.
В основе сюжета «Лючии Лимонской» лежит всемирно-известная новелла одноименного бокаччо.

Акт I

Цыганский табор под Уотербери. Цыгане под предводительством Эдит с песнями проходят по сцене на ярмарку. За ними украдкой следует цыганский барон Леопардо. На плече у Леопардо мешок, из которого доносятся стоны красавицы Гертруды. Леопардо похитил Гертруду у ее отца, до этого похитившего ее у ее (Гертруды) матери. Леопардо ставит мешок с Гертрудой на сцену и наказывает старой цыганке Саре не спускать с него (т.е. с мешка) глаз. Но коварная Сара уже давно вынашивает тайную злобу на Леопардо за то, что когда-то он отрубил ей ногу (из-за чего она теперь ходит на костыле). Поэтому она решает подменить красавицу Гертруду и подложить в мешок Брунхильду, другую украденную красавицу.

Гертруда умоляет оставить ее в мешке. Она успела полюбить прекрасного Леопардо, потому что он не бросил ее в трудную минуту (когда спасался от погони). Но Сара неумолима.

Акт II

Ярмарка в Фосбери. По сцене гуляют ряженые, крестьяне и крестьянки, графья с графинями и члены тайной масонской ложи, украшенные оленьими рогами. Появляется веселый Роджер. В толпе праздно-гуляющих он ищет свой Лауру, но Лауры нигде нет. Роджер уходит. Появляется Лаура. В тоске и печали она бродит по сцене в поисках своего Роджера. Но Роджер уже ушел. Лаура в отчаянии убегает. И тут появляется Роджер. Цыганская баронесса подкидывает ему медальон лорда Буля де Альбы. Веселый Роджер открывает медальон Буля и застывает от страшной догадки. В медальоне хранится локон. Это локон его матери, подаренный Булю еще тогда, когда она ходила в школу. Потрясенный Роджер понимает, что Лаура его сестра (по внучатому племяннику сводного брата отчима его кузины).

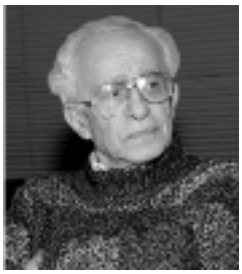
С радостной вестью (о том, что теперь он не может на ней жениться) Роджер бросается на поиски своей любимой сестры Лауры.

Но уже поздно.

Акт III

Стольная зала в замке лорда Буля де Альбы в Бери-бери. Лючия окружена роскошью и заботой, но на сердце у нее тревога. Только что у нее побывала старая цыганка с приветом и запиской от Стюарта-Львиная грива. В записке, написанной левой ногой, сообщается, что Стюарт женат и что он больше не любит дорогую Луизу. Со слезами на глазах Лючия вспоминает привольную жизнь в шотландских горах и своих товарищей по детским шалостям: маленьких проказников Мак-Вольфа и Мак-Маттона. Теперь они уже большие... Где-то они сейчас? Кто такой Стюарт? На ком он женат? И какую Луизу не любит? Лючия теряется в догадках.

А на помолвку начинают съезжаться гости: графья с графинями, крестьяне с крестьянками, члены тайной масонской ложи. В углу они складывают свадебные подарки: каждый принес по жареному быку с чесноком. Все упрекают Лючию за то, что она до сих пор не одета к торжеству. Лючия рыдает. Но в это время в пиршественную залу с песнями и плясками врывается цыганский табор, и Клеонтино объявляет пораженным гостям, что девочку, украденную двадцать лет назад из колыбели в спальне лорда Нарвала, зовут не Лючия, а Бетти. В доказательство он предъявляет гостям окровавленный носовой платок. Раскаявшийся лорд Буль дает согласие на брак. Джерри и Селимены. Члены масонской ложи поют осанну. Ирландские рыбаки ликуют.
Занавес



Борис Бернштейн

ВЕЧЕРОМ НАКАНУНЕ ДЕВЯТОГО МАЯ 2015-ГО ГОДА

1

Девятого мая сорок пятого года я не был в окопе. Ничего героического. Я был на Красной площади. Наш зенитный дивизион стоял в сорока километрах от Москвы по Калужской дороге. В ту ночь мы от радио не отходили. Известие об окончании войны мы услышали ранним утром.

Командир дивизиона инженер-подполковник Гудиш отпустил всех офицеров в Москву; он один остался в расположении части. Всех – майора Федю Вершеню, капитана Василия Шимковича, старшего лейтенанта Степу Скнаря, старшего лейтенанта Мишу Малафеева, лейтенанта Колю Цветкова и меня, младшего техника-лейтенанта... Всех помню и легко воскрешаю в уме облик каждого. Пригородного транспорта не существовало, но попутные грузовики, чудом ездившие вместо бензина на деревянных чурках, подвозили в город охотно и – надо ли говорить? — бесплатно.

Такого подлинного народного праздника древняя Красная площадь не видала давно и, небось, нескоро такое увидит. Никакого парада, никаких трибун, никакой иерархии. Только люди, все равны. Официальными, государственными были только фейерверки. Их было бесконечно много; без сомнения, они были заготовлены заранее. Все прочее было спонтанным выражением народного счастья – и мы все были вместе. Это было так удивительно и так естественно: мы все были заодно!

Только те, кто в военной форме, были отмечены особо: их подхватывали мужики покрепче и начинали качать. И меня подбросили несколько раз, довольно высоко...

А так – никого на мавзолее, ненужность привычно вертикальной пары – вождей и населения, никакого разделения на старших и младших, начальников и обывателей, наших и не наших, чурок, черномазых, евреев, чукчей, представителей государствообразующей нации, агентов вашингтонского обкома, православных, мусульман – ничего этого не было, мы все были заодно. Да и наша группка: белорус Федя Вершеня, майор; украинец Степа Скнарь, старший лейтенант; русский Коля Цветков, лейтенант; еще один белорус – капитан Шимкович; и я, грешный, еврей – мы все были заодно.

В каждой минуте истории сходятся концы и начала. Конец войны был невероятным облегчением. Мне не удается подобрать слова, которые были бы соразмерны этому чувству. Вместе с тем минута заключала в себе неясное, но мощное обещание будущего счастья. Мир, понимаете? Мир!

Вот теперь начнется, вот теперь, когда наступил мир, мир после страшной войны – победа, жизнь... Мои родители где-то на Алтае, любимая девушка далеко, в Ташкенте, но мы скоро встретимся и заживем...

Мне тогда было двадцать лет.

Теперь мне девяносто.

2

Завтра в Москве с невиданной помпой будут праздновать семидесятилетие победы. Меня не позовут, мне теперь и на попутном грузовике туда и не добраться. Но если бы сам президент Российской Федерации меня пригласил и прислал бы за мной персональный самолет – я бы все равно не поехал. Я не хочу быть на Красной площади 9-го мая 2015 года, не хочу. Причин много. Первая из них очевидна – я не хочу участвовать в ритуале, посредством которого президент-временщик, укравший власть, пытается украсть семидесятилетней давности победу. Путинский праздник – не мой празд-

ник.

Есть и другие причины. Некоторые я должен назвать. Хотя бы кратко. Почему, собственно, я должен молчать?

3

22-е июня. На мою память того, шестнадцатилетнего, накладываются позднейший опыт и лучшее знание.

Тогда сообщение о нападении Германии, прозвучавшее из черных квартирных репродукторов – «тарелок» или «радиоточек» – и из мощных уличных рупоров, было полной и невероятной неожиданностью. Ибо уже почти два года, с августа 1939-го, гитлеровская Германия была ближайшим другом Советского Союза. Правда, до августа 39-го она была нашим злейшим врагом. Но вот уже скоро два года была другом. А я был юным комсомольцем. И эта странность должна была как-то укладываться в моей комсомольской голове. Во всяком случае, этой голове было хорошо известно, что Красная Армия всех сильней и что во главе страны стоит самый мудрый в мире правитель. На это фоновое знание должны были ложиться слова выступившего по радио Молотова, объявлявшего о вероломном нападении Германии на нашу страну. И мы, юные и полные патриотического гнева, были уверены, что в ближайшие часы – ну, дни – непобедимая Красная армия отбросит и уничтожит коварных агрессоров, что наши танки дойдут до Берлина быстрее, нежели немецкие добрались не так давно до Парижа...

4

22 июля, ровно месяц спустя после начала вой-ны, немецкие самолеты предприняли первую ночную бомбардировку Одессы. Мы пересиживали ночи в подвалах, прислушиваясь к омерзительному звучанию немецких бомб: протяжный свист – удар – взрыв – грохот обрушивающегося дома. Эта не в наш, мимо ...

Но где-то неподалеку, совсем неподалеку крыши, каменные перекрытия и стены еще минуту-другую грохочут, падая на людей, разрывая тела, ломая кости, продавливая черепа. Возможно, моим соученикам, нашим родственникам, друзьям, знакомым... Следующий свист! Для скольких, для кого это будет последний звук, который им дано услышать?

В тот день на театре военных действий и вокруг него происходило, в частности, следующее. Цитата:

22 июля 1941 года. 31-й день войны [22 июля.Решением Военной коллегии Верховного суда СССР за поражение войск Западного фронта в начальном периоде войны приговорены к расстрелу: командующий Западным фронтом Д. Г. Павлов, начальник штаба В. Е. Климовских, начальник связи А. Т. Григорьев, командующий 4-й армии А. А. Коробков.

Смоленское сражение (1941). На бобруйском направлении 21-я армия Западного фронта отошла к Днепру на участке от Рогачёва до Жлобина. Киевская операция (1941). 26-я армия Юго-Западного фронта оставила Фастов.

Не поленитесь взглянуть на карту и оценить расстояние от западной границы СССР 1941 г. до Фастова, а также до Днепра в районе от Рогачева до Жлобина.

Вспомнив заодно про казненного полководца и его подчиненных, вы должны испытать чувство глубокого удовлетворения: виновные наказаны, их пример – другим наука, теперь дела пойдут на лад...

5

Менее чем через месяц мы бежали из Одессы морем, по суше бежать уже было некуда. Нас увозил грузовой пароход «Фабрициус», названный так по имени известного революционера и палача латышского происхождения.

По выходе из одесской гавани «Фабрициус» плыл неторопливо, по временам над кораблем появлялись немецкие самолеты и всех загоняли в трюм. Почему-то наш «Фабрициус» зашел в Севастополь и простоял там ночь. Когда мы через сутки, обогнув полуостров, доплыли до Мариуполя, стало известно, из-за чего случилась задержка. За несколько часов до «Фабрициуса» из Одессы вышел грузопассажирский теплоход «Ленин» с тремя тысячами беженцев и полуторами тысячами мобилизованных на борту. Теплоход напоролся на мину – скорей всего, советскую – и быстро затонул, спаслись немногие. Среди спасшихся была наша ровесница, ослеплявшая красотой шестнадцатилетних мальчишек Нора Гринфельд; она была отличная пловчиха... «Фабрициус» тоже был потоплен, но позже, в марте 1942-го года; нас уже там не было.

Многим людям, которых я знал, бежать и вовсе не удалось. Они погибли в Одессе. Я, возможно, буду позднее упоминать о том, как погибали мои друзья, однокашники из моего класса – чудесный скрипач Шурик Абрамович, моя соученица по классу фортепиано Рита Фишман, другая пианистка Лиля Фишман... У меня чудом сохранились их фото – и я не могу не думать о той чудовищной, мучительной смерти, которая их настигла в возрасте шестнадцати лет в прекрасном городе Одессе. Но вас я пока пощажу. Кому интересно – может почитать документы о том, что было с евреями во время оккупации Одессы, необходимые сведения вполне доступны. А сейчас наше дело – задавать вопросы, которые по си поры предпочитают не задавать. Или отвечают на них неохотно, уклончиво, а то и вовсе бесчестно. Куда проще и выгодней забивать их победным треском барабанов и грохотом гусениц на юбилейных парадах. Ведь победили же, мы победили, понятно?

6

Кстати. Когда русские войска, разгромив Наполеона, вошли в Париж – это ведь тоже была всемирно-историческая победа, не так ли? Я что-то не припомню, чтобы известный своим патриотизмом император Александр I устраивал столь бурный военно-патриотический тарарам по случаю семидесятилетия этого события. Мы тут точно перепатриотим всё и вся, включая не только слабосильного российского императора, но и триумфы полководцев Древнего Рима и сцену победного торжества из оперы «Аида».

7

Так вот, давайте еще раз зададим простой вопрос: кто виноват в гибели и страданиях миллионов граждан тогдашнего СССР на фронтах и в тылу, – миллионов мужчин, а также женщин, стариков и детей, к которым надо добавить миллионы нерожденных, тех, у кого жизнь была отобрана с нуля? Только ли Гитлер, его единомышленники, соратники и союзники? Не пора ли обсудить подробней деяния тех, кто возглавлял тогда страну под названием СССР, и, возглавив, взял на себя ответственность за жизнь и благополучие каждого ее гражданина?

Кто отвечал за страну?

Как он с этим справился?

Не на нем ли, вожде, и его ничтожных совождях лежит ответственность за чудовищные и позорные поражения?

В наглой псевдопобедной шумихе ликующими кликами заглушаются, забиваются, забалтываются, замазываются простые и очевидные вещи, которые ясны не только очевидцам и участникам минувших событий, но я всякому честно мыслящему человеку.

В том, что ужасно погиб талантливый, красивый, умный и добрый шестнадцатилетний скрипач, мой однокашник и друг Шурик Абрамович и еще миллионы наших соотечественников, виноваты в равной степени Гитлер и Сталин. Оба, оба, и не мне разбираться, кто больше. Нет смысла делить вину на порции. Оба. Конечно, есть сотни и тысячи соучастников, помощников, примазавшихся, холуев и одураченных холопов. Но начинать надо с этих.

8

Сначала о жертвах. Цифры необходимы, они дают представление о масштабе вины. Но они бескрасочны.

В июне 41-го, после весенних экзаменов, нас позвал к себе домой наш учитель фортепианной игры Зигмунд Ильич Зильберг. Он был ассистентом нашего общего профессора, знаменитой на всю страну Берты Михайловны Рейнгбальд, учительницы Эмиля Гилельса – рыжего одесского паренька, который совсем недавно, в свои 16 лет, стал победителем международного конкурса в Брюсселе. Наш учитель был молод (за глаза мы его ласково называли Муней) и полон вдохновения, у него были прекрасные пианистические руки и высокий покатый лоб. Его жена, тоже пианистка, красавица, только что родила ему дочь.

В начале июня Муню призвали на военные сборы – по-видимому, он был рядовой необученный. Спустя две недели его отпустили на день домой, и он немедленно позвал нас троих, его учеников, чтобы дать нам задания на лето. Муня в военной форме и в каких-то непомерных сапогах выглядел нелепо, но дело было серьезное: мы переходили в десятый класс, будущие весенние экзамены должны были стать выпускными и открывали двери в консерваторию. Программы, которые мы обсуждали, казались ослепительными. Мы ушли от Муни окрыленные. На другой день Муня вернулся в часть. Доучиваться, наверное. Через неделю

началась война. Муню никто никогда больше не видел. Рита, как я только что сказал, страшно погибла в Одессе. Ира уцелела; она потом стала прекрасным музыкантом, концертировала и учила детей мирному умению играть на фортепиано... Из участников нашей маленькой встречи погибла в жизненном расцвете половина, двое из четырех. А всего...

По данным всезнающего Google:

«...известная цифра в 27 млн погибших граждан СССР вполне реалистична и отражает подлинную картину. Однако, вопреки распространенным представлениям, основную долю погибших составили именно военнослужащие, а не гражданское население Советского Союза».

Нам незачем делить эти непрожитые жизни на две части – военнослужащих и мирных граждан. Пока что будем помнить, что все они – как Муня и как Рита — свои жизни не прожили.

Представь себе, читатель, что каждый из них — это ты.

Что это тебя, как Муню, раздавило танком в первые дни войны. Что это тебя, как Риту, тащат вешать на дереве Александровского проспекта в Одессе. Что это ты тонешь в виду Севастополя посреди обломков парохода «Ленин». Что это тебя, только что призванного и наспех обученного, бросили в бессмысленную атаку на надежно укрепленный немецкий дот только потому, что генерал хорошо помнил о судьбе коллеги Павлова. Что это убили твоего брата. Мужа. Отца. Сына...

И так – еще двадцать семь миллионов раз.

И это – не считая так и не сосчитанных безнадежных калек, безногих, безруких, слепых, глухих, изуродованных, о чьей судьбе предпочитают не помнить неутомимые, заботливо откормленные, целые и здоровые, обеспечившие себя виллами и яхтами, не видавшие войны барабанщики нашей победы.

Так почему бы не задать себе вопрос – а кто, собственно, виноват в этой неимоверной трагедии народов Советского Союза?

9

Прежде чем перечислять возможные ответы на этот вопрос, приготовим несложную методологическую платформу.

Какого типа конфликты вообще возможны, скажем так, принципиально?

Мы привыкли судить о конфликтной ситуации по простой схеме: *положительный герой против отрицательного героя, добро против зла.*

Разве не может возникнуть конфликт, в котором обе стороны по-своему правы? Я мог бы назвать трагедии подобного рода. За кем вы признаете абсолютную правоту, глядя на суриковское «Утро стрелецкой казни»?

За Петром?

За стрельцами?

Нетрудно вспомнить и другие случаи.

Но не менее реален конфликт, где *злу противостоит зло!*

Это как раз наш сюжет.

* * *

Предвоенная ситуация в Европе определялась соревнованием двух диктатур, вооруженных воинственными идеологиями: одна была основана на расовой ненависти, другая – на классовой. Обе намеревались покорить мир. Каждой из них надо было переиграть другую, в каждой принимал решения диктатор.

Так вот. Банальный ответ на вопрос о вине известен – виноват германский нацизм[1], нацистская верхушка, лично Гитлер.

Я не могу понять, почему не назван другой, не меньший виновник величайших бедствий, постигших Советский Союз, хотя ясно, кто это такой: Сосо Джугашвили, более известный под кличкой Иосиф Сталин. Два носителя зла старались переиграть друг друга на европейской – а в перспективе и мировой – доске.

Первый тур был туром антагонистической вражды – антифашизм против антикоммунизма, и наоборот.

В августе 1939-го разыгрался второй: диктаторы слились в любовном объятии, дружески разодрав Польшу и поделив сферы влияния в Центральной и Восточной Европе – в надежде переиграть друг друга. Сталину казалось, что он, направив нацистскую агрессию на Запад, обвел вокруг пальца весь мир: капиталисты ослабят, а то и растерзают друг друга, и тут социализм, весь в белом... Тем самым, однако, он упростил задачу Гитлеру: разгромив Францию, британскую армию и разную западноевропейскую мелочевку, можно

[1] Я намеренно избегаю слова итальянского происхождения «фашизм», поскольку оно в современном российском обиходе утратило всякий смысл.– (Прим. автора.)

было не воевать на два фронта и бросить все силы на восток. Гитлеру была оказана всемирно-историческая услуга.

10

Обратившись 22-го июня по радио к советскому народу, Молотов сообщил нам, что Гитлер напал на Советский Союз *вероломно*.

Когда вождь, собравшись с духом, сам обратился к советскому народу, первые его слова после обращения были о том же: «Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, – продолжается».

Ай-яй-яй! Как же этому Гитлеру не стыдно! Нет, ну как не стыдно! Мы-то верили, по дружбе, что ворон ворону глаз не выклюет, посылали ему нефть, пшеницу, всякие хорошие вещи... А он, вероломный и, добавим, неблагодарный, так нас подвел!

Продолжим, однако, цитирование. В том же выступлении от 3-го июля 1941 г. вождь продолжал: «Могут спросить: как могло случиться, что Советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп?» Ага. Значит, уже тогда, когда заключали договор с Гитлером и Риббентропом, было хорошо известно, что новые партнеры – люди вероломные и даже изверги. Толковому ученику третьего класса должно быть понятно, что вероломный изверг должен вести себя вероломно – и что с ним надо вести себя соответственно, ибо ничего другого ждать от него не приходится. Только вождю великой державы и его ближайшему помощнику это, видимо, было неясно; более того – вероломство изверга оказалось для них возмутительной неожиданностью. Что же это ты, идолище поганое, поступаешь как идолище поганое!

Кстати уж, о вероломстве. Нелишне будет вспомнить, что незадолго до того, 17 сентября 1939-го года, Красная Армия вторглась в Польшу, которая в этот момент отчаянно сопротивлялась нацистскому нашествию, начатому за две с небольшим недели до того. В обычном обиходе такое принято понимать, как втыкание ножа в спину человеку, на которого напали бандиты. А на языке нравственных понятий и дипломатических условностей?

Между СССР и Польшей к тому времени существовал *договор о ненападении*, заключенный еще в 1932-м году. Там была, в частности, такая статья:

Статья 2

В случае, если бы одна из договаривающихся сторон подверглась нападению со стороны третьего государства или группы третьих государств, другая договаривающаяся сторона обязуется не оказывать, ни прямо, ни косвенно, помощи и поддержки нападающему государству в продолжение всего конфликта.

Вторжение Красной Армии в Польшу в ситуации, специально оговоренной в этой статье договора, кто-то может назвать вероломным, не так ли? В советской прессе, однако, это называлось актом братской помощи угнетенным народам Западной Украины и Западной Белоруссии. Я помню – честное слово, прекрасно помню новую карту бывшей Польши, напечатанную в газете «Правда» – оттяпанное нашими включено было в состав соответствующих республик СССР, а остальная территория честно растерзанной страны была стыдливо обозначена как *«область государственных интересов Германии»*. Такие, значит, тогда были у Германии интересные государственные интересы, чего уж там...

История глупейшей и преступной доверчивости Сталина по отношению к негодяю Гитлеру всем прекрасно известна и описана в деталях. Мудрейший из мудрых и прозорливейших из прозорливейших дал себя провести на мякине не хуже Антона Сквозника-Дмухановского. Именно об этом, вероятно, и думал прозорливец утром 22-го июня, выставив к микрофону вместо себя безответственного и бесцветного Вячеслава Михалыча. А обратиться к народу, собравшись с духом, он решился только 3-го июля, когда немецкие танки вольно катились по нашей земле. Вот тогда-то, струсив, единственный раз в своей жизни он назвал нас своими братьями и сестрами. Дал слабину, подлизался ко всем – к бывшим, к раздавленным кулакам и подкулачникам, к крестьянам, загнанным в колхозы, к случайно оставшимся в живых жертвам голодомора, к тысячам невинных людей в лагерях, к женам, отцам, матерям, сестрам, братьям и детям «врагов народа»... Сестрою вождя стала суровая, престарелая тетка моей мамы, Маргулис по фамилии, но ее брат Иосиф Джугашвили вскоре потеряет: ее то ли повесят на одном из деревьев Александровского проспекта, то ли сожгут живьем в бараке месяца два спустя. Многих еще братьев и сестер предстоит потерять вождю в ближайшие дни, месяцы и годы.

Тысячи и тысячи будут погибать в бессмысленных атаках, тысячи погибнут в ненужном, показушном штурме Кенигсберга, в политиканском штурме Берлина... Ничего, он стойкий, наш Иосиф Виссарионович, он мужественно перенесет катастрофическое сокращение семьи.

Со всеми нами тогда, третьего июля, вмиг породнился Иосиф Виссарионович, даже я, ничтожный, оказался его младшим братом – правда, ненадолго...Тамбовский волк тебе брат, Иосиф Виссарионович!

11

Историю можно раскрасить в два цвета, этим занимаются сотни искусных маляров. Но история никогда не бывает двуцветной.

Да, прежде всего мы защищали свою страну, свой дом, своих близких, себя – и в той части, в какой эта борьба была жизненно мотивирована, она была чистой, благородной, справедливой. Да, в каждой роте был политрук, «Смерш» следил за политической чистотой мыслей и слов, но защищали мы не социализм, а родину. На этом неистово спекулируют сегодняшние демагоги, стремящиеся выжать из патриотического воодушевления максимально возможные политические выгоды. Ладно, оставим их на время в стороне, тошнит.

Но вот о чем на самом деле важно помнить. Пока в окопах, в танках тысячи и тысячи погибали, защищая родину, в верхах зрели масштабные проекты, для реализации которых патриотическое чувство солдата было всего лишь необходимым материалом, сырьем, вроде как горючим в танке.

Мы освободили Европу от фашистской чумы – верно? Верно, но историческая реальность этой фразой описывается лишь наполовину. А вторая половина не менее содержательна: освободили, чтобы поработить на свой манер. Советский солдат оказался столько же освободителем, сколько и поработителем, знал он об этом или нет, хотел он этого или нет. Тут у него не спрашивали, он был орудием – и хватит с него. Освободили Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Чехословакию, Венгрию, Болгарию, Румынию, кусок Германии... Освободитьс значит предоставить свободу, не так ли? Но армия-освободительница обернулась армией-поработительницей еще в ходе войны.

Нельзя праздновать победу, игнорируя ее следствия. А последствия эти были вредоносны и позорны. Освобожденным странам Центральной и Восточной Европы были насильственно навязаны т.н. социалистические режимы – репрессивные, экономически бездарные и бессмысленные, едва ли не во всем зависимые от Москвы и ненавидимые своим народом. Следуя основным принципам оруэлловского министерства правды, мы семьдесят лет повторяем: *«порабощение это освобождение»*.

Сотворенный в результате победы «лагерь мира и социализма» развалился мгновенно, как только ослабели братские объятия Кремля: никто не захотел псевдосвободы, дарованной победой сорок пятого.

Я прослужил в Польше добрую часть первого послевоенного года и видел своими глазами, как это делалось. Впрочем, в последующие годы это делалось не менее нагло.

Кто сегодня помнит, как по команде из Москвы расправлялись со своими, первыми коммунистически-ми правителями в странах Восточной Европы? О судьбе Анны Паукер в Румынии? О процессе Сланского в Чехословакии? О том, как маршал Рокоссовский внезапно стал гражданином – и заодно министром обороны – Польской Народной Республики, а Владислава Гомулку засадили в тюрьму? На каком школьном уроке истории дети узнают о потопленном в крови венгерском восстании 1956 года? О задавленной советскими танками пражской весне 1968-го? Приходится напоминать – чтобы реальность не была утоплена в розовом киселе юбилейных восторгов.

12

Не мешает в этой связи напомнить и о домашних делах – pro domo suo, как говорили древние. Поскольку страшные годы, до самой смерти Сталина, были таковыми не только после победы, но и вследствие победы. Только слепой не способен усмотреть, насколько политический и идеологический террор второй половины сороковых и начала пятидесятых был следствием страхов и перестраховок правящей клики в условиях послевоенного мира.

Одержав победу над чужим народом, с особым рвением принялись за свой.

На «культ личности» приходится отвечать адекватно.

Сталин, по-видимому, был патологическим трусом. Ему можно посочувствовать, ибо диктатор жил в вечном страхе. Львиную долю своего времени, своей энергии, своей изобретательности он тратил

на предвидение и предотвращение реальных и мнимых угроз его власти, его политическому статусу и его бесценному физическому существованию. С первой угрозой – со стороны самого Ленина – ему, видимо, помогла природа. Вторым был слишком беспечный и уверенный в себе Троцкий. Затем предусмотрительный вождь стал убирать всех, кто в его воспаленном воображении мог представлять малейшую угрозу – тех, кто слишком много знал, тех, кто когда-либо перечил, тех, кто становился слишком популярен, наконец тех, кто был ни в чем не замечен, кто был рабски предан – чтобы боялись все. Так он делился своим страхом со страной, которую поработил. На семнадцатом съезде партии, «съезде победителей», вождь-шутник навел винтовку на зал. Жест обернулся обещанием – почти все делегаты съезда, победители, будут уничтожены спустя всего три года...

В сорок седьмом новая волна страха, видно, накрыла вождя. Армия, победившая врага, привыкшая ничего не бояться и повидавшая заграничную жизнь, возвращалась по домам. Ей навстречу из концлагерей вот-вот должна была хлынуть волна репрессированных, отсидевших минимальный – десятилетний — срок. И те, и, тем более, другие могли представлять угрозу. Мудрость вождя основывалась на его предусмотрительности.

13

Меня уволили из армии в августе 1946 года; я добрался из польского Щецинка до Ленинграда 19 августа. 21-го в газете «Правда» было опубликовано постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», где советскому народу объяснили вредоносность упадочных стишков Анны Ахматовой и клеветнических смешков некоего Зощенко. В те дни я не успевал читать газету «Правда». Ничего, мне напомнят об этом постановлении задним числом. А далее – помните?

Дискуссия по книге Александрова «История философии», в ходе которой окончательно выяснилось, что история философии есть история становления и развития материализма в его борьба с идеалистическими учениями. Откуда-то заодно выяснилось, что вся история искусства есть история становления и развития реализма в его борьбе с антиреалистическими течениями.

Впрочем, нет нужды перечислять чувствительные для профессионалов эпизоды, если вся гуманистика была смята под прессом убогих мифологем, наспех подлаженных к двоичному стилю мышления вождя. Катастрофическими последствиями чреваты были гонения на науку. Самым чудовищным был разгром биологии, в результате которого биологическим диктатором номер один стал проходимец, жулик и палач Трофим Лысенко; другим абсолютным научным авторитетом, под стать первому, была сделана некая Лепешинская. Там же яркой августовской звездой просвистел ветеринар Бошьян со своими анекдотическими открытиями, призванными прославить советскую диалектико-материалистическую науку. Не знаю, подсчитал ли кто-нибудь хотя бы примерно, каких потерь стоила отечественной науке, отечественному сельскому хозяйству, отечественной медицине, отечественному образованию эта пародийная симуляция исследовательской деятельности. Между прочим, назревал аналогичный погром отечественной физики, где смертоносный запах идеализма ощущался явственно; на это еще сам Ленин намекал. Околонаучные проходимцы уже вострили зубы на презренную буржуазную лженауку; статейки, чьи авторы задирали ножку на теорию относительности, я читал собственными глазами... Тут, однако, до погрома дело не дошло – бомба была нужнее. Зато непроницаемую преграду для кибернетики, этой *уличной девки империализма,* удалось воздвигнуть своевременно. Результат налицо: компьютеры в России не научились делать до сих пор.

Конечно, гигиенические чистки науки составляли актуальную задачу партии. Но художественная культура была предметом особой заботы вождей, одно историческое партийное постановление следовало за другим – то о кинофильме «Большая жизнь» (оно на годы парализовало отечественное кино), то «О репертуаре драматических театров»...

Выпущенные одной пулеметной очередью, эти полицейские документы деловито обрабатывали культурное поле великой страны, делая его стерильно бесплодным. Идеологи, однако, продолжали трудиться: обнаружилось, что музыка не менее запущена – два года спустя после оглушительного послевоенного залпа сорок шестого года пришлось заняться композиторами. А там уже было недалеко до еще более содержательно емкой статьи в газете «Правда» от 29 января 1949 г. «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», где идейная защита советской драматургии искусно

сочеталась с сигналом к началу оголтелой, под стать Гитлеру, антисемитской истерии с далеко идущими конечными целями. Кстати уж, заметили ли вы уже по приведенному здесь заголовку статьи, что пролетарский интернационализм был решительно вытеснен патриотизмом?

Между тем другие органы не дремали: все выше поднимался гребень кагебешных репрессий, составной частью которых стали новые посадки и отправки в концлагеря людей, уже отсидевших свои сроки за мнимые преступления против советской власти. Органы безопасности были завалены работой, а лагеря переполнены заключенными... Солженицын и Шаламов внятно описали послевоенный ГУЛАГ, узниками которого им удалось побывать.

14

Здесь наскоро освеженный и посыпанный сахарной пылью нынешний патриот может задать мне вопрос.

Да, скажет он, все это было и давно известно, но при чем здесь победа? Вы рассуждаете по схеме “post hoc ergo propter hoc” – «*после* значит *вследствие*» – схеме, которая служит обычно классическим примером логической ошибки.

Да, скажу я, про логическую ошибку мне известно. Тем не менее часто случается, что *следствие наступает как раз после причины*, post hoc, подумать только!

Вы полагаете, что установление коммунистических режимов в Польше, Чехословакии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Восточной Германии случайно совпало с вступлением туда советских войск?

Проверьте, пожалуйста.

Чуть более интенсивной, но отнюдь не сложной умственной работы требует установление причинно-следственной связи между победоносным окончанием войны в союзе с западными демократиями, возвращением в страну побывавшей в Европе армии, пробуждением связанных с войной и победой свободолюбивых надежд – и новым развертыванием идеологического и политического террора внутри страны.

Попробуйте подумать, голубчик. Возможно, получится.

15

А я завтра вспомню девятое мая сорок пятого года – мое девятое мая, не имеющее ни малейшего касательства к тому, что произойдет на Красной площади девятого мая 2015 года. Щи отдельно, мухи отдельно.

У меня своя компания – Федя Вершеня, Степа Скнарь, Коля Цветков, Миша Малафеев, которые в тот день были со мной у кремлевских стен. А еще в моей компании десятки других, и в их числе – мой первый ближайший сосед в строю Яков Рутгайзер, другой мой сосед в строю Аркадий Бачурин, и многие-многие, кто на Красной площади девятого мая сорок пятого не был...

Завтра там появится много других, очень других. Качественно других. В атмосфере украденного и сфальсифицированного праздника слышны мерзкие запахи сталинистского реванша. Тут открыли мемориальную доску, там поставили памятник, кто-то целует портрет, кто-то испытывает сладость во рту, раболепно повторяя имя...

Старинное акробатическое искусство облизывания сапога, который об тебя вытира-ют, снова в цене. У сапога большая давка!

...К сожалению, не был в том мае со мной у кремлевской стены первый мой отделенный командир, сержант Ваня Мухин – честный, умный, ответственный и человечный. Ваня Мухин – невысокий, слегка сгорбленный набок после первого ранения, со скуластым лицом чуть монголоидного уклона – мой лучший, главный, живой аргумент против тех, кто сегодня утверждает, что народ России безнадежен. Нет-нет, пока там сохраняются Иваны Мухины – надежда остается.

Не знаю только, сколько их осталось, Мухиных.

8.05.2015

Примечание редакции

Хотя большинство материалов данного выпуска альманаха «Образы жизни» собрано в 1914 году, эта статья Б. М. Бернштейна написана в начале мая 2015 года.

Мартин Мелодьев

НА СОПКАХ МАНЧЖУРИИ, ИЛИ ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ГЕНЕАЛОГИИ

Собственно говоря, все началось со стихотворения, написанного мною десять лет назад после творческого вечера Евтушенко в Пало-Альто. (Стихотворение почти с натуры, если не считать того, что моя дочка на тот вечер не ходила. Но Евгений Александрович, едва я попросил его надписать ей книгу, тут же и написал: «Соне, дочери моего старого друга», хотя видел меня впервые, как и я его. Этот подарок до сих пор греет мне душу и память).

* * *

Черна рубашка, на рубашке вышивка.
Ты приглядись: на ней снежинка вышита,
и человек, объехавший весь свет,
читает в сотый раз, а может, в тысячный:
«Над Бабьим Яром памятников нет».

Я дочку в детский сад возил на саночках,
в их группе было несколько Оксаночек,
а Сонечкой была она одна.
И, может быть, уехавшая вовремя,
следя, как зал охватывает молния,
запомнит этот вечер и она.

Прапрадед мой, раввин всея Подолии,
Волыни и Галиции — не более,
но как бы и не менее того —
убит посмертно и лежит, закопанный
в Яру. Другой в Манчжурии под сопками.
Об остальных не знаю ничего.

Трудись, душа! Работай, и не сравнивай.
Беспроволочно небо над Испанией,
и человек, объехавший весь свет,
отыскивая рифму к слову «вешалка» —
читает нам, американка-беженка.
«Над Бабьим Яром памятников нет… »

Точнее, следует сказать, что стихотворение *оказалось* почти с натуры, после нескольких лет похода по его приметам. На момент же написания оно просто иллюстрировало известную схему: “дед Иван, дед Абрам” средствами в меру художественного авторского воображения на почве скромных семейных преданий.

Когда же несколько лет спустя я приехал в Киев, и в маленькой квартире моего дяди Люсика, – фронтовика, командира разведроты, – в Березняках мы допивали вторую бутылку его фирменной “ореховки”, на огонек заглянул наш родственник Гриша. Мы выпили еще, и вскоре они на два голоса – почти как известный некогда дуэт поэтов Пригов-Друк – исполнили сагу о ребе Рабиновиче, нашем предке из династии раввинов почти целиком вырезанного при Хмельницком подольского горола Красного.

Мой прадед Нодельман

У ребе было шестеро сыновей и по тогдашним законам всем, кроме первенца, светила долгая военная служба. И хотя дискриминация по возрастному признаку тогда еще не считалась предосудительной, ребе стало жаль отдавать детей в рекруты, и он выправил им всем метрики – на разные фамилии, – “и вот тогда-то в пяти вовсе бездетных

до той поры бедных еврейских семьях родилось пятеро братьев-первенцев: Нольбух, Нойзик, Хайнин, Глебург и даже Фасман, однофамилец знаменитого советского джазового оркестра" – завершили Гриша с Люсиком. В ответ я прочитал им приведенный выше стих и был благословлен на дальнейшие поиски, предположительно, на сопках Манчжурии.

О своих русских предках я знал очень мало. Бабушка тетя Маня на мои расспросы о дедушке отвечала глухо и невнятно – почему-то в итоге у меня сложилось впечатление, что он в войну ушел с немцами. Может быть, бедная бабушка действительно сочинила такую страшилку, чтобы я отстал. Когда она и мама умерли, приставать стало не к кому. Много позже от маминого брата я узнал, что деда в 1938-м арестовали в Душанбе (он руководил там какой-то стройкой) и приговорили к расстрелу, а бабушка схватила детей и спешно уехала на другой конец страны, в Сибирь.

А в 1989-м мы уехали в Америку, где как раз тогда начал стремительно набирать обороты Интернет, – и я решил попробовать выяснить хотя бы происхождение своей фамилии, а если повезет, то и найти хотя бы дальнюю родню. Я подозревал, что Мелодьевых найдется совсем не много, но оказалось, что довольно долгое время кроме меня их в сети вообще не было. И когда я уже почти отчаялся, в одном из региональных списков сталинских жертв нашлась Мелодьева Александра Евлогиевна, 1890 г. рождения.

ДЕКАБРИСТКА

Моей однофамилице, расстрелянной 10.12.1937

Столько снегу в Тесницком лесу намело
Чуть заметна, угадывается тропа
"Александра Евлогиевна Мелодьева… ",
ей — нараспев строфа

Ах, гусарские ментики, голубой доломан!
Взять бы в руки гитару, да что-то немеет рука.
Был бы жив Сладкопевец (по-гречески – мелод) Роман,[1]
он бы все переделал и начал писать с кондака.

"Дева днесь родилась в Тульской области, город Белёв,
изумрудную воду несет подо льдом Ока…"
Столько снегу в Тесницком лесу в том году намело.
Третий вечер знобит слегка.

Тесницкий лес, страшное место (известное как "тульское Бутово"), тоже находится в Тульской области, и я решил дать объявление о поиске родственников на сайтах Тулы и Белева. Ответ пришел через полгода из… Троице-Сергиевой Лавры. Оказалось, что мой корреспондент, иеромонах и насельник, пишет книгу о белевских монастырях и церковной жизни Белева в 20-м веке и располагает фотографиями А.Е. Мелодьевой и сведениями о ней и о ее близких, которыми будет рад со мной поделиться. Он прислал мне две фотографии, сделанные в 1937 г. в Тульском угрозыске, на них совершенно отчетливо видно, что она недавно плакала. Оказалось, что она – внучка священника, дочь судебного следователя, была близка с арестованным в 1937 епископом Тульским и Белевским Никитой и была расстреляна вместе с еще пятьюдесятью обвиненными по 58-й статье (в большинстве женщинами). И что фамилия ее чуть другая: Мелод**и**ева.

Мы договорились, что я не буду публиковать ничего из присланного до выхода книги, в издании которой приму посильное финансовое участие. От золотого тиснения и места в когорте спонсоров я уклонился, зато попросил, чтобы мое стихотворение вошло в книгу. Автор написал, что должен посоветоваться со своим научным руководителем: приличествует ли включать светский стих в книгу духовного направления? Оказалось, вполне... Книга[2] вышла, а еще через год мне из Белева пришло приглашение на научно-практическую общественную конференцию, на которой присутствовали члены профессорско-преподавательской корпорации Московской духовной академии и семинарии, духовенство Тульской епархии, сотрудники Белёвского районного художественно-краеведческого музея, студенты Московской и Тульской духовных семинарий...

Как раз в это время я приезжал в Москву,

[1] Византийский гимнограф, автор кондака "Дева днесь".

[2] «Белевский край. Очерки церковной жизни XX-XXI вв.»

но выбраться в Белев так и не получилось. Зато в отчете о конференции, опубликованном на сайте Московской Духовной академии, мне посвящен целый абзац – в первый и единственный раз в жизни я оказался VIP.

«Из Сан-Франциско (Калифорния) для участия в конференции прибыл поэт Мартин Мелодьев, родственник регента Троицкой церкви Анны Евлогиевны Мелодиевой и Александры Евлогиевны Мелодиевой, сподвижницы священно-мучеников Игнатия (Садковского) и Никиты (Прибыткова), расстрелянной в 1937 году. К сожалению, он не смог приехать в Белёв и поэтому запланировал посетить 27 сентября Свято-Троицкую Сергиеву Лавру»

Должен сказать, посещение Лавры, любезно организованное моим корреспондентом, было совершенно замечательным и заняло целый

Греко-латинские академики

день. Мы посмотрели музей, в котором среди прочего запомнились облачение патриирха Никона и федоровский «Апостол». Нас с дядей сводили на колокольню и даже дали легонько стукнуть по самому большому колоколу (моя жена, остававшаяся внизу, сказала, что народ очень удивился и долго смотрел вверх).

Обедали мы в монастырской трапезной; было очень вкусно, а на десерт мы ели белевскую яблочную пастилу, некогда знаменитую на всю Европу. Сейчас ее снова стали делать.

P.S. В алфавитном указателе к книге на букву “М” о большом семействе Мелодиевых все они названы Мелодьевыми, я же из-за этого попал в начало списка и значусь там как “М.Мелодиев, поэт”.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Мелодиев М., поэт — 237
Мелодьев Василий Евгеньевич, дядя А. Е. Мелодьевой — 374
Мелодьев Владислав Евлогиевич, брат А. Е. Мелодьевой — 374, 375
Мелодьев Евгений Симеонович, свящ., дедушка А. Е. Мелодьевой — 374
Мелодьев Евлогий Евгеньевич, отец А. Е. Мелодьевой — 374
Мелодьев Евсевий Евлогиевич, брат А. Е. Мелодьевой — 374, 375
Мелодьев К. Е., дядя А. Е. Мелодьевой — 374–375
Мелодьев П. Е., дядя А. Е. Мелодьевой — 374
Мелодьева (Мелодиева) Александра Евлогиевна — 122, 221–224, 228, 229, 233, 237, 374–375, 500
Мелодьева А. К., двоюродная сестра А. Е. Мелодьевой — 374
Мелодьева Александра Антоновна, мать А. Е. Мелодьевой — 374
Мелодьева Анна Евгеньевна, тетя А. Е. Мелодьевой — 374
Мелодьева Анна Евлогиевна, сестра А. Е. Мелодьевой — 221, 375
Мелодьева Е. Е., тетя А. Е. Мелодьевой — 374
Мелодьева К. Е., тетя А. Е. Мелодьевой — 374
Мелодьева О. Н., супруга свящ. Е. С. Мелодьева — 374
Мелодьева П. Е., тетя А. Е. Мелодьевой — 374
Менжинский В. Р., нач. секретного отдела ГПУ, зам. председателя ГПУ — 155

Мартин Мелодьев
САБЛЯ ГАРИБАЛЬДИ

(Две хроники одного рода)

Часть 1. «ДОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ.
Судьба историка оружия Всеволода Арендта».
(Из статьи профессора А.Н. Кирпичникова)[1]

Всеволод Викторович Арендт, историк оружия и военного дела, оставил заметный след в науке. Расстрел в 1937 году как бы перечеркнул всю его деятельность. Его имя оказалось забытым. Теперь по отрывочным данным можно воссоздать биографию этого незаурядного человека. Некоторые подробности удалось почерпнуть из анкеты ученого, сохранившейся в архиве Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, [1] следственного дела, обнаруженного в архиве Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и трудового списка, обнаруженного в архиве Государственного Исторического музея в Москве.[2]

В. В. Арендт родился в Москве 27 февраля 1887 года. Его дворянский род восходит к далеким немецким предкам, жившим в XII веке. В роду, обрусевшем еще в XVIII веке, были потомственные военные и врачи. Вспомним лейб-медика Н. Ф. Арендта, лечившего смертельно раненного А. С. Пушкина. Что касалось В. В. Арендта, то в документах советского времени он записан русским. Мать его была русской, а отец — поляком.[3]

Дом Арендта. Даешь реституцию!

В 1906-1908 годах молодой дворянин учился на юридическом факультете Университета в Тулузе во Франции, а в 1909-1910 годах был слушателем Московского археологического института. Как стипендиат этого института В. В. Арендт в 1911 году находился в заграничной командировке — занимался в музеях Вены и Парижа. Его военная служба юнкером началась в 1908 году. Во время Первой мировой войны В. В. Арендт был боевым офицером. В 1915 году он командовал эскадроном Первого Лейб-Драгунского Московского имени императора Петра Великого полка. В октябре 1917 года В. В. Арендт в чине штабс-ротмистра уволен из армии, как сказано в его трудовом списке «по болезни и контузии». Из этого ясно, что он участвовал во фронтовых операциях и ушел из армии, случайно или нет, в дни большевистского переворота.

В дальнейшем в 1918-1923 годах бывший драгун служит в Красной армии, ведет преподавательскую работу, консультирует учебу кавалеристов, работает в Главном управлении коннозаводства. Один из последних его постов перед демобилизацией — [399] заместитель начальника учебной части Высшей школы штабной службы командного состава.

В 1926-1933 годах В. В. Арендт работал в Государственном Историческом музее в Москве (консультант, заведующий отделом). Одновременно он пробует себя в журналистике, выступает как консультант Всесоюзного общества культурной связи с заграницей и Театрального музея, занимается организацией музея обороны Москвы (1812 года? — А. К.).

С переездом в Ленинград он более обстоятельно начинает заниматься научной работой. С 1935 года он числился старшим научным сотрудником, затем ученым секретарем Артиллерийского исторического музея. 1 октября 1937 года ему присвоили звание профессора Государственного музея этнографии, а на следующий день по доносу сослуживца арестовали. В жизни ученого этот арест был четвертым по счету.[4]) Через два с половиной месяца В. В. Арендта не стало. Его жена Евдокия Ивановна Кожевникова и пасынок погибли в годы блокады Ленинграда. Семейные документы и большая часть библиотеки, видимо, не сохранились. Лишь некоторые книги с экслибрисом Арендта я видел в библиотеке Эрмитажа с надорванными корешками.

По отзыву авторитетных ученых-современников В. В. Арендта — А. В. Арциховского, А. П. Смирнова, Г. А. Новицкого, написанному в 1934

1 Анатолий Николаевич Кирпичников родился 25 июня 1929 г. в Ленинграде. Окончил исторический факультет ЛГУ в 1953 г./ Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Член научного совета Российского военно-исторического общества. Заведующий Отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры Российской Академии наук. Статья печатается с разрешения автора, сделанные (мной — М.М.) сокращения касаются специальных оружиеведческих вопросов. Полный текст статьи см. ΣΥΣΣΙΤΙΑ. Сборник статей памяти Юрия Викторовича Андреева. Спб. 2000 г.

году, «он является крупнейшим в СССР специалистом по истории оружия и автором нескольких десятков (более сорока — А. К.) печатных работ, где разрешил ряд вопросов, относящихся к оружию сарматскому, тюркскому, новгородскому, московскому». В. В. Арендт был, несомненно, одаренным человеком и в изучении отдельных видов средневекового оружия достиг, может быть, большего, чем его предшественники. Жизнь и творчество ученого были оборваны на взлете в зловещем 1937 году. Эти трагические дни можно представить по его следственному делу, насчитывающему 46 листов.

3 октября 1937 года арестованному днем раньше В. В. Арендту было предъявлено обвинение [400] в антисоветской деятельности (по статье 58 УК), что он первоначально отрицал. При обыске были изъяты паспорт, разная переписка и 41 иностранный журнал. Ученый обменивался письмами с зарубежными коллегами, музеями и издательствами. Это в те годы могло показаться подозрительным. Однако о международных связях, равно как и о научных изысканиях в деле нет ни слова. Очевидно, программа дознания была иной.

Вызванный на допрос 11 октября В. В. Арендт уже не отрицал «своей вины», а признал, что в кругу знакомых «высказывал антисоветские взгляды». Он и его «единомышленники» (в деле названы два археолога, этнограф и архивный работник)[5] «осуждали политическую линию ВКП(б) и Советского правительства с контрреволюционных позиций». Подпись под текстом допроса выведена неверной рукой и подчищена. Дознание явно велось с пристрастием. Судя по тому, что постановление о причинах ареста предъявлено В. В. Арендту 11 октября сержантом госбезопасности Родиным, заместителем начальника отдела, младшим лейтенантом госбезопасности Божичко, начальником отдела, капитаном госбезопасности Карповым, они и вели допрос. При его чтении обращает внимание поразительное обстоятельство. Документ раскладывается на оговор и очевидную правду, по-видимому, затененную при жизни на свободе или даже не очень скрывавшуюся. (Археологи, знавшие Арендта, говорили мне, что в общении он держался независимо и не скрывал своих мыслей). Всеволод Викторович со смелостью обреченного высказал своим мучителям те взгляды, которые, скорее всего, давно разделял. Он сказал: «Главный вопрос, который нас всех волновал и который мы часто обсуждали, — это положение интеллигенции в советских условиях. В данном вопросе мы единодушно сходились на том, что интеллигенция в СССР находится в политически бесправном положении. В процессе своих суждений мы утверждали, что в Советском Союзе осуществляется жесткая диктатура партийной верхушки, подавляющая всякую свободу мысли особенно в среде интеллигенции, лишенной права высказывания своих убеждений и симпатий тому или другому политическому строю. (...) В стране осуществляется резкий нажим на все слои населения, от которого, с нашей точки зрения, больше всего страдает интеллигенция. В области экономики мы резко осуждали политику коллективизации сельского хозяйства как враждебную, проводившуюся насильственным путем и уничтожившую, с нашей точки зрения, стимул развития сельского хозяйства. Мы говорили о том, что советская власть применяет на строительстве рабский труд, имея в виду строительство каналов. Лично я утверждал, что вся страна сейчас замучена, находится в подавленном состоянии».

Эти провидческие слова звучат как суровое обвинение. История подтвердила их справедливость. Сказаны они, безусловно, без подсказки, искренне, честно, для своего времени с захватывающей смелостью. В 1937 году подобное выступление квалифицировалось как тягчайшее преступление. Все равно, что подписать самому себе смертный приговор. Не случайно, допрос завершился стандартной, видимо, наговоренной следователями, фразой. «Все наши суждения имели одну цель — показать необходимость борьбы против Советской власти, за ее свержение и восстановление в СССР капиталистического строя».

Одного признания арестованного об «антисоветских» разговорах его с товарищами следователям показалось недостаточно, и они 17 ноября в последний раз допросили В. В. Арендта. Тот, понимая, конечно, безвыходность своего положения, в ответ на вопрос о намерении использовать индивидуальный террор ответил, что «терракты дадут реальные результаты». Так просто неосторожные собеседники превратились в вооруженных боевиков. Каких-либо сведений о конкретных «подрывных» действиях кружка Арендта в деле, как и следовало ожидать, нет.

В ходе следствия был допрошен единственный свидетель. Им оказалась научная сотрудница Эрмитажа, известный археолог. 25 ноября 1937 года она сообщила, что знает В. В. Арендта с 1928-29 годов. Он, будучи музейным работником «очень низкой квалификации», в разговорах *«клеветнически заявлял, что интеллигенция в СССР не имеет политических прав и устранена от участия*

в руководстве политической жизнью страны»; говорил, что «*вся страна терроризирована, никто не может сказать свободно о своих политических убеждениях, (...) клеветал на действия органов НКВД, заявляя, что проводятся массовые репрессии, что сажают людей без основания*». Допрос заключают слова о том, что «*все суждения Арендта содержали в себе резкую злобу и ненависть к Советскому строю, ко всем мероприятиям ВКП(б) и Советского правительства».*

В 1962 году при проверке дела В. В. Арендта ту же свидетельницу вновь попросили рассказать о ее знакомом и записали нечто противоположное прежним показаниям. Оказалось, что Всеволод Викторович был очень «увлечен своей специальностью, ...взаимоотношения с ним были хорошие, ...насколько помню, антисоветских и антипартийных взглядов я от него не слышала». Когда же свидетельнице [401] напомнили о ее показаниях 1937 года и дали их прочитать, то, по словам допрашиваемой, оказалось, что ее первоначальные показания «не соответствуют действительности», а были даны «под принуждением». (Я не хочу раскрывать имени этой женщины по этическим соображениям).

Возвратимся к основному сюжету. 26 ноября 1937 года следствие по делу В. В. Арендта было закончено. Обвинение гласило, что он «входил в антисоветскую группу и участвовал в обсуждении политической линии ВКП(б) и мероприятий Советского правительства с контрреволюционных позиций, является сторонником террористических методов борьбы против Советской власти». 14 декабря В. В. Арендт по приговору особой тройки был расстрелян. Ему было тогда 50 лет.

Утверждение следствия о существовании антисоветской группы стало разваливаться уже в период, когда по делу Арендта в конце 1937 года привлекли названных в нем людей. При этом двое арестованных сообщили, что не знали или не общались с другими членами «своего» кружка. Осужденный как член упомянутой группы заведующий архивом Артиллерийского исторического музея И. Д. Тубянский в жалобе, написанной в лагере в 1940 году, пояснил, что «с Арендтом у меня были лишь нормальные служебные отношения и некоторое уважение к нему как незаурядному специалисту в области военной археологии». Что же касалось обвинения в групповой антисоветской деятельности, то оно «неправильно и необоснованно», а признание добывалось таким путем: «На мое категорическое отрицание (вины) следователь Михайлов поставил меня на "стойку" и с применением избиений собственных и с помощью других сотрудников отдела. Так как я все же не мог сообщить ему ничего подходящего, то через сутки непрерывного допроса (следователь) заявил, что будет меня разоблачать». Жалоба не помогла. В 1942 году Тубянский умер в Онеглаге.

В 1962 году по запросу заведующего Ленинградского отделения Института археологии АН СССР профессора Б. Б. Пиотровского дело В. В. Арендта было пересмотрено и при этом выяснилось, что никакой антисоветской группы не существовало и все дело было сфальсифицировано. По протесту прокурора г. Ленинграда Президиум Ленгорсуда дело прекратил 25 декабря 1962 года. В. В. Арендт был посмертно реабилитирован.

Трагическая судьба В. В. Арендта наводит на размышления. Вспомнился писатель К. И. Чуковский, который в 1962 году в своем дневнике по поводу коммунистического террора 1930-40-х годов, как бы продолжая мысли В. В. Арендта, писал следующее: *«Вся эта мразь хотела искоренить интеллигенцию, ненавидела всех самостоятельно думающих, не понимая, что интеллигенция сильнее их всех, ибо, если из миллиона ими замученных из их лап ускользнет один, этот проклянет их навеки веков, и его приговор будет признан человечеством»* (Чуковский. 1994. Запись от 16. 06. 1962). Такой же разящей силой обладает и следственное дело В. В. Арендта. При всей типичности описанных приемов дознания, оно выделяется тем, что документировало истинное отношение смелого и честного ученого к существовавшему тогда тоталитарно-репрессивному режиму. Эта долгое время засекреченная и, наконец, открывшаяся нам правда обращена к настоящему и грядущим поколениям, ибо и в наши дни приходится отстаивать ценность работы ученого и беречь от забвения научные и моральные свершения наших предшественников.

Примечания:

1) Архив Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Фонд 3 Р. Оп. 13. Ед. хр. 32 (личное дело В. В. Арендта). Я признателен Л. К. Маковской за помощь в архивных поисках в ВИМАИВ.

2) Архив Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу. Дело 32556 по обвинению Арендта по статье 58, п. 8 через статью 17 пункты 10 и 11 УК. Благодарю В. В. Мурашеву, отыскавшую в архиве ГИМ'а «Трудовой список»

В. В. Арендта.

3) Мать — Любовь Николаевна Арендт. В 1937 году ей было 86 лет. Отец — Виктор Болеславович Арендт в анкете судебного дела указан подполковником, политическим ссыльным. Занимался переводами. Умер в 1929 году.

4) В 1918 году В. В. Арендт был арестован ВЧК в Москве на две недели, в 1925 году в Москве на 12 дней, в 1935 году задержан НКВД в Ленинграде на два часа. Что касалось последнего ареста в 1937 году, то он произошел в условиях массового террора и истерической охоты за людьми, когда, как известно, за одно неосторожно сказанное слово вели на эшафот. Так случилось и с В. В. Арендтом. Такое «слово» он обронил в одном случайном разговоре (об этом мне рассказали в ВИМАИВ люди, помнившие этого человека). Данный факт был квалифицирован как «антисоветская деятельность». К тому же, по своему социальному происхождению Арендт, несомненно, рассматривался властями как классово чуждый элемент. Археологи старшего поколения говорили мне, что Всеволод Викторович выглядел как «породистый дворянин». К сожалению, мне не удалось отыскать его фотографии.

5) В следственном деле названы: Д. Н. Грищенко, научный сотрудник Государственного музея этнографии (арестован в декабре 1937 года, приговорен к 10 годам лишения свободы, умер в заключении), И. П. Красников, научный сотрудник Государственной академии истории материальной культуры (арестован 20 апреля 1937 года), М. Г. Худяков, научный сотрудник той же Академии (осужден в 1936 году), И. Д. Тубянский, научный сотрудник, заведующий архивом Артиллерийского исторического музея (арестован 8 декабря 1937 года, приговорен к 10 годам лишения свободы, умер в 1942 году в заключении).

ЧАСТЬ 2. САБЛЯ ГАРИБАЛЬДИ

Не мною замечено, что состояние увлеченности каким-либо предметом притягивает материал в геометрической прогрессии. Читая статью профессора А.Н. Кирпичникова «Допрос с пристрастием. Судьба историка оружия Всеволода Арендта», я испытал не только горечь, но и столь же сильное волнение, узнав, что отец Всеволода Викторовича, Виктор Болеславович Арендт, в анкете судебного дела «указан подполковником, политическим ссыльным. З а н и м а л с я переводами. Умер в 1929 году».

Дело в том, что примерно месяцем раньше я получил из России копию п о с л у ж н о г о списка моего п р а д е д а , п о р у ч и к а Якутского 42-го пехотного полка, где было сказано, что он «женат первым браком на Антонине В и к т о р о в н е , д о ч е р и к а п и т а н а А р е н д т а » . Конечно же, меня не могли не привлечь фамилия, известная каждому читавшему о Пушкине, а также возможность наличия родственной связи – почему бы и нет, особенно, если принять во внимание, что армейские капитаны, выходя в отставку, обычно награждались чином подполковника. Так что Всеволод Арендт вполне мог оказаться братом моей прабабки, а Виктор Болеславович моим прапрадедом. Некоторая нестандартность его биографии: политическая ссылка в сочетании с отставкой с мундиром подогревали интерес, и мне захотелось как можно больше узнать о своем предполагаемом предке, хотя бы он и не был из династии врачей (в одной из газетных статей Всеволод Арендт был сгоряча назван «родным внуком» знаменитого лейб-медика.., но тогда, выходит, Николая Федоровича Арендта звали даже не Николасом Мартином, а... Болеславом-Казимиром).

Виктор Болеславович

Вообще, фамилия Арендт не столь уж и редкая, особенно в ряду с родственными фамилиями: Арент, Арндт, Арнольд, Аренс, Ахрен и т.п.. Все они происходят от древневерхненемецкого «Арн» — «Орел» сросшегося с глаголом «повелевать». Основатель ветви рода Арендтов, к которой принадлежали Виктор Болеславович и Всеволод Викторович, происходил из подконтрольного польской короне Варминского княжества в Пруссии; эта фамилия довольно распространена в тех краях и сейчас. В середине 17-го века Адам Арендт выехал

ко двору короля Яна III Собеского и получил должность ловчего в королевской Беловежской Пуще, там же потом служили его сын и внук. А его правнук после третьего раздела Польши перебрался в Минскую губернию, как и многие представители мелкой и средней шляхты. У него было трое сыновей: Александр[1], мой прапрапрадед Петр и Болеслав, отец Виктора Болеславовича. Все эти дела давно минувших дней отыскались в Центральном историческом архиве Литвы. Но найти более поздние данные, как ни странно, оказалось труднее.

Живя вот уже двадцать лет в Калифорнии, я не мог провести масштабный поиск по российским архивам и обратился к Интернету. Довольно долго все ниточки вели в никуда. И, наконец, меня постигла удача: я набрел на очерки Станислава Коржова «Жемчужную не рвите нить», в одном из которых есть памятный мне документ – привожу его целиком.

В Центральный комитет Всесоюзного профсоюза металлистов
Ветерана Революции, члена ВКП (б) № 784113
Виктора Болеславовича Арендта.
З А Я В Л Е Н И Е

В октябре 1927 года состоялся декрет правительства о том, чтобы "государственные учреждения оказывали возможные содействия потомкам Парижской Коммуны 1871 года. Быв участником Парижской Коммуны, обращаюсь в Центральный комитет с покорной просьбой об улучшении бедственного материального положения родного племянника моего, правнука декабриста Ивана Николаевича Анненкова, который по профессии бухгалтер, работает в качестве простого рабочего, в Ленинграде на заводе медеобрабатывающем "Красный Выборжец" в трубном цехе в качестве вальцовщика. У него большая семья: из жены, трех детей и матери, а он в семье единственный работник, с болезненым состоянием здоровья, как инвалид Германской войны, заработанных денег не хватает на пропитание и он находится в сильной нужде.

Благоволите не отказать в зависящем распоряжении и почтить меня своим уведомлением.
...Москва 28 марта 1929 г.

У автора очерка возникали определенные сомнения в такой концентрации революционного прошлого в одной семье, но они развеялись, к тому же последующая судьба Ивана Николаевича Анненкова известна из нескольких источников.

Анненков Иван Николаевич
Родился 22.05.1887, г. Санкт-Петербург; б/п; Ленпищетрест, бухгалтер. Проживал: Ленинград, Б.Московская 9-12.
Арестован 16 марта 1935 г. Приговорен: ОС НКВД СССР 20 марта 1935 г., обв.: СОЭ.
Приговор: Сослать на 5 лет в Атбасар.
Реабилитирован 4 июля 1990 г.
Источник: Архив НИЦ "Мемориал" (Санкт-Петербург)

Анненков Иван Николаевич *Родился в 1887 в Санкт-Петербурге. Получил среднее образование, в 1918 – добровольцем служил в Красной армии, после демобилизации работал бухгалтером в учреждениях Ленинграда, в 1930-х – работал в "Ленпищетресте". 17 марта 1935 – выслан в Атбасар Карагандинской области на 5 лет, в июле 1935 – скончался в Атбасаре.*
Жертвы политического террора в СССР. Компакт-диск. ГАРФ. Ф. Р. 8409. Оп. 1. Д. . 1559. С. 148

Вслед за тем я нашел в Интернете дело, слушавшееся Правительствующим Сенатом в 1893 г., представленное поверенным штабс-капитана Виктора Арендта и попавшее в анналы сенатских установлений. Дело (точнее, определение Сената на решение Московской судебной палаты 1890 г.) заключалось в том, что палата обязала Арендта платить содержание на двух незаконнорожденных детей от девицы К, уроженки и постоянной жительницы Варшавы: Виктора, родившегося 31.05.1886 года и Ивана, родившегося 22.05.1887 года. Он же этому противился, хотя и признавая отцовство. Под тем предлогом, что в тогдашнем законодательстве содержание на детей, появившихся в результате прелюбодеяния (т. е. хотя бы один из партнеров состоял на момент этого деяния в браке — а Арендт был женат) не было оговорено явно, в отличие от криминального (изнасилование) или противозаконного сожительства (неженатого с незамужней). Сенат, однако, счел это казуистикой и жалобу Арендта отклонил, создав таким образом прецедент. Жаль даже, что эта расширительная концепция алиментов не удержалась в советском законодательстве и не возродилась в российском.

[1] Экспансивный родитель назвал своего первенца, родившегося в 1807 г., Александром-Наполеоном в честь Тильзитского мира. Вполне возможно, что пятилетний Александр видел отступление Великой армии и переправу войска Наполеона через Березину.

Вскоре он женился на Любови Николаевне, вдове действительного студента Московского университета Зимарева, из купцов. Супруги купили два дома в 1-м Волконском пер., они и сейчас там. В одном из них и родился Всеволод Арендт.

Тем не менее, Виктор Болеславович не представляется мне бесчестным отцом. Наверное, вы тоже заметили, что его «племянник» Иван Николаевич Анненков и его сын Иван родились в один и тот же день: 22 мая 1987 года, правда, один в Варшаве, а другой, чудесным образом, в Петербурге. Ходатайствовать за сына, назвавшись его дядей, а его отчима, о котором известно лишь, что его звали Николай Анненков, сделать внуком декабриста, – на это в 1929-ом году даже бывшему коммунару уже требовалась известная смелость. Таким образом, у Всеволода Арендта нашлось двое единокровных братьев, и мне удалось кое-что вычитать о них в Интернете.

Анненков Викт. Никл. *В 1908-м корнет 13-го гусарского Нарвского полка, в 1910-м – корнет 1-го гусарского Сумского полка. В 1913-м – поручик элитной кавалерийской части: гвардейского жандармского полевого эскадрона. В августе 1917-го – штаб-ротмистр того же эскадрона, переименованного в ординарческий. Петербург.*

Анненков Ив. Никл. *В 1910м- корнет 1-го гусарского Сумского полка. В 1916-м – поручик 1-го запасного кавалерийского полка, потом 9-го запасного кав. полка. В августе 1917-го – поручик ординарческого эскадрона. Петербург.*

К сожалению, остаются неизвестными подробности дореволюционной военной службы самого Всеволода, но будущность и жизнь его братьев оказались под угрозой еще до Октября.

ДЕЛО ГЕНЕРАЛА Л.Г. КОРНИЛОВА, ТОМ I[1]

...5. Резолюция солдат Гвардейского ординарческого эскадрона, вынесенная на общем собрании. «После обсуждения фактов, то есть которые выказали наши офицеры своим поведением в период с 27 по 31 августа включительно: 1) наш командир полковник Скрипчинский явно ввел нас в заблуждение тем, что всячески старался склонить нас на сторону бывшего Верховного главнокомандующего генерала Корнилова и не подчиняться Временному правительству, как однажды заявив, что такого больше не существует, чему, конечно, со своей стороны был очень рад, что бывшие временные правители есть вожди, предатели страны и свободы, которые, всецело работая совместно за деньги с германским генеральным штабом, во-первых, а во-вторых, что Керенский, как штатский человек, военным министром быть не может; 2) офицер эскадрона штабс-ротмистр Анненков всецело был на стороне командира эскадрона полковника Скрипчинского и поддерживал его слова, когда же солдаты эскадрона спросили его, Анненкова, к чему приведет нас борьба двух партий, то он открыто заявил, что интересы наши с Вами разны, и поэтому мы будем бороться до последнего; 3) офицер эскадрона поручик Анненков, вероятно, подготовляя поход контрреволюции, еще 13 августа на эскадронном заседании горячо старался убедить солдат эскадрона, дабы вынести резолюцию для какой-то поддержки генерала Корнилова. Но мы солдаты эскадрона эту резолюцию отвергли и сказали, что мы верим генералу Корнилову, и верим только до тех пор, пока ему доверяет Временное правительство. Просили Верховную следственную комиссию рассмотреть дело о вышеупомянутых офицерах, как явно выступающих контрреволюционеров. Мы, солдаты эскадрона, со своей стороны считаем дальнейшее пребывание названных офицеров в эскадроне невозможным».

Тут пахнет уже не политической ссылкой, а смертью. И странно, что у отца – ветерана революции – сыновья выросли ярыми монархистами, гораздо чаще случалось наоборот..

Совершенно неожиданным было обнаружить имя Виктора Болеславовича в оглавлении сборника «Новые стихи. М. Всероссийский союз поэтов. 1927. Сб. 2». Мне повезло – как раз во время моей поездки в Москву в 2010 г. в РГГУ проходила выставка «На Парнасе Серебряного века», где экспонировалась эта редкая книга; мне любезно разрешили снять копию со стихотворения Фейги Коган «Кладбище Pere-Lachaise: (В.Б. Арендту — участнику боев 1871 г.)»

Простой и суровой стене поклонись
На кладбище Пер-Лашез,
«Стене коммунаров» душой поклонись
На кладбище Пер-Лашез.
На камни стекали кровавой росой
На кладбище Пер-Лашез,
Уста леденели кровавой росой
На кладбище Пер-Лашез.

[1] http://delo-generala-kornilova-1.blogspot.com/2013/08/13-1.html

И пели сквозь слезы и пули, и кровь
На кладбище Пер-Лашез,
Прославить коммуну спешила их кровь
На кладбище Пер-Лашез.
Багряной и гордой рекой потекла
От кладбища Пер-Лашез
Сквозь Францию, дым и века потекла
В таинственный северный лес,
В дремучие сосны и топи болот,
В лохматые ели, – и вот
У стен пробужденных златого Кремля
Французская снится земля,
И славим под солнцем полярных небес
Мы кладбище Пер-Лашез.

Не ерничая, я все же невольно запинаюсь на «полярных небесах», ставших из фигуры речи многолетним кошмаром для «врагов народа» и «социально-опасных», подобных Ивану Николаевичу Анненкову. Но удивительно не это.

Впервые за двадцать лет приехав в Москву, я, в надежде узнать хоть что-нибудь о жизни Арендта-старшего из дела Московской судебной палаты, записался в читальный зал ЦИАМа. До сих пор я радуюсь и удивляюсь, как просто оказалось мне тогда, с моим нерусским паспортом, оформить пропуск и получить допуск в архив. На фоне нынешних двусторонних истерик тревожно за нормальные отношения – и все крутится в голове гениальное (оно же легендарное, знаковое и культовое) стихотворение Игоря Иртеньева: «Моя страна идет ко дну со мною заодно – и мне обидно за страну, и боязно за дно».

А в фонде судебной палаты обнаружилось не одно, а целых три дела о Викторе Болеславовиче, два из которых были действительно о политической неблагонадежности (в те времена она еще не увязывалась с моральным обликом).

Из отзыва его полкового командира:

«Вел себя по службе небрежно, в отношении других лиц обнаружил беспокойный и неуживчивый характер, но политической неблагонадежности за ним не замечено» ...

Хотя «другие лица» не дремали. Представьте:

…Июльский вечер в Дорогобуже, комендантский сад, гуляющие расходятся, оркестр изнемог. «А теперь, господа, попрошу польский гимн. Гей, славяне! –Jeszcze Polska nie zginęła! Извольте играть громче». И началось:

– Господин прапорщик! позвольте вас спросить, при чем тут Польша?

– Извольте! При том, что она тут была, всего 200 лет тому назад.

– Позвольте, это прямое подстрекательство!

– Арендт, вы такой славный, особенно когда эпатируете.

– Извольте выбирать выражения!

– Городовой, потрудитесь прекратить!

– Велите им играть российский гимн!

–…Прекрасно. А теперь, господа, благоволите! Похоронный нарш. Я сам буду вашим... дирижером.

«Против нас хоть весь мир, что нам!
Восставай задорно.
С нами Бог наш, кто не с нами –
Тот падёт позорно».

«...Самонадеян, болтлив, имеет критический склад миросозерцания, но не будучи достаточно образован, относится к жизни легко и не имеет никаких определенных идеалов».

Надо сказать, что либо командир недооценил своего подчиненного, либо тот учел критические замечания: в последующие годы он добавит к военному образованию курс юридических наук при штабе Корпуса; выйдя в отставку, окончит Московский археологический институт, а в 55 лет поступит на юридический факультет Московского университета экстерном и получит диплом первой степени. Помимо этого, Арендт много лет был деятельным членом Историко-родословного общества и Императорского православного Палестинского (существующего и ныне под тем же названием под председательством экс-главы ФСБ Степашина). После полученного на русско-турецкой войне ранения в битве при Деве-Бойну состоя на попечении военного Александровского комитета о раненых, деятельно занимался устройством детских приютов в Москве и Костроме, и даже был несколько лет казначеем общества спасания на водах. Был награжден двумя русскими орденами и четырьмя медалями, но иностранные с особенной нежностью перечислены в его формуляре: Кавалерский крест португальского ордена Христа, Папский орден Гроба Господня 3-го класса, орден св. Екатерины горы Синай и совершенно уже экзотический «Военный орден св. Маргариты 1-й степени со звездой, королевства Седанг».

К сожалению, почти нет сведений о жизни Виктора Болеславовича в 80-е годы, периодом между оставлением им военной службы после ранения и

возвращением в строй в 1893-м. Не исключено, что он много путешествовал и побывал в странах, награды которых имел. Сомнительным, правда, предстает королевство Седанг, основанное французским авантюристом Шарлем-Мари Давидом де Майреной под именем Мария I -го в горных районах Вьетнама и номинально просуществовавшее с 1888-го по 1890-й год. Но как бы там ни было, известно, что В.Б. Арендт был избран почетным членом Московского Археологического института – «за оказанные Институту особые заслуги».

Что же до самонадеянности и болтливости, то они (в сочетании с определенным взглядом на миросозерцание) скорее свидетельствуют о литературном таланте. В объяснительной записке на предмет исполнения «Боже, царя храни» в очередь с Бетховеном автор объясняет, что звуки российского гимна вызывают в нем смешанное чувство восторга и грусти: он вспоминает брата, погибшего на войне с турками, и поэтому всегда просит исполнить похоронный марш.

В послужном списке В.Б. Арендта на 1909 г. , представленном им при поступлении в университет, написано, в частности, что он удостоился премии Palme d'Or от Тулузской Интернациональной Академии за конкурсное сочинение «История дипломатических сношений России и Франции» и стал профессором литературы в названной академии. Текст этого сочинения пока, к сожалению, не найден, но воспоминания Арендта, написанные им в последние годы жизни о его участии в делах Парижской коммуны, польского восстания 1863-64 г. и, – совсем еще юношей, гимназистом – в отряде гарибальдийцев, – публиковались в 20-е годы в изданиях МОПРа и не были обойдены вниманием. Они появились и на многих интернет-сайтах к отмечавшемуся в 2010-м году стасорокалетию Коммуны. В их числе очерк 1928 г. «Революционерка», об участнице польского восстания Анне Теофиловне Пустовойтовой, дочери польской аристократки и русского генерала, как и автор, сосланной в Вологодскую губернию и впоследствие ставшей медсестрой в Коммуне. Позднее она вышла замуж за врача. Скончалась в Париже в 1881-м году. Другая большая статья, 1929 г., «Дни Коммуны 1871 года» – это достаточно подробная хроника революционных событий от польского гарибальдийского кружка в Варшаве и до поражения Парижской коммуны, – переплетшихся с жизнью автора.

А жизнь его была долгой. Годом его рождения считают 1943-й, основываясь на том, что, когда он примкнул к гарибальдийцам в 1859-м, он как раз заканчивал гимназию, т.е. ему было лет 16. Умер он в 1929-ом году. Безусловно, в здравом уме и твердой памяти: его рассказы о тех давних событиях, современником которых он был, изобилуют деталями. Особенно подробен рассказ о гибели Анны Пустовойтовой на баррикаде, *«на бруствере которой Анна Теофиловна водрузила свое красное знамя с надписью: «Да здравствует пролетарская социальная революция и Парижская Коммуна». Но недолго развевалось это знамя. <...> Отбив атаку версальцев, я с Арнольдом, обернув тело героини в ее знамя, отнесли драгоценную ношу на кладбище Pere la Chaise, где ждали нас уже ее друзья, оповещенные о несчастии. Мы вырыли могилу рядом с Домбровским и, не найдя гроба, опустили Анну Теофиловну, обернутую в то же знамя, покрытое непромокаемым моим пальто... <...> Всякие слова прикоснулись бы грубо к тому, что чувствовали окружающие. <...> Дорогою памятью после нее у меня остались: сабля Гарибальди и орден Симона Боливара Освободителя, похищенный Петлюрою в Киеве в 1918 г.».*

Последнее, учитывая пристрастие В. Б. Арендта к иностранным экзотическим орденам, вполне могло быть правдой. Но вот все остальное: революционные битвы, ссылки и лишения, дружба с Домбровским и Пустовойтовой, не говоря уже об участии в гарибальдийском кружке — умелая компиляция, сочиненная весьма энергически, подчас талантливо, но чаще цветисто. Собственно, это и подвело автора. Собственноручно похоронив Пустовойтову за десять лет до ее мирной кончины (за это время она родила мужу четверых детей), автор, предупреждая возможные вопросы, в статье вышедшей годом позже вносит правку: «В тот же день была убита родственница Анны Теофиловны — Антонина Пустовойтова, девушка-героиня, работавшая при отряде Врублевского в качестве сестры милосердия. Вечером, на кладбище Пер Ля-Шез, мы похоронилии ее рядом с Домбровским... » etc. Такой вот день.

Что до гарибальдийского кружка, то автор пишет о нем кратко, и это не удивительно: в 1959-м году он не только еще не окончил гимназии, но даже еще и не поступал — ему было 5 лет. Кстати, его крестным отцом был его дядя, а мой прапрапрадед, П.П. Арендт.

Вот выписка из метрики: *«Киевского военного Свято-Николаевского собора в метрической книги первой части о родившихся 1854 года значится так: тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года*

Декабря 12 дня Киевского внутреннего гарнизонного батальона у Поручика Болеслава Петрова Арендта и законной жены его Марии Иосифовой родился сын Виктор. Восприемники были Софийского Морского полка Капитан Петр Петров сын Арендт и дворянка Александра Иосифова дочь Бобр. Таинство крещения 30 числа того же Декабря месяца совершил Протоиерей Илия Межеровский с Псаломщиком Васильем Лебедевым».

Соответственно, вряд ли мальчик мог в последующие три года, то есть к девяти годам, *«успеть пройти курс Краковской академии по историко-филологическому факультету».* Но его владение словом, эрудиция и способности бесспорны, равно как и авантюрный склад характера. Собственно, это и побудило меня попробовать написать о нем; я почему-то думаю также, что он во многих отношениях заметно влиял на сына и, при всей неполноте, тень от его портрета – с саблей или без – позволит объемнее представить время, жизнь и судьбу советского историка оружия Всеволода Викторовича Арендта. Так же, как щит и шлем их герба «Trzy klosy», утвержденного Сенатом буквально накануне Октября 1917г.. Проект герба и все генеалогические документы тоже были представлены в департамент герольдии стараниями В.Б. Арендта. Он очень ревностно относился к вопросам своего происхождения, что хорошо иллюстрирует следующая «Выписка из журнала заседаний Виленского Дворянского Депутатского Собрания от 10 июля 1915 года».

СЛУШАЛИ: Указ Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от 20 июня 1915 года за № 3048 о перенесении Виктора Болеславова-Казимирова Арендта и его сына Всеволода из первой в шестую часть дворянской родословной книги и об отказе в ходатайстве о перемене его онемеченной фамилии Арендт на прежнюю польскую фамилию предков его «Арент» и о утверждении за родом его герба «Арент».
ПОСТАНОВИЛИ: Указ принять к сведению и Виктора Болеславова-Казимирова Арендта и его сына Всеволода перенести из первой в шестую часть дворянской родословной книги, о чем и донести Правительствующему Сенату по Департаменту Герольдии. Подлинный за надлежащими подписями.

Собственно биографические сведения об Арендте-старшем я впервые обнаружил в статье д.и.н. В.И. Королева «Жандармы Крыма. Кто они [1]» Среди прочих офицеров Таврического ГЖУ[2] там есть и Виктор Болеславович Арендт.

«Ротмистр, начальник Керченской крепостной жандармской команды с 24 декабря 1896 года. 1854 г. р. Православный. Из потомственных дворян Киевской губернии. Окончил Варшавское пехотное юнкерское училище. Начал службу в 1870 году юнкером 6-го Гренадерского полка, служил в ГЖУ Орла, Одессы, Вологды. В октябре 1897 года отбыл из Крыма на должность начальника Гродненского ЖПУЖД. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Награжден двумя орденами и четырьмя медалями. Жалованье: штатное — 366, дополнительное – 400, столовые – 250, канцелярское расходы – 50, на содержание писаря – 120, прислуги – 96, кучера и экипажа – 300. Женат, растил одного сына. Жена имела собственный дом в Москве».

Когда же впоследствии из его послужного списка выяснилось, что он после окончания Варшавского пехотного юнкерского училища стал офицером того самого 153-го Бакинского полка, куда якобы забрили в солдаты его лирического героя, ссыльного коммунара Виктора-Казимира, – отпали последние сомнения.

Честно говоря, я долго решал, стоит ли вообще городить литературный огород вокруг давно уже ставшей классической коллизии «Дети лейтенанта Шмидта», но потом я подумал, что живший в 1929 г. в Одессе в доме ветеранов революции 1905 года бывший ротмистр Отдельного корпуса жандармов Виктор Болеславович Арендт, как, может быть, никто другой, соответствует тезису современного историка[3] о том, что «реалии нового века выдвигали повышенные требования к уровню интеллектуального развития жандармских офицеров, понимания ими характера происходящих в обществе процессов».

Процессы же эти жандармским офицерам, даже отставным, мягко говоря, ничего хорошего после 1917 года не предвещали. Хотя в целом служба В.Б. Арендта протекала большей частью в ЖПУ ЖД (жандармско-полицейских управлениях железных дорог), то есть, скорее в транспортной, чем в политической security. При этом не исключено и даже весьма вероятно, что в Вологде он имел

[1] В журнале «Историческое наследие Крыма», № 17 за 2006 г.

[2] Губернское жандармское управление

[3] Ярмыш А.Н. Наблюдать неотступно… (Административнополицейский аппарат царизма и органы политического сыска в Украине в кнце XIX — начале XX в.). — К.: Юринформ, 1992. — С. 81—82, 89.

возможность познакомиться с материалами об Анне Теофиловне Пустовойтовой, бывшей там в ссылке после подавления польского восстания 1863-64гг.. Возможно, именно они в конце 20-х навели его на мысль написать очерк «Революционерка». Как знать?

УССР. Наркомсобес. Дом ветеранов революции им. 1905 года.[1]

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № 22
Предъявитель сего Ветеран Революции Виктор Болеславович Арендт участник: Революционного движения Гарибальди в 1858-1860 г., Польского восстания 1863 г. и Парижской Коммуны 1871 года в отряде Ярослава Домбровского.
Тов. Арендт участвовал в организациях: "Земля и Воля" 1861-1862 г. и "Народовольцев" 1879-1880 г.
Проживает в гор. Одессе по Французскому пер., 6 в доме Ветеранов Революции, что и удостоверяется.
Заведующий домом Ветеранов Революции (подпись) РОМАНОВСКИЙ.
Копия с подлинным верна. Печать.

В заключение хотел бы немного рассказать еще о двух представителях рода Арендтов.

Младший брат моей прабабки Сергей Викторович Арендт родился 12 мая 1886 г. в Кременце, где тогда служил его отец, а мой прапрадед, Виктор Петрович. Он тоже стал военным: окончив Киевский кадетский корпус, поступил в Елисаветградское кавалерийское училище и в 1909 г был выпущен корнетом в 11-й Рижский драгунский полк, расквартированный в Кременце. Вскоре после начала первой мировой войны был переведен в 14-й драгунский полк и к 1917 г. стал полковником. Был награжден за боевые отличия орденами св. Анны 3-й и 4-й степени и св. Владимира 4-й ст. Потом воевал уже с большевиками в армии генерала Е.К. Миллера, того самого, которого в 1937 агенты ЧК выкрали из Парижа, где он возглавлял союз эмигрантов, служивших до революции в царской армии (РОВС). Генерала засунули в ящик и в трюме советского парохода увезли в СССР, где после многомесячных допросов скорее всего расстреляли.

* * *

В 1920 г. Сергей Арендт вместе со штабом Миллера и частью его солдат и офицеров под огнем красных успел спастись на ледоколе в Норвегию[2], где и прожил до самой смерти. Работал в Осло на мыловаренной фабрике, был прихожанином первой в Норвегии православной церкви (св. Николая), общался, в основном, с такими же, как он, эмигрантами, бывшими офицерами.

Многие их них женились на норвежках и еще живы старушки, помнящие его. В сентябре 1957 г. на похоронах норвежского короля Хакона VII Арендт вместе с морским офицером Борисом Арским возложили венок от солдат и офицеров бывшей российской Императорской армии. Семьи у него не было, сестра Антонина умерла совсем молодой, а о своем племяннике Борисе Мелодьеве он не имел никаких известий.

Журнал «Часовой»[3] *1964 № №453*

23-12 в Осло умер, 76-ти лет от роду. Полковник 14-го Драгунского полка,
Сергей Викторович Арендт,
окончивший Елизаветградское Кавал. училище и Киевский кад. корпус.
Помимо всех лучших человеческих достоинств, он до конца своей жизни сохранил в себе образ блестящего офицера Российской Императорской кавалерии, со всеми старыми бессмертными традициями.
Сообщил Б. А. Арский.

Мой прапрапрадед Петр Арендт, служивший в Саратовском гарнизононном батальоне, в 1854 г.

---

1 Этот документ тоже взят из книги Станислава Коржова «Жемчужную не рвите нить».

2 В феврале 1920г в Архангельске, где помещалось правительство Северной области и командование его армией, назревало большевистское восстание. Одновременно красные войска развили массированное наступление практически на всем протяжении фронта. В сложившихся условиях было спешно принято решение об эвакуации. Около тысячи человек — офицеров, членов их семей, солдат, гражданских лиц — погрузились на ледокол «Козьма Минин» и шхуну «Ярославна», и суда взяли курс на Мурманск. Красные на ледоколе «Канада», вооруженном пушкой, пустились в погоню и открыли стрельбу. К счастью, пассажиры с «Ярославны» к тому времени перебрались на «Минин», а орудие с нее перегрузили на ледокол еще в Архангельске; ответный огонь оказался для преследователей неожиданным. Завязалась единственная в истории артиллерийская дуэль двух ледоколов. Очевидцы говорили,что зрелище было очень эффектным: сверкающие фонтаны глыб, взрывающиеся в ледяном поле в опасной близости от бортов. Вскоре «Канада» предпочла ретироваться, а «Минин», пройдя полосу тяжелого льда, пошел в норвежский порт Тромсе, поскольку из Мурманска была получена радиограмма о захвате города большевиками.

3 Издавался сперва в Париже (с 1929г.), после войны — в Брюсселе, вплоть до второй половины 80-х годов. Отражал взгляды лидеров военной части белой эмиграции, постепенно приобрел мемориальный характер.

неожиденно для себя едва не стал жертвой дела по обвинению саратовских евреев, в том числе солдат гарнизона, в похищении и убийстве христианских мальчиков – для использования их крови в тайных обрядах. «Дело» это, возникшее по доносу местной полууголовной шушеры и стараниями господ антисемитов, доставило немало бед как обвиняемым, так и командованию гарнизона, заподозренному в попустительстве евреям.

Вот как это вышло: (далее текст взят из книг «Еврейский Саратов: страницы истории», и «Журнал гражданского и уголовного права, Вып. 3-4. СПБ, 1880. Раздел «Памяти стараго суда» (уголовная хроника)»

«В начале декабря 1852 г. в Саратове исчез мальчик 10-ти лет Феофан Шерстобитов, сын ремесленника, а месяц спустя в этом же городе исчез другой мальчик, сын крестьянина, Михаил Маслов. В марте 1853 г. на Волге, недалеко от берега, нашли труп Маслова, а через некоторое время, когда Волга уже вскрылась, на Беклемишевом острове, что против Саратова, обнаружили и труп Шерстобитова. <...> При осмотре особенно поразительным показалось то, что оба мальчика были обрезаны. Была произведена экспертиза <...> над двумя еврейскими и одним татарским мальчиком в присутствии городского врача, муллы и еврея- солдата Шлифермана, совершавшего обряды обрезания у саратовских евреев, – для выяснения, по какому способу – еврейскому или татарскому – совершено было обрезание Маслова. Экспертиза пришла к заключению: "к какому роду обрезания – еврейскому или татарскому ... определить невозможно".

Тем не менее, следствие сразу же направило свое внимание (и внимание местного христианского населения и властей) на евреев как на «вероятных» виновников преступления. Действовало оно по привычной логике: у татар и христиан ранее не замечалось преступлений на ритуальной почве, а евреи в этом заподозрены издревле.
<...> Следователь распорядился подвергнуть Шлифермана тюремному заключению».

«Объектами следствия, но не суда, было все властное в батальоне <...> но в числе разных командиров была одна личность, сумевшая навлечь на себя особливо яростные нападки и инсинуации господ доносчиков и их покровителе. Эта злосчастная личность была – капитан Арендт. Он имел несчастие быть военным депутатом и, в качестве депутата, отстаивал своих солдат, протестуя против всех неправильных действий и пристрастного отношения следователей к обвиняемым рядовым. Отступление Арендта от всех традиций военных и иных депутатов, привыкших в старое доброе время, считать своею провиденциальною миссиею лишь подписывать, не читая, какую только подсунут бумагу,– показалось его штатским коллегам непозволительною ересью, достойною подобающего возмездия». «За свою честную позицию Арендту в дальнейшем придется жестоко поплатиться – он будет обвинен не только в пособничестве евреям, но даже ... в тайном исповедовании иудаизма».

<...> «Читатели помнят, что по поводу заарестования Шлифермана было подано капитаном особое мнение, вызвавшее сначала пререкание, а затем столкновение между ним и следователем... <...> Над капитаном был учрежден секретный надзор, как над человеком, причастным к делу об убийстве мальчиков... Следователь Дурново нашел все эти отзывы, особые мнения и, вообще, скептическое отношение Арендта к следственной одиссее «преступным» и препроводил всю эту переписку, на усмотрение корпусного командира генерала-от-инфантерии Гартунга. Генерал решил спор таким образом: Не усматривая основания к обвинению Арендта в каком-либо участии в саратовских преступлениях, он тем не менее ничего не имеет против учреждения над ним надзора»... (Все-таки шел не 1937й. – М.М.)

Борис Туберман

КОГДА Б НЕ ВЫ, МОИ РОДНЫЕ ПРЕДКИ...

До Октябрьской революции, прозванной Великой, было еще чуть меньше чертвети века. И катилась жизнь в «еще той России» спокойной чередой. Ранним зимним морозным утром с петербургских окраин в центр города медленно двигалась странная группа. Впереди шла завернутая в лохмотья маленькая девочка. За ней, держась за ее плечо и по очереди за плечо друг друга, цепочкой шла группа людей. Это были слепые. Незрячие крестьяне в те годы часто приходили в большой город, где подаяний давали больше, а жизнь была сытнее, чем в бедных деревнях. Группа завершала свой долгий и тяжелый переход из бедной деревеньки Подсосыня, что рядом с большой деревней Максатиха Тверской губернии, в шумный и богатый Санкт - Петербург за подаяниями... Девочка, шедшая впереди, была их глазами; она происходила из бедной крестьянской семьи, в которой кормить лишний рот оказалось накладно. Ее отдали в поводыри, за что слепые кормили ее, отсчитывая несколько медяков от своих скудных дневных подаяний. Ну что могла обещать жизнь этому маленькому худенькому существу, завернутому в лохмотья, ни читать, ни писать, ни внятно говорить, естественно, не умеющему? А было этому существу от роду девять годочков...

Всем хорош был славный Санкт-Петербург. Яркие, широкие улицы, которые очень страшно переходить медленной цепочкой. Слепцы сбивались в одну кучу, чтобы быстрее пересечь широкую улицу или площадь и не быть сбитыми лихими извозчиками, со свистом и улюлюканьем проносившимися по питерским мостовым. Вот тут и затаилась главная для слепцов опасность и беда, которая однажды и произошла. На одной из улиц лихач-извозчик, во весь опор летевший прямо на эту незрячную команду, заставил девочку резко отпрыгнуть в сторону, чтобы не быть сбитым лошадью, а когда пролетка пронеслась, сомкнувшаяся сзади толпа отделила поводыря от обшей группы и, сколько девочка ни крутила головой вправо и влево, своих слепых кормильцев найти не могла. Они, естественно, ее тоже...

Вот так столица империи внесла свои первые коррективы в жизнь этого маленького, не готового для жизни, существа. Звали ее Пелагея, фамилия была – Козлова. Деревенька называлась Подсосыня, а губерния – Тверской. Это было все, что девочка знала о себе.

* * *

Конец девятнадцатого века. Петербург. Морозная зима. Ночь...

На углу одной из улиц сидела голодная полузамерзшая девочка. От холода она не могла даже плакать, только мелко дрожала, молчала и ждала, когда сможет уснуть... но ей говорили, что на морозе засыпать нельзя – можно замерзнуть. И вот тут судьба, следящая за каждым из нас, решила дать пожить этому маленькому существу...

По улице шел респектабельный господин в шубе и дивился узорам, которые мороз вырисовывал на окнах питерских домов. Неожиданно глаз господина уловил какое-то движение в куче тряпья на углу; мужчина подошел чуть ближе и заметил, что оттуда на него смотрят два дрожащих детских глаза.

– Ты кто? – спросил господин.

– Пелагея,– послышалось из тряпок.

– Откуда ты? – был вопрос.

– Из Подсосыни – был ответ.

– А где живешь?

– Нигде...

Господин задумался и, прекрасно зная, какой силы мороз бывает петербургской ночью, тоном приказа произнес: “Ну-ка, девочка, вставай и иди за мной”. Девочка поднялась на замерзшие ноги и поковыляла за господином; она была в каком-то замерзшем полузабытьи, и ей было решительно все равно за кем ковылять и куда... только бы с этой холодной и страшной улицы...

После небольшого пути господин открыл ключом дверь, и они оказались в просторном и теплом цеху пекарни, в углу которого стояла большая, широкая печь.

– Девочка, – сказал господин, – видишь эту плиту: днем на ней делают выпечку, а вечером и ночью

плита еще теплая. Постелишь на нее матрасик и будешь спать. Вот веник, вот совок, ты должна будешь целый день ходить и подметать любой мусор, везде, где увидишь. Это будет твоя работа. Здесь на кухне тебя и будут кормить. Другими словами, жить ты будешь здесь.

– Все тебе понятно, Пелагея? – был вопрос.

– Все, – был ответ.

А теперь надобно объяснить, что этот господин, забравший девочку с улицы и совершенно правильно решивший, что если он этого не сделает, то ребенок к утру замёрзнет насмерть, был хозяин пекарни-кондитерской, давно обрусевший немец... К моему великому сожалению, я не узнал имени этого человека. А полузамерзшая девочка Пелагея или Полина, как ее благозвучно стали звать, впоследствии стала моей бабушкой. Но об этом дальше.

* * **

Года летели. Полина росла. Немец-хозяин относился к ней как к своему ребенку, хорошо помня ту ночь, когда спас ее от неминуемой смерти. Подрастая, девочка превратилась в очень толковую, умную, схватывающую все на лету, а главное, необычайно красивую девушку. Хозяин постепенно отдал в ее руки все производство, потом всю торговлю и все финансовые расчеты с банками. Корче, Полина стала самым доверенным лицом и правой рукой хозяина, уже пожилого человека. Когда ей исполнилось 18 лет, хозяин пригласил ее на разговор. Он сообщил, что с того дня, когда Полина появилась в его доме, на каждые её именины – а в дореволюционной России именины справлялись часто вместо дня рождения – хозяин откладывал в банк на ее имя определенную сумму, столько же, сколько своим детям. Показал ей отчет банка, сообщил какая сумма собралась за все эти годы и предложил вступить в его дело полноправной партнершей или, если она захочет, открыть свое дело. Полина выбрала второе и открыла на свое имя два шляпных и перчаточных магазина на Петербургской стороне, в одном из стариннейших районов столицы. И вот тут начался новый, непредсказуемый виток её судьбы.

Как рассказывала она сама, её дело шло очень хорошо, давало немалый доход, и она подумывала уже о приобретении дома, как она говорила,"в приличном районе". Но однажды в её магазин зашел элегантный и приятный господин. Он купил шляпу, вежливо поговорил с хозяйкой и произвел на неё впечатление... Господин пришел на следующий день и приобрел перчатки, потом еще перчатки, потом еще шляпу... Однажды он предложил Полине прогуляться по проспекту, а затем в городском парке.

* * **

Влюбился Петр Петрович в Полину по самые уши. А уши, надо заметить, были не простые, а... княжеские. Потому как принадлежал этот господин к знаменитой, но обедневшей ветви князей Белосельских-Белозерских, ни больше, ни меньше... Конечно, в их роду были и состоятельные представители, которым принадлежал роскошный дворец на Невском проспекте у Аничкова моста, у того, что с конями по углам. В отличие от них у Петра Петровича дворцов не было, а был у него, как тогда говорили, "доходный дом", довольно большой пятиэтажный, на неширокой, мощеной еще булыжником Ружейной улице, которую потом переименовали почему-то в улицу Мира, около Кронверкского проспекта, на Петербургской стороне. Князюшка просто сдавал квартиры в аренду, а в одной, большой пятикомнатной, жил сам, совсем не бедно, но и не шибко богато. Так вот, влюбился Петенька, как его называла потом Полина, отчаянно, и после недолгих, но красивых ухаживаний предложил Полиньке, как он её называл, руку вместе с сердцем. Полина предложение с достоинством приняла. Петр Петрович уведомил обо всем свою родню и... начался большой шум! Ведь жених-то был старинного дворянского очень известного рода. А невеста кто? Барышня - крестьянка! Родня жениха встала на дыбы, как те самые кони на Аничковом мосту. Недопустимо! Мезальянс! А Петенька был человек хоть и небогатый, но решительный, с родней спорил, уговаривал и поступил по-своему: скромная, но достойная свадьба состоялась. Ни один представитель знаменитого рода на свадьбу не явился... А Петр Петрович не шибко и переживал. Поленька была с ним, а это, очевидно, было для него главным.

Вот как умели любить люди до Великой Октябрьской... В соответствии со всеми законами жизни и биологии Поленька понесла во чреве и в том самом, 1917 году, благополучно разрешилась девочкой, которую назвали Оленькой, Ольгой Петровной. Пролетел год, второй. Жизнь в Петрограде становилась тяжелее и страшнее... Как рассказывала мне потом бабушка, магазины у неё никто не

Полина и Петр Петрович с дочерью Оленькой

забирал, просто распродали все, что было на полках, а нового подвоза товаров уже не предвиделось, и ушла она просто из пустых помещений... Декретом Петроградской ЧК частную собственность, коей и был тот самый пятиэтажный дом, забрали в народную собственность, состоятельные жильцы поразбежались, и в квартиры въехали новые хозяева жизни. Но квартиру Петру Петровичу и Полине с Оленькой каким-то чудом оставили, правда, не надолго. Поняв, какие грядут времена, Петр Петрович иллюзий насчет своей судьбы не строил, так как принадлежал он к вражескому "буржуйскому классу" и, понимая, что ничего хорошего его не ждет, воспользовался неразберихой смутного послереволюционного хаоса. Он переделал себе документы на имя своего печника и стал зваться Петр Петрович Алферов. Думал убережется... Наивный был князюшка. Не знал он, что советскую власть не проведешь и не обманешь... Она до всего докопается, и осведомители у неё есть везде. Лихим днем 1920 года за ним приехали из Петроградской ЧК и увезли с собой. Больше Петра Петровича никто не видел... Вот таким несчастливым образом моя бабушка Полина Михйловна и её двух летняя дочка Оленька, моя будущая мать Ольга Петровна, остались одни. Без мужа, отца и всяких средств к существованию... Но судьба готовила им еще один невероятный виток...

* * *

Украина. Начало 20-го века. Залитый солнцем и зеленью деревьев городок Бердичев. Речка со звучным названием Гнилолять, одноэтажные домики, садки. Церковь, синагога, смешанное украинско-еврейское население, со своими праздниками и буднями, радостями и горестями... Рядом расквартирована красная дивизия Котовского, от которой жителям было не меньше бед, чем от банд атамана Зеленого... Евреям особенно, впрочем, как всегда и везде... Так вот, жил в Бердичеве добрый, веселый еврей Хаим-Дувед Озеранский. А был Хаим-Дувед или просто Давид, извозчиком, имел лакированную бричку, лошадь и длинную белую бороду. Все любили Давида за добрый и веселый нрав, особенно соседские дети, которых он катал по пятницам на своей бричке. А еще была у Давида дочка Хася... Но красивая дочка это не только "мазл", то есть отцовское счастье, но еще и "цурес", что значит, проблемы. И тоже отцовские. А проблемы Давида Озеранского заключались в том, что рядом с ним жил молодой сапожник Борух-Меир Туберман... Но если бы так себе, просто жил и все... Так нет же... Борух-Меир положил свой глаз, и на кого вы подумали? Правильно, на красавицу Хасю. Но Давиду нужен был зять сапожник, как вам, извиняюсь, дорогой читатель, восьмая дырка в голове. Вы уже подсчитали... Борух-Меир, сапожник, уважительно просил Давида отдать ему дочку Хасю в жены, но добрый извозчик хотел отдать свое сокровище не за какого то "шустера", то есть сапожника, а за человека уважаемой профессии, скажем там за мясника или, что еще лучше, за бухгалтера... Борух-Меир был хоть и еврей, но парень решительный и знал, что если нельзя выпросить или купить, то можно... украсть! И вот однажды вечером, на третий день после праздника Симха Тора, решительный молодой сапожник Борух-Меир Туберман украл шестнадцатилетнюю красавицу Хасю Озеранскую из отчего дома. Надо заметить, при полном несопротивлении самой Хаси. И уехал с ней из славного города Бердичева куда-то на юг. Через год они вернулись, но возвращать Хасю родителям не было никакого смысла, потому что у неё был уже заметно кругленький животик. Короче, Борух-Меир женился на красавице Хасе и все снова стало очень хорошо в городе Бердичеве. А теперь, надобно вам сказать, читатель, просто чтобы вы не потеряли историческую нить, что Хася в будущем стала моей бабушкой, а решительный и смелый Борух-Меир, соответственно, дедом.

Так вот что я вам расскажу дальше. Красавица Хася благополучно разрешилась девочкой, которую назвали Рейзел, то есть Роза... А вслед за Розой в 1913 году на свет появился чудесный и здоровенький мальчик Янкель, потом дочка Берта или попросту Бетя, потом еще сынок Абрам... Борух-Меир был очень продуктивным мужчиной, а Хася, соответственно, очень плодоносной женщиной, Но мне хочется подробнее остановиться на Янкеле. Поверьте, я имею на то причины.

Мальчик рос здоровым и сообразительным. Утром ходил в хедер, где познавал премудрость Торы, а днем помогал отцу в сапожной мастерской. Освоил Янкель всю сапожную науку: он мог и колодку выстругать, и заготовку выстрочить, и затяжку на колодку сделать, и ранты вшить, не говоря о такой мелочи, как набойки и каблуки. У парня были золотые, аккуратные руки и очень разумная голова. Своей еврейской красотой Янкель пошел в мать, а решительностью и мужественностью в отца. И вот однажды произошло нечто, перевернувшее всю жизнь паренька. Янкель вышел как-то раз из отцовской мастерской и услышал странное жужжание в небе. Он поднял глаза и увидел... самолет. Маленький самолет медленно плыл в солнечном небе. Янкель смотрел на самолет, как завороженный, не в силах оторвать взгляд от неба даже когда самолет скрылся за горизонтом... С этого дня парень потерял покой, он не мог забыть вида летящей машины на фоне громадного голубого купола неба... И что вы думаете произошло дальше? Янкель, любимый средний сын Хаси и главная надежда отца, через год собрал свой чемоданчик с нехитрой одеждой и, наведя нужные справки, уехал в город Севастополь

поступать в Качинское летное училище!... Бердичев был потрясен, такого еще не было, чтобы еврей и вдруг... в летчики. Но на Украине уже была советская власть, и евреям тогда еще все было можно... Сколько труда и прилежания пришлось выложить этому еврейскому парню, практически даже плохо говорившему по-русски и знакомому только с началами элементарной математики, знал только он сам. Янкель проявил невероятную работоспособность и, в конце концов, стал курсантом военно-воздушного училища. Через три положенных года он закончил училище и был направлен в одну из войсковых частей авиации около Ленинграда для дальнейшего прохождения воинской службы. К тому времени Янкель, давайте впредь будем называть его Яков, как он и был записан во всех своих документах, усиленно и регулярно занимался гимнастикой и плаванием, тело его налилось стальными мускулами, а уж по мужественной красоте прямое ему место было бы в Голливуде. Парень делил все свое время между самолетами, авиационной техникой, гимнастическим залом и бассейном, а поскольку обладал сильным отцовским характером и упорством, то достиг отличных результатов и был включен в сборную спортивную команду по плаванию и прыжкам в воду Военно-воздушных сил. Дальше судьба сделала еще один невероятный виток, как и было, наверное, запланировано в её книге о жизнях... но об этом – позже...

Яков Туберман

Ленинград. Лето 1938 года. Мирная, спокойная довоенная жизнь. Оленька со своими друзьями пошла как-то раз в Центральный парк посмотреть на соревнования по прыжкам в воду и плаванию. Сидя с приятелями на зрительской трибуне, она услышала, как диктор объявил, что начинает показательные выступления по прыжкам команда Военно-воздушных сил. И на вышку для прыжков вышел молодой, атлетически сложенный парень, с необыкновенно приятным лицом.

– Ой! кто это? – спросила Оленька у своих друзей, которые были близки к спорту.

– А-а, это Яша Туберман, из команды военно-воздушных сил, мы его знаем, хочешь познакомим?

– Хочу, очень хочу, – захлопала в ладоши Оленька и через несколько минут к ней подвели улыбающегося парня, с которого еще струйками стекала вода...

– Оля,– сказала она и протянула руку.

– Яша, – сказал он и осторожно пожал протянутую теплую ладошку... Вот так произошло знакомство двух людей разных национальностей, разных культур, обычаев и привычек, разного наследственного багажа, но одинаковых в молодой силе, энергии и жажде жизни. Наверное, при первом касании рук и проскочила между ними искорка, из которой и полыхнуло потом то чувство, которое мы называем любовь...

Ну а чем кончаются эскапады сердца? Правильно – свадьбой! Когда Оленька сказала маме, что выходит замуж за Яшу Тубермана, то мама задумалась буквально на секунду и спросила осторожно:

– А тебя не смущает, что он... не нашей веры?... Ой, что тут началось! Оленька налетела на мать, как вихрь:

Хася и Борух-Меир Туберман

– Как ты можешь такое говорить!? Какая вера, он – военный, офицер. О какой вере, мама, о чем ты говоришь? Ты что забыла, в какой стране и в какое время мы живем?... Смутилась мама. А надобно сказать Вам, читатель, что в дореволюционной России, в интеллигентных петербургских кругах проявление антисемитизма было явлением позорным, это уже потом, в великой семье советских народов... и так далее. Больше никогда в жизни этот вопрос между дочерью и мамой не возникал. Оленька познакомила маму с женихом. Яша маме понравился, да и военная форма придавала его облику героические черты. Мама с первой минуты назвала жениха Яшенькой и в течение всей последующей жизни никогда Яшей не называла. Вся многочисленная Яшина родня только что переехала из Бердичева в Ленинград и привыкала к новым условиям и обычаям жизни в большом русском городе. Свадьбу решили делать

дома у Оленьки; по такому поводу накрыли длинный стол в самой большой комнате или, как говорил Яша, "в зале". Полина Михаиловна, Олина мама, пригласила буквально несколько родных и друзей, которые уцелели еще из того, старого дореволюционного прошлого. На русскую свадьбу гости собрались к точно назначеному сроку с небольшими букетами цветов. Мужчины были в крахмальных белоснежных рубашках с высокими стоячими воротниками и с бантами "бабочка". Дамы в длинных платьях, как говорила Полина Михайловна, "с жабо спереди и с тюрнюром сзади." Чинно рассевшись за столом, как и положено, прогнув прямо спины, прижав локти к корпусу и положив только ладони на край стола, приглашенные тихо переговаривались полушепотом в ожидании семьи жениха. Жених сидел с Оленькой во главе стола и явно почему-то нервничал... Время шло, а родственники жениха не появлялись. Собравшиеся чинно и благородно ждали. А в это время... В квартире у Боруха-Меира Тубермана, слева и чуть-чуть сзади Казанского собора, в Ленинграде, дым стоял коромыслом. Здесь собралась вся его семья и все родственники, не так давно переехавшие из родного Бердичева в город на Неве. Говорили все и сразу. Обсуждались два важных вопроса: "Как быть?" и "Что делать?". Подумать только, сын члена третейского городского суда, уважаемого в городе человека, Борука-Меира – Яша, краса и гордость всей "мишпухи", первый офицер за всю историю рода, спортсмен и красавец, решил жениться! И на ком, на какой-то "гойке", то есть на "не еврейке", в то время, когда столько хорошеньких еврейских девушек из уважаемых семей ходят степенно по улицам города туда и обратно! И многие из них были бы рады поменять свою фамилию на Яшину! Что он нашел в этой "гойке" и как им всем теперь быть? Такого в истории семьи еще не было. Все говорили громко и одновременно, но каждый понимал, что все будет так, как скажет Борух-Меир. А Борух-Меир сидел, подперев седую голову тяжелым кулаком и думал... Думал долго, потом встал. И сказал сакраментальную фразу: "Часы идут, а молодые должны жить... Поехали..." И вся многочисленная семья поехала в дом к невесте.

Дальше мне уже рассказывала моя мама. Раздался дверной звонок, она пошла открывать. Дверь распахнулась и... в квартиру влетела какая-то цыганская толпа. Люди переговаривались между собой на громком каркающем и рыкающем непонятном языке. Они бегло знакомились с сидевшими, которые от страха и смущения все глубже втягивали свои аристократические шеи в крахмальные воротники и жабо. Налетевшие новые родственники чувствовали себя свободно, мужчины наливали себе водку в фужеры, обращались к русской родне с непонятными словами:"Мазал тов" и опрокидывали водку в горло. Брали прямо с блюд пищу руками и громко, заливисто смеялись. Шум и гам висели над столом. Продолжительные тосты произносились на непонятном языке идиш не потому что "а хосен сат", т.е. сторона жениха не уважала "кале сат", то есть родственников невесты, нет, они просто, плохо знали русский язык, и Яша, склонившись к Оленьке, в полголоса переводил сказанное... Русская родня понемногу отдышалась и стала приходить в себя, постепенно завязался разговор, а бесчисленные тосты – "За счастье молодых" и все тот же "Мазл тов" сблизили сидящих, и через час русская родня уже знала, что "Мазл тов" значит "Желаем счастья", что Янкель, –"хосен", то есть жених, а Оленька – "кале", что значит невеста. И все эти новые Цили, Абрамы, Рейзл, Шмулики и Сони уже не так резали глаз и слух, а оказались вполне приятными и веселыми людьми, только вот говорили уж как-то очень громко и одновременно... Уже никого не смущал висевший над столом звучный и гортанный идиш, да и русская родня тоже лихо наливала и аппетитно закусывала. Общение, а за ним и объединение за столом начались и, как позже сказал главный партийный секретарь Михаил Горбачев, "процесс пошел". Мама мне потом говорила, что она сидела на своей свадьбе и обдумывала, каким образом можно сдвинуть навстречу друг другу эти две культуры, две абсолютно разные жизненные формации и два мышления, два разных способа восприятия действительности и отношения к происходящему.

Я полагаю, что мама думала так, потому что она очень любила отца... А не любить его было невозможно.

Виталий Шрайбер

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ, СЮЖЕТЫ И СЮЖЕТИКИ

Валите в кучу, поверху скользя,
Что подвернется, для разнообразья.
Избытком мысли поразить нельзя,
Так удивите недостатком связи.
Гёте, «Фауст»,
Перевод Бориса Пастернака

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПИСАТЕЛЬ ОТ РАССКАЗЧИКА

Много лет назад мне рассказали о случае, который будто бы произошел во время встречи писателя Владимира Солоухина с читателями. Рассказывая о своей очередной книжке, Солоухин якобы сказал, что по-настоящему хорошо писатель может написать лишь о том, что он знает не понаслышке, через что сам прошел, лично пережил и т. п. Эту мысль он иллюстрировал примерами из своего творчества. Его рассуждения были прерваны репликой из зала: "А Федор Михайлович-то лично старушек не убивал!"

Не знаю, что Солоухин ответил на реплику, как вышел из щекотливого положения. Может быть, вспомнил, что Достоевский все-таки был на каторге и там мог кое-что почерпнуть из рассказов собратьев по несчастью. Однако байку эту я запомнил, потому что в то далекое время иногда задумывался, смог ли бы я стать писателем. Подумав, я сделал два вывода. Вывод первый: Солоухин не прав, потому что у настоящего писателя должно быть сильно развитое воображение. Хороший писатель может выдумать и описать ситуацию или историю, которая с ним самим никогда не случалась, населить ее вымышленными персонажами и сделать это так ярко, правдоподобно, что читатель воспримет историю как достоверную. А второй вывод состоял в том, что я, увы, никогда не смогу стать настоящим писателем по причине отсутствия этого самого воображения.

Однако, позднее я сообразил, что есть все же литературный жанр, где можно обойтись без богатого воображения – это мемуары. И вспомнил замечательные образцы этого жанра. Взять, хотя бы, к примеру, "Повесть о жизни" Паустовского или "Люди, годы, жизнь" Эренбурга.

Но являются ли авторы мемуаров настоящими писателями? Похоже, что нет. Они – не писатели, они – ***рассказчики***. И даже Паустовский с Эренбургом в вышеупомянутых произведениях выступают лишь как рассказчики, хотя и очень хорошие. Так, может быть, и мне попытаться стать рассказчиком? Этот жанр мне подошел бы – думал я,– да только для успеха в этом деле, нужно, всего ничего, прожить столь же интересную жизнь, как Эренбург или Паустовский и обладать талантом рассказчика, сравнимым с их талантами. То, что шансов на это у меня не много, я понимал; но решил: поживем – увидим. Может быть, и моя жизнь окажется небезынтересной. А пока займусь чем-нибудь другим.

И лет сорок я занимался чем-то другим, не помышляя ни о каких мемуарах. До Паустовского или Эренбурга мне по-прежнему далеко, как до Альфа-Центавра, но откладывать больше некуда. И я решил попробовать. Риск невелик. В крайнем случае, слава Паустовского, Эренбурга и других знаменитых рассказчиков останется непревзойденой.

КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ ЛИТЕРАТУРНЫЙ УСПЕХ

(...)Успех моего первого литературного опыта превзошел все мои ожидания. Правда, если вы подумаете, что мои воспоминания об отце изданы большим тиражом и принесли мне славу и кучу денег, то, к сожалению, я должен буду ответить: чего не было, того не было. Ни Пулитцеровской, ни Гонкуровской, ни Букеровской премии я не получал. Более того, мои записки вообще не были изданы, если не считать того, что я сам, на свои кровные, напечатал (в Kinkos) штук тридцать экземпляров для рассылки друзьям. В чем же тогда успех? А вот в чем.

Один мой питерский приятель, которому я посылал свои воспоминания, написал:

«Я не был знаком с твоим отцом, но, прочитав твои записки, понял, что он был очень хорошим

человеком. Поэтому я буду присматривать за его могилой на Богословском кладбище. На этом кладбище похоронена моя жена. Я там бываю, и буду заходить к твоему отцу тоже». Я был тронут. Оставленные без присмотра могилы близких – болезненная тема для многих эмигрантов. И многие согласятся со мной, что обещание моего друга дорогого стоит. Вот я и считаю, что это – мой литературный успех.

Ободренный этим успехом, я написал несколько рассказов и рискнул предложить их редакторам альманаха ОБРАЗЫ ЖИЗНИ.

ЖИЗНЬ И ХИМИЯ

1.

В один из выходных дней 2010 года я сидел перед телевизором у себя дома в Mountain View и смотрел интервью с Михаилом Козаковым, показанное по российскому каналу в связи с его семидесятипятилетием.

Вообще-то я – не большой любитель телевизионных интервью с популярными артистами. Далеко не все они интересны за пределами сцены или киноэкрана. Как собеседники многие из них банальны и скучны. К тому же, за давностью лет, воспоминания о лучших фильмах советского кино и игравших в них актерах изрядно поблекли. Что касается театра, то в Америке я вообще почти забыл, что существует такое явление природы как драматический театр, да еще такой, в котором актеры работают по много лет, публика их хорошо знает, а власти время от времени жалуют им звания заслуженных или народных. Однако в данном случае я сидел, смотрел, слушал.

Дело в том, что личность Михаила Козакова и его биография – творческая и человеческая – в свое время вызывали у меня, скажем так, несколько повышенный интерес, в какой-то мере сохранившийся до сих пор. О причинах этого интереса – чуть ниже. При этом с достижениями Козакова как театрального актера я, в сущности, был почти не знаком. Знал, что он ярко начал актерскую карьеру, в двадцать три года сыграв Гамлета в спектакле, поставленном Николаем Охлопковым в театре Маяковского (и почти одновременно главную роль в фильме Михаила Ромма «Убийство на улице Данте»). Потом он сыграл множество других ролей на сценах нескольких московских театров. Но об этом я знал лишь понаслышке, поскольку жил в Ленинграде.

Видел я, конечно, несколько кино- и телефильмов с его участием, но тоже далеко не все. Наибольшую известность в кино ему принесли роли отрицательных героев или персонажей комических, на уровне гротеска. Видимо, режиссеры, выбиравшие его на эти роли, усматривали в его красивой внешности что-то демоническое, и в то же время нечто не присущее «простому русскому» или «настоящему советскому» человеку. Мне-то как раз именно это в нем казалось интересным, однако завоевать признание и любовь массового кинозрителя, имея в активе роли злодеев, негодяев, циников или придурковатых аристократов[1], даже очень хорошо сыгранные, трудно[2].

Что мне нравилось безоговорочно, так это его режиссерские работы на телевидении. К примеру, "Покровские Ворота" и "Безымянная Звезда» несомненно относились к числу лучших советских телефильмов. Еще он прекрасно читал со сцены стихи – Пушкина, Лермонтова, Пастернака, Бродского. И в этом жанре тоже был одним из лучших. В Израиле к восторгу местной публики он ставил и играл пьесы на иврите. Всего этого уже достаточно, чтобы сказать, что Михаил Козаков был человеком разносторонне одаренным. Но он еще написал несколько биографических книг, интересных, потому что ему было о чем рассказать, подкупающих откровенностью, отсутствием ощутимого старания выпятить свои достоинства и достижения и скрыть грехи и проблемы. А проблемы и грехи были, и немало, ибо характер у него, судя по всему, был трудный, беспокойный, наверно, даже можно сказать, непутевый. Что-то всю жизнь не давало ему покоя, он метался из одного театра в другой, от одного режиссера к другому, от одной жены к другой, из России в Израиль, потом обратно в Россию.

Книги Козакова читаются легко, что свидетельствует о литературном даровании, хотя сам он оценивал его очень скромно и заявлял, что считает себя в первую очередь актером, и лишь в последнюю литератором, даже называл себя «бумагомарателем». Наличие дарования, как и скромная самооценка в этом деле, становятся понятными, если учесть, в какой семье и каком окружении прошли детство и юность Михаила Козакова. Его отец, Михаил Эммануилович Козаков, был хоть и не очень выдающимся, но все же писателем; близкими друзьями семьи были Анатолий Мариенгоф, Евгений Шварц, Борис Эйхенбаум и Михаил Зощенко, а соседями – Вениамин Каверин,

[1] Хромой полковник в комедии «Здравствуйте, я ваша тетя»; виконт в водевиле «Соломенная шляпка».

[2] Роль Феликса Дзержинского в советское время конечно же считалась положительной, но сейчас мы можем и ее занести в разряд «злодейских».

Михаил Слонимский, Ольга Форш и прочие обитатели так называемого «писательского дома» или, точнее говоря, «писательской надстройки».

2.

Тут, пожалуй, самое время вернуться, к телепередаче, с которой я начал рассказ. Главное, из-за чего я сидел перед телевизором, было не столько сказанное выше, а то, где и как происходило интервью с Козаковым. А происходило оно не в помещении телестудии в Останкино, и вообще не в Москве, и не в помещении. Козаков и молодая женщина-журналистка, бравшая у него интервью, бродили, беседуя, по улицам Санкт-Петербурга, в районе, где когда-то жил Михаил Козаков до отъезда в Москву и где, по соседству, в детстве жил и я. И все эти улицы были мне до боли знакомы.

Погода стояла пасмурная, сырая, типично петербургская. Козаков был в пальто и кепке. Шея до подбородка замотана шарфом. На лице – примерно недельная щетина, то ли в соответствии с модой, то ли просто от небрежности; выражение лица хмурое – как у человека, который крепко выпил накануне и еще не успел опохмелиться. Словно подтверждая мою мысль, он изъявил желание зайти в попавшийся по дороге то ли магазинчик, то ли кафетерий, в общем, забегаловку. Журналистка послушно последовала за ним. Козаков купил стакан вина, тут же у стойки выпил и пояснил: «Я человек пьющий. Не пьяница, но пьющий». Где проходит тонкая грань между этими двумя понятиями, он не уточнил.

Они шли по набережной канала Грибоедова, и мне было совершенно ясно, куда они направляются. Вышеупомянутая «писательская надстройка» находилась в доме на углу канала Грибоедова и Чебоксарского переулка. Этот маленький – каких-нибудь пятьдесят метров – переулок другим концом упирается в Малую Конюшенную улицу. На этой улице с середины тридцатых годов и до 1958 года жили мои родители, а с момента рождения в 1944 году и я. Только тогда она называлась улицей Софьи Перовской, а параллельная ей Большая Конюшенная – улицей Желябова[1]. Между ними стоит лютеранская церковь Петер Кирхе.

Позади церкви находится школа. Эта знаменитая, старейшая в городе школа была организована в начале восемнадцатого века немецкой общиной с ведома и одобрения Петра Первого. Называлась она Петри-шуле, то есть школа Святого Петра. В школе преподавали и читали лекции виднейшие ученые: физик Ленц (тот самый, из закона Джоуля-Ленца), филолог Греч (соратник Булгарина и гонитель Пушкина), химики Менделеев и Бекетов, физиолог Сеченов; учились Карл Росси, Модест Мусоргский, Петр Лесгафт, Даниил Хармс и другие выдающиеся личности. В годы первой мировой войны школа была переименована в Петер-шуле (тогда же, когда Санкт-Петербург переименовали в Петроград). Ну а в 1951 году, когда я пошел в первый класс, это была мужская средняя школа № 222. В том же здании, разделенном попалам, находилась и женская школа № 217, только вход в нее был не со двора, а с улицы Софьи Перовской (то бишь Малой Конюшенной).

В 1952 году 222-ую школу окончил и Михаил Козаков. Я тогда был мал, в школе его не видел и ничего о нем не знал. О том, что он здесь учился, я услышал спустя несколько лет, когда на экраны вышел фильм «Убийство на улице Данте», где Козаков сыграл свою первую роль (молодого красивого негодяя), принесшую ему известность. Об этом судачили, а девушка вспоминала о том, как чуть ли не вся их школа была влюблена в Мишу Козакова. О том, что на канале Грибоедова «живут писатели», я знал уже и раньше, так как в параллельном классе учился Володя Кетлинский, сын Веры Кетлинской, а по бульвару улицы Софьи Перовской часто прогуливались две одинаковые девочки – дочери-близнецы поэта Всеволода Рождественского[2].

3.

Дом 9 по Каналу Грибоедова (бывший Екатерининский Канал) – обычный петербургский

[1] Имена террористов при советской власти были в почете. Изначальные дореволюционные названия были возвращены этим улицам в годы перестройки.

[2] В 50-е годы Вера Кетлинская была известна как автор книг «Мужество» – о строителях Комосмольска на Амуре и «В осаде» – о блокадном Ленинграде. Книги были очень правильно-советские. Кетлинская была убежденной коммунисткой, первым секретарем ленинградского отделения союза писателй, получила Сталинскую премию. Это, впрочем, не спасло ее мужа от ГУЛАГА, а ее саму от неприятностей из-за отца – адмирала царского флота.

Всеволод Рождественский получил еще дореволюционное воспитание и образование. Писать стихи начал тоже еще до революции, но с советской властью поладил и горькой участи многих поэтов серебряного века избежал. Был патриотом своего города. Участвовал в Великой Отечественной войне. Стихи писал в классическом стиле, в основном лирические, но, на мой вкус, довольно скучные.

дом, каких немало в этом районе. Он был построен еще в восемнадцатом веке и принадлежал конюшенному ведомству. Тогда он был трехэтажным. В начале тридцатых годов достроили два верхних этажа и разместили там писательский кооператив. В разное время в общей сложности там проживали более двадцати писателей и литераторов. В надстройке были низкие потолки и коридорная планировка – двери всех квартир выходили в один длинный коридор. Писателям было удобно ходить друг к другу в гости.

Козаков и журналистка подошли к дому, свернули за угол в Чебоксарский переулок, вошли во двор, затем в подъезд и по лестнице поднялись в надстройку. Козаков позвонил, им открыли; он представился. Ходил по квартире, казавшейся маленькой и тесной, что-то узнавал: «здесь была моя комната, а здесь комната брата», что-то не узнавал. О чем он думал в этот момент, что вспоминал?

Может быть, вспоминал как в гости к его родителям в эту квартиру приходили их друзья и соседи – талантливые писатели и литераторы. А, может быть, вспоминал трудности и трагические события, выпашие на долю семьи: аресты и пребывание в заключении матери и бабушки[1], смерть двух сводных братьев[2], болезнь отца, который хоть и избежал тюрьмы, но попал в опалу; его книги не издавали, и семье не хватало денег на жизнь. «Век-волкодав» прошелся клыками и по другим обитателям надстройки: затравленный Ждановым, заболел и умер Михаил Зощенко.

4.

Когда они вышли из писательского дома, журалистка спросила:

– Ну, Михал Михалыч, куда теперь? Может быть, зайдем в школу, где вы учились?

– Давайте в школу.

По переулку они прошли на Малую Конюшенную. По дороге журналистка спросила:

– А как вы учились в школе, Михал Михалыч?

– В школе я учился очень плохо, – не задумываясь ответил Козаков.

– Наверное, Вам были скучны математика и естественные дисциплины? Но уж по русскому языку и литературе наверняка у Вас были хорошие оценки? – журналистка не могла себе представить, чтобы человек, читающий наизусть Пушкина и Тютчева и поставивший телеспектакль по лермонтовскому «Маскараду», где сам сыграл Арбенина, имел плохие оценки по русской литературе.

– Да нет, у меня были плохие оценки по всем предметам – заявил Козаков с обезоруживающей откровенностью, затруднив продолжение разговора о школьных успехах. Явно не зная, что еще спросить, интервьюерша замолчала.

Тем временем они вошли во двор «моего» дома и подошли к дверям «моей» школы. Последний раз я входил в эти двери примерно полвека назад. Козаков, вероятно, еще раньше. Двери изменились мало, только табличка обновилась – на ней теперь, наряду с номером 222, появилось имя Петри Шуле. В вестибюле школы их встретила какая-то учительница, возможно завуч. Козаков озирался по сторонам с видом человека, который ничего не узнает. Я тоже ничего не узнавал. То ли аберрация памяти, то ли там все действительно перестроили.

Его спросили, что он хотел бы посмотреть. Он ненадолго задумался, потом сказал:

– Пожалуй, я зашел бы в кабинет химии.

Это было неожиданно. Похоже, что не только я, но и обе женщины – журналистка и учительница – были удивлены. Почему именно в кабинет химии? И тогда я подумал об учительнице, которая вела уроки химии в 222-ой школе в те годы, когда я там учился.

5.

Её звали Фаина Соломоновна Лебедева. Это была рослая статная женщина с умным и выразительными лицом. Было в ее облике что-то притягательное, а также нечто властное, что заставляло самых отъявленных шалопаев прилично вести себя на ее уроках. Если кто-то начинал валять дурака или болтать, ей было достаточно только пристально посмотреть, изогнув бровь, в сторону нарушителя, и тот тут же становился тихим и смирным. Запомнилось, как однажды, рассказывая, какие металлы способны вытеснять водород, а какие, наоборот, вытесняются водородом, она заставила класс хором повторять последовательность металлов в ряду их электрохимической активности, вроде как белый стих:

Литий, натрий,
Барий, кальций,

[1] Мать арестовывали и сажали в тюрьму дважды – в 37 и 48 годах. В общей сложности она провела в заключении несколько лет, в том числе год – в одиночной камере.

[2] Старший брат погиб на фронте за два месяца до конца войны; среднего – случайно, из-за неосторожного обращения с пистолетом, застрелил товарищ.

Алюминий, цинк, железо,
Никель, олово, свинец,

И мы покорно, как первоклассники, повторяли это за ней. Вообще, предмет свой она преподавала прекрасно. Во всяком случае, я и еще двое моих одноклассников заинтересовались химией. Однажды я задержался после окончания урока, чтобы о чем-то ее спросить. В разговоре она сказала, что если химия мне нравится, она советует пойти во Дворец пионеров и записаться в химический кружок. Я послушался и так и поступил.

Через некоторое время я стал чувствовать, что Фаина Соломоновна ко мне как-то благоволит. Не могу даже сказать, в чем это выражалось, отметок она мне не завышала, но это и не требовалось – я и так учился хорошо; никогда вслух меня не хвалила, да и вообще расточать похвалы или фамильярничать с учениками не была расположена; но интуитивно я ощущал что она меня как-то выделяет. Я приписал это тому, что я – хороший ученик и проявляю интерес к ее предмету. Вскоре, однако, выяснилось, что была и другая причина.

Как-то раз в выходной день мы с отцом, откуда-то возвращаясь, шли через площадь Искусств, и он вдруг сказал, что ему надо зайти проведать пациента. Отец был хирургом, довольно известным в городе. К нему часто обращались за помощью или советом, и, будучи человеком почти безотказным, он то и дело кого-то консультировал, лечил. Я хотел было уже отправиться домой один, но он предложил: "Зайдем вместе, это ненадолго, тут рядом, тебе, может быть, будет интересно». Я пошел за ним, мы вошли в какой-то подъезд по соседству с Малым оперным театром, поднялись по лестнице, папа позвонил. Дверь нам открыла ... Фаина Соломоновна. Я слегка обалдел от неожиданности, а она как ни в чем не бывало: "Здравствуйте, Марк Григорьевич, проходите пожалуйста, здравствуй Виталик". В школе она никогда не называла ни меня, ни других учеников по именам. Только по фамилии. Пока я соображал, что стало быть папин пациент – муж моей учительницы химии, мы вошли в большую комнату с окнами, выходившими на площадь Искусств. Там нас встретил седоватый человек в очках. Не помню как его звали по имени-отчеству. Фамилия его, естественно, была Лебедев. Сначала они с папой удалились в соседнюю комнату, где папа его осматривал, и я видел, что все внимание Фаины Соломоновны приковано к этой комнате; затем они вышли, папа сказал что-то обнадеживающее, и ее лицо просто расцвело. Потом нас угощали чаем с чем-то вкусным, а Лебедев, оказавшийся сотрудником Русского музея, интересно о музее рассказывал. По тому как Фаина Соломоновна смотрела на мужа, каким тоном она с ним разговаривала, каким непривычно мягким становилось в эти мгновения ее лицо, даже мне мальчишке было ясно, что эта женщина обожает своего мужа.

Спустя примерно год после этого визита – я был в восьмом классе и собирался переходить в другую школу в связи с переездом нашей семьи на другую квартиру – Фаина Соломоновна вдруг на несколько недель исчезла. Ее заменяла другая учительница. Когда же она появилась, я поразился произошедшей в ней перемене. Она страшно похудела, лицо потемнело, под глазами залегли черные тени, в еще недавно темных гладких волосах появилось много седины, глаза были какие-то потухшие. Я рассказал об этом дома. Папа помрачнел и сказал: "Лебедев умер".

Потом я перешел в другую школу, а спустя пару месяцев мои друзья из 222-ой школы рассказали, что Фаина Соломоновна умерла. Она попросту не перенесла смерти мужа. Детей у них не было.

Не так уж долго я учился у Фаины Соломоновны Лебедевой, но вспоминал ее значительно чаще, чем других школьных учителей. В школе, куда я перешел, учительница химии была слабой, ее уроки были неинтересными, но импульс, полученный от Фаины Соломоновны, сохранялся: я продолжал посещать кружок химии сначала во Дворце пионеров, потом при Технологическом институте. Правда, после окончания школы я поступил на физический факультет, однако в итоге моей специальностью стала молекулярная спектроскопия, а это такая область, где физика сильно пересекается с химией. Так что мои школьные занятия химией даром не пропали.

6.

Козакова привели в кабинет химии. Он сел за один из столов. Огляделся. Кабинет, разумеется, выглядел не так как 50 или 60 лет назад. Тогда, по моим воспоминаниям, он скоре был похож на университетский, чем на школьный кабинет. Козаков помолчал, как бы сосредотачиваясь. А потом забормотал:
Литий, натрий,
Барий, кальций,
Алюминий, цинк, железо,

Никель, олово, свинец...

Услышав это, я уже почти не сомневался, что он учился у Фаины Соломоновны. И дело не только в том, что квази-стишок запомнился и мне. Этот семидесятипятилетний человек прожил бурную жизнь, заполненную множеством событий – радостных, печальных и трагических. В школе, по собственному признанию, учился плохо, профессионально с химией не был связан, и вообще был человеком сугубо гуманитарного склада. Почти 60 лет непрерывно загружал свою память сотнями сложных драматургических и поэтических текстов. И если все же в каком-то уголке его памяти сохранился этот стишок, и если вообще данного человека потянуло в кабинет химии, это что-нибудь да значит. И, скорее всего, это связано с учителем, который вел уроки химии в его классе.

Телепередача окончилась, а я сидел и думал, как бы проверить, работала ли Лебедева в 222-ой школе в те годы, когда Козаков там учился. В воспоминаниях Козакова, насколько я помнил, она не упоминается. Без особой надежды я набрал в Интернете «Фаина Соломоновна Лебедева». И тут же нашел воспоминания некоего Олега Евгеньевича Глухова, окончившего 222 школу на пять лет позже Козакова (и, стало быть, примерно на столько же раньше меня).

Глухов пишет: «Моя учительница химии была классным руководителем Козакова. Его любимой учительницей. У нее был потрясающий старинный кабинет, пропитанный духом Менделеева, еще дореволюционное помещение». И далее: «Как-то раз раз на уроке химии произошла следующая мизансцена. Идет урок, и в один момент входит в класс Михаил Козаков с огромным букетом цветов. Он идет через весь класс; в трех метрах от Фаины Соломоновны Лебедевой он встает на колени и последние три шага проползает на коленях. И вручает ей букет цветов. А потом Козаков пригласил Фаину Соломоновну и весь наш класс на спектакль, где он играл Гамлета».

Вот это да! На коленях полз! Ничего не скажешь, артист! Скорее всего, однако, помимо склонности к театральным жестам, у Козакова были и более весомые причины вставать перед классной руководительницей на колени и дарить ей цветы. Классные руководители, особенно женщины, зачастую больше всего общались и возились именно с плохо успевающими учениками и иногда испытывали к ним какие-то чувства сродни материнским. А ученик Козаков был к тому же весьма обаятелен. Рискну предположить, что Фаина Соломоновна проявляла снисходительность к его плохой успеваемости, возможно, даже спасала от исключения из школы или оставления на второй год. Ведь она была достаточно умна, чтобы почувствовать, что перед ней не просто обыкновенный лодырь и разгильдяй, а незаурядная личность, которая именно в силу своей незаурядности плохо укладывается в общепринятые нормы учебы и поведения. А если дать волю фантазии, то можно предположить, что и на юного Козакова могло действовать своеобразное обаяние этой умной и сильной женщины, и что, когда он добился успеха, ему захотелось предстать перед ней уже не отстающим учеником, а принцем Гамлетом.

Характерно, что в памяти этих двух людей – известного актера Михаила Козакова и совершенно неизвестного мне Олега Евгеньевича Глухова, так же как и в моей памяти, ярко запечатлелась одна и та же личность – учительница химии. Не литературы, не истории, а химии. А между тем, школьный курс химии – не самый увлекательный предмет. Значит, более важным была личность, сила ее воздействия или обаяние. Но что такое обаяние? Какие флюиды исходят от обаятельного человека?

*Здесь, в Америке, слово **chemistry** часто используется для обозначения взаимного расположения или притяжения двух людей. Встретились два человека, и между ними возникла **chemistry** (или, наоборот, не возникла). Большинство, вероятно, полагает, что **chemistry** – просто слэнговое словечко, идиома. Известно, однако, что любовное (сексуальное) влечение действительно связано с действием определенных гормонов и других химических соединений. Может быть, взаимное интеллектуальное притяжение тоже сопрвождается некой химией, и отношение преподаватель – ученик или артист – зритель тоже? Если есть химия жизни, химия любви и уже кое-что известно о химии памяти, то, наверное, есть и химия обаяния, изучив которую, можно будет понять, чем отличается наша химическая реакция на обаятельного человека от реакции на заурядного*.

Исаак Бабушкин

ЕСЛИ МНЕ ЦК ПРИКАЖЕТ[1]

СИСТЕМА ЛЖИ

За мою долгую жизнь самым страшным временем были годы сталинских репрессий, носившие массовый характер. Расстрелы по директивам Сталина были пущены на поток, и их количество исчислялось миллионами. В эти годы были устранены малейшие законные препятствия на пути к свершению беззакония. Был введен запрет на подачу кассационных жалоб, установлен порядок слушания так называемых дел по терроризму без участия сторон. Было введено право на немедленное приведение в исполнение смертных приговоров. Строились многочисленные лагеря. В первую очередь репрессии обрушились на цвет партии – верных ленинцев. Проводилась четкая линия на истребление партийных кадров. По нескольку раз подряд из-за репрессий сменялись составы обкомов, горкомов, райкомов. Из 138 членов ЦК, избранных на 17 съезде партии, расстреляно 120. За годы Великой Отечественной войны погибло 600 генералов, а в годы репрессий – в три раза больше. Подверглись репрессиям в разное время 50 командиров корпусов, 154 командира дивизий из общего количества 186; из 456 командиров полков погибло 401. Из 2000 репрессированных писателей погибло 1500. В 1937-1938 гг. репрессировано 7 миллионов человек.

В стране широко внедрялась атмосфера страха, шантажа, интриг. И главным интриганом был Сталин. Широко пользовались этими приемами в ходе сфабрикованных процессов. Лживыми оказывались все обещания Сталина сохранить жизнь подследственным и безопасность детям судимых. А метод устрашения применялся даже к сталинскому окружению, в том числе по отношению к членам политбюро (арест жен Молотова, Калинина, расстрел жены первого помощника Сталина Поскребышева, арест и расстрел ближайших родственников Петровского и др.) Репрессиям подвергались и видные ученые А.Н. Туполев, С.П. Королев, Н.И. Вавилов и др. Цинизм, проявленный Сталиным по отношению к людям, находившимся в его окружении и впавшим в немилость, не знает границ. Особое изуверство Сталин проявил в ходе процессов Бухарина, Пятницкого и др.

В качестве образца патриотизма на вооружение была взята система доносов. Известны факты, когда следователи принуждали, а иногда и убеждали подследственных подписывать ложные показания, мотивируя это тем, что все делается в интересах партии.

О размерах и характере доносительства могу рассказать и из личного опыта. Атмосфера всеобщей слежки добралась до брата моей жены Израиля Финкельштейна, майора танковых войск, служившего на Дальнем Востоке. После ареста моего брата нашлись люди в Днепропетровске, поспешившие направить донос на Дальний Восток и в Дзержинский РК Москвы, где работала моя жена. В доносе сообщалось, что брат моей жены связан со мной – «врагом народа». На бюро Московского горкома партии также разбирался донос, состряпанный двумя членами партии Плехановского института, о моих вредительских действиях в бытность секретарем Фрунзенского райкома партии. Меня на этот раз спасло только то, что в этом заявлении в качестве обвиняемых фигурировало слишком большое количество «врагов», работавших в это время на ответственной работе в МК и других организациях. Обвинители хватили лишнего! И клевета не обернулась большой бедой. Дело доходило до того, что позорными вымышленными доносами занимались такие люди, как Ставский – писатель, секретарь Союза писателей, настрочивший лживый донос на поэта Мандельштама .

Трагической оказалась судьба многих людей, знакомых мне лично как честнейших коммунистов. Так было с Петром Залесским, которого я хорошо знал по годам комсомольской юности, когда он работал секретарем Мелитопольского укома комсомола. Знал и его жену Степанову, талантливого работника пио-нерского движения. Петр, комсомольский вожак, украинец, прекрасно владевший украинским языком, немного романтик, из тех украинских хлопцев, которые хату покинули, «чтоб землю крестьянам в Гренаде отдать».

[1] Главы из книги В.И. Бабушкина. СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ. Предисловие, примечания: Галина Курляндчик. – Москва, 2014 (Воспоминания были написаны в 1994 году).

Петру выпал жребий прибыть в Западную Украину для подпольной работы в комсомоле. Вскоре он был выбран секретарем ЦК комсомола Западной Украины. Было это во времена правления Пилсудского. В результате провала Петр был арестован и осужден. Выжил, вернулся в Советский Союз, но здесь был репрессирован, подвергся истязаниям и погиб.

Многие подверглись репрессиям дважды и трижды. Один из моих друзей, Д.Бориль, член партии с 1913 года, большой души человек, жизнерадостный одессит, активный участник гражданской войны, подвергался репрессиям трижды, потерял здоровье и рано умер. Чудовищно жестоко обращались не только с репрессированными, но и с их семьями, с детьми. От многих ближайших родственников требовали отречений от арестованных как от врагов народа. Доходило до того, что вызывали коммунистов в парторганизации для объяснений, почему от них нет доносов. Друг моей комсомольской юности, про-сидевший 18 лет в тюрьмах, лагерях и ссылке, в опубликованных им воспоминаниях об этом периоде дал ему удачное название – «Когда торжествовала ложь». Зачатки лжи появились еще в 1924 году на 13 съезде партии при ознакомления членов партии с письмом Ленина, известного под названием «Завещание». Давая оценку Сталину, Ленин предлагал обсудить вопрос о перемещении Сталина с поста генерального секретаря. По завещанию Ленина это письмо должно было быть доведено до делегатов на заседании съезда, но Каменев и Зиновьев помогли Сталину спустить дело на тормозах и ограничились ознакомлением делегатов с письмом по делегациям, не вынося его на обсуждение съезда, как этого требовал Ленин. По существу требование Ленина было скрыто от широких масс членов партии. Такая позиция помогла Сталину удержаться и укрепить свои позиции, а затем развязать репрессии, начав с истребления настоящих ленинцев. Ложь, обман становились правилом. От партии скрывалось все, что могло положить тень на Сталина. Большой обман был допущен на 17 съезде партии при выборах состава Центрального комитета. От людей, которых я знал, работал с ними, доверял им, стало многое известно. Ольга Шатуновская, член партии с 1916 г., член партколлегии ЦК рассказала: по свидетельству Верховых, делегата 17 съезда, члена КПСС с 1913 г., заместителя председателя Счетной комиссии 17 съезда, на съезде было объявлено, что против Сталина подано три голоса, ровно столько, сколько против Кирова. А в действительности против Сталина проголосовало 292 делегата. Эти бюллетени были уничтожены. Система лжи была так тщательно разработана, что даже делегаты съезда не знали настоящей правды. Не знал об этом и мой брат, делегат 17 съезда. Сталин был подлинным гением лжи. Не случайно он нанес сокрушительный удар по делегатам 17 съезда партии, уничтожив большую их часть. Из 63 членов Счетной комиссии было уничтожено 60. Сразу же после окончания работы съезда Сталин принял меры к устранению главного своего конкурента – Кирова, что подтвердила комиссия по проверке обстоятельств, связанных с убийством Кирова. Член этой комиссии Шатуновская рассказала, как ей позвонил Хрущев и сказал: «Всю ночь читал записку вашей комиссии и плакал над ней. Что мы наделали!» Объясняя причину, почему записке не был дан ход, Хрущев сказал: «Сталин 30 лет был во главе партии и страны. Нас не поймут».

Страшная ложь была и в том, что после совершенных расстрелов выдавались официальные справки – «Осужден на 10 лет». Такую справку получила и семья моего расстрелянного брата. Лгал Сталин и тогда, когда говорил, что сын за отца не отвечает, о чем хорошо знаю по жизненному опыту своего племянника Владилена Бабушкина, танкиста, прошедшего всю войну.

После 22 съезда партии в Музее Ленина на собрании старых большевиков я слушал выступление делегата этого съезда Воеводина, члена партии с 1897 г. Он рассказывал, что делал попытки выступить на съезде, обращался к секретарю ЦК, но слова не получил. Давая оценку Сталину, он говорил, что в царское время был со Сталиным в ссылке, и ссыльные уже тогда видели в Сталине гангстера.

Работавшая в годы гражданской войны секретарем чрезвычайного комиссара Совнаркома РСФСР по делам Кавказа Шатуновская, в своих воспоминаниях рассказала, что Председатель Бакинской коммуны Степан Шаумян говорил о злобном характере Сталина: «У Кобы (псевдоним Сталина) ум и нрав змеиные». Дорого обошлась наша слепая вера в вождей (вера в их непогрешимость, в правильность их действий). Она погубила партию и страну. Возведение руководителей в ранг вождей обошлись дорогой ценой. Беда наша была в том, что мы считали себя солдатами партии и тем самым ставили себя в положение солдата, действующего бездумно по воинскому уставу. Солдату приказывают умирать, и он безропотно выполняет приказ. Безропотное повиновение вошло в правило поведения массы членов партии. Вели себя, как римские гладиаторы, шедшие на смерть мимо трибуны императора Цезаря, провозглашая: «Приветствуем тебя». Так вели себя многие коммунисты, шедшие на смерть. Шел на расстрел с верой в непогрешимость Сталина герой Гражданской войны Якир и другие. Мне вспоминаются слова, будто бы сказанные в двадцатые годы предсовнаркома Азербайджана Буниат-Заде: «Если мне ЦК прикажет прыгать с пятого этажа, разве я не прыгну?» Долгое время аресты принимались, и мною в том числе, за должное. Слепая вера была так сильна, что потребовалось длительное время, чтобы исчезли иллюзии. Доводилось мне встречаться и беседовать с большим количеством вернувшихся из ссылки, и никто из них не ожесточился, не имел злобы на

партию. Приведу еще один характерный пример веры в непогрешимость вождя. Один из друзей моей юности, Борис Кузнецов, доктор наук, работавший помощником ближайшего соратника Ленина Г.М. Кржижановского, рассказал мне, что в одной из доверительных бесед Глеб Максимилианович сказал ему: «Вам молодым еще простительно, что вы так верили Сталину, но мне, старому дураку, это непростительно».

В разоблачении культа личности Сталина и его злодеяний решающее значение имело выступление на 20 съезде партии Н.С. Хрущёва. Хотя не всё было сказано на съезде, доклад Хрущёва на многое открыл людям глаза. Даже то, что было сказано в докладе, привело людей в шоковое состояние. Вернувшись с партийного собрания МИИТа, моя жена рассказывала: «Слушавшие зачитанный доклад Хрущёва были ошеломлены. Для многих, особенно молодых коммунистов из состава профессуры, услышанное было словно разорвавшаяся бомба». Не раз при Брежневе и после него делались попытки реабилитировать Сталина. Печально, что и сегодня есть силы, не отказавшиеся от этого, пытающиеся вос-становить сталинизм. Они сегодня ходят на митинги с портретами Сталина... К сожалению, и средства массовой информации иногда потворствуют этому, льют воду на мельницу сталинистов. Так 22 февраля 1992 г. по радио утверждалось, что в 1937 г. вовсе не было репрессий, что пик репрессий пришелся на 1929 г.. Нечто подобное приходится встречать и в печати. То, что я не попал в жернова сталинской мясорубки, кажется чудом. После ареста брата (будучи секретарём парторганизации ЦАГИ, он был арестован в 1937 г. за потерю бдительности по отношению к А.Н. Туполеву) судьба отнеслась ко мне относительно благосклонно. В 1937 г. я был освобожден от партийной работы, но даже не выведен из состава пленума райкома партии. Однако жить не год и не два, а десятилетия с клеймом в биографии «брат врага народа» было нелегко, поскольку я никогда не отрекался от брата и всегда утверждал, что он был честным и верным коммунистом.

ТАКОЙ ЖЕ НАРОД, КАК ВСЕ

До 1931 года я жил и работал на Украине, где национальный вопрос имел большое значение и где издавна культивировалась идея национального самоопределения. Большое внимание в партийной работе тех лет занимал вопрос выращивания и выдвижения местных украинских кадров, при-давалось значение и владению украинским языком. Действовала широкая сеть курсов по изучению украинского языка. Я сам обучался на таких курсах. В структуре Екатеринославского губкома партии, где я работал, существовали секции по националь-ному признаку: еврейская секция, латышская секция др. Огромную работу вела партийная организация и комсомол по утверждении своего влияния в парт-организации УПК (Украинской компартии) и молодежной организации Укрюса[1]. Результатом было слияние партии укапистов[2] с компартией Украины и роспуск молодежной организации Укрюс.

С годами, как и в других областях, работа по проведению ленинской национальной политики предавалась забвению и, более того, грубо извращалась. Даже то немногое, что было достигнуто, выхолащивалось с легкой руки Сталина, считавшего себя специалистом по национальному вопросу.

Утверждалась такая мысль, что национальный вопрос решен, снят с повестки дня и больше не существует. Это утверждение принесло немало вреда. Закрывались школы на украинском языке. Будучи в Киеве в 30-е годы, я редко слышал разговорную украинскую речь. Министра просвещения Украины, члена политбюро ЦК компартии Украины Николая Алексеевича Скрипника обвинили в насильственной украинизации и других смертных грехах и довели до самоубийства.

Самое страшное, что сделал Сталин в национальном вопросе, это выселение в годы Великой отечественной войны целых народов, что привело к гибели половины выселенных. Решая «еврейский вопрос», Сталин немало перенял из расистской идеологии, возведя антисемитизм в ранг государственной политики. Искусственно, сверху, насаждалось враждебное отношение к еврейскому вопросу.

К концу 30-х годов началась политика удаления людей еврейской национальности из партийного и государственного аппарата и отказа к принятию на работу в дальнейшем. Запрет принимать на работу лиц еврейской национальности распространялся также на оборонные предприятия. Приостановлено было продвижение евреев по службе в армии. Введено ограничение на прием в ряд вузов, выезд за рубеж. Продолжалась политика двойной игры: утверждалось, что в стране антисемитизм отсутсвует и в то же время негласно давались команды на ограничения.

Большую остроту получил еврейский вопрос в конце сороковых – начале пятидесятых годов. В это время развертывалась борьба против «безродных космополитов». Прошла серия сфабрикованных анти-еврейских процессов, которые должны были вызвать всплеск антисемитизма. В 1949 году был распущен Всесоюзный еврейский антифашистский комитет, а над членами комитета, состоявшего из лучших представителей еврейской интеллигенции, был устроен судебный процесс. Столкнувшись со

[1] *Украинский юношеский союз,* стоявший на националистических позициях. (Прим. редактора)

[2] Члены мелкобуржуазной националистической партии *«Украинская коммунистическая партия».* (Прим. редактора)

стойкостью подсудимых, руководитель суда генерал Александр Александрович Чепцов обратился в ЦК с просьбой передать дело на доследование. Ответ пришел от второго человека в партии и государстве Маленкова, приказавшего безоговорочно выполнять ранее принятое ЦК решение. Обвиняемые были расстреляны.

В 1953 году был проведен чудовищный процесс по делу врачей. Помню, что в Москве атмосфера в дни процесса накалилась до того, что пребывать в эти дни людям еврейской национальности в поликлиниках, аптеках было небезопасно. Сфабрикован был также процесс над работниками автозавода [1] еврейской национальности, обвиненными во вредительстве, попытках поджога завода.

По прямому указанию Сталина в 1949 году был уничтожен один из видных деятелей культуры, народный артист, общественный деятель С.М. Михоэлс. В годы войны Михоэлс в составе делегации Еврейского антифашистского комитета ездил в США для сбора средств в пользу Советской армии и мобилизации еврейской общественности на борьбу с фашизмом. Мне довелось слушать выступление Михоэлса на районном партийном активе о результатах поездки, где он рассказывал, с каким трудом, через Иран, добралась делегация в США, как тепло их встречала американская еврейская общественность, говорил о больших средствах, собранных для борьбы с фашизмом. Он рассказывал о том, что на собрания люди приносили в дар ценности (золотые часы, браслеты, цепочки, кольца, серьги, доллары). В письме жене А.П.Потоцкой Михоэлс писал, что его больше всего беспокоил вопрос, сумеет ли он выполнить ответственное поручение и рад, что достойно представлял нашу страну.

В последние годы, несмотря на усилившиеся националистические выступления, разжигание национальной розни, усиление антисемитских, антикавказских и других шовинистических настроений, почти не было процессов над виновниками таких действий, хотя имеется закон, за них карающий. Известен лишь процесс по делу о погроме, учиненном в ЦДЛ, по которому был осужден К. В. Смирнов - Осташвили. И что характерно, правоохранительные органы Москвы долго молчали и лишь под нажимом общественности вынуждены были провести этот процесс, а московский комитет КПСС также тянул дело. Погром произошел 18 января 1990 года, а МГК КПСС отреагировал лишь 13 февраля. Чувство безнаказанности, отсутствие настоящего спроса за соблюдением законов вызвало волну националистических выступлений. Долгое время, не встречая препятствий, газеты «День», «Тушинская» и другие выступали с антисемитскими призывами. Не отстают в этом радио и телевидение, обыгрывая разного рода шовинистические антисемитские байки и анекдоты. В мае 1994 г. сотрудница радио стыдливо оправдывалась, когда какой-то слушатель отметил, что она армянка, а она, мол, тут утверждала, будто это фамилия мужа, а сама она русская.

За 90 лет непростой жизни на Украине и в России я не испытал по отношению к себе каких-либо активных проявлений бытового антисемитизма, но, к сожалению, давал о себе знать государственный антисемитизм, а в последние годы антисемитизм проник и в средства нашей массовой информации. Удивляет и отмалчивание по такому вопросу руководителей страны.

Два десятилетия находился под запретом художественный фильм «Комиссар» с участием артистки Нонны Мордюковой – за то, что в добрых тонах показал представителя еврейского народа. В связи с этим хочу сказать, что еврейский народ никакой не избранный народ, но он и не хуже других, такой, как все, и в нем были и есть настоящие труженики, патриоты своей страны, талантливые люди, герои, но есть и воры, тунеядцы, мошенники и убийцы. В Великой Отечественной войне участвовало 500 тысяч евреев, из них 200 тысяч погибли на фронтах. По отношению к населению Союза составляя 0,69% населения, евреи среди героев Советского Союза занимали пятое место (по национальному составу), а в пересчете на сто тысяч населения, второе место. 34 еврея в годы войны командовали дивизиями, 12 корпусами, 9 армиями, 15 были начальниками штабов армий. Чехов писал: «Когда что-нибудь не ладится, ищем причин вне нас и скоро находим: это жиды». К сожалению, в последние годы в связи с ухудшением общего положения в стране, все чаще козлом отпущения становятся снова евреи. Во всех бедах их видят виновниками. Дело дошло даже до того, что такая газета, как «Правда», в последние годы стала давать материалы явно антисемитского характера. Больше того, вытащила из царских архивов на свет бредовые идеи. Так, в связи с убийством двух церковных служителей в Оптиной Пустыни[2] «Правда» поместила материал о том, что, якобы, как и в процессе над Бейлисом [3] убийство было совершено в соответствии с иудейскими ритуалами.

---

[1] Тогда *им. Сталина.* Впоследствии *Завод им. И.А. Лихачева, Акционерное Московское Общество, АМО Зил* – (Прим. редактора)

[2] *Свято-Введенский ставропигиальный мужской монастырь Московской Патриархии РПЦ – (*Прим.редактора)

[3] Дело Бейлиса – в 1913 году, Дело Бейлиса известный судебный процесс по обвинению еврея Менделя Бейлиса в ритуальном убийстве 13-летнего ученика Киево-Софийского духовного училища 12 марта 1911 года. Беспочвенность обвинений была доказана после нескольких лет судебных разбирательств. Видные российские писатели и общественные деятели выступали в защиту Бейлиса.– (Прим. редактора)

Галина Курляндчик

МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ

(Записки для своих)

Если все, с чем нельзя смириться,
Сделать песней или рассказом, —
Перелитая в строгую форму
Боль от сердца отхлынет сразу...

Маргарита Алигер

РОССИЙСКИЙ ПАЗЛ ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Весна, лето, осень 2014 года

«Российский пазл» я пыталась сложить в общую картинку в 2009 году. Прошло пять лет. Я по-прежнему раз или два в год бываю в Москве, иногда в Новосибирске, изредка в других городах России. Через пять лет захотелось уточнить некоторые фрагменты этого пазла. Кое-что в силу опыта я стала оценивать более спокойно, оно стало привычным и не так резко задевает глаз и душу. А другие явления стали крупнее и вызывают больше эмоций. Да и возникли новые фрагменты.

ФРАГМЕНТ 1

Смута

В этом году начать труднее: российский пазл стал очень сложным, непонятным. Если раньше я с уверенностью говорила друзьям и знакомым в Калифорнии, которые ждали моего возвращения из России, что «всё под контролем», то сейчас я произношу ту же фразу скорее для себя, чтобы внушить себе уверенность в том, что я еще могу контролировать, по крайней мере, уход за престарелыми родителями в Москве. Пока. Сегодня. Про завтра никто ничего не знает. Время смутное.

Началось это в прошлом году с событий на Украине. Для многих из нас Украина – это кровные узы, поэтому быть равнодушным и невозмутимым просто невозможно. Родители мои оба родились на Украине («в Украине», как требует нынешняя грамматика): папа родился в Киеве, мама – под Киевом, в Белой Церкви. Мой муж Яков, как и вся его родня, – одесситы. А я сама родилась в Крыму, в Симферополе, где и сейчас живут мамины младшие сестры и их семьи. Мамина лучшая подруга – в Севастополе, подруга детства моя и мужа – в Донецке... «Сердце обливается кровью» – это не красивая фраза, а истинное состояние души. Смутно в голове, смутно на душе, а в сердце – рана.

Я – не политик, не общественный деятель, не журналист, и я оставлю им анализ событий и прогнозирование. Я – просто свидетель. И я описала только то, что сама видела и слышала, и что при этом чувствовала... Сейчас время такое, что мои записки могут привлечь внимание не только «своих»; я несу полную ответственность за свои слова, и, будем считать, что это – «мои свидетельские показания».

В альманахе «Образы жизни» за 2013 годы была опубликована глава из исторического романа Е.В. Коротковой-Гроссман «Мужские слезы смуты» (Екатерина Васильевна – писатель и переводчик, дочь писателя Василия Гроссмана, живет в Москве). Мне захотелось прочитать весь роман, и я, пока была в Москве, брала у Екатерины Васильевны по одному номеру журнала «Отчий край» (Волгоград), где роман был опубликован под названием «Смута». Нашла много аналогий с сегодняшним днем. Очень взволновал диалог героя романа Петра Басманова с Самозванцем о том, что появилось много недовольных его правлением в Москве. Басманов советует Дмитрию начать небольшую войну, чтобы отвлечь народ от внутренних проблем в государстве и объединить в борьбе с врагом, пробудив патриотические чувства... Поэтому то, что происходит в обществе, иначе как «смутой» я уже назвать не могу. История опять повторяется.

ФРАГМЕНТ 2

Первая жертва смуты

Когда 1 марта 2014 года Совет Федерации дал согласие президенту России на использование Вооруженных сил РФ на территории Украины, и, как нам сообщили, голосование прошло в открытом режиме и решение было принято единогласно, для нас война уже началась: мы потеряли своего старого друга – Славу Новикова, которого я считаю жертвой этой войны. В Википедии можно прочитать о нем следующее: *Вячеслав Александрович Новиков (9 октября 1948, село Круглое, Воронежская область — 28 февраля 2014,*

Москва) — российский государственный деятель, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от законодательной власти Красноярского края (2002—2014).

Со Славой и его женой Наташей мы были знакомы с 1972 года, когда он и мой муж Яков были аспирантами Новосибирского государственного университета. Мы были соседями в общежитии, потом работали в одном здании Вычислительного центра СО АН СССР, жили несколько лет в одном доме в соседних подъездах.

Славу Новикова знали многие в Академгородке, так как Вячеслав не только занимался наукой (математик, кандидат физико-математических наук), но и был режиссером любительского театра Академгородка «Лицедеи», существовавшем при Доме культуры «Академия». Слава поставил в этом театре опальную пьесу Николая Эрдмана «Самоубийца», в которой принимали участие многие наши близкие друзья. Нужна была огромная гражданская смелость, чтобы решиться на такую постановку в то время. Премьера спектакля состоялась на сцене Дома ученых Академгородка 4 декабря 1984 года. Успех у зрителей (нас!) был оглушительный. А в январе райком партии Советского района города Новосибирска, куда относится Академгородок, провел заседание, на котором было принято решение о запрещении спектакля, о наказании участников и т.д. Начались гонения. В научных кругах участников спектакля стали звать «самоубийцами и «декабристами» (по дате премьеры и по аналогии с участниками восстания на Сенатской площади). Директора Дома культуры «Академия» Неллю Мироновну Малиновскую сняли с работы, объявив партийный выговор. Многие участники спектакля тоже поплатились увольнениями с работы. Совет ветеранов Академгородка не замедлил обвинить участников постановки в «жидо-масонстве». Когда им возразили, что Новиков «русский», то ветераны заметили, что «в прошлой жизни непременно был евреем». В 1985 году Вячеслав Новиков уехал в Красноярск (это уже Восточная Сибирь, а не Западная, как Новосибирск), где образовывался новый научный центр, филиал Сибирского отделения АН СССР. Кстати, фильм режиссера Валерия Пендраковского по этой пьесе вышел в СССР только в период перестройки, в 1990 г. А в Красноярске Слава Новиков продолжил свою научную и преподавательскую карьеру, активно занимаясь сначала общественной, а затем и политической деятельностью. В 2002 он стал сенатором Государственной думы Российской Федерации от Красноярского края.

И вот 28 марта 2014 г. ему позвонили с предписанием явиться назавтра в Совет Федерации на голосование по поводу ввода войск в Украину. После этого известия Славе стало плохо, и он умер от сердечного приступа накануне голосования. Потом выяснилось, что «единогласно» проголосовали только те сенаторы, которые пришли, а это были далеко не все! А Вячеслав Новиков, наш Слава, такого не смог пережить. Как в пьесе Эрдмана: «В смерти прошу никого не винить, кроме нашей любимой советской власти». Мистика? Судьба? История повторяется.

ФРАГМЕНТ 3

Границы русского мира

В этом году мне пришлось дважды летать в Москву из Калифорнии. В связи с последними событиями на Украине немного волновалась, как пройду границу, не изменится ли какой-то закон, не введут ли какой-нибудь новый запрет и т.п. Границы я прошла гладко и в Лос-Анджелесе, и в Москве. Но когда в апреле я возвращалась из Москвы в Лос-Анджелес, уже в самолете случилось непредвиденное. Сначала всё шло как обычно. Я нашла свое место. На соседнем кресле уже спокойно сидел мужчина. Я устроилась, и тут к соседу подошел стюард и спросил его: «Это вы депортированы?» Мужчина утвердительно кивнул, стюард его ещё о чем-то спросил, но мне уже было не до их разговора. Депортированный в соседнем кресле! Кто такой? За что? Что со мной будет? Что делать?

Стала приглядываться к соседу. На первый взгляд, вполне мирный пассажир. Переглянулись, поздоровались, познакомились. Оказалось, армянин из Солт-Лэйк Сити. Сын отправил его в крымский санаторий в Саках лечиться по американскому паспорту. В прошлом году он также летал через Москву, где в аэропорту пересел на самолет до Симферополя, поэтому никакой российской визы не понадобилось. А в этом году, когда он прибыл в Москву, у него потребовали российскую визу, которой у него не было. Турагенство, через которое сын отправлял отца из Штатов в Саки, видимо, было не готово к тому, что «власть переменится». Прошло всего несколько недель с 18 марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России. Таким образом, мой сосед оказался в Москве без права на въезд в Россию, и его первым же рейсом оправили домой в Америку. Он беспокоился о том, как будет добираться из Лос-Анджелеса до Солт-Лэйк Сити, ведь он практически не говорил по-английски, а со мной разговаривал на ломаном русском. Было видно, что ему нелегко дается многочасовой перелет, но он был дружелюбен, и я быстро успокоилась, а в аэропорту Лос-Анджелеса даже помогла ему разобраться с нужным терминалом и рейсом. Попрощались по-доброму, он даже приглашал в гости...

ФРАГМЕНТ 4

Крым, Донецк и оливковое масло

Я опять в Москве. Крым и Украина – безразличных нет ни среди родных и близких, ни среди друзей и знакомых. Крым, Донецк волнует бизнесменов и продавцов, учителей и врачей, пенсионеров и студентов. Соседи и попутчики в транспорте говорят о войне и беженцах, санкциях и о том, что нужно закупать итальянское оливковое масло. В гостях *последний раз* подают блюдо с сыром моцарелла. Все говорят, а верить не хотят, так как, оказывается, уже забыли, как стояли в очередях. А у молодежи такого опыта и не было. Изобилие на полках супермаркета кажется неизменным. Как это исчезнет финское масло? Что ли опять вологодское будем есть? Ладно, рис. Привезут из Китая и Индии. А наши любимые оливки? Нет, не хотим без оливок! – Шутка. Невеселая... А что дальше запретят? Ездить в Европу и США? Опять «железный занавес»? Молодые и не понимают, что это такое.

На дверях подъезда появляется объявление: «Дорогие соседи, мы, (...) из (...) квартиры, приютили беженку из Донецка. Зовут ее (…) . Самые необходимые вещи на первый случай у нее есть, а вот одежда и обувь на осень и зиму (...) размеров ей очень нужны. Будем благодарны. Контактные телефоны (…)». Это тоже становится реальностью.

ФРАГМЕНТ 5

«Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить»

Образ великого вождя по-прежнему жив: в скульптурах — в полный рост и в бюстах; в Лениных, сыгранных актерами, подрабатывающими для туристов на площадях Революции и Манежной; на фотографиях выставок... Имя Ленина живет в названиях: Ленинский проспект, Ленинский район Подмосковья, совхоз имени Ленина... И, конечно, тело вождя живет в своем Мавзолее на Красной площади. А мы продолжаем жить с его делом, спотыкаясь об него на каждом шагу.

ФРАГМЕНТ 6

Отхожий промысел

Создается впечатление, что отхожий промысел, которым занимался мой прадед Дмитрий Яковлевич Сорокин, малоземельный крестьянин из Вятской губернии, в конце XIX и начале XX века, в XXI столетии стал женским. Похоже, женщины не только добились прав наравне с мужчинами, но и завоевали обязанность кормить семьи. По статистике довольно большой процент женщин в России занимают ключевые посты в управлении бизнесом и других областях жизни общества. Отлично!

Но... Бегу по своей 13-й Парковой и замечаю раз, другой женщин в оранжевой униформе с метлами и лопатами. Явно уличная бригада дворников. Последние годы в Москве эту работу везде выполняли таджики или узбеки. А тут белокурые женщины явно славянской внешности. Не выдержала, как-то во время своего утреннего пробега от дочери к родителям остановила одну стройную и скромную молодую красавицу и спросила: «Откуда?» Она (на вид ей около тридцати) без особой охоты ответила на мое любопытство, даже, скорее, изумление: «Из Орловской области». Я не угомонилась: «Дома нет работы?» «Есть, но другие деньги. Там зарплата – 4 тысячи рублей, а здесь, в Москве, – 20 тысяч». Мне стало неловко и стыдно слышать о такой несправедливости (в 5 раз больше в столице, чем в провинции!), да и отвлекать человека от работы не хотелось. Я поблагодарила молодую женщину, пожелала ей удачи и убежала. Долго не могла успокоиться. Да и сейчас, как вспомню, очень горько за «женскую долюшку».

ФРАГМЕНТ 7

«Побыстрячку»

«Побыстрячку» – это любимое словечко в лексиконе сиделки Тамары, которая живет с моими родителями. За последний год у родителей было три сиделки, и все они с Западной Украины. Нашли мы их через агентство по уходу за пожилыми и больными людьми. На всякий случай я изменила их имена. Тамара начала работать в нашей семье с июня прошлого года, а Марина и Надя подменяли ее, когда она уезжала домой. Я не буду описывать их обязанности, подробные обстоятельства их жизни, – с работой они справляются каждая в силу своих умений и понятий. У них разные характеры, разное образование, разные интересы. А общее у них то, что эти молодые замужние женщины взяли на себя ответственность за свои собственные семьи (мужей, детей, родителей, сестер, братьев). Они хорошо говорят по-русски. Они не растерялись в Москве, приехав на заработки из своих маленьких городков и деревень. Они четко представляют, что они и только они могут обеспечить свои семьи, зарабатывая для себя и своих родных на еду, одежду, медицину, учебу, отдых и т.д., потому что мужчины на (в) Украине либо на войне, либо без работы, а на границе с Россией на заработки их не больно-то пускают. Женщинам проще пересекать границу. Тоже «отхожий промысел XXI века». И они все делают «побыстрячку». Я им всем благодарна за заботу о моих родителях.

Приведу один пример из нашей с ними реальности.

Конец сентября. Я живу у родителей. Надя уехала домой, так как у нее уже закончился трехмесячный срок, в течение которого она могла находиться в России. Жду Тамару. Она едет из своего города Тячева (Западная Украина, недалеко от Ужгорода). То, что будут проблемы с возвращением в Москву, я понимала с момента ее отъезда домой. Она всегда ездит рейсовым автобусом, который идет в Москву прямо от ее дома в Тячеве. Но дело, конечно, не только в автобусе, а в ситуации на границе, которая может смениться в любой момент. Жду.

Тамара прислала сообщение по телефону, что выехали вовремя. Очередное сообщение я ждала утром следующего дня после пересечения границы с Россией, но не дождалась. Надо было выйти за продуктами в ближайший супермаркет. Меня не было дома полчаса. Вернувшись, я застала у родителей соседку Ларису, которая нас всегда выручает. Тамара не смогла связаться со мной (в супермаркет, расположенный в старом доме с толстыми стенами, мобильная связь не проходит) и написала сообщение Ларисе: она еще на Украине, у них сломался автобус, когда его починят, они поедут дальше.

Как потом выяснилось, автобус сломался в поле. Простояли они там много часов, ожидая, когда доставят запчасти и починят автобус. А на границе все прошло гладко, так как всем автобусом скинулись на взятки пограничникам. В Москву они попали на 12 часов позже.

Перед моим отъездом в Калифорнию мы с Тамарой обнялись и поплакали. Нам обеим было тяжко. Время смутное.

ФРАГМЕНТ 8

Словесность

Смута смутой, но это больше в СМИ, в разговорах, а город и горожане живут своей жизнью.

Верный Андрей, он же муж нашей дочери Катерины, встречает меня в Шереметьево и, пытаясь объехать вечные автомобильные пробки на Ленинградском шоссе по окрестным поселкам, мы устремляемся в Москву. Кроме вполне ухоженных подмосковных пейзажей по дороге, как обычно, встречаются и огромные рекламные щиты. Глаз к ним привык, но в этот раз я приятно взволнована. Главная информация на них не о продаже зеленых земельных участков, уютных квартир с видом на реку или озеро, даже не уговоры на приобретение престижных марок автомобилей, а реклама благотворительных фондов. Конечно, рекламы о продажах тоже есть, но их стало заметно меньше. Первый щит при выезде из аэропорта «Шереметьево» – реклама благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Дальше были щиты с объявлениями различных медицинских и детских фондов. Мне кажется, это свидетельствует о том, что в России появилось достаточное количество вполне обеспеченных людей, желающих и способных помочь нуждающимся.

Второй эпизод, связанный с рекламой или словесностью – так мне приятней называть языковое творчество в рекламе и на вывесках – буквально шагал мне навстречу. Это был человек-плакат у метро «Шабаловская». Там неподалеку находятся два известных в Москве кладбища: Донское и Даниловское. Я побывала на Донском, поклонилась могилам близких, заплатила за ниши с урнами, и, как всегда в такие моменты, думая о вечном, возвращалась домой. Сойдя с трамвая, чтобы пересесть в метро, нос к носу столкнулась с ходячим щитом, на котором призывно кричали мне в лоб слова: «Напечатаем вашу книгу!!!» Вот так! Печатают наши книги! Заметим: ни о цензуре, ни об издательствах с редакторами-корректорами речь не идет. Свобода! Пишем книги и печатаем (за наши деньги, разумеется).

Следующий призыв из словесности (уже просто на тротуаре под моими ногами) меня заставил споткнуться и остолбенеть. «ПУТЬ СИЛЫ». Ой! В мозгу первым делом «Путин» и «война»! Жуть! Оказалось: на тротуарах (ведь люди в Москве еще не разучились и пешком ходить) всяческие мелкие бизнесы, у которых нет средств на щиты и плакаты, штампуют белой краской свою рекламу. И чего только я ни видела под ногами! Мне предлагалось купить детские памперсы, поменять шины, заказать пиццу. Но попадались и совсем личное: «Настя, я тебя люблю!», «Мамуля, я тебя люблю!». Может, провинился перед мамулей, вот и задабривает. Прямо перед глазами на дверях подъезда мелкими, но отчетливыми буквами объявляют, что алкоголь-то у них 24 часа в сутки и с доставкой на дом! Вот это сервис! Никакие законы нам не указ! А «Путь силы» – это всего-навсего реклама фитнес-клуба!

Особое мое внимание привлекли плакаты со старой рекламой в Столовой № 57 на 3-м этаже 3-ей линии ГУМа (Красная площадь, дом № 3), куда я водила внучку Алису после нашей экскурсии по Историческому музею.Там воссоздали легендарную столовую советского времени. Я вспомнила свое детство и юность:

Дамочка, внимание!
Соблюдай режим питания!

Во благо всего мира
Пей стакан кефира!

Овощи и фрукты –
Лучшие продукты!

Лучшая диета –
Сочная котлета!

А на столике, за которым мы с Алисой ели вполне советский комплексный обед за какие-то смешные деньги (150 рублей), стоял маленький призыв на двух языках:

Помоги, товарищ, нам –
Убери посуду сам.

Comrade, let us have a deal –
Clean your table after meal.

Названия некоторых заведений (прошу прощения, бизнесов) тоже порадовало: «Хорошие новости» – аналог бывшей «Союзпечати». От плохих-то новостей все устали, а у нас для вас «хорошие новости»! А вот «Фруктовый бутик». Наверное, какие-нибудь особенные фрукты или фруктовые корзины-букеты? Не угадали! Обычный фруктово-овощной ларек, а вот название вас и завлекло. Глядишь, купите что-нибудь, зря что ли зашли!?

«Ясный перец». Что вы подумали? Ресторан! Меня туда пригласили. Оказалось, очень гостеприимно и вкусно, хочется вернуться. А вот названия магазинов: «Семь пядей» – магазин развивающих игрушек, «Подружка» – магазин косметики «только для женщин». Ну, а товары из «Семи пядей», думаю, разовьют всех желающих, так как некоторые взрослые остаются детьми до конца своей жизни.

Особенно трогают названия и реклама на английском языке: кафе «Fat cat» (побывали с семьей – обстановка уютная, кошачья, и кормят отлично). Или кофейня «Coffee City». Знай наших: некий европейско-западный шик.

Но русский народ за словом в карман не лезет даже на ходу. Расскажу такой эпизод. В пятницу вечером Андрей везет женскую команду нашей семьи в аэропорт Домодедово, откуда мы собираемся лететь в Новосибирск. На шоссе строят новую развязку, пробка от МКАД до аэропорта. У Андрея включен телефон с GPS, на который приходит сообщение: «Я – водитель Пугачевой. Алла ждет в аэропорту. Пропустите, пожалуйста!» !!!Творческий народ!

ФРАГМЕНТ 9
Лица

Пожалуй, одно из главных впечатлений от города в этом году – это лица. Был период, когда я заколебалась, стоит ли писать этот фрагмент. Давила какая-то неуверенность: от меня не этого ждут, не поверят, даже отвернутся. Но вдруг очнулась. Я видела ЭТО, видела ЭТИ ЛИЦА. Я же не пишу по заданию. Я описываю только то, что видела. А видела я много открытых и доброжелательных лиц. Еще несколько лет назад такие лица мне почти не попадались в Москве, а сейчас их много. Конечно, сколько среди них коренных москвичей, а сколько приезжих, я не считала. И те и другие стали чем-то похожи, быть может, выражением общего мироощущения. Ушли враждебность, неуверенность, настороженность. Лица разгладились, стали мягче, приветливее. Появились улыбки – при встрече с незнакомыми людьми на улице и в метро, на рынке и в магазине. Вежливость стала нормой. В лифте, на остановке городского транспорта соседи или просто попутчики уже не отворачиваются друг от друга, а миролюбиво здороваются, заводят дружеские разговоры и вежливо прощаются. Лица свежие, одежда у всех опрятная. А еще изменились запахи в транспорте, воздух стал чище и приятней. Стало просто НОРМАЛЬНО.

Но... иногда такое лицо может ввести в заблуждение человека доверчивого, наивного, чаще немолодого. Так в лифте с моей 89-летней тетушкой ехал такой милый молодой человек, который представился сотрудником службы, меняющей в их подъезде старые плиты на новые. Она поверила, пустила в квартиру, а пока мыла старую плиту, чтобы ее заменили, это ЛИЦО украло у нее все накопленные «похоронные» деньги. Так что лица лицами, а ухо надо держать востро.

ФРАГМЕНТ 10
Московский дворик

Пять лет назад я писала об одной из главных примет московских дворов – автомобилях. Конечно, их сегодня не меньше, но... Кое-где построены многоэтажные гаражи. Стоят они, правда, не дешевле среднего автомобиля, но они есть. Стоянки во дворах привели в порядок, места строго обозначены, нарушителей стало заметно меньше. Во всех дворах детские площадки регулярно обновляют и благоустраивают. Рядом с детскими площадками появились дворовые тренажеры, которыми жители окрестных домов активно пользуются. Кое-где даже появились местные парки между домами. Там красивые лавочки, клумбы, фонтаны, даже вольеры с белками. Делают это

жители из ближайших домов. Сами потом следят за порядком. Московские дворики стали уютней.

ФРАГМЕНТ 11

Вам куда?

Метро. Московское метро – все то же. Вот станций прибавилось. Я уже езжу к друзьям в Митино на метро до станции «Митино» или «Пятницкое шоссе», а не до «Тушинской», потом на маршрутке, как еще несколько лет назад. На станции «Митино», да и на других новых станциях Московского метро, появились лифты. Теперь пассажиры в инвалидных колясках, как и пассажиры с детскими колясками, чемоданами, велосипедами пользуются лифтом, а не эскалатором или лестницами. Пандусы на лестницах в метро уже были и раньше, а лифт для меня – новость. Удобно!

В метро по-прежнему читают. Журналы и книги на русском, на английском, на испанском и прочих языках, и, само собой, во всевозможных электронных устройствах. На многих станциях метро есть Wi-Fi, так что пассажиры проверяют электронную почту, отправляют письма и сообщения. Жизнь в метро не замирает.

Помните станцию «Площадь Революции» с бронзовыми скульптурами в нишах на перроне? Одна из этих скульптур – «Пограничник с собакой» – приобрела особое расположение пассажиров метро. Вернее, каждый ЗНАЮЩИЙ пассажир на этой станции непременно подойдет к бронзовой собаке и погладит ее нос! Эта традиция существует уже не первый год, и, видимо, приносит удачу тем, кто не игнорирует собачий нос, который радостно блестит, так как полируется каждый день тысячами рук.

Автобус. Далеко автобусами в этом году мне ездить не приходилось, а вот местный маршрут № 34, который прошлые годы ходил только по ему одному известному расписанию, вдруг «повернулся лицом» к своим пассажирам. Кстати, к инвалидам и пассажирам с колясками тоже! На остановках появилось расписание, и (о, чудо!) автобус № 34 ходил строго (ну иногда с разницей в 2-3 минуты – какая мелочь!) по расписанию, экономил мое время, а порой – силы и здоровье, когда необходимо было нести что-то тяжелое.

Такси. Здесь важен не технический и даже не экономический факторы, а чисто человеческий. Ты едешь вдвоем с шофером, поэтому волей - неволей вовлекаешься в чью-то жизнь, судьбу, проникаешься чьим-то настроением. На такси я ездила только в аэропорт, когда летала в Казань. Опытный шофер Владимир, таксист еще с советских времен, знал все нюансы маршрутов к любому аэропорту и всю дорогу развлекал меня байками из шоферской и личной жизни.

А вот в своем районе, как и раньше, я выходила на улицу к «условному» месту, которое знают местные жители, и садилась к тому водителю, который «ждал» пассажиров. Так наша дочь когда-то, спеша утром на работу, познакомилась с шофером по имени Виктор, который подвез ее до станции метро «Щелковская». У него была оформлена лицензия на частного таксиста. Он дал нашей Катерине свой телефон и стал как бы нашим «семейным шофером по вызову». В какой-то момент выяснилось, что его жена знает моих родителей, так как несколько лет назад замещала помощницу, которая приходила к ним делать уборку. Нам она тогда понравилась. Милая и заботливая женщина, занятая домом, внучкой. Виктор, на вид крепкий ещё мужчина, работал только по утрам. Работал очень четко. Я просила его возить на лечение моего отца в 15-ю больницу. В какую-то поездку отца сопровождала не я, а моя крымская тетушка, приехавшая помочь старшей сестре и ее мужу. Тетя Стелла, человек общительный, быстро выяснила, что Виктор в прошлом человек военный, и рассказала ему, как она в молодости служила в армии на Дальнем Востоке. Она сумела так расположить к себе Виктора, что он в свою очередь показал ей "Удостоверение ветерана внешней разведки". Ни наша дочь, ни я такого доверия не удостаивались. Очевидно, что он ушел на пенсию не в больших чинах, раз и он, и его жена вынуждены подрабатывать. Да и со здоровьем у него неважно. Мы в этом году уже не звонили ему за помощью. А человек он надежный, я бы «пошла с ним в разведку».

В этом году нашу «условную» стоянку облюбовали приезжие шоферы. У них в Москве есть даже свое имя: шахид-такси. С ними у меня сложились тоже отличные отношения. Один из них, худощавый и разговорчивый мужчина лет пятидесяти, родом явно из Средней Азии, оглядев меня очень уважительно, спросил: «Учительница?» Я не стала возражать, так как закончила педагогический институт, да и несколько частных учеников у меня когда-то было. В целом, он оказался проницательным, так как по сути своей я, конечно, учительница. Он продолжал внимательно на меня поглядывать и, осмелев и уверившись в чем-то только ему ведомом, задал следующий вопрос: «А муж охранник?» Тут я опешила! Господи, что это? Но он с таким пиететом произнес «охранник», что я поняла, что для него это в некотором роде свидетельство карьерного роста. Наверное, как я потом подумала, он искал работу охранника и прощупывал, не могу ли я ему в этом помочь. Я замялась и очень неуклюже произнесла: «Да, нет... Он – программист». Я готова была пожалеть о сказанном, так как мой водитель чуть не выронил руль, машину повело, а он произнес с восторгом: «Ученый!!!» Но он быстро взял себя в руки, и мы еще поговорили о

том, что в наше время приходится тяжело работать и шоферам, и охранникам, и программистам, и учителям, и, что, главное, чтобы работа была и за нее платили. Ох! Больше я его не встречала. Видимо, в его понимании учительница и жена охранника может воспользоваться его услугами, а вот жена программиста, УЧЕНОГО, наверное, должна разъезжать на своей собственной «крутой» иномарке.

Грузин Гиви, уже очень немолодой и, явно не очень здоровый, был неразговорчив, но понятлив, а, увидев меня издали, заводил свою старую «Ладу» и подъезжал поближе, так как знал мой маршрут от дочери к родителям без подсказок.

С молодым парнем из Тбилиси Аваром у меня завязались почти родственные отношения. Он сразу стал звать меня «Бабуля» (а кто я, если не бабуля, – у меня внуку уже 23 года) и доверительно говорил, что в нашем районе Измайлово народ более интеллигентный, а вот рядом в Гольяново – грубые и нечестные люди, что он теперь предпочитает работать в Измайлово. Мне было все это слышать интересно, так как обычно мы оцениваем приезжих, а вот как они оценивают нас, мне слышать не приходилось. Авар еще больше стал мне доверять, когда мы с ним возили в поликлинику моего отца, который был при своей ветеранской наградной планке на груди. И хотя отец молчал в дороге, так как он почти ничего не слышит и ему трудно поддерживать разговор, в следующий раз Авар сказал мне: «Отец у тебя настоящий! Все, кто прошли Советский Союз, – настоящие». И грустно добавил: «Сейчас – все искусственные...». Он мне доверял, предлагал ждать, если нужно. Видимо, я ему напоминала его родную бабулю. Спасибо, Авар, за доверие.

ФРАГМЕНТ 12
Сезон ярмарок

Если есть время оглянуться по сторонам в Москве, то создается впечатление, что в городе один праздник сменяет другой, так как вереница фестивалей, ярмарок и разнообразных Дней следуют без перерыва. Приведу только несколько примеров.

День города. Москва празднует свой День города в первые выходные сентября. Я предложила внучкам Анюте, Алисе и их родителям поплавать на теплоходе по Москва-реке. Так и сделали. Выбрали маршрут от Воробьевых гор до высотки на Котельнической набережной. День выдался ясный, так что удалось полюбоваться панорамами столицы в разных ракурсах. Московский университет возвышался гордо и притягивал взгляды не только наших внучек-школьниц (их папа Андрей закончил физфак МГУ и учился в аспирантуре университета), но всех гуляющих москвичей и туристов. Москва-Сити на Пресненской набережной выделялся современным обликом своих новых башен среди традиционной московской архитектуры прошлого века. Лужники готовились к новым чемпионатам. Утопающий в зелени парк Горького зазывал народ веселой музыкой и аттракционами. Министерство обороны достраивалось современными высотками за парадным корпусом, выходящим на Фрунзенскую набережную. Кремль красиво смотрелся с теплохода. На Красной площади шел концерт на открытой эстраде. Величественно проплывали перед нашими глазами Храм Христа Спасителя, памятник Великому Петру на стрелке, Дом Музыки, Дом на Котельнической набережной, Выставочный зал у Крымского моста. И, конечно, мосты, мосты, встречные теплоходы. Все мы остались довольны речной прогулкой, а потом прогулкой по парку на Воробьевых горах, который оказался очень ухоженным и со множеством скамеек в тени многовековых лип и кленов.

Традиционные ***сезонные ярмарки*** проходили по всему городу. Весь август на площадях Москвы можно было увидеть красочные ряды с дарами природы. Это проходил фестиваль «Московское варенье». Трудно было не заметить также «Яблочный спас» и «Медовый спас». Со всех уголков столицы горожане ездили на Ярмарку меда в Коломенское, где от метро курсировали бесплатные автобусы до ярмарочных рядов с медом со всех уголков России.

ФРАГМЕНТ 13
Школа

1 сентября проводили внучек в школу. Обе учатся через дорогу напротив дома. Алиса пошла во 2-й класс своей прогимназии (начальные классы), а Анюта в последний 11-й класс гимназии (с 5-го по 11 класс). Это одно образовательное учреждение, расположенное в нескольких зданиях: для прогимназии приспособлено здание бывшего детского сада, а гимназия находится в стандартном здании школы. Торжественная линейка начинается в прогимназии у малышей, а потом продолжается у старшеклассников. Трогательно, волнующе – и для детей, и для родителей, и для немногочисленных бабушек и дедушек.

Через неделю и во 2-м, и в 11-м классах назначены родительские собрания в одно и то же время. К выпускнице идет мама, а к второкласснице доверено идти бабушке – мне!

Екатерина Александровна, молодая, энергичная, знающая учительница 2-го класса встречает родителей. Класс оборудован электронной доской и всем, что необходимо для обучения современных

детей. Нас просят расписаться в ведомости о явке, ведь предстоит ознакомиться с важными документами, как предупреждает нас Екатерина Александровна. Именно знакомству и обсуждению этих документов уделяется львиная часть времени собрания, которое продолжается почти 4 часа. Правда, иногда это обсуждение прерывается знакомством с каким-нибудь тренером по баскетболу, борьбе или инструктором по бальным танцам, чтобы желающие смогли записать своих детей в ту или иную секцию или кружок.

Подробности сейчас неуместны, но речь шла о реформе (очередной!) образования в Москве, которая подразумевает дальнейшее объединение (укрупнение) образовательных учреждений (обычных и специализированных школ, гимназий, детских садов и т.д.) Эта реформа большинством родителей воспринимается в штыки: они же готовили своих детей к более высокому уровню образования, так как здесь иные требования и к педагогам, и к ученикам: и в прогимназию, и в гимназию необходимо сдать вступительные тесты. Соответственно, у гимназии высокий рейтинг среди московских школ. А тут предстоит обычная школа с рядовыми педагогами! Понять родителей можно. А выход у них есть? Похоже, нет. Есть только выбор – с какой школой в районе дальше объединяться.

Не все родители вели себя, на мой взгляд, достойно. Они нападали на Екатерину Александровну, которой просто поручили познакомить их с документами, а реальной власти она, разумеется, не имела.

А когда речь зашла о том, что продленка (группа продленного дня) становится видом услуг и необходимо заполнить договор на соответствующие услуги (оплатив, естественно, эти услуги, если у вашего ребенка нет льгот), то родители повели себя так, будто они не в школе, а пришли в сферу услуг и требуют, чтобы детей обслуживали. Мне было неприятно. Екатерина Александровна, которую вся наша семья очень уважает, такого отношения не заслужила.

В конце собрания к нам в класс зашла завуч Елена Викторовна, взявшая с этого года группу английского языка, в которой учится наша Алиса. Она решила «вытаскивать» наших детей, ведь им в первом классе, увы, не повезло с педагогом по английскому языку. Сразу после приветствия она дала нам адрес своего сайта, где можно контролировать все, что дети делали в классе и что им задали на дом. Мне это очень понравилось, как и электронные дневники во всех классах.

Скажу откровенно: все педагоги, с которыми я познакомилась в прогимназии, мне понравились, а вот родители, к сожалению, не все, так как их сознание было поражено борьбой с вирусом под названием «школа – это сфера услуг».

Как говорит Исаак Калина, глава департамента образования города Москвы, продвигая свои идеи по реформированию московских школ и называя это «пилотным проектом»: «Москва – это не сельская школа». Из полутора тысяч московских школ получилось около 700 учебных «комбинатов». Это на 1 сентября 2014 года. «Проект» продолжается.

ФРАГМЕНТ 14

Культурный вдох

После школьного собрания потребовался культурный вдох. В сентябре я ждала двух событий: Международной книжной ярмарки на ВДНХ и Международной конференции к пятидесятилетию со дня смерти Василия Семеновича Гроссмана (1964–2014) «Наследие Василия Гроссмана: Самобытность классика XX века» в Доме русского зарубежья.

Международная ***книжная выставка-ярмарка*** проходила в начале сентября, как всегда, на ВДНХ в новом просторном павильоне № 75. Знакомство с ярмаркой началось в огромном фойе с выставки букв русского алфавита, выполненных с применением разных техник прикладного искусства. Выглядел алфавит очень живописно. На входе к ярмарочным рядам можно было взять журналы с обзорами книжных новинок; на открытых сценах проходили встречи с авторами.

Моя крымская тетушка накануне мне сказала, что для участия в ярмарке поехал ее знакомый журналист из Феодосии. Найти крымскую экспозицию оказалось совсем легко, так как им выделили место в самом начале крайнего правого ряда. Порадовали меня календари с видами моего родного Крыма и издания, посвященные Максимилиану Волошину.

Я и две мои московские подруги прошли ряды с детскими изданиями, посмотрели на новые книги наших любимых современных авторов, сравнили цены на ярмарке и в интернет-магазинах. Я обращала внимание на новые издания книг по искусству, искала идеи оформления для возможных будущих семейных публикаций. Представленные издания тысячи участников из 63 стран вдохновляли своим многообразием и тем, что, раз такое богатство выпускают, «значит – это кому-нибудь нужно?» (Маяковский). То есть, значит – это прочитают?

Ушли мы с ярмарки, когда уже ноги не ходили. Кафе мы нашли, конечно, прямо в павильоне, а «настоящий» кофе – в старом (но недавно отреставрированном!) павильоне «Армения». ВДНХ заметно преобразился после того, как там начали обновле-

ние и убрали все лишние киоски и сооружения. Книжная тема присутствовала и в художественной инсталляции «Книжный лабиринт», который был попросту собран художником из книг, списанных в библиотеках. Старые книги уже служат материалом для нового искусства...

Теперь о ***конференции***. Она была приурочена к печальной дате: 14 сентября 1964 года умер Василий Семенович Гроссман. Я не буду оригинальной, если скажу, что его роман «Жизнь и судьба» разделил мое мироощущение, мое сознание на «до» и «после» прочтения этой книги. Потом я пыталась прочесть все, что было написано мастером. И каждый раз было душевное потрясение: он увидел, а я нет. Я сейчас говорю не только всем известные слова, что роман-эпопея Гроссмана направлен против тоталитаризма как нацистского, так и советского. Особенно меня поразили страницы о муках совести и моральном выборе. И еще: КАК автор это делал! Для меня Василий Гроссман – это совесть, помноженная на талант.

Об этой конференции в маленьком фрагменте не расскажешь. Я назову то, что для меня было главным.

Во-первых, я туда сопровождала дочь писателя – Екатерину Васильевну Короткову-Гроссман и поэтому наслаждалась общением с незаурядной личностью.

Во-вторых, я впервые попала в Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына (ДРЗ), познакомилась с фондом Библиотеки, сотрудниками ДРЗ и их деятельностью. Это знакомство внушает надежду, что не всё забудется из культурного наследия, созданного русскими людьми в разных странах мира.

Третье. Приведу цитату из статьи об этой конференции на сайте ДРЗ: «Инициатором конференции, вызвавшей большой интерес не только филологов, но и специалистов в других областях науки (истории, политологии, права) выступил *Исследовательский центр им. Василия Гроссмана* (Турин, Италия), а его партнерами стали общество *«Мемориал»* (Москва, Россия), *Культурный центр «Покровские ворота»* (Москва, Россия), *Некоммерческая организация Фонд «Еврейское искусство, история и культура в Казале-Монферрато и Восточном Пьемонте»* (Италия) и другие». Екатерина Васильевна познакомила меня с молодым итальянцем Пьетро Тоска, исполнительным директором Культурно-исследовательского центра им. Василия Гроссмана (Study Center Vasily Grossman). Я очень благодарна итальянцам, которые проводили на эту тему уже третью конференцию, за их труды по сохранению и изучению наследия русского писателя. И только эту, третью, им удалось организовать в России. Горько от сознания того, что иностранцам больше дела до культурного наследия русских, чем самим россиянам.

Эта же озабоченность прозвучала в приветственном слове директора ДРЗ В.А. Москвина, который «поблагодарил инициаторов конференции за предложение провести такое значимое мероприятие именно в стенах ДРЗ.

«Культура внутренней эмиграции, – сказал Виктор Александрович, – была очень мощной и выразительной, и Василий Гроссман – выдающийся русский писатель – безусловно к ней принадлежал.(...) Для современной России, изучение В.Гроссмана только начинается, в то время как в Италии создан серьезный научный центр по исследованию творчества писателя. (...) Нынешняя конференция должна стать толчком к созданию подобного центра и в России».

На мой взгляд, Дом русского зарубежья сделал все необходимое для того, чтобы материалы конференции остались доступны всем желающим не только в печатном виде. Операторы записывали аудио и снимали на видео все выступления и обсуждения докладов, поэтому в Архиве ДРЗ можно послушать записи или посмотреть видеоматериалы этой конференции. Но...

Четвертое. Екатерина Васильевна все дни конференции смотрела новости по всем каналам ТВ, но нигде не упомянули о таком важном событии в культурной жизни современной России как Международная конференция к пятидесятилетию со дня смерти Василия Семеновича Гроссмана (1964–2014) «Наследие Василия Гроссмана: Самобытность классика XX века». У меня не было возможности следить за новостями, но через пару недель я поинтересовалась у сотрудницы Дома русского зарубежья, как так случилось, что не дали хотя бы краткую информацию о конференции. Она мне сказала, что ВСЕМ СМИ ДРЗ разослал информацию, но ни один канал ТВ, ни один журнал, ни одна газета не откликнулись на это событие. Просто проигнорировали или получили указание? Нужна ли сейчас совесть, о которой мы читаем у классика XX века? Смута...

ФРАГМЕНТ 15 (почти фантастический)

Незнайка возвращается в Солнечный город

Первый раз я вспомнила «Незнайку в Солнечном городе» в прошлом году. В детстве я очень любила книги Николая Носова про Незнайку. Я росла в Приморском крае, в военном гарнизоне на границе с Китаем, а эти книги присылала мне моя бабушка из Москвы. Всё в этих книжках казалось мне прекрасным, фантастичным и удивительным.

Итак, в прошлом году весной я прилетела в Москву за своей младшей внучкой Алисой, чтобы забрать ее на лето в Калифорнию. Наш сын Владимир также был несколько дней в Москве в командировке,

куда он прилетел из Новосибирского Академгородка. При нашей встрече он с волнением рассказал о своем недавнем неожиданном приключении. Владимиру позвонил один из его деловых друзей (кстати, тоже бывший «городковский мальчик». Все жители Академгородка всегда сокращенно и ласково называют его просто Городком, так что все связанное с нашим Городком – это наше «городковское»). Друг Р. (это заметный человек в российском бизнесе, но я не хочу называть его имя, пусть будет просто «Р.») назначил Владимиру встречу у метро «Мякинино» (это Арбатско-Покровская синяя ветка метро от «Щелковской» до «Пятницкого шоссе» через центр, а «Мякинино» находится уже у МКАД, Московской кольцевой автомобильной дороги). Р. сказал следующее: «Я сейчас за городом. Освободишься – подъезжай в «Мякинино». Там я тебя подхвачу». Владимир позвонил, как они договорились, на что Р. предложил ему посидеть в кафе и предупредил, что он скоро будет. Наш сын сидел в кафе, когда раздался следующий звонок от Р.: «Видишь вертолетную площадку? Подходи туда, я сейчас там буду». Владимир подошел к площадке, вертолет с Р. и инструктором приземлился. Инструктор ушел, а Р. пригласил нашего сына сесть в вертолет. Владимир воскликнул от неожиданности: «Предупреждать надо! Я бы памперсами запасся!» На что его друг ответил, что все будет в порядке, и они полетели. Летели они вдоль МКАДа. Частным вертолетам не разрешено летать над городом. Владимир нам с восторгом рассказал об увиденном с высоты. Позже они приземлились на вертолетной площадке рядом с пристанью, где была пришвартована яхта его друга. Не помню уже, как наш сын вернулся в Москву, но «Незнайку в Солнечном городе», который сначала путешествовал на автомобиле, потом на нем же плыл и летел, мне это приключение напомнило.

Следующая история на эту тему произошла уже со мной и нашей дочерью Катериной в Новом Иерусалиме под Москвой, куда нас в августе этого года свозили наши друзья Ольга и Володя. Сначала мы полюбовались монастырем, собором, потом погуляли по саду и расположились отдохнуть на берегу Иордана (река Истра). Пока мы под раскидистой ивой наслаждались чудесными видами и аппетитными пирожками, приготовленными Ольгой, над нами то и дело пролетали небольшие вертолеты. Искушенные друзья-москвичи объяснили нам, что это частные вертолеты, управляемые деловыми людьми, работающими в Москве, а живущими в своих подмосковных резиденциях. Привет, Незнайка!

Образ Незнайки, летящего над нами, стал для меня более отчетливым, когда я услышала в новостях, что ОКБ им. М.Л. Миля (вертолеты «Ми» считаются самыми лучшими в мире) получило заказ на создание летающего автомобиля! Алиса, услышав эту новость, тут же стала фантазировать, как крыша автомобиля будет открываться и вертолетные лопасти будут раскрываться, винт закрутится, и мы полетим! Правда, мой дядя Лёня, папин младший брат, который сам был конструктором этих самых вертолетов «Ми», хорошо знал М.Л. Миля и облетел весь мир на своих вертолетах, несколько охладил наш энтузиазм, сказав, что в ОКБ сейчас нет таких специалистов, какими были когда-то Михаил Леонтьевич Миль и его ученики, что преемственность в этой области утеряна. Печально, ... но надежда умирает последней. Кстати, вертолет изготовить значительно сложнее, чем самолет. В мире несколько десятков стран-производителей самолетов, и только восемь стран в мире производят вертолеты.

Последняя встреча, напомнившая мне о Незнайке, произошла уже в октябре этого года в Казани. Но не потому, что там в музее знаменитого КАИ им. А.Н. Туполева (Казанского авиационного института – ныне Казанский национальный исследовательский технический университет им. В.Н. Туполева) выставлены модели вертолетов «Ми» и не потому, что в Казани также расположен Казанский вертолетный завод, который эти вертолеты выпускает, а потому что под Казанью есть Солнечный город! Это жилой микрорайон, расположенный в Приволжском районе, очень привлекательный для тех, кто хочет жить подальше от предприятий большого промышленного города. Вот так сказка о Незнайке становится былью в современном Солнечном городе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чем дольше живу и чаще летаю из страны в страну, тем для меня очевидней следующее. Мир стал глобальным, мы все друг от друга зависим. Нефть и газ, ракеты и вертолеты, электричество и вода – это же всем нам, людям, необходимо. Можно продолжать этот для кого-то надоевший, банальный ряд. ОЧЕВИДНО. Можно смутно рассуждать о смутных временах. История повторяется. Жизнь продолжается. Что там высечено на кольце Соломона? «Всё проходит... И это пройдет».

ПАМЯТИ СВЕТЛАНЫ БАБУШКИНОЙ

Светлана Бабушкина с мужем и дочкой
1 августа 2010 года, Москва

Умерла Светлана Александровна Бабушкина, народная художница, создательница уникальных полотен-вышивок, аксессуаров, одежды. О ней мы публиковали статью ее дочери, Галины Курлянчик («Магия вышивки», ОЖ 2011).

Светлана Александровна несла радость и душевное умиротворение всем, с кем сводила ее судьба: зрителям, ученикам, своей дружной семье.Талантливая и щедрая, она раздаривала себя и свои работы.

«Облик Светланы Александровны дышит поразительной гармонией, а красивая самобытная одежда только подчеркивает абсолютную неординарность ее хозяйки. Представить ее в костюме или платье из ГУМа (или, точнее, из того, что сейчас в бышем ГУМе) не только невозможно, но и неуместно.Одухотворенность, веющая от ее личности, требует такой же одухотворенной одежды. Антон Павлович Чехов, формулируя кредо человека, в котором должно быть все прекрасно, имел в виду именно такие русские души – талантливые во всем, чтобы они ни делали – живописали ли иглой, пекли ли румяные пироги, или растили детей столь же талантливых и с такой же благородной душой, как они сами. Русские женщины послевоенного поколения – наши мамы – особый социальный феномен, требующий специального изучения».

Лариса Ваткинс
05.03.2006

Светлана Бабушкина
с родителями. 1936 год

Редакция, авторы и читатели альманаха «Образы жизни» приносят свои искренние соболезнования Гале Курляндчик и ее семье.

РАБОТЫ СВЕТЛАНЫ БАБУШКИНОЙ

Огден Нэш

ЗООУГОЛОК

Перевод Игоря Ильина

Кобра

Несчастная кобра – без ног, как известно, –
Ползет на кишке, на двенадцатиперстной!
Но если ты мальчик хороший и добрый,
То ты издеваться не станешь над коброй!

Канарейки

Трещат на рейке канарейки,
Как две соседки на скамейке,
И думать мне мешают! Кстати,
Вам стих о канарейках? – Нате!

Осы

(Это стишок для тех, кто еще не знает, что такое осы, то есть для самых маленьких. Поэтому его нужно рассказывать немнозко сепеляво и мозно дазе без «р»)

Не з-заз-зывайте, ОСы, блОСьте –
Насли Осла – ходить к вам в ОСти!
Тот, кто узе бывал у ОС,
Не мозет вспоминать без сльОС
О том, какое з это свинство –
ОСиное ОСеплиимство!

Аист

(А это стишок, наоборот, для взрослых. Поэтому в нем так много непонятных слов. Читать его лучше шепотом, когда дети уже спят, и можно уже смело произносить все шипящие).

И ножки как спицы. И нос длинноват,
И modus vivendi [1] весьма странноват!
Но дело не в модусе – дело все в том,
КАКИЕ ПОДАРКИ приносит он в дом!

Ослы

……?
……?!
……!……!……!!
……!……!!…….!

Посткриптум.

На ослов
Не тратят слов.

Верблюд

Не может верблюд сосчитать,
Двугорбый он иль одногорбый –
И, сплюнув, выходит гулять,
Невежеством собственным гордый!

Термит

С древнейших времен и поныне термит
Жует древесину, и тем знаменит!
…Об этом напомнил мне случай с кузиной,
Попавшей в подвал сквозь паркет из гостиной…

Осьминог

На дне осьминог обитает морском.
Четыре двунога живут в нем одном.
«– Эй, кто там за камнем?!» Корректен и строг,
Оне отвечают: «То – Мы, Осьминог!»

Утята

Утята есть утята, и те, кто ест утят,
Наверно, об утятах побольше знать хотят.
Утята любят воду, и, если рядом пруд,
В любую непогоду утята в воду прут.
Но если пруд не близко – корыто или ушат,
Ведро, бадья и миска – утеха для утят.
Тут и ежу понятно: в отличие от кур
Не могут жить утята без водных процедур!
…И вот вам вид на лужу: куда ни кинешь взгляд,
Одни хвосты наружу.
А чьи хвосты?!
Утят!

[1] Modus vivendi можно произнести как «модус вивенди» и перевести здесь с латинского как «образ жизни». Автор НЕ имел в виду наш альманах! – (Прим. ред.)

Семен Абрамович

ЗООМИНИАТЮРЫ

* * *

Пингвин в океане –
В привычной среде:
Ныряет, играет, резвится.
Пингвин в океане –
Как рыба в воде.
Но все же не рыба, а птица.

* * *

Паутину ткет паук
В восемь ловких ног и рук.

* * *

Ходит по двору индюк,
Важничает очень.
Птицы тронулись на юг –
Он лететь не хочет.

* * *

Со страусом эму
Такая проблема:
Типичная птица –
Токует, гнездиться,
Да вот не летает.
Причина? Кто знает…[1]

* * *

Неопасны все ужи –
Хоть узлы из них вяжи.
А гремучую змею
Не возьму в свою семью!

---

[1] Подробней про эму
Читайте у Брэма.
(Прим. авт.)

Инна Трегуб

«ЧЕРНОЕ» И «БЕЛОЕ» НЕ ГОВОРИТЕ

Посвящается моему мужу, который научил меня не сдаваться.

В детстве многие из нас играли в «Барыню». Игра начиналась словами: «Вам Барыня прислала сто рублей. Что хотите, то купите, «да» и «нет» не говорите, черное и белое не покупайте, не смейтесь и не улыбайтесь». Затем мы начинали задавать друг другу каверзные вопросы. Выигрывал тот, кто дольше всех оставался серьезным и давал осторожные обтекаемые ответы. С любопытной, усложненной версией игры в «Барыню», популярной среди взрослых, я познакомилась в Америке. Она называется «Интервью для устройства на работу».

Заключается она в следующем. Компания, в которой есть вакансия, приглашает уже прошедшего предварительный отбор кандидата для личной встречи с сотрудниками. Задача кандидата – произвести настолько хорошее впечатление на представителей компании, что выбор будет сделан в его пользу. По канонам американской «Барыни», приходить на интервью надо подготовленным, изучив историю компании и, по возможности, трудовые биографии людей, с которыми предстоит встретиться. На вопросы надо отвечать по существу и в недлинном ответе продемонстрировать хорошее владение материалом. В конце полезно самому задать несколько вопросов, продуманных заранее. В течение всего интервью следует проявлять энтузиазм и восхищение всем увиденным и услышанным. Обычно по мере того, как кандидат узнает новые подробности о проектах компании, его энтузиазм растёт, что необходимо отразить в отправляемых немедленно по окончании интервью благодарственных письмах.

Список правил этим далеко не ограничивается, а на исход интервью может повлиять время года и настроение потенциального работодателя.

Интервью одинаково важно для обеих сторон. Интервьюирующему надо за короткие полчаса понять, будет ли сидящий напротив человек хорошим и управляемым сотрудником. Кандидат же не должен забывать, что не всякий работодатель и не всякая работа ему подойдут. Иногда честный ответ и неудача на интервью могут предотвратить гораздо более серьезную ошибку – устройство на неподходящую работу

Поэтому американская «Барыня–интервью» – это важный судьбоносный момент и совсем не игра.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ. 2014 Г.

Несколько месяцев назад начальство позволило нанять в мою группу еще одного химика. Отыскать хорошего специалиста с необходимыми опытом и знаниями работодателю так же нелегко, как нам, простым смертным, найти хорошую работу, поэтому процесс поиска длителен и многоступенчат.

…Объявили вакансию, отсортировали резюме, провели телефонные интервью и отобрали нескольких кандидатов для личной встречи. Помимо меня, с ними будут разговаривать двое моих подчиненных, несколько вышестоящих начальников, представители других групп, которые работают с нами в тесном контакте, и консультант по корпоративной культуре.

Чтобы не запутаться в разнообразии мнений и рекомендаций, я составила вопросник и попросила оценить в пятибалльной системе все качества, которые мы хотели бы видеть в кандидате. Туда вошли общие знания химии, непосредственное знание предмета, владение специальными статистическими программами, умение решать сложные нестандартные вопросы, а также готовность в любой момент выполнить простую лаборантскую работу и перемыть всю посуду – лаборант нам не положен. Мы беспокоимся и о том, как новый сотрудник с нами сработается, какой у него характер. Я стала обращать внимания на качества, о которых никогда не задумывалась, когда сама проходила интервью: мне хочется видеть энтузиазм и заинтересованность, пусть даже разыгранные. Нам нравится, когда кандидат подготовился заранее: изучил историю нашей компании и биографию ее основателей и может объяснить, почему наш продукт – самый замечательный продукт в мире.

Я разговариваю с кандидатами – молодыми,

но не очень опытными (зато столько энтузиазма!) и не очень молодыми, зато опытными (но как они впишутся в наш коллектив?), родившимися в Америке и приехавшими сюда несколько лет назад – и невольно вспоминаю свои собственные американские интервью, которых за 20 лет было немало. О них и пойдет речь.

ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Как и все в природе, интервью можно классифицировать на группы и подгруппы. Можно разделить их на индивидуальные (один на один) и коллективные (с вами одновременно разговаривают 10 человек); длинные (целый рабочий день) и короткие (меньше часа). Бывают интервью серьезные (работодателю действительно нужен сотрудник) и несерьезные (работодатель сам не знает, чего он хочет).

Иногда вакансия, которую собирались заполнить, исчезает. Порой она еще не открыта, и интервью проводят на всякий случай. Случается, что вопрос уже решен в пользу другого кандидата, а тебя вызывают для статистики. Случается также, что компания никого не нанимает, а интервью использует для промышленного шпионажа, дабы выпытать, как это делается у конкурента. А могут вызвать и по ошибке (со мной такое один раз произошло). Во всех этих случаях отрицательный ответ предрешен

Несколько раз я идеально подходила и для проекта, и для компании, но могла стать конкурентом одному из ведущих специалистов, и мне отказывали.

Некоторые интервью в дополнение к классической «Барыне» (вопросам и ответам) включали в себя выступление с докладом или экзамен. Я всегда радовалась, если меня просили выступить с докладом. Грешна, люблю и умею делать доклады; наверное, это рецидив из прошлой, научной жизни. Рассказываю немного о себе и немного о чернилах, акцентируя внимание на решении интересных задач. (Недавно, основываясь на этих докладах, я составила учебное пособие о разработке чернил). Все три интервью, в ходе которых я делала доклад, принесли мне работу.

К сожалению, иногда компании вместо докладов предлагают экзамен. Для меня этот вид интервью был самым тяжёлым и всегда неудачным. На экзаменах мне не везет еще с университета. Самым обидным провалом обернулось состоявшееся 10 лет назад интервью в Hewlett Packard (HP) в Сан-Диего, месте под солнцем, где мне так хотелось работать. С тех про в компании прошли большие сокращения, и, может быть, мне не о чем жалеть, но по-прежнему не могу себе простить нескольких неправильных ответов, стоивших мне вожделенной работы в индустрии.

Я почти никогда не отказывалась от интервью – отчасти из любопытства, отчасти из убеждения, что ничто в жизни не происходит случайно. Среди моих интервью были успешные и неудачные, серьезные и странные, легкие и трудные. Даже если я не получала работу, я приобретала жизненный опыт, а иногда заводила новых друзей. Одними интервью я горжусь, другие меня очень расстроили, а некоторые были такими абсурдными, что стали темой устных рассказов. Я остановлюсь на самых запомнившихся.

НОКСВИЛЛ, ОКТЯБРЬ 1994 Г. – МАЙ 1995 Г.

Нелегко найти работу, когда страна находится в тяжелой экономической рецессии. Особенно если судьба забросила тебя в Ноксвилл, Теннесси, а виза выдана только на один год.

Именно в такой ситуации я оказалась осенью 1994 года. Поэтому, хотя у меня и было официальное право на трудоустройство, и я очень активно искала работу, за 8 месяцев судьба послала мне только два интервью.

Первое, ознакомительное, в Национальной лаборатории Оак Ридж, организовал учёный, к которому у меня было рекомендательное письмо. Я встретилась с пятью руководителями групп, – одна тематика интереснее другой, – посмотрела лаборатории, оснащенные гораздо лучше, чем университетские, к которым я привыкла. К сожалению, ни у кого из руководителей не было вакантной ставки. Один из ученых, которому я понравилась, сказал на прощание, что все зависит от ожидаемого вечером выступления президента Клинтона. Если в своем обращении к нации он упомянет Министерство Энергетики, лаборатория получит деньги, и меня наймут. Мы с мужем внимательно прослушали речь президента и преисполнились оптимизма. К сожалению, мы еще не умели делать правильные выводы из официальных выступлений. На следующий день ученый лично позвонил сообщить, что фондов на меня у него, увы, не будет. Когда у работодателя нет денег, не помогут ни знания, ни энтузиазм, ни даже благодарственные письма.

Второе интервью состоялось полгода спустя, когда я уже совсем отчаялась найти работу. Мне позвонил молодой профессор из университета Теннесси по имени Роб Палмер. В возглавляемую им биохимическую группу искали лаборанта. Я, конечно, очень обрадовалась, хотя и несколько удивилась. Получить лаборантскую должность в университете почти также тяжело, как и профессорскую, хотя и по другим причинам. На профессорскую должность объявляется конкурс; создается комиссия, кандидаты делают доклады, и т.д. Для должности лаборантской

ничего этого не требуется, но университет обязан в первую очередь рассматривать заявления оказавшихся без работы членов профсоюза. Я, к сожалению, не состояла в профсоюзе университета Теннесси. Я также не являлась профессиональным лаборантом. А главное, как я уже упоминала, у меня не было права на постоянное жительство. Таких нанимают в последнюю очередь. Причина заинтересованности Роба оказалась неожиданной: в моем резюме его привлекла Германия. Как и я, он работал там до переезда в Теннесси. Незадолго до возвращения на родину он женился на польской девушке Каше, которая очень тосковала в Ноксвилле. Роб надеялся, что мы с Кашей подружимся и ей будет веселее. Не знаю, рассчитывал ли он в самом деле взять меня на работу или это был предлог познакомиться, но последнее слово было не за ним. Мне отказали, а наняли, по его словам, настоящего лаборанта (ничего удивительного!).

Роб пытался продолжить знакомство и даже пригласил нас в гости. Потом мы пригласили его с Кашей к нам. Они были приятной парой и, если бы не наш переезд в Калифорнию, мы, возможно, и подружились бы.

САН ДИЕГО, ИЮНЬ 1995 Г. – ИЮЛЬ 1996 Г.

Первая работа в Америке, в Калифорнийском университете Сан-Диего (UCSD), мне досталась вообще без интервью. Такое тоже возможно! Профессор нанял мужа, а заодно и меня. Год в UCSD позволил нам восстановить утраченный в Ноксвилле оптимизм и получить право на проживание в Соединенных Штатах (Green Card). Мы укрепились в решении уйти из науки и искать работу в индустрии.

Выбор новой специальности – разработки чернил – в большой степени связан с тем, что мне очень хотелось попасть на работу в компанию Hewlett Packard (HP). Ее крупнейшее отделение по производству чернил находится в Сан-Диего. Я начала переосмысливать свое резюме, переписывать его, сокращая описание научного опыта и делая упор на прикладное применение моих знаний. Помимо HP, я посылала резюме и в другие компании, специализировавшиеся на производстве чернил. Конечно, опытный химик, работавший в этой области, мог бы легко заметить, что мне не хватало знаний, а главное, опыта. Но первые заслоны – отделы кадров – мое резюме уже могло преодолеть. К сожалению, я так и не заинтересовала HP, но меня пригласили на интервью в две компании поменьше: Formulabs, тоже в Сан Диего, и Dataproducts, в районе Лос-Анджелеса – Simi Valley. Полагая, что неплохо прошла оба интервью, я решила, что если мне предложат работу в обеих компаниях, я, конечно, останусь в Сан Диего, даже на меньшую зарплату. Однако выбирать не пришлось. В Formulabs мне отказали, объяснив, что не могут найти для меня подходящий проект, а в Dataproducts предложили работу. До сих пор не понимаю, почему эти компании приняли противоположные решения. Может быть, потому, что в первой меня интервьюировали химики, специалисты по разработке чернил, а во второй – инженеры, разрабатывающие печатные головки принтеров. Может быть, зарплата, которую я попросила, показалась чересчур высокой одним и смехотворно низкой другим. Может быть, я лично кому-то в Formulabs не понравилась, и наоборот, приглянулась начальству в Dataproducts? (Не последнюю роль, наверное, сыграло то, что вице-президент этой компании ценила классическое советское образование.) Я никогда не получу ответа на свои «почему», сколько ни буду ломать голову. Бывают успехи, а бывают поражения. Надо перестроиться и двигаться вперед. Мне пришлось уехать из обожаемого Сан-Диего, но, по крайней мере, я нашла первую работу в промышленности.

«А СЧАСТЬЕ БЫЛО ТАК ВОЗМОЖНО». ДЕКАБРЬ 1998 Г.

Dataproducts сделала из меня неплохого специалиста в области разработки чернил, – профессии, которая, на мое счастье, пользуется все большим спросом, – и приобщила к «корпоративной культуре». Поэтому, когда в декабре 1998 года ко мне неожиданно обратился посредник, представлявший большую и хорошую химическую компанию, Avery Dennison, я заинтересовалась. Работа там явилась бы существенным шагом вперед и вверх. Первое интервью прошло на редкость легко, посредник был полон оптимизма, работодатель затребовал рекомендации, дальше должно было состояться второе, уже формальное, интервью… Но вдруг все остановилось, а посредник перестал отвечать на мои звонки и письма. Месяца через четыре мне сообщили, что в Avery Dennison произошло сокращение, урезание средств, и вакансию пришлось закрыть. Ничего не поделаешь, может случиться с каждым. Я, конечно, была очень расстроена, тем более что у моей компании уже начинались серьезные финансовые проблемы, из-за которых впоследствии закрыли мой проект и провели несколько очень болезненных массовых сокращений и увольнений.

Прошло еще два года, и в августе 2000 года я осталась без работы.

НОВЫЙ ФОКУС. АВГУСТ 2000 Г.

Потеря работы и начало поисков новой совпало по времени с переездом мужа в Северную Калифорнию, поэтому я распространила поиски и на Силиконовую долину. Рабочий рынок там был намного активнее. В то время, как за три месяца в Лос-Анжелесе я добыла себе тяжелым трудом только одно интервью, в Силиконовой Долине я могла проходить интервью почти каждый день, добиваясь их почти без труда. Одно из них состоялось в компании «Новый Фокус». Поначалу туда хотели пригласить моего мужа, но он не заинтересовался. Представитель продолжал настойчиво уговаривать, и муж предложил взамен своей кандидатуры мою. Моя специализация «Новому Фокусу» не очень подходила, но существовали какие-то точки соприкосновения; со мной провели телефонное интервью и пригласили встретиться.

Интервью в «Новом Фокусе» было провалом настолько сокрушительным, что я запомнила этот день в мельчайших деталях. Цепь неудач потянулась с утра, когда мне понадобилось больше часу, чтобы проехать несколько миль по забитой машинами улице. Я, может быть, опоздала бы не так сильно, но, как назло, барак с четным номером, где располагался «Новый Фокус», оказался на нечетной стороне. Потребовались еще полчаса и несколько телефонных звонков, чтобы его найти. В результате опоздала я существенно, и это мне очень помешало. Меня интервьюировали несколько молодых неприветливых людей. Чувствовалось, что они уже составили обо мне плохое мнение. Даже мои достоинства были в их глазах недостатками. Например, в резюме я перечисляла методы, которыми владею, и приборы, на которых мне довелось работать. Их в моей многолетней трудовой биографии было немало; резюме не содержало никаких преувеличений. Поэтому мне до сих пор обидно вспоминать, как молодая китаянка, обладательница докторской степени, с отвращением заметила, что один человек не может знать столько методик, поэтому, я, наверняка, их обманываю. Можно было бы, наверное, проверить мои знания, задать вопросы, но, скорее всего, ей-то эти приборы были как раз неизвестны. Все интервью проходило как в дурном сне. Под конец, расстроившись и разнервничавшись, я что-то неправильно ответила, и меня с позором удалили из компании.

Через несколько лет, когда началась рецессия, я с большим удовольствием прочитала об очередном сокращении и увольнениях в этой организации. Насколько я знаю, компания «Новый Фокус» прекратила свое существование. Не могу сказать, что я им сочувствую.

ПРОТЕИНОВАЯ КОМПАНИЯ. ОКТЯБРЬ 2000 Г.

Несмотря на экономический подъем и высокий спрос на рабочую силу, первые мои интервью в Силиконовой долине не завершились трудоустройством. Все-таки они были небесполезны, так как позволили мне набраться опыта и выработать стиль поведения.

В октябре 2000 года мне, наконец, улыбнулась удача: меня наняли на временную ставку в Протеиновую компанию, в группу, которая занималась составлением формулы лекарств, содержащих разрабатываемые компанией антитела. Узнала я об этой вакансии от симпатичного ирландца, который устанавливал в лаборатории мужа новый прибор. Он же отправил в Протеиновую компанию мое резюме. Хотя работа была рассчитана только на 3-6 месяцев, интервьюировали меня очень серьезно, несколько часов. Мне очень пригодилось знание многочисленных аналитических методов, вызвавшее такое недоверие у «Нового Фокуса». Поскольку работа должна была закончиться в течение нескольких месяцев, не имело смысла забирать сына из Оак-Парка, где он уже начал следующий учебный год. Я приняла решение по окончании контракта вернуться в Южную Калифорнию и продолжала упорно искать работу там.

УНИЗИТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ. ЯНВАРЬ 2001 Г.

Опыт, приобретенный в Протеиновой компании, позволил мне улучшить и значительно дополнить моё резюме – теперь в нем отразилось биотехнологическое направление. Наверное, этим я обязана звонку из фармацевтической компании, расположенной в радиусе 20 миль от дома в Оак-Парке, (в те месяцы я в основном оценивала достоинства потенциального места работы по расстоянию от Оак-Парка). Назначив интервью на понедельник, я могла задержаться дома до вторника! В понедельник утром, вся разодетая, я прибыла на интервью, но оказалось, что вызвавший меня человек отсутствовал, а предупредить меня не потрудились. Я была очень расстроена, – ведь мои интервью все-таки стоили нам моей дневной зарплаты плюс стоимость билета на самолет! – и расплакалась от обиды и унижения. Чтобы от меня избавиться, интервью неохотно перенесли на следующую неделю. Моя начальница из Протеиновой компании (с которой у меня установились очень хорошие отношения), взывая к моему чувству собственного достоинства, уговаривала меня больше в эту компанию не ездить. К сожалению, я не последовала ее совету. На этот раз в фармацевтической компании меня ждали, чтобы устроить показательный экзамен с неминуемым отказом. Опыт был болез-

ненный, но очень полезный: нельзя соглашаться на интервью в компаниях, где неуважительное отношение чувствуется с первой минуты.

ПОТЕМКИНСКАЯ ДЕРЕВНЯ. ФЕВРАЛЬ 2001 Г.

А иногда происходили случаи, о которых говорят: нарочно не придумаешь. Вскоре после унизительного интервью в фармацевтической компании мне довелось участвовать в фарсе, представлявшем собой современную версию потемкинской деревни.

Когда меня пригласили на интервью в маленькую компанию в Simi Valley (только 15 миль от Оак-Парка!), я не заподозрила ничего странного. Меня встретил приветливый израильтянин, хозяин компании. Он задал несколько вопросов, потом объяснил цель моего приезда. Это не было интервью в классическом смысле.

Хозяин пытался получить финансирование. Не знаю как, но ему удалось заманить к себе в несуществующую компанию потенциальных инвесторов. Для встречи с ними он снял на день несколько комнат, сделал вывеску несуществующей компании и выдавал меня и еще одного – оказавшегося в таком же положении – русскоговорящего кандидата наук за своих сотрудников. Мы улыбались, глубокомысленно отвечали на какие-то вопросы и делали вид, что мы тут работаем. Когда фарс закончился, хозяин вручил нам по 100 долларов и пообещал связаться с нами, как только получит деньги. Мой гонорар никак не компенсировал стоимость билетов на самолет из Сан-Хозе и обратно, но очень обогатил мой жизненный опыт. Финансирование, скорее всего, получено не было.

ОЛИМПИЙСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. АПРЕЛЬ 2001 Г. – ОКТЯБРЬ 2002 Г.

Работа в Протеиновой компании, поначалу рассчитанная только на три месяца, продлилась все шесть и закончилась в конце марта. А с первого апреля, словно по волшебству, я была зачислена в штат Олимпийской лаборатории при Калифорнийском университете Лос-Анжелеса, где разрабатывали методы обнаружения допинга и проверяли спортсменов.

Благодаря приближению зимней олимпиады в Солт-Лэйк-Сити, в лаборатории появились дополнительные вакансии. Решение о приеме людей на работу единолично принимал один человек, директор лаборатории. Можно сказать, что получить интервью – или, скорее, аудиенцию – у Директора мне помогли личные связи: в Олимпийской лаборатории уже много лет работала моя сестра, и ее друзья-сослуживцы стали и моими друзьями. Никто не мог сказать точно, чем руководствовался Директор при выборе своих будущих сотрудников. Конечно, имели значение опыт и специфические знания по тематике допингового контроля (которых у меня не было!), но, главное, он любил «интересных» людей. И я попала в эту категорию! Могу сказать, что во время интервью я сознательно не следовала советам специальных пособий, а, полагаясь на здравый смысл и интуицию, вела себя естественно и говорила то, что думала. Это помогло.

В Олимпийской лаборатории я проработала полтора нелегких, но интересных года: блестящие сотрудники, хорошие друзья, подготовка к Олимпиаде в Солт-Лэйк-Сити, проверка спортсменов на допинг во время Олимпиады. Когда-нибудь я об этом напишу. Через два года тот же человек, который меня нанял и доверил мне важный и ответственный участок работы, явился причиной моего ухода.

Директор Олимпийской лаборатории, ее создатель и единоличный владыка, был очень разносторонним и способным человеком. Он добывал проекты, лично руководил всей работой, включавшей как повседневное тестирование спортсменов, так и научные исследования и разработку новых методик. Он также старательно изучал личную жизнь своих подчиненных, их привычки и особенности поведения. По этой причине у входа в лабораторию положили табель, где каждый сотрудник отмечал время прихода и ухода и цель отсутствия (поход в магазин в обеденный перерыв, и т. д). В дополнение к ученой степени по медицине (в университете он числился профессором фармакологического факультета), у Директора была еще ученая степень по психологии. Психологию он очень любил и никогда не переставал практиковаться в ней, благо подопытных кроликов хватало – в лаборатории числилось не менее сорока человек, бесправных, бессловесных, получавших гроши, но изо всех сил державшихся за свою работу. Обычно Директор выбирал жертву и отрабатывал на ней все стадии отношений: фавор и отеческое внимание сменялись безразличием (самая лучшая стадия!), затем опалой и безжалостным выживанием с работы.

Дождавшись увольнения несчастного кролика, Директор выбирал следующего. Очень важно было, чтобы кролик ушел по собственному желанию. Не лишённые ехидства ветераны лаборатории с большим удовольствием рассказывали, как несколько лет назад Директор под горячую руку кого-то уволил, а потерпевший кролик взял да и подал в суд – и выиграл! Университет заплатил кролику компенсацию и восстановил его на работе, а у Директора были неприятности.

Описанный цикл отражал типичный круговорот отношений в Олимпийской лаборатории. Чем интереснее, талантливее, самобытнее был сотрудник,

тем большая существовала вероятность того, что он привлечет внимание Директора. Конечно, имели значение срочность и важность проекта, над которым работал потенциальный кролик. Никто не беспокоил нас во время подготовки и проведения Олимпиады: слишком многое было поставлено на карту. Но после Олимпиады ситуация изменилась коренным образом: метод был разработан и внедрен, а заказов на него в этот период времени у нас еще не было. Вскоре я заметила, что Директор практически следовал за мной по пятам, проверял и критиковал публично все, что я делала, растаптывал меня на всех собрания нашей группы, и не было возможности ему угодить. Я с тоской поняла, что стала очередным кроликом. И тут я получила электронный привет от Зары.

СУДЬБОНОСНЫЕ ИНТЕРВЬЮ, КОТОРЫЕ МНЕ НАШЛА ЗАРА. AMAZON IMAGING, ОКТЯБРЬ 2001 Г.

Две самые лучшие работы я нашла благодаря Заре, бывшей сотруднице по Dataproducts. Когда-то мы работали в одинаковой должности над одним проектом и с трудом поддерживали цивилизованные отношения. Меня сократили на год раньше. Покидая навсегда Dataproducts, я никак не ожидала, что наши с Зарой отношения продлятся на много лет. Однако она звонила мне с завидной регулярностью, явно скучая без меня. Через год уволили и ее. Мы поменялись ролями: она искала работу, я звонила и поддерживала.

Зара так и не сумела найти работу в Лос-Анжелесе, но ей удалось устроиться в ту самую FormuLabs в Сан Диего, куда меня когда-то не приняли. Она уже запаковала вещи и перед тем, как отключить компьютер, в последний раз проверила электронную почту. Как бы в насмешку, ее ожидало письмо, сообщавшее, что маленькая компания в Simi Valley, Amazon Imaging, срочно ищет химика, специалиста по созданию чернил. Зара написала мне: «Я бы сама с удовольствием попробовала получить эту работу, но слишком поздно. Я уже подписала контракт и сегодня переезжаю. Поэтому передаю эту информацию тебе; возможно, она окажется для тебя полезной.» Дальше приводился адрес хозяина компании в Simi, Кёрка Ричмонда. Недолго думая, я сразу послала ему свое резюме и короткое сопроводительное письмо. Кёрк Ричмонд позвонил мне через несколько дней.

День интервью начался не очень многообещающе. В 8-30 утра, наряженная в официальный брючный костюм, я звонила в запертую дверь малопримечательного барака. Вывеска «Amazon Imaging» подтверждала, что я приехала по правильному адресу. Мне открыл похожий на таракана человек и спросил, что я тут делаю. Я объяснила, что мне нужен Кёрк Ричмонд и что я приехала на интервью. «Таракан», – позже я узнала, что это был вице-президент по маркетингу по имени Гарри, – не впуская меня внутрь, возразил, что Кёрка нет и сегодня не будет и что компания никого не интервьюирует. Я почувствовала, что возвращаюсь в прошлое двухлетней давности и собралась уходить, но в этот момент появился сам Кёрк и пригласил меня внутрь. «Таракан» Гарри удалился с недовольным видом. Кёрк мне сразу понравился, у него было открытое лицо и хорошая улыбка.

Это интервью было самым коротким в моей жизни. Оно продолжалось не более тридцати минут, в течение которых я пересказала свою трудовую биографию, а Кёрк объяснил, чем занимается компания. Часть бизнеса, имевшая ко мне отношение, состояла в продаже дешевых, заполненных чернилами картриджей для домашних принтеров (Ink after market). Далее наш разговор происходил следующим образом:

Кёрк: «Когда Вы можете приступить к работе?»

Я: «Через две недели после подписания контракта»

Кёрк: «Я вышлю контракт сегодня же.»

Я: «А Вы не могли бы дать мне его прямо сейчас? Я подожду».

К моему удивлению, он не спорил и принес распечатанный контракт. Мне казалось, что это сон, и, наверное, поэтому я попросила Кёрка немного поднять мне зарплату. Он и это сделал. Я немедленно подписала и забрала с собой контракт, а потом в течение дня периодически перечитывала его, желая убедиться, что он мне не приснился.

Так меньше чем за час я прошла интервью, получила и обсудила предложение о работе и приняла его.

Вернувшись в Олимпийскую лабораторию, я сразу принялась составлять заявление об уходе. Немедленно за моей спиной возник Директор и спросил, чем я занимаюсь.

Я: «Пишу заявление об увольнении. Через две недели меня здесь не будет».

Директор: «Почему так долго? Уходи сегодня же!»

Я немного удивилась, но тут же представила себе замечательный двухнедельный отпуск и очень обрадовалась.

Я: «Хорошо. В таком случае я сегодня же сдаю дела».

Выражение его лица начало меняться, как будто он только сейчас понял, о чем идет речь.

Директор: «Ты это серьезно? Я думал, ты пошутила! Кто же будет работать над проектом?»

Я: «Другие сотрудники, которые еще пока не уходят».

Директор*:* «У них нет опыта! Ты самый опытный сотрудник в этой группе! Ты не могла бы изменить решение или поработать подольше? Это из-за меня?»

Получив заверение, что он тут ни при чем, – в качестве официальной причиной ухода я назвала далекое расстояние от дома до места работы, – и заручившись моим обещанием проработать еще две недели, Директор понуро удалился. Он был очень расстроен. Мой уход, по-видимому, на данном этапе не входил в его планы, но это меня уже не касалось.

Я очень любила свою работу в Amazon Imaging и провела там два года. Но когда сын в 2003 году окончил школу и уехал учиться в Беркли, мне больше не имело смысла оставаться в Лос-Анжелесе. Переехав в 2004 году в Северную Калифорнию, я не порвала отношения с Amazon Imaging, а оставалась их консультантом, пока компания не вышла из бизнеса в 2006 году. До сих пор вспоминаю Amazon Imaging и ее хозяина с глубокой теплотой и благодарностью.

КОМПАНИЯ В МЕНЛО-ПАРКЕ. ЛЕТО 2008Г.

В 2008 году я работала в компании Ковио. Мы печатали транзисторы. Интересную тематику омрачала политизированная обстановка и неоправданно большое количество начальников, часто превращавшихся в надсмотрщиков. Когда соотношение исполнителей и надсмотрщиков достигло единицы, хорошие специалисты начали покидать компанию. Чтобы поднять моральный дух, нашего директора уволили, а на его место наняли нового, на первый взгляд менее вредного.

Как раз в это время неожиданно позвонила Зара и озадачила меня вопросом: «Тебе знаком Йорам Вронский?» Мне вспомнился только один Вронский – герой «Анны Карениной», но его звали Алексей, а не Йорам. Конечно, человек, о котором говорила Зара, не имел отношения к русской классике. Он был создателем нескольких успешных компаний в Израиле (все они специализировались на производстве принтеров), и, по-видимому, когда-то имел дело с Dataproducts. В настоящее время Йорам начал работать в должности вице-президента новой, только что сформированной компании в Менло-Парке. Если компания создает принтеры, ей нужен и химик, специалист по созданию чернил. Йорам Вронский разыскал Зару и пригласил ее на интервью. Зара в это время была без работы, но почему-то приехать отказалась, а взамен позвонила мне, что не имело особого смысла.

Во-первых, я не собиралась менять работу. Во-вторых, я надеялась, что с приходом нового начальника обстановка в группе и мое положение улучшатся. И в-третьих, я живу очень далеко от Менло-Парка (25 миль). Все это я безуспешно пыталась объяснить Заре, но она меня все-таки уговорила встретиться с Йорамом. Решающую роль в моем согласии сыграло суеверие – ведь самую любимую работу в Америке я получила благодаря Заре!

Как я и предполагала, встреча с Йорамом оказалась бесполезной. В новой компании мне не предлагали ничего, что могло бы оправдать переход. Я объяснила это и попросила более высокую должность. В ответ Йорам чисто по-израильски поинтересовался, зачем я вообще пришла. На это я честно ответила: «Потому что обещала Заре с тобой встретиться. Что было ошибкой». Интервью закончилось. Я не потрудилась даже отправить благодарственные послания.

Какого же было мое удивление, когда через полгода, в начале декабря, я получила письмо из Менло-Парка от президента той же компании, которого еще не встречала (в день моего интервью он находился в командировке). Он писал о том, что компания так и не нашла хорошего (лучшего, чем я) кандидата, и просил меня о продолжении разговора. Я собиралась вежливо отказаться, но была занята и не успела ответить. А назавтра обиделась на уже разочаровавшего меня нового начальника и вместо того, чтобы отказаться, импульсивно согласилась на повторную встречу.

В этот раз меня принимал не Йорам, а блестящий молодой президент компании; он долго рассказывал о своих планах и надеждах. Условия и перспективы работы в новой компании стали лучше, проект теперь меня заинтересовал; всё это могло компенсировать долгие поездки до места работы. Я приняла предложение и за шесть лет ни разу об этом не пожалела.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. МЕНЛО-ПАРК, 2014 Г.

Люблю читать книги со счастливым концом и эпилоги, в которых торжествует справедливость. Еще приятнее такой эпилог писать. Новая работа позволила мне получить, наконец, то, что, наверное, было мне предназначено судьбой, но долго не удавалось из-за пятой графы и нескольких эмиграций: интересную работу, статус и относительную независимость в принятии решений. Поэтому за последние шесть лет я работу не искала и поиграть в «Барыню» по-американски ни разу не ходила. Но это, конечно, до следующего звонка от Зары!

Галина Курляндчик

КЭРОЛ

Мне часто приходилось слышать от разных знакомых, переехавших в США, что американцы, очень приветливые на первый взгляд, дружить с нами не умеют или не хотят. Короче говоря, близко нас к себе не подпускают. Не буду ни с кем спорить. Я хочу рассказать о своем опыте знакомства с одной американкой, которой я бесконечно благодарна за настоящую дружбу. У нее, как и у многих других американцев, есть черта, которая мне, выросшей в советском обществе, всегда казалась сомнительной. Это пресловутый американский индивидуализм. Наблюдая своих американских друзей, я осознала, что, наперекор написанному в учебниках марксизма-ленинизма, именно в индивидуализме их сила. Я поняла, что индивидуализм – это не только предпочтение личной независимости, но и осознание значения своей личности, а главное – ответственность за свой выбор, за свою жизнь. Эти люди никогда не ищут виноватых, не перекладывают свои проблемы на государство или близких, а полагаются только на себя.

Не буду перечислять все свои комплексы. Речь не обо мне.

С Кэрол Зойнер мы соседствовали, когда жили в Аризоне. Город Скоттсдейл, куда мы с мужем переехали из Флориды, был нашим вторым местом обитания в США, поэтому, в какой-то степени уже владея английским, мы быстрее сориентировались и освоились на новом месте. Добравшись на машине через все южные штаты из Флориды в Аризону, мы всего одну или две ночи провели в мотеле и быстро нашли хорошую квартиру в красивом жилом комплексе. Прямо напротив нашей квартиры жила Кэрол с дочкой-старшеклассницей Элизабет и боль-шим белым котом.

Кэрол мне понравилась с первого взгляда. Небольшого роста стройная женщина с густой гривой кудрявых темных волос, с открытым приветливым лицом и очаровательной улыбкой. Встретила она нас так, как будто всю жизнь мечтала с нами познакомиться, и сразу же начала опекать; но делала это очень ненавязчиво, деликатно и дружелюбно наставляя нас в нашей новой жизни. Прожили мы с ней в соседях более пяти лет и стали по-настоящему близкими людьми.

История Кэрол меня тогда потрясла. Когда мы познакомились, Кэрол была студенткой Аризонского университета. Я первый раз в жизни встретила студентку дневного отделения ее возраста. Ей было около пятидесяти лет, хотя выглядела она значительно моложе. И не просто выглядела, но и всё, что она делала, на мой взгляд, могло относиться только к молодым.

Родом Кэрол была из Нью-Йорка. Там она родилась, выросла, окончила университет со степенью бакалавра искусств, встретила свою любовь, вышла замуж, родила троих детей. Когда дети выросли, она поняла, что не достигла всего, чего хотела. Кэрол сама инициировала развод с мужем. Видимо, просто разлюбила, потому что ничего негативного о бывшем муже я от нее не слышала. Дом в Нью-Йорке был продан. Кэрол взяла свою долю от продажи дома, забрала с собой младшую дочь Элизабет и перебралась в Аризону. Старшая Юлия и средний Майкл остались в Нью-Йорке, но приезжали в гости к матери и сестре. Очень красивые, милые, воспитанные молодые люди. Как большинство американцев, они учились и работали и, самостоятельно ища цель жизни, двигались в выбранном направлении.

А Кэрол сняла квартиру в Скоттсдейле, поступила в магистратуру в университете в соседнем городке Тэмпи и заплатила за учебу. Она решила стать «терапистом», то есть психологом, «разговорным терапевтом», чтобы помогать людям с психологическими проблемами. За годы нашего соседства Кэрол успешно закончила магистратуру и начала работать. Основная работа у нее была в полиции, где она помогала людям в кризисных ситуациях: жертвам и свидетелям преступлений, изнасилований, аварий и других жизненных трагедий. Она также консультировала и вела занятия с те-ми, кто нуждался в ее помощи. Я поражалась, глядя на эту хрупкую и добрую женщину. Откуда силы? Где она добывает позитивную энергию,

чтобы брать на себя боль этих людей? Я никогда не видела ее в дурном настроении, она всегда улыбалась! С открытыми гла-зами она принимала на себя ответственность.

Кэрол, безусловно, была волевым человеком! Она умела радоваться, и у нее был свой способ восстановления сил. Кэрол получала позитивную энергию при общении с природой и в преодолении себя. Каждое день она вставала в четыре утра и поднималась на вершину горы Кэмэлбэк («Спина или горб верблюда»), которая возвышается на границе городов Скоттсдейл и Феникс в Долине Солнца. Эта огромная каменная пустыня с красными горами на горизонте объединяет в самый большой по площади мегаполис Соединенных Штатов 29 городов и городков. И посередине – гора, с вершины которой открываются какой-то неземной простор и магические виды. И вот каждое утро на рассвете, потому что позже пустыня раскалится и подъем станет невозможным, гора принимала энтузиастов, вдохновляя их на преодоление слабостей, открытие красоты и слияние с природой. Таким ежедневным восхождением Кэрол доказывала себе, что она способна это сделать и, впитав в себя свежую утреннюю энергию, спешила на помощь людям.

Соседствовали мы тесно. В праздники собирались за общим столом у неё или у нас, угощали друг друга пирогами по выходным. Я пекла по своим сибирским рецептам, с грибами и клюквой, а Кэрол делала новый для нас, но привычный для нее, банановый кейк. Когда мы уезжали, то оставляли ей ключи, чтобы она поливала наши комнатные растения, а Кэрол при своих отъездах также остав-ляла мне ключ от ее квартиры, где жил кот, за которым надо было ухаживать, кормить хотя бы. Через пару лет знакомства Элизабет принесла домой своего личного котенка, так что я уже дружила с двумя котами, когда обе хозяйки уезжали вместе. А в последний год нашей аризонской жизни Элизабет уехала в Нью-Йорк, а ее кот остался временно у мамы.

Кэрол, как правило, ездила в отпуск на не-делю навещать своих детей в Нью-Йорке, а однажды посетила Францию. Из поездки в Европу вернулась возбужденной, много рассказывала, показывала фотографии, слайд-шоу. Мы были рады за нее, и нам были очень интересны ее впечатления. Кэрол профессионально фотографировала; она подарила нам две широкоформатные фотографии Нью-Йорка и Парижа. На парижской – прекрасная перспектива с мостами через Сену и Эйфелевой башней. На Нью-Йоркской фотографии – две башни-близнецы Всемирного торгового центра, которые были сняты Кэрол за неделю до террористического акта 11 сентября 2001 года. 11 сентября Кэрол уже вернулась домой, и мы с ней вместе переживали эту трагедию. Кэрол плакала... Первый и единственный раз я видела её плачущей. Это был её родной город, город, где жили её дети...

11 сентября 2001 года начался новый отсчет времени. Мы поняли, что мир изменился, поэтому, когда и в нашей жизни наступил трудный момент, мы восприняли это как последствие глобальных перемен. Компанию в Аризоне, где работал мой муж, закрыли в конце 2001 года. В начале 2002 года Яков нашел работу в Сан-Диего и должен быть уехать в Калифорнию, а мне надо было остаться, чтобы получить наши гринкарты, которые прошли уже все этапы оформления и должны были быть присланы по указанному в документах адресу. К тому же у меня на работе, в городской библиотеке города Скоттсдейла была оформлена медицинская страховка на нас обоих, что являлось также важным фактором, определявшим наше расставание на неопределенное время. Я спросила мужа: «Как ты меня оставишь одну?» Он ответил: «У тебя есть Кэрол». Мы оба доверяли Кэрол настолько, что сомнений в её абсолютной поддержке не было. Конечно, Кэрол уверила Якова, что волноваться не нужно, так как она всегда будет рядом со мной.

Естественно, я еще больше сблизилась с Кэрол за те месяцы, что нам с мужем пришлось жить в разных штатах. Мы с ней встречались по вечерам, пили чай, делились новостями, обсуждали свои женские проблемы – здоровья и внешнего вида, делились материнскими заботами и мечтами о будущем. Кэрол тревожилась о том, что ей необходимо заработать хорошую пенсию, потому что, хоть она и была «молодым специалистом», но четко осознавала, что должна успеть заработать сама, так как независимость была у нее в крови. У

нее в мыслях не было, что она, мать, вырастившая троих детей, может рассчитывать на какие-то льготы от государства или ждать помощи от своих детей. Она рассчитывала только на себя.

Прошло несколько месяцев, гринкарты были уже у нас на руках. И вот наступил день, когда Якову предложили работу в Силиконовой долине. Я ждала Кэрол, собираясь сообщить ей, что мы скоро переезжаем. Но она задерживалась на занятиях с группой своих подопечных, и я легла спать, не дождавшись... А рано утром я услышала звонок в дверь. На пороге стояли друзья Кэрол, с которыми она ходила в походы, – я с ними была знакома. Они выглядели странно, и у меня появилось нехорошее предчувствие. Они сказали, что Кэрол погибла в автомобильной аварии прошлым вечером, когда возвращалась с работы. Один из ее друзей как раз говорил с ней по телефону, когда произошла эта трагедия. Кэрол была в своей машине. Она стояла на светофоре на последнем перекрестке перед нашим комплексом, то есть была уже почти дома, о чем и сказала своему другу. Дали зеленый свет, она поехала через перекресток, и в тот же миг друг Кэрол услышал в телефоне страшный скрежет. Кэрол молчала. Он бросился к этому перекрестку, потому что понял, что произошло что-то ужасное. Когда он доехал, там уже работала полиция. В машину Кэрол врезался другой автомобиль, который пересекал тот же перекресток на красный свет на большой скорости. За рулем был пьяный мексиканец-нелегал. Он врезался в машину Кэрол со стороны водителя. Кэрол погибла мгновенно. Ее друг увидел, как арестовали пьяного мексиканца, а сам он сопровождал Кэрол в морг. Они пришли ко мне за ключом от ее квартиры, так как знали, что запасной ключ хранится у меня. Нужны были номера телефонов детей Кэрол, какие-то документы. Позже они вернули мне ключ: надо было заботиться о котах.

Юлия, Майкл, Элизабет и их отец прилетели на следующий день. Больно было видеть осиротевших ребят. Они вели себя так же, как любой другой в их положении. Горе... И заботы... Юлия приняла на себя ответственность за младших. Они организовали прощание в одном из мемориальных центров в Фениксе.

Я впервые присутствовала на церемонии прощания в Штатах. Прощание было гражданским. И Кэрол, и ее семья не принадлежали к какой-либо религиозной группе. Кэрол выросла в еврейской семье, но была атеисткой, поэтому ни она, ни ее дети не соблюдали никаких специальных традиций, праздников или ритуалов.

Кэрол кремировали. На прощание пришло много людей. Говорили о Кэрол и родственники, и друзья, и сослуживцы из полиции, и люди, которым она помогла. Ее благодарили за все добро, которое она успела сделать. На прощание с Кэрол меня сопровождала моя молодая подруга Ольга Лусия, которая была родом из Колумбии. Она как-то познакомилась у меня дома с Кэрол. Ольга Лусия понимала, как мне тяжело в этот момент. Дети Кэрол исполнили последнюю волю матери: они развеяли ее прах с горы Кэмэлбэк. Я не могла пойти с ними, так как просто не умела ходить по горам, поэтому Ольга Лусия пошла вместо меня. Она взяла с собой фотоаппарат и сделала несколько снимков последнего прощания с Кэрол на горе.

Юлия, Майкл и Элизабет подарили мне фотографию матери, на которой она улыбается своей чудесной улыбкой. Улыбается мне...

Все они еще приезжали на суд. Я не была на суде. Элизабет мне потом рассказала, что мексиканец, который был виновен в гибели Кэрол, просил у них прощенья, очень раскаивался в содеянном...

Я долго не могла осознать, что больше никогда не увижу Кэрол. Она так была мне нужна в этот трудный момент... Мистика... Мне было бы так тяжело расставаться с нею, уезжая из Аризоны, но зачем судьба обрекла нас на *такое* расставанье?.. Все ее тревоги о пенсии ушли вместе с ней...

Прошло время, и когда немного притупилась боль, я поняла, что надо жить и радоваться, за себя... и за Кэрол...

Тихон Енькин

ПАЛАТА БЕЗМЕРНОСТИ И НЕВЕСОМОСТИ

* * *

Бог его знает. Правда, не очень близко.

* * *

Палата безмерности и невесомости.

* * *

Взглянул правде в глаза и увидел, что они лгут.

* * *

Нить мысли лучше прясть ушами.

* * *

От обильной духовной пищи поправиться нельзя. Но выздороветь можно.

* * *

– Жизнь, на кого ты меня покидаешь?
– На верную смерть.
– А вдруг и она изменит?

* * *

У меня ещё всё впереди. Всё, что осталось.

* * *

Семи пядей во лбу. Не отдаст ни единой.

* * *

– Может ли машина времени получить штраф за просроченную парковку?
– Может, если простоит целую вечность.

* * *

«Директора компании подвели итоги финансового года». Как правильно ставить ударение в первом слове этого предложения?..

Подражание Ренате Мухе

*

...Всё потом слизал прилив,
Тороплив и небрезглив.

*

…Ну а ты б не отдал опала,
Чтоб опала с тебя опала?

*

…Оказалось, часовые
Предпочли почасовые.

* * *

Я бы вас вывел давно из пустыни,
Только боюсь, как бы вы не простыли.

* * *

Зачем общаться по сети?
Ты посети и посиди.

* * *

Скажите, отчего вы так сердиты?
Из пены на губах не выйдет Афродиты.

* * *

Ты весь в слезах от хохота.
Но что ж потом так плохо-то?

Наполярные заметки

*

Что такое творческое бесплодие? Это когда окружающий мир вызывает все ожидаемые чувства, а они на вызов не являются.

*

Что такое невольный плагиат? Это когда твоя память тебе изменяет неизвестно с кем, потом приносит плод этой измены и утверждает, что он от тебя.

*

Писатель N. глубоко копает, но мимо.
Клад остается в стороне.

Рассказ читательницы

Мне снился сон – такая ерунда:
Мессир меня избрал хозяйкой бала.
Неужто Маргарит у них не стало?
Чёрт знает что. Да, видно, не всегда.
Стояла я в чем мама родила,
И сзади свита адская толпилась.
А дальше – не по тексту: мне приснилось,
Что ни одна собака не пришла!..

*

Читатель – писателю

Не влезть мне в шкуру вашего героя.
Видать, она неверного покроя.

*

Переводчик: я зол на язык, на родной – особливо.

*

Обвиняемый оправдан. Художественно.

*

А.З.

Вы напрасно на музу пеняли.
Ей бы целого вас увести.
Но коль впрямь вы себя разменяли,
Всю зажмет она мелочь в горсти.

*

О писателях, читающих друг друга: нас мы, и мы, и мы.

Что сказал Книжный Червь

...Книжки милые читать...
Саша Чёрный

Книжки милые порою
Пострашнее каблука.
Переселишься в героя –
Пропадешь наверняка.
Будешь в каторгу отправлен
Или примешь в грудь свинец,
Будешь скепсисом отравлен.
Иль раздавлен, наконец.

* * *

В ясный солнечный – а может, лунный – день на улицу вышли два человека. Один не отбрасывал тени – может, пригодиться. А другой отбросил тень так далеко, что потом не мог её найти.

* * *

Хочу в средневековый Лувр, к коварным отравителям, мрачным заговорщикам, хитроумным интриганам. Хочу расслабиться среди них, отдохнуть душой от сотрудников!..

* * *

Нежить нежить значит не жить.

* * *

Постарайтесь вызвать неприязнь у всех, кто вам дорог. Тогда вы будете знать, что своей смертью не причините им боли.

* * *

Хорошо бы жить подольше и почаще.

Александр Трегуб

РАВВИНАТСКАЯ СИСТЕМА И РАННИЕ ЕВРЕЙСКИЕ СЕКТЫ:

Новая гипотеза о формирования иудейской религии.
Из цикла “Историческое наследие еврейского народа”
(Почти научное исследование)

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

В предлагаемом читателям труде впервые описана совершенно оригинальная научная гипотеза автора о взаимосвязи между природной любознательностью еврейского народа, его непревзойденной способностью к бесконечным дискуссиям на неограниченное количество разнообразных тем и формированием иудейской и других мировых религий. Гипотеза убедительно доказывается путем анализа истории написания Талмуда и взаимосвязи между учениями раввинов и ранних еврейских сект.

Автор всегда интересовался историей Талмуда и уже по окончании курса научного коммунизма в Политехническом институте мог достаточно уверенно объяснить основные различия между раввином и Рабкрином (В.И Ленин. “Как нам реорганизовать Рабкрин”, 23 января 1923 года).

В предлагаемом исследовании все основные положения наиболее признанных теорий по данному предмету (Рендсбург "Кумранские рукописи", The Teaching Company, 2010) изложены с максимально возможной научной точностью и дополнены вдумчивыми комментариями автора, за которые профессор Рендсбург, The Teaching Company, и все другие нижеперечисленные и вышеупонянутые научные источники никакой ответственности не несут.

Предлагаемый труд является также полезным пособием для подготовке к бар- и бат-мицва, поступлению в университет, интервью по приеме на работу и родам.

ВВЕДЕНИЕ

Даже самые непосвященные читатели, ничего не знающие о еврейской истории, скорее всего слышали о главном еврейском законе, галаха, которому каждый правоверный еврей обязан строго следовать. Наши более подкованные в истории читатели знают также, что законы галахи были записаны мудрыми раввинами.

Но сразу же возникает вопрос: кто такие раввины, когда они придумали и записали эти законы, следовали ли евреи этим законам еще до написания галахи, а если нет, то как вообще существовали евреи в отутствии галахи, и каким, собственно, законам или обычаям они следовали?

И если вы стали задавать эти вопросы уже сейчас, даже до того как мы приступили к изложению нашей теории – это очень хороший признак, так как вся раввинатская система как раз и разработана благодаря любознательности наших праотцов и тенденции задавать подряд много хороших вопросов, не теряя времени даром на выслушивание ответов.

ТЕОРИЯ И АНАЛИЗ

Часть 1. Иудейские и христианские секты

Прежде всего, кто такие раввины? "Рав" на иврите означает господин, а "рави" (“равин” в общепринятом переводе на русский) – мой господин. Это определение впервые встречается в Новом Завете, например, Петр называет Иисуса "раввин". Это уважительное обращение ученика к учителю прижилось в языке еврейских сект той поры и чаще

понималось как "учитель", а не просто "господин". Что, кстати, является одим из редких примеров успешной кооперации между последователями христианской и иудейской религий. Самые ранние дошедшие до нас раввинатские тексты датируются 200 веком нашей эры, т.е. спустя 130 лет после разрушения Иерусалима в 70 году н.э и после второго еврейского восстания против римлян в 132-135 гг. н.э. Но это, конечно же, не означает, что подобные тексты не существовали раньше.

Напомним, что в период перед разрушением Второго Храма в Израиле существовали две основные еврейские секты: седуккеи и фарисеи; кроме того были известны и другие секты, как, например, секты эссеев и зелотов – евреев, возглавивших восстания против римлян. Зелоты были истреблены римлянами в двух войнах и канули в небытие; эссеи были немногочислены, вели замкнутый образ жизни и, скорее всего, канули бы в небытие подобно зелотам, если бы не случайно обнаруженные рукописи в Кумране. У седуккеев и фарисеев было несколько принципиальных разногласий философского рода – не считая, конечно, множества разногласий всех других родов, что полностью соответсвует нашей национальной культуре, к счастью, хорошо сохранившейся до настоящего времени [А. Трегуб. Личные наблюдения и приватные дискуссии. Иерусалим, 1990-1993]. Среди принципиальных философских разногласий, главным оказался вопрос о роли Храма.

Седуккеи считали, что еврейская религия и основные обряды должны проводиться исключительно в Храме: нет Храма – нет религии; в то же время фарисеи проявляли большую гибкость в вопросе о Храме и считали, что религиозные обряды могут проводиться не только в Храме, но также в специльных местах (синагогах), или даже просто в еврейских домах. Неудивительно, что с разрушением 2-го Храма седуккейская секта постепенно выродилась, а фарисейская выжила и стала основным ресурсом для сохранения еврейской религии и традиций. Оригинальные фарисейские тексты не сохранились, так что прямых свидетельств о связи фарисейских традиций с более поздними раввинатскими текстами не существует. К счастью, тексты секты эссеев, случайно найденные в Кумранских пещерах, прямо перекликаются с раввинатскими текстами, написанными через 3 века после создания Кумранских текстов, и содержат комментарии, – в основном, отрицающие, что вполне естественно (см. ссылку 3), правильность обычаев и учений секты фарисеев. Таким образом, устанавливается историческая связь между учениями раввинов 3 века нашей эры и религиозными традициями ранних сект фарисеев. Иными словами, раввинатская система 3-го века н.э. родилась не на пустом месте, а из традиций фарисейской религии.

Кстати, возникает вопрос, почему фарисеи в христианском Новом Завете всегда упоминаются в резко отрицательном смысле? К счастью, этот печальный исторический факт хорошо объясняется нашей оригинальной научной теорией, упомянутой во введении к данной статье. Начнем с более глубокого анализа ранних еврейских сект, существовавших в Израиле. До сих пор мы ссылались только на секты, подробно описанные знаменитым историком Иосифом Флавием: фарисеев, седуккеев, эссеев и зелотов. Но одновременно с этими сектами на территории Израиля того времени существовали и другие религиозные группы. Например, секта самаритян, глубокое и приниципиальное отличие которой от других иудейских сект состояло в самобытном выборе места поклонения Б-у. Для всех иудейских сект того времени этим местом была гора Сион в Иерусалиме, но самаритяне выбрали свою собственную гору, Герицин, недалеко от Шехема к северу от Иерусалима. Наконец, существовали секты ранних христиан, упомянутые Иосифом Флавием. Разумеется, эта отдельная христианская группа тоже не была однородной: существовала секта христиан, которая придерживалась традиций иудейской религии, ведомая братом Иисуса, Джэймсом; более "революционная" секта, ведомая Павлом, отошедшая от иудейских традиций; секта эбонитов, не согласная ни с последователями Джэймса, ни с последователями Павла, поскольку эбониты, хотя и признавали Иисуса мессией, не

признавали его божестенной сущности. Эти многочисленные религиозные и философские различия среди представителей отнсительно немногочисленного народа вполне соответствуют научной гипотезе автора, согласно которой вся история мировой религии проистекает из хорошо развитого здорового духа противоречия, свойственного нашим праотцам и прекрасно сохранившегося до наших дней у их потомков (см. ссылку 3).

Именно эта гипотеза и объясняет неприязнь ранних христиан к фарисеям. Фарисеи являлись крупнейшей и наибилее влиятельной иудейской сектой того времени, и, как это ни парадоксально на первый взгляд, религиозные обычаи фарисеев и христиан были довольно близки. Эта близость, естественно (смотри ссылку 3), была причиной взаимной неприязни между представителями двух сект. Для подтверждения нашей гипотезы нам бы хотелось дополнительно указать, что упомянутые ранее эссеи презирали и сильно недолюбливали и фарисеев, и седуккеев, сотоварищей по иудейской религии, но были абсолютно безразличны к политеистам греко-римского мира. Иными словами, относительная духовная, философская и всякая другая близость порождала обостренное чувство взаимной неприязни среди представителей конкурирующих сект.

ЧАСТЬ 2. ТОРА, МИШНА, ТОСЕФТА И ТАЛМУД.

Перейдем теперь к следующему разделу нашего исследования: истории возникновения и написания Талмуда. После поражения второго еврейского восстания против римлян в 132-135 гг. н.э. центр еврейской культуры переместился на север, в Галилею, в город Ципори. В этих местах проживал мудрый раввин Юда Ха-Насси. Ха-Насси на иврите означает «лидер», а в современном иврите – «президент». Раввин Ха-Насси проделал огромную работу, результатом которой явился полный свод еврейских законов – Галаха, содержащихся в многотомном труде под названием Мишна.

Но тут опять возникает законный вопрос: а разве не был уже дан на горе Синай Моисею наш еврейский закон нашим еврейским Б-гом в виде Торы? Зачем было изобретать еще и Мишну? Ответ на этот вопрос не так прост; по мнению автора данной статьи, главная причина состояла в том, что наш Б-г хорошо понимал, с каким народом он имеет дело, и всеми силами старался избежать нехорошей привычки, известной в современном английском языке как micromanagement, т.е. прямых директив: что, как, и при каких обстоятельствах надо делать в каждом отдельном случае.

Например, в вопросе о браке Тора предписывает следующее: если муж разводится с женой, а жена впоследствии вступает в брак с другим мужчиной, и этот 2-ой муж умирает, или, в свою очередь, тоже дает развод этой жене, то она уже никогда не может вступить в брак со своим первым мужем (тем самым, который ей дал развод). Подумайте сами, как часто такое случается, и с какой это стати нормальная еврейская женщина захочет вернуться к тому самому типу, который с ней когда-то развелся? А что делать, если она захочет выйти замуж в 3-ий раз за 3-го мужчину? А может ли жена дать развод мужу, и как должен поступать разведенный муж? Тора на этот счет не дает никаких указаний. Или возьмем, например, запрет на работу по субботам. Все, что говорит Тора по этому поводу, сводится к одному правилу: нельзя зажигать свет (свечи) по субботам. Неудивительно, что пытливый еврейский ум сразу же породил множество вопросов: скажем, а если мыть посуду в темноте, так это считается работой? За многие тысячелетия до знаменитого вопроса Билла Клинтона на следствии по делу Моники Луински: "Дайте мне определение секса", еврейский народ задал совершенно аналогичный вопрос: "Дайте мне определение работы!" Более того, – спрашивал еврейский народ, – а когда, собственно, наступает суббота: с закатом солнца? С восходом луны? С появлением первой звезды? С началом календарного дня? и т.д.

Так вот, раввин Юда Ха-Насси проделал гигантскую работу, результатом которой и явились

подробные директивы о том, что предписывается делать еврею в каждом отдельном случае. Например, Мишна содержит полный список работ, числом 39, которые запрещается выполнять в шаббат. Мишна разделена на 6 частей: семена (сельское хозяйство), праздники, женщины, потери (или юридические законы), священные законы и чистота (причем большая часть раздела «чистота», опять же, относится к женщинам).

Все, что не поместилось в Мишну, раввин Юда Ха-Насси занес в специальную книгу под названием Тосефта (что на иврите означает просто-напросто дополнение). Какая разница между Мишной и Тосефтой и почему одни законы помещены в Мишну, а другие в Тосефту, современные ученые сказать не могут.

Но зато большинство современных ученых сходятся на том, что Юда Ха-Насси не изобретал законы, а просто сводил в единую книгу обычаи и традиции, которым евреи следовали много лет до и после разрушения Храма.

Казалось бы, с завершением монументального труда Юды Ха-Насси в двух частях (Мишна и Тосефта) евреи, наконец, должны бы были успокоиться и просто-напросто начать следовать всем законам (или, как вы помните, Галахе), так старательно сведенными в единую книгу... Но не тут то было.

Хотя в руках наших праотцов теперь находился толковый и всеобъемлющий свод законов, они вместо того, чтобы следовать директивам, немедленно начали задавать новые вопросы и пытаться найти резоны директивам: а почему, собственно, работ, запрещенных в шаббат, должно быть 39, а не 40, или 100? Или – а вы мне объясните, почему это я не могу стучать молотком по субботам (работа молотком названа в списке запрещенных субботних акций), а колотить ложкой по глиняному кувшину моему ребенку позволяется? А если мне срочно надо просверлить дрелью совершенно необходимую дырку в стене моей собственной квартиры, так это в субботу разрешается?

К чести наших праотцов раввинов, они отнеслись ко всем этим вопросам очень серьезно: были основаны и распространены по всей израильской земле академии, или ешивы; поколения раввинов и их учеников после Юды Ха-Насси изучали Мишну, проводили юридические дискуссии и интерпретировали законы Галахи. Работа продолжалась приблизительно 200 лет, и в результате родился грандиозный труд, под названием Талмуд. Талмуд не только перечислял законы, описанные в Мишне и Тосефте, но и давал детальное объяснение каждому закону. В том же случае, когда объяснений было больше, чем одно (а как вы понимаете, в абсолютном большинстве случаев так оно и было), приводил комментарии и аргументы каждого раввина, имеющего что сказать по поводу каждой теории. Небольшое уточнение: когда мы упомянули, что работа над Талмудом в израильской земле продолжалась 200 лет, это отнюдь не означает, что через 200 лет работа была завершена. Нет! Работа над Талмудом никогда не была завершена, и новые интерпретации открыты даже и для нынешнего поколения. Талмуд, созданный в израильской земле, называется Иерусалимским Талмудом.

Параллельно с Иерусалимским Талмудом шла упорная работа над Вавилонским Талмудом, т.е., работа, которая проводилась евреями в вавилонском изгнании, куда тоже дошел труд Юды Ха-Насси. Поскольку – справедливо это или нет – евреи в вавилонском изгнании жили лучше, чем евреи на исторической родине, и имели лучшие условия для академического финансирования, работа над Вавилонским Талмудом продолжалась приблизительно 300 лет и даже была (официально) завершена! Разумеется, Вавилонский Талмуд по своим размерам оказался намного больше Иерусалимского, но настоящий еврейский мыслитель должен изучать оба и работать с обоими Талмудами. К счастью, некоторые (но очень немногие) интерпретации двух Талмудов, хотя и в редких случаях, действительно не слишком сильно противоречат друг другу.

ЧАСТЬ 3. ХРАМ И СИНАГОГИ

Вернемся теперь в эпоху фарисеев, седукеев и Кумранских рукописей эссеев. Насколько тщательно следовали евреи той поры традициям, подробно описанным через 3 века раввином Юдой-ХаНасси? Как уже было упомянуто в первой части, центром идеологии, культуры и религии для основной массы евреев той поры был Храм. В Храме проводились большинство известных нам сегодня церемоний. Например, на праздник Рош ха-Шана знаменитый шофар звучал в Храме (а не в синагогах, как в современной традиции); на праздник Суккот пальмовые ветви приносились исключительно в Храм, а не в синагогу или в еврейский дом. Уничтожение Храма было огромным потрясением для еврейской культуры; тем не менее, традиции выжили – во многом, благодаря фарисеям, которые перенесли ритуалы, ранее проводившиеся в Храме, в синагоги или еврейские дома. К счастью, синагоги существовали и во время Храма, так что их не надо было специально создавать как замену разрушенному Храму, но их роль была несопоставимой с ролью Храма.

Изменения в традициях, вызванных этим переходным процессом, несомненно, находились в противоречии со строгими предписаниями раввинов. Однако, согласно многим современным исследователям, влияние раввинов в начале н.э. на жизнь основного населения могло быть ограниченным; скорее всего, число их последователей было невелико, и раввинатская система установилась повсеместно только приблизительно в 4-ом, или даже в 6-ом веке н.э.

Интересным примером или доказательством ограниченного влияние раввинов на жизнь основной массы еврейского населения начала н.э. могут служить раскопки синагог в Галлилее. При раскопках были найдены мозаичные полы со знаком Зодиака в центре и портретом греческого бога солнца Гелиоса. Разумеется, строители этих синагог просто отдавали дань современной моде, а не пытались подменить иудейскую религию языческой, но строгие раввины, – была бы их власть, – никогда бы не позволили использовать римско-греческие мотивы и портреты в синагоге! Использование символов греческой религии в синагогах подтверждают гипотезу об ограниченом влиянии раввинов на основную массу еврейского населения приблизительно до 4 или 6 века нашей эры.

ВЫВОДЫ

Подводя итоги проведенному анализу, мы можем с уверенностью утверждать, что природная пытливость нашего народа, многообразие мнений его представителей и немедленная готовность отстаивать свою, единственно верную, точку зрения в дискуссиях с любыми оппонентами, решающим образом способствовали формированию иудейской и других мировых религий, а также сохранению культурно-исторического наследия еврейского народа.

Наше исследование решило также основополагающий вопрос о главном различии между раввином и Рабкрином: в то время как Рабкрин реорганизовать было невозможно, хотя можно было отменить, раввинов нельзя ни реорганизовать, ни отменить.

Список литературы

1. В.И Ленин. “Как нам реорганизовать Рабкрин”. 23 января 1923 года. Псс, том 24
2. Gary A. Rendsburg. "Dead Sea Scrolls", The Teaching Company, Course no. 63622010, 2010
3. А. Трегуб. Личные наблюдения и приватные дискуссии. Иерусалим, 1990-1993

Виталий Шрайбер

ЗДРАВСТВУЙ, Ж... – НОВЫЙ ГОД!

Незадолго до Нового года, уролог, доктор Р., отметив повышение моего PSA (Prostate Cancer Analysis) сказал, что рекомендует сделать биопсию, дабы проверить нет ли у меня ненароком этого самого prostate cancer. Надо так надо, и в один из первых дней нового года, я явился на экзекуцию. Меня встретила медсестра, молодая женщина очень привлекательной наружности: шатенка, прекрасная стройная фигура, синие глаза и персиковая кожа. В общем, красотка, мисс Калифорния. Лучезарно улыбаясь, она повела меня в комнату для обследования, где выдала мне лист бумаги, размером с лист ватмана, только гораздо тоньше, вроде огромной промокашки, и сказала, что на несколько минут выйдет, а я тем временем должен снять брюки, трусы и завернуться в этот лист. А затем она вернется. Я был неприятно удивлен:

– Разве биопсию будет делать не доктор Р.?

– Доктор придет чуть позднее, а я должна вас подготовить к процедуре.

Делать нечего. Я разделся и попытался завернуться в промокашку. Она не сходилась на моей отнюдь не балетной талии, а при малейшем натяжении рвалась. Мои попытки прикрыть все то что, как мне казалось, нужно прикрыть, привели к тому, что вскоре у меня в руках остался уже совсем небольшой кусок, которым я весьма условно прикрылся спереди. Тут вернулась красавица и велела мне лечь на топчан или, черт его знает, как там это ложе называется, на бок и лицом к стене. Я охотно уткнулся носом в стену, радуясь, что мне не надо встречаться с красавицей глазами, а к ней повернулся неприкрытым задом. Она попросила сместиться немного вниз, затем немножко верх, затем вправо-влево. После нескольких минут ерзания, мой зад оказался, видимо, в нужной ориентации, и она удовлетворенно сказала "Here we are" (Вот так хорошо).

Я перевел дух, а красавица, помолчав с минуту, уже иным, светским тоном, очень по-американски спросила: "How did you celebrate New Year?" («Как вы отпраздновали Новый год?»)

Юрий Золотаревский
ОБРАЗЫ МИРА
Греческий альбом

Парфенон
на закате

Афины.
Смена караула

Санторини

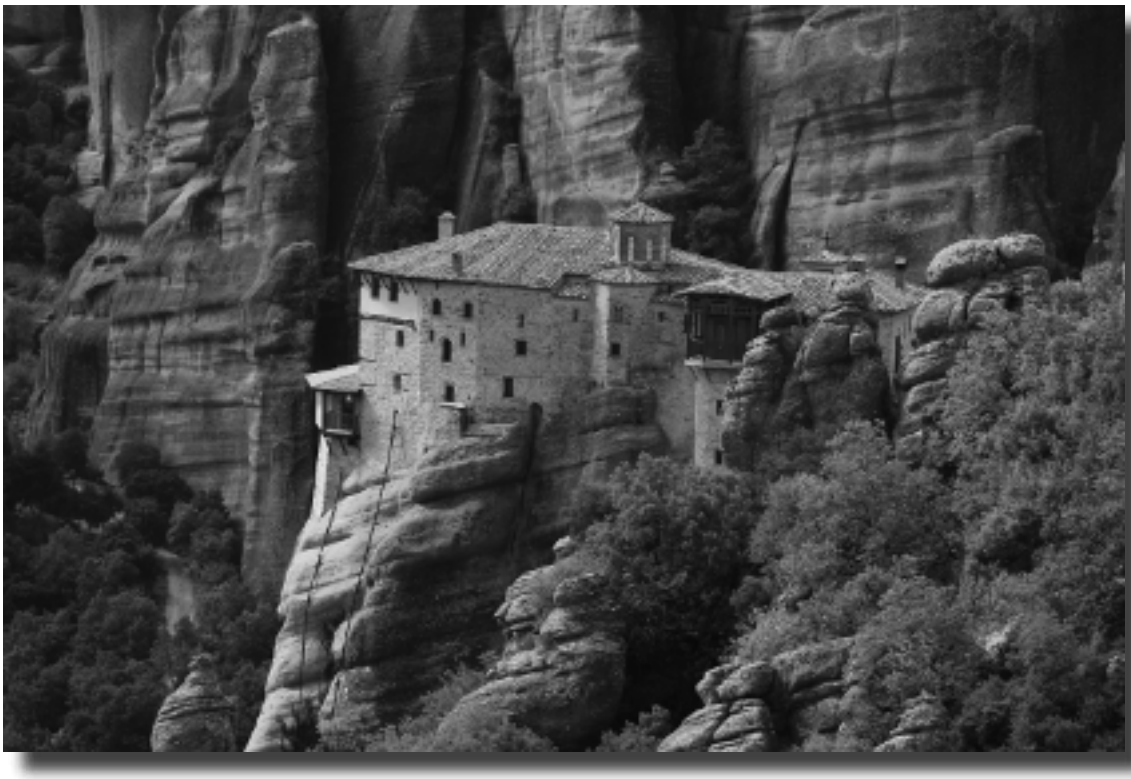
Остров Идра

На острове
Миконос

Олимпия.
Опора небес

Олимпийская сборная ищет спонсора

Монастыри Метеоры



Виктор Фет

«СПЕРВА КАЗНЬ, А ПОТОМ УЖ ПРИГОВОР!» О НАБОКОВСКОМ ПЕРЕВОДЕ ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА

«Аня в стране чудес» (Берлин, издательство «Гамаюн», 1923), перевод-пересказ кэрролловской «Алисы» – один из первых опытов в прозе молодого Набокова (В. Сирина), впервые переизданный в США в 1976 г. (1). В России «Аня» не публиковалась до 1989 года.

Владимир Набоков (1899–1977) замечал в интервью А. Аппелю (1966): «Как все английские дети (а я был английским ребенком), Кэрролла я всегда обожал». В 1970 г. калифорнийский славист Саймон Карлинский (1924–2009) писал: «На ближайшее будущее неуклюжей, искаженной “Алисе” Оленича-Гнененко [советский перевод 1940 г. – В. Ф.] предстоит оставаться стандартной “Алисой” по-русски, в то время как теплая и остроумная “Аня” Набокова проживает в изгнании на зарубежных книжных полках. Если бы ей разрешили вернуться в страну ее духовного происхождения, “Аня” с легкостью превзошла бы свою неприглядную соперницу» (2) (перевод с англ. мой – В.Ф.). Ни Карлинский, ни Набоков не знали о новом переводе Н. М. Демуровой (1967). Сам писатель впервые прочел «Алису» в оригинале в возрасте шести лет и, по его словам, никогда не читал других русских переводов. Прошло еще целое поколение до возвращения «Ани» в Россию – но ей уже было трудно угнаться за новыми «Алисами» Демуровой, Заходера, Щербакова, Орла. Да ведь и язык изменился чрезвычайно, в особенности язык детского сленга и фольклора.

Н. М. Демурова (3) отмечает «изначально существовавшую потенциальную соприродность двух авторов». Александр Флоря (4), однако, считает, что Набоков «не смог создать для своей переделки органичного и естественного языка. Язык этого произведения – “ангельский”, то есть искусственный, эстетский, хотя иногда и красивый» («Ангельский язык», по каламбуру Набокова, изучался в «морской школе» вместо английского; там же учили «чесать и питать»). Конечно же, был «эстетским» юношеский язык Набокова, серьезно учившегося рисованию у Добужинского, а в стихах подражавшего всем поэтам Серебряного века, от Бальмонта до Гумилева… Чуть ранее он переводит «Кола Брюньона» с французского, безудержно русифицируя Роллана. Этот «Николка Персик» – 170 страниц неустанного раешника.

Уоррен Уивер (5) считал набоковскую «Аню» лучшим из переводов «Алисы» на любой язык. Он выделял пять групп трудностей (пародийные стихи, каламбуры, специально придуманные слова, логические шутки, сдвиги в значениях), и считал, что Набоков успешно преодолел все! Перевод Набокова высоко ценят и современные исследователи – Н. М. Демурова (3, 6, 7), Н. И. Толстая (8), Дж. Коннолли (9), Н. Вид (10). На мой взгляд, «Аня» – талантливый пересказ, недооцененный, возможно, именно из-за последующей славы зрелого Набокова (а в России – ввиду полного запрета на его имя). Набоков искусно переводит Аню-Алису и детей-читателей через пропасти, разделяющие языки и времена, часто попадая, по словам С. Карлинского, «в фонетическое и семантическое яблочко».

Так, в «сухой лекции» из русской истории (заменившей кэрролловскую историю Вильгельма Завоевателя) Мышь у Набокова повествует о том, как «…после смерти Мономаха Киев достался не братьям его, а сыновьям и обратился, таким образом, в семейную собственность Мономаховичей. …Пока они жили дружно, их власть была крепка; когда же их отношения обострились… против них поднялись князья Ольговичи, и не раз силою завладевали Киевом. Но Мономаховичи в свою очередь... »

Этот текст у Набокова, почти без изменений, взят из популярного «Учебника русской истории» (СПб., 1909–1910) С. Ф. Платонова (1860–1933). Об этом, как об известном факте, пишет Игорь Вдовенко (11, 12), однако, насколько мне известно, этот источник ранее не был идентифицирован исследователями, писавшими о набоковской «Ане». С. Карлинский (2) упоминает «какой-то исторический текст 19 века», а А. Флоря (4) даже принял этот отрывок за «откровенную

пародию» на Карамзина.

Сергей Федорович Платонов был видным историком, академиком; до 1926 г. он читал лекции в Ленинградском университете, возглавлял Археологический институт, Пушкинский дом; в 1930 г. арестован по тому же делу, что и академик Тарле; обвинен в связях с немецким Генштабом «с целью возвести на российский престол своего бывшего ученика великого князя Андрея Владимировича»; был сослан в Самару, где и скончался.

Вот выдержка из учебника Платонова (выдержавшего до революции восемь изданий):

«…После смерти Мономаха Киев достался не братьям его, а его сыновьям и обратился таким образом в семейную собственность Мономаховичей. … Пока они жили дружно, их власть в Киеве была крепка; когда же у них начался разлад, то против них поднялись сидевшие в Чернигове князья Ольговичи (сыновья и внуки Олега Святославича) и не раз силою завладевали Киевом. … Но Мономаховичи, в свою очередь, не желали отказаться от обладания Киевом и тем самым признать над собою старшинство Ольговичей. Разгорелась долгая и упорная борьба за Киев. Победа в ней осталась в конце концов за потомством Мономаха...» Для детей эмигрантов, читавших набоковский перевод в Берлине в 1923 г., эти слова несли свежий отзвук российской смуты, в те же годы описанной Булгаковым в «Белой гвардии».

Совершив «нырок в кроличью норку», Аня попадает в гибридный мир (в подобном мире будет жить набоковская Ада на планете Антитерра). Почтовый адрес ее удалившейся ноги пишется подореволюционному: «Госпоже Правой Ноге Аниной, Город Коврик, Паркетная губерния». В Стране чудес еще висит медная табличка «Дворянин Кролик Трусиков» (у Кэрролла всего лишь – «Б. Кролик»). К 1923 году Петьки и Яшки (так переделаны Пат и Билл у Набокова) уже не обращались к Трусиковым «Ваше Благородіе». Да уж не из блоковских ли «Двенадцати» этот Петька? Ведь еще в Крыму в 19 лет написал Набоков свой ответ ранее любимому Блоку – антибольшевистскую поэму «Двое», до сих пор не опубликованную…

Существует ряд исследований и статей (2–14), которые специально посвящены набоковскому переводу «Алисы» или обсуждают его в сравнении с другими переводами. Их авторы фокусировались в основном на его старомодной русификации и передаче каламбуров, нонсенса, пародийных стихотворений.

Ни в одной из этих работ, однако, мне не встретился анализ неточного – и по моему мнению, намеренно неточного – перевода ключевой фразы в последней (12-й) главе книги, «Показание Ани». Всмотримся в набоковский текст:

“Пусть присяжные обсудят приговор”, – сказал Король в двадцатый раз.

“Нет, нет”, – прервала Королева. – “Сперва казнь, а потом уж приговор!”

“Что за ерунда?” – громко воскликнула Аня. –“Как это возможно?”…

“Отрубить ей голову! – взревела Королева. Никто не шевельнулся.

“Кто вас боится?” – сказала Аня (Она достигла уже обычного своего роста). “Ведь все вы – только колода карт…”

Однако, у Кэрролла в оригинале Королева говорит нечто совсем иное, а именно: «Sentence first – verdict afterwards», т.е. «Сперва приговор, а потом уж вердикт!».

В недавнем российском издании «Ани» параллельно с текстом оригинала (3) приводится комментарий Н. М. Демуровой к этому заявлению Королевы: «В словах Королевы содержится перверзия, легко замечаемая всяким, кто знаком с английским судопроизводством. Выслушав свидетелей с обеих сторон, присяжные удаляются на совещание, на котором не имеет права присутствовать никто, кроме них, и выносят решение о виновности или невиновности подсудимого (“verdict”). Судья затем выносит приговор (“sentence”), опираясь на решение присяжных” (С. 310–311; курсив мой – В.Ф.).

Королева у Кэрролла меняет процедуры местами, отсюда и логический нонсенс: как же можно приговорить человека, если присяжные не установили его вины? (Мы-то знаем, как...) Но британская подданная Алиса, за которой сотни лет суда присяжных, возражает на такое беззаконие «Stuff and nonsense! The idea of having the sentence first!» (буквально: «Какая ерунда и бессмыслица! Невозможно сперва выносить приговор!»)

Однако, читателю, даже в параллельном издании, нелегко заметить, что у Набокова та же самая «перверзия» сдвинута на одно звено! В переводе-то стоит совсем иное, усиленное – совсем побольшевистски: «Сперва казнь, а потом уж приговор!»

Аня смело заявляет: «Что за ерунда? Как это возможно?». Действительно, ерунда. Приговор-то можно обжаловать. Даже в отсутствие суда присяжных, монарх может помиловать приговоренного, то есть отменить или изменить приговор (как, скажем, в случае Достоевского). Но вот совершившуюся казнь не обжалуешь и не отменишь...

Я склонен считать набоковский вариант намеренным «усилением». В то же время, в результате

такого смещения терминов у Набокова возникает также очевидная неточность в переводе слов Короля: «Пусть присяжные обсудят приговор». В оригинале, конечно, присяжные обсуждают не приговор, а свое решение о виновности подсудимого, вердикт («Let the jury consider their verdict»).

Переводчики советского времени пытаются следовать Кэрроллу, но это далеко не всегда удается.

В переводе Нины Демуровой (1967):

«– Пусть присяжные решают, виновен он или нет, – произнес Король… – Нет! – сказала Королева. – Пусть выносят приговор! А виновен он или нет – потом разберемся!»

Здесь слова Королевы содержат ту же неточность, что слова Короля у Набокова: «Пусть выносят приговор» – получается, что Королева говорит о присяжных, приказывая им вынести приговор вместо объявления вердикта. Но ведь приговор-то выносит судья, а в тексте ранее сказано прямо: «Судьей, кстати, был сам Король». Король потому и теребит присяжных, что должен вынести приговор на основании их вердикта.

В переводе Владимира Орла (1987) ситуация еще более запутана и намеренно далека от оригинала:

«– Пусть присяжные выносят приговор, – повторил он [Король] в тридцатый раз. – Нет уж! – заявила Королева. – Ты им сперва скажи, какой приговор выносить, а потом пусть себе выносят на здоровье».

В пересказе Бориса Заходера (1972) сложное для читателя слово «вердикт» опущено, но логически текст вполне следует Кэрроллу:

« – Удаляйтесь на совещание! – сказал Король… – Нечего там! – сказала Королева. – Сперва приговор, посовещаются потом».

Очень точный вариант, избегая слова «вердикт», дает Александр Щербаков (1977):

« – Пусть присяжные вынесут решение, – в двадцатый раз нынче повторил Король… – Нет, – сказала Королева. – Сначала приговор – потом решение».

Так же переводит Николай Старилов:

« – Пусть присяжные вынесут решение, сказал Король… – Нет, нет! – вскричала Королева. – Сначала приговор, а потом решение присяжных».

Другие недавние переводчики переводят точно в соответствии с текстом Кэрролла. Термин «вердикт» употреблен в переводах А. Кононенко (« – Пусть присяжные выносят вердикт, – сказал Король… – Нет, нет и нет!!! – вскричала Королева. – Сперва приговор, потом уже вердикт!!!») и Ю. Нестеренко (« – Пусть присяжные вынесут свой вердикт, – сказал Король, … – Нет, нет! – сказала Королева. – Сначала приговор – потом вердикт»).

А вот в современном пересказе Михаила Блехмана мы находим то же самое усиление и смещение, что и у Набокова:

« – Присяжные, огласите приговор! – приказал он [Король]... – Нет! – вмешалась Королева. – Сначала пусть приведут в исполнение, а потом – приговаривай себе, сколько хочешь».

Чрезвычайно интересно, что то же самое «набоковское» смещение («Сначала казнь, а потом приговор!») имеется уже в обильно критиковавшемся советском перевое А. Оленича-Гнененко (первое издание – Ростов-на-Дону, 1940)! Маловероятно, что Оленич в 30-е годы видел набоковский вариант. Но именно эти слова вошли позже в песню Юрия Кукина «Канатоходец» :

Как говорила в сказке королева,
Сначала казнь, а приговор потом!

Сходные термины, сдвиги близких значений, малоизвестные термины и роли смущали многих переводчиков. Эта путаница связана, конечно же, с тем, что у нас не было суда присяжных. В СССР «прокурор давал срок» – примерно как у того же Кэрролла в «Охоте на Снарка», где Снарк-адвокат выступает и за присяжных, объявляя вердикт, и за Судью, зачитывая приговор... Идея суда присяжных (введенного в России в ходе реформ Александра II в 1864 г., за год до публикации «Алисы») была настолько непереводима на советский язык, что Борис Заходер (1972) с горьким эзоповским юмором пояснял для детей: «Если вы не будете путать присяжных (заседателей) и пристяжных (лошадей), у вас будет не меньше оснований гордиться собой, чем у Алисы. Даже больше: ведь сейчас гораздо реже, чем сто лет назад, встречаются и те и другие».

Действительно, выражение «господа присяжные заседатели» казалось устаревшим и забавным уже Остапу Бендеру (1928) – ведь большевики избавились от честной судебной системы. «Несмотря на внешне демократический порядок вынесения вердикта, – разъясняла нам БСЭ, – этот институт, как и другие институты суда присяжных в буржуазных государствах, не обеспечивает подлинной независимости присяжных от позиции постоянных судей»...

Заходеровский каламбур, не замеченный цензурой, очень грустен: именно в те годы (начало 1970-х) судьи зачитывали приговоры диссидентам. Но ведь на Западе присяжные заседатели вовсе не исчезли вместе с пристяжными лошадьми. Одно из эмоциональных потрясений российских эмигрантов в США – это jury duty, присяжная повинность всего населения. Плохо ли, хорошо ли, но вердикт

действительно выносят, посовещавшись, не тройки юристов-«специалистов» и не комиссары в пыльных шлемах, а двенадцать зачастую малообразованных Биллов-«присяжников», Яшек-ящериц. А вот в Басманном королевстве мало что изменилось. «Бедный маленький Яша уже давно перестал писать пальцем, видя, что следа не остается…»

Вспомним, кому предназначалась «Аня в стране чудес» – детям, родившимся во время Великой войны, всего три-четыре года назад бежавшим с родителями из советской России. («“Куда лучше было дома”,– думала бедная Аня».) Только в Берлине в 1923 г. насчитывалось несколько сотен тысяч русских эмигрантов. Многие из них, в свое время будучи присяжными, на свою голову, десятилетиями оправдывали террористов в судах по всей Российской империи. Они-то понимали прямой и горький смысл, читая «Аню» своим детям и внукам в Берлине и Праге, в Софии и Белграде. А сколько еще горя предстояло этим детям, когда они подросли? Многие из них были счастливы оказаться, как планировала Аня в случае пролета через Землю насквозь, «в Австралии или в Новой Зеландии»…

В дальнейшей судьбе семьи Набоковых – бежавшей в 1919 г. в Европу от коммунистов, а в 1940 г. в Америку от нацистов – сиринско-гамаюнская «Аня» сыграет роль неожиданную и немаловажную: «С удовольствием вспоминаю, – писал Набоков в 1970 г., – что одним из обстоятельств, побудившим Уэлсли-колледж предложить мне должность лектора в начале сороковых годов, было присутствие моей редкой “Ани” в Уэлслийском собрании изданий Льюиса Кэрролла». Постоянно и часто бестактно, говорят о том, как «Лолита» доставила писателю всемирную славу и вернула богатство – но именно «Аня» дала 40-летнему Набокову его первый более или менее постоянный заработок в Америке (он преподавал в Уэлсли до 1947 года).

Страна чудес – это карточное Королевство Червей (в некоторых русских переводах – Бубен). В переводе, однако, есть одно осложнение: в русских картах (так называемая «французская колода») есть и король, и валет, а вот королев, в отличие от шахмат, нет – вместо них, конечно, дамы. Кэрролловская Queen of Hearts – Дама Червей (червонная дама). Пушкинская Пиковая дама правильно переводится Queen of Spades, а набоковский роман «Король, дама, валет» (1928) – «King, Queen, Knave». Но если формально правильно перевести кэрролловскую Королеву как Даму, то теряется смысл королевской четы, поэтому приходится и не афишировать масть (ведь «Королева Червей» по-русски невозможна). Все переводчики, сохраняя Королеву, были вынуждены искажать карточную номенклатуру, и Страна чудес для русского читателя становилась ближе к шахматному Зазеркалью (хотя у Кэрролла карточная Queen of Hearts и шахматная Red Queen – очень разные персонажи). Кэрролл, впрочем, сам дополняет и изменяет карточных персонажей – он помещает в ту же страну Герцогиню (Duchess), у которой нет карточного эквивалента. К тому же Королева у Кэрролла явно доминирует над Королем, так что карточная иерархия не соблюдается.

«Показательный» суд над Валетом, почти по Вышинскому, идет в главах 11 и 12. Еще ранее Королева постоянно приказывает рубить головы без всякого суда и следствия всем подряд; однако, не похоже, чтобы ее приказания выполнялись. «…Аня успела услышать, как Король говорил тихим голосом, обращаясь ко всем окружающим: “Вы все прощены”». Грифон (Гриф в переводе Набокова) замечает о Королеве, что «это все, знаете-ль, ея воображенье: никого ведь не казнят» («It’s all her fancy, that they never executes nobody... »)… Воображенье сродни сну: Алиса проснется, не успев узнать, чем кончился суд.

В сцене суда у Кэрролла народ безмолвствует, «никто не двигается» (чисто театральная ремарка «Nobody moved»). То есть, не исполняют приказа рубить голову? Ждут приговора? Или все же сначала вердикта присяжных? Ох уж этот гнилой парламентаризм; попробовали бы не двинуться, когда товарищи Троцкий или Дыбенко приказывают «пустить в расход»… Так и веет от кэрролловского текста расстрельными трибуналами, от которых чудом спасся юный Набоков, выбравшись с семьей в Крым в ноябре 1917 г.

Сам Кэрролл писал, что воображает свою Королеву, как «воплощение неограниченной страсти – слепой и бесцельной Ярости» («a blind and aimless Fury»). Традиционный средневековый способ казни, который предпочитает Королева – «отрубить ей голову!», получит развитие в «Приглашении на казнь» (1934, опубл. 1935–36). Заглавие романа в английском переводе уже в 1959 г. (пер. Д. В. Набокова совместно с автором) станет известно всему миру как «Invitation to the Beheading». Знаменитый финал романа, конечно же, рифмуется с финалом «Страны чудес», где Королева приказывает отрубить голову уже самой Алисе, иллюзорная колода карт взлетает на воздух, и Алиса просыпается.

Мотивы эти стали реальностью в России, где скоро были приглашены на казнь и сами палачи. Вдова одного из вождей режима, Анна (!) Ларина-Бухарина (1914–1996), вспоминала о своем заключении в новосибирской тюрьме: «Я, как Алиса в стране чудес, все падала и падала в глубокий колодец, но в

отличие от нее знала, на какой широте и долготе я нахожусь и что я не в Австралии и не в Новой Зеландии, а в стране под названием Советский Союз, в стране диктатуры пролетариата, что в те дни означало: в стране абсолютной сталинской монархии. Мне не надо было, как Алисе, пояснять, что говорить о том, что думаешь, и думать, что говоришь, не одно и то же. Наш народ в то время хорошо усвоил: говорить, что думаешь, опасно...» Эту цитату приводит А. М. Рушайло (15), и он же напоминает, что и Анна Ахматова, и Ариадна Эфрон сравнивали свою жизнь в СССР с Зазеркальем.

Кстати, замечательный неологизм «Зазеркалье» впервые появился именно в советское время, в 1924 г., в переводе В. Азова – это псевдоним Владимира Александровича Ашкенази (1873–1948), известного до революции фельетониста, театрального критика, переводчика, многолетнего сотрудника «Сатирикона». В 1926 г. Ашкенази эмигрировал в Париж, где был сотрудником «Последних новостей» и «Иллюстрированной России».

Приведу здесь же и слова Евгения Витковского из его заметки «Русское Зазеркалье» (www.vekperevoda.com): «Нам говорили, что мы живем в Стране Чудес, но это была демагогическая ложь: чуть ли не весь XX век мы прожили в Зазеркалье. Жить собственной жизнью нам не разрешали: мы вместо этого обязаны были отражать действительность. Требовалось, чтобы мы делали это правдиво, хотя выполнить такое требование было заведомо невозможно: жизнь хромала на правую ногу, отражение припадало на левую, но в Зазеркалье иначе и не может быть».

В своем сравнительном анализе «Приглашения на казнь» и «Алисы в стране чудес», Марта Антоничева (16) пишет: «Значимым для интерпретации обоих произведений кажется нам эпизод суда над Цинциннатом и суда над Валетом. Один из уровней интерпретации суда над Валетом пародийно указывает на абсурдность института суда: “ – Пусть присяжные обсудят приговор, – сказал Король в двадцатый раз. – Нет, нет, – прервала Королева. – Сперва казнь, а потом уж приговор!”... Подобного рода абсурдность в 20 веке воспринимается через призму тоталитаризма, как атрибутика подобного режима». Мы видим, однако, что Антоничева прямо цитирует Королеву в «усиленном» переводе Набокова, не обращаясь к оригиналу Кэрролла!

По словам поэта Ольги Седаковой, набоковская «фантастика, его комбинаторное воображение для меня несомненно отмечены печатью “Алисы”. Это, может быть, и заставляет многих видеть в нем “нерусского” писателя, слишком отчужденного от “душевности”…» Во все свои романы вмонтирует кембриджский студент Набоков мотивы оксфордского преподавателя Кэрролла. «Король, дама, валет» – архетипический карточный треугольник из 12-й главы «Алисы в Стране чудес», где «котлеты украл валет». Набоков никогда не переводил второй книги Кэрролла, но шахматное Зазеркалье было хорошо знакомо писателю, который умел и любил составлять шахматные задачи. Важной фигурой в Зазеркалье, несомненно, был и гроссмейстер Лужин. Мотивы «Алисы», постоянная игра со словами и героями по Кэрроллу, конечно, сохраняются и в англоязычных романах Набокова. Препарируется под иглою энтомолога Гумберт Гумберт, мерзкая пародия на Белого Рыцаря (малопочтенная публика до сих пор путает Алису с Лолитой, а Гумберта с Кэрроллом). В романе «Бледный огонь» («Pale fire», 1962) шахматным призраком предстает Карл-Ксаверий, король северной Земблы, страны зеркальных отражений, в красном спортивном костюме бегущий через горы от мятежников-«эквилистов». Брайан Бойд, исследователь и биограф Набокова, напоминает, что, по словам Траляля из «Зазеркалья», сама Алиса – лишь персонаж сна, который снится Красному Королю. (Старинные шахматы были красными и белыми – но в русских переводах «Зазеркалья» Король и Королева, конечно, Черные, и связь «Бледного пламени» с «Алисой» ослаблена). А имя короля Земблы (Карл, Charles) совпадает с настоящим именем самого Кэрролла (Чарлз Латвидж Доджсон).

В другом набоковском сне («Ада», 1969), на зазеркальной Антитерре, где смешались английский, русский и французский языки, воплотятся сестры Ада и Люсетта Вин, потомки князей Темносиних и генерала Дурманова. Их учителем не-только-биологии будет некто Кролик – но как безумно далеки они в своем поместье Ардис от сестер Лидделл с их доброй старой Страною чудес... Острый глаз Саймона Карлинского уже в 1970 г. подметил наличие Ады (так у Кэрролла!) в набоковской «Ане» 1923 года. Аня пытается отличить себя от Ады и Аси, как переназвал Набоков другую подружку Алисы, Мэйбл. Наталья Вид (10) отмечает звуковое сходство между именами Аня-Ада-Ася, «подчеркивающее сомнения Алисы в том, кем она является.» На мой взгляд, введенная Набоковым в текст Ася указывает на словесную игру-пермутацию, построенную по принципам кэрролловской игры в «Словесные дублеты» (или «Словесный гольф», имеющий большое значение в «Бледном огне»). Отсутствующее звено в цепочке Ада – (?) – Ася – Аня – это Адя, редкое, но возможное сокращение от Адели или Аделаиды. Из известных современниц Набокова Адей, в частности, звали поэтессу Аделаиду Герцык (1874–1925). Аделаида – полное имя Ады Вин. Вспоминается и пушкинская Адель: «Играй, Адель, не

знай печали... люби, Адель, мою свирель». Интересно, что пермутация разветвляется: Адя может превратиться и в Асю, и в Аню.

Н. М. Демурова (6, 7) отмечает одну из возможных причин, по которой Набоков заменил Алису на Аню: иностранное имя «Алиса» в те годы связывалось прежде всего с императрицей Александрой Федоровной, урожденной принцессой Алисой (Alix) Гессен-Дармштадтской (1872–1918). «Возможно, Набоков хотел избежать упоминания имени несчастной женщины, убитой большевиками в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 г.» В таком случае, Ася, обычное сокращение от Анастасии (Асей в семье звали, например, Анастасию Цветаеву, сестру Марины), может указывать на великую княжну Анастасию Николаевну («принцесса Ася» – дочь «королевы Алисы»). У Лидии Чарской («Волшебная сказка», 1915) есть «княжна Ася Ратмирова». Сомнения Ани в том, не Ася ли она, могут отражать тогдашние слухи о том, что Анастасия осталась в живых.

С другой стороны, Ася, конечно – имя хорошо известной героини Тургенева («Ася», 1858). Любопытно, однако, что тургеневская Ася на самом деле – тоже Аня! Рассказчик у Тургенева (“N.N.”) объясняет: «Собственное имя ее было Анна, но Гагин называл ее Асей, и уж вы позвольте мне ее так называть». Это необычное сокращение от Анны использовала также, явно под влиянием литературной героини, Ася (Анна Алексеевна) Тургенева (1890–1966), внучатая двоюродная племянница И. С. Тургенева и первая жена Андрея Белого.

«Я наверное знаю, что я не Ада… – рассуждает набоковская Аня. – У Ады волосы кончаются длинными кольчиками, а у меня кольчиков вовсе нет; я убеждена также, что я и не Ася, потому что я знаю всякую всячину, она же – ах, она так мало знает!» И действительно, ах: если бы наивные Аси и Лизы тургеневско-кэрролловских времен знали то, что знала их внучка Аня в Берлине 1923 года…

Эта статья была впервые опубликована на английском под названием: Beheading First: on Nabokov’s translation of Carroll. «The Nabokovian», University of Kansas, USA, 2007, 57, pp. 31–37. Перевод автора, с небольшими изменениями и дополнениями. Я сердечно благодарен Дону Бартону Джонсону и Стефену Блэквеллу за их ценные советы.

Литература:

[1] Carroll, L. *Аня в стране чудес. Anya v strane chudes*. Translated from the English by “V. Sirin” (Vladimir Nabokov). Dover Publications, Inc., New York, 1976, 115 pp. (факсимиле первого издания: Л. Карроль. *Аня в стране чудес.* Пер. с англ. В. Сирина с рисунками С. Залшупина. 1923, Берлин: Гамаюн).

[2] Karlinsky, S. Anya in Wonderland: Nabokov’s Russified Lewis Carroll. In: *Nabokov: Criticism, Reminiscences, Translations, and Tributes* (eds. A. Appel, Jr. & C. Newman). Evanston: Northwestern Univ. Press, 1970, pp. 310–315.

[3] Демурова, Н. М. Алиса на других берегах. В кн.: *Кэрролл, Л. Приключения Алисы в стране чудес. – Набоков В. Аня в стране Чудес. Повесть-сказка*. На англ. и русс. яз. М.: Радуга, 1992, С. 7–28.

[4] Флоря, А. «Ангельский язык» В. Сирина. «Алиса в стране чудес» в интерпретации В. В. Набокова. *Альманах переводчика.* М.: Российский Гос. Гуманитарный Ун-т, 2001, С. 50–54.

[5] Weaver, W. *Alice in Many Tongues: the Translations of* “Alice in Wonderland”. Madison: The University of Wisconsin Press, 1964.

[6] Demurova, N. M. Alice speaks Russian: The Russian translations of *Alice’s Advenures in Wonderland* and *Through the Looking-Glass. Harvard Library Bulletin*, 1995, 5(4), pp. 11–29.

[7] Demurova, N. Vladimir Nabokov, translator of Lewis Carroll’s *Alice in Wonderland*. In: *Nabokov at Cornell* (ed. G. Shapiro). Ithaca & London: Cornell Univ. Press, 2003, pp. 182–191.

[8] Толстая, Н. И. Русская сестра Алисы. В кн.: Кэрролл, Л. *Аня в стране чудес.* Перевод В. Набокова. Иркутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1992, С. 112–116.

[9] Connolly, J. W. *Ania v strane chudes*. In: *The Garland Companion to Vladimir Nabokov* (ed. V. Alexandrov). New York & London: Garland, 1995, pp. 18–24.

[10] Vid, N. Domesticated translation: The case of Nabokov’s translation of *Alice’s Adventures in Wonderland*. *Nabokov Online Journal*, 2008, 2, 24 pp. http://etc.dal.ca/noj/volume2/articles/08_Vid.pdf

[11] Вдовенко, И. В. Расположение текста в пространстве культуры. *Науки о культуре – шаг в XXI век*. М., 2000.

[12] Вдовенко, И. В. *Стратегии культурного перевода*. СПб.: Российский ин-т истории искусств, 2007.

[13] Parker, F. *Lewis Carroll in Russia: translations of* Alice in Wonderland*, 1879–1989*. New York: Russian House Ltd., 1994.

[14] Чарычанская, И. В. В чем вольность В. Набокова как переводчика «Приключений Алисы в Стране чудес»? *Вестник Воронежского Гос. Ун-та, Серия “Лингвистика и межкультурная коммуникация*”, 2005, 1, С. 80–83.

[15] Рушайло, А. М. От составителя. В кн: *Льюис Кэрролл. Алиса в Стране чудес. В Зазеркалье. Каталог выставки. Книги и графика из собрания А. М. Рушайло*. М., 1990, С. 7–16.

[16] Антоничева, М. Специфическая модель двоемирия в романе «Приглашение на казнь» В. Набокова и сказке Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес». www.relga.ru, 9 [131], 1 мая 2006

Любовь Качан

ВОННЕГУТ НАЗЫВАЛ ЕЕ ГЕНИЕМ

Воспоминания
о Рите Райт-Ковалевой

(Печатается в сокращении)

Рита Яковлевна – один из бесценных подарков в моей судьбе. Мой духовный родник. Бальзам на мою заморенную, изголодавшуюся, чуть живую душу.

(Запись в дневнике. 16 июня 1982 г.)

Рита Райт (Раиса Яковлевна Райт-Ковалева) – известная переводчица и писательница, блестящий знаток русской и иностранной литературы, автор биографического романа о Роберте Бернсе (серия ЖЗЛ), книги «Человек из Музея человека», воспоминаний о Маяковском, Пастернаке и др. Переводила таких разных писателей, как Твен и Кафка, Голсуорси и Дж.К. Джером, Триоле и Саррот, Г. Белль и Г. Грин, Хемингуэй и Селинджер, Фолкнер и Воннегут, а также, пьесы, например, «Амадеуса» Шехтера; «Дневник Анны Франк» и многое другое. Совет по переводам Колумбийского университета присудил ей премию имени Торнтона Уайлдера.

Мне посчастливилось познакомиться, а потом подружиться, встречаться и переписываться с Ритой Яколевной в течение последних 20 лет её жизни.

Как-то будучи проездом в Москве, жутко простуженная, я зашла к Рите Яковлевне. Она меня уложила, напоила чаем с лимоном и дала читать черновик только что ею переведенного «Амадеуса» Шехтера. Я испытала целую гамму чувств: интереса, удивления, изумления, потрясения, согласия (-чувствия,- переживания) и т.п. Но главное – страстный протест, сопровождаемый постоянно мучающим меня вопросом: почему? Ну, почему человечество во все века уничтожало самых выдающихся своих детей – гениев, творцов?

Рита Яковлевна успокаивала меня и уговаривала остаться: «Ну, куда Вы пойдете такая больная? Вы будете здесь лежать, а я буду за Вами ухаживать, чаем по-английски поить». И объяснила, что чай по-английски – это когда крепкий чай наливают в горячее молоко. Такое сочетание всегда хорошо при простуде.

Когда я все-таки засобиралась уходить, она сказала: «Пишите дневник. Придите домой и напишите: сегодня была у Риты Райт. На ее диванчике, на кухне заливалась слезами, читая «Амадеуса». И добавила: «Я потому сумела кое-что написать, что случайно сохранился мой дневник 18-го года. Причем, после смерти моего первого ребенка я десять лет не писала. Сохранилась запись об этом: все кончено. Жизни нет и т. п. А спустя десять лет: Рита снова живет. Вышла замуж за хорошего парня (Ковалева – это по мужу – Л.К.)».

Я так и сделала, подумав, что ей зачем-то надо, чтобы я сохранила письменную память о ней. И я сохранила. Не все, конечно. И не только из-за отсутствия привычки вести дневник, вечной занятости, лени писать или неорганизованности. Больше из-за крепко вбитого и твердо укоренившегося убеждения, что личные записи никому неизвестных «маленьких людей», и, тем более их мысли, никому не нужны. А писать для своего собственного удовольствия – непозволительная роскошь!

Я благодарна Рите Яковлевне и за то, что научилась себе это позволять, и за радость теперь перечитывать написанное, и за возможность поделиться с другими радостью общения с ней.

ЕЁ ПЕРЕВОДЫ, ПОРОЙ, ПРЕВОСХОДЯТ ОРИГИНАЛ

Рита Яковлевна с детства знала несколько языков. И несмотря на то, что она закончила медицинский институт и работала в Институте экспериментальной медицины у академика Ивана

Петровича Павлова, ее тянуло к переводческой работе.

Она переводила с английского, французского, немецкого. Переводила Барбюса для первого номера «Огонька», Синклера Льюиса для второго номера «Лефа» и «…непрестанно удивлялась, что за такое удовольствие, за такую честь – еще платят деньги».

Еще до встречи с Маяковским в «Окнах Роста» в 1920 году, Рита Яковлевна пыталась переводить его стихи на немецкий язык. И когда впоследствии он предложил ей перевести «Мистерию-Буфф» для делегатов III Конгресса Коминтерна, она с радостью согласилась. И очень гордилась, что ее труд не прошел бесследно. Однажды, сняв с моей книжной полки 13-й том Маяковского, она открыла его на ссылке Рита Райт в именном указателе и сказала: «Вот где мое бессмертие!».

Переводила она и с других языков. Например, с болгарского перевела роман «Несчастная семья» митрополита Паисия Хилендарского, писавшего под псевдонимом Васил Друмев. По этому поводу Самуил Яковлевич Маршак пошутил: «Перевели вы славно, Рита, болгарского митрополита. Теперь с родного языка переводите Маршака». Маршак в это время переводил сонеты Шекспира и лирику Бернса и частенько просил Риту Яковлевну сверить его переводы с оригиналом.

Один известный литературный критик (кажется, Эткинд) считал, что читатель подлинника отличается от читателя перевода, как червяк, сидящий в яблоке, от червяка, сидящего в редьке. Но тот, кто в редьке, не знает, что в яблоке слаще. В целом, видимо, так оно и есть. Не имея возможности читать подлинники, мы вынуждены довольствоваться переводами, сделавшими сокровища мировой культуры доступными для иноязычного читателя.

Однако, исторически сложилось так, что русскому читателю посчастливилось (как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло») быть избалованным переводами, сделанными великими и просто талантливыми писателями и поэтами в предыдущие века и в не столь далекие времена. Лишенные по тем или иным причинам возможности печататься, они искали творческую отдушину в переводах и «озвучивали» своими голосами тех, кто зачастую и не заслуживал такой высокой чести.

Эти переводы становились как бы уже равновеликими и равноправными представителями русской литературы и культуры. Причем, настолько равноправными, что о переводчиках порой и вообще забывали. И это несправедливо. Читающей публике не надо объяснять, как много зависит от переводчика. Тот, кто читал различные варианты переводов одного и того же автора, знает, что это совершенно разные произведения. А тот, кто имел возможность сравнить их с подлинником, отмечает, что порой они даже превосходят оригинал. Именно таким переводчиком была Рита Яковлевна. Во всяком случае, те, кто прочитали после нее Сэлинджера и Воннегута в подлиннике, испытали даже некоторое разочарование.

ДЖ. СЭЛИНДЖЕР

«Никогда ни о ком не рассказывайте.
А то расскажете – и начнете тосковать о них».

Дж.Сэлинджер, «Над пропастью во ржи»

Тоска поселяется в сердце, когда ты теряешь дорогого и близкого тебе человека. Когда ты о нем рассказываешь, то, конечно, тоскуешь. Но он при этом как бы продолжает жить: не только в твоем сердце, но и в пямяти других. Как говорил любимый Ритой Яковлевной и мною В.В. Маяковский: «Больно?/Пусть!/ Живешь,/ и болью дорожась».

В жизнь моего поколения буквально ворвалась серенькая книжечка с тщедушным подростком на обложке, в которой кроме одного из самых известных и значительных романов американского писателя Дж. Селинджера – «Над пропастью во ржи» было еще несколько не менее известных рассказов (Издательство ЦК ВЛКСМ, «Молодая гвардия», 1965).

В те времена хорошие книги были большим дефицитом. Сейчас это даже трудно представить, но чтобы получить право (только право!) участво-

вать в розыгрыше на какие-нибудь двадцать экземпляров подписного издания, выделенные книжному магазину, нужно было долго и нудно, еженедельно, в любую погоду ходить на «перекличку». И унизительно радоваться, когда инициаторы самодельных списков вычеркивали стоящего впереди, опоздавшего или не явившегося.

Я в такие игры никогда не играла. Зато каждую попавшую в мои руки хорошую книгу воспринимала как подарок судьбы. Именно такой была книжка Сэлинджера, которую, спустя пару лет после опубликования мне посчастливилось купить в каком-то богом забытом селе во время летнего шастания с рюкзаком по округе (был такой способ добывания книг). Открыв ее на привале, я и не подозревала, какой необыкновенный этап в моей жизни она начнет.

Воспитанная на литературе, учившей делить мир только на белое и черное, предлагавшей без всяких умственных усилий распознавать, что хорошо, а что плохо и оценивающей людей только по приносимой ими обществу «пользе», я с изумлением открывала совершенно новый мир, абсолютно не похожий на тот, в котором жила. Да, в том мире продается почти все, даже девочка с «худыми-худыми плечами». Да, человека там опутывает реклама, ему непрерывно что-то предлагают, его чем-то соблазняют и за деньги готовы помочь в чем угодно. Но читая Сэлинджера, я меньше всего думала об этом. Меня потрясло, как серьезно и внимательно незнакомый мне автор относится к душам своих персонажей, таких «неполезных», незадачливых и более чем обыкновенных. С какой бережностью он передает все нюансы их переживаний. Как тонко и ненавязчиво, с грустью или юмором, помогает читателю разделить с ними их беды и радости, увидеть то настоящее, что помогает им жить. Как «он очень точно знает, что существенно и что несущественно в человеке, в его мыслях, его делах» (Р. Райт).

Так я познакомилась с безумно интересным внутренним миром Холдена Колфилда и других персонажей Селинжера. Эта книга буквально перевернула все мое устоявшееся сознание. Я носила ее в своем рюкзаке и читала друзьям на каждой стоянке нашего летнего похода «по морям» (Черное, Каспийское, Аральское). Я полюбила и автора, и переводчицу. Но даже представить себе не могла, что когда-нибудь увижу ее. И вдруг (как я люблю эти «вдруг»!), спустя пару месяцев, у меня дома раздается звонок: «У нас сегодня вечером будет Райт-Ковалева. Не хотите ли прийти?»

В доме друзей, Светы Рожновой и Геры Безносова, собралась небольшая, но очень теплая компания. Для меня, впрочем, никого кроме главной гостьи не существовало. Я запомнила, пожалуй, еще только Сашу Дольского, тогда еще совсем юного. Он и мы с моей подругой Галей Ивановой пели, сменяя друг друга, свои песни. Так, в разговорах и песнях, в теплой и непринужденной атмосфере незаметно прошел вечер.

Я не была фанатом и не собирала автографы, но когда жизнь дарила мне радость встречи с авторами любимых книжек в домашней обстановке, мне хотелось сохранить навсегда память об этом. Есть у меня книги, позднее надписанные Фазилем Искандером, Феликсом Кривиным, Натаном Эдельманом. И, конечно, Ритой Яковлевной. Вот и в тот вечер я получила первый в жизни автограф в свой, уже порядком потрепанный, томик Сэлинджера: «Любочке, в чудесный вечер 9 октября 1967 г. От переводчика этой книги – сердечно. Рита Райт». Так началась наша дружба. Это был первый ее приезд в Академгородок.

АКАДЕМГОРОДОК

Академгородок – городок-невелик.
Не велик золотник, да дорог.
В.Свиньин

«От московской суеты сует» Рита Яковлевна очень любила отдыхать в почти пасторальной обстановке Академгородка. Расположенный в 30 км от Новосибирска в лесу, на берегу Обского моря, он был прекрасным местом

не только для работы, но и для отдыха. Очень солнечное, жаркое лето, прекрасный пляж, не менее «населенный», чем сочинский, все виды водного спорта, лес, грибы.. Райский уголок! Если бы еще не комары, энцефалитные клещи и гнус… Но как говорил мудрый Лис из "Маленького Принца", – "Нет в мире совершенства!" Тем не менее, многие предпочитали Академгородок югу и приезжали провести свой отпуск у родственников и друзей. А друзей там всегда и у всех было много.

Много их было после первого же приезда и у Риты Яковлевны. Одним из ее «дружочков» стала и моя дочь Ирина, которая была влюблена в нее, впрочем, как и все мы. Рита Яковлевна так просто и увлекательно рассказывала обо всех, с кем ей довелось встречаться на протяжении своей долгой жизни, что вокруг нее всегда была толпа желающих послушать и задать вопросы.

ЮРИЙ БОРИСОВИЧ РУМЕР

В городок Рита Яковлевна, обычно, приезжала по приглашению, с лекциями, и расписание у нее было довольно загруженным. Спасаясь от желающих ее заполучить в свободное от лекций время, она часто «сбегала» из гостиницы ко мне, а дальше разыгрывался целый спектакль.

Я как бы была ее личным секретарем и, как только разговор начинался с вопроса: «А не могли бы Вы…», она поварачивалась ко мне: «Любочка, как там у нас со временем? Есть ли какая-нибудь возможность?» Тут я должна была якобы заглянуть в ее расписание и отказать, предварительно взяв телефон, – для ответа.

Истины ради надо сказать, что рано или поздно такая возможность изыскивалась, и Рита Яковлевна шла либо в мушкетерский клуб «Виктория», либо в физико-математическую школу, либо на заседание круглого стола в Институт ядерной физики, либо еще куда-нибудь.

С физиками у нее были особо теплые отношения из-за многолетней, еще с молодости, дружбы с Юрием Борисовичем Румером.

Юрий Борисович Румер был яркой личностью и очень обаятельным человеком. Некоторое время он работал в знаменитой лаборатории в Геттингене с ведущими физиками мира. Вернувшись, сотрудничал с Ландау. До тех пор пока его не посадили, как и всех, кто имел хоть какие-то связи с заграницей.

За колючей проволокой подобралась «неплохая компания», из которой была сформирована «шарашка» (НИИ в «зоне») во главе с Туполевым. Это спасло от смерти не только Ю.Б.Румера, но и многих других талантливых ученых и, в частности, Королева, которого Туполев взял к себе. (Впоследствии Королев организовал собственную «шарашку»).

Из заключения Румер вернулся с подорванным здоровьем. Работал в Новосибирске. Рита Яковлевна называла его Румом или Румиком, очень трогательно о нем заботилась и, приезжая в городок, всегда «таскала» его за собой, что, порой, было для него довольно утомительным.

Помню такой забавный случай. Они с Юрием Борисовичем пришли к нам. Было шумное и веселое застолье, в котором неутомимо царила Рита Яковлевна. Засиделись за полночь. Притомившийся Юрий Борисович подремывал в кресле. В какой-то момент он приоткрыл глаза: «Я удивляюсь тебе, Риточка, ведь ты старше меня». На что Рита Яковлевна шутливо-сердито возмутилась: «Вот так всегда. Обязательно ему надо подчеркнуть, что я старше. А я старше-то всего на четыре года».

В письмах она всегда спрашивала о нем, особенно, когда здоровье его ухудшилось: «Хочу, чтобы Вы зашли к Руму – и написали мне ПОДРОБНЫЙ ДОКЛАД – как он, что с ним, мы (она и Аля, о которой Ю.Б. сказал мне однажды: «C'etait ma grande passion!» – «Это была моя большая страсть!» – Л.К.) немного встревожены его молчанием…»

Я охотно выполняла ее поручения. Мы были очень дружны с женой Румера – Ольгой Кузминичной и дочерью Танечкой. А с Ю.Б. было всегда так интересно. В одно из моих посещений он подарил мне тоненькую брошюрку – перепечатанную на

машинке и переплетенную копию воспоминаний Лили Брик о Маяковском («Щен», 1942, Молотов гиз).

Румер был двоюродным братом Осипа Брика, хорошо знал Лилю и, так же, как и Рита Яковлевна, горячо любил Маяковского.

МАЯКОВСКИЙ

В том, что умираю, не вините никого
и, пожалуйста, не сплетничайте.
Покойник этого ужасно не любил.
Из предсмертной записки

Еще до встречи с Маяковским в «Окнах Роста» в 1920 Рита Яковлевна пыталась переводить его стихи на немецкий язык. И когда позже, узнав об этом, он предложил ей перевести «Мистерию-Буфф» для делегатов III Конгресса Коминтерна, она с радостью согласилась. И очень гордилась, что этот ее труд не прошел бесследно. Однажды, сняв с моей книжной полки 13-й том Маяковского, она отыскала свою фамилию в именном указателе и сказала: «Вот где мое бессмертие!».

В течение десяти лет, до самой гибели Маяковского, она находилась рядом с ним и Бриками, Лилей и Осипом. Своими рассказами о них она для меня многое прояснила. Благодаря ей я стала лучше относиться лучше к его музе, Лиле Брик.

Сейчас кто только и как только не пишет о ней. Самый легкий и дешевый способ прославиться – оболгать низкопробными вымыслами и толкованиями знаменитость. Увы, многие этим балуются. Но хорошо, что можно почитать и первоисточники – воспоминания тех, кто знают правду.

Давно опубликованы воспоминания Риты Яковлевны. Много позже – Василия Абгаровича и Василия Васильевича Катанянов, мужа и «пасынка» Лили Юрьевны. В 2000 году (Москва. *Изд.Эллис Лак*) была опубликована многолетняя переписка Лили Брик с её младшей сестрой – Эльзой Триоле.

И наконец через четверть века после смерти Лили Брик, были опубликованы её воспоминания (Лиля Брик. Пристрастные рассказы. *Нижний Новгород. Деком.2003*).

Но тогда, вскоре после смерти Маяковского, началась и до самой смерти Лили Юрьевны продолжалась оголтелая кампания травли, доходившая до абсурда в своем стремлении всеми правдами, а чаще неправдами, снизить роль «жидов» Бриков в жизни поэта.

Мне не раз доводилось видеть и слышать, как яростно и неутомимо маленькая, хрупкая и уже очень немолодая Рита Яковлевна защищала их всех своим тонким «детским» голоском. Она просто закипала, рассказывая о редакторе и авторе безобразной, хулиганской (ее характеристики – Л.К.) вступительной статьи к шеститомному изданию Маяковского (Изд. «Молодая гвардия») или о музее, в котором его продолжали убивать.

Я видела эту тенденциозную экспозицию, где умудрились ни разу не упомянуть имя музы поэта, тщательно вымарав не только все посвящения ей, но и убрав ее облик с фотографий, где она была снята вместе с поэтом. Зато там доминировали огромный (во весь рост) портрет Татьяны Яковлевой с дочкой на руках и стихотворение, посвященное ей.

Из письма (Голицино. 4 августа 1973 г.):
«Радостью в юбилейном гаме и гуле о Маяковском была для меня моя маленькая статейка в №7 “Юности” – я ее написала за полчаса, в Дубултах, по просьбе В.Ф.Огнева, случайно вспомнившего обо мне, т.к. мы сидели за одним столиком !!! И я рада, что ничего не выкинули и что я смогла фигурально дать по морде “дошлым гетеведам”, которые “при жизни не осмелились бы..” Боюсь, что маяковеды меня возненавидят еще пуще, но Лиличка была бы ОЧЕНЬ РАДА – а мне только этого и хотелось…».

Рита Яковлевна всегда оставалась верна им и себе. Я запомнила нашу беседу за год до ее смерти, когда Рита Яковлевна сказала о строчке из письма Анны Ахматовой: «…салон Бриков планомерно боролся со мной, выдвинув слегка припахивающее доносом обвинение во внутренней эмиграции»: «Это очень плохо и печально,

потому что никто с ней не боролся. Этого не было. Это очень неправильно и несправедливо!»

БОРИС ВИЛЬДЕ

О Борисе Вильде, бежавшем от советской действительности во Францию и ставшем там одним из организаторов и героев Французского сопротивления, Рита Яковлевна написала сначала пьесу, потом опубликовала журнальный вариант книги «Человек из музея человека», а позднее доработала и выпустила книгу в серии ЖЗЛ.

Материал для книги она собирала буквально по крупицам, годами. Встречалась и переписывалась со многими людьми, знавшими героя книги – Бориса Вильде, русского лингвиста и этнографа, героя французского сопротивления, награжденного в мае 1985 года орденом Отечественной войны 1 степени (посмертно). Вильде и его подпольная группа были схвачены гестаповцами и казнены. Его именем названа улица в Париже.

Москва. 2 июня 1972 г.
Получила дивное письмо от Эвелины, ее дневник и ДНЕВНИК БОРИСА ВИЛЬДЕ – ИЗ ТЮРЬМЫ… Невероятно… Как будто вдруг я снова услышала голос, знакомый мне по Диалогу – и заговорил он о самом своем сокровенном… Ревела я, как маленькая…

Голицыно. 13 августа 1972 г.
За это время много напереводила всяких дневников, документов, статей – для книги. Но увы! – моя «Звезда», приславшая договор мне на подпись, обратно его НЕ ПРИСЛАЛА – что-то там заколодило…

Сентябрь 1972 . Москва
Съездила в Париж на 6 недель райской жизни, очень много сделала, привезла всякие интересные книги, материалы по биографии Бориса Вильде, пластинки и т.д.
Москва (без даты, после 1979 года):
Я собираюсь на месяц в Прибалтику – писать книгу (вернее дописывать журнальный вариант «Человека из Музея человека»). Заключила договор с «Советским писателем» – после трехлетней канители. Договор отличный, авансовый, так что я могу поехать в Дубулты и там отдохнуть от московской суеты сует…

КУРТ ВОННЕГУТ

> «Если вы обнаружите, что ваша жизнь переплелась с жизнью чужого человека, без особых на то причин, – пишет Боконон, – этот человек, скорее всего, член вашего карасса».
> (Курт Воннегут, «Колыбель для кошки»)

«Когда я прочитала "Колыбель для кошки", – говорила Рита Яковлевна, – то поняла, что Воннегут – очень добрый и застенчивый человек. Таким он и оказался на самом деле».

«Колыбель для кошки» (*Cat's Cradle*) в переводе Риты Яковлевны вышла в 1970 году (*М., «Молодая Гвардия»*).Эта карманного формата книжечка в бумажной розово-черной обложке была, практически, первым серьезным знакомством русского читателя с творчеством одного из самых интересных современных американских авторов ¬ Куртом Воннегутом.

«Колыбель для кошки» была первой книжкой Воннегута, которую она подарила мне: «Моей милой Любочке, – с окрепшей и возросшей любовью, – с благодарностью за все доброе и светлое, которое от нее шло ко мне… Рита Райт. 24 мая 1972 г. [Третий приезд…Весна…]»

Эта удивительно человечная и добрая книга сразу стала и до сих пор остается одной из моих любимых книг Воннегута.

И подобно Ионе из «Колыбели для кошки», теперь я тоже – бокононист. Я могла бы им стать и раньше, «если бы кто-нибудь преподал мне кисло-сладкую ложь Боконона». Ведь до книжки я только догадывалась о закономерности случайностей, а, прочитав, уже почти поверила, что случается только то, что должно случиться, как сказал бы Боконон.

Целая цепь «случайностей», которые привели меня в Америку, лишний раз подтвердила это.

И почти по Боконону произошла встреча Риты Яковлевны с Воннегутом. Конечно, она очень хотела встретиться с ним, но долгое время это не удавалось.

Москва. Вторник. 30 мая 1972 г.
Из Америки – смешное письмо от моего приятеля-сэленжериста: я просила его узнать – приедет ли Воннегут, он ему написал, а Воннегутик прислал этому Дону телеграмму: «Наверное, никогда не попаду в Россию – не зовут. Ваше чудесное письмо заставило меня влюбиться в Риту (your excellent letter made me fall in love with Rita).
Вот – видали???!?!?
Надеюсь, мой Дон написал, что «Рите» уже не двадцать лет…
Но знаю, что он написал про переводы и про мой неугомонный характер…

Голицино. 4 августа 1972 г.
Читаю всякие английские романы, американскую книгу моего милого Воннегута «Завтрак для чемпионов» – и не знаю, что буду переводить, когда кончу Вильде. Воннегута вряд ли разрешат…

Голицыно. 13 августа 72 г. Первый прохладный день.
Дача у нас огромная, прохладная, хорошая, но – что-то мне мало работается: голова «сочинять» не может, хотя перевожу много.
Кстати, в «Просторе» – три рассказика Воннегута – но редакция мне прислала ДВА (2!!!) экз., так что и «Простор» хватайте!!! (№5.1972 г).

-о-о-о-о-о-о-
Теперь – тайные новости: мои бумаги уже вернулись из одной – важной инстанции, пошли в МИД – насчет нового загранпаспорта – и на франц. визу. Не знаю, что будет, но меня все «обнадеживают». Хотя я и не верю в такое счастье, но все же написала друзьям в Париж, что если все выйдет, то я в сентябре попробую прилететь.… В ответ – чудесные письма, ждут, приготовили комнату, пишут всякие слова.… Теперь остается только одно – ПОЛЕТЕТЬ ТУДА!

В Париж ее пригласила французская писательница Натали Саррот, книгу которой «Золотые плоды» она в то время переводила. Там она и встретилась впервые с Воннегутом.

Москва. Сентябрь 1972
Ко мне в Париж прилетал из Англии на 2 дня Курт Воннегут. Он прелесть и пишет мне дивные письма…Но про это лично (весной!!!.)

К счастью, Воннегута не сразу, но, все-таки, «разрешили». Книга вышла в 1978 году (М., «Худ. лит»). Кроме «Завтрака для чемпионов», там еще были «Бойня номер пять», «Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер» и «Колыбель для кошки».

Книгу, как обычно, невозможно было достать. И только через год, когда Рита Яковлевна в очередной раз приехала в Академгородок, нам удалось (по специальному звонку!) лично для нее достать пять экземпляров из каких-то там фондов. В самый последний момент я привезла их прямо в Аэропорт, где она тут же одну мне надписала: «Любочке, другу и помощнику – с любовью – от переводчицы и – по доверенности! – от автора, Курта Воннегута. Рита Райт. 6. VI. 79 г. Аэропорт!”

Больше Рита Яковлевна в городок не приезжала. Все-таки ей было уже за восемьдесят.

Я нежно и искренне любила ее и не пропускала ни одной оказии, чтобы повидать ее или передать весточку и какой-нибудь сибирский гостинец: кедровые орешки и шишки, облепиховый сок … Все мои друзья перебывали у нее, а те, которые жили в Москве, всячески старались облегчить ей быт. Даже в свой родной Ленинград (теперь Санкт-Петербург или, в обиходе, Питер) я ездила через Москву. А в перерывах между все-таки редкими встречами (не ближний свет!) были взаимные знаки внимания с оказией, телеграммы, записочки, телефонные звонки, письма.

ГОЛИЦЫНО

В последние годы Рита Яковлевна любила отдыхать и работать в Доме творчества в Голицыно. Каждый раз, бывая в Москве, даже очень короткое время, я обязательно навещала ее там. Однажды за обеденным столом в Голицино я стала свидетельницей того, как она и её давняя подруга Аля (та, о которой говорил мне Румер) заспорили между собой, настаивая каждая на своей версии, кто в кого был сильнее влюблен. Видимо, эти воспоминания грели их души. И вполне возможно, что многое в этих воспоминаниях несколько преувеличено.

Последний раз я была в Голицино 4 октября 1987 года. Мы провели с Ритой Яковлевной чудесный день вместе. Она была по-прежнему неугомонной. Предлагала познакомить меня с Анастасией Цветаевой, которая жила рядом с ней. Впрочем, она, по-моему, недолюбливала Анастасию Ивановну за её обывательские суждения о Марине. Вроде такого: «Марина была очень упряма... Она хотела, чтобы её читали те, кто не читал, любили те, кто не любил, признавали те, кто не признавал». Или: «Марина – стремительная и бурная река, которая сметает всё на своем пути, а я – тихое, спокойное течение».

Я была совершенно солидарна с Ритой Яковлевной. У меня неприязнь к младшей сестре возникла после прочтения её воспоминаний о старшей, которые я, прочитав, немедленно убрала из своего дома. Я и вообще-то не люблю читать о поэтах. Предпочитаю читать их самих. Там всё уже сказано, без всяких искажений и толкований. Наша же с Ритой Яковлевной пристрастность была следствием нашей верной и страстной любви к Марине. Рита Яковлевна говорила о ней: «Это был человек страшной и страстной фантазии».

На мое: «Тяжек путь русского поэта, да и не только», – она наизусть прочла:

С каждым днем всё тише и всё глуше
Знойный ветер дни и свечи тушит.
Ни присесть, ни выпить, ни вздохнуть.
Горек жребий русского поэта.
Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского – на эшафот.
Может быть, и я такой же жребий выну,
Горькая детоубийца – Русь.
И в тиши твоих подвалов сгину
Иль в кровавой луже поскользнусь.
Но твои заветы не отрину,
От тебя вовек не отрекусь.(...) (М. Волошин)[1]

Я отказалась от встречи с этой, заслуживающей, если не любви, то самого искреннего и глубокого уважения женщиной, хотя бы за её долгожительство и умение, в отличие от старшей сестры, сопротивлятся жизненным обстоятельстам и побеждать их.

Мне просто хотелось подольше побыть с Ритой Яковлевной, не терять ни одной минуты из нашей беседы. Несмотря на весьма преклонный возраст, память у нее была прекрасная.

Рита Яковлевна рассказала о встрече в Гурзуфе с Ковалевым, который стал её мужем, и о многом другом. Она уехала с мужем во Владивосток и там родила свою единственную дочь Маргариту.

Письма Риты Яковлевны стоят того, чтобы их опубликовать отдельно, настолько они информативны, эмоционально содержательны и просто по-человечески интересны. Она писала мне о своих творческих планах и текущей работе, радостях и огорчениях, поездках и выступлениях. Рассказывала о своих друзьях и расспрашивала обо всех, с кем подружилась и кого полюбила в Академгородке.

Я не знаю, почему она выбрала для переписки меня, хотя была этому несказанно рада. Но она обязательно через меня передавала всем приветы, подробно перечисляя каждого. Рита Яковлевна была очень милым и добрым, необыкновенно интересным и обаятельным человеком, доброжелательным, но не терпящим лжи и фальши, верным и заботливым другом.

---

[1] Возможно, Р. Райт-Ковалева цитирует это стихотворение не совсем точно. – (Прим. ред.)

Анатолий Заславский

ТРИ ХУДОЖНИЦЫ

"...существует такой проект "Gallery21". В зале «Самовар» на протяжении трех лет (чуть больше) выставляются художники, в большинстве своем из Петербурга, но и местные тоже. Вот такое хорошее дело делается. Эти выставки становятся все более популярными в долине."

Из письма Нади Виноградовой.

Три художницы родом из Санкт-Петербурга волею судеб оказались – и познакомились – в Америке. Между ними не могла не завязаться дружба: все они сформировались как живописцы в художественной среде Петербурга, бывшего Ленинграда, где в то время возникали самые разные направления в живописи, сложившиеся в специфическую ленинградскую школу. Одним из направлений этой школы была реалистическая живопись, основанная на достижениях авангардистов 10-20-х годов 20-го века в области формы.

НАДЯ ВИНОГРАДОВА пришла в живопись из науки — физики. Пройдя сначала школу американского фотореализма, она стала заниматься у Михаила Петренко, ленинградского художника, преподававшего экспрессивный реализм. Потом — у Анатолия Заславского, учившего понимать картину как композицию на плоскости и использовать цвет, тон, жест в качестве главных составляющих этой композиции. Эстетика Заславского основывается на достижениях известной ленинградской группы "Круг художников", образовавшейся в конце 20-х годов прошлого века. Изображая живую реальность, эти художники подчиняли ее несокрушимым законам построения картины на плоскости. Затем Надя училась у Бориса Борща, яркого, темпераментного живописца. В своем творчестве Борис наследовал открытиям, сделанным в живописи после "Круга художников" поколением живописцев. Это был так называемый "Круг Арефьева". "Арефьевцы" развивали реалистический метод "Круга художников", сильно заостряя компоненты их живописи, как в пластическом, так и в социальном отношениях.

Живописные идеи, идущие от "Круга" и "Арефьевцев" нашли в Наде Виноградовой своего продолжателя, поскольку ее исключительная внимательность к индивидуальным характерам людей в портретах и чуткое переживание природы, ей свойственное, очень нуждались в грамотном воплощении этого содержания на плоскости.

МАРИНА МОЖАЕВА училась искусству в ленинградском Дворце пионеров у легендарного педагога Соломона Левина. Он выучил изобразительному искусству многих живописцев и многим, даже из тех, кто не стал потом художником, привил чувство живой соразмерности. Мне кажется, что мировосприятие ребенка, которое чутко оберегал Соломон Левин в своих учениках, осталось на всю жизнь у Марины. Художница воспроизводит живое сиюминутное событие, которое происходит здесь и сейчас, как самое важное в жизни. Такая редкая готовность увидеть и, ничего не выдумывая, изобразить то, что происходит вокруг в данный момент, и тех людей, которые рядом, говорит о внутреннем покое и мудром мировосприятии. Ее внимательное переживание зримого мира сопровождается большим интересом к изобразительным материалам.

Каждый новый материал создает новый оттенок в переживании природы. Природа подчиняется чувству материала, свойственному художнице. Масляная краска, гуашь, акварель, акварель с карандашом, монотипия – все эти материалы так или иначе подчеркивают нюансы мировосприятия, миропонимания, *миропринятия*. Особый интерес вызывает у Марины техника коллажа. Его декоративные свойства в сочетании с обостренным чувством натуры, свойственным художнику, рождают выразительные и остроумные пластические решения.

ИННА ТАЛАНТОВА училась в Педагогическом институте им. Герцена на художественно-графическом отделении. Там едва ли можно было получить глубокие знания в области техники создания картин, но Инна попала в среду художников, приобщивших ее к подлинной живописи. Владимир Яшке стал ее близким другом и учителем, и она быстро поднялась на очень высокую ступень в тогдашней живописной школе Ленинграда. Причина в том, что Яшке закончил Московский Полиграфический институт, который образовался на основе расформированного ВХУТЕИНА, где когда-то преподавали выдающиеся мастера и мудрые исследователи художественного творчества: Фаворский, Бруни, Истомин. Яшке проникся духом сохранившейся там среды. В его творчестве соединились великая традиция московской живописи и эстетические предпочтения ленинградской группы «Митьки», наследовавшей традициям Арефьевского круга. С этой группой Яшке стал выставляться. Таким образом Инна оказалась в самом центре Ленинграда живописцев. Для ленинградского периода ее творчества характерна яркая свежая живопись с интонацией нежного женского лиризма. Сейчас, в Америке, Инна Талантова стала совсем иной жудожницей. То ли природа Калифорнии на нее влияет, то ли созревание ее собственной художественной индивидуальности привело к новому результату, только рождение нового художника совершенно очевидно. Никаких следов от влияния Яшке не осталось, и ничего общего с «Митьками» не наблюдается. Живопись Инны Талантовой стала сдержанней в цвете и вместе с тем более архитектоничной, ближе к Сезанну, хотя подвижность крон деревьев, стволов, ветвей, да и самих воздушных масс возле океана заставляет кисть художника совершать головокружительные движения на плоскости холста. Удивительная смесь мощного темпераментного жеста и конструктивность объемных масс привели Инну к созданию живописи монументальной и серьезной.

Эти три художницы, такие непохожие, на недавней выставке в «Самоваре», в «Галерее 21», явили зрителям разные лики живописи Санкт-Петербурга. «Живописный десант» из Петербурга уже привычен для «Самовара» и его хозяина Саши Альшванга. Здесь не в первый раз выставляются Надя Виноградова и Инна Талантова, время от времени приезжает с выставкой Миша Шапиро, показывали свои работы Борис Борщ, Анатолий Заславский, Оксана Петрова, и, наконец, здесь можно было увидеть Петровича с его милыми картинками. Надо сказать, что возникновение ленинградской живописной школы вслед беспредметной живописи 20-х — 30-х годов (Малевич, Кандинский и др.) сравнимо с явлением калифорнийской живописи 60-х — 70-х годов вслед триумфу абстрактного американского искусства. Эта калифорнийская живопись очень близка нашим героиням, так что в Калифорнии они чувствуют себя комфортно.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Надежда Виноградова. *Мама.*
Масло. 12x9

Надежда Виноградова.
Владимир Гандельсман.
Масло. 24x18

Надежда Виноградова.
Валера Черешня.
Масло. 26x18

Надежда Виноградова. *Pescadero beach.*
Масло.11x14

Марина Можаева. *Ручей.*
Масло, угольный карандаш. 11х14

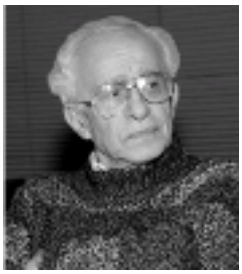
Марина Можаева. *Старая женщина.* Media.16х11

Инна Талантова. *Шторм.* Масло 24х28

Инна Талантова. *Купание*. Масло.14х11

Инна Талантова. *Белые камелии*. Масло.14х11

Инна Талантова. *Глядящая*. Масло.11х14



Борис Бернштейн

ЯВЛЕНИЕ НОВОГО ЗРИТЕЛЯ*

Редакция рада собщить, что опубликованные впервые в пяти выпусках нашего альманаха "Беседы о зрителе" Б.М.Бернштейна, сведенные в единый текст, приняты издательством имени Н.И.Новикова в Санкт-Петербурге, Россия. Издательство, опубликовавшее ранее книги того же автора: "Бебеля, 12", "Старый колодец", "Об искусстве и искусствознании", планирует выпустить новый труд любимого нами автора в виде элегантной книги с иллюстрациями летом или осенью 2015 года.

ЖЕНА НА ЯРМАРКЕ

Карель ван Мандер, бесценный, хоть и не всегда достоверный биограф художников Северного Возрождения, оставил, среди прочих, коротенькое сообщение о мастере Яне Голландце из Антверпена. Два небольших абзаца посвящены персоне художника и его живописи. А дальше следует любопытное жизненное дополнение:

«Жена его разъезжала по ярмаркам Брабанта и Фландрии и решительно заполняла все рынки картинами, чем и зарабатывала большие деньги, так что Ян, хоть и оставался дома, но, не имея нужды, работал не особенно много. Впрочем, его пейзажи не уступают никаким другим произведениям того времени». [1]

Придирчивый читатель может заметить, что в этой истории содержится явное противоречие: каким образом жена художника заполняла все рынки картинами, если муж, живописец, производитель этих картин, «работал не особенно много»? Может быть, она торговала не только его картинами?

Нетрудно предположить, что это сообщение относится к разряду ходячих бытовых анекдотов, которыми любил украшать свои повествования ван Мандер, равно как и его предшественник – сам Джорджо Вазари. Особенно – если вспомнить, что его персонаж (которого на самом деле звали Ян ван Амстель) покинул этот мир в 1542 году, за шесть лет до того, как Карель ван Мандер в этот мир явился. Писал же ван Мандер свою знаменитую книгу полвека спустя после смерти Яна Голландца. Откуда ему было знать, как живописец Ян сбывал свои картины?

Впрочем, не исключено, что ван Мандер получил эту историю из рук надежного свидетеля. Вдова Яна ван Амстеля – та самая, которая якобы торговала картинами на рынках, – спустя несколько лет после смерти мужа вторично вышла замуж. Сын ее от второго брака, Гилис Конингслоо, почти ровесник ван Мандера, тоже стал известным живописцем; историю о торговле картинами ван Мандер мог слышать от него или его коллег, у которых добывал нужные сведения. Подобная гипотеза выглядит вполне правдоподобной.

Так или иначе, а рассказ ван Мандера заслуживает внимания. Примечательна сама интонация повествователя: он говорит о занятиях жены художника так, словно сбыт живописи на ярмарках – сам по себе – был делом обыденным. Особенность случая ван Амстеля – всего лишь в том, что бизнесом занималась жена, тогда как художник прохлаждался дома. Интересно было бы понять, для какого времени продажа картин на базарах стала обыденным делом – для времени Амстеля или для времени Мандера: в XVI веке культурное время стало двигаться быстро; разница в полсотни лет тоже значима. Если даже речь идёт о времени повествователя, он предлагает нам драгоценное свидетельство. Ибо способ распространения живописи через рынок – грандиозный, поистине геологический сдвиг в истории создания и потребления живописных произведений, знак наступления другой эры. Чтобы оценить его масштаб, следует представить себе некоторые черты эры уходящей.

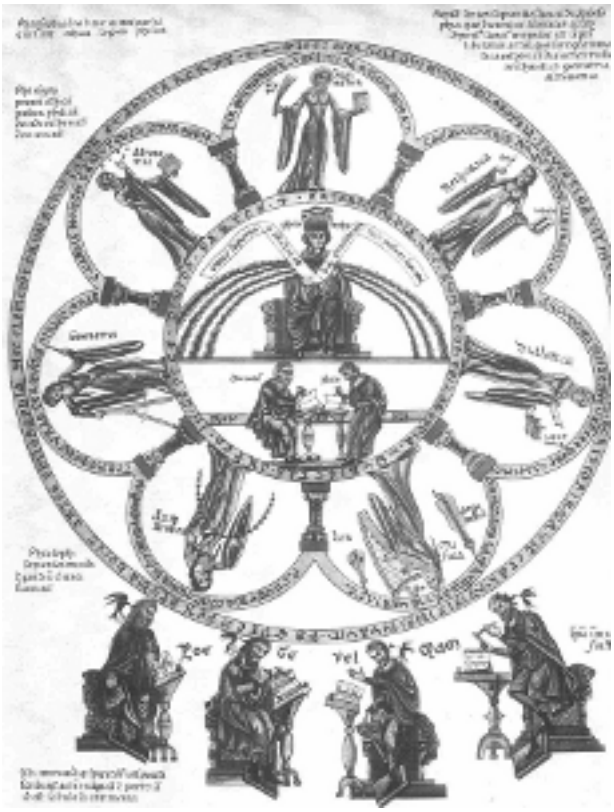
ХУДОЖНИК, ЗНАЙ СВОЕ МЕСТО!

В нашем сознании слово «художник» легко ассоциируется со словом «свободный». Что бы ни означала эта связка сегодня, мы должны забыть о ней, когда воображаем себе средневекового мастера. Средние века прекрасно освоились с понятием «свободных искусств», унаследованным от классической античности; в средневековой учености их насчитывалось семь и они сохраняли латинское название: septem artes liberales.

---

* Продолжение. См. Б.Бернштейн. Разговоры о зрителе. – ОЖ-2011, Другие смотрящие. – ОЖ-2012, Другое начало. – ОЖ-2013.

[1] Карель ван Мандер. Книга о художниках. Москва-Ленинград. Искусство, 1940. С. 91.



Семь свободных искусств. *Миниатюра из рукописи XII века: Herrad von Landsberg. Hortus deliciarium*

В согласии с твердо отстоявшейся формулой туда входили семь человеческих умений и областей знания: грамматика, логика, риторика (они составляли первый круг, т. н. тривиум), арифметика, геометрия, музыка и астрономия (второй круг, квадривиум). Как видим, из привычного для нас комплекса искусств туда попала одна музыка, да и та подразделялась на три части – музыка мировая, музыка человеческая и музыка инструментальная; из них музыка инструментальная представляла наименьший интерес. Для живописца или архитектора, равно как для хореографа, актера или поэта, в этой схеме места предусмотрено не было вовсе, хотя по нашим понятиям живописец или поэт должны быть не менее свободны, нежели ритор или геометр.

Ключ к этой странности следует искать в традиции, восходящей к античным временам. Именно там упрятан первоначальный смысл слова «свободный». В классической Греции сложилось представление о высоких занятиях, достойных **свободных людей** – полноправных граждан государства. Древние греки называли этот комплекс «пайдеей». Разумеется, пайдея не могла быть доступна рабам. Более того, к пайдее не могли быть отнесены занятия, которые хоть в какой-то степени были причастны физическому – в принципе рабскому – труду. Никакое ремесло, в том числе ремесло скульптора или живописца, не может быть причастно пайдее, ибо они – какой позор! – работают руками и таким образом зарабатывают себе на хлеб насущный. Их занятия классифицируются иначе, они относятся к «техне», умению, ремеслу. Это занятия несвободные и презренные.

Куда уже больше: живопись и скульптура были лишены представительства – или покровительства – на Парнасе, обиталище муз. Среди дочерей Мнемозины – богини памяти – кружившихся в хороводах под водительством Аполлона, были музы эпической поэзии и лирической поэзии, была муза трагедии и муза комедии, муза любовной поэзии, муза танца, муза пантомимы, муза истории и, наконец, муза астрономии, но не было среди них ни музы живописи, ни музы скульптуры или архитектуры.

Среди устойчивых клише относительно культуры древних греков одно из самых распространенных – клише о врожденной пластичности, скульптурности греческого мышления и мировосприятия. Современный историк философии мог говорить даже о пластической, осязаемо-скульптурной природе платоновских божественных идей, предшествующих вещам. А веселые создатели Козьмы Пруткова еще в середине XIX века потешались над ходячей банальностью, сочинив стихотворение под издевательским названием «Древний пластический грек»... Как бы там ни было, а древний пластический грек невысоко ставил создателей знаменитых статуй и картин.

Такое отношение оказалось чрезвычайно живучим. Миновали времена высокого расцвета греческой скульптуры и живописи, имена великих мастеров помнил весь античный мир, за их произведения платили фантастические по тем временам суммы, а отношение к скульптуре как к грязному, низкому ремеслу оставалось непоколебленным. Презрение к мастерам пластических искусств отнюдь не было предрассудком толпы. Его разделяли лучшие представители интеллектуальной элиты. Они, собственно, и задавали тон.

В первом веке Сенека писал: *«Мы возносим молитвы и приносим жертвы перед статуями богов, но мы презираем сделавших их скульпторов».*[1] *В другом сочинении он развивал идею: «Ведь ты не заставишь меня отнести к свободным искусствам то, чем занимаются живописцы или же ваятели, мраморщики и другие прислужники роскоши. И борцов, у которых вся наука – масло да пыль, я изгоняю из числа тех, кто занят свободными искусствами, – не то мне придется принять туда и составителей мазей, и поваров,*

[1] Цит. по: A. Hauser. The Social History of Art. I. New York: Vintage Books. 1985. P. 119

и всех прочих, приспособивших свой ум к нашим наслаждениям». [1]

Плутарх, чуть позднее – о том же: *«…Часто, наслаждаясь произведением, мы презираем исполнителя его …»*[2]

Во втором веке Лукиан посвятил противопоставлению свободных искусств и искусства скульптуры (а он в юности побывал учеником скульптора) целое сочинение. Там рассказано, как повествователю во сне явились и вступили в спор две женщины – Гермоглифика и Пайдея. Первая из них – олицетворение скульптуры, вторая – олицетворение образованности и воспитанности свободного человека. Достаточно посмотреть на их внешность, чтобы понять, на чьей стороне безусловные симпатии автора: *«Одна имела вид работницы, с мужскими чертами, волосы ее были грязны, руки в мозолях, лицо перепачкано гипсом... У другой же были весьма приятные черты лица, благородный вид и изящная одежда».* [3] В диспуте побеждает, разумеется, Пайдея...

* * *

Западноевропейское Средневековье унаследует античные представления о месте художника в обществе и в культуре, но с некоторой коррекцией. Это станет очевидным, когда люди, научившиеся создавать изображения и декорировать строения, обретут стабильный социальный статус. Такая перемена произойдет, когда в недрах феодальной системы появятся и утвердятся средневековые города. Там сложатся и расцветут ремесленные цехи – и художники станут цеховыми мастерами.

Некоторые цехи объединяли по преимуществу живописцев и избирали в качестве небесного покровителя святого Луку, евангелиста, который считался первым христианским живописцем, написавшим Богородицу с божественным младенцем на руках непосредственно с натуры. Но случалось, что живописцы оказывались в одном профессиональном объединении с седельщиками (ибо им приходилось и седла расписывать); во Флоренции, звездном городе Возрождения, знаменитые живописцы оказались в одном цехе с врачами и аптекарями – поскольку и те и другие растирали нужные вещества: живописцы – краски, а лекаря– снадобья.

Цех не только объединял ремесленников одной или сходных профессий и представлял их интересы – цех регулировал едва ли не все стороны жизни своих членов и членов их семей. Цех строго следил за качеством производимых вещей и услуг, но не менее строго – за нравственностью мастеров, их жен, детей, учеников и подмастерьев, стремился сохранять известное равенство их доходов и нетерпимо относился к показным излишествам в образе жизни и бытовом поведении. С этой целью уставы многих цехов, куда входили художники, содержали **запрет на создание произведений впрок и на их вольную продажу** – этого требовал принцип относительного имущественного равенства. Художник был исполнителем заказов – церкви, города, состоятельных граждан, властителей. Но собственная инициатива была ограничена, так сказать, административно.

Вот почему работа на рынок в Нидерландах XVI века была прорывом. До разрушения цеховой системы было далеко, но ее расшатывание – вот оно: жена художника отправляется на рынок на возу с грузом картин, написанных впрок...

Эти новости судьбоносны.

Художник, который пишет никем не заказанные картины и потому волен сочинять их целиком по своему усмотрению, обретает новую степень свободы.

Его картины будут проданы неведомо кому. Этот *неведомо кто* и есть новый зритель.

ЦЕХ УХОДИТ В ИСТОРИЮ

Цеховая система отступала медленно, с арьергардными боями. Процесс этот протекал в разных местах по-разному. В позднеренессансной Италии статус художника претерпел такие изменения, которые делали его решительно несовместимым с положением цехового ремесленника.

Сохранился замечательный рассказ о том, как Тициан писал портрет Карла V. Самый могущественный властитель тогдашнего мира редко бывал один: церемониал требовал, чтобы некая толика высокопоставленных придворных присутствовала при всяком действе, в которое был вовлечен император. Карл позировал живописцу, находясь в окружении нескольких знатных персон. И вот в неторопливом и сосредоточенном процессе письма художник бросает пристальный взгляд на модель, затем следует мазок, другой, затем он снова всматривается – и нечаянно роняет на пол кисть... Тут происходит нечто невероятное: Карл, император Священной Римской Империи, король Испании, властитель Германии, Италии и многих других стран в Европе, Азии, Африке

[1] Сенека. К Люцилию. LXXXVIII, 18. http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1346570088

[2] Плутарх. Сравнительные жизнеописания. СПб. Кристалл. Т. I, 2001. с.279.

[3] Лукиан. Сновидение или жизнь Лукиана. 6. // Лукиан из Самосаты. Избранное. Москва, 1962.

и недавно открытой Америке, повелитель, чей титул занимает несколько строк убористого шрифта, сам, собственной величественной персоной, наклоняется, подымает кисть и подает ее художнику, этому жалкому ремесленнику в замаранном красками фартуке! Человеку, который зарабатывает на жизнь собственным трудом!

Это нечто небывалое и, более того, невозможное!

Придворная толпа ропщет!

Тогда император бросает им историческую фразу.

– Молчите! – произносит он повелительно. – Вас, баронов, графов, маркизов я могу сделать десятки одним указом, а Тициана я сделать не могу.

И все умолкают, усваивая урок. Наступило время понять, что Тициан уникален.

Другой великий, Микеланджело, сам как-то похвалялся:

«... Даже его святейшество, папа, мне иногда докучает и меня сердит, когда он со мной разговаривает и меня часто и настойчиво спрашивает, почему я к нему не являюсь, – в то время как я хорошо сознаю, что служу ему лучше, когда по свободной прихоти (слышите? по свободной прихоти! – ББ) работаю для него дома […] И далее я вам скажу, что мое серьезное художественное произведение мне доставляет иногда такие преимущества, что я в разговоре с папой, сам того не замечая, надеваю на голову вот эту войлочную шляпу и свободно с ним говорю. А он за это меня не казнит, но, наоборот, помогает мне жить».[1]

Неважно, насколько правдива легенда о Тициане или разговоры Микеланджело, пересказанные его учеником Франсиско Ольянда. Не исключено, что у этих историй есть мифологический привкус. Тем не менее это тот случай, когда миф показывает нам исторические реалии через увеличительное стекло. Гений, чья уникальность осознана и пользуется соответствующим спросом, не может быть приравнен к цеховому ремесленнику. Требовался некий особенный культурный ранг – и его нужно было изобрести.

Искали, как это свойственно Ренессансу, что-нибудь подходящее среди античных образцов. Собственно, искомое нечто было уже нащупано и использовано, но на другом поле культуры. Этим нечто была **академия.**

Некогда, в IV веке до н.э., в Афинах так называлась школа и центр философской мысли, возглавленные великим Платоном. Название было дано «по месту» – школа размещалась в оливковой роще, посвященной мифологическому герою Академу, легендарному спасителю Афин. Платоновская Академия просуществовала несколько столетий, пока ее не закрыл византийский император Юстиниан в начале VI в. Но память о ней сохранялась на протяжении Средних веков, и на рубеже VIII и XI вв. ее эхом стал ученый кружок при дворе Карла Великого – «Дворцовая академия» – во главе с выписанным из Англии ученым монахом Алкуином.

Новое рождение, как и следовало ожидать, пережила идея академии в ренессансной Флоренции. Там – это уже вторая половина XV в. – сложился кружок интеллектуалов, который возглавил известный гуманист, философ-неоплатоник Марсилио Фичино; так появилась флорентийская Академия.

Когда первый историк ренессансного искусства Джорджо Вазари, сам живописец и архитектор, задумался о несоответствии ремесленного статуса художника новому его положению в мире ренессансной культуры, идея академии пришлась как нельзя кстати. Вазари предложил тогдашнему властителю Флоренции, герцогу Козимо I, учредить новую и невиданную доселе институцию – Академию художников. Идея была столь нова, что даже название для нее было нелегко найти. Понятие «художеств», которым мы сегодня так легко оперируем, было людям того времени незнакомо. Слова, эквивалентные нынешнему понятию искусства – латинское ars или итальянское arte – обозначали тогда всякое умение, любую «искусность».

Общему понятию «искусство» предстояло определиться только к XVIII веку. Поэтому Вазари, желая объединить в стенах задуманной им академии живопись, скульптуру и архитектуру, должен был найти – или определить – нечто, что их объединяет. Он пришел к выводу, что общим для живописца, скульптора и архитектора является необходимость и умение рисовать. Так явилось понятие «искусств рисунка» – и флорентийская Академия, первая в истории, получила название Accademia del disegno, «Академия рисунка». Объединение живописи, скульптуры и архитектуры под именем «искусств рисунка» держалось долго. В 1698 году, более века спустя после смерти Вазари, вышла первая всеобщая история искусств, составленная художником Пьером Монье, и предмет описания все еще был определен «по-вазариански», автор иначе не умел: *«История искусств, связанных с рисунком, разделённая на три книги, где ведется речь о происхождений, развитии, падении и восстановлении искусств».* Инициатива Вазари была подхвачена, ибо не он один понимал, что время цехов прошло. Вслед за флорентинской Академией, живописец и теоретик Федериго Цуккаро основал римскую Академию святого Луки, названную так в честь евангелиста, который считался первым христианским живописцем. Тогда

[1] Мастера искусства об искусстве. Т. 2. М.: Искусство, 1966. С. 194–195

же, в конце века, в Болонье, по инициативе братьев Карраччи, была создана Accademia degli incamminati – «Академия избравших правильный путь»; принципы болонской Академии действительно наметили пути академического образования и академического искусства, развитые и закрепленные в образцовой для будущих поколений Королевской академии художеств, основанной в Париже в середине XVII века, в царствование Людовика XIV.

Академия стала институциональной альтернативой цеху. Сама ее идея, восходившая к Академии великого мыслителя, возносила дело художника из низких будней рукодельного ремесла в высшие сферы интеллектуального творчества. Вместе с тем она открывала перспективу свободной работы художника по собственной инициативе и согласно собственным идеям – от начала и до конца. Соответствующим образом менялась концепция **потенциального зрителя**. Его, собственно, предстояло вообразить и сотворить, и честь этого изобретения в значительной степени принадлежала французской Академии. Таков был один способ порождения зрителя Нового времени. Мы проследим историю его сотворения несколько позже.

Другой способ, зародившийся в Нидерландах и наиболее четко оформившийся в Голландии XVII века, символизировала жена художника Яна ван Амстеля, развозившая картины мужа по базарам. Это был путь превращения искусства **в особого рода товар.**

ГОЛЛАНДСКИЙ ПУТЬ

Итак, в Средние века непременным условием возникновения едва ли не любого произведения искусства – от собора и до иконы – был широко понятый заказ. В специальной литературе такую систему называют патронатом. Заказ мог исходить от церкви, от светского властителя, от города, от корпорации или от частного лица. Светский заказ мог быть, однако, предназначен для церкви или монастыря. Подобные заказы, собственно, преобладали на протяжении почти всего Ренессанса. Произведения, задававшие координаты искусства Нового времени, были именно так созданы; вот те, которые первыми приходят на память: росписи Капеллы на Арене, заказанные Джотто, фрески капеллы Бранкаччи, исполненные Мазаччо, Гентский алтарь братьев ван Эйков, Сикстинская капелла, созданная Микеланджело, «Тайная вечеря» Леонардо, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, фресковые циклы Фра Беато Анжелико, Пьеро делла Франческа, Андреа Мантеньи...

Реформация пробила в этом развернутом фронте заказов зияющую брешь. В протестантской Голландии не стало больше церковных заказов и заказов для церквей. В церквах иногда встречаются скромно украшенные органы. Стены, потолки, сферические поверхности куполов, столбы, порталы, еще недавно украшенные десятками и десятками скульптур, очистились до стерильно постной, аскетической наготы, безрадостной и бесцветной.

Эманюэль де Витте. *Интерьер церкви. 1660 г. Санкт-Петербург. Эрмитаж.*

Суровый пафос иконоборчества – как это уже показал исторический опыт – мог иметь следствием либо почти полное изгнание изображений из культурного обихода (так было в иудаизме и затем в исламе), либо полное вытеснение изображений из сакральной сферы в сферу светского, собственно эстетического потребления (вариант, робко опробованный, по-видимому, в пору преобладания иконоборцев в Византии). Первый вариант вряд ли мог иметь перспективу в Нидерландах с их блистательной, длиною в два столетия, традицией ренессансной живописи – от ван Эйка и до Брейгеля Старшего. Традиция эта располагала к тому времени щедрым опытом работы в светских жанрах – мифологическом, портретном, пейзажном, бытовом и даже в замысловатом жанре философской притчи.

Время и место развертывающейся истории способствовали судьбоносной встрече художественной традиции со становящимися капиталистическими отношениями. Не следует думать, будто это был вовсе уж внезапный прорыв. Там, где появляется спрос, всегда является призрак рынка. В Италии XVI в. изготовление картин на продажу было известно. В Венеции были живописцы узкой специализации, можно сказать, набившие руку на изображениях Богородицы, они заслужили соответствующее прозвище – madonnieri. Подобные практики, видимо, не миновали и великих – Джованни Беллини или Тициана[1]... И все же Голландия XVII века, первая в мире капиталистическая страна, могла стать во многих отношениях

[1] См.: Joseph Alsop. The Rare Art Tradition. Harper and Row, NY: 1981. P 45-46.

моделью позднейших. Именно там складывались очертания мира искусства Нового времени.

* * *

Практика заказа, разумеется, не вымерла целиком. Большая часть голландских портретов XVII века – заказные работы. Молодой Рембрандт завоевывал славу заказными портретами. Большие групповые портреты Хальса, равно как «Анатомия доктора Тульпа» и «Ночной дозор» Рембрандта – корпоративные заказы. Огромную историческую картину «Заговор Юлия Цивилиса» стареющий Рембрандт писал по заказу городских властей Амстердама для новопостроенной ратуши... Я упоминаю лишь некоторые наиболее известные произведения. Работа по заказу случается и сегодня, хотя реже, чем прежде.

Однако труд на продажу, шире – художественный рынок в те времена, о которых речь, отвоевывал для себя все новые территории.

Возникновение и быстрое развертывание этого специфического рынка порождало новые проблемы. Впрочем, проблемы не были вовсе новыми, нечто подобное уже однажды случалось – там, где искусство изображений стало предметом эстетического наслаждения и, следовательно, зрящий становился зрителем.

* * *

Об этом уже была речь – впервые такое произошло в классической Греции. Когда картины и статуи стали продавать и покупать, возник трудный вопрос об оценке творческого труда, порождающего невиданные и неповторимые вещи. Сколько стоит единственная в своем роде и, следовательно, ни с чем не сравнимая статуя? Ответы получались разные.

Сообщают, что в шестидесятые годы V в. до н.э. в Афинах живописец Полигнот расписал городское общественное сооружение – стою – безвозмездно; благодаря полигнотовой росписи стоя получила название Пестрой. Художник не требовал платы за свой труд, ибо желал прославиться и заслужить благодарность афинян. Иными мотивами руководствовался другой мастер, знаменитый Зевксис, полвека спустя. Он стал **дарить** свои картины – и это был публичный жест, демонстрация принципа. Зевксис утверждал (так сообщает Плиний), что не существует цены, которая бы соответствовала ценности его картин.[1] Иначе говоря, картина Зевксиса не имеет денежного эквивалента, ибо она **уникальна**. Неповторимость, уникальность одной картины недопустимо нивелировать актом ее обмена на деньги, этим снимается ее единственность. Через безликие деньги она приравнивается к любой другой вещи, имеющей ту же цену, делается одной из некоторого множества равноценных предметов. Это скандал. Картина должна оставаться одинокой. И Зевксис отдает ее задаром.

Символический жест знаменитого живописца фиксировал парадокс, но не разрешал его. Картины и статуи продолжали продавать и покупать, чем дальше, тем больше. В пору доминации Рима художественный рынок достиг невиданного расцвета. Дальнейший анализ ситуации в конечном счете свелся к признанию ее абсурдности. Любая попытка найти закономерности художественного рынка терпела фиаско. Лучшая из формул всего лишь обнажала механизм беззакония.

Разумеется, передвижение и смена собственности в сфере искусства не сводились только к мирной рыночной системе. Свою роль сыграли римские завоевания и сопряженные с ними «законные» ограбления покоренных стран, равно как и позднейшие административные грабежи. Последние достигали иногда гомерических размеров. В 73-71 гг. до н.э. наместник Сицилии Гай Веррес повел себя настолько нагло, что был отдан под суд и осужден. Обвинителем на процессе выступал Цицерон. Его речи против Верреса предлагают нам полезные сведения – и не только о верресовых грабежах.

Наместник Сиракуз грабил без разбору – столько же храмы, сколько и частные собрания. Его обвинитель был в курсе цен – он сам был знатоком и собирателем. Вот почему в своей обвинительной речи Цицерон мог оперировать цифрами. Бессовестный проконсул, рассказывал он суду, заставил некого Гея продать (или солгать, что продал, а на самом деле отдать) статуи работы Праксителя, Мирона и Поликлета за 6500 сестерциев. «Купидон Праксителя – за 1600 сестерциев! – патетически восклицал обвинитель.[2] – Не на наших ли глазах небольшая бронзовая статуя была продана на торгах за 40 000 сестерциев?»[3] И далее великий римский оратор произнес фразу, которую стоит запомнить: «А разве я не мог бы назвать людей, давших не меньшую и даже большую цену? И в самом деле, насколько сильно твое желание купить такую вещь, во столько ты ее и ценишь; т р у д н о у с т а н о в и т ь п р е д е л ь н у ю ц е н у , н е у с т а н о в и в п р е д е л о в

---

[1] Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. М., Ладомир, 1994. С.91.

[2] Как подсчитал специалист-историк, 1600 сестерциев по курсу середины 1960-х гг. составляют примерно 450 долларов. См.: Pollitt J. J. The Art of Rome. Sources and Documents. Englewood Cliffs: Cambridge University Press, 1966. P. 68–69.

[3] Марк Туллий Цицерон. Речи / Пер. В. О. Горенштейна. Т. 1. М., 1962. С. 62–63 («Против Гая Верреса. О предметах искусства», VI, 12).

Ян Вермер Дельфтский. *Письмо.1668 г. Амстердам, Рийксмузеум.*

Габриель Метсю. *Молодой человек за письмом. 1665 г. Дублин. Национальная галерея Ирландии.*

Габриель Метсю. *Чтение письма. 1665 г. Дублин. Национальная галерея Ирландии.*

своей страсти».[1]

«Пределы страсти» – категория не экономическая, а психологическая, включая сюда, видимо, и социальную психологию. Некогда мы старательно штудировали Маркса и, казалось, научились понимать, откуда берется стоимость вещи и каковы отношения между ее стоимостью и ценой. На рынке искусства эти законы бессильны, как, впрочем, и любые другие законы. Там действуют страсти – отчасти собственные, а отчасти разогреваемые извне. Мы еще будем иметь случай поговорить о них подробней.

* * *

Теперь вернемся в Голландию XVII века, где начинает победно развертываться беззаконная «экономика вкуса».

Вот документированная история о том, как некий вышивальщик из Дельфта вчинил судебный иск живописцу Питеру Сталю. Вышивальщик изготовил для живописца пару богато украшенных штанов; в обмен Питер Сталь обязался написать для брючного мастера три картины. Одну из обусловленных картин, «Содом и Гоморру», он мастеру передал, а две других – это были зимний и летний пейзажи – остался должен. [2] Три картины, таким образом, оказывались эквивалентны паре нарядных штанов и сами выступали в роли денег. Этими картинами Питер мог расплатиться за обеды в трактире, за полученные у лавочника продукты или за съем жилого помещения. Современники не видели ничего необычного в том, что живописец рассчитывался с портным, трактирщиком или содержателем гостиницы своими творениями. Судьи трезво рассудили, что Питер Сталь не полностью расплатился за вышитые штаны. Вышивальщик выиграл тяжбу.

Пора взглянуть на этот странный эпизод с другой, внеэкономической стороны. Судебный процесс свидетельствует, между прочим, о том, что вышивальщик – простой вышивальщик, скажем так! – хотел иметь честно им заработанные произведения искусства, которыми он бы украсил свой дом. Три картины, начав свою культурную жизнь в качестве средства оплаты, должны были пережить заранее предопределенную метаморфозу и обернуться предметом эстетического созерцания. А квалифицированный ремесленник хотел стать созерцателем, т.е. **зрителем.**

* * *

Да, частные дома в Голландии XVII века были украшены картинами. Это была всемирная новость.

Как выглядели интерьеры голландских обывательских домов, мы знаем из тех же голландских картин. На стенах комнат, изображенных голландскими мастерами, висят картины.

Естественно предположить, что Ян Вермер и Габриель Метсю – реалисты, они «пишут правду»: как изображали на картине, так и было.

Торопиться, однако, не следует. Художник, даже склонный писать правду, прежде всего **пишет картину** – и пишет ее так, как предусматривают принятые в его время правила. Художник XVII века знает, что следует

---

1 Там же. С. 63. Разрядка моя – ББ.

2 См.: Michael North. Art and Commerce in the Dutch Golden Age. New Haven and London: Yale Univ. Press, 1997. P. 93.

выражаться с помощью аллегорий. И бесхитростные – на первый взгляд – сцены чтения письма он наполняет аллегорическими намеками. Стоит поставить рядом картины Вермера и Метсю, чтобы обнаружить там повторяющиеся мотивы. В картине Вермера, прямо на первом плане, – сброшенный с ноги туфель. То же – у Метсю. В обеих картинах хозяйка, получившая письмо, оставила рукоделие, которым только что занималась. В обоих случаях на стене висит картина, изображающая корабль в открытом море. У Метсю к этой картине привлечено особое внимание: служанка, отодвинув занавеску, уткнулась в нее взглядом...

Кстати – а что изображено на картине за спиною молодого человека, пишущего любовное письмо, которое получит наша дама?

Охотник с гончими псами...

Дешифруем аллегорический код.

Сброшенный с ноги туфель указывает на эротическую чувственность.

Оставленное рукоделие говорит о разладе в супружеских отношениях.

Корабль в открытом море – о неуправляемых страстях и сопряженных с ними опасностях.

Что означает охотник с гончими – понятно без дальнейших объяснений.

Как видим, оба художника прибегают к одному и тому же аллегорическому лексикону. Можно думать, что он был известен не только живописцам: уже в начале XVII века в Голландии издавали специальные справочники аллегорий. Владельцы картин и, возможно, посторонние зрители были подготовлены к тому, чтобы понимать намеки.

Такая аллегорическая функция картины в картине заставляет усомниться в том, будто художники, изображая уютные и вылизанные до блеска голландские интерьеры, украшенные картинами, говорят нам правду – и ничего, кроме правды. Картина в картине оказывается «картинной картиной», т.е. элементом картины постольку, поскольку содержит необходимо закодированное послание. Тогда, может быть, она нужна не потому, что так выглядят жилые интерьеры, а затем, чтобы заявить некую нравственную максиму на общепринятом условном языке?

Истина находится посередине: верны оба толкования. В нашем распоряжении есть косвенные, но тем не менее неопровержимые свидетельства невиданной насыщенности изображениями жизненной среды голландцев XVII столетия.

Об этом говорят впечатления иностранцев, посещавших Голландию: их поражало повсеместное присутствие картин – не только в домах зажиточных горожан, но и в мастерских кузнецов или сапожников, в лавках; торговля картинами прямо на улицах. А художники все пишут и пишут – и спрос не падает! По подсчетам одного исследователя, за два столетия в Голландии было написано от пяти до десяти миллионов картин.[1] Эту гомерическую цифру некоторые специалисты подвергали сомнению. Ладно, если мы ее уменьшим на порядок, у нас все равно получится от полумиллиона до миллиона картин на маленькую страну. Большая их часть была продана и, следовательно, кем-то приобретена. Кто-то украшал ими свое жилье или мастерскую. Кто-то разумеется, мог позволить себе собирать большие коллекции, но главным образом эти тысячи картин расходились по обывательским домам – для украшения и приватного разглядывания.

Живопись в этой стране безусловно доминировала. Но не одна живопись увлекала и радовала зрение голландцев. В поле зрительского интереса и внимания находились еще сотни и сотни образов; можно не сомневаться, что их разглядывали с неменьшим, а то и с большим интересом. Я имею в виду искусство эстампа.

Эстампной графикой увлекались крупнейшие голландские мастера. Ныне считается, что Рембрандт создал около трехсот офортов. Отпечатки с офортной доски делают под давлением, доска постепенно изнашивается, оттиски теряют качество. Рембрандт был требователен и количество отпечатков строго контролировал. Если допустить, что тираж рембрандтовских отпечатков не превышал 20-25 оттисков с доски, то в собраниях его современников должны были осесть тысячи рембрандтовских листов.

Рембрандт. *Возвращение блудного сына. Офорт. 1636*

[1] См.: Marten Jan Bok. Pricing the Unpriced: How Dutch Seventeenth Century Painters Determined the Selling Price of Their Work. // Art Markets In Europe, 1400-1800. Ed. By M. North and D. Ormrood. Brookfield, Vermont: Ashgate, 1998. P. 103

Геркулес Зегерс. *Пейзаж. Офорт.*

Офорты делали такие мастера, как Адриан ван Остаде, Ян ван Гойен, Клас Берхем, Геркулес Зегерс, Якоб ван Рейсдаль... И это еще не все.

Голландия стала одним из главных центров книгопечатания. Там, между прочим, можно было издавать книги, которые были бы безусловно запрещены в других местах. Впрочем, нас должны сейчас занимать только определенные книги – иллюстрированные. Голландские издания Библии содержали нередко до тысячи и более гравированных иллюстраций. Именно Библии, без сомнения, читали многие, читали чаще, чем что-либо другое, и, возможно, с наибольшим интересом. А иллюстрации помогали понять текст и вообразить себе библейские события «во плоти».

Иллюстрированная Библия. *Антверпен.1657 г.*

Вот еще одно русло, по которому струился поток созданных художниками образов, разбегаясь тысячами приватных ручьев. Воистину, голландская культура той поры была перенасыщена визуальными посланиями – и они были доступны каждому.

Кое-что от этого изобилия перепадало и другим. Известное иллюстрированное издание Библии, осуществленное голландским издателем Пискатором, разбрелось по Европе и неведомыми путями попало в руки российских изографов. Один из них, Гурий Никитин или кто-то из его товарищей, перенес гравюру из голландского издания Библии на стену новопостроенного храма Ильи Пророка в Ярославле – правда, подвергнув ее неизбежной русификации... Ярославских мастеров ни в чем винить нельзя. В те времена, подобные миграции образов были обычным делом, понятие интеллектуальной собственности еще не сложилось, и заимствование не считалось плагиатом. Но тот факт, что Голландия служила источником странствующих художественных идей, представавших перед взорами зрителей в отдаленных концах христианского мира, заслуживает нашего внимания.

«Библия Пискатора». *1650 г. Иллюстрация.*

Гурий Никитин. *Воскрешение сына сонамитянки. 1681 г. Фрагмент. Церковь Ильи Пророка. Ярославль.*

Гурий Никитин. *Воскрешение сына сонамитянки. 1681 г. Фрагмент. Церковь Ильи Пророка. Ярославль.*

* * *

Все это так. Но было бы неверно видеть в коммерциализации художественной жизни одно только низменное начало. Дела обстояли куда сложнее.

Известно, что Рембрандт относился к заказным работам без особого интереса. Это не значит, что он выполнял их небрежно. Среди его картин, выполненных на заказ, есть вещи высочайшего качества, такие, как «Ночной дозор» или «Портрет Яна Сикса». Но с заказами нередко бывали проблемы: Рембрандт тянул с исполнением, нарушал оговоренные сроки... Он явно предпочитал работать над картинами и гравюрами свободно, по собственному произволу, от начала и до конца. Такую творческую свободу обеспечивал рынок. Верней будет сказать, не столько обеспечивал, сколько предоставлял. Рынок никому не обещал надежного сбыта. У рынка всегда есть свои любимчики и свои пари – у нас еще будет случай поговорить об этом более подробно. На рынке действуют свои правила игры. Тем не менее нельзя не признать, что рынок предоставляет свободу выбора, хотя эта свобода сопряжена с риском. Мы помним, что Рембрандт в последние годы жизни был нищим, а Франс Хальс окончил свои дни в приюте для неимущих стариков...

Неизвестный голландский художник. *Лавка торговца картинами. Шарлатан (фрагмент). 1620 г. Амстердам. Государственный музей*

ПРИДИ И ГЛЯДИ
Лавка Жерсена

Жан Антуан Ватто. *Вывеска лавки Жерсена. 1720 г. Берлин-Далем.*

Это последнее значительное произведение Ватто, в тот год уже тяжело больного. Туберкулез тогда лечить не умели; великому живописцу суждено было прожить еще несколько месяцев. Он умер в 1721 году, чуть не дожив до роковых для гениев – от Рафаэля до Пушкина – тридцати семи лет.

Сам Эдмэ-Франсуа Жерсен был знаковой фигурой Парижа первой половины XVIII в., вестником наступающих времен. Он владел известной лавкой в самом сердце Парижа, на мосту Нотр Дам. Там знатоки, ценители и собиратели приобретали картины и эстампы, а также изысканные и экзотические предметы аристократического обихода. Жерсен был другом и покровителем Ватто; во время создания картины больной и ослабевший художник жил в его доме.

Картина была задумана как вывеска над входом в лавку, но это предназначение исполняла недолго – уж слишком хороша была для вывески. Через несколько недель картина была разрезана на две половины и продана двум коллекционерам...

Ватто написал «Лавку Жерсена» спустя сто лет после того, как неведомый голландец поместил в амстердамскую картину изображение похожего заведения. Там картину, выставленную на порог лавки, разглядывает одинокий прохожий. Прочие господа прогуливаются, не обратив на лавку особого внимания. Ватто удалил внешнюю стену жерсенова заведения и представил на всеобщее обозрение его сложную внутреннюю жизнь Это не только иной ракурс, это иной масштаб. Картина Ватто напоминает, в какую сторону двигалось дело торговли искусством во Франции. Состоятельных голландских горожан тут сменили аристократические дамы и господа; их принадлежность к высшему обществу очевидна. Впрочем, картина воспроизводит интерьер торгового зала Жерсена свободно. Зато отсылки ко времени

ее создания сообщают много интересного, если ее внимательно читать.

Дотошные исследователи старательно проштудировали картины, которыми якобы торговал Жерсен: оказалось, что там изображены по преимуществу чувственные, не лишенные пикантности сюжеты. Не случайно два внимательных зрителя углубились в созерцание картины в овальной раме, а один из них даже опустился на колени и вооружился лорнетом. Они разглядывают нечто особенно интересное... Впрочем, не они одни.

Жан Антуан Ватто. *Лавка Жерсена. Фрагмент: зрители.*

Михаил Герман в своей превосходной книге о Ватто тонко заметил, что в последней картине художника вымышленные персонажи его «галантных празднеств» пережили чудесную метаморфозу: они превратились в реальных людей. И эти люди, добавим, оказались принадлежащими культурному виду «человека смотрящего», знатоками, любителями, смакователями... Одним словом – зрителями, населяющими свой особенный мир: «...мир художественных магазинов, глубокомысленных бесед, изысканнейших суждений, мир, где скрещивались просвещенные мнения, где над редкими эстампами и полотнами старых мастеров склонялись столько знатоков и профессионалов...»[1]

Такая публика еще только формировалась. Ее рождению способствовали многие и разнообразные обстоятельства. В их числе были и некоторые важные начинания только что ушедшего царствования.

В этом отношении не менее существенна причина, задержавшая на минуту даму слева. Она глядит на картину, которую приказчики Жерсена грузят в ящик. Что же это там такое?

Да это очень похоже на портрет короля Людовика XIV, скорей всего – работы Пьера Миньяра!

Пьер Миньяр. *Людовик XIV. Ок. 1695 г.*

Жан Антуан Ватто. *Лавка Жерсена. Фрагмент: упаковка картин.*

Исследователи по-разному толкуют этот намек. Прежде всего следовало бы вспомнить, что магазин Жерсена имел название. Он назывался «Великий монарх». Вот достаточный повод для того, чтобы поместить в картину-вывеску портрет великого короля. Но почему «заглавный» портрет пакуют в ящик? Некоторые толкователи полагают, что портрет отправляется на склад, поскольку он утратил актуальность. Другие считают, что в ящик складывают купленные картины – с тем, чтобы доставить их новому владельцу. Так или иначе, но немое присутствие образа «короля-солнца» в мире картины полно значения.

Людовик XIV покинул этот мир за пять лет до сочинения «Лавки Жерсена». Он стал королем Фран-

[1] Михаил Герман. Антуан Ватто. Ленинград: Искусство, 1984, с. 198.

ции, будучи ребенком, и оставался на престоле 72 года. Он пережил собственных наследников, похоронив сына и двоих внуков; ему наследовал четырехлетний правнук, будущий Людовик XV. Править мальчик, естественно, сначала не умел, страной управлял регент Филипп II Орлеанский, племянник покойного короля. Настроения эпохи регентства во многом контрастировали с настроениями короны конца долгого царствования: на старости лет король-солнце стал особенно религиозен – и строгость нравов вошла в моду. В годы регентства нравы стали куда более вольными, непринужденная чувственность освободилась от оков. Недалеко было время, когда парижан станут услаждать игриво фривольные картины Буше и Фрагонара. Да и сам Ватто бывал не прочь прелестно пошутить; вот как – и вот что – рассматривает молодой человек в его дрезденской картине...

Жан Антуан Ватто. *Общество в парке. 1718 – 1719 гг. Дрезден, галерея.*

Впрочем, он разглядывает скульптуру. Он тоже зритель...

Так вот, не об этом ли самом картины, выставленные в торговом заведении Жерсена, каким оно изображено на вывеске Ватто? Не был ли портрет недавно умершего короля, брошенный в ящик, напоминанием об уходе великой, но строгой эпохи?

Похоже, что последняя картина Ватто была свидетельством наступившего времени никак не меньше, нежели прославившие художника «галантные празднества» с их воображаемыми радостями и сублимированной печалью. Конечно, в истории искусства они навсегда остались началом и поэтической программой стиля рококо.

Но мы сейчас говорим о реальной истории. Великое царствование, которое символические приказчики Жерсена символически упаковывали в ящик исторической памяти, оставило многие следы. Среди них были и такие, которые знаменовали наступление радикально новых форм художественной жизни.

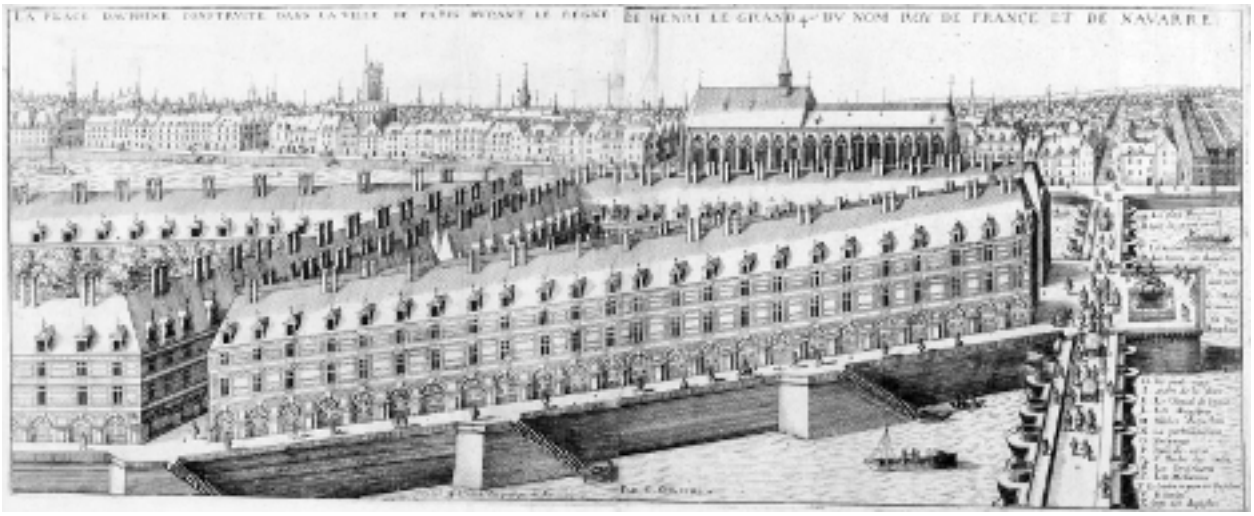
РОЖДЕНИЕ САЛОНА, ПЕРВЫЕ МУЗЕИ.

Уже где-то в конце XIV в. художник получил возможность существования и профессиональной работы помимо цеховой системы. Для этого нужно было стать придворным – придворным художником или придворным музыкантом. Доступна такая возможность была немногим, но она была. В штатном расписании дворцовой обслуги – а она при некоторых королевских дворах достигала тысячи и более человек – такая должность предусмотрена не была; художник, служивший при дворе, получал ранг камердинера. Во Франции они назывались «valet du chambre». «Валеты» бывали разного уровня и, случалось, они развлекали двор забавами не самого высокого вкуса. В одном английском архиве сохранился документ о выплате вознаграждения художнику за танцы на столе во время королевского пиршества. Но придворными художниками бывали и самые великие: герцогским придворным художником был Ян ван Эйк, папским – Рафаэль, королевским – Веласкес...

Во Франции XVII века эта практика имела далеко идущие последствия. Накопление при королевском дворе художников вызвало резкую негативную реакцию гильдии Св. Луки, увидевшей здесь покушение на свою профессиональную монополию. Трон – в лице королевы Анны Австрийской, регентши при несовершеннолетнем еще Людовике XIV, – откликнулся на протесты гильдии по-королевски. Там, при дворе, чувствовали, что время цехов проходит, наступают новые времена. Юный король, сын Анны, подрастет и со временем объяснит кому надо, что государство – это он, а более никто.

Ответом на претензии цеха стало создание новой независимой институции. Образцы подобного рода институций уже были известны, нужно было лишь приспособить их к французской ситуации. В 1648 году была основана Королевская академия живописи и скульптуры.

Когда Людовик XIV подрос и стал править самостоятельно, Академия была несколько трансформирована, к живописи и скульптуре была добавлена архитектура – и в таком виде Академия стала учебным заведением с четким регламентом, программами обучения художников, а также объединением мастеров высшего ранга и центром теоретической мысли об искусстве. В этом виде Королевская Академия послужит



Клод Шастийон. *Площадь Дофина. Гравюра на меди. Начало XVII в.*

моделью для возникавших вслед за нею других академий – берлинской, венской, английской, петербургской...

Эстетические установки и педагогические принципы Академии к нашей теме прямого отношения не имеют. Но некоторые идеи руководившего реорганизацией министра Жана-Батиста Кольбера должны стать предметом нашего пристального внимания. В числе уставных требований, подлежавших исполнению членами Академии, были предусмотрены периодические публичные показы произведений академиков. Публичные – т.е. показы всем, кто пожелает смотреть. Иначе говоря – периодические **выставки**. Они должны были происходить каждые два года.

Конечно, те или иные формы демонстрации вновь созданных или предназначенных для продажи работ были испробованы и ранее. Тем не менее инициатива французской академии была для своего времени уникальной. Из дальнейшего видно, сколь, парадоксальным было начало выставочной практики.
Трудно представить себе художника, который бы не хотел показывать свои работы – равно как трудно себе представить писателя, который бы не желал, чтобы его публиковали, или актера, который не хотел бы играть. Так вот, французские академики, как ни странно, отнеслись к идее регулярного показа своих произведений без всякого энтузиазма. По-видимому, новая идея ломала привычные стереотипы: художник - заказчик, художник - патрон. Выставка 1699 г., развернутая в Большой галерее Луврского дворца, оказалась последней из двухгодичных, следующая открылась только через 5 лет, в 1704 году. В предуведомлении, предпосланном списку выставленных тогда произведений, говорилось: *«Академия всегда была убеждена, что было бы лучше делать известными ее усилия и усердие, направленные на совершенствование изящных искусств, посредством демонстрации время от времени произведений живописи и скульптуры, созданных ее членами. Хотя большая часть ее произведений сделана с целью прибавить величия храмам и великолепия дворцам, она отдает себе отчет в том, что остается множество других, сразу попадающих в частные кабинеты, для которых они были предназначены, и они часто остаются укрытыми от глаз публики».*[1]

Знаменательные слова, достойные начала века, который они открывали, – века Просвещения! Мы еще вспомним о них вскоре. А пока стоит заметить, что они были предпосланы последней из короткой серии первых академических выставок и в то же время первых публичных выставок в истории. Следующая выставка должна была бы открыться через два года, как полагалось по академическому уставу. Но она не открылась ни через два, ни через пять, ни через десять лет. Вопреки собственному убеждению, высказанному не без риторического воодушевления в цитированной только что декларации, Академия не покажет Парижу ни одной выставки в течение последующих трех десятков лет.

А когда, наконец, выставку придется устроить, это будет скорее вынужденный акт. Ибо жизнь движется по своему причудливому руслу – когда при деятельном участии академий, а когда и без их помощи.

Выставка должна была появиться, ибо время пришло. И она появилась – в причудливой форме, как бы сама по себе, стихийно, как трава растет.

За сто лет до описываемых событий король Генрих IV предпринял внушительную перестройку столицы Франции. Новый облик получила тогда и оконечность острова Ситэ: там была сооружена

[1] Crow Thomas E. Painters and Public Life in Eighteenth-Century Paris. New Haven, London: Yale University Press, p. 37.

замкнутая треугольная площадь, которую король посвятил наследнику престола – дофину, будущему королю Людовику XIII. Она до сих пор называется Площадью Дофина. К началу XVIII века она иногда превращалась в своего рода выставочный зал под открытым небом: раз в год, в праздник Тела и Крови Христовой, который приходится на конец мая или начало июня, художники стали там показывать свои картины. Поначалу это были популярные у парижан выставки-однодневки, затем, если погода позволяла, они становились несколько протяженней. К началу двадцатых годов там уже добывали славу будущие именитые мастера, показывали там свои картины и некоторые академики.

Наконец, Академия – не без давления власти – решилась ответить на вызов Площади Дофина и восстановить прерванную традицию официальных выставок. В 1737 году открылась выставка, с которой можно начинать реальный отсчет непрерывной истории новой культурной институции. На этот раз она была размещена в квадратном салоне Лувра, который в те поры отнюдь не был музеем, а всего-навсего королевским дворцом. Никто еще не знал, какая судьба ожидает этот грандиозный комплекс. Идея публичного музея в тот момент ещё не созрела, хотя ждать ее появления оставались недолго. Название дворцовой залы, где была устроена выставка, в дальнейшем было перенесено во Франции на выставки подобного рода, их стали называть салонами – где бы они не размещались.

Нужно достойно оценить значение этого культурного новшества. Появилось более или менее фиксированное место, где произведения художников смогут быть и будут предложены для разглядывания – для разглядывания! – всем, кто пожелает. И все, кто пожелает и осуществит такое желание, образуют тем самым невиданное доселе особое, пусть пестрое и рыхлое, множество людей – **публику.**

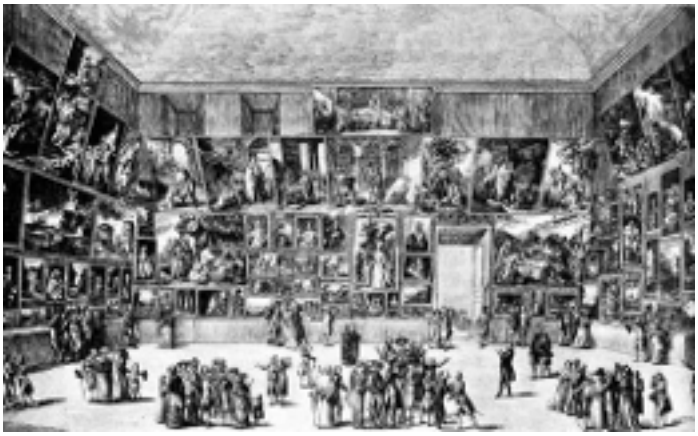
Конечно, посетители луврской выставки не были первыми зрителями – иначе было бы непонятно, о чем и о ком, собственно, мы рассуждали до сих пор. Тем не менее тысячелетиями образы, предназначенные, казалось бы, исключительно для зрения, обдумывания, простых чувственных и высоких интеллектуальных наслаждений, были обременены совсем другими – в качестве главных – функциями. В этой точке сходились культуры отдаленные и между собою несходные. Палеолитический умелец, написавший стадо бизонов на стене пещеры, и ренессансный властитель, заказывавший мудреную роспись астрологического содержания, равно рассчитывали на помощь неких потусторонних сил в житейских делах. Две гречанки из эллинистической бытовой сценки умели ценить искусность скульпторов, но приходили они в храм, где выставлены статуи, чтобы принести жертву богу врачевания. Византийский монах мог ценить искусство мозаичиста, украсившего храм, но смотрел он на мозаики прежде всего затем, чтобы увидеть Вседержителя и святых его, поклониться им и в акте поклонения воздать почесть и почерпнуть благодати. Жители Сан Джиминьяно смотрели на образ Св. Себастьяна, написанный Беноццо Гоццоли на стене храма, в надежде получить от него защиту от чумы. Когда же короли и князья заказывали или покупали картины и статуи для украшения собственных покоев, наслаждаться шедеврами могли немногие. Публикой их не назовешь. Публика, даже особо элитарная, изысканная, отборная или специфическая, особенная – вещь не списочная, числом ее можно обозначить только post factum. Это открытое множество. Именно такое множество возникает благодаря событию выставки.

Скажем иначе.

Зрителями заказной работы надо считать заказчика, а также круг людей, которых заказавший допустит к рассматриванию.

Появление художественного рынка расширяет это множество до всех, кто приобретет. Лавка Жерсена привлекала собирателей, покупателей, любителей, знатоков.

Выставка создала самое обширное, лишенное четких границ, размытое множество всех, кто желает и будет смотреть: **выставка породила публику.**



Пьетро Антонио Мартини. *Салон 1785 года.*

* * *

Вот и настало время поговорить о публике.

Два признака делают людей потенциальными участниками этого нового сообщества. Первое – это сообщество открытое, участвовать может любой. Не каждый участвует, не каждый хочет, не каждый ищет такой возможности, но может каждый. Так оно было уже с публикой салонов XVIII века. Рассказывает

современник, архитектор, художник, литератор Луи де Кармонтель. Это очевидец, пусть даже пристрастный и высокомерный. Тем лучше, зато живой.

«Салон открывается и толпа устремляется через вход; как ее разнообразие и беспорядочное движение мешают зрителю! Вот некто, исполненный суеты, желает только одного – первым заявить свое мнение, другой там, утомленный скукой, жаждет лишь нового зрелища. Здесь некто видит в картинах только предметы купли-продажи и занят единственно тем, чтобы определить, сколько за них можно выручить, другой надеется, что они доставят ему материю для праздной болтовни. Любитель исследует их пристрастным, но непросвещенным взором, взгляд живописца проницателен, но ревнив, простак комичен, но глуп. Люди низшего класса, привыкшие подлаживать свои вкусы к вкусам своих господ, ждут мнения титулованных особ, прежде чем высказать свои. И куда ни глянь, бесчисленные молодые клерки, лавочники, приказчики, у которых монотонная и скучная работа неизбежно уничтожает всякое чувство красоты...» [1]

Мы будем иметь случай убедиться, что салоны посещали не только суетные болтуны, торгаши, завистники и откровенные невежды. Нет-нет, там, право же, бывали образованные ценители и знатоки. Но внутрь пускали **всех.**

Другой существенный признак принадлежности к публике таков: какой бы разношерстной ни была масса пришедших смотреть и сколь бы пестры ни были мотивы, приведшие их на выставку, их объединяет одно: они пришли, заранее зная, что им покажут **произведения искусства**, и пришли затем, чтобы их **увидеть.**

Это последнее утверждение может показаться столь же банальным, сколь и приблизительным. Однако оно совсем не лишено смысла.

Конечно, наслаждаться творениями скульпторов и живописцев умели уже античные любители, коллекционеры и просто зеваки. Но ни живопись, ни скульптуру древние так и не вознесли в горнее пространство искусств, на Парнас, где царил Аполлон и музы водили свои хороводы. Музам до живописи и дела не было, а античные мудрецы считали возможным наслаждаться скульптурами или мозаиками, но презирать их создателей. Уникальность художественного дарования была оценена еще в античности, но достоинство художественного труда – в отличие от рутины ремесленного производства – с трудом поддавалось осмыслению и еще в ренессансном XVI столетии Вазари, создавая первую академию художеств, должен был напряженно размышлять над тем, что общего у трех художеств – живописи, скульптуры и архитектуры. Жизнь, как это часто бывает, заметно опережала теорию. Современники Вазари прекрасно умели наслаждаться картинами и статуями, а отвлеченная мысль долго еще не могла найти общее понятие, которое так привычно для нашего слуха – **понятие искусства**.

Мы склонны модернизировать старые слова и подгонять их к нашему современному употреблению. У древних греков не было слова, эквивалентного нашему слову «искусство». В соответствующих случаях они говорили «техне», но «техне» означало всякое умение – равно умение художника, врача, полководца, повара или оружейника. Величайшее творение искусства, описанное в «Илиаде» – щит Ахилла – было изготовлено богом-кузнецом, хромым Гефестом.

Греческому «техне» полностью соответствовало латинское «арс», от которого – через английский – пришли в русский язык слова-агрессоры «артбизнес», «арткритик» и им подобные, а еще ранее – «артист» и его производные. Но в древнеримском мире так называлось любое умение – и таким это слово работало в средневековой латыни. Когда из массы умений были выделены «свободные искусства», ни живописи, ни архитектуры, ни скульптуры среди них не было. Фома Аквинский, обсуждая виды человеческой деятельности, нашел среди них такие, которые были нацелены на «развлечение человеческого общества». Но отнести к ним скульптуры, украшавшие, скажем, королевский портал собора в Шартре, ему не могло прийти в голову.

Шартр, собор. Королевский портал. *XIII в. Фрагмент.*

Даже ренессансная мысль оказалась не готовой выделить из пестрой массы человеческих занятий область художественного.

[1] Там же, с. 19,

Только на рубеже XVII и XVIII веков проблема была осознана, и теоретическая мысль предприняла отважные попытки выделить из неупорядоченного множества человеческих занятий группу, которую можно было бы отнести к особому роду – к художественному творчеству. Слово «искусство» – на каком бы языке оно не произносилось – для такого дела не годилось: слишком прочно за ним закреплено было первоначальное значение любой искусности. Надо было к нему добавить некое определение, которое отграничило бы этот особый класс деятельности от всех прочих. Это определяющее слово было найдено в самом конце XVII века. Его применил Шарль Перро, который более известен как автор знаменитых «Сказок». Брат архитектора Клода Перро, создателя великолепного восточного фасада Лувра, известный в свое время литератор и активный участник актуальных тогда дискуссий об искусстве, он в 1690 г. впервые употребил определение «**изящные искусства**» и отнес к таким искусствам красноречие, поэзию, музыку, архитектуру, живопись, скульптуру, а заодно – и несколько неожиданно – оптику и механику. Этот довесок показывает, как нелегко давалась теоретической мысли новая группировка искусств. Механика и оптика, впрочем, вскоре выпали из комплекта, а театр и хореография пополнили список. Новое имя стало термином, отменив архаическое сообщество «свободных искусств» и зафиксировав новое расположение творческих деятельностей на карте культуры.

Перро, естественно, употребил французское «beaux arts»; за ним последовало немецкое «die schöne Künste», английское «fine arts»… Русское «изящные искусства», как видно из этих аналогий, звучало в XVIII веке ближе к выражению «прекрасные искусства».

Итак, к началу XVIII, ко времени Ватто и Жерсена, ко времени первых выставок, живопись и скульптура оказались в семействе умений, которые по сей день представляются нам родственными друг другу. На свет явилось новое, современное понятие искусства, охватывающее целую группу занятий, основанных на некоем общем принципе. Неудивительно, что примерно полвека спустя после предложения Перро появилась книга, которая об этом и говорила. Она так и называлась, «Изящные искусства, сведенные к единому принципу», ее написал аббат Шарль Баттё. Каков был этот общий принцип – нам сейчас не так уж и важно. Важно, что появилась новая область знания, которая сделала своим предметом все изящные искусства и стала отыскивать их общие свойства и индивидуальные отличия.

События развертывались с неслыханной и в то же время неумолимой быстротой. Баттё еще не знал, как эту область знания называть. Между тем нужное слово уже было изобретено: немецкий философ Александр Готтлиб Баумгартен произвел его от греческого понятия «aistheticos» – «чувственно воспринимаемый».

Александр Готтлиб *Баумгартен. Эстетика. Титульный лист первого издания.*

Ровно в середине века увидела свет первая книга под соответствующим названием – «Эстетика»; написал ее этот самый Баумгартен. А в семидесятые годы вышла двумя изданиями уже целая энциклопедия – «Всеобщая теория изящных искусств, рассмотренная в отдельных, расположенных в алфавитном порядке художественных понятий, статьях...»; лексикон составил немецкий ученый Иоганн Георг Зульцер. Словом, не мешает помнить, что это манящее слово «искусство» мы научились употреблять в его нынешнем смысле совсем недавно, каких-нибудь два с половиною века назад. И далось это нам с большим трудом.

Иоганн Георг Зульцер. *Всеобщая теория изящных искусств... Издание 1778 г.*

Вот тогда изобразительные искусства оказались обоснованно и прочно помещенными в мир эстетических феноменов как часть целого сообщества изящных искусств. Одним из следствий было то, что сравнение и сопоставление различных видов искусства напрашивалось само собой.

А там нетрудно было увидеть, что новый

для изобразительных искусств феномен публики не так уж и нов. Другие виды искусства обзавелись публикой довольно давно. Публика салонов появилась относительно поздно, ей предшествовало появление читающей публики, публики слушающей, публики театральной. Это было замечено сразу, в первой в истории рецензии на художественную выставку. Там было сказано:
«Выставленная картина подобна книжке, которая явилась на свет из-под печатного пресса. Она – как пьеса, поставленная на театре, о которой каждый вправе высказать свое суждение».[1] На тот же опыт ссылались и упорные академические противники публичных показов, мечтавшие охранить элитарный статус своих занятий: они сетовали на «власть партера». Под властью партера они разумели власть невежественной толпы. Один из высокопоставленных академических художников, гравер Ш.-Ф. Кошен, заявлял: *«Я придерживаюсь принципа, что картина и статуя не принадлежат публике так, как принадлежит книга».*[2] Книгам Руссо, Вольтера или Монтескье, видимо, надлежало знать свое место...

Тем не менее салоны создали свою нишу в культурной – художественной, интеллектуальной, светской, социальной – жизни Парижа, и заняли необратимо.

* * *

В пестром, радужном сборе зрителей, ставших выставочной публикой, была категория, которая требует особого внимания. Это такие специфические зрители, которые по некоторым причинам присвоили себе право публично обсуждать и оценивать выставленные произведения, доводя свои суждения до всеобщего сведения и заставляя к себе прислушиваться. Это первые арт-критики.

Самого первого я только что процитировал. Его звали Лафон де Сент-Йенн; он откликнулся на салон 1746 года критической брошюрой, которая проложила русло для обильного потока критической литературы. Сам Лафон не считал свои суждения выражением его собственного мнения, он полагал себя выразителем общественного мнения, которому в те времена стали придавать возрастающее значение.

Так думал не он один. Другой критик, говоря о миссии салонов, еще более энергично упирал на роль общественного мнения.

«Если прекратятся эти ежегодные состязания художников, искусство быстро придет в упадок. Мастера, которому богач заказывает картину, желая оставить ее своим наследникам, как некую драгоценность, не остановит ни мое, ни ваше суждение, ни уважение к самому себе, ни боязнь повредить своему доброму имени: не для нации будет он работать, а для частного лица, и в итоге вы получите от него лишь посредственную вещь, не имеющую никакой ценности. Общественное суждение – самая мощная из преград для лени, алчности, бесчестности».[3]

Этим строгим критиком-моралистом был сам Дени Дидро, которого – вопреки фактам, но вполне обоснованно – считают отцом художественной критики. С 1759 по 1781 гг. он писал обзоры салонов; эти статьи стали классикой арткритического жанра.

У XVIII века, века становления, были свои причуды. В случае с обзорами Дидро ситуация была ассиметричной: зритель-критик видел картины и скульптуры художников, но художники не видели и не читали строк критика. Создатель Энциклопедии не ленился их писать для элитарного журнала своего друга, барона Ф.В.Гримма *«Correspondance littéraire, philosophique et critique»*. Журнал выходил в немногих переписанных от руки экземплярах – для нескольких крупнейших властителей Европы; подписчицей была и царица Екатерина II. Поэтому критик мог себе позволить выражаться иногда с известной лихостью, без учтивых амортизаций: «*Господин Леписье, оставьте эти сюжеты, они требуют той любви к правде, которой у вас нет. А еще лучше – не пишите вовсе*». [4] Потомки сочли приговор критика этому живописцу, профессору Академии, несправедливым. В любом случае, однако, Дидро знал, что Леписье этих строк не прочтет. Но на них, возможно, взглянет, чуть улыбнувшись, российская императрица или король шведский. И это, с точки зрения великого просветителя, было важно: монархов следовало просвещать, от них многое зависело.

Блистательные «Салоны» Дидро были полностью напечатаны типографским способом лишь в 1875-77 гг., когда Париж сотрясали совсем другие страсти: разгневанные парижане уже тыкали зонтиками в непонятные картины на первых выставках импрессионистов, а остроумцы издевались над ними в газетных карикатурах. Искрометные страницы «отца художественной критики», написанные за сто лет до того, сделались к тому времени свидетельством, памятником переломного века.

---

[1] Teoretycy, artysci i krytycy o sztuce. 1700–1870. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974, S. 90.

[2] Crow Thomas E. Painters and Public Life in Eighteenth-Century Paris. New Haven, London: Yale University Press, p. 10.

[3] Дидро, Дени. Эстетика и литературная критика. Москва: Художественная литература. 1980, с. 373.

[4] Там же, с. 473

* * *

«Воздержимся от веры, будто рабство есть естественное состояние человека; будем вполне убеждены, что мы должны свободно развивать все свои способности. Между предательской общительностью цивилизованных людей, которые суть рабы, и свирепой враждебностью дикарей, которые боятся ими стать, я усматриваю чувство, достойное объединить человеческий род; это страстная любовь к изящным искусствам».

Искусство способно гармонизировать человечество!

Мы слышим в этих словах голос интеллектуала XVIII века, захваченного могучим ветром идей Просвещения. Тут, однако, упрятана некая трудность. Автор этой восторженной реплики – тот самый Луи де Кармонтель, который столь высокомерно описывал публику первых салонов. Помните?

«*...Куда ни глянь, бесчисленные молодые клерки, лавочники, приказчики, у которых монотонная и скучная работа неизбежно уничтожает всякое чувство красоты...*»[1]

Эти люди и есть то общественное мнение, чьим рупором полагали себя первые критики – от Лафона до Дидро? Это то «животворное око народа», о котором столь вдохновенно будет говорить Жак Луи Давид, художник революции и член революционного конвента, предлагая превратить коллекции королей в национальный музей?

Круг снова замыкается на зрителе, чья фигура перемещается в самый центр художественного мира и становится куда более детально различимой в своей сложности и многозначности.

ЖИВОТВОРНОЕ ОКО, ИЛИ О ВКУСЕ

Одно из самых популярных латинских изречений существует в двух вариантах. Оба содержат в себе ловушки для доверчивого ума.

«De gustibus non est disputandum» – «о вкусах не спорят». Сформулированная на древнем языке мудрость заставляет нас предполагать наличие эстетической терпимости и плюрализма уже у обитателей родины изречения, будь то Цицерон, или Марк Аврелий, или просто какой-нибудь образованный римлянин.

Другой вариант – «de gustibus et coloribus non est disputandum» («о вкусах и цветах не спорят»), как может показаться, намекает на более древнюю дифференциацию смыслов. По-видимому, под вкусами тут подразумеваются только кулинарные чувства, а для подключения эстетических добавлены coloribus: к простым наслаждениям нёба приплюсованы более субтильные наслаждения чувственности и духа – чтобы человек понимал, о чем речь.

На самом деле, однако, эти реконструкции ошибочны. Древние римляне отнюдь не были лишены эстетического вкуса, очертания и эволюцию которого можно различить и ныне с достаточной мерой достоверности. Но идея относительности вкусов, запечатленная в популярном изречении, не им принадлежит. Как показали внимательные исследования, максима «de gustibus…» появилась только в Средние века, в эпоху схоластики. Конечно, мы не должны придерживаться обывательского представления о высокой схоластике, как о пустом догматическом толчении философской воды в теологической ступе – эта фаза истории европейской мысли была отмечена появлением многих глубоких и мудрых идей. И все же вряд ли можно было ожидать, что идея относительной правоты любых эстетических вкусов родится во времена схоластического богословия. Что же касается добавления «et coloribus», то оно было сделано только в начале XIX века.

Словом, появление темы вкуса как предмета специального обсуждения заслуживает более пристального и деликатного внимания. Стоит присмотреться к известным текстам, чтобы обнаружить надежное правило: о вкусе заговаривают там, где по-настоящему оформляется зритель, способный к эстетическому смотрению. Вкус есть качество или способность, присущие человеку смотрящему, слушающему, читающему особым образом – человеку эстетическому, homo aestheticus. Поэтому разговоры о вкусе, помимо всего прочего, это симптом. Подобные тексты дают нам знак – там и тогда такой человек появился. Так это произошло в культуре зрелой античности и именно там слово, заимствованное из области суждений нёба – gustus – обрело новый смысл.

В этом смысле мы слышим его у Цицерона – не только великого оратора и стилиста, но утонченного и страстного любителя искусства, собирателя и знатока. В известном «Послании к Пизонам» другой человек высокой римской культуры, Гораций, изложил своего рода теорию вкуса. Сама возможность обретения высокого вкуса, по Горацию, обусловлена местом человека в социуме и культуре:

[1] Crow Thomas E., Painters and Public Life in Eighteenth-Century Paris. New Haven, London: Yale University Press 1985, p. 19.

Слева «современники»: портал церкви Св. Троицы. Вандом. *Начало XVI в.*
Справа «вкус древних»: Филиппо Брунеллески. Капелла Пацци. Флоренция. *Середина XV в.*

Ибо как требовать вкуса от грубости
жителей сельских,
Праздных невежд,
с горожанами смешанных вместе?

Противопоставление культивированной образованности, присущей урбанистической культуре, и рустикальной неотесанности можно найти и у других авторов того времени, например, у Квинтилиана; таково было общее место. Гораций добавил сюда еще кое-что:

Часто комедия, местности блеском и
верностью нравов,
Хоть и чуждая вкуса и чуждая
силы искусства,
Больше народ забавляет и больше его
занимает.

Образованность, утонченность и преданность высоким занятиям способствуют проявлению индивидуальной одаренности, которая, правда, распределяется среди избранных неравномерно.

Старший из братьев Пизонов! Хоть верен и вкус твой и разум...

– признает поэт, но, –

...когда что напишешь,
Метия верному слуху должен
на суд ты представить.

У цензора Метия, по мнению Горация, вкус отличался более высокой точностью...

«Послание к Пизонам» позднее получило название «Ars poetica» – «Искусство поэзии», или, если угодно, «Поэтическое искусство». Это почетное имя стихотворный трактат Горация заслужил. В частности, там высвечены проблемы вкуса, которые станут в будущем предметом долгих и горячих обсуждений. Они вспыхнут, как только в Европе выведут, опираясь на античный опыт, новый культурный вид: «эстетического человека», «homo aestheticus». Он заявит о своем присутствии настолько внятно, что на него тут же будет наведена философическая лупа.

История становления этого вида, как мы видели, заняла столетия. Но, как только появились первые экземпляры, неотъемлемый их атрибут, вкус, стал предметом обдумывания. В пору раннего Возрождения, в середине XV века ключевое слово (еще не полностью отделив его от кулинарной пуповины) использовал Филарете – архитектор, скульптор и теоретик архитектуры – для описания пережитой им зрительской революции. «Современной архитектурой» он называл цветущую тогда позднюю готику.

«Мне тоже нравились современники, но как только я начал вкушать [внимание, он употребляет тут глагол gustare, от gusto, вкус!] *древних, я невзлюбил современников»*.[1]

Почти столетие спустя сходным образом выражался другой ренессансный автор, Леон Еврео.

«*И так же, как благое и злое для души похоже на сладкое и горькое применительно к вкусу, так и прекрасное и некрасивое (для души) сходны с приятным (на вкус) и невкусным, а некрасивое и безобразное подобно ужасному и отвратительному на вкус*». [2]

В XVII веке слово начинает освобождаться от кулинарно-метафорических подпорок и обретает самостоятельность. Когда персонаж мудрого испанца, Балтазара Грасиана, говорит своему собеседнику «у

[1] Tonelli, Giorgio Taste in the History of Aesthetics from the Renaissance to 1770. – Dictionary of the History of Ideas. Vol. IV. New York: Scribner. 1973, П. 354.

[2] Еврео, Леон. Диалоги о любви. – Эстетика Ренессанса. Т. I. Москва: Искусство. 1981, с. 314.

тебя хороший вкус», то он имеет в виду способность различать красоты и восхищаться ими; о трапезе речи нет, говорится о пиршествах иного рода.

Наконец, понятие эстетического вкуса окончательно отвердевает, опустившись на бытовой уровень и войдя в лексикон мольеровских прециозных дам: «*Нужно быть антиподом здравого смысла, чтобы не признать Париж кладезем чудес, средоточием хорошего вкуса, остроумия и изящества*».[1]

У. Хогарт. *Вкус высшего общества. Гравюра на меди. 1746 г.*

На этом становление понятия заканчивается, носитель качества, им обозначаемого, готов, наступает пора теоретического обсуждения этого понятия.

* * *

Прежде чем разгорелись главные споры о природе вкуса, был предпринят опыт стабилизации вкусовых оценок, к которому стоит присмотреться. Его предпринял один из ярких участников художественной жизни, художник и теоретик искусства Роже де Пиль. Еще в конце XVII века он разработал и предложил свой метод оценки произведений живописи, который должен был обеспечить максимальную объективность эстетических оценок. Если бы де Пиль был нашим современником, он бы, вероятно, говорил о применении точных методов в гуманитарных исследованиях. В своей книге, впервые изданной еще в 1677 г., он опубликовал (а затем повторил в издании 1708 г.[2]) свой «Баланс художников», где достижения каждого получили количественную оценку. Вот фрагмент его таблицы:

NOMS des Peintres les plus connus.	Composition.	Dessin.	Colorit.	Expression.
Jolepin.	10	10	6	2
Jules Romain.	15	16	4	14
L				
Lanfranc.	14	13	10	5
Léonard de Vinci.	15	16	4	14
Lucas de Leide.	8	6	6	4
M				
Mich. Bonarotti.	8	17	4	8
Mich. de Caravage.	6	6	16	0
Mutien.	6	8	15	4
O				
Otho Venius.	13	14	10	10
P				
Palme le vieux.	5	6	16	0
Palme le jeune.	12	9	10	6
Le Parmesan.	10	15	6	6
Paul Veronese.	15	10	16	3
Fr. Penni il fattoré.	0	15	8	0
Perrin del Vague.	15	16	7	6
Pietre de Cortone.	16	14	12	6
Pietre Perugin.	4	12	10	4
Polid. de Caravage.	10	17		15
Pordenon.	8	14	17	5
Pourbus.	4	15	6	6
Poussin.	15	17	6	15
Primatice.	15	14	7	10
R				
Raphaël Sanzio.	17	18	12	18
Rembrant.	15	6	17	12

Роже де Пиль. *«Баланс художников».*

Роже де Пиль оценивал по отдельности четыре качественных характеристики произведения – композицию, рисунок, колорит и экспрессию. Максимально возможная оценка была 20 баллов, ее не получил никто – видимо, она была зарезервирована для божественных творений. Наивысшая оценка, которой удостаивались смертные – 18 баллов. Так, у Рафаэля оказалось 18 сразу по двум рубрикам – рисунку и экспрессии.

К началу XX в., когда ранги художников в европейском каноне были установлены существенно иначе и, как казалось, на века, таблица французского знатока времен Людовика XIV стала легкой добычей для насмешников.

– У Микеланджело выразительность – 8?

– У Караваджо – 0?

«Точные методы» XVII века позорно оскандалились...

Таким может быть вывод, если принимать намерения французского ценителя всерьез. Если же присмотреться к обстоятельствам более пристально, то здесь можно увидеть всего лишь попытку установления некой «правильной» нормы вкуса, да и это – в полемике с иной попыткой установления нормы вкуса, не менее категорической и агрессивной. Роже де Пиль был одним из главных участников эстетической полемики второй половины XVIII в., разделившей на два враждующих лагеря сообщество художников и теоретиков искусства. Каждая сторона выбрала в качестве образца и заодно боевого клича имена недавно ушедших мастеров, одна – Николя Пуссена (он умер в 1660 году), другая – Петера Пауля Рубенса (он умер в 1640 году). В стане пуссенистов объединились сторонники классицизма; классицизм был принят в качестве основополагающей эстетической доктрины и в Академии художеств. Роже де Пиль был лидером рубенсистов. Шкала оценок, получивших у него столь убедительное числовое выражение, была

1 Мольер Жан-Батист, Комедии. М.: Искусство. 1954, ц. 70.

2 Piles R. De. Cours de peinture par principes. Paris, 1708

ничем иным, как наложением на историю живописи последних трех веков вкусовой матрицы рубенсизма. «Баланс» был не только исчислением живописных достоинств. Одновременно он был утверждением истинности вкусовых предпочтений автора. Баллы создавали иллюзию единственно правильной оценки. Но точно такой же считали свою оценку и сторонники классицизма, усматривая в его канонах единственные и неоспоримые законы красоты.

Неудивительно, что беспрецедентный интерес к проблеме вкуса, отличающий мысль XVIII века, должен был фокусироваться на проблеме объективности зрительских суждений; иными словами, речь шла об истинном вкусе и о вкусе ложном, а также о вкусе высоком и рафинированном и о вкусе вульгарном. И наконец – о самой природе суждения вкуса и его отличии от суждений нравственных, практических или познавательных. Об этом задумывались лучшие умы века.

Вот неполный список блистательных мыслителей, из которых ни один не смог пройти мимо проблем вкуса: во Франции – Ш. Баттё, Ж. Б. Дюбо, Ш. Монтескье, Ф. М. А. Вольтер, К. А. Гельвеций, Д. Д'Аламбер, Ж-Ж. Руссо, Д. Дидро; в Англии – Шефтсбери, Д. Эдиссон, Э. Берк, Ф. Хоум, У. Хогарт, Ф. Хатчесон, Д. Юм, А. Джерард, А. Поп, Д. Драйден; в Германии – А. Р. Менгс, И. Г .Зульцер, М. Мендельсон, Ф. Шиллер, И. Г. Гердер... 1790 годом датируют третью великую книгу И. Канта, завершающую его философскую трилогию – «Критику способности суждения», где изложена его эстетика. Спустя пять лет увидят свет «Письма об эстетическом воспитании человека» Ф. Шиллера.

Эти увлекательные страницы истории эстетической мысли мы не обязаны сейчас перелистывать; достаточно заметить, что столь пристальное, напряженное и драматическое исследование вкуса есть лучший знак того, что в ткани культуры возникло новое активное тело, а лучше сказать – новое, пусть размытое, но определенно различимое множество – публика. Непременным и в сущности единственным условием принадлежности к публике, если угодно – пропуском в публику является наличие и эксплуатация сложного и трудноуловимого культурного и одновременно психологического механизма – вкуса. Отсюда столь объемное, многогранное, столь интенсивное думание о вкусе, заполняющее век, который заслужил право называться «веком вкуса».[1]

Отныне любой осмысленный разговор о зрителе должен будет непременно включать проблематику вкуса, без нее не обойтись никак. Мы еще вернемся к ней, и не раз.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В том же 1720 году, возможно – в те самые дни, когда Жан Антуан Ватто писал свой последний шедевр, картину-вывеску для лавки Жерсена, на родину из дальних краев возвращался первый русский светский живописец, пенсионер царя Петра – Иван Никитин. Конечно, к тому времени в России уже работали приглашенные с Запада живописцы и граверы; у одного такого – то ли у немецкого живописца Таннауэра, то ли у голландского гравера Схонебека, Никитин получил первые уроки письма на европейский манер. Пенсионерское обучение в Италии и возращение к российскому двору тем не менее можно считать символическим началом новой русской живописи. Сама живопись, а также живописец и его зритель, однако, не сразу обрели свое место в новом, еще только становящемся культурном ландшафте. Живописца Ивана позднее бес попутал вмешаться в политические дела – он оказался в оппозиции к «западническому» настрою царствования Анны Иоанновны, был арестован, бит плетьми, заключен в крепость и затем сослан в Тобольск...

Иван Никитин. *Петр на смертном одре. 1725 г. Государственный Русский музей*

Другие мастера были устроены в соответствии с практическими целями, ради которых, собственно, поощрял художества царь-реформатор: в период с 1710-го по начало 1720-х живописцы работали при Партикулярной верфи, Адмиралтействе, Оружейной

[1] Так назвал посвященную этой теме книгу видный американский эстетик Д. Дикки: G. Dickie. The Century of Taste. The Philosophical Odyssey of Taste in Eighteen Century. New York – Oxford. Oxford University Press, 1996.

палате и тому подобных местах. Прагматизм петровского царствования, возможно, нигде не был виден так ярко, как в сфере искусства: прямолинейный утилитарный подход к художественному творчеству резко контрастировал с утверждаемой на Западе идеей его самоценности. Живопись, эстамп, скульптура требовались для иллюстрирования, документирования, обучения, пропаганды, оформления празднеств; наибольший объем работ был связан с декорированием зданий, но «величие храмов и великолепие дворцов» имело свой практический смысл – как необходимый внешний атрибут державности. Когда революционная волна петровских реформ – вместе с творческой текучестью институтов – схлынула, прагматическая установка в отношении пластических искусств стала отвердевать в соответствующих формах художественной жизни. Планы создания академии, подобной зарубежным, восходили еще ко временам Петра, но до их реализации дело дошло только к концу 1750-х. До этого реальным и наиболее значительным центром работ подобного рода была Канцелярия от строений, при которой состояли архитектурная и живописная «команды». Художники служили и во многих других местах – при Гофинтендантской конторе, Синоде, Герольдмейстерской конторе, Мануфактурной конторе, Конюшенной канцелярии, Берг-коллегии, Вотчинной канцелярии, порцелинной, монетной и шпалерной мануфактурах... Необходимо обратить сугубое внимание на глагол, употребленный в качестве сказуемого в предыдущем предложении – это была именно **государственная служба**, которую даже покинуть по собственному желанию не разрешалось. Статус вольного художника существовал, да и служивым живописцам выполнять частные заказы не возбранялось. Но в распределении ролей центр тяжести приходился на государеву службу.

Работа на заказ и в команде вела к сглаживанию индивидуальных различий. Персональный характер послания, который художник адресовал публике через парижские салоны, здесь мало кому был известен.

Решительным актом европеизации российского мира искусства стало учреждение Академии художеств. Период ее становления, начиная с «партикулярного» эпизода под руководством И. Шувалова и до окончательного формирования при И. Бецком в начале шестидесятых годов, пришелся на время своего рода грюндерства. Повсюду в Европе, в столицах и культурных центрах, возникали академии художеств. Невзирая на частные различия, это были ветви единой традиции, восходящей к академиям Флоренции, Рима, Болоньи и получившей окончательную шлифовку в Париже.

Создатели петербургской школы присматривались к нескольким подобным институциям, но пример французской был исходным. Да и первые профессора – приглашенные, разумеется – в большинстве своем были французы. Лучшие воспитанники петербургской Академии, посылаемые в Европу в качестве пенсионеров для дальнейшего совершенствования, поначалу доучивались преимущественно во Франции; очередь Рима наступит позже.

Время основания петербургской Академии примечательно и в другом отношении: в Европе стилистическая волна неоклассицизма вытесняла рококо. В ноябре 1764 года императрица утвердила устав и привилегии реформированной Академии, в том же году в Дрездене вышло первое издание «Истории искусства древности» Иоганна Иоахима Винкельмана – великой книги, которая подарила классицизму новое дыхание. Барон Гримм, издатель «Correspondence», где публиковал свои «Салоны» Дидро, в том же году сообщал, что в Париже все стало a la greque...Спустя десяток лет в Петербурге будет гостить сам Дидро.

Увлечение императрицы – равно как и российской интеллигенции того времени –идеями Просвещения хорошо известно. Оно явственно отразилось в ориентациях пересозданной Екатериной и ее помощником Академии. Педагогическую мечту Бецкого, заложенную в проект Академии – «выведение новой породы людей» – можно оставить в стороне. Порода осталась прежней. Что же касается идей относительно роли искусства в деле улучшения человеческой природы, то их ожидало непростое будущее.

На торжественной церемонии открытия Академии художеств соответствующее случаю «Слово» произнес поэт Александр Сумароков. Послушайте:

«Перьвая должность упражняющихся в сих хитростях, изображати Истории своего отечества, и лица великих в оном людей, Монархов, победителей и протчих. Сие многое подаст потомству в Истории просвещение, услугу потомству, силы заражения в подражании славных дел, утеху любопытным, и пользу миру. Довольно бы почтения и сим только сии два художества заслужили, но польза от них еще изречена не вся. И вымыслы толико же почти возбуждают героические души к подражанию, колико История. Гомерова Илияда служила Александру ради подражания Историею; тако и Пикторския и Скульптурския выдумки зрителям Историею служить могут. Пиитические выражения и их изображения, хотя они и вымышлены, служат познанию естества, и всему тому, чево человечество к исправлению требует: и не редко больше имеют они успеха, нежли проповедуемая мораль подражанию великих дел, от-

вращению от пороков».[1]

Такова программа. Указана цель и названы средства, с помощью которых она реализуется. Правда, не все. Для того, чтобы сии хитрости принесли требуемые плоды, необходимо выполнить еще одно условие: **эти картины и скульптуры должны быть увидены**– иначе сила заражения в подражании, равно как и любая другая сила, не сможет проявить себя.

В академических регламентах это было предусмотрено. Известно, что выставки были введены Академией (и тут образцом послужил французский опыт) начиная с 1762 года. С тех пор почти ежегодно, до самого конца века, «Санкт-Петербургские ведомости» извещали, что Императорская Академия художеств «*имеет быть открыта для народного зрения».* Иногда в сообщении указывалось, что Академия будет открыта «в силу устава своего» (вспомним Кольбера и первые выставки во Франции). Но вот трудность: узнать, что именно было представлено народному зрению и что народное зрение собой представляло, совсем непросто.

По-видимому, академические выставки бывали открыты недолго, всего по нескольку дней. Их состав не был зафиксирован наподобие французских «ливре» и потому не поддается реконструкции. В имеющейся литературе постоянно повторяются сведения об одной только выставке 1770 года, описанной в свое время известным историком Академии Д. Ровинским. Эта выставка, небольшая по числу экспонатов, стала заметной вехой в истории русского искусства XVIII в. Там были показаны четыре портрета Дмитрия Левицкого, сделавшие его знаменитым, четыре работы Антона Лосенко, и среди них – «Владимир и Рогнеда», признанная первой русской исторической картиной, а также архитектурные проекты Валлен-Деламота, Фельтена и др. Эта выставка, как и другие академические выставки XVIII века, не вызвала критических откликов в прессе. Ну что же, «Владимир и Рогнеда», будучи столь значительным событием в наследии XVIII века, может послужить нам предметом более детального обсуждения.

Итак, насколько первая русская историческая картина первого русского профессора исторической живописи отвечала программе, изложенной в торжественной речи поэта Сумарокова? *Послужила ли она познанию естества, подражанию великих дел, отвращению от пороков, и всему тому, чево человечество к исправлению требует?*

Если да, то как?

Если нет, то почему?

Антон Лосенко. *Владимир и Рогнеда. 1770 г. Государственный Русский музей*

А.Лосенко. *Владимир и Рогнеда. 1770 г. Фрагмент. Государственный Русский музей.*

Экспрессии. *Фрагмент таблицы образцов из «Энциклопедии» Дидро.*

История, которой вдохновлялся Лосенко, была хорошо известна. Дело шло о X веке. В Киеве правил князь Ярополк Святославич; его младший брат Владимир, которому предстояло крестить Русь, княжил в Новгороде. Случилось так, что что оба брата стали свататься к славной своей красотой полоцкой княжне Рогнеде. Отец Рогнеды, князь Рогволод придерживался принципов, которые в те поры встречались редко: он пожелал узнать мнение дочери. Ответ благородной Рогнеды вошел в историю. Она сказала: «Не хочу разути робичича, хочу за Ярополка». Разувание жениха в те

[1] История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. II. М., 1964, с. 756.

времена было частью принятого у славян свадебного ритуала; нежелание разуть означает нежелание выходить замуж за Владимира. Ибо «робичич» значит «сын рабыни»: Владимир был сыном князя Святослава не от жены, а от некой ключницы Малуши. Очевидно, постельные тайны киевского двора не были секретом, и Рогнеда, чье происхождение было безупречным, не могла себе позволить такой мезальянс. Послы возвращаются в Новгород. Далее в Лаврентьевской летописи говорится:

«И пришли отроки Владимира и поведали ему всю речь Рогнеды – дочери полоцкого князя Рогволода. Владимир же собрал много воинов – варягов, славян, чуди и кривичей – и пошел на Рогволода. А в это время собирались уже вести Рогнеду за Ярополка. И напал Владимир на Полоцк, и убил Рогволода и его двух сыновей, а дочь его взял в жены».

Я привожу здесь более деликатное описание событий. В другой летописной версии дается понять, что князь Владимир изнасиловал прекрасную княжну на глазах у ее отца и братьев, а потом уж ликвидировал очевидцев акции, которая в приведенной цитате элегантно описана выражением «взял в жены». Конечно, нравы в те поры на Руси – и не только на Руси – были жестокие, но даже на этом фоне князь Владимир выглядит изощренным и необузданным бандитом.

Это еще не все. Летописец не жалеет красок для описания гомерического сластолюбия князя, которому предстояло крестить Русь.

«Был же Владимир побежден вожделением, и вот какие были у него жены: Рогнеда, которую поселил на Лыбеди, где ныне находится сельцо Предславино, от нее имел он четырех сыновей: Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода – и двух дочерей; от гречанки имел он Святополка, от чехини – Вышеслава, а еще от одной жены – Святослава и Мстислава, а от болгарыни – Бориса и Глеба, а наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове в сельце, которое называют сейчас Берестовое. И был он ненасытен в этом, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц».

Впрочем, доверять каждому слову летописца было бы неосторожно. У древних несторов были свои риторические приемы. Последующие строки Лаврентьевской летописи дают внятную подсказку:

«Был он такой же женолюбец, как и Соломон, ибо говорят, что у Соломона было 700 жен и 300 наложниц. Мудр он был, а в конце концов погиб. Этот же был невежда, а под конец обрел себе вечное спасение».

Вот зачем нужно было летописцу изображать в ярких красках негодяйство и распутство Владимира-язычника – чтобы оттенить противоположность этого образа дикого варвара величию и чистоте равноапостольного Владимира-христианина. Ибо вечное спасение дается даже ворам и блудницам, которые уверовали и покаялись; это весьма распространенный в христианской агиографии сюжет, более эффектный, чем даже изначальная праведность. Заодно уж летописец воздал хвалу невежеству, но это не было новостью даже в те времена.

Лосенко изучал тексты летописей и изложения события в тогдашних сочинениях по российской истории. Авторитетный исследователь творчества Лосенко опубликовал выписки, которые художник делал, когда работал над картиной. Там, помимо собственно летописного текста, воспроизведены отрывки из «Истории российской» князя М. Щербатского, из «Синопсиса» и из «Истории российской» М. Ломоносова.[1] Выписки содержат изложение событий, какими они описаны в летописях, с небольшими вариациями. Так или иначе, но повествование кончается кошмаром покорения Полоцка, убийства неповинного в отказе дочери князя Рогволода и его тем более ни в чем не повинных сыновей и насильственной женитьбой на Рогнеде. У М. Щербатского: «*Владимир, пришедши под град Полоск, в бывшем бою Рогволода разбил, и как самого его, так и двух его сыновей убил, и дочь его Рогнеду силою за себя взял*». [2]

Достаточно беглого взгляда на картину, чтобы увидеть: Лосенко, столь добросовестно штудировавший источники, с ними не посчитался.

Предстоящий перед несчастной княжной убийца ее отца и братьев, взявший – согласно историческим документам – ее насильно, полон возвышенных и благородных чувств. В его позе – в те времена ее называли на французский манер «аттитьюдом» – в выражении лица, склоненной голове, прижатой к груди руке – все это называлось «экспрессиями» – искусно совмещены чувства любви, раскаяния и покорности воле Рогнеды. Владимир у Лосенко – полная противоположность Владимиру летописи.

Сам художник прекрасно отдавал себе отчет в том, что делает. В специальном «Изъяснении» к картине он обосновывал свое решение: *«...Владимир женился на Рогнеде против воли ее, когда же он на ней женился, то должно, чтоб он ее и любил. Почему я и представил его так как любовника, который видит свою невесту обезчещену и лишившуюся всего, должен был ее ласкать и извиняться перед нею, а не так как другие заключают, что он ее сам обезчестил и после на ней*

---

[1] А. Л. Каганович. Антон Лосенко и русское искусство середины XVIII столетия. Москва. Издательство Академии Художеств СССР. 1963. С. 150-151, 267-268.

[2] Там же, с. 267.

женился, что мне кажется очень ненатурально, а ежели и то было, то моя картина представляет как только первое свидание».[1] К сказанному можно было бы добавить, что Лосенко-живописцу было интересно решить сложную задачу «экспрессии» в подобной ситуации – и он с этой задачей справился.

Еще одну, более сильную версию расхождений предложил в своей монографии А.Л.Каганович. *«Картина рисует Владимира не только как человека сильного чувства, она не только показывает его благородство, но и утверждает героическое начало образа. Жестокости, проявленной Владимиром при взятии Полоцка, и убийству Рогволода не придавалось значения. Это были вынужденные поступки, необходимые для достижения цели. ... И в данном случае герой и победитель был вне осуждения, он не только был оправдан, но и наделен художником большой силой обаяния. Эта особенность трактовки образа существенна, так как вытекала из общей трактовки роли Владимира, принятой в XVIII веке. Святость и непогрешимость были отличительными признаками князя...»*[2]

Блеск святости стер тени дохристианского варварства так, словно их и вовсе не было. Получился идеальный образ – Владимир показан *«... благородным рыцарем, исполненным всепрощения и даже галантности. ... Образ Владимира, созданный Лосенко, был обращен к современникам, которые должны были проникнуться благородством Владимира, заключавшим в себе ту силу эмоциональной чувствительности, которая стала обязательной для каждого положительного образа в русском искусстве XVIII столетия».* [3]

На таком свойстве образа Владимира, как всепрощение, – выразившееся, видимо, в том, что он не прирезал единственную виновницу обиды Рогнеду, ограничившись ее близкими, – далее останавливаться нет необходимости. Мы подошли к главному занимающему нас моменту интриги: картина Лосенко обращена к современникам, которые должны были проникнуться благородством т.д.. Кто эти современники, сколько их было, и где они могли испытать соответствующие чувства?

Как было уже упомянуто, выставка, где картина была впервые показана, была открыта всего несколько дней. Сколько обывателей Санкт-Петербурга успело там побывать, неизвестно. После выставки картина была передана в царскую коллекцию, в «Эрмитаж» (что, вспомним, значит по-французски «уединенное место»), где и хранилась до конца столетия. В те времена это было частное собрание просвещенной императрицы – и, по ее слову, собранными там сокровищами любовалась только она и мыши. Царица, конечно, несколько лукавила. Коллекция была – в духе времени – уже доступна, но никак не для народного зрения. Тех, кого историческая картина призвана была воспитывать, подымая патриотическое воодушевление, там видно не было. Историк Эрмитажа рассказывает: *«Доступ в Эрмитаж был открыт по особым разрешениям, которые [...] давались в семидесятые годы Бецким. Эти разрешения давались любителям художеств и иностранцам, причем [...] получить эти разрешения на осмотр во время отсутствия двора – то есть в летнее время – было нетрудно. Кроме того, в галерею были допущены художники – профессора и ученики Академии художеств. Для копирования была отведена Западная галерея.*

В этом отношении Эрмитаж следовал, несомненно, установившейся в это время практике в ряде европейских дворцовых галерей».[4]

Без сомнения, в 1773 году коллекцию видел Дидро, гостивший в Петербурге – ведь он больше многих других делал для ее пополнения! Тогда же Дидро оказался в списке приглашенных на похороны Антона Лосенко, умершего от водянки в возрасте 37 лет...

А первая русская историческая картина огромной воспитательной силы была позднее передана в Английский дворец в Петергофе, где она могла вдохновлять членов императорской фамилии и придворную челядь. Только в 1862 году, почти столетие спустя после короткой ее демонстрации «для народного зрения» на академической выставке 1770 года, картина была передана в музей Академии художеств. Уместно вспомнить, что через год после этого разразился в Петербургской Академии художеств знаменитый «бунт четырнадцати», приведший в конце концов к рождению Товарищества передвижных выставок. В русском искусстве и в его отношении к народному зрению вызревали тогда коренные перемены.

В Русский музей картина Лосенко попала в 1923 году. По странному совпадению, в тот год Товарищество передвижных выставок прекратило свое существование.

* * *

Российский мир искусства принял просветительский проект, но только в меру

[1] Там же, с. 152.

[2] Там же, с. 157.

[3] Там же, с. 157-158.

[4] В. Ф. Левинсон-Лессинг. История картинной галереи Эрмитажа (1764-1917). Ленинград: Искусство, 1986. С. 121.

своей незрелости. Принял наполовину. Реальное соотношение жанров живописи и скульптуры отвечало здесь реальной потребности: высшим и наиболее востребованным жанром на самом деле был портрет. Но фантомная академическая иерархия жанров оставалась непоколебленной. Не случайно великий портретист, скульптор Федот Шубин жаловался на презрительное клеймо, каким был мечен коллегами исторического жанра: «он портретной». Исторический жанр, включавший помимо собственно светской истории историю священную, а также мифологию, оставался на самой вершине академической иерархии, ему надлежало возжигать и поддерживать геройский огонь и любовь к отечеству. Эта функция была ему присвоена изначально, в качестве мировой константы. Эффективность правильной исторической картины приобретала ритуальный статус: залогом ее действенности оказывалось само ее наличие и соблюдение соответствующих правил – независимо от того, каков был реальный результат ее воздействия и имел ли он вообще место. Видел кто-либо правильную картину или не видел, оставило ли ее созерцание какие-либо интеллектуальные отпечатки, произвело ли сильные душевные движения – никто не проверял. Сам факт наличия отвечающей правилам картины считался равным исполнению ее общественной миссии, ее просвещающему воздействию. Неполное, как бы потенциальное, возможное воздействие картины отождествляется в таких случаях с ее действительным существованием, т.е. **ее жизнью в восприятиях, переживаниях, личностных пониманиях и интерпретациях...**

Перенос просветительской концепции на неготовую культурную почву привел к абсурдной ситуации: послания с идеологической и воспитательной установкой не достигают адресата, но установка считается выполненной – и это фиксируется в текстах об этих посланиях. Такого рода описания должного как наличного можно счесть одним из признаков бюрократического текста. И тогда можно будет признать, что в России XVIII века мы наблюдаем опыт бюрократизации социального и психологического функционирования искусства. Что-то от этого опыта осело в наследственном аппарате культуры и проявилось через полтора столетия, когда стало принято считать, будто, скажем, сам факт наличия картины «Праздник в колхозе» Сергея Васильевича Герасимова не только свидетельствует о счастливой и изобильной жизни советских крестьян, но пробуждает у всех советских людей чувства счастья, гордости и глубокого удовлетворения. Чтобы быть в этом уверенным, опрашивать советских людей не требуется. Картина была написана и показана в 1937 году. Сегодня специалисты предпочитают говорить – и справедливо – о высоких живописных достоинствах полотна.

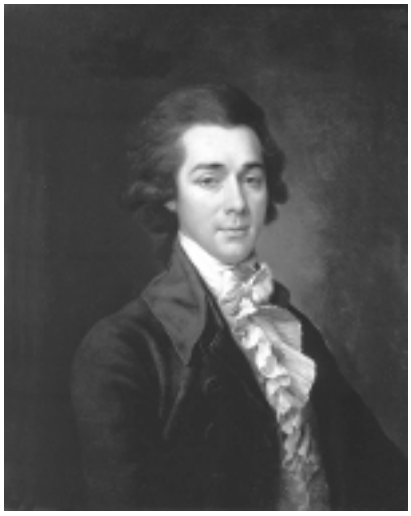
Сергей Герасимов. *Колхозный праздник. 1937 г. Государственная Третьяковская галерея*

РОССИЙСКИЙ ЗНАТОК В ЕВРОПЕЙСКИХ СОБРАНИЯХ

Пора, однако, вернуться в XVIII век – век великого перелома.

Голоса российских зрителей доносятся до нас оттуда невнятно. Да и сам образ “российского зрителя” представляет собою пустую абстракцию: картины и статуи, которые мог видеть кое-кто хотя бы из жителей Санкт-Петербурга, были недоступны и неведомы обитателям Вологды или Торжка. «Среднего» или «типичного» российского зрителя вычленить и описать нет никакой возможности, типизировать почти что нечего. Тем не менее единичные экземпляры высшего европейского качества встречались и здесь – мир для русского интеллектуала был открыт, если его интеллект был открыт миру. К одному из таких стоит присмотреться, тем более что он оставил ценное и хорошо артикулированное послание. Его звали Николаем Александровичем Львовым.

Н. А. Львов был русским «ренессансным человеком» восемнадцатого века. Он был признанным архитектором, много проектировавшим и строившим в столице и в провинции; его вклад в историю русского архитектурного неоклассицизма хорошо известен и высоко оценен. Он изобрел собственную – и весьма эффективную – строительную технику (так называемый «землебит») и разработал систему калориферного отопления и вентиляции. Он писал картины и владел графическими техниками. Он дружил с лучшими художниками своего времени, Дмитрий Левицкий



Д. Левицкий. *Портрет Н. Л. Львова. 1789 г. Санкт-Петербург. Русский музей.*

написал его портрет, а портрет его жены, кисти того же Левицкого, остается хрестоматийным образцом лучших творений русской портретной живописи. Державин, Капнист, Херасков, композитор Фомин (с которым он сотрудничал) были его близкими друзьями. Именно в этом кружке, душою которого он был, Львов заслужил высокую оценку Державина, который назвал его «гением вкуса». Он собирал русские народные песни и издал целый сборник – с нотами, когда это мало кому приходило в голову. [1] Нынешние исследователи считают его коллекцию величайшим и наиболее культурно значимым собранием русской фольклорной музыки. Он был первый, кто предлагал в России каменный уголь и торф в качестве топлива. Он переводил на русский Анакреона, Палладио (который был его архитектурным кумиром), Петрарку, Сафо, он открывал и публиковал русские летописи. Он был одним из 36-ти первых членов только что учрежденной Российской Академии наук...

Н. Львов в 1781 году совершил зарубежную поездку. Он побывал в нескольких городах Италии, в Вене, и везде внимательно осматривал художественные собрания и известные памятники, делая для себя пометки в специальной тетради. Это уникальный зрительский документ. Впервые он стал известен благодаря публикации 1909 года в журнале «Русская старина», где документ был описан так: *«Маленькая невзрачная тетрадка, исписанная старым, неразборчивым почерком, в собрании одного известнаго любителя»*. Публикатор, В. А. Верещагин, цитировал избранные и, как ему казалось, наиболее выразительные фрагменты из обнаруженной им рукописи. Он отнесся к публикуемому тексту с некоторым высокомерием и не сумел увидеть высказывания и оценки Львова в контексте места и времени. Свою заметку он заключал следующими словами: *«Таким образом, по своему содержанию, записки Львова едва ли могут представить для нас какой-нибудь художественный интерес, но необычная, даже для XVIII века, форма, в которой выражены его мысли, настолько теперь кажется забавной, что она одна послужит, быть может, достаточным оправданием помещаемой заметки»*.[2]

Полноценного научного издания и исчерпывающего комментария рукопись Львова дождалась только к концу минувшего века.[3]

* * *

Форма, в которой Львов выражал свои мысли, отнюдь не выглядит забавной. Он делал эти заметки для себя, писал свободно, меняя интонацию, переходя от описаний к оценкам, от восхищения к иронии, иногда наспех закрепляя впечатление – и эта раскованность придает его заметкам особое обаяние.

Вот он задерживается перед картиной, которая в то время приписывалась Андреа дель Сарто – *«богоматерь, держащая Христа на коленях, играющего с Иоанном Крестителем»: «...Картина приятная, где веселыя лицы отвечают совершенно веселым колерам цветущаго сего флоре[н]тинской школы живописца, из изумрудов и рубинов, кажется, составляющего свои колера и из лехких зеленоватых туманов прозрачныя его тени»*.[4] Какой чуткий глаз и какой образный язык! Вот непринужденное описание картины, забавившей его фривольным сюжетом: *«Франческа Мириса 3 карт[ины] м[алыя] ... Третья, представ[ляющая], просто сказать, блять в желтом платье, спящую и старую ея девку, принимающую деньги от закутанного в епанчу мущины, пришедшего воспользоваться и сном, и открытою грудью госпожи ее. Очень приятное расположение»*. [5]

[1] Нотную запись ему помогал осуществить профессиональный музыкант Иван Прач. См.: Собранные Николаем Львовым русские народные песни... СПб: Композитор, 2012.

[2] Там же, с. 281.

[3] Lvov, Nikolay. Italianskiy dnevnik/Italienisches Tagebuch. Böhlau Verlag. Köln. 1998. К. Ю. Лаппо-Данилевский. Об источниках художественной аксиологии Н. А. Львова // XVIII век. СПб: 1999. Сб. 21. С. 282–295. Его же: Итальянский маршрут Н. А. Львова в 1781 году // XVIII век. СПб: 1995. Сб. 19. С. 102–113.

[4] Цит. по: К. Ю. Лаппо-Данилевский. Об источниках..., с.286.

[5] Там же, с. 288.

Петер Пауль Рубенс. *Портрет Елены Фоурмен.1638 г. Музей истории искусства. Вена.*

Вот образец иронии по поводу неприемлемой для Львова живописи Рубенса:

«Естли кто хочет полюбоватся на жену Рубенсову, то несмотря на то, что она вся голая, гляди только голову, кажется, что ревнивая кисть ея супруга для того собрала все пороки тела женскаго (особливо ниже пояса), чтобы и в картине никто им не воспользовался».[1]

Адресатом этих записей был сам пишущий, первым и главным читателем должен был стать позднее сам Львов, и уж во вторую очередь, если случится, кто-нибудь из ближайшего круга. Заданная перспектива автокоммуникации определяет характер письма: автор не стилизует себя в рамках какой-либо публичной роли, в том числе и в роли художественного критика, знатока, авторитета. Он не должен никем выглядеть, он не должен никем казаться, он не берет на себя обязанность быть чьим-то голосом. Наедине с самим собой он остается самим собой, предельно искренним и открытым. Можно сказать, что он выступает в своих записях как «чистый зритель». Но при этом он зритель высокой пробы, за его суждениями – опыт собственного рисования и опыт многократного и разнообразного смотрения и размышлений. Кстати, поездка 1781 года, отраженная в его записках, – не первый заграничный вояж Львова: он до того уже побывал в Дании и Германии, в Лондоне, Мадриде, Париже; известно, что в Париже он посещал мастерскую самого Ж. Б. Грёза... Отголоски впечатлений первого путешествия нетрудно найти в его заметках.

Еще важнее, что в суждениях о множестве картин и скульптур, которые встретились ему в его странствиях, просвечивает недюжинная образованность и знакомство с наиболее актуальными в его время эстетическими идеями и влечениями. Львов – зритель, владеющий обширным фондом знаний. К. Ю. Лаппо-Данилевский, на работы которого я тут уже ссылался, пристально анализируя иерархию оценок Львова, показал, насколько его герой был осведомлен в наиболее влиятельных эстетических идеях и критериях своего времени. Сочинения И. Винкельмана и в первую очередь его «История искусства древности», сыгравшие тогда решающую роль в становлении неоклассицизма как общеевропейского стиля, находятся тут на первом месте. Исследователь предполагает, что эта книга сопровождала Львова в его странствиях, и находит свободные извлечения из его трудов на страницах «Записок». Не менее, если не более интересно, что в «Записках» явственно просвечивает знакомство автора с принципами анализа и оценки картин, на которых был построен «Баланс художников» Роже де Пиля. «Баланс» к тому времени не был новостью, он был известен уже добрых три четверти века. К тому же, его изобретатель был в свое время лидером партии рубенсистов, тогда как Львов в своих суждениях был, естественно, близок к противоположному лагерю. Менее всего это свидетельствует об эклектизме эстетического опыта русского путешественника, скорее это говорит о его восприимчивости к идеям эпохи и о широте его эрудиции. Стоит заметить, однако, что самого Роже де Пиля несколько смущало, что его идол, Рубенс, иногда делал дурной выбор, впадая в «фламандский род» и «греша против правильности рисунка»[2].

Наконец, еще одно свидетельство, неявно присутствующее в записях Львова. Надо обратить внимание на коллекции, которые были ему доступны и в которых он побывал. Значение имеет не только время, но и место – в их взаимной связи.

Современный турист или – выразимся в духе XVIII века – путешественник, желающий видеть произведения великих художников прошлого и признанных современных мастеров, первым делом устремляется в музеи.

(В этом месте я позволю себе переставить оптику и на минуту изменить интонацию. Меня лечат в калифорнийском госпитале в связи с легочным нездоровьем. Ровно в 6 часов утра меня будит госпитальный кровопийца, набирающий кровь для очередных анализов. Спать дальше не удастся. Через несколько минут появляется молоденькая дежурная медсестра, новая, я ее до сих пор не видел. Она пишет

[1] Там же, с.289.

[2] Цит. по: J. Alsop. The Rare Art Traditions. The history of art collecting and its linked phenomena wherever these have appeared. New York: Harper and Row, 1982, p. 9.

свое имя на специальной доске, а затем представляется устно. И мы, разумеется, знакомимся на американский манер: where are you from, откуда вы? Она филиппинка, родители привезли ее в Штаты ребенком... Объясняю ей, чтобы было понятно: я из Эстонии, это такая маленькая страна, одно время она была частью Советского Союза, а теперь это независимое государство на берегу Балтийского моря, напротив Финляндии, через залив, недалеко от Петербурга...

– О! – восклицает милая филиппинка – Петербург! Петербург, Эрмитаж! Это моя мечта – побывать в Петербурге и увидеть Эрмитаж!

Как видим, медсестра из города Пало-Алто, штат Калифорния, когда приедет в Санкт-Петербург, первым делом отправится в музей).

Так вот, в тетрадке российского путешественника – архитектора, поэта, художника, интеллектуала и знатока искусств, образованного и одаренного гуманитария, гения вкуса, человека, представляющего высший, элитарный слой русской культуры своего времени, – в тетрадке с записью художественных впечатлений слово «музей» отсутствует. Более того, можно предположить с большой долей вероятности, что такого слова нет вообще в его словаре. Это вовсе не значит, что медсестра из Пало-Алто в начале XXI века обладает более изощрённой духовной культурой, нежели Николай Львов. Изменились времена. При жизни Львова в Европе не было музеев. Точнее сказать, он попал туда в самый момент напряженного творческого брожения – там зарождалась идея публичного музея и намечались возможные его формы.

* * *

Рождение салона – лишь часть, хотя и полная значения, того грандиозного поворота, который свершился в век Просвещения, когда пластические искусства повернулись к обществу в новом качестве: собственно искусства. Актуальное, вот сейчас, на кромке времени являемое искусство – только хорошо различимая, на глазах возникающая из небытия волна новых образов. Великое множество образов, изделий, сооружений, веками создаваемых и обращенных прежде всего к человеческому зрению, образов, в свое время обремененных многими и разнонаправленными функциями, наново вводятся в поле зрения и становятся предметом обостренного интереса, изменяя свой смысл и ценность «для нас». В сложной партитуре функций эстетическая функция становится доминантной – не случайно и слово подобралось – а с нею другой вид получает и открытость этого множества общественному зрению.

* * *

В 1759 г. в Лондоне открылся Британский музей, на этот счет было принято специальное постановление парламента. Название «музей» было использовано в напоминание о знаменитом «Музейоне», интеллектуальном центре, составившем некогда славу эллинистической Александрии. Как всегда, перенос имени сопровождался изменением значения. Александрийский «музейон» не был музеем, он был скорей аналогом современных академий наук. Там были собраны лучшие ученые тех времен. Будучи на полном государственном обеспечении, они могли учить и творить, там был подлинный центр позднеантичной науки. Естественно, при Музейоне была богатейшая, не имевшая конкурентов в тогдашнем мире Александрийская библиотека. Музейон был основан в III веке до нашей эры и процветал несколько столетий. В 342 году по распоряжению христианского императора Феодосия были разрушены последние здания этого прибежища ненавистной христианству языческой мысли. Чего не сделали обладавшие последней истиной христиане, довершили позднее захватившие Александрию мусульмане: они сожгли остатки великой библиотеки. Передают, что свитки папируса, на которых был написаны древние книги, горели долго, около полугода.

Британский музей, названный так по имени Александрийского, не стал его копией. Он был конгломератом художественных и естественно-научных собраний, при нем была создана знаменитая библиотека. Произведениям пластических искусств было там отведено существенное место. Именно туда поступят мраморные изваяния, снятые лордом Эльджином с Парфенона. Эти практики нам еще предстоит обсудить. Британский музей был открыт для публики в 1759 году. Львов, когда добрался до Лондона, вполне мог бы его посетить, это было бы вполне в его вкусе. Но сведений о таком посещении у нас нет. В его записках речь о других коллекциях, – и они в тот момент, еще не став музеями в полном смысле, находились на пути к новому статусу. Таковы главные, наиболее представительные собрания – папские коллекции в Риме, галерея Уффици во Флоренции, сокровища Вены. Все они, как видим, были доступны иноземному путешественнику. Турист

имел возможность посещать ватиканские собрания и даже видеть папские залы, украшенные фресками Рафаэля и Микеланджело. Флорентинские властители – а в то время Флоренцией правили Габсбурги – считали необходимым держать двери герцогской коллекции открытыми. Когда позднее Наполеон будет вывозить во Францию несметные сокровища итальянских собраний, Уффици останутся нетронутыми, поскольку флорентинцы сумеют показать, что их коллекция – публичная. В 1770-х гг. жителям Вены было разрешено три раза в неделю обозревать императорскую коллекцию произведений искусства. Одной из первых коллекций, открытых для публики, стало собрание курфюрстов саксонских в Дрездене. Про допуск в Эрмитаж я упоминал ранее.

Конечно, Львов был посетителем неординарным. Достаточно напомнить, что его спутником по венскому собранию был Кристиан фон Мехель, составитель самого передового по тем временам комментированного каталога этой коллекции.

Словом, в случае Львова мы имеем дело с типичным для середины-второй половины века Просвещения музейным протозрителем. Или, иначе сказать, зрителем в протомузее.

* * *

Бывают моменты, когда история становится нетерпелива. Грянула французская революция, короля лишили трона, а затем и головы. Заодно его лишили собственности, в том числе художественных собраний; остались без владельцев и коллекции многих бежавших аристократов. В 1791 году, еще при жизни Николая Львова, Национальное собрание рассмотрело предложение о создании **национального музея.** Жак Луи Давид, великий художник, революционер, член Конвента, говорил об этом в патетическом стиле, который избрала риторика революции: *«Прекрасный ансамбль шедевров, которые эмигранты недостойны были хранить и которые они оставили нации, столь же достойной ими владеть, как и способной их оценить!»* И он призывал депутатов не пренебречь ничем, – *«чтобы раскрыть все богатства искусств перед животворным оком народа, чтобы сделать каждый предмет доступным публичному обозрению и не лишить его заслуживаемой им славы...»* [1]

Рембрандт. Портрет Хендрикье Стоффельс. 1656 г. Лувр. Париж.

Так был создан первый национальный художественный музей, Лувр. Двери Лувра открылись для посетителей 10 августа 1793 года[2]. Публика могла свободно посещать музей в течение трех дней каждой декады месяца, художники – в течение пяти дней каждой декады. Открытие музея в Париже было прорывом; одновременно это было начало века публичных музеев. Множество потенциальных зрителей расширяется до пределов населения; на него, разумеется, накладываются культурные, образовательные, имущественные ограничения. Но званы все.

Смотрят в Лувре

Кажется, просветительская мечта получает реальные, ощутимые очертания. Салон и музей – две центрирующие точки нового культурного пространства, где свершается высшая гармонизация человеческого мира. Там нация осуществляет свое право владеть искусством и оценивать его. А искусство воздает нации

[1] Давид, Жак-Луи. Речи и письма Луи Давида. Москва, Ленинград: ОГИЗ-ИЗОГИЗ. 1933

[2] Некоторые источники называют 8-е ноября. См., напр., Zd.Żygulski jun. Muzea na świecie.Warszawa: PWN, 1982. S.53.

сторицей.

Между мечтой и реальностью, как всегда, существует разрыв. Но просветительский проект сделал свое дело.

ВЕК МУЗЕЕВ

Французский пример и прямое французское влияние сыграли огромную роль в превращении коллекций самого разного рода в публичные музеи. В Мадриде королевские коллекции были превращены в музей, т. наз. Muzeo Josefino, еще во время французской оккупации Испании, в 1809 году. Позднее, после изгнания французов и восстановления монархии, в 1822 году, король Фердинанд VII основал музей Прадо, куда были переданы коллекции испанских Габсбургов. В Голландии первая открытая для публики галерея была создана в Гааге еще в 1800 г., ей суждено было переместиться чуть позднее в Амстердам и стать знаменитым Рийксмузеум, куда направляются тысячи туристов хотя бы только ради «Ночного дозора» Рембрандта. В Бельгии на протяжении XIX века появились музеи в Антверпене, Брюгге, Генте, Турнэ. В 1843 г. в Париже было принято решение об учреждении музея Клюни с его коллекцией произведений средневекового и ренессансного художественного ремесла. 1824-м датируется начало лондонской Национальной галереи. В 1857-м был основан Южно-Кенсингтонский музей, ядро которого составили экспонаты всемирной выставки 1851 г. в Хрустальном дворце; позже он был переименован в Музей Виктории и Альберта. В конце века была создана галерея Тейт – собрание английского искусства.

Прусский король Август Вильгельм III еще в самом конце XVIII века открыл для посетителей свои коллекции, для которых А. В. Шинкель построил в 1829-х гг. в Берлине т. н. Старый музей. Другой архитектор, мастер музейного проектирования, Лео фон Кленце, построил в Мюнхене сначала здание Глиптотеки, а затем и Старую Пинакотеку. Он же был автором первого специально музейного строения в России – так называемого Нового Эрмитажа.

Значительным событием стало в семидесятых годах сооружение комплекса из двух взаимосвязанных и взаимодополняющих императорских музеев в Вене – Музея истории природы и Музея истории искусства... [1]

Остановимся на минуту посередине этого далеко не завершенного перечня, чтобы задуматься над скучным, скорее педантическим названием венского музея. Этот «художественно-исторический музей», если перевести «kunsthistorisches Museum» ближе к

Лео фон Кленце. *Новый Эрмитаж.*

его немецкому названию, составляет часть пары, подчеркивающей научно-просветительскую направленность музейного центра блистательной столицы Габсбургов – в духе, отвечающем позитивистски ориентированной ментальности второй половины XIX века. Естественная история, наглядно представленная в музее на одной стороне площади, получала продолжение на другой стороне – в виде исторического изложения художественной истории – как увенчания культурной истории человечества. Не случайно Вена стала местом сложения первой современной школы искусствознания. Музейность как некое качество получала сертификат научности, т.е. объективности: нахождение в музее гарантировало высшее, «музейное» качество, порядки музейной экспозиции выстраивали не только порядки истории, но и иерархии художественной и культурной ценности.

Но прежде всего этого художественно-исторический музей делал забредшего туда человека зрителем в полном смысле этого слова. Это кажется настолько очевидным, что наше упоминание выглядит совершенной банальностью. Тем не менее метаморфоза, если ее иначе описать, не лишена интереса. Ибо – в свете всего, сказанного ранее – понятно, что сделать некое изделие экспонатом историко-художественного музея значит зачислить это изделие в разряд художественных совершенно независимо от того, для чего оно было предназначено в его предшествующих жизнях. Помимо всего прочего, музей становится особым устройством по переработке в искусство весьма разнообразных культурных созданий: «отныне мы считаем тебя искусством, именно эта грань твоей природы будет считаться главной и даже единственно интересной!»

[1] См. развернутое описание этой истории в упомянутой книге: Zd .Zygulski jun., str.48 i nast.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Абрамович Семен родился, учился, защитился, женился в Москве, где провел первую половину жизни. По специальности инженер-строитель. Живет в Калифорнии, работет корректором в газете «Новая жизнь» (Сан-Франциско). Автор двух книг стихов: «Пущу по ветру слов круженье» и «Родная речь», изданных в Москве (2007).

Арис Сол (Шауль Всеволод Волков), известный по публикациям в Интернете как «Сол», пользуется этим псевдонимом с 1990-х. Живет в городе Яффо, Израиль. У Сола разнообразный жизненный опыт, который позволяет ему заниматься исследованиями в разных областях знаний. Он родился в Украине, вырос в США, закончил университет в Израиле и много лет работал адвокатом, а затем программистом. Одновременно, начиная с 1980-х, выступал как рок-гитарист и певец, а также участвовал в спектаклях и комедийных шоу; для некоторых из них придумал костюмы. В первые годы после университета участвовал в общественной жизни страны. Служил в армиях США и Израиля.
С 2005 года Сол посвящает себя исследовательской и писательской деятельности, главным образом в области альтернативной истории; он пишет на английском языке. Вначале в течение нескольких лет вел в Интернете две философские группы и публиковал свои статьи на сетевых форумах. Затем его статьи стали публиковаться в американских журналах «Atlantis Rising» и «UFO Digest».Сол Арис — автор книг Holistic Detection in the Collective Subconscious (Essays on Alternative Thinking) и The Reston Caper, изданных в Соединенных Штатах.

Бабушкин Исаак Владимирович родился в 1904 году в Гомеле. В двухлетнем возрасте остался без отца. Проучился лишь два года в еврейском хедере /школе/, где научился читать и писать по-русски. Дальнейшее образование – курсы, вечерний рабфак. Трудовую жизнь начал с 12 лет в конторе по строительству железной дороги в Екатеринославской (Днепропетровской) области. Комсомолец 1920-годов, участник Гражданской войны. С 1931 года жил в Москве, работал на автозаводе (ЗИС, затем ЗИЛ). В 1941 году руководил эвакуацией завода на Урал. После войны работал на Московском электрозаводе. В пенсионные годы занимался творческой и публицистической деятельностью в Историко-литературном обществе старых большевиков. Умер в Москве в 1995 году.

Бернштейн Борис Моисеевич (р. 1924) – доктор искусствоведения, профессор-эмеритус Академии Художеств Эстонии. Книги, статьи и альбомы по истории русского, эстонского искусства и по всеобщей истории искусства, а также по теории искусства и методологии искусствознания опубликованы на русском, эстонском, английском, немецком, польском, испанском, венгерском, словацком, латышском, литовском и др. языках.

Бертин Лев – инженер, поэт и журналист. Автор нескольких сборников стихотворений и многих публикаций в изданиях США, Израиля, Белоруссии, Канады, а также на литературных сайтах в Интернете. В настоящее время занимается книжным бизнесом. Живёт в Атланте, США.

Гликсон Ася родилась в России, живет в Израиле. «По образованию филолог, по профессии – тестер программного обеспечения, по мировоззрению агностик, по жизни – всё понемножку», – говорит о себе Ася. Подборки стихов публиковались в сборнике «Alter ego» издательства «Апиа», в альманахе поэтического турнира «Пушкин в Британии» за 2005, 2008, 2010-12 гг. и других периодических изданиях в Израиле и за рубежом.

Гандельсман Владимир Аркадьевич родился в 1948 г. в Ленинграде, закончил электротехни-

ческий вуз, работал кочегаром, сторожем, гидом, грузчиком и т. д.. С 1991 года живет в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге – поэт и переводчик, автор пятнадцати поэтических сборников, переводов из англоязычной поэзии, множества публикаций в различных российских журналах.

Дашевский Валерий в двадцать три года дебютировал в журнале «Юность» рассказом «Инцидент», затем издал первую книгу в издательстве «Молодая гвардия» тиражом 100 000 экз. За отказ сотрудничать с КГБ в Харькове не был принят в СП СССР. Окончил Литературный институт (1986 г.). Повесть «Чистая вода» была переиздана в сборнике «Поколение. Повести и рассказы молодых русских советских писателей». Рассказы «Инцидент» и «Долгий год» экранизированы на Мосфильме. Фильм «Папа» вышел в прокат «первым» экраном. Создал информационное агентство, работавшее на шестнадцать посольств, руководил конверсионными проектами, сопровождал выборы президента Кравчука на Украине, президента Ельцина в Москве, награжден его персональной благодарностью. Был загранпредставителем АПН на Украине, Генеральным менеджером РТВ-Пресс РФ, Генеральным менеджером медиа-проектов Союза экспортеров энергии РФ, менеджером журнала «Огонёк». На Украине руководил проектом национального издания и тремя проектами, поддерживаемыми Всемирным Банком. Специалист Минфина РФ Первой категории по ценным бумагам и фондовому рынку. Занимается продюсерской деятельностью (шоу-бизнес, масс-медиа), готовит несколько арт-проектов, среди которых интернет-журналы стиля жизни – Art и Fashion.

Жук Вадим Семенович – поэт, драматург, актёр. Родился в 1947 г. в Ленинграде. Закончил театроведческий факультет ЛГИТМиКа. Работал актёром в театрах Сибири. Снимался в фильмах А. Сокурова, И. Масленникова, В.Хотиненко, А. Борщевского и других. Был единственным автором и художественным руководителем ленинградского-петербургского Театра-студии «Четвёртая стена», спектакли которого демонстрировались по Центральному телевидению. Пишет капустники для Центрального Дома Актёра. Был автором и ведущим радиопередачи «Слушать подано!» Радио России. Вел совместно с М. Жванецким передачу «Простые вещи» на РТР. Совместно с С. Плотовым писал куплеты к передачам «Итого» и «Плавленый сырок». Автор передачи канала «Культура» «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым» Был художественным руководителем и ведущим фестиваля «Золотой Остап». Постоянный ведущий и председатель жюри фестиваля капустников «Весёлая коза». Постоянный ведущий премии Конгресса фантастов России «Странник». Председатель или член жюри, автор сценария и ведущий церемоний ряда анимационных и театральных фестивалей. Автор либретто (совместно с И. Иртеньевым) мюзикла «Весёлые ребята». (Комозитор – М. Дунаевский). Автор либретто оперетты «Чайка» на музыку А. Журбина и «Русское горе» на музыку С. Никитина, идущих на сцене Московского Театра Современной пьесы, музыкального спектакля «Лес» с В. Дашкевичем в Санкт-Петербургском театре «Комедианты» и других. Автор сценария (с К. Михайловой) полнометражного мультфильма «Возвращение Буратино». Автор и соавтор сценариев анимационных фильмов «Собачье сердце», «Сказка про Волка», «Лис», «Ваня и Леший» и ряда других. Выпустил сборники лирики «Стихи на даче» (изд. «Зебра») и «Жаль – птица» (изд. «Время») Вадим Жук живёт в Москве.

Заславский Анатолий Савельевич родился 2 ноября 1939 г. в Киеве. В 1957 г. окончил СХШ, в 1965 – ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, отделение монументальной живописи (мастерская проф. А. А. Казанцева). С 1977 г. член СХ России, с 1992 – Член Санкт-Петербургского творческого союза художников. Член Санкт-Петербургской Академии современного искусства. Награжден Серебряной медалью Академии художеств Российской Федерации. Занимается станковой живописью. Автор монументально-декоративных работ, установленных в Санкт-Петербурге, Гатчине, Стрельне, Калининграде, Костроме, Нерехте, Куйбышеве, Томске. С 1969 года участник отечественных и зарубежных выставок – в Дании, Финляндии, Франции, ФРГ, Швейцарии, Сербии, Черногории, Южной Корее, США, Англии, Украине. Работы хранятся в собраниях: ГРМ, Музея истории Санкт-Петербурга, Музея Театрального и Музыкального искусства СПб, в музеях г. Пушкина, Киева, Перми, Петрозаводска, Хабаровска, Астрахани, Казани, Великого Новгороода, Мурманска, и др. городов и во многих частных коллекциях России, Европы, Азии

и Америки. Имел более двадцати персональных и групповых выставок в крупных музеях и на выставочных площадках Санкт-Петербурга, Киева, В. Новгорода, Мурманска, Нью-Йорка, Эдинбурга, Мадрида, Белграда, Лозанны, Сеула и др. городов. Участвовал в многочисленных коллективных выставках в России и за рубежом.

Зевелёв Александр (р.1958). Родился и жил в Москве. С 1991 года живёт в Сан-Франциско. В 1983 году окончил экономический факультет МГУ. Первая песня написана и исполнена в 16-летнем возрасте. Песни пишет на свои стихи, пробует себя в прозе, драматургии и публицистике. В мае 2000 года вышел компакт-диск «Пятнадцатый этаж». В мае 2005 года записан второй компакт-диск «Жизнь напролёт». В 2007 году – финалист конкурса радио «Шансон» (Москва). В 2005 – 2008 годах работал ведущим на радио «Русский Голос» (Сан-Франциско). В октябре 1995 года основал в Сан-Франциско русскоязычную творческую тусовку ХЛАМС (художники, литераторы, актеры музыканты сопутствующие), существующую и по сей день.

Золотаревская Марина пишет прозу и переводит с английского. Родилась в 1960 году. Окончила Харьковский политехнический институт. Автор книги «Кто её зовёт?..» (2008, Сан - Франциско, иллюстрации Владимира Витковского), включающей оригинальные сочинения и перевод поэмы Д.Г. Байрона «Лара». В 2011 году была издана книга «Переход», составленная из произведений Марины Золотаревской и Аллы Ходос. Марина Золотаревская была постоянным автором, преводчиком и членом редколлегии русскоязычного журнала «Terra Nova», издававшегося в Калифорнии. Безответственный редактор литературного альманаха «Образы жизни» (издается в Сан-Франциско). Публикации в журналах «День и ночь», «Радуга», «Новый берег», на литературном сайте «Интерлит». Живёт в Сан-Франциско.

Ильин Игорь – прозаик и прерводчик. По окончании Харьковского госуниверситета три года служил военным переводчиком в Анголе. Затем работал замдекана подготовительного факультета для иностранных студентов ХГУ, преподавал в Институте иностранных языков. С конца 90-х преподаёт в International House Kharkov. Печатался в следующих изданиях: «Азия и Африка сегодня», «Новый день», «Universitetas», «Протей» и других.

Кононова Анна родилась в Минске. Ребёнком выступала на белорусском радио, в передаче «Піянерская зорка» и радиоспектаклях. После окончания Минского радиотехнического института работала внештатным корреспондентом журнала «Рабочая смена». Автор книги стихов «Пляска женская», опубликованной в Минске, и коротких рассказов. Участница литературного объединения «Восхождение», созданного поэтессой Валерией Моргулис. Печаталась в журнале «Рабочая смена» и на русскоязычном международном литературном сайте «Интерлит», в альманахе «Образы жизни» (Сан-Франциско). Живёт в Израиле, работает программистом.

Коротков Алексей. Родился в 1960 году. В 1983 окончил Физический факультет МГУ. Работал в науке, занимаясь проблемой искусственного зрения. Как и многие люди его поколения, вы-нужден был со временем оставить научную деятельность, так как после 1991 г. её фактически перестали оплачивать. С конца 80-х стал заниматься переводами. Переводил Конан Дойля, Грэма Грина, Пола Андерсона, Боба Шоу, Дэна Симмонса. За перевод романа Д.Симмонса «Гиперион» (в соавторстве) удостоился премии «Странник». С 1995 г. профессионально занимается журналистикой. Более десяти лет проработал в газете «Первое сентября» – сперва редактором, затем журналистом и наконец – ведущим редактором отдела науки. Сотрудничал и в других изданиях: «Собеседник», «Медицина для вас», «Клуб «Эра Водолея». Участвовал в работе Издательского центра “Детство. Отрочество. Юность” – готовил иллюстрированные книги для слабовидящих детей. Так получилось, что издательское дело стало его второй (или уже третьей) профессией – а затем и основной. Прозу писал чуть не со студенческих лет, но эпизодически, для собственного удовольствия, и всерьёз это занятие никогда не воспринимал.”

Короткова Екатерина Васильевна – прозаик и переводчик. Дочь писателя Василия Гроссмана. Родилась в Киеве, где прошло почти всё её довоенное детство. После войны жила во Львове, где окончила школу; училась на славянском отделении Львовского университета, затем в Институте иностранных языков. Работала учительницей английского языка в шахтёрском поселке (по семейной традиции выбрала Донбасс), позже – в Библиотеке иностранной

литературы в Москве. Печатается с 1958 года. Переводила английских классиков – Твена, Диккенса, Эллиота, Теккерея, Честертона, Киплинга и других, а также мастеров современной английской прозы. Ей принадлежит первый перевод Агаты Кристи на русский язык. Автор романов и повестей в жанре исторической прозы, рассказов, мемуаров (в том числе воспоминаний об отце). Произведения Е. В. Коротковой опубликованы в России, на Украине, в Англии и США.

Курляндчик Галина родилась в 1949 году в Крыму, выросла в Приморье. Окончила факультет русского языка и литературы Рязанского государственного педагогического института. Более двадцати лет проработала в научной библиотеке по программированию в новосибирском Академгородке. Живёт в городе Санта Клара, Калифорния и Москве. Организовала и пополняет сайты: «Живопись иглой» (www.svetart.ru), «Чудеса рукотворные» (www.chudosite.ru) и «Летопись моей семьи» (www.mychronicle.ru).galina.kurlyandchik@gmail.com

Макарова Елена родилась в 1951 году в Баку в семье поэтов Григория Корина и Инны Лиснянской. Живет в Хайфе, Израиль. Член международного ПЕН-клуба, Союза писателей Израиля, Союза писателей России. Закончила Московский Литературный институт им. Горького и Московский Художественный институт им. В.И.Сурикова. Елена Макарова — автор свыше сорока книг на двенадцати языках, в том числе прозаических сборников. В деятельности Макаровой значительное место занимает изучение и пропаганда художественного творчества узников нацистских концлагерей. Вместе с соавторами ею были подготовлены 4 книги, объединённые серийным названием «Крепость над бездной»: «Терезинские дневники, 1942—1945» (2003), «Я — блуждающий ребенок. Дети и учителя в гетто Терезин, 1941—1945» (2005), «Терезинские лекции, 1941—1944» (2006), «Искусство, музыка и театр в Терезине. 1941—1945». Среди других работ на эту тему — выставки и книги о художнице школы «Баухауз» Фридл Дикер-Брандейс, одной из основателей искусствотерапии; на ее уроках в концлагере Терезин детьми было нарисовано более 5 тысяч рисунков. Книга «Фридл Дикер-Брандейс. Жизнь во имя искусства и преподавания» вышла сперва на немецком, затем на английском, чешском, французском и японском языках. Недавно издана на русском языке. В период с 1988 по 2011 Елена Макарова курировала 38 выставок на тему «Культура под гнетом нацизма». С 2007 Е.Макарова ведет он-лайн семинары http://forum.mykanon.com/ по искусствотерапии для родителей и детей.

Маркова Лина. В Советском Союзе Лина Маркова была диссиденткой, активисткой движения за эмиграцию в Израиль. Она путешествовала по стране, собирая подписи под петициями, обращёнными к правительству СССР. Эти подписи, а также информацию об арестах единомышленников Лина Маркова передавала иностранным СМИ. Агенты КГБ, которые следовали за ней всюду, предупреждали Лину, что она может очутиться не на Ближнем Востоке, а на Дальнем (в Сибири). Она была одной из первых четырех советских граждан, которые подали заявление в Верховный Совет СССР об отказе от советского гражданства. В марте 1971 года Лина эмигрировала в Израиль, а с 1974 года живет в Америке. Л. Маркова участвовала в нескольких поездках к местам библейского и мифического прошлого Земли, возглавляемых ученым-библеистом Захарией Сичиным. Многие годы работала в Интеле, одной из ведущих компьютерных компаний Силиконовой Долины. Являлась членом редколлегии русскоязычного журнала «Terra Nova». Живёт в Маунтен Вью, Калифорния.

Мельницкая Инна Владимировна – поэт, прозаик, переводчик, пишущая на русском и украинском языках. Коренная харьковчанка. В течение многих лет преподавала на факультете иностранных языков ХГУ, руководила литературной студией, воспитавшей целый ряд переводчиков иноязычной прозы и поэзии. Произведения И. Мельницкой переводились на белорусский, мордовский, молдавский и итальянский языки, входили в русскоязычные издания США и Израиля. После выхода в свет книг «Когда не было лета» и «Надпись на парапете» в 1989 году И. Мельницкая была награждена итальянской медалью ASS. NAZ. ALPINI, а в 1999 году была приглашена британской киностудией Би-Би-Си для участия в многосерийном фильме «Война века». За сборник стихов «Опрокинутые облака» автору присуждена премия имени Бориса Слуцкого и звание лауреата конкурса «Русское слово Украины 2002»; за повесть «Украинский эшелон», первую книгу одноименной

дилогии, – международная литературная премия имени Юрия Долгорукого и звание «Харьковчанин года 2005», за повесть «Страна моего детства» – юбилейная премия журнала «Радуга».

Мелодьев Мартин Михайлович. Родился в 1953г. в Новосибирске. Окончил экономический факультет Новосибирского университета. С 1990 г. живет в Америке. Член калифорнийского клуба авторской песни «Полуостров», клуба русских писателей в Нью-Йорке и клуба поэтов НГУ. Автор книг стихотворений: «Сочетания» (Новосибирск. 1991), «Шлюз» (изд-во Hermitage. Нью-Джерси,1998) и «Цветной проезд» (Новосибирск, 2000). Публика-ции в газетах и ежегодниках США: «Альманах Поэзии», «Встречи», «Альманах клуба русских писателей в Нью-Йорке», «День и ночь» (Красноярск), в альманахе «Образы жизни» (Сан-Франциско). В России публиковался в сборниках «Общая тетрадь. Из современной русской поэзии Северной Америки» (Москва, 2007), «Гнездо поэтов» (Новосибирск, 1989), «География слова» (Москва, 2000), «СП: Поэзия новой волны» (Новосибирск, 1993), «К востоку от Солнца» (Новосибирск, 1999-2007), «Петербургский литератор» (СПБ, 2000), «Время Ч» (Москва, 2001). Страница в интернете: www.mmelodyev.narod.ru

Нестеров Алексей – художник, поэт, бард. Родился в 1980 г. в Минске. Закончил Белорусскую академию искусств. Участвовал в международных и республиканских выставках. Работа «Пасха» находится в Русском музее Нью-Джерси. Стихи публиковались в журналах “Неман”. “Немига”, “Второй Петербург”, “Парадный подъезд (Петербург), интернет-журнале “Сетевая словесность”, автор сбрников “Ветра стих”(2003 г.), “Это”(сборник песен 2012 г.).

Никтитна Алла Моисеевнва. Родилась в Витебске. Там прошло ее детство, отрочество, юность. Закончила школу и уехала в Минск, где училась в университете на факультете журналистики. После окончания вернулась в Витебск и одиннадцать лет проработала на телевидении. Поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, решила сменить профессию, но раздумала. А потом снова Минск – пригласили в молодежный бюллетень "Рабочая смена", где собралась отличная компания молодых и талантливых журналистов. И постепенно молодые сотрудники, развлекаясь под дамокловым мечом партийных и комсомольских органов Белорусской республики, вопреки их грозной воле создали популярный молодежный журнал "Парус". В 90-м году прошлого столетья коллектив «Рабочей смены», устав быть вечно молодым, разбежался, кто куда, строить жизнь дальше. Алла Никитина уехала в Израиль, в Иерусалим, где почти двадцать лет продолжала работать в журналистике, редактировала журналы и служила в русском отделе редакции новостей радио "Коль Исраэль". Редактировала книжки. В 2009-м вышел собранный ею сборник воспоминаний под названием "Эвакуация. Воспоминания о детстве, опаленном огнем Катастрофы". А потом Алла Никитина решила заняться собственным прошлым и написала "Баркесу", вышедшую недавно. Дочь и трое внуков живут в Израиле.

Сундеев Николай. Поэт, издатель, журналист. Родом из Молдавии. Работал в прессе, редактором в книжном издательстве. Был членом Союза писателей СССР. Живет в Сан-Франциско. Главный редактор еженедельной газеты «Кстати» http://www.kstati.net/. Автор восьми поэтических книг и книги документальной прозы. Стихи печатались в периодике, коллективных сборниках и альманахах ряда стран.

Немировский Александр. Пишет с 14 лет. С 1980 до 1986 года выпустил 7 сборников в тогдашнем самиздате. На основании этих сборников в Москве в 1996 вышла книга стихов – «Без Читателя». В 1989 одно стихотворение просочилось в еженедельник «Собеседник». Входил в литературный клуб «Постскриптум» (1989). С 1990 года живет в Калифорнии. В 2007 подборки стихов печатались в журнале Terra Nova (2007 Август). Вторая книга «Уравнение Разлома» вышла в Сан-Франциско в 2009, третья книга вышла в 2012. Домашний сервер: http://www.nomer.us. Постоянно печатается в Альманахе «Под небом единым». Специалист по базам данных в Силиконовой долине. Начинал программистом, а последние 18 лет ведет свой небольшой бизнес на основе им созданной и патентованной технологии. Проживает в Калифорнии.

Новиков Вячеслав Анатольевич. Родился в 1955 г. в Брянской области. Раннее детство провел в средней полосе России среди лесов и пчел (у

дедушки была пасека). Среднее образование получил в средней школе № 25 г. Донецка, одной из самых средних в городе. В 1972 поступил на переводческое отделение факультета романо-германской филологии Харьковского государственного университета, которое закончил в 1977 году. После этого два года служил бортпереводчиком (была такая должность) в военно-транспортной авиации, летал в разные страны Африки и Азии: Эфиопию, Уганду, Ливию, Йемен, Афганистан и др.. Потом еще два года отслужил военным переводчиком в Эфиопии. После демобилизации работал в деканате по работе с иностранными студентами Харьковского политехнического института. В 1987 г. поступил на курсы переводчиков ООН при Московском институте иностранных языков им. Мориса Тореза и был зачислен в группу синхронистов, где проучился год. После сдачи ооновских экзаменов был направлен на работу в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Там проработал почти 20 лет, переводя синхронно с английского и французского на русский. В 2009 г. был переведен в отделение ООН в Вене, где работает по сей день.

Перцова Мария родилась и выросла в Баку. С 1990 года живет в США, в маленьком городке Кемпбелл, неподалеку от Сан Франциско. По образованию – физик, по наклонностям – … Вместе с Жанной Шпиц (музыка и исполнение) стала автором песенного альбома «Понятные и странные». В 2008 году вышла книга стихов Марии Перцовой «По другую сторону обмана».

Полищук Рада – российский писатель, журналист, член Русского ПЕН-центра, Союза российских писателей, Союза писателей Москвы, Союза журналистов России. Издатель и главный редактор российско-израильского русскоязычного альманаха еврейской культуры «ДИАЛОГ» (издается в Москве). Автор и руководитель проекта «Театр Рады Полищук» и других творческих и издательских проектов, которые стали популярными и значимыми в контексте современной культурной жизни России, Израиля и других стран. Родилась и живет в Москве. Окончила Московский авиационный институт. Первый рассказ написан в 1984 году, первая публикация – в 1985-ом, первая книга – в 1991-ом. Автор 9 книг прозы и 2 сборников стихов (Библиотечка поэзии Союза писателей Москвы) и многочисленных публикаций прозы в различных журналах, альманахах, антологиях прозы XX века, сборниках в России и за рубежом (Франция, США, Израиль, Финляндия и др.), а также множества журналистских публикаций в центральных российских и иностранных изданиях: очерков, эссе, бесед с известными деятелями культуры, литературных портретов друзей – известных поэтов, писателей, артистов.

Попова Елена Георгиевна, драматург, прозаик. Живет в Минске. Романы печатались в журналах «Знамя» «Дом Ростовых», «Неман», «Немига». Выходили отдельными книгами. Пьесы ставились театрами ряда стран, входили в антологии и сборники пьес в Лондоне, Москве, Токио, Варшаве. Лауреат Первого Европейского конкурса пьес («Баловни судьбы» Первая премия, Кассель, 1994г). Переведена на английский, немецкий, японский, польский, белорусский языки.

Потимков Сергей родился в Харькове. Здесь же закончил школу и факультет иностранных языков ХГУ. Пять лет служил в Африке, затем в Уганде и в Эфиопии. Преподавал английский язык в вузах Харькова. В годы перестройки ушел в систему Гостелерадио СССР. Работал в США. В 1990 стал одним из создателей первого в СССР не-государственного эфирного телевидения АТВ-1. Заслуженный журналист Украины, депутат двух созывов Верховной Рады Украины.Автор стихотворных сборников «Инициация», «Toshiba», «Понедельник», «Город Х», «Своевольник» и книги воспоминаний «Профессия: Потимков»

Рабин Игорь – поэт, автор песен. Родился 18 ноября 1954 года в Херсоне. Жил в Киеве. Окончил мехмат МГУ (1976 г.). С 1988 года живет в США (район Сан Франциско) и работает в компьютерной индустрии. Песни пишет с 1972 года на свои и чужие стихи.

Талыбова Алина – коренная бакинка, по профессии педагог английского языка. Регулярно печатается в различных республиканских изданиях, а также на страницах журнала «Литературный Азербайджан». Работает как в жанре оригинальной поэзии, так и поэтического перевода. В ее активе – переводы из классической и современной английской и американской поэзии, а также многочисленные переводы азербайджанских авторов. Автор трех

стихотворных сборников. Обладатель «Золотого пера» – высшей журналистской премии Республики (2013). Стипендиат Международного Литературного Фонда (2004). В 2003-м году представляла Азербайджан на Третьем Международном Фестивале (Биеннале) поэтов в Москве. Публикуется в различных зарубежных изданиях и альманахах: «Интерпоэзия» (США), «Арион», «Новая Юность» (Россия), «Зарубежные записки» (Германия), «Русский клуб», «Листок АБГ» (Грузия), «Звезда Востока», «Малый Шелковый путь» (Узбекистан) и пр. С 2008 года – заведующий отделом поэзии журнала «Литературный Азербайджан». Дипломант Второго международного конкурса переводов с тюркских языков «Ак Торна» (Уфа, 2012), финалист конкурсов «Согласование времен» (Германия) и «Славянские традиции» (РФ, 2013).

Трегуб Александр. Учился (инженер-электронщик) и защитился (кандидат химических наук) в Киеве; эмигрировал с семьей в Израиль, работал в Иерусалимском университете, затем на Гумбольдтовской стипендии в Германии. Переехав в Америку, работал как visiting scientist/scholar в университетах Теннеси, Сан-Диего и Стэнфорда. Краткая биография А. Трегуба опубликована в каталоге «Маркиз.Кто есть кто в Америке». Последние 14 лет работает в компании Интел в Северной Калифорнии, где приобрел большой опыт в написании технических статей в соответствии со строгими правилами неразглашения корпоративной конфиденциальной информации. Нетехническое творчество включает публикации на литературном сайте www. interlit2001.com, альманахе «Образы Жизни», журнале «Апраксин Блюз», газете «Кстати», журнале «The Economist». Подчеркнем, что ни в одной из своих технических (100+) и ненаучных (~10) публикациях автор не разгласил ни единого корпоративного секрета!

Трегуб Инна родилась в Киеве. Училась на химическом факультете Киевского Университета, защитила кандидатскую диссертацию. В 1990 году эмигрировала в Израиль, там поступила в постдокторантуру в Институт Вейцмана. Впоследствии работала в университетах в Англии, Германии и США. С 2004 г. работает в Силиконовой Долине в High Tech индустрии. В 2007-2008 годах получила еще одно образование – Life Coach, и эта профессия стала важной частью ее жизни. В качестве хобби организует вечера-встречи бывших соотечественников – «Салон». Писать начала в 2007 для журнала «На здоровье» как Life Coach. («Русские дети», «Саботажница и будущая я» и др.).

Туберман Борис. Работал метродотелем в ресторане “Интурист” в Ленинграде. Эмигрировал в Америку в1974 году. Работал а инженерных компаниях. Стоял у истоков сан-францисского общества ХЛАМс (художники, литераторы, артисты, музыканты, сочувствующие). Активно участвует в подготовке и проведении литературных вечеров, чтений, концертов авторской песни, бардовских слетов а районе Залива. Живет в Сан-Хосе, Калифорния.

Тюрин Вячеслав Игоревич (р.1967) Родился в Якутии. Жил и учился в Красноярске и в п. Лесогорск Иркутской области. В 1998 г. занял первое место в номинации «Поэзия» на областной конференции «Молодость. Творчество. Современность». А в 2001-ом удостоился Гран-При конкурса «Илья-Премия» по СНГ: издание книжки «Всегда поблизости» (500 экз.) с предисловием Марины Кудимовой. В 2006-ом вышла в свет вторая книжка «Розы в стране гипербол» (700 экз.). Учился на ВЛК при Литинституте им. Горького, но, по болезни, закончить их не смог. Печатался в журналах: «Знамя», «Сибирские огни», «День и Ночь», «Сибирь», в различных газетах и альманахах. Живёт в Иркутской области.

Фет Виктор. Поэт, биолог. Родился в 1955 г. Окончил Новосибирский университет в 1976 г. До 1987 г. работал зоологом в Средней Азии, с 1988 – в США. Преподает биологию в Университете Маршалла (Хантингтон, Западная Виргиния). Публиковался в периодике США, Германии, России в журналах «Литературный европеец» и «Мосты» (Франкфурт), в литературных ежегодниках «Встречи» и «Побережье» (Филадельфия), «Альманах поэзии» и «Связь времен» (Сан-Хосе), в ежегодном альманахе НГУ «К востоку от солнца». Автор книг: «Под стеклом» (2000), «Многое неясно» (2004), «Отблеск» (2008), «Известное немногим» (2013) Корреспондент журнала «Литературный европеец» в США. Один из авторов антологии «Общая тетрадь. Из современной русской поэзии Северной Америки» (М., 2007). Первым перевёл на русский язык «Охоту на Снарка» Л. Кэрролла (перевод закончен в 1982,

опубликован в 2001).

Ходос Алла родилась в Минске. Окончила филфак Белгосуниверситета. Работала воспитателем в школе-интернате для детей-сирот, соцработником в Райсобесе, социологом на заводе, учителем в школе. Живёт в Америке с 1994 года. Работала в русскоязычной газете «Запад-Восток» (Сан-Франциско) и в школе. Автор книг стихов и прозы: «Интернат», «Человекоснег», «Воздушный слой». В книге «Переход» собраны прозаические произведения Марины Золотревской и Аллы Ходос. Публиковалась в журналах и альманахах «День и ночь», «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум Арт», «Terra Nova», «Побережье» и других; на сайтах «Интерлит» и «Другие берега». Ответственный редактор литературного альманаха «Образы жизни» (Издается в Сан-Франциско). Живёт в Сан-Леандро, Калифорния.

Черешня Валерий родился в 1948 г. в Одессе, живет в Санкт-Петербурге. Автор четырех поэтических книг («Своё время», 1996; «Пустырь», 1998; «Сдвиг», 1999; «Шёпот Акакия», 2008), книги эссе «Вид из себя» и многочисленных публикаций в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Постскриптум» и пр.

Эпштейн Генри (Сан-Франциско, Калифорния) – художник, преподаватель, автор стихов и прозы. Преподавал теорию искусства в Парсоновской школе дизайна (Нью-Йорк), экологическую этику в Калифорнийском университете города Санта-Круз и социальную этику в городском университете Сан-Франциско. Работал водителем лимузина, плотником при магазине, занимался машинописью (в страховой компании), уложениями (в качестве административного судьи) и укладкой (асфальта). Натворив закавык на дорожном полотне, приписывал их качеству асфальта; натворив закавык на холсте или в ткани повествования, вписывал их в композицию произведения. Как он поступал с заковыками закона – неизвестно. В настоящее время живет в Сан-Франциско и работает в городском транспортном агентстве. Рассказ «Билет на один сезон» (“Season Ticket”) был опубликован в специальном выпуске французского журнала «Телерама», посвященном Эдуарду Хопперу. На русском языке публикуется впервые. Страница в интернете: henryepstein@sbcglobal.net.

* * *

Читатель может заметить, что мы не публикуем сведений о двух авторах: **Енькин Тихон, Золотаревский Юрий**. Независимо друг от друга, они попросили редакцию никаких сведений о них не публиковать. В подобных случаях мы идём автору навстречу – при условии, что он сообщает эти сведения самой редакции.

* * *

Редакция, как правило, не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, однако иногда публикуются. В последнем случае редакция в переписку вступает.

* * *

Контакты: E-mail: obrazyzhizni@yahoo.com
Вебсайт: www.obrazyzhizni.com

* * *

Стоимость номера, включая пересылку, 25 долларов. Заказать альманах можно по электронной почте: obrazyzhizni@yahoo.com